

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ



ГРЕКИ И ВАРВАРЫ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В СКИФСКУЮ ЭПОХУ



Ответственный редактор
доктор исторических наук *К. К. Марченко*

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2005

*Издание рекомендовано к печати Ученым советом
Института истории материальной культуры РАН
и осуществлено при финансовой поддержке
Марченко Валерия Константиновича*

Рецензенты:

доктор исторических наук *М. Б. Шукин*
доктор исторических наук *А. Ю. Алексеев*

Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху /
Г80 отв. ред. К. К. Марченко. — СПб. : Алетейя, 2005. — 463 с. ; ил. —
(Серия «Античная библиотека. Исследования»).

ISBN 5-89329-800-0

Коллективное исследование «Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху» представляет собой оригинальную систематическую разработку основного спектра вопросов, в совокупности образующих проблему греко-варварских взаимоотношений в одном из крупнейших подразделений античного «пограничья» — Северном Причерноморье, начиная от момента появления здесь первых эллинских колоний (Истрия в Северной Добрудже, Борисфен и Ольвия в Нижнем Побужье и Пантикапей в Северо-Восточном Крыму) и кончая распадом «Великой Скифии» под ударами сарматов. Монография является первой в историографии попыткой формирования вполне сбалансированной, в своих важнейших частях и положениях, картины истории этого специфического региона древней ойкумены с точки зрения результатов контактов двух главных этнокультурных пластов населения — пашенных земледельцев и кочевников-скотоводов. В ее основе — новая концепция взаимодействий разноформационных человеческих обществ эпохи раннего железа, разработанная авторами в рамках многолетнего историко-археологического изучения памятников античной культуры Северного Причерноморья.

Книга адресована археологам, этнографам и всем интересующимся историей и культурой античного мира.

ISBN 5-89329-800-0



9 785893 298000

© Коллектив авторов, 2005
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2005
© «Алетейя. Историческая книга», 2005

*Светлой памяти
наших товарищей*

*Александра Николаевича Карасева,
Елены Ивановны Леви,
Елизаветы Григорьевны Кастанаян,
Иосифа Бенъяминовича Брашинского,
Игоря Георгиевича Шургая*

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Книга, предлагаемая вниманию читателей, имеет непростую судьбу. Она была задумана как коллективная монография Отдела античной истории ИИМК РАН и написана в 90-х годах прошлого века. К сожалению, в силу разнообразных причин, как объективных, так и субъективных, публикация ее в течение долгого времени была затруднена. Однако, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, книга не потеряла своей актуальности и, несомненно, отражает как «лицо» петербургской школы антиковедения, так и специфику научного подхода, поисков и достижений научного коллектива нашего Отдела. Но, к сожалению, время, как всегда, работало и против нас.

М. Ю. Вахтина, Ю. А. Виноградов, К. К. Марченко

Введение

Хорошо известно, что без изучения истории контактов отдельных этносов друг с другом немислимо изучение истории их культур. Равным образом очевидно и обратное. Одно из наиболее ярких подтверждений наличия такой взаимообусловленности дает, по всей видимости, историография Великой греческой колонизации. В самом деле, нет ни малейших сомнений в том, что сравнительно немногочисленные греческие общины, вынесенные на окраины античной ойкумены мощным социально-экономическим процессом, имманентно протекавшим в VIII–VI вв. до н. э. в самых глубинах древнегреческого общества южной части Балканского полуострова, островов Эгейского моря и западного побережья Малой Азии, не могли не вступать и вступали на протяжении всего тысячелетнего периода своего существования в разнообразные экономические, политические и культурные связи с варварским миром Средиземноморья и Причерноморья. Социальная структура, политическое и экономическое положение, культурный облик — более того — само существование таких общин во многом зависели от характера этих контактов.

Начиная с 60-х гг. XX в. в исторической науке наметился поворот к комплексному изучению основных проблем истории античного мира и его варварской периферии. Их стали рассматривать теперь как тесно связанные между собой звенья единой системы взаимодействия этносов, находящихся на разных уровнях исторического развития и их культур. Такой подход, что само собой разумеется, потребовал объединения усилий историков античности, преимущественно исследователей экономической истории Древней Греции и Рима и археологов, изучающих так называемые «доисторические культуры» Евразии и Северной Африки (Первобытная периферия... 1978. С. 4 сл; Cunliffe. 1988. Р. 2).

Теперь стало ясно, что история эллинских колоний была, выражаясь словами Э. Лепоре, «пограничной историей», т. е. историей отношений и взаимодействий античной цивилизации с окружающим эти колонии туземным населением (Lepore. 1968. Р. 42). Именно в этом, основном своем значении ей, пожалуй, нет равных для изучения адаптационных механизмов, действовавших ранее и в том или ином виде продолжающих действовать и поныне в сфере межобщинных (национальных) отношений разноформационных человеческих коллективов.

Огромная работа, проделанная отечественными и зарубежными антиковедами, позволяет в настоящее время достаточно объективно оценивать об-

ший характер, генеральную тенденцию и основные формы указанных отношений в рамках античного «пограничья», дает понимание той роли, которую они сыграли в культурном и социально-экономическом развитии населения Европы, Ближнего Востока и севера Африканского континента.

Вместе с тем к значительным достижениям антиковедения в целом нужно отнести и признание исключительной сложности, многогранности и противоречивости самого процесса взаимодействия двух миров — эллинского и местного, варварского, находившихся зачастую на разных ступенях общественного развития и развивавшихся по своим собственным законам. Именно эта сложность, равно как недостаток и специфика историко-археологических источников, их эклектичность, объективно создавали ранее и до сих пор создают значительные трудности в разработке ряда кардинальных проблем «пограничной истории».

Системное изучение античных и варварских обществ позволило совершенно по-новому взглянуть на наиболее важные из этих проблем. Так, с новой остротой в работах ряда исследователей, увидевших свет в 60–80-х гг., встал старый вопрос о характере греческой колонизации и о взаимоотношениях колонистов с туземным варварским населением в регионах, охваченных колониальным движением. В то время как одни авторы готовы были видеть в греках, переселявшихся в колонии, прямых предшественников испанских и португальских конкистадоров, английских, голландских, французских и иных колонизаторов Нового времени и, сообразно с этим, настаивали на по преимуществу империалистическом характере самой греческой колонизации, другие делали основной акцент на мирной конвергенции и даже ассимиляции греков и варваров в колониальной зоне, третьи же пытались найти некое компромиссное решение проблемы, не впадая ни в ту, ни в другую крайность. В основном на материале греческой колонизации Западного Средиземноморья, этот вопрос ставился и обстоятельно рассматривался в работах Данбэбина, Берара, Валле, Бордмэна, Грэхема, Клавеля и др. авторов.¹ В отечественной историографии можно отметить вспышку дискуссии вокруг этой важной проблемы в работах В. П. Яйленко и Э. Д. Фролова (Яйленко. 1983. С. 149 сл.; 1990а. С. 83 сл.; Фролов. 1988. С. 148 сл.). Фролов весьма решительно и во многом справедливо оспаривает выдвинутый Яйленко тезис о будто бы «добровольной трудовой кооперации», которая связывала греков и туземцев на всем пространстве колониальной периферии узами мирного добрососедства и в конечном счете вела к ассимиляции этих столь не похожих друг на друга этносов. Однако при этом он оставляет без объяснения целый ряд факторов, используемых его оппонентом для подтверждения своей концепции, и, в частности, археологический

¹ Подробный обзор их концепции см. в книге В. И. Козловской (1984. Гл. IV. Пр. 2).

материал из раскопок некрополей и поселений, в которых варвары и греки, действительно, тесно соседствовали друг с другом, находясь в повседневном общении.

Сейчас становится ясно, что однозначное решение проблемы греко-варварских контактов с помощью теории извечного антагонизма двух миров или же прямо противоположной концепции их идиллически мирного сосуществования и даже сотрудничества едва ли возможно. Чрезвычайно сложная система социально-экономических, политических и культурных отношений, связывавших греческие колонии с их варварским окружением, не укладывается в простейшие схемы такого рода. В истории большинства полисов колониальной периферии периоды напряженной конфронтации с соседними племенами не раз сменялись периодами относительного затишья, когда становились возможными торговые и всякие иные контакты колонистов с окрестными варварами. В зависимости от реальной обстановки и соотношения сил, сложившихся в том или ином регионе, как та, так и другая сторона могли оценивать друг друга либо как врагов и потенциальных невольников, чье имущество и сама жизнь подлежали безжалостному уничтожению и захвату, либо как более или менее равноправных партнеров по договорам и коммерческим сделкам. Как живые носители новой и достаточно высокой формы общественных отношений греки, несомненно, должны были оказывать на соседних варваров мощное цивилизующее воздействие уже одним фактом своего присутствия на их территории. С появлением греческих колоний значительная часть туземного населения оказалась вовлеченной в новые для нее условия экономического существования, впервые познакомилась с настоящей городской жизнью, смогла перенять у пришельцев некоторые полезные технологические и хозяйственные новшества. В связи с этим в варварской среде начали набирать силу ранее едва заметные процессы социальной и имущественной дифференциации, стали формироваться классы и сословия, появились первые зачатки государственности. Но и варвары со своей стороны оказали весьма ощутимое обратное воздействие на греческое колониальное общество, иногда ускоряя, иногда, напротив, замедляя и тормозя его развитие. Здесь все опять-таки зависело от конкретной геополитической ситуации, существовавшей на том или ином участке греко-варварского «пограничья».

Весьма сложной и противоречивой была и картина культурного взаимодействия двух этнических массивов. В течение длительного времени греки играли в нем лидирующую роль в качестве культуртрегеров или доноров культурных ценностей, тогда как варвары довольствовались ролью пассивных реципиентов. Однако постепенно стала все более и более усиливаться противоположная тенденция. На смену эллинизации варваров пришла варваризация греков, ставшая особенно заметной в эпоху упадка греческой ци-

визилизации в последние века дохристианской эры, хотя отдельные ее симптомы можно было наблюдать в разных местах еще и в более ранние времена. В обоих случаях результатом этих процессов были сложные синкретические формы культуры, соединяющие в себе, хотя и в разных пропорциях, греческие и варварские элементы. Этот интереснейший феномен греко-варварского синтеза еще ожидает своей адекватной научной оценки и объяснения.

С особой остротой и актуальностью проблема греко-варварских контактов во всех основных только что отмеченных ее аспектах встала в последнее время перед исследователями истории Северного Причерноморья в хронологических рамках так называемой «скифской эпохи» (VII — первая треть III в. до н. э.). Ситуация, сложившаяся в этой области науки, может быть с полным основанием оценена как критическая. Есть все основания считать, что здесь одновременно существуют и параллельно разрабатываются сразу две вполне обособленные, если не сказать большего — противоположные, концепции греко-варварских отношений. Одни исследователи склонны в своих работах фактически отрицать сколь-либо заметную роль греко-варварских контактов и взаимодействий, т. е. участие варваров в сложении и развитии социально-политической, демографической, культурной и даже экономической областей истории как собственно греческих колоний названного региона, так и населения, проживавшего в непосредственной близости от эллинских центров. По существу эти исследователи в своих представлениях исходят лишь из примата собственно греческого, имманентного развития местных колоний во всех областях и сферах их жизнедеятельности, решительным образом отделяя их историю от истории аборигенного населения Причерноморья и оставляя тем самым для варварского хинтерланда функцию стороннего (пассивного) наблюдателя, или в крайнем случае — только скромного участника малозначительных социально-экономических процессов, но, разумеется, без права решающего голоса.

Сторонники второй точки зрения, основываясь практически на тех же самых запасах информации, что и вышеупомянутые исследователи, столь же решительно придерживаются принципиально иной, прямо противоположной позиции, полагая, что у них имеется достаточно оснований отводить автохтонному населению Причерноморья одно из основных мест среди сил, участвовавших в процессе формирования не только истории и культуры названного региона в целом, но и конкретно самих территорий, охваченных прямой греческой колонизацией. Во всяком случае, по их мнению, этот процесс не может получить сколь-либо адекватного исторического обоснования без учета фактора постоянного воздействия на эллинские общины со стороны варваров.

Несмотря на наличие отдельных точек соприкосновения (так, к примеру, приверженцы второй позиции отнюдь не исключают доминирующего

воздействия со стороны колонистов на социально-экономическую, военнополитическую и демографическую составляющие в так называемых контактных зонах региона в отдельные периоды греко-варварских взаимодействий), оба подхода в своей основе все-таки несовместимы. В силу этого в конечном счете несовместимыми, или по меньшей мере различными, оказались и решения других так или иначе связанных с этой тематикой вопросов исторического развития Северного Причерноморья VII — первой трети III в. до н. э. По существу следует констатировать, что на этой основе к последнему времени произошло практически полное размежевание исследователей по всем важнейшим направлениям. В заметной мере, в частности, этим размежеванием затронуты представления о причинах и конкретной форме колонизации отдельных территорий региона, конкретном ходе развития колонизационного процесса, характере и путях сложения местных государственных образований и сельского населения в окрестностях греческих центров, этнокультурной и исторической интерпретации отдельных памятников и т. д. и т. п. Словом, отсутствие методически выверенного, более или менее единообразного подхода к проблеме греко-варварских отношений в Северном Причерноморье закономерно привело ныне к поистине кризисной ситуации и в деле разработки единой концепции исторического развития этого обширного региона.

Как видим, существующее положение оставляет желать много лучшего. Но дело не только в этом. Последствия констатируемой ситуации гораздо серьезней, чем это может показаться при беглом взгляде. В данной связи будет уместным напомнить то в высшей степени важное обстоятельство, что само по себе Северное Причерноморье занимало особое место среди основных подразделений, составляющих античное «пограничье». Эта особенность приобретает черты исключительности, даже уникальности, если принять во внимание, что именно здесь, т. е. в Северном Причерноморье, и нигде более в пределах древнегреческой ойкумены, на протяжении многих веков в прямой контакт вступали не только стадияльно отличные, разноформационные общества, стоявшие на различных уровнях социально-экономического развития, но и общества принципиально различных хозяйственно-культурных типов: кочевники-скотоводы, с одной стороны, и пашенные земледельцы в лице жителей греческих апоекий северных берегов Черного моря и автохтонного оседлого и полuosедлого населения лесостепной зоны региона, с другой.

Неправильное определение места и роли обоих компонентов оппозиции — греческих колонистов и аборигенов — в формировании культурного облика территории Северного Причерноморья скифского времени, тем более потеря достоверной информации об одной из существенных сторон жизнедеятельности местных эллинских апоекий — их отношений с миром ко-

чевников-скотоводов, не могут не сказаться самым пагубным образом на наших представлениях о ходе исторического развития как самого Северного Причерноморья, так и античного «пограничья» в целом. Необходимость детальной ревизии существующих в историографии разработок по проблеме греко-варварских отношений в Северном Причерноморье, таким образом, вполне очевидна. Столь же очевидно, впрочем, и другое — необходимость создания на основе критического анализа различных точек зрения исторически выверенной и по возможности хронологически детализированной картины таких отношений.

Как представляется ныне, для проведения работы в этом направлении имеются все основные предпосылки. В данной связи следует отметить прежде всего, что многолетние и систематические раскопки греческих колоний Северного Причерноморья, проводимые до последнего времени, как правило, во все возрастающем объеме многочисленными экспедициями России и Украины, позволили накопить поистине огромный, разнообразный и хорошо документированный материал интересующего нас времени, примерно освещающий различные стороны экономической, военно-политической, демографической, культурной и духовной сфер жизни этих центров. Следует особенно подчеркнуть и то, что лавинообразное расширение археологических источников в последние три десятилетия захватило не только или, точнее, не столько собственно эллинские центры, но — и это особенно важно — и многочисленные рядовые памятники, находящиеся в их непосредственном окружении, на хоре, и в так называемых контактных зонах с варварским хинтерландом. Параллельно значительные успехи были достигнуты в последнее время и в области углубления наших знаний об истории и культуре самого автохтонного населения Северного Причерноморья как степной, так и лесостепной зон. Все это вместе взятое предоставляет в руки исследователей достаточно репрезентативную выборку источников для удовлетворительного разрешения проблемы греко-варварских отношений в Северном Причерноморье. Указанные соображения побуждают коллектив авторов настоящего исследования вновь обратиться к рассмотрению всей совокупности материалов, так или иначе связанных с этой темой, с тем чтобы попытаться с их помощью хотя бы в самых общих чертах реконструировать историческую картину социально-экономических, военно-политических, демографических и культурных контактов и взаимодействий местных греческих колоний с варварами Северного Причерноморья в середине — второй половине VII — первой трети III в. до н. э., т. е. от момента выведения на берега северной части Понта первых колоний до разгрома т. н. «Великой Скифии».

Основные аспекты и результаты изучения греко-варварских контактов и взаимодействий в Северном Причерноморье скифской эпохи

Хорошо известно, что изменение представлений о характере греко-варварских контактов и взаимодействий вообще и для района Северного Причерноморья в частности оказалось изначально самым теснейшим образом связанным с трансформацией взглядов на причины, условия и характер самой греческой колонизации. В становлении торговой концепции, в борьбе идей о так называемом эмпориальном этапе развития колоний и временном торжестве аграрной модели, с переходом к признанию многофакторности колонизации («полиморфность при доминанте») и требованию конкретно-исторического подхода к исследованию возможных поводов и условий выделения отдельных эллинских апоекий создавались, конкурировали, видоизменялись и представления антиковедов на основные формы становления греко-варварских отношений в Северном Причерноморье.

На своем пути изучение проблемы этих отношений прошло по меньшей мере четыре отдельных периода.

Первый период охватывает большую часть XIX и первую четверть XX столетий. Среди основных работ, наиболее полно характеризующих главные направления и результаты исследований этого периода в области греко-варварских взаимодействий, в первую очередь необходимо назвать труды К. Неймана (1855), В. Н. Юргевича (1872), Л. Бюрхнера (1885), А. С. Лаппо-Данилевского (1887), В. В. Латышева (1887), Э. Р. Штерна (1900), Е. Минза (1913), Б. В. Фармаковского (1914) и особенно М. И. Ростовцева (1912, 1913, 1918, 1925, 1993). Следует заметить сразу, что хотя научная значимость указанных работ в настоящее время выглядит весьма различно, практически всем им присуща примерно одинаковая реконструкция основных черт греко-варварских отношений в Северном Причерноморье. Главные итоги разработок XIX — начала XX столетий оказались, впрочем, весьма интересными и, что весьма показательно, по большей части были восприня-

ты и получили свое дальнейшее развитие в последующее время. Вкратце их содержание сводится к следующему.

Как показывает анализ литературы вопроса, единственной реальной движущей силой колонизации северных берегов Черного моря в представлении подавляющего большинства антиковедов этого времени являлись торговые устремления греков (Neumann, 1855, S. 335 ff; Юргевич, 1872, С. 4 сл; Лаппо-Данилевский, 1887, С. 364; Латышев, 1887, С. 6; Штерн, 1900, С. 6; Minns, 1913, P. 438–440; Ростовцев, 1918, С. 36; Bilabel, 1920, S. 60 ff). Хотя роль других факторов, таких, например, как поиск плодородных земель, сырья и богатых рыбных угодий, полностью не отрицалась, однако им отводилось явно второстепенное место. В целом превалировало понимание колонизации как двух-, трехступенчатого процесса.

В соответствии с таким пониманием, исходным пунктом греко-варварских контактов считались сначала эпизодические ознакомительные, а затем и относительно регулярные сезонные плавания греческих купцов и рыбаков к берегам Северного Причерноморья, без создания там постоянных поселений. Продолжительность такого рода контактов эллинских торговцев с туземцами оценивалась как весьма значительная. Одновременно было констатировано, что конкретные формы и характер этих контактов в целом остаются неизвестными.

По мере знакомства с местными природными условиями, характером туземцев, налаживанием дружеских отношений с ними и постепенного осознания выгод прямого товарообмена греческими мореходами и варварами в наиболее удобных для развития торговых отношений пунктах стали возникать постоянные греческие колонии или фактории. В ряде случаев эти фактории были инкорпорированы в структуру действующих туземных поселений, зачастую расположенных к тому же в исходных пунктах крупнейших торговых путей местных жителей. В силу этого население таких колоний-факторий в этнокультурном отношении представлялось по большей части смешанным, поскольку здесь поначалу вместе с греческими колонистами якобы проживало и довольно большое количество туземцев, в том числе и выходцев из различных частей обширной Скифии, привлеченных сюда, главным образом, выгодами непосредственной торговли. Далее следовало естественное предположение, согласно которому совместное проживание греков и варваров в этих пунктах вело их к культурному сближению и ассимиляции.

Последним, третьим, этапом колонизации оказывалось либо постепенное, растянутое во времени, преобразование наиболее удачно контактирующих с аборигенами факторий в большие торговые города, либо одноразовое выведение на территорию таких торговых поселений относительно крупных контингентов эпойков с теми же последствиями.

Вместе с тем утвердилось мнение, что сама по себе торговая по преимуществу ориентация колонизационного потока на берега Северного Понта вела к развитию здесь в основном мирных отношений греков с туземным населением. Не без основания считалось, что главный интерес к торговле с эллинами проявляла местная племенная знать. Основа мирных отношений, таким образом, мыслилась как взаимная экономическая заинтересованность.

При преобладании мирных отношений на начальной фазе контактов допускалось все-таки существование различных вариантов занятия колонистами мест под заселение, а именно в форме свободного, т. е. не отягощенного внешними факторами, выбора, либо на основании специального договора с местными правителями и даже с выплатой им какой-то одноразовой компенсации или даже постоянного трибута. Попытки декларирования обширных военных конфликтов с туземцами при основании новых колоний — Ольвии, прежде всего, — в целом не получили поддержки у исследователей или же просто отвергались.

Существенным достижением антиковедов XIX — начала XX столетий стало подробное определение видов товаров, которыми, как полагали, греческие купцы обменивались с местным населением. Активная роль в такого рода операциях приписывалась прежде всего самим эллинам, но никак не скифам.

Едва ли не общим местом была убежденность исследователей в значительном воздействии более передовой греческой культуры на северопрichernоморских варваров. Главным проводником этого воздействия мыслилась, разумеется, все усиливавшаяся во времени торговля. Среди наиболее наглядных, разительных примеров такого воздействия указывалось не только на сильную эллинизацию части скифской верхушки и возникновение греко-варварской культуры на Боспоре, но и на образование греко-скифского или сильно грецизированного варварского населения в окрестностях эмпория борисфенитов. Более того, тогда же было высказано еще одно очень важное суждение, согласно которому культурное и экономическое воздействие со стороны эллинов в какой-то степени затронуло и хозяйственный уклад туземцев, постепенно начавших переходить под их влиянием от кочевания к оседлому образу жизни и занятию земледелием.

Что же касается собственно греческих колоний Северного и особенно Северо-Западного Причерноморья, то они хотя и приобретали в период своего расцвета (V–IV вв. до н. э.) типично эллинский облик, однако в той или иной степени постоянно находились под контролем туземных правителей. Их экономика, в значительной степени ориентированная на местный рынок, заставляла всемерно развивать свое собственное ремесло для производства разнообразных и подчас весьма дорогих изделий, учитывающих потребности и вполне специфические вкусы варваров, для продажи их в хин-

терланде. Таким образом, города в конечном счете оказывались не только простыми посредниками в торговле между метрополией и Скифией, но и сами под влиянием благоприятной конъюнктуры довольно быстро превращались в крупные центры производства.

Одним из существеннейших достижений исследователей этого времени стало, наконец, и осознание дискретности характера отношений греков и варваров во времени, вылившееся в отдельные попытки создания общей периодизации контактов. Так, отмечалось, к примеру, что наибольшего развития торговые связи между эллинскими городами и варварским хинтерландом достигли только в V–IV вв. до н. э. Сопутствовавший этому развитию экономический и культурный расцвет городов, в частности Ольвии, правомерно ставился в зависимость от дружеских связей последней со скифами.

Таковы важнейшие черты представлений о греко-варварских взаимодействиях в Северном Причерноморье скифской эпохи, сложившиеся у антиковедов XIX — начала XX столетий.

В заключение заметим также, что наиболее ярким достижением в данной области знаний явилось создание М. И. Ростовцевым в конце первого периода двух фундаментальных исследований, специально посвященных рассмотрению проблемы взаимодействий (Ростовцев. 1918, 1925, 1993). Основным отправным пунктом указанных разработок стало уверенное выделение сразу трех главных факторов развития культурной жизни Северного Понта античного времени: эллинского, так называемого «алародийско-иранского» и среднеевропейского. При этом, по мнению М. И. Ростовцева, решающую роль в формировании исторического облика региона должны были играть прежде всего греческая составляющая и пришедшие с Востока орды кочевников (Ростовцев. 1918. С. 6–7). Как бы то ни было, но именно М. И. Ростовцеву принадлежит плодотворная идея решительного отказа от господствовавшего в науке подхода — рассматривать эллинизм и иранство в Северном Причерноморье изолированно или в чисто механистическом соединении и уж во всяком случае вне связи с историей окружавшего их мира варваров.

Поставив своей основной задачей восстановить эту естественно-историческую связь и хотя бы в первом приближении проследить сложнейший механизм взаимодействий всех трех вышепоименованных факторов, М. И. Ростовцев открыл перед своими последователями совершенно новые перспективы научного моделирования. В этом смысле появление названных работ являлось началом не только превращения изучения греко-варварских отношений во вполне самостоятельное направление исследований культурного развития населения раннего железного века Северного Причерноморья, но и отчетливого понимания необходимости такого изучения как единственной основы для надежной реконструкции истории этого региона.

Второй период исследований в интересующей нас области классической археологии охватил отрезок времени от второй половины 20-х до начала 50-х гг. Среди работ указанного времени наиболее значительную, подчас даже определяющую роль в формировании конкретных представлений на характер взаимодействий греческой и туземной культур в Северном Причерноморье сыграли труды М. Ф. Болтенко (1930), С. А. Жебелева (1933, 1953), С. И. Капошиной (1933, 1937, 1941, 1945, 1950а, б), Т. Н. Книпович (1934, 1940а, б), Г. Д. Белова (1938), Л. М. Славина (1938), О. А. Артамоновой (1940), Д. И. Нудельман (1946), А. А. Иессена (1947), Б. Н. Гракова (1947а–в), В. Ф. Гайдукевича (1949), Д. П. Каллистова (1949, 1952), В. Д. Блаватского (1950а, б), Д. Б. Шелова (1950), В. Ф. Гайдукевича и С. И. Капошиной (1951) и особенно Н. Я. Марра (1925, 1926, 1933, 1934).

В целом второй период — время выдвижения на первую роль «нового» фактора развития культурной жизни населения Северного Причерноморья античной эпохи — родоплеменного или среднеевропейского, по терминологии М. И. Ростовцева, мира туземцев при сохранении господствующего положения торговой концепции колонизации. Нет никакого сомнения также, что указанная трансформация во взглядах подавляющей части археологов произошла под прямым воздействием идей, выдвинутых крупнейшим отечественным языковедом конца XIX — первой трети XX столетия Н. Я. Марром в рамках его так называемой яфетической теории, впоследствии переименованной им же в «новое учение о языке».

Одним из основных постулатов этого учения стало практически полное отрицание сколь-либо значительных влияний миграций на формирование исторического процесса. В археологии утверждались принципы эволюционизма, автохтонности и даже отчасти этнической непрерывности (ср. Марр. 1934. С. 311–312).

Вторым, не менее важным положением «яфетидологии» был отказ и от «атавистических предрассудков» касательно превосходства какого бы то ни было народа над другим. Весь ход прогресса, а с ним развитие культуры, по мнению Н. Я. Марра, происходили «не от внешних явлений, а от внутренней работы накаплиющихся материальных сил в процессе их диалектического развития. Никаких изначально-расовых факторов творчества» (Марр. 1933. С. 241). Тем самым вполне логичными оказывались и неоднократные решительные выступления ученого против «греческого чуда» и какой-то особой роли эллинов в формировании местной культуры Северного Причерноморья античной эпохи, т. е. той роли, которой якобы противоречат все факты и языкознания, и археологии, и этнографии (см., например, Марр. 1926. С. 41).

Одной из важнейших сторон продиктованного «яфетидологией» подхода к интересующей нас проблеме отныне становится поиск всевозможных свидетельств жизнедеятельности туземцев Северного Причерноморья в зо-

нах, охваченных прямой греческой колонизацией. Уже в наиболее ранних работах второго периода на этом пути, казалось, были достигнуты первые впечатляющие успехи. В материалах Березани, Ольвии, их окружи и в Херсонесе впервые выделяются и в ряде случаев детально описываются целые серии своеобразных погребальных комплексов, примитивные земляночные сооружения и так называемая лепная керамика, свидетельствующие, по мнению исследователей, о присутствии в составе жителей этих колоний и в их окрестностях весьма заметного контингента аборигенного населения; делаются предварительные попытки оценить удельный вес этого населения, его социальный и имущественный статус и, естественно, этническую принадлежность. Практически общим местом становится подтверждение выводов более раннего периода исследований о внедрении греков в уже давно существовавшие на северных берегах Черного моря поселения или даже города туземцев.

Одновременно с этими конкретно-историческими разработками материалов в среде археологов начинает укрепляться мнение и об активной роли варваров в их взаимодействиях с колонистами. Более того, тогда же была высказана твердая убежденность в том, что «и Боспор, и Херсонес, и Ольвия без тесных связей с туземным миром не могли бы существовать, поскольку они были зависимы от него в значительной степени во всех направлениях своей экономической жизни» (Жебелев. 1953. С. 271). Как полагали при этом, относительно близкие уровни социально-экономического развития аборигенов и пришельцев будто бы вполне обеспечивали в местных условиях сращивание их общественных верхов, в результате чего в Северном Причерноморье античной эпохи и возникла своеобразная, ни на что не похожая греко-варварская культура.

Утверждение активной роли варварского компонента в формировании так называемой греко-скифской культуры Северного Причерноморья и ее основого своеобразия остается лейтмотивом исследований советских историков и в послевоенное время. Однако при этом происходит явное расширение спектра разрабатываемых сюжетов. Помимо продолжения рассмотрения материалов некрополей, строительных комплексов и лепной керамики, результаты которого в основном лишь подтверждали сделанные ранее выводы об этнической неоднородности состава населения отдельных эллинских центров, внимание исследователей все больше начинают привлекать и вопросы более глубокого исторического звучания, а именно характер взаимодействий греческих и местных культов в Северном Причерноморье, военно-политическая составляющая контактов, социальное положение различных групп варваров, втянутых в политическую и экономическую орбиты пришельцев, важнейшие результаты воздействия греческой культуры и экономики на верхние слои туземного общества и, наконец, периоди-

зация истории региона, основанная на изменениях этнического состава населения эллинских колоний и характера их культуры.

Среди очередных задач античной археологии на первое место в это время выдвигается требование «изучать те памятники прежде всего, где может быть вскрыт стык греческой колонизации и догреческой культуры местного населения» (Капошина. 1946. С. 221). Следует заметить также, что постановка такой задачи неизбежно вела к необходимости рассмотрения всего комплекса вопросов, связанных с развитием самого туземного общества Северного Причерноморья и его контактов со Средиземноморьем.

Важным событием в разработке этой проблемы стал выход книги А. А. Иессена, предложившего по существу совершенно новый подход к изучению греко-варварских взаимодействий в регионе (Иессен. 1947).

Основным отправным пунктом этого изучения, по убеждению ученого, отныне должно являться представление о феномене греческой колонизации Северного Причерноморья как выражении двустороннего по своему содержанию исторического процесса, поскольку она якобы «была обусловлена всем предшествующим развитием как самих греков, в первую очередь — ионийцев, так и местного населения наших степей» (Иессен. 1947. С. 89). Подчеркнем, что в концептуальном плане идея «двусторонности» является не более чем предельно расширенным вариантом теории торговой колонизации. Методологической базой такого расширения на этот раз стали основополагающие принципы построения «нового учения о языке» Н. Я. Марра. Впрочем, нельзя не заметить все же, что именно в этом, последнем, качестве исследователь делал свое единственное, но достаточно серьезное отступление от директивной линии «яфетидологии», однозначно приписывая древнегреческим апойкиям, а отнюдь не туземным племенам, определяющую роль в дальнейшем развитии всей культуры Северного Причерноморья (Иессен. 1947. С. 51).

Значительно более последовательную реализацию на историческом уровне представлений Н. Я. Марра содержат работы Д. П. Каллистова (1947, 1952). В них, пожалуй, впервые в историографии было поставлено под сомнение одно из, казалось бы, совершенно незыблемых достижений отечественного антиковедения — идея возникновения в Северном Причерноморье особой синкретической греко-скифской культуры. Само появление такого сомнения не случайно. Оно явно базировалось на уже упоминавшемся постулате «нового учения о языке» — об эволюционном характере развития автохтонного населения, не подверженного сколько-нибудь сильным внешним культурным воздействиям со стороны мигрантов — и социологизаторском в своей сути анализе общественных отношений.

Есть веские аргументы полагать, что новый, третий по счету, период изучения греко-варварских контактов на территории Северного Причерноморья

рья охватил время от начала 50-х до самого начала 70-х гг. В числе основных работ этого времени в первую очередь следует назвать труды Н. В. Шафранской (1951, 1956), В. Д. Блаватского (1953, 1954а, б, 1955, 1959, 1964а–в), А. И. Фурманской (1953, 1963), И. Т. Кругликовой (1954, 1959), Л. М. Славина (1954, 1956, 1959), Б. Н. Гракова (1954, 1959), Ф. М. Штителъман (1954, 1956), В. М. Скудновой (1954, 1960, 1962), Т. Н. Книпович (1955, 1956), В. Ф. Гайдукевича (1955, 1959), Е. О. Прушевской (1955), Н. И. Бондарь (1955), Я. В. Доманского (1955, 1961, 1965, 1970), С. И. Капошиной (1956а, б; 1959), Д. Б. Шелова (1956, 1967), А. А. Белецкого (1957, 1958), Н. И. Сокольского и Д. Б. Шелова (1959), М. Ф. Болтенко, И. Д. Головки и Ф. М. Гудимовича (1959), Н. В. Пятышевой (1959), М. Ф. Болтенко (1960а, б), Н. А. Онайко (1960, 1966, 1970), Ю. И. Козуб (1960, 1962), Н. И. Сокольского (1961а, б), В. Л. Зуца (1965) и особенно В. В. Лапина (1963, 1966).

Одним из наиболее существенных отличий этого времени от предыдущего этапа явилось то, что вскоре после разгрома марризма идеологическое давление на археологов заметно пошло на убыль.

Впрочем, на начальной фазе третьего периода большинство отечественных антиковедов продолжало оставаться приверженцами чисто торговой модели греческой колонизации этого региона. Более того, создается впечатление, что в 50-е гг. происходит почти полная реанимация суждений на сей счет, более всего характерных для работ первого периода исследований. Как ранее, так и теперь сам процесс освоения берегов Черного моря делится на три взаимосвязанных этапа, в числе которых особое значение придается второму — возникновению постоянных эмпориев. Почти в обычном стиле трактуются и основные линии развития взаимодействий греческих поселенцев с туземным населением. При этом, однако, на первых порах практически общим местом становится отрицание превалирующей роли аборигенов в этих взаимодействиях. Речь теперь скорее идет о другом — не столько о возникновении в регионе обширной синкретической греко-варварской культуры, сколько о проникновении сильных культурных элементов в духовную сферу и материальный быт скифской аристократии и какой-то части сравнительно небольших местных общественных образований, проживавших главным образом в ближайших окрестностях греческих центров.

Основным, если не единственным, проводником такого проникновения по-прежнему мыслится торговая активность греков. Не случайно поэтому, что именно во время третьего периода ученые предпринимают новую серьезную попытку предметного рассмотрения всей совокупности свидетельств экономических связей колонистов с варварским хинтерландом (Фурманская. 1953; Прушевская. 1955; Бондарь. 1955; Зеест. 1959; Граков. 1959; Онайко. 1960; 1966; 1970; Скуднова. 1962; Доманский. 1970). Углубленный качественный, количественный и хронологический анализ материалов са-

мих греческих центров и находок импорта в степной и лесостепной зонах Северного Причерноморья позволил тогда же значительно более рельефно, чем когда либо раньше, оценить характер, реальные масштабы и пути торговых сношений Ольвии и Боспора со Скифией, дал возможность примерно проследить динамику указанных сношений во времени и определил основную номенклатуру ввозимых и вывозимых товаров. Следует отметить, что главные выводы такого рода анализа оказались в общем и целом весьма созвучными с уже известными нам по результатам исследований XIX — начала XX столетий. Однако помимо подкрепления, уточнения и расширения прежних наблюдений, новые разработки имели и более важное значение — они создали вполне фундированную базу для реконструкции достаточно взвешенной картины воздействия коммерческой деятельности эллинов на социальное и культурное развитие местного общества.

Было установлено, в частности, что торговля оказалась не в состоянии создать в Скифии новый способ производства. Она в лучшем случае способствовала ускорению имущественной дифференциации в среде отдельных варварских племен и стимулировала здесь развитие собственных производительных сил, подрывая тем самым устой первобытно-общинных отношений, что в конечном счете не могло не содействовать формированию в Северном Причерноморье первых туземных государственных образований.

Более взвешенный подход к проблеме греко-варварских отношений наблюдается в это время и в плане оценки местного вклада в развитие греческих колоний региона. Как полагали, этот вклад в значительной мере был опосредованным. Через приводной ремень торговли с хинтерландом в греческих городах довольно быстро возникло и развилось собственное производство всевозможных предметов потребления, предназначенных для продажи во внутренние районы Скифии. При этом вполне допустимым считалось и довольно масштабное участие туземных металлургов и мастеров в непосредственном производстве на экспорт.

Вместе с тем сам факт наличия автохтонного элемента в составе населения греческих городов начинает рассматриваться в первую очередь как одно из следствий естественного стремления эллинской, раннеклассовой по своей структуре, общины города использовать местные людские ресурсы для создания здесь слоя социально зависимого населения. Впрочем, в среде самих туземцев апойкий усматривается присутствие и какого-то числа полностью свободных и вполне зажиточных лиц, например, ремесленников, торговцев и даже отдельных представителей скифской знати. Однако основной контингент аборигенной прослойки в городах Северного Причерноморья начиная уже с позднеархаического времени состоял, по мнению большинства ученых, все-таки из рабов и зависимых. Интересно отметить, наконец, что попутно с таким представлением социального состава и вполне опре-

деленным предназначением большей части туземного населения античных центров было высказано убеждение, что ее формированию в интересах эллинов могла содействовать местная племенная верхушка, стремившаяся к всемерному развитию своих экономических контактов с греками (Гайдукевич. 1955. С. 25).

Вернемся, однако, снова к началу третьего периода исследований. Как уже отмечалось выше, большинство антиковедов этого времени продолжало оставаться истыми приверженцами идеи исключительно торговых устремлений греков на северные берега Черного моря. Вместе с тем тогда же в отечественной историографии появились и первые признаки надвигающегося кризиса этой концепции. На фоне критического переосмысления итогов работ 20-х — начала 50-х гг. и более углубленного изучения фонда накопленных материалов и данных античной литературной традиции среди специалистов вскоре стали раздаваться отдельные голоса предостережения против чрезмерного преувеличения роли чисто коммерческих интересов эллинов как во всех случаях единственной движущей силы колонизации (Доманский. 1955. С. 6).

Есть веские основания полагать, что уже со второй половины 50-х гг. число сторонников главным образом коммерческой ориентации местных эллинских городов резко пошло на убыль. Отсутствие бесспорных материальных свидетельств в пользу существования эмпориев на территории античных центров, прежде всего Ольвии и Боспора, с одной стороны, и появление дополнительных данных о развитии здесь разного рода ремесел и особенно сельского хозяйства, с другой, способствовали возникновению нового информационного поля. Именно поэтому, надо думать, исследователи все чаще начинают обращать внимание на более сложный, нежели это казалось ранее, характер экономической базы отдельных северопонтийских колоний.

Кульминационным моментом новой волны критики источников стало вполне определенное предположение, согласно которому греческая колонизация Северного Причерноморья являлась по своей природе не только торговой и ремесленной, но и земледельческой, «причем в разных центрах первоначально преобладал тот или иной вид хозяйственной деятельности» (Сокольский и Шелов. 1959. С. 51–52). Словом, уже для этого времени можно констатировать нарастание явных предпосылок к постепенному переходу от преимущественно торговой модели к совершенно новой и исторически более адекватной теоретической концепции греческой колонизации региона — ее многофакторности или полиморфности при доминанте. Впрочем, до вполне реальной и окончательной трансформации взглядов большинства отечественных ученых в указанном направлении было еще далеко. В начальной фазе грядущих радикальных перемен на роль единственной нормы, объясняющей все основные черты эллинской миграции на северные берега

Черного моря, стала претендовать так называемая аграрная теория колонизации (Лапин. 1966).

Анализ существующей литературы вопроса показывает, что практически одновременно с изменениями во взглядах на причины появления греческих апойкий в регионе и в тесной взаимосвязи с этими изменениями происходит и заметная переоценка ценностей в сфере интерпретации контактов пришельцев с аборигенным населением. В данном отношении прежде всего необходимо отметить постепенное усиление понимания исключительной сложности и внутренней противоречивости самого процесса взаимодействий античных государств с отдельными племенами Северного Причерноморья в различные периоды их истории (Сокольский. 1961а. С. 124; Блаватский. 1964а. С. 13). Важной составной частью такого рода переоценки становится, кстати, и осознание невозможности слишком уж прямолинейной и узкой этнической атрибуции большинства исторических материалов и фактов, происходящих из зон непосредственных и, вероятнее всего, наиболее продолжительных контактов различных культурных элементов.

Со все возрастающим упорством и последовательностью делаются попытки поставить под сомнение, а затем и полностью исключить из использования один за другим буквально все виды историко-археологических источников, обычно привлекаемых для освещения проблемы взаимодействий колонистов с туземным населением Понта, в том числе: погребальную обрядность, продукцию ольвийских литейных и косторезных мастерских, строительные комплексы — так называемые землянки и полуземлянки и даже в значительной мере лепную керамику. Наконец, все большее предубеждение начинает вызывать и сама идея преемственности местных культур до- и колониационного периодов, выливающееся зачастую в крайне негативное отношение, к казалось бы, раз и навсегда установленному факту наличия догреческих поселений на территории античных апойкий.

Последний, решающий аргумент для создания новой концепции отношений был неожиданно получен извне — в сфере археологии позднего бронзового века. В результате кардинальной передатировки блока памятников так называемого позднесрубного периода истории Северного Причерноморья — сабатиновского и белозерского этапов — в подавляющем большинстве районов степной зоны этого региона возник весьма обширный хронологический разрыв между местными земледельческо-скотоводческими культурами эпохи бронзы и временем создания здесь самых первых греческих колоний, совершенно не заполненный археологически фиксируемыми следами жизнедеятельности в виде стационарных поселений (Тереножкин. 1965). Таким образом, как бы сами собой однозначно отрицательно решались сразу два важнейших вопроса историографии раннего железного века юга Украины — о преемственности туземной традиции до- и раннеколони-

зационного периодов и наличии оседлого населения в степи в момент проникновения в прибрежные районы Понта наиболее ранней волны переселенцев из Средиземноморья. Тем самым под прямым ударом оказывалась и идея так называемой двусторонности колонизационного процесса, причем в первую очередь как раз в своей наиболее значимой части — представлении о последовательном нарастании в регионе предпосылок переселения.

Заключительным этапом движения по пути полного переосмысления всего спектра взглядов на проблему контактов греков с аборигенами стало для этого времени монографическое исследование В. В. Лапина (1966). В нем впервые был аккумулирован и подвергнут последовательной ревизии буквально весь существовавший в тот день банк информации. Главным результатом этой обширной работы стало устойчивое и, как представляется до сих пор части антиковедов, полностью доказанное мнение, согласно которому для раннего периода колонизации северных берегов Понта варварский родоплеменной мир почти не улавливается и, следовательно, «связи с так называемым «местным населением» — это пока лишь область чистых гипотез», никак не подкрепленных конкретными данными (Лапин. 1966. С. 142).

Несмотря на начальную сугубо отрицательную реакцию значительного числа отечественных историков на исследование В. В. Лапина (см., например: Захарук. 1968; Тереножкин. 1968; Шелов, Брашинский. 1969), следует заметить все же, что оно вскоре нашло и своих верных сторонников, поделив тем самым исследователей как бы на два противоположных лагеря. В целом же указанное сочинение сыграло скорее положительную, нежели отрицательную роль в дальнейшем развитии знаний по интересующей нас тематике, наглядно продемонстрировав наличие ряда узких мест в историографии раннего железного века, требующих своего скорейшего устранения. Оно стало своего рода катализатором нового подъема изысканий в области классической археологии региона. Начался новый, четвертый по счету, период в истории изучения греко-варварских взаимодействий в Северном Причерноморье скифской эпохи.

Хронологические рамки последнего, четвертого, периода — от начала 70-х гг. до наших дней. Среди наиболее существенных исследований этого времени отметим работы В. В. Лапина (1975, 1978), А. С. Островерхова (1978а, 1980, 1981), Я. В. Доманского (1979, 1981, 1985), А. С. Русяевой и М. В. Скржинской (1979), Н. А. Лейпунской (1979, 1981), Ю. Г. Виноградова (1979, 1980а, б, 1981а–г, 1983, 1989), Е. С. Голубцовой и Г. А. Кошеленко (1980), Е. Г. Кастанаян (1981), А. А. Масленникова (1981), Л. В. Копейкиной (1981), В. М. Отрешко (1981, 1990а), М. Ю. Вахтиной (1984), В. П. Толстикова (1984), С. Б. Охотникова (1984, 1987, 1990), Э. В. Яковенко (1985), Ф. В. Шелова-Коведяева (1985), С. Д. Крыжицкого, В. М. Отрешко (1986), С. Д. Крыжицкого, С. Б. Буйских, А. В. Буракова, В. М. Отрешко (1989),

Г. А. Кошеленко, В. Д. Кузнецова (1990, 1993) и С. Л. Соловьева (1989, 1995а, б; 1999).

Судя по их содержанию, важнейшим направлением творческих устремлений большинства ученых отныне становится поиск путей преодоления разногласий, возникших в предыдущий период исследований в сфере создания исторически сбалансированной концепции греческой колонизации и моделирования картины отношений античных центров с аборигенным населением Северного Причерноморья. Разработки этого времени ведутся сразу же в двух основных направлениях, а именно: во-первых, в плане адаптации к новым археологическим фактам идеи противоположности двух миров — эллинского и варварского, отрицающей в принципе в значительной степени воздействие туземцев на формирование истории и этнокультурного облика населения зон непосредственного проживания греков, во-вторых, по линии совершенствования аргументации в пользу наличия самых разнообразных, подчас даже определяющих основные стороны экономического и политического развития отдельных апойкий, взаимодействий греков и варваров уже на самых ранних стадиях колонизации северных берегов Черного моря. Вполне очевидно также, что сама разработка названных направлений проходит в рамках дальнейшей трансформации представлений исследователей на непосредственные причины, характер и условия осуществления колонизационного движения в Северном Причерноморье. При этом первое из них традиционно остается связанным прежде всего с дальнейшей модернизацией старой аграрной концепции переселений, принявшей ныне отчасти форму «стихийной», т. е. нерегламентированной государством, массовой миграции беднейших слоев ионийцев из сельских районов Малой Азии, а второе — с развитием новой — так называемой многофакторной или полиморфной при доминанте.

Итак, мы завершили рассмотрение важнейших аспектов и результатов изучения проблемы греко-варварских взаимодействий в интересующем нас районе античного «пограничья». Подведем основные итоги только что проделанного краткого экскурса в историографию и попытаемся с их помощью определить порядок построения и наиболее существенные компоненты нашей дальнейшей работы.

Первое и самое главное, что следует еще раз констатировать в резюмирующей части, — отсутствие на сегодняшний день в историографии сколько-либо целостной во времени и пространстве картины взаимодействий эллинских центров Северного Причерноморья скифской эпохи с окружающим их туземным миром. Несмотря на большой и, как мы пытались показать, довольно напряженный путь исканий, которым шли исследователи к созданию общей концепции таких взаимодействий, несмотря на очевидные достижения в деле решения целого ряда сложнейших вопросов отношений,

особенно в области экономических и политических связей, несмотря, наконец, на появление в последний период в распоряжении отечественных антиковедов новых обширных и разнообразных археологических материалов из самих эллинских центров и, что важнее, из контактных зон этого региона — несмотря на все это, специалисты все еще вынуждены довольствоваться более или менее удачными набросками отдельных сюжетов.

Каким же ныне видится механизм преодоления столь нетерпимого положения дел в историографии?

Наиболее существенным препятствием на пути решения данного вопроса в настоящее время является, на наш взгляд, наличие в среде ученых принципиальных разногласий в оценке роли, характера и масштабов участия варварского хинтерланда в формировании культурной хозяйственной и демографической сфер жизнедеятельности эллинских апойкий, что в свою очередь, как мы видели выше, в конечном счете обусловлено отсутствием единого подхода к самой концепции отношений. Таким образом, можно думать, что основная причина указанных разногласий находится за пределами непосредственного восприятия интерпретационных возможностей собственно источниковедческой базы. Ее корни уходят глубже и должны быть связаны прежде всего с фатальным несовершенством наших исходных теоретических установок и только как следствие методическим обеспечением конкретно-исторических разработок чисто археологических фактов.

Следующим очевидным препятствием на пути создания по возможности целостной картины взаимодействий эллинских колоний Северного Причерноморья с окружавшим их миром аборигенного населения является отсутствие в современной историографии достаточно четко установленного содержания самого понятия отдельных частей этого региона античного «пограничья». Нет никакого сомнения в том, что поразительное невнимание к этому вопросу со стороны подавляющего большинства исследователей в свою очередь является следствием отсутствия глубокого понимания специфики протекавших здесь этнокультурных трансформаций. Неслучайно поэтому, быть может, в целом ряде работ все еще довольно явственно проступает стремление чересчур расширительного либо, напротив, неоправданно узкого восприятия отдельных событий истории греко-варварских контактов. Вторым необходимым условием радикального изменения существующей ситуации становится ныне, таким образом, по возможности корректное, т. е. вполне обоснованное под интересующим нас углом зрения, определение историко-географических ареалов отдельных районов Северного Причерноморья.

Однако это еще не все. Не менее, если не более существенные пробелы в современной историографии фиксируются в настоящее время и в сфере создания сколь-либо целостной периодизации отношений. Как представляется

ныне, специалисты лишь в незначительной мере затронули в своих разработках эту тему, рассматривая греко-варварские связи к тому же, как правило, в рамках иных, напрямую не связанных с ними хронологических схем. Нельзя, наконец, не отметить и того, что буквально единичные отступления от этого правила, обязанные своим появлением прежде всего наиболее ранним исследованиям, во многом устарели в своей аналитической части и охватывают гораздо более обширные или же узколокальные пространственно-временные границы. Тем самым следующим, третьим по счету, необходимым элементом механизма преодоления существующих в историографии трудностей, по всей видимости, должно стать выявление наиболее приемлемых для нас в теоретическом плане принципов внутривременной организации накопленного на данный момент фонда исторических фактов, свидетельств и наблюдений.

Ко всему только что сказанному остается прибавить, что структура дальнейшей работы по разрешению стоящей перед нами задачи — созданию целостной картины греко-варварских взаимодействий и контактов в Северном Причерноморье скифской эпохи — будет, очевидно, в значительной степени определяться уже самим характером распределения сгруппированных на основе такой периодизации материалов. При этом, однако, учитывая чрезвычайную важность наиболее точного выяснения мотивов появления первых греческих поселений в столь отдаленном районе античной ойкумены для уточнения древнейших форм и масштаба их контактов с аборигенами, особое место в работе, безусловно, следует уделить рассмотрению конкретно-исторических условий, в которых протекало освоение эллинами северных берегов Черного моря. Тем самым в структуре нашей хронологической схемы целесообразно выделить отдельный период, посвященный анализу военно-политической, этнокультурной и демографической ситуации, существовавших в Северном Причерноморье в канун греческой колонизации этого региона.

В заключение отметим, что создаваемая таким образом работа ни в коем случае не претендует, да, судя по состоянию дел в современной историографии, и не может претендовать на завершенность и полноту отражения событий греко-варварских взаимодействий в интересующей нас зоне «пограничья», она, как надеются авторы, в лучшем случае позволит сделать еще один шаг по пути мучительного процесса познания одной из наиболее интересных, но все еще во многом таинственных сторон истории населения Северного Причерноморья скифской эпохи.

Периодизация истории Северного Причерноморья в скифскую эпоху

До настоящего времени античная история Северного Причерноморья и, в частности, история скифской эпохи рассматривается по большей части дискретно — отдельно греческие государства и отдельно варварская периферия. Стремление усматривать здесь взаимосвязь, как было сказано выше, проявлялось случайно или чаще всего просто декларировалось. Процесс культурно-исторического развития греческих колоний при этом рассматривался в рамках традиционной периодизации античной истории (архаическая, классическая, эллинистическая и римская эпохи), а особенности развития местных племен вообще трактовались в пределах условных хронологических рамок (VI, V, IV—III, II—I вв. до н. э. и т. п.). Создается впечатление, что значительное число отечественных антиковедов склонны рассматривать греко-варварские взаимоотношения в регионе в виде процесса близкого эволюционному — от наиболее сильного культурного воздействия греческих апоекий на туземные общины на ранних этапах колонизации к его постепенному ослаблению во времени и смене вектора действия на противоположный в позднеэллинистический и римский периоды. Впрочем, такая оценка динамики в целом не может, разумеется, вызывать серьезных нареканий. Она позволяет вполне объективно представлять генеральную тенденцию взаимодействий и дает прямой выход на понимание той роли, которую они сыграли в культурном и социально-экономическом развитии местного населения раннего железного века юга Восточной Европы.

Вместе с тем, можно признать, что гипотезы некоторых современных исследователей, изучающих греческую колонизацию вообще и развитие апоекий на северном берегу Понта в частности, могут быть сведены в основном к положениям, известным еще Тациту. Эти положения он хорошо выразил в «Истории» в отношении г. Кремоны. Как писал древний историк, Кремона являлась крепостью, выдвинутой против трансальпийских галлов. Город окреп и расцвел «благодаря притоку колонистов, удачному расположению на водных путях, плодородию почвы, мирным отношениям и родственными связями с окружающими племенами» (III, 34, пер. Г. С. Кнабе). Не приходится сомневаться в том, что подобные оценки сами по себе явно недостаточны

для исторически адекватного восприятия этого процесса. В них в крайне небольшой степени нашел свое отражение диалектический по своей природе характер отношений, его многогранность, противоречивость и, самое главное, дискретность. Указанное положение дел заставляет считать создание периодизации истории греко-варварских контактов и взаимодействий в Северном Причерноморье одной из важнейших задач нашего исследования.

Каковы же, однако, возможные подходы и необходимые условия решения этой задачи?

Прежде всего, вряд ли требуются особые доказательства того, что важнейшим результатом разного рода контактов и взаимодействий колонистов с туземным населением должно было стать возникновение в Северном Причерноморье некоей единой динамично изменявшейся во времени культурно-исторической системы, сам факт существования которой накладывал своеобразный отпечаток на всю историю этого региона. Как очевидно, далее, сама система состояла прежде всего из трех основных частей или, лучше сказать, подсистем: кочевых обществ степей, античных государств и оседлых и полuosедлых потестарных образований лесостепей. Равным образом очевидно и то, что каждая из только что выделенных подсистем обладала спецификой, только ей присущими особенностями и закономерностями развития. Входя в систему взаимоотношений региона, любая из них так или иначе влияла на другие и, в свою очередь, испытывала обратное влияние.

В плане развития контактов и взаимодействий в этой трехчастной системе наибольшее значение, безусловно, имели две первые составляющие. Это, прежде всего, — кочевые объединения, способные в силу своей мобильности и ударной мощи в течение продолжительных промежутков времени определять военно-политическую, а следовательно, в значительной степени и экономическую, обстановку на обширных территориях, прилегающих к степному коридору, и, во-вторых, — античные центры, активно влиявшие на варварскую периферию в хозяйственном, культурном и политическом аспектах. В теоретическом плане, таким образом, вполне естественно допускать существование достаточно жесткой хронологической сопряженности спонтанной трансформации какой-либо из вышеназванных подсистем с кардинальным изменением всего механизма их взаимодействий и тем самым с изменением положения и значимости отдельных частей в самой системе и для системы. Следует предполагать, что такая взаимосвязь составляющих систему в принципе представляет в руки исследователя достаточно гибкий и совершенный инструмент построения общей периодизации региона.

Как представляется, в настоящее время есть все основания полагать, что хронологически ограниченные сочетания разнообразных по своей сути, но одинаковых по своей тональности фактов археологии раннего железного века, фактов, охватывающих все основные части рассматриваемой систе-

мы, в принципе могут служить вполне надежной первичной базой создания полнокровной исторической периодизации. Более того, следует думать, что как раз последние достижения античной и скифо-сарматской археологии — массовые раскопки скифских курганных некрополей в степной зоне, широкомасштабное исследование одного из крупнейших поселений степняков так называемого Елизаветовского городища на Дону, возможность более узкой датировки целого ряда важнейших памятников VII—I вв. до н. э. и позволяют ныне подойти к построению такой базы. Особую роль при этом, на наш взгляд, призваны сыграть результаты планомерного изучения неукрепленных сельских поселений аграрной округи античных государств Северного Причерноморья. Есть все основания полагать, что именно здесь, за пределами оборонительных стен греческих апойкий функционировал весьма чуткий социально-экономический организм, сама возможность существования которого в полной мере определялась «доброжелательным» отношением воинственных номадов. Таким образом, следует думать, что хора Ольвии, Херсонеса и Боспора является лучшим инструментом, своего рода зеркалом, наиболее четко отражающим демографические и военно-политические изменения в степном коридоре Северного Причерноморья.

В заключение преамбулы укажем на необходимость отдавать себе полный отчет в том, что временные границы периодизации, сознательно созданной почти исключительно на основе систематизации археологических реальных, изначально условны и несколько размыты.

Исходя из вышеизложенных посылок и основываясь на всей совокупности археологических материалов, наблюдений и фактов, историю Северного Причерноморья скифской эпохи можно разделить на пять основных периодов.¹

Первый период

Первый и наиболее ранний период скифской эпохи охватывает вторую половину VIII — середину VII в. до н. э. (см. Kossak. 1980; 1987; Полін. 1987; Медведская. 1992). Как уже указывалось в историографической части исследования, выделение столь раннего периода в нашей периодизации обусловлено необходимостью обрисовать историко-культурные условия, сложившиеся в регионе в канун появления здесь первых греческих переселенцев.

¹ Мотивация данной периодизации, разработанная авторами в серии совместных работ (Marcenko, Vinogradov. 1989; Vinogradov, Marcenko. 1989; Виноградов, Марченко К. К. 1991), нашла положительный отклик среди исследователей (Алексеев. 1992. С. 6; 2003. С. 21; Исмагилов. 1993. С. 62).

Итак, есть веские основания полагать, что в это время в Северное Причерноморье с востока перемещается несколько орд кочевников — носителей так называемой раннескифской культуры (см., например, Боковенко. 1989). Среди последних, по всей видимости, оказались и скифы, ставшие вскоре известными на Ближнем Востоке ассирийскому царю Асархаддону как союзники страны Манны (Дьяконов. 1951б. № 65). Данное обстоятельство, несомненно, привело к кардинальному изменению всей военно-политической, демографической и культурной ситуации в регионе. Оно, очевидно, полностью дестабилизировало сложившийся здесь ранее баланс сил и отношений. Можно думать, что одним из наиболее ярких и одновременно первых следствий этих радикальных изменений было появление в восточной Анатолии еще в конце VIII в. до н. э. одного из первых кочевых этносоциумов Северного Причерноморья — киммерийцев, нанесших в 715/14 г. тяжелое поражение урартскому царю Русе I (Дьяконов. 1951а. № 50, 8, 10, 11; Иванчик. 1989. С. 6; ср.: Тохтасьев. 1999. С. 5 сл.). Не позднее середины 70-х гг. следующего столетия в северо-западные районы Ирана, на границу с Ассирией, проникают и сами скифы, ставшие с этого времени, как и киммерийцы, одним из существенных факторов военно-политической истории на Древнем Востоке. Впрочем, как известно, окончательно закрепиться севернымномадам в этом богатейшем регионе с многочисленным и хорошо организованным оседлым населением в конечном счете все-таки не удалось.

Другое дело — Северное Причерноморье. Здесь, безусловно, у новых кочевых орд не оказалось сколь-либо значительных, т. е. близких им по силе, противников ни среди жителей степной полосы, ни тем более среди относительно более слабых догосударственных оседлых и полuosедлых образований лесостепных областей Украины и предгорий Северного Кавказа. Одним из основных результатов такого благоприятного для пришельцев соотношения сил стал довольно быстрый и, по всей видимости, сравнительно легкий захват ими буквально всех наиболее благоприятных в это время в природно-климатическом и демографическом отношении районов под заселение.

Многие ведущие категории раннескифской культуры появляются в Северном Причерноморье в пределах первой четверти VII в. до н. э. или даже несколько ранее (Алексеев. 1992. С. 38). Важно отметить, что практически все эти районы находились за пределами собственно степного коридора (рис. 1). В их числе в первую очередь необходимо назвать Прикубанье и Центральное Предкавказье, на территории которых уже в середине VII в. до н. э. (если не раньше!) фиксируются явные признаки образования первых родовых кладбищ кочевников, свидетельствующих в пользу относительной стабилизации обстановки в Предкавказье (Галанина. 1983. С. 53; Петренко. 1990. С. 75–76; Алексеев. 1992. С. 51; ср.: Kossak. 1986. S. 134). Практически одновременно еще одна орда кочевников проникает в районы Днепров-

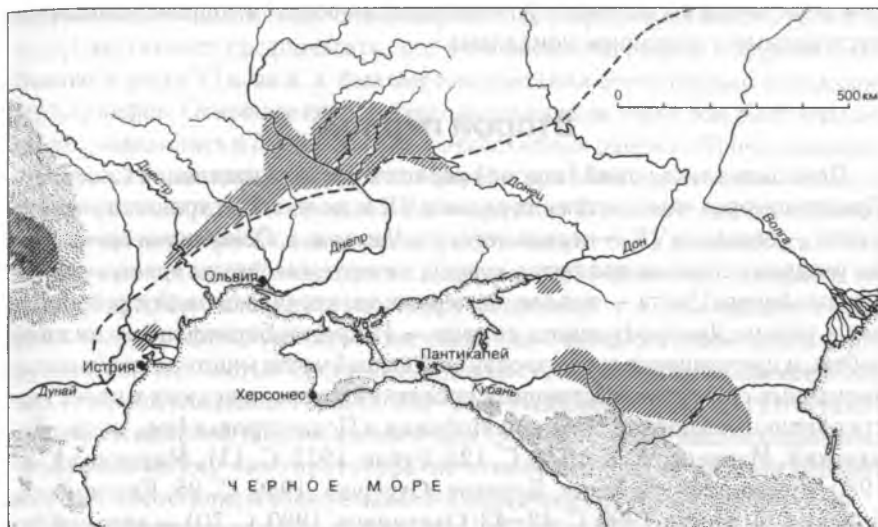


Рис. 1. Карта-схема расселения скифов в Северном Причерноморье VII–VI вв. до н. э. (штриховка наклонными линиями — районы сосредоточения скифов)

ского Правобережья и Среднего Приднестровья (Смирнова. 1989. С. 28–29, 31), а чуть позже номады закрепляются и на левом берегу Днепра, в Посулье (ср.: Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 307–308; Скорый, Бессонова. 1987). Наиболее отдаленными территориями расселения кочевников этого времени, находящимися за пределами собственно Северного Причерноморья, становятся, наконец, внутрикарпатское пространство, т. н. Семиградье на западе (Vasiliev. 1980; Vulpe. 1987. S. 83) и Волго-Камское междуречье на востоке (Погребова, Раевский. 1989).

Есть некоторые основания предполагать, что во время завоевания «новой родины» номады раннескифского периода вовсе не преследовали цели тотального вытеснения или истребления автохтонного населения. Анализ археологических материалов поселений и некрополей Северного Причерноморья свидетельствует скорее, что последнее частично было просто инкорпорировано в политическую и социально-экономическую структуру пришельцев (Галанина. 1985). Судя по грандиозности и богатству уже самых ранних погребальных сооружений VII в. до н. э. лесостепных районов Украины и особенно Предкавказья, кочевники этого времени образовали верхний пласт, своего рода аристократию, в социальной структуре новых скотоводческо-земледельческих общественных образований Понта. С этого времени здесь, по всей видимости, начал действовать механизм культурной интегра-

ции завоевателей и аборигенов, естественным образом сопровождавшийся постепенным отмиранием номадизма.¹

Второй период

Принципиально новый (второй) период в истории населения Северного Причерноморья начинается с середины VII в. до н. э. Его хронологические рамки — середина VII — первая четверть V в. до н. э. Основными временными реперами периода являются хорошо датированные факты археологии северного берега Понта — появление первых эллинских колоний в дельте Дуная и районе Днепро-Бугского лимана — Истрии и Борисфена — нижний рубеж, и прекращение существования большей части многочисленных стационарных сельскохозяйственных поселений, расположенных в окрестностях античных апойкий Нижнего Побужья и Поднестровья (см., напр.: Доманский, Марченко К. К. 1975. С. 121; Рубан. 1975. С. 131; Марченко К. К. 1980; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 95; Крыжицкий, Буйских, Отрешко. 1990. С. 42–43; Охотников. 1990. С. 70) — верхний рубеж. Сам факт появления греков в регионе бесспорно свидетельствует в пользу того, что именно на этом этапе здесь постепенно начинает складываться охарактеризованная выше трехчастная система отношений.

В целом рассматриваемый период истории Северного Причерноморья ознаменован стабильными, надо думать, относительно мирными отношениями всех трех подсистем. Для правильного понимания общей ситуации в Причерноморье при этом принципиальное значение имеет факт несомненного расцвета оседлой жизни в лесостепной зоне² и, вероятнее всего, беспрепятственное, т. е. явно не отягощенное внешними обстоятельствами, выведение греческих апойкий на северный берег Понта³, с последующим их бурным развитием, выразившимся, в частности, в своеобразном освоении обширных сельских территорий в окрестностях античных центров Северо-Западного Причерноморья (Русяева. 1979. С. 3 сл.; Марченко К. К. 1980. С. 138–141; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 20 сл.).

Отсутствие сколь-либо заметных в археологическом выражении родовых кладбищ номадов, равно как и сама крайняя малочисленность погребе-

¹ Картина отмирания культурной традиции ранних скифов при внедрении последних в иноэтничную среду хорошо показана в работах М. Н. Погребовой и Д. С. Раевского (1989. С. 60–62) и М. П. Абрамовой (1990. С. 118–119).

² Наиболее яркая характеристика культуры лесостепного населения этого и следующего периодов дана в фундаментальном труде В. А. Ильинской и А. И. Тереножкина (1983. С. 227 сл.; см. также Мурзин. 1986. С. 5–6).

³ Детальный анализ условий, в которых проходила колонизация Северного Причерноморья, в последнее время проведен Ю. Г. Виноградовым (1983. С. 370–376).

ний кочевников в степной зоне Северного Причерноморья вплоть до V в. до н. э.,¹ заставляет предполагать, что этот регион во второй половине VII и большей части VI в. до н. э. был местом обитания относительно небольших групп скифов. Основные центры скотоводов на этом этапе, как было указано выше, находились в Предкавказье и лесостепных районах Причерноморья.

Следует заметить, правда, что в первом приближении возможна и иная интерпретация только что изложенных фактов. В соответствии с ней малочисленность скифских памятников в степи может быть объяснена и зачастую объясняется особенностями самого кочевого общества, которое в это время будто бы находилось на стадии нашествия, т. е. завоевания и освоения «новой родины», когда все население двигалось без стабильных маршрутов и еще полностью не определились места постоянных зимников и летних стойбищ (Хазанов. 1975. С. 232–233; Мелюкова. 1988. С. 19). С таким решением вопроса, однако, согласиться трудно. Помимо вышеизложенных соображений ему явно противоречит отмеченный ранее расцвет оседлой жизни в лесостепной зоне региона и в окрестностях греческих колоний.

Дополнительным и очень важным аргументом против указанной интерпретации событий, на наш взгляд, является факт проходимости степного коридора этого периода в меридиональном и, что особенно примечательно, даже в широтном направлениях. Наиболее яркими археологическими свидетельствами именно такого, т. е. относительно стабильного, мирного положения дел в степи, как известно, служит значительный и все возрастающий во времени греческий импорт в лесостепные районы Понта (Онайко. 1966), присутствие вплоть до начала V в. до н. э. выходцев из числа оседлого и полuosедлого населения Северного Причерноморья и Карпато-Дунайского бассейна в составе жителей сельских поселений Нижнего Побужья (Марченко К. К. 1974. С. 153–154) и Нижнего Поднестровья (Бруйко. 1987; Охотников. 1990. С. 153–154) и, очевидно, не раз отмеченная в историографии близость целого ряда элементов материальной культуры населения Среднего Поднепровья и Предкавказья. Следует предполагать, таким образом, что контроль кочевников над греческими апойкиями и — как бы это ни казалось невероятным — в определенном смысле степью во второй половине VII — первой четверти V в. до н. э. был, скорее всего, номинальным.

Сформулированная нами позиция, впрочем, вовсе не означает отрицания наличия в это время самых различных, например, экономических и культурных контактов степняков со своими соседями, — отнюдь нет (см. Вахтина. 1984. С. 9–11). Более того, во второй половине VII — первой чет-

¹ Наиболее полные сводки погребальных памятников скифской арханки см. в работах В. Ю. Мурзина (1984), Е. В. Черненко, С. С. Бессоновой, Ю. В. Болтрик и др.

верти V в. до н. э. можно предполагать существование даже военного давления или потенциальной угрозы со стороны скифов жителям по крайней мере некоторых пограничных районов лесостепной зоны Причерноморья. Во всяком случае, именно таким образом чаще всего объясняют наличие в Среднем Поднепровье целой серии сильно укрепленных поселений земледельцев и скотоводов. Соглашаясь с возможностью такого толкования этого факта в принципе, заметим все же, что в связи с вышеизложенным пониманием хода событий в регионе вполне допустима и иная точка отсчета — возникновение укрепленных поселений и убежищ в лесостепной зоне Причерноморья явилось в значительной мере следствием социально-политического развития самих местных племен, приведшего на определенном этапе к внутренним, т. е. междоусобным конфликтам и войнам.

Как бы то ни было, однако, все эти разнообразные контакты и связи с кочевниками, по всей видимости, не играли в это время существенной роли в социально-экономической и военно-политической сферах жизнедеятельности эллинских колоний и земледельческо-скотоводческих обществ хинтерланда и уж во всяком случае не стали сколь-либо заметным тормозом на пути их развития. Таким образом, есть весьма веские основания полагать, что главными действующими лицами в системе взаимоотношений населения Северного Причерноморья в течение большей части периода являлись лишь две из трех специально выделенных нами социально-политических сил — греческие колонисты, с одной стороны, и оседлые и полuosедлые образования лесостепной зоны, с другой. Именно между этими двумя основными частями, составляющими систему взаимодействий, можно, наконец, предполагать и наличие каких-то договорных отношений, включавших, быть может, даже какие-то формы необременительной дани (подарки) местной аристократии.

Последнее, как представляется, в большей степени было характерно для апойкий Боспора Киммерийского, географически очень близких к зоне обитания скифов в Предкавказье. Не исключено к тому же, что через данный район проходил один из маршрутов регулярных передвижений части скифской орды на пути из Поднепровья в Прикубанье и, соответственно, обратно (Вахтина, Виноградов, Рогов. 1980). По этой причине можно полагать, что влияние кочевников на развитие греческих колоний Боспора было более сильным, чем, скажем, в Ольвии.

Третий период

Временные границы третьего периода — начало второй четверти V в. до н. э. — последняя треть этого же столетия. Нижнюю временную границу периода, как уже отмечалось ранее, определяет надежно установленный факт

классической археологии северо-западной части Причерноморья — прекращение жизни большей части многочисленных сельских поселений Нижнего Побужья и Поднестровья. Верхний рубеж в общем совпадает с началом реколонизации прибрежной части этих районов (Виноградов Ю. А., Марченко К. К. 1985; Охотников. 1983. С. 101 сл.), а чуть позже и Северо-Западного Крыма, с одной стороны (Щеглов. 1986. С. 166), и с началом постепенно расширявшегося во времени оседания кочевников в маргинальных нишах степи (Абикулова, Былкова, Гаврилюк. 1987) и в контактных зонах с греческими городами Боспора (Масленников. 1987), с другой. В целом же очерченный промежуток — время явно нестабильной обстановки в Северном Причерноморье, связанной с усилением агрессивности кочевников, приведшей к междоусобным столкновениям и в конечном счете к военно-политической экспансии. Следует констатировать, таким образом, что главной движущей силой этого периода, силой, формирующей и определяющей характер взаимоотношений населения Северного Понта, становятся номады.

Вернемся, однако, к самому началу рассматриваемого отрезка времени. Судя по археологическим данным, состояние относительной стабильности, мирного положения дел в регионе начало заметно меняться только с конца VI в. до н. э. или даже в начале следующего столетия. Наиболее существенной предпосылкой трансформации ранее сложившегося соотношения сил, по всей видимости, стало усиление кочевого элемента, связанное с увеличением его численности. Такому увеличению, вероятнее всего, содействовали сразу два фактора: во-первых, естественный прирост населения в степи и, во-вторых, что особенно важно, появление здесь пришельцев. Первый фактор, как представляется, был прежде всего обусловлен вполне благоприятной, мирной обстановкой в Причерноморье, а также, возможно, и началом периода, связанного с потеплением и увлажнением климата в аридной зоне. Второй же — определяется продвижением в Северное Причерноморье новых орд кочевников с более восточных территорий евразийских степей, а не только из района Северного Кавказа, как сейчас принято считать (Мурзин. 1984. С. 101). Следует заметить сразу, что эти последние хотя и принесли с собой несколько иную, нежели у их предшественников, культурную традицию (подробнее см.: Алексеев. 1992. С. 103 сл.; 1993. С. 30 сл.), однако эти отличия были, по всей видимости, столь незначительными с точки зрения ионийцев, а образ жизни столь схож, что и на них вскоре был распространен экзотизм скифы. Как бы там ни было, но второй фактор, скорее всего, стал главной причиной фиксируемого всеми группами источников усиления агрессивности номадов, которая проявилась в их военно-политической экспансии и, надо думать, междоусобных столкновениях. Прогрессирующее возрастание напряженности в Северном Причерноморье во второй четверти V в. до н. э. вылилось в род баранты.

С этого времени негативные явления проявляются практически повсеместно, т. е. буквально во всех сопредельных со степью районах Понта. Как уже отмечалось выше, резкая редукция жизнедеятельности фиксируется в конце первой — начале второй четверти V в. до н. э. на сельскохозяйственных территориях античных государств Нижнего Побужья и Поднестровья. Греческие колонии, безусловно, столкнулись в этот период со значительными трудностями военно-политического и, по-видимому, отчасти экономического характера. Античные центры Боспора, объединив свои усилия, судя по всему, сумели противостоять натиску номадов (Виноградов Ю. Г. 1983. С. 398 сл.; Толстиков. 1984). В ином положении оказались другие — географически более или менее изолированные друг от друга эллинские колонии региона: Ольвия, Никоний, Тира и даже Истрия. Как представляется, все они оказались в той или иной степени в зависимости от скифов (Марченко К. К. 1980. С. 142–143; Островерхов. 1980. С. 33–34; Виноградов Ю. Г. 1983. С. 400, 402–404; 1989. С. 81–109; Карышковский. 1987. С. 68). Сходная ситуация в это же время, по всей видимости, возникла и в западной части Крыма с ионийской Керкинитидой (Золотарев. 1986. С. 8; Кутайсов. 1992. С. 176 сл.); небольшая же дорийская колония на месте будущего Херсонеса (см.: Золотарев. 1998. С. 29 сл.; Виноградов Ю. Г., Золотарев. 1998. С. 36 сл.) вообще, надо думать, была вынуждена заморозить свое развитие вплоть до конца V в. до н. э.

Практически одновременно заметно усиливается военное давление продвинувшихся в степи новых кочевых орд и на лесостепные районы Северного Понта, где, судя по всему, в это время возникает один из основных очагов сопротивления, длительное время успешно противодействовавший их экспансии. Лишь к середине V в. до н. э. здесь появляются явные признаки нарастающего кризиса, выразившегося прежде всего в существенном сокращении следов жизнедеятельности местного населения и очевидном ухудшении его благосостояния. В археологическом представлении эти тенденции наиболее четко прослеживаются ныне на памятниках приграничных территорий лесостепной зоны Днепровского Правобережья и в Подолии (Артамонов. 1974. С. 111–113; Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 266, 294, 299, 365). Можно предполагать, что именно к этому времениномадам наконец-то удалось в основном сломать хребет сопротивления по крайней мере части оседлых племен и добиться над ними решающего военно-политического превосходства.

Археологические материалы середины и особенно второй половины V в. до н. э. вполне надежно фиксируют постепенное формирование совершенно новой ситуации в регионе.

Наиболее показательной новацией времени оказывается образование в степи родовых кладбищ номадов, включающих в себя богатые захоронения

скифской знати.¹ Как представляется ныне, данное явление прямо указывает на начавшуюся стабилизацию обстановки. Весьма показательно, кстати, что условия для зарождения такой тенденции раньше всего возникли на крайнем востоке региона, в дельте Дона, где постоянный некрополь кочевой орды скифов, так называемый Елизаветинский могильник на Дону, начал формироваться еще во второй четверти V в. до н. э. (Марценко. 1986. С. 380).

Можно думать, что постепенное замирание степи, окончательно установившей к третьей четверти V в. до н. э. свой диктат в Северном Причерноморье, стало главной предпосылкой очередного радикального изменения всей системы взаимоотношений. Началась эра «планомерного» внеэкономического эксплуатации оседлого и полuosедлого населения этого региона, основанного на фактически безраздельном военно-политическом господстве кочевой аристократии скифов. Наиболее впечатляющим и на первый взгляд парадоксальным результатом окончательного формирования насильно навязанного номадами механизма отношений оказался новый подъем хозяйственной и культурной жизни населения Причерноморья.

Четвертый период

Четвертый период истории взаимодействий охватывает время от последней трети V в. до н. э. до рубежа IV–III вв. до н. э. Напомним, что начало этого периода, кроме указанных выше явлений в степной зоне, было ознаменовано постепенным восстановлением сельской округи античных городов Северо-Западного Причерноморья и переходом к оседанию части номадов. С этим же рубежом в принципе может быть связано выведение Херсонеса в Крым (Тюменев. 1938. С. 257) и приход к власти Спартокидов на Боспоре (Diod. XII, 31, 1). Верхняя хронологическая граница периода совпадает с исчезновением так называемых царских курганов скифов.

В целом же период характеризуется относительно мирными или, лучше сказать, стабильными контактами и связями всех трех подсистем.

Следует подчеркнуть сразу, что результаты определенной стабилизации отношений в различных подсистемах имели, по-видимому, свои особенности. Так, можно думать, что население если не большинства, то уж, во всяком случае, значительной части лесостепных районов Северного Причерно-

¹ В их числе назовем Чабанцеву Могилу, Первую Завадскую Могилу, курган Бабы, Большой Знаменский курган и т. д. (см.: Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 99–101; Мурзин. 1984. С. 21 сл.; Мозолевский. 1980. С. 70 сл.; Отрошенко, Рассамхин. 1986. С. 285). Вместе с тем следует согласиться с А. Ю. Алексеевым, что по-настоящему «царская» традиция погребений появляется в Скифии с конца V в. до н. э. и именно с Солохи (см.: Алексеев. 1992. С. 120, 127, 146 сл.).

морья в общем не смогло достичь былого развития, хотя в это время здесь появляются явные признаки оживления культурной и хозяйственной деятельности.¹ Как представляется ныне, объяснение данному факту нужно искать в сравнительной слабости экономической и социально-политической базы племен этой зоны, с одной стороны, и в усиленной внеэкономической эксплуатации их кочевниками, с другой.

Иное дело — античные центры Северного Причерноморья. Последние в течение четвертого периода достигают наивысшего уровня расцвета и активно распространяют свое влияние на варварский хинтерланд по всем направлениям. Именно в это время оно становится максимальным. При этом наибольшее воздействие греческой культуры фиксируется как раз в степном коридоре.

Что касается степной зоны Северного Причерноморья, то необходимо признать, что количество археологических памятников IV в. до н. э. в сравнении с предшествующими периодами представляется здесь просто огромным (см.: Черненко, Бессонова, Болтрик и др. 1986. С. 345). Важно отметить, что в Скифии в это время окончательно выделяется несколько центров. Это — дельта Дона, Северо-Восточное Приазовье, Крым и, разумеется, наиболее крупный из них — Поднепровье (рис. 2). Аристократия каждого из этих центров явно заинтересована в связях с эллинскими городами, получая от этого значительные экономические выгоды в форме дани, подарков и в результате торгового обмена.

Вместе с тем, по мере дальнейшего развития всей этой системы взаимоотношений в целом, постепенно надвигается кризис кочевого хозяйства. В результате все углубляющегося имущественного и социального расслоения последовательно расширяется и к середине IV в. до н. э. достигает значительных масштабов оседание номадов на землю. Наиболее отчетливо эти процессы, помимо Поднепровья, прослеживаются ныне в дельте Дона. Именно здесь, на восточной границе степной Скифии, в середине — второй половине IV в. до н. э. функционировало крупное стационарное поселение вчерашних кочевников с торгово-ремесленной ориентацией экономики, так называемое Елизаветовское городище на Дону, которое с некоторыми оговорками может быть причислено даже к категории городских центров региона (Брашинский, Марченко К. К. 1980). Заметим также, что в структуру этого городища во второй половине IV в. до н. э. входила и небольшая коло-

¹ Наиболее показательным в этом смысле, пожалуй, является район Посулья, где одновременно с очевидным и значительным сокращением общего числа погребений местных жителей со второй половины — конца V в. до н. э. появляется серия сравнительно более богатых, чем прежде, захоронений людей, содержащих наряду с греческим импортом и предметы из золота (см.: Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 314–315, 325–328).

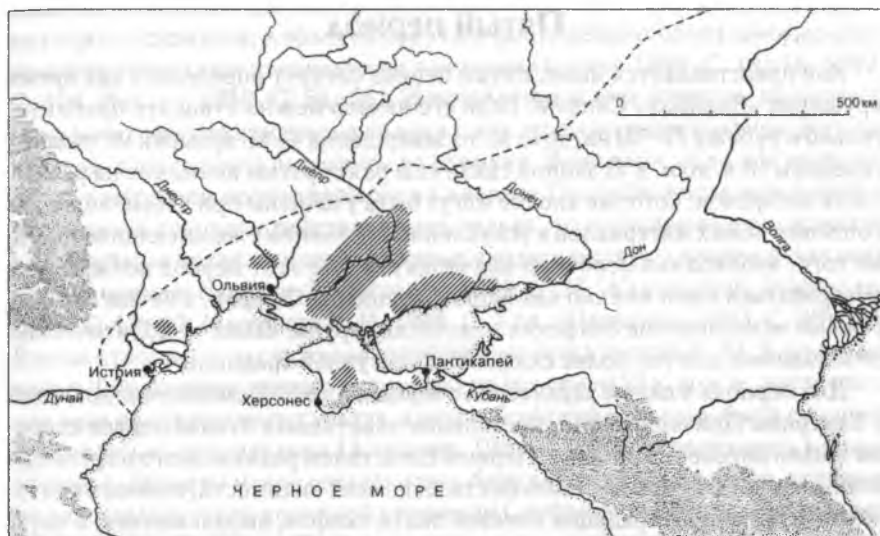


Рис. 2. Карта-схема расселения скифов в Северном Причерноморье V–IV вв. до н. э. (штриховка наклонными линиями — районы сосредоточения скифов)

ния Боспора — своего рода отдельный греческий квартал-эмпорий (Марченко К. К. 1990. С. 130–133).

В результате обозначенных процессов нарушается традиционная система жизнедеятельности кочевнического общества, что, безусловно, вело к прогрессирующему ослаблению военно-политической мощи скифов (ср.: Доманский. 1985). В этом смысле время возведения наибольшего количества степных курганов, содержащих ценнейшие произведения эллинского искусства из драгоценных металлов (вторая половина IV в. до н. э.), можно назвать «золотой осенью» Скифии.

Как долго продолжался бы подъем экономической и культурной жизни в Северном Причерноморье, как далеко зашел бы процесс седентаризации кочевников и к каким социально-политическим и структурным сдвигам все это могло бы привести общество скифов, остается только догадываться. Не позднее самого начала III в. до н. э. сложившийся относительно стабильный механизм взаимоотношений всех трех подсистем в регионе был бесповоротно сломан. Смертельный удар по внутренне ослабленной Скифии, приведший в конечном счете к значительно более глубокому, нежели в V в. до н. э., кризису всей системы, был, по всей видимости, нанесен новой волной кочевников — сарматскими племенами (Мачинский. 1971; Марченко, Виноградов, Рогов. 1997). Начался пятый период скифского или, правильнее сказать, уже скифо-сарматского времени.

Пятый период

Как представляется ныне, пятый период следует определить как время крушения «Великой» Скифии. Если его начало можно относить приблизительно к рубежу IV–III вв. до н. э., то завершение — ко времени не позднее середины III в. до н. э. В данной связи еще раз обратим внимание на размытость датировок, которые вполне могут быть уточнены при дальнейшем накоплении новых материалов и углубленном изучении уже имеющихся. Кроме того, необходимо особенно подчеркнуть, что этот период должен рассматриваться нами именно как период крушения Скифии, а не как окончательное исчезновение скифских этнических групп, каких-то политических объединений или тем более скифской культурной традиции.¹

Для периода в целом характерна очередная дестабилизация отношений в Северном Причерноморье, постепенно охватившая буквально все стороны жизни населения региона. Первым следствием радикального изменения военно-политической обстановки стало, по всей видимости, полное уничтожение культурной традиции кочевой знати скифов, выразившееся, в частности, в исчезновении скифских «царских» курганов²; практически одновременно с этим в степи исчезают и родовые могильники номадов.

Весьма показательным в этом смысле оказывается, наконец, и прекращение в самом начале III в. до н. э. функционирования крупнейшего поселения степняков на восточных рубежах Скифии — так называемого Елизаветовского городища на Дону (Марченко. 1986. С. 394–395). Иными словами, создается впечатление, что на вторжение новой волны кочевников отреагировал прежде всего степной мир Причерноморья. Вместе с тем не подлежит сомнению, что жизнь на подавляющем большинстве аграрных поселений региона, как эллинских так и туземных, продолжалась вплоть до конца первой трети III в. до н. э. Более того, именно в это время они достигают своего наивысшего расцвета. Судя по всей совокупности археологических данных, дестабилизация становится всеохватывающей только с 70–60-х гг. названного столетия, когда под ударами номадов гибнет подавляющая часть неукрепленных поселений греков (Щеглов. 1985. С. 191–192; Масленников. 1981. С. 153; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 101).

Изложенные соображения достаточно показательны, чтобы усомниться в правоте явного наметившегося в последние годы отхода ряда исследова-

¹ Напомним, к примеру, что прекращение существования так называемых позднескифских городищ в низовьях Днепра относится исследователями ко II–III вв. н. э. (См.: Абикулова, Былкова, Гаврилюк. 1987. С. 11–12).

² Наиболее поздние из «царских» курганов скифов датируются ныне временем не позднее рубежа IV–III вв. до н. э. (См.: Алексеев. 1992. С. 141 сл.; Яйленко. 1990. С. 309).

дователей от концепции, связывающей гибель Скифии с внешней агрессией со стороны сарматов, и объяснения этого факта неблагоприятными природно-климатическими изменениями в регионе (Полин. 1989. С. 14–16; 1992. С. 104; Иевлев. 1989. С. 54–55). В дополнение к ним отметим, во-первых, что климатические изменения не носят, как правило, катастрофического характера, а достаточно растянуты во времени. Во-вторых, если для этого периода о массовом проникновении в Северное Причерноморье новой волны кочевников говорить действительно нельзя, то о продвижении сарматов в Прикубанье археологические данные свидетельствуют вполне отчетливо (см., например: Березин, Виноградов. 1988. С. 33; Ждановский, Марченко. 1988. С. 42–43; Марченко И. И. 1988. С. 7 сл.; Шевченко. 1993. С. 98–99). В этом отношении заслуживает внимания и точка зрения А. Ю. Алексеева, который сравнивает данную ситуацию с положением VI в. до н. э., когда степная зона практически пустовала, а очаги скифской культуры были сконцентрированы за ее пределами (Алексеев. 1992. С. 142). Укрепившись в Предкавказье, сарматы могли создать здесь базу для походов на запад, которые, на наш взгляд, стали причиной крушения Скифии и общей дестабилизации обстановки в Северном Причерноморье.

После исчезновения с исторической арены «Великой» Скифии, на новой основе, как известно, возникли так называемые Малые Скифии. Последние были вынуждены сразу же вступить в продолжительную и далеко не всегда успешную борьбу со своими соседями — кочевыми ордами сарматов, фракийцами, галатами и эллинскими колониями Крыма, Побужья и Добруджи. Античные государства Северного Причерноморья, лишившись своеобразного гаранта в системе взаимоотношений с варварским миром в лице скифской знати, вступили в нелегкий период приспособления к новым историческим реальностям. Их положение в дальнейшем, как представляется, в значительной степени осложнялось отсутствием сколько-нибудь продолжительных периодов стабилизации в степном коридоре вплоть до римской эпохи. В данном случае мы еще раз акцентируем внимание на высказанной ранее мысли М. И. Ростовцева о прямой зависимости глубины и продолжительности кризисных явлений в Северном Причерноморье от частоты смены хозяев степи, т. е. от частоты появления здесь все новых и новых кочевых орд, не создававших надежной основы для сколько-нибудь длительной консолидации в регионе географически обширных и политически стабильных структур и объединений (Ростовцев. 1918. С. 4–5). Эти события, однако, выходят за рамки нашего исследования и, соответственно, не будут рассматриваться на его страницах. Дальнейшее изложение материала относительно греко-варварских взаимоотношений в каждом из трех античных центров Северного Причерноморья, общего и специфического в их истории будет проведено в очерченных хронологических рамках и в соответствии с предложенной периодизацией.

Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья

1. Ареал

Хорошо известно, что в структуре античного Причерноморья обычно выделяют шесть-восемь отдельных культурно-исторических или экономико-географических районов (Rostovtzeff. 1941. Р. 588 f; Шелов. 1967. С. 70; Брашинский. 1970. С. 133–137; Брашинский, Щеглов. 1979. С. 43). В числе последних в настоящее время уверенно называется и Северо-Западное Причерноморье. Само по себе выделение этого района среди прочих не вызывает ныне никаких возражений и пользуется широким признанием у антиковедов. Тем не менее в вопросе определения географических границ Северо-Западного Причерноморья до сих пор имеются весьма серьезные расхождения (ср., например: Шелов. 1967. С. 220; Vinogradov. 1979. S. 249; Брашинский. 1970. С. 134; Ольговский. 1982. С. 1–2; Щеглов. 1986. С. 165–166). Тем самым создается впечатление, что в современной историографии все еще отсутствуют вполне устоявшиеся и четкие представления о географическом ареале этого района.

Главная причина существующих ныне разногласий видится прежде всего в отсутствии единого, т. е. сквозного, подхода к районированию античного Причерноморья в целом. Как ранее, так и теперь в разного рода исследованиях используются самые различные критерии и признаки для выделения отдельных районов. Важно отметить и то, что практически все они, за исключением чисто географического аспекта, берутся обычно в сфере экономического, культурного и исторического развития самих эллинских центров диаспоры, без какого-либо серьезного учета роли воздействия на это развитие со стороны местных варваров.

Вместе с тем принципиальную важность фактора греко-варварских взаимоотношений, их самодовлеющее значение в деле разработки исторически объективного районирования античного Причерноморья отмечал еще М. И. Ростовцев, энергично подчеркивавший несомненную и весьма значительную зависимость облика экономики и политического развития греческих апойкий региона от характера контактов и отношений последних с вар-

варскими общественно-политическими образованиями хинтерланда. Более того, по мнению этого исследователя, именно конкретно-историческое развитие форм такого рода зависимости и должно было бы стать одним из основных, если не главным, критерием деления Причерноморья на вполне определенные культурно-исторические районы (Rostovtzeff. 1941. P. 91).

К сожалению, однако, приходится констатировать, что последовательное проведение в жизнь этой безусловно весьма здоровой в своей основе идеи как ранее, т. е. при жизни самого М. И. Ростовцева, так и теперь все еще вряд ли может быть полностью успешным: слишком уж велики различия в степени изученности проблемы греко-варварских контактов в пределах отдельных территорий региона. Ныне такая возможность скорее всего является все-таки исключением и существует относительно некоторых областей Причерноморья, в числе которых, несомненно, следует назвать и его северо-западную часть.

Эта уверенность вызвана прежде всего значительными успехами археологии раннего железного века в деле расширения наших знаний об облике и динамике развития местных культур северных берегов Черного моря. Совершенно неслучайно поэтому, что именно в отечественной историографии сравнительно недавно появилось единственное исследование, в рамках которого и была впервые на практике сделана попытка хотя бы частичного введения в качестве одного из аргументов районирования античного Причерноморья критерия зависимости экономического развития отдельных групп греческих колоний от воздействия на них со стороны тех или иных этнических массивов аборигенного населения (Брашинский. 1970). Совершенно естественно также, что такая попытка затронула главным образом территории северной половины этого региона.

Впрочем, необходимо отметить сразу, что в силу экономического по преимуществу аспекта районирования и невозможности сквозного использования надежной информации о варварской составляющей в культуре региона на введение последней в систему доказательств жизненности предлагаемой схемы деления Причерноморья было проведено автором этой разработки И. Б. Брашинским в крайне обобщенной форме и вынужденно играло в ней сугубо подчиненную роль, причем даже в тех относительно редких случаях, когда такая информация в принципе могла стать определяющей. Именно поэтому, как кажется, верное само по себе, т. е. на уровне констатации ряда существенных связей и параллелей в экономическом и культурном развитии собственно эллинских центров, определение ареала Северо-Западного Причерноморья, в состав которого, кстати, были тогда же включены сразу же три территориально сопредельные области греческой колонизации — северная часть Добруджи с городами Каллатией, Томи и Истрией, Нижнее Поднестровье с городами Тирой и Никонием и Нижнее Побужье с городом

Ольвией (Брашинский. 1970. С. 134), вряд ли может быть полностью и безоговорочно принято с точки зрения сходства форм зависимости хозяйственной, культурной да и политической жизни этих же центров от воздействия на них со стороны аборигенного населения.

Не следует забывать, что разные части этого обширного района в скифскую эпоху населяла весьма широкая гамма этнических, социально-политических и культурно-исторических образований варваров: гетов, скифов, кельтов и т. д. При всей вероятности близости уровней социально-экономического развития этих образований указанное обстоятельство уже само по себе должно было естественным образом привносить определенный диссонанс в их отношениях с эллинами. Но дело, разумеется, не только в этом. Априорно следует предполагать, что в отдельных случаях речь может идти и о радикальных по своей сути различиях в этих отношениях. Такое предположение закономерно вытекает хотя бы из факта принципиального отличия хозяйственно-культурных типов жизнедеятельности ряда наиболее крупных, политически влиятельных и относительно стабильных во времени и пространстве этнокультурных массивов аборигенов реконструируемого И. Б. Брашинским района Северо-Западного Причерноморья, например, гетов Добруджи и скифов степной зоны Поднестровья и Побужья, поскольку, как известно, первые оставались на протяжении всего интересующего нас периода оседлыми и полуоседлыми автохтонными земледельцами и скотоводами, а вторые, т. е. скифы, — преимущественно кочевниками, пришедшими сюда в свое время из глубин Центральной Азии.

Совершенно очевидно, таким образом, что столь существенные различия в образе жизни и проистекающие отсюда определенные несовпадения социально-психологических установок названных групп местного населения не могли не сказываться самым решительным образом на характере их контактов с близрасположенными греческими центрами, внося тем самым свой вполне специфический вклад в экономическую, политическую и культурную стороны развития последних.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к заключению о желательности и даже целесообразности выделения северной части Добруджи с городами Каллатией, Томи и даже Истрией, находившимися в практически постоянном окружении и контакте с оседлым населением Карпато-Дунайского бассейна, из состава остальной территории Северо-Западного Причерноморья, где определяющая роль во взаимодействиях варваров с греками принадлежала все-такиномадам — скифам и сарматам.

Вместе с тем само по себе такое выделение названной области не может быть абсолютным и считаться приемлемым во всех отношениях. Напротив, оно изначально относительно и должно рассматриваться как закономерный результат лишь одного из возможных случаев конкретно-исторического под-

хода к районированию. Впрочем, весьма существенно отметить и другое — относительность выделения северной части Добруджи из состава Северо-Западного Причерноморья должна быть связана нами не только с различием в принципах районирования, она время от времени может проявляться и в относительной подвижности юго-западной границы этой территории в пространстве. Не следует забывать, что в отдельные исторические периоды в силу разных причин и обстоятельств здесь происходили кардинальные изменения военно-политической и демографической ситуации, вызванные к жизни разного рода перемещениями аборигенного населения региона. При этом наиболее важным, определяющим компонентом таких перемещений являлись, как известно, периодически возобновляемые попытки захвата и освоения кочевыми ордами скифов самых различных районов Причерноморья, в том числе, разумеется, и района Добруджи, представлявшей собой отчасти естественное завершение степного коридора Северного Причерноморья.

Совершенно закономерно предполагать далее, что как раз именно такие продвижения кочевников временами могли самым решительным образом оказывать воздействие на расстановку сил в той или иной зоне греческой колонизации и приводили там к радикальным изменениям в характере взаимодействий варваров с эллинами. Тем самым возникала ситуация, при которой та же Добруджа или, по крайней мере, ее северная половина оказывалась как бы втянутой в систему отношений всего Северо-Западного Причерноморья, т. е. с точки зрения критерия зависимости исторического развития местных греческих центров от воздействия на них со стороны туземного населения становилась ее составной и вполне органичной частью. В этом случае, конечно, вполне оправдано смешение границы интересующего нас района на юго-запад, вплоть до ионийского города Томи, по крайней мере.

Весьма близкие, хотя и не тождественные выводы могут быть сделаны и при определении восточной границы Северо-Западного Причерноморья скифской эпохи. Впрочем, как известно, в современной научной литературе на сей счет существуют сразу две различные точки зрения — ограничивать этот район территорией Нижнего Побужья — Поднепровья (см., например: Шелов. 1967. С. 22; Брашинский. 1970. С. 134) и включать в его состав весь Северо-Западный Крым вплоть до города Керкинитиды (Шеглов. 1986. С. 165–166; Золотарев. 1986. С. 8).

Анализируя теперь все *pro* и *contra* этих позиций, следует признать, что у сторонников максимального расширения ареала Северо-Западного Причерноморья в восточном направлении имеются для этого весьма серьезные основания. Заметим также, что целесообразность проведения такой операции может быть основана ныне не только наличием целого ряда сходств и связей в культуре собственно греческих центров и поселений этого района (см.: Шеглов. 1986. С. 165–166; Кутайсов. 1987. С. 13). Она диктуется

нам гораздо более важными обстоятельствами, ибо, по всей видимости, охватывает сферу греко-варварских отношений. На это, в частности, косвенным образом указывают соответствующие материалы лепной керамики, свидетельствующие в пользу наличия каких-то (быть может, даже весьма тесных) контактов аборигенного населения Крыма с греческими колонистами Нижнего Побужья уже во второй половине VII — первой половине VI в. до н. э., т. е. еще задолго до основания здесь ионийской Керкинитиды (Марченко К. К. 1988а. С. 120; Соловьев. 1995б. С. 36–38). Нельзя не видеть далее и того, что сама Керкинитида и относительно небольшие ольвийские поселения, появившиеся в Северо-Западном Крыму в конце V — начале IV в. до н. э., располагались непосредственно в зоне скифских кочевий и тем самым должны были оказаться под прямым воздействием со стороны этих воинственных номадов. Иными словами, следует предполагать, что здесь, как и на остальной территории Северо-Западного Причерноморья, т. е. в Нижнем Побужье и Поднестровье, форма зависимости экономического и культурного развития эллинских апоекий от влияния на них варваров имела достаточно длительное время одинаковый или же весьма схожий облик.

Вместе с тем, судя по всей совокупности историко-археологических данных, объединение Северо-Западного Крыма с остальной территорией Северо-Западного Причерноморья необходимо все же ограничивать вполне конкретными хронологическими рамками, включающими в себя главным образом лишь период автономного полисного существования самой ионийской Керкинитиды, именно: третья четверть VI — третья четверть IV в. до н. э. (Кутайсов. 1987. С. 12).

Как установлено ныне, в более позднее время вся приморская часть интересующего нас района Крыма теряет свой прежний политический статус и полностью переходит под контроль Херсонеса Таврического (Щеглов. 1986. С. 152 сл.). С этого рубежа здесь происходят и кардинальные изменения буквально во всех областях экономической и культурной жизни местного населения. По существу эта территория уже перестает выступать в роли сколь-либо обособленной, самостоятельной зоны греческой колонизации Причерноморья и превращается в органическую и неотъемлемую часть Херсонесского государства. Не приходится сомневаться также, что форма зависимости исторического развития этой дорийской державы от воздействия на нее со стороны варварского окружения решительным образом отличалась от формы зависимости ионийских центров собственно Северо-Западного Причерноморья.

Наконец, последнее. Не приходится сомневаться, что столь же подвижным во времени был в действительности и третий из сухопутных рубежей этого района — северный. Впрочем, на сей счет в современной литературе до сих пор напрочь отсутствуют какие-либо специальные суждения. В от-

дельных случаях можно лишь догадываться, что этот термин скорее всего мыслится где-то на северной периферии наиболее интенсивного экономического влияния греческих центров на варварский хинтерланд и, таким образом, должен был проходить по территории лесостепной Украины и Молдовы, охватывая Посульско-Донецкую, Киево-Черкасскую, Восточно- и Заподопопольскую и Молдовскую группы памятников раннего железного века.

Допустимое само по себе, т. е. с точки зрения экономико-географического районирования, данное предположение нуждается, по-видимому, в некоторой корректировке с позицией критерия зависимости. Есть некоторые основания предполагать уже априорно, что оседлое население даже наиболее южной, пограничной со степью полосы лесостепной зоны могло непосредственно воздействовать на культуру и экономику эллинских колоний лишь в совершенно определенные периоды и только тогда, когда степной коридор Северного Причерноморья оказывался по тем или иным причинам лишенным жесткого контроля со стороны воинственных кочевников. Во всяком случае, лишь в такой ситуации, как кажется, вполне естественно допускать существование самых широких и прямых контактов между греческими колонистами, с одной стороны, и северными земледельческо-скотоводческими общинами варваров, с другой. Во всех иных ситуациях, т. е. при наличии сильных кочевых орд в степной зоне и тем более в периоды военного давления последних на лесостепь, влияние оседлого населения на города могло быть главным образом опосредованным и уже в силу одного этого достаточно слабым.

В заключение подведем основные итоги проведенного анализа.

Как установлено, Северо-Западный историко-географический район интересующего нас времени постоянно включал в себя только две отдельные зоны греческой колонизации — Нижнее Побужье и Нижнее Поднестровье с прилегающими к ним территориями степей. Основной отправной точкой отсчета для именно такого ограничения ареала Северо-Западного Причерноморья стала констатация сходств форм зависимости развития местных эллинских центров от воздействия на них со стороны варваров хинтерланда, прежде всего — кочевников, что, однако, вовсе не исключало полностью учета и иных факторов, в том числе устанавливаемых на уровне собственно греческой культурной традиции.

Вторым, но отнюдь не менее важным выводом нашего рассмотрения вопроса об ареале оказалось признание относительной лабильности всех сухопутных границ Северо-Западного Причерноморья. Уже предварительный анализ соответствующих историко-археологических материалов позволяет считать, что в разное время и на разные сроки в состав этого района могли дополнительно входить довольно обширные, сопредельные с основным ядром, области, в том числе: северная часть Добруджи вплоть до Томи на

юго-западе, Северо-Западный Крым до Керкинитиды на востоке и, наконец, степной коридор и частично лесостепная зона Украины и Молдовы на севере. Совершенно очевидно также, что последнее обстоятельство приводит нас к необходимости конкретно-исторического определения ареала Северо-Западного Причерноморья, причем каждый раз только в пределах строго очерченных хронологических рамок.

2.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья второй половины VII — первой четверти V в. до н. э.

Вряд ли кто-нибудь может оспаривать существование прямой зависимости между характером взаимоотношений эллинов и варваров, с одной стороны, и моделью освоения экономического потенциала колонизируемой эллинами территории. Равным образом нет сомнений и в том, что, однажды возникнув, такого рода зависимость имела двустороннюю направленность. Не является исключением в этом отношении и Северо-Западное Причерноморье.

В первом приближении ход колонизации этого района известен фактически каждому исследователю. В середине — второй половине VII в. здесь появляются первые поселения греков: Истрия в дельте Дуная и Борисфен в устье Днепро-Бугского лимана, несколько позднее — в первой четверти VI в. до н. э. — к северу от Истрии, по-видимому, возникает крошечный Аргамум, а в Нижнем Побужье — Ольвия; во второй половине этого же столетия ионийцы выводят сюда сразу же целый ряд относительно небольших колоний: Керкинитиду в северо-западную часть Крыма, Никоний и Тиру в Нижнее Поднестрие и Томи в район Добруджи; практически одновременно с этим окрестности Истрии, берега Днестровского и Днепро-Бугского лиманов покрываются сетью стационарных сельскохозяйственных поселений.

Столь же очевидным для большинства современных антиковедов является и то обстоятельство, что в канун греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья большинство прибрежных районов Северного Понта было почти полностью лишено туземного оседлого населения. Более того, как было отмечено выше (см. главу II — Периодизация), вполне вероятно, что сам-то степной коридор региона этого времени вряд ли следует рассматривать в качестве постоянного места обитания сколько-нибудь значительных групп воинственных кочевников, способных серьезно осложнить процесс внедрения выходцев из Ионии в интересующие нас зоны заселения. Таким образом, как кажется, у нас в настоящее время есть все основания полагать, что к середине — второй половине VII в. практически на всей территории Северо-Западного Причерноморья создается ситуация, явно

благоприятствующая колонизации этого района. Именно поэтому логично думать, что мы вслед за остальными исследователями вроде бы уже изначально должны решительно отказаться от рассмотрения сразу двух наиболее часто встречающихся в древности моделей греческой колонизации новых территорий — в виде военного захвата страны и насильственного вытеснения местных жителей или превращения их в пласт социально зависимого от эллинов населения, либо же в результате мирной уступки земли колонистам дружелюбно настроенными по отношению к ним вождями туземцев. На поверку оказывается как бы, что и тот и другой варианты событий просто невозможны в силу отсутствия самого контрагента. Создается полное впечатление, что переселенцы если не всегда, то уж по крайней мере в подавляющем большинстве случаев занимали или ничейные, или, по меньшей мере, просто пустующие в данный момент земли. Именно поэтому вполне закономерным в первом приближении кажется и другое весьма распространенное в современной историографии мнение, согласно которому греко-варварские контакты не играли существенной роли в развитии колонизационного движения ионийцев. Так ли это на самом деле? Остановимся на этом вопросе подробнее.

Прежде всего, на что, быть может, следует обратить особое внимание в данной связи, — на весьма растянутое во времени освоение греками северо-западного побережья Понта. Впервые появившись в середине VII в., выходцы из Ионии, по всей видимости, приступили к широкомасштабному выведению сюда очередных контингентов колонистов только в середине — второй половине следующего столетия.

Отмеченное поразительное промедление в ходе заселения района на фоне весьма активно проводимой в конце VII — первой половине VI в. колонизационной деятельности греков, создавших в это время целую плеяду апойкий в самых различных областях Причерноморья, вряд ли может получить достаточно приемлемое объяснение в сфере имманентных особенностей развития самой метрополии.¹ Есть некоторые основания думать, таким образом, что поиск решения данного вопроса должен быть направлен прежде всего в сторону исторически более четкого определения физико-географической и военно-демографической составляющих интересующей нас территории. Впрочем, как представляется даже в первом приближении, из круга нашего рассмотрения можно сразу же исключить фактор природной среды обитания, поскольку и дельта Дуная, и Нижнее Поднестровье, и особенно Нижнее Побужье бесспорно обладали всем необходимым спектром усло-

¹ Заметим, правда, что для сколь-либо развернутой характеристики этого развития у антиковедов до сих пор явно не хватает достаточной информации (см., например: Ehrhard. 1983. S. 249–251).

вий, требуемых для успешного развития экономики колонистов (см., например: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 18–19; Охотников. 1990. С. 45–47; Avgam. 1990. S. 16–17).

Другое дело — демография района. В данном случае можно полгать, что при моделировании конкретно-исторической ситуации, в которой протекала колонизация Северо-Западного Причерноморья, современные исследователи придадут все же неоправданно большое значение факту отсутствия стабильного туземного населения в прибрежной полосе этой территории. Реконструируемая ими ситуация, при которой переселенцы оказываются в условиях чуть ли не *terra deserta* и тем самым получают полную свободу рук в своих действиях, не выдерживает критики.

Не следует забывать, что относительно узкий степной коридор этой части Понта сам по себе не мог являться непреодолимым барьером на пути распространения населения вширь. Напротив. В случае отсутствия кочевников он естественным образом становился наиболее удобной и легкопроходимой дорогой, улучшавшей связь между жителями различных районов региона. Напомним также, что в канун греческой колонизации в лесостепной зоне Северного Причерноморья существовал мощный пласт местной земледельческо-скотоводческой культуры. Как было установлено ранее (см. главу II — Периодизация), именно здесь в это время, по всей видимости, происходит сложный и, совсем не исключено, достаточно острый в военно-политическом отношении процесс внедрения номадов раннескифского периода в социальную и экономическую структуры потестарных объединений автохтонных жителей.

Одним из основных результатов этого внедрения стал, по всей видимости, захват политического контроля номадами над частью туземного населения и образование ими господствующего слоя. Такое развитие событий в лесостепной зоне должно было на первых порах существенным образом трансформировать местное общество, придав ему не свойственный ранее динамизм. Не случайно поэтому, надо думать, гетерогенная по своему составу археологическая культура «скифов-земледельцев» уже давно рисует перед удивленным взором исследователей картину, в которой, «по-видимому, было все же много черт кочевого быта», получившего наиболее яркое выражение в функционировании у них боевых дружин, состоящих из всадников-воинов, ведущих кочевой (Шелов. 1975. С. 18) или, что наиболее вероятно, полукочевой образ жизни. Именно в этом ракурсе прежде всего следует, на наш взгляд, рассматривать заметное расширение в раннескифское время разнообразных по своему характеру контактов «земледельцев» со своими западными, южными и юго-восточными соседями. С этих же позиций, наконец, может быть рассмотрено и появление уже во второй половине VII в. до н. э. в этих районах сильно укрепленных поселений туземных жите-

лей (Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 260, 267, 283; Шрамко. 1987. С. 33; Мелюкова. 1988. С. 22; Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. С. 17) и скифского боевого оружия в могильниках Южного Прикарпатья (см., например: Мелюкова. 1979. С. 93, 95; Vulpe. 1987. Р. 83). Словом, у нас, как кажется, есть некоторые основания полагать, что в момент возникновения первых греческих выселков в прибрежной полосе Северо-Западного Причерноморья значительная часть земледельческо-скотоводческого населения этого района находилась в фазе активного воздействия на свое ближайшее окружение, причем главенствующую роль в развернувшихся здесь событиях играли, по всей видимости, недавние пришельцы — номады, стремившиеся к всемерному расширению и упрочению своего влияния на аборигенов. Лишь постепенно, по мере неуклонно углублявшейся интеграции с культурной традицией земледельцев, новые хозяева Северного Причерноморья должны были неизбежно утратить наиболее однозлые черты идеологических воззрений на оседлую часть туземных жителей и приступить к более упорядоченному, хотя, конечно, и не обязательно во всех случаях мирному, т. е. основанному на системе каких-то договоров и относительном равновесии сил, освоению экономического потенциала контролируемых ими территорий. Судя по всей совокупности археологических данных, указанная трансформация в их образе жизни произошла где-то в первой половине — середине VI в. Во всяком случае именно с этого времени и вплоть до самого начала следующего столетия наши источники фиксируют в лесостепной зоне региона наивысший расцвет хозяйственной и культурной деятельности местного населения, сопровождающийся заметным ростом его благосостояния.

Возвращаясь к началу колонизации Северо-Западного Причерноморья, мы, как кажется, можем теперь самым решительным образом скорректировать наши представления о существовавшей здесь в это время военно-демографической ситуации. Исходя из всего вышеизложенного закономерно предположить, что в середине — второй половине VII в., т. е. в момент выведения сюда первых эллинских колоний, прибрежная полоса района должна была находиться под самым действенным контролем со стороны обитателей лесостепной зоны. Более того, есть некоторые основания думать, что имевшая место тогда же ситуация вряд ли могла казаться ионийцам во всех отношениях пригодной для свободного или сколь-либо широкого освоения «пустующих» земель. Следует допускать даже, что сама возможность создания стационарных поселений греков в этих условиях оказалась сопряженной с необходимостью заключения ими какого-то вида соглашений с туземной аристократией, возглавлявшей мобильные дружины конных воинов. Равным образом следует предполагать также и то, что дальнейшее благополучие этих поселений и сам их *modus vivendi* в значительной степени зависели от доброжелательного отношения к ним местной элиты. При этом, как пред-

ставляется, единственным приводным ремнем развития и упрочения именно такого характера отношений на первом этапе могла стать лишь взаимовыгодная торговля. Только по мере стабилизации обстановки в хинтерланде и постепенного втягивания варваров в обменные операции с эллинами для колонистов возникли реальные предпосылки перехода к непосредственной и крупномасштабной эксплуатации местных природных ресурсов.

В какой мере, однако, высказанные только что суждения и догадки могут быть подкреплены и детализированы археологическими материалами самих греческих поселений этого района интересующего нас в данном случае периода?

Переходя к их анализу, мы прежде всего вынуждены отметить то в высшей степени печальное для нас обстоятельство, что радикальное изменение начертания береговой линии, происшедшее в результате эвстатических колебаний уровня Черного моря (см., например: Alexandrescu. 1970; Шилик. 1975; 19756; Агбунов. 1984; Бруяко, Карпов. 1987) и повлекшее за собой утрату значительных и, вероятнее всего, наиболее ранних участков застройки первых выселков греков, не позволяет ныне с достаточной уверенностью судить не только об их истинных размерах, а следовательно, и численности жителей, но даже, в конечном счете, о наличии или отсутствии у них фортификационных сооружений. Изначально не подлежит сомнению, пожалуй, лишь одно — и Борисфен, и Истрия являлись сугубо прибрежными поселениями, одно из которых — Истрия — было заложено на небольшом, чуть выступающем в море мысе (Alexandrescu. 1970. Р. 80. Fig. 2; 1990. S. 49. Abb. 2–4), а второй — Борисфен — на территории обширного полуострова (см., например: Щеглов. 1965; Лапин. 1966. С. 128–137). Как полагает Ю. Г. Виноградов, и в том и в другом случаях следует говорить о местах, «защищенных самой природой» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 41). Насколько, однако, такое защищенное природой расположение названных поселений само по себе, т. е. без создания искусственных рубежей обороны, могло гарантировать безопасность их обитателей, к сожалению, пока во многом остается для нас загадкой. В предварительном плане допустимо все же высказать предположение, что выбор именно этих мест под заселение являлся не только данью устоявшейся к тому времени колонизационной практики ионийцев, но был наряду с прочим в значительной степени продиктован повседневными реальностями существовавшей в их окрестностях обстановки.

Несколько более информативным под интересующим нас углом зрения оказывается рассмотрение сохранившихся до наших дней остатков древнейших греческих колоний Северо-Западного Причерноморья. Впрочем, что касается первоначального облика наиболее ранней из них — Истрии, то существующие на сей счет все еще крайне скудные данные явно дискуссионны и до проведения дополнительных широкомасштабных исследований культур-

ных напластований памятника архаического периода вряд ли могут быть напрямую использованы в нашей работе. Бесспорным в настоящее время является, пожалуй, лишь наличие в этих слоях довольно многочисленных и самых разнообразных материальных свидетельств едва ли не изначального физического присутствия значительного числа варваров, в том числе, кстати, и выходцев из лесостепной зоны северопричерноморского региона, в составе постоянных жителей так называемого «цивильного поселения» Истрии, возникшего, по всей видимости, еще в конце VII в. до н. э. в непосредственной близости от «акрополя» городища (Avram. 1990. S. 20; Alexandrescu. 1990. S. 65). Весьма примечательным в этом же смысле оказывается и наличие в раннем некрополе придунайской апойкии подкурганных захоронений местной знати середины — второй половины VI в. до н. э., сопровождавшихся погребениями коней и человеческими жертвоприношениями (Alexandrescu et Eftimile. 1959; Alexandrescu. 1966. P. 146–159; 1990. S. 65–66). Последнее обстоятельство вполне может быть истолковано в качестве надежного свидетельства существования у «истрийских» туземцев какого-то рода потестарной организации, находившейся в это и даже, быть может, более раннее время в самом прямом и тесном контакте с греческими колонистами. И это, пожалуй, все.

Другое дело — Борисфен. В развитии поселенческой структуры второй древнейшей ионийской колонии Северо-Западного Причерноморья современные исследователи довольно уверенно выделяют сразу два хронологических этапа, а именно: конец VII — третья четверть VI в. до н. э. и конец третьей четверти VI — первая четверть V в. до н. э. (Копейкина. 1979. С. 110; Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 35–37; 1989б; ср. Крыжицкий. 1987. С. 8). При этом, как представляется ныне, на первом этапе речь может идти лишь о достаточно хаотичном, скорее всего, так называемом кустовом или же весьма близком таковому характере застройки ее территории, при котором отдельные хозяйства включали в себя от одного до нескольких ситуационно изолированных от других «усадоб» строительных комплексов (см.: Мазарати, Отрешко. 1987. Рис. 2. С. 9; Solovjov. 1999. Fig. 10. P. 32). Важно заметить также, что каких-либо иных признаков организации пространства поселения этого времени до сих пор зафиксировать не удалось. Равным образом, не удалось до сих пор обнаружить в структуре памятника и других не менее показательных для выяснения его таксономического статуса элементов, например, в виде остатков общественных и культовых зданий. Словом, создается полное впечатление, что сохранившаяся до наших дней часть Борисфена даже к концу первого этапа, т. е. по прошествии весьма продолжительного отрезка времени, насчитывающего не менее 100–110 лет от момента появления в Нижнем Побужье первых греческих колонистов, если, конечно, исходить из даты основания этой апойкии — 647/646 г. до

н. э., указанной в хронике Евсевия (Euseb., Chron., cap. P. 95b. Helm.),¹ ни в малейшей мере не обладала теми внешними атрибутами греческого города, которые одни только и могут позволить на археологическом уровне составить на сей счет более или менее определенное представление.

Картина поразительной застойности развития строительного дела колонии возникает и в процессе рассмотрения материалов конкретных комплексов Борисфена, относящихся к концу VII — третьей четверти VI в. до н. э. Как это ни покажется на первый взгляд странным, но в составе весьма представительной и, следует думать, вполне репрезентативной выборки этого времени, насчитывающей более 250 хорошо документированных сооружений (Solovjov. 1999. P. 34), все еще отсутствуют остатки построек, которые могли бы быть напрямую сопоставлены с домами метрополии. Более того, есть все основания считать, что в течение всего первого этапа, т. е. вплоть до конца третьей четверти VI в. до н. э., греки довольствовались лишь созданием здесь относительно примитивных и до сих пор неизвестных в самой Ионии жилищ в виде так называемых землянок и полуземлянок.²

Сам по себе этот факт, как известно, объясняется ныне либо тем, что эмигранты прибыли на берега Северного Причерноморья из какого-то периферийного, относительно изолированного и, следовательно, отсталого района античной ойкумены (Липин. 1975. С. 101), либо простым заимствованием идеи заглубленного жилища у местного населения (Крыжицкий. 1982. С. 148; 1985. С. 59). Впрочем, что касается первого варианта объяснения, рассматривающего тип земляночного сооружения в качестве «реликтовой черты», органически присущей периферийному типу эллинской культуры переселенцев, то, как очевидно, он в значительной степени может быть парирован уже одним тем соображением, что, судя по всем историческим данным, сами-то колонии, в том числе, кстати, и Борисфен, в своем подавляющем большинстве выводились все-таки наиболее развитыми в социально-экономическом отношении полисами метрополии и, таким образом, вряд ли несли в своем зародыше гены столь чрезмерной «реликтовости» быта.

Другое дело — идея заимствования. В последнем случае следует признать, что стремление видеть в борисфенских землянках и полуземлянках сознательно модифицированный применительно к местным условиям тип жилищ первых колонистов не лишено оснований. В самом деле, вполне ре-

¹ О времени выведения Борисфена подробнее см.: Vinogradov, Domanskij, Marcenko. 1990. P. 122–130.

² Заметим, что появляющиеся время от времени в научной литературе указания на существование такого рода жилых комплексов в метрополии не корректны, поскольку в них, как правило, речь идет либо о совершенно ином времени, либо о функционально иных сооружениях, либо, наконец, о том и другом одновременно (см., например: Буйських. 1990. С. 30; ср. Drerup. 1969. S. 44–47).

зонно допускать еще априорно, что на начальном этапе обустройства только что выбранного места под заселение вчерашние «скитальцы» ввиду дефицита времени или же недостатка сил и средств и естественной в этом случае узости строительной базы могли воспользоваться опытом своих туземных соседей и, творчески следуя их примеру, стали сооружать наиболее простые в исполнении, но вполне пригодные для жизни в суровых условиях новой родины жилища — землянки. Заметим сразу же, что столь радикальная трансформация собственной традиции, повлекшая за собой превращение наземного сырцово-каменного «дома колониста» в землянку, уже изначально предполагает предварительное и довольно близкое знакомство греков с бытом аборигенного населения и, как следствие, ведет к признанию реальности доколониционных плаваний. В данной связи необходимо учитывать также, что единственная область расселения туземцев, где колонисты могли воочию увидеть и оценить прообраз своих будущих временных жилищ, находилась в то время, т. е. во второй половине VII в. до н. э., на весьма значительном расстоянии от берега моря — в лесостепной зоне Северного Причерноморья.

Допуская именно такую последовательность событий, мы вместе с тем вынуждены будем отметить все же, что при более или менее благоприятном развитии апойкии стартовые неурядицы и вызванный ими переход к строительству сравнительно менее удобных и явно недолговечных землянок не могли быть слишком уж продолжительными и вряд ли превышали время жизни одного поколения, а, учитывая вполне естественное стремление переселенцев создать для себя на новом месте сходные или даже лучшие, в сравнении с покинутой родиной, условия быта, и того меньше.¹ Во всяком случае, следует предполагать, что по прошествии по крайней мере двух-трех десятилетий от момента основания колонии хотя бы у части ее обитателей должны были появиться дома, выполненные в духе культурной традиции самих эллинов.

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, рассмотрение материалов жилищ и хозяйственных комплексов раннего Борисфена выявляет существенные отклонения от ожидаемого развития событий. Наблюдаемая картина в действительности показывает, что переход к сооружению типично греческих наземных домов на этом поселении начался значительно позже и проходил не постепенно, а как бы сразу, в один прием. При этом, однако, строительство землянок полностью не прекратилось и далее, хотя, по всей видимости, их количество резко сократилось. Как бы то ни было, но есть достаточно серьезные причины полагать, что только с конца третьей четверти

¹ Именно такую картину, судя по всему, мы наблюдаем, к примеру, на территории раннего греческого поселения на месте Анапы (Алексеева. 1990. С. 23).

VI в. до н. э. одна из наиболее древних колоний Северо-Западного Причерноморья наконец-то стала приобретать облик настоящего городского центра (см., например: Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 10; Соловьев. 1989. С. 10). Такое замедленное развитие строительного дела Борисфена требует своего объяснения.

Исходным пунктом нашего поиска возможных причин указанной стагнации будет признание факта изначального и продолжительного использования эллинами Борисфена грунтовых построек в качестве основного и даже, быть может, единственного типа собственных жилищ. Вместе с тем, признавая этот факт, мы вынуждены будем обратить внимание на довольно примитивный облик подавляющего большинства борисфенских землянок и полуземлянок.¹ По существу, речь чаще всего должна идти о весьма небольших по площади (от 4,0 до 10,0 м²) четырехугольных, овальных или круглых по форме однокамерных структурах с глинобитными или, скорее, глиняно-плетневыми стенами, возведенными по краям котлованов глубиной до 1,0 м. Следует заметить также, что не менее трех четвертей такого рода строительных комплексов не имели в своем более чем скромном «интерьере» даже постоянных печей или открытых очагов и, судя по всему, могли отапливаться в холодное время года в лучшем случае только переносными жаровнями. Словом, создается впечатление, что стандарт жизни в таких постройках по большей части вряд ли мог быть доведен до уровня, который в принципе представляли своим создателям наиболее основательные жилища туземцев лесостепной зоны Северного Причерноморья раннего железного века. Последние во многом явно выигрывают на их фоне своей лучшей обустроенностью, продуманностью деталей интерьера и наличием постоянных очагов для обогрева помещений (см., например: Шрамко. 1987. С. 37, 42–69; Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. С. 15–19).

В силу сказанного следует думать, что из числа наиболее вероятных доводов в пользу неистребимой приверженности ионийцев к столь примитивному роду сооружений сразу же может быть исключено явно голословное утверждение, будто землянки и полуземлянки в сравнении с сырцово-каменными домами обладали какими-то особыми преимуществами, обеспечивающими их обитателям более эффективную защиту от неблагоприятных погодных условий Северного Причерноморья (см., например: Лапин. 1966. С. 153; Крыжицкий, Русяева. 1978. С. 25; Буйских. 1990. С. 30). Уже сам по себе переход к широкомасштабному строительству наземных построек

¹ Развернутый анализ внешнего облика грунтовых структур первого этапа существования колонии смотрите в работах В. В. Лапина (1966. С. 94–97), С. Н. Мазарати, В. М. Отрешко (1987. С. 8–116), Я. В. Доманского, Ю. Г. Виноградова, С. Л. Соловьева (1989а. С. 35–36) и С. Л. Соловьева (1989; 1999. Р. 31 ff.).

вполне обычных для греческой практики типов на втором этапе развития поселенческой структуры Борисфена и последующее их неукоснительное воспроизведение во времени в условиях более прохладного климата этого региона скорее свидетельствует об обратном (ср. Соловьев. 1989. С. 11).

Фактически столь же сомнительной причиной длительного использования греками землянок представляется и их зависимость от якобы чрезмерно слабого развития собственной экономической базы (см., например: Лапин. 1966. С. 153; Крыжицкий, Русяева. 1978. С. 25), поскольку у нас есть все основания полагать, что ионийские ремесленники — металлурги и стеклоделы — уже в первой половине VI в. до н. э. обладали интенсивно работающими мастерскими, расположенными не только на территории поселения (см.: Лапин. 1966. С. 137–138), но отчасти даже за пределами самой колонии, на берегу Ягорлыцкого залива (Островерхов. 1978а. С. 12–17; ср. Марченко К. К. 1980. С. 135). При наличии же в окрестностях Борисфена легко доступных массивов лесов с более чем солидным запасом деловой древесины и месторождений строительного камня, песка и глины (см., например: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 18), отмеченное выше упорное «нежелание» поселенцев хоть как-то улучшить свои условия местного быта и привести их в соответствие с общепринятыми нормами эллинской культуры оказывается просто загадочным.

Ничего, к сожалению, не проясняет в этой загадке в первом приближении и весьма вероятная малочисленность начального контингента колонистов. Нельзя забывать, что речь в данном случае идет все-таки не о двух или даже трех десятках лет пребывания греков на территории выбранного ими под заселение полуострова, а о гораздо более продолжительном времени — двух-трех поколениях обитателей Борисфена, почему-то довольствовавшихся вместе со своим подрастающим потомством прозябанием в крайне примитивных грунтовых помещениях.

Какие же, однако, могут быть все-таки даны объяснения этому странному факту?

Первое, на что, быть может, необходимо обратить внимание в данной связи, — на вполне вероятное отсутствие военно-политической стабильности в окрестностях Борисфена во второй половине VII — начала VI в. до н. э. по крайней мере (см. выше). Такое положение дел само по себе должно было пробуждать у ионийцев чувство некоторой неуверенности в своем завтрашнем днях. Совершенно естественно также, что переход в этих условиях к крупномасштабному строительству многокомнатных наземных сырцово-каменных домов, требовавших значительных средств и затрат физического труда, мог казаться преждевременным и даже до некоторой степени рискованным предприятием. Лишь с уменьшением напряженности во взаимоотношениях между отдельными группировками варваров лесостепной зоны

и упрочением экономических и иных контактов туземцев с эллинами у последних наконец-то в этом смысле оказались полностью развязаны руки.

Вторым вполне вероятным фактором, содействовавшим столь длительной застойности строительного дела греков, мог являться характер базовой функции самого Борисфена. Такое предположение основывается на хорошо установленной археологическим путем зависимости системы застройки отдельных колоний от основной цели, которую при этом преследовали их основатели. Оценивая под указанным углом зрения внешний облик Борисфена интересующего нас отрезка времени, нельзя не прийти к выводу, что он более всего подходит для торговой (сырьевой), нежели сельскохозяйственной апойкии, поскольку, как известно, для аграрных колоний все-таки гораздо чаще было присуще соблюдение общепринятых норм градостроительства, включавших, наряду с прочим, и какую-то, во всяком случае более жесткую, в сравнении с наблюдаемой, регламентацию внутреннего пространства населения.¹

Впрочем, как известно, о характере базовой функции Борисфена до сих пор идут споры принципиального характера. И это понятно, ибо в прямой связи от того или иного решения вопроса находится оценка и самого характера начала колонизации Нижнего Побужья. При этом, напомним, одни исследователи считают поселение по преимуществу аграрно-ремесленным центром (Лапин. 1966. С. 122–140; ср. Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 10–11), другие же — отдают предпочтение торговой (сырьевой) направленности хозяйства (см., например: Копейкина. 1979. С. 107–109). Надо полагать, что дальнейшее изучение культуры памятника сдвинет решение этого вопроса с состояния неустойчивого равновесия. Нужно сказать все же, что, как представляется в настоящее время, позиция сторонников второй, торговой или, лучше сказать, торгово-сырьевой по преимуществу ориентации экономики более подкреплена фактологическими данными.²

В самом деле, если мы теперь обратимся к подбору соответствующей информации, то очень скоро обнаружим, что ее не так уж и мало, но главное, что она весьма разнохарактерна. Это, во-первых, материалы самого поселения: большое количество хозяйственных ям, часть из которых явно могла служить для хранения торгового зерна (Лапин. 1966. С. 122–124), две крупные медеплавильные мастерские первой половины VI в. до н. э., производившие металл на экспорт (Доманский, Марченко, Бекетова. 1999. С. 14, 16; Доманский, Марченко. 2004. С. 23 сл.), необычно высокий удельный вес в керамическом комплексе относительно дорогой посуды (Копейкина. 1971.

¹ Литературу вопроса см. в работе В. И. Козловской (1984. С. 39).

² Наиболее полная и, на наш взгляд, вполне убедительная трактовка причин выведения Борисфена и картина последующей коммерческой деятельности его жителей даны Ю. Г. Виноградовым (1989. С. 50–57).

С. 3), принадлежавшей, по всей видимости, материально обеспеченным категориям лиц, к каковым, несомненно, следует относить и купцов, небольшой клад золотых ионийских монет последней четверти VII — начала VI в. до н. э. (Карышковский. Лапин. 1979), использовавшихся прежде всего в интерлокальной торговле греков, и, наконец, оба наиболее интересных эпиграфических памятника архаического Борисфена — многострочное граффито на фрагменте ионийского килика VI в. до н. э. и письмо на свинцовой пластинке конца VI или начала V в. до н. э., также непосредственно связанные с темой торговли (Виноградов Ю. Г. 1971а. С. 64–67; 1971б. С. 98–99).

Разумеется, противники подобной точки зрения могут возразить, что информация, содержащаяся в упомянутых документах, довольно далеко отстоит во времени от начального периода существования поселения и скорее определяет его функцию уже в рамках ольвийского государства, т. е. совершенно иной социально-экономической системы. Все это так. Но для нас важен сам факт наличия однозначно трактуемых письменных свидетельств торговой активности борисфенитов в VI в. до н. э. Как представляется, в сочетании с другими вышеперечисленными материалами он может послужить одной из опорных точек вектора, характеризующего ориентацию экономики наиболее ранней греческой апойки Нижнего Побужья.

Но и это еще не все. Следы деятельности греческих купцов Борисфена имеются и за пределами самого поселения. Как бы скептически ни относились некоторые исследователи к действительно редким находкам импортной эллинской керамики на территории расселения земледельческо-скотоводческих племен Среднего Поднепровья (Лапин. 1966. С. 73, 74, 76; Доманский. 1979. С. 83–84), они все-таки есть и могут быть использованы для доказательства заинтересованности самых первых колонистов в развитии торговых контактов с варварами.

Еще более убедительные свидетельства этой заинтересованности обнаруживаются на территории самого Нижнего Побужья. Как показывают археологические обследования берегов Березанско-Сосицкого лимана, Борисфен не обладал сколь-либо обширной сельскохозяйственной базой в течение VII и по крайней мере двух или даже трех десятилетий следующего столетия. Наиболее древние следы жизнедеятельности в его ближайшей округе относятся лишь ко второй четверти VI в. до н. э. (Русяева. 1967. С. 142; Отрешко. 1975. С. 94; Рубан. 1988. С. 8; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 20), да и те крайне малочисленны и, по всей видимости, представлены лишь единичными обломками импортной керамики. Во всяком случае нам до сих пор неизвестно ни одного достоверного факта обнаружения строительного комплекса на периферии Борисфена, начало существования которого можно было бы относить ко времени ранее второй четверти VI в. до н. э. В силу этого, как кажется, у нас все еще нет и серьезных оснований пола-

гать, что борисфениты будто бы уже в первой половине VI в. до н. э. фактически освоили экономический потенциал значительной части территории Нижнего Побужья, а тем более перешли к планомерной эксплуатации его ресурсов (ср. Яйленко. 1983. С. 142).

Такое явное «равнодушие» обитателей поселения к освоению близрасположенных земель явно не случайно. Можно думать, что фиксируемая ситуация являлась следствием по меньшей мере трех так или иначе связанных между собой факторов, а именно: крайней малочисленности первоначального контингента переселенцев, не аграрного, а преимущественно торгово-ремесленного характера древнейшей фазы колонизации Нижнего Побужья и, наконец, отсутствия в рассматриваемое время достаточно стабильного положения дел в степном коридоре Северного Причерноморья для гарантированного и широкомасштабного занятия земледелием.

Наиболее очевидным из этих факторов представляется, впрочем, первый. На это прямо указывает весьма небольшой удельный вес наиболее ранних строительных и хозяйственных комплексов самой колонии (см., например: Копейкина. 1979. С. 107). Создается впечатление, таким образом, что изначальная ограниченность людских ресурсов апойкии уже сама по себе ставила довольно-таки узкие пределы непосредственной эксплуатации местных природных ресурсов. Единственно возможной и, вероятно, запланированной в этой ситуации формой получения сколь-либо значительного количества сельскохозяйственной продукции и иных видов сырья, необходимых как для метрополии, так и для самого Борисфена, могло быть только налаживание торгового обмена с населением глубинных районов Северного Причерноморья, земледельцами прежде всего. При этом, по-видимому, мы все-таки должны исходить из предположения, что основным, хотя, разумеется, и не единственным генератором коммерческой деятельности греков уже изначалью была их насущная заинтересованность в получении у туземцев товарного хлеба. В данном случае заметим также, что наилучшие условия для его производства на продажу, судя по всему, имели так называемые скифы-пахари Геродота (Herod., IV.17), т. е. скорее всего абorigены лесостепной зоны Днепровского Правобережья и отчасти бассейна Ворсклы, где в это время, в отличие от Днепро-Донского и Пруто-Днестровского междуречья наряду с посевами полбы-двузернянки, по-видимому, выращивали и голозерную пшеницу (см.: Ковпаненко, Янушевич. 1975; Шрамко. 1987. С. 86; Моруженко. 1989. С. 34). Как представляется далее, именно в этом направлении главным образом и были ориентированы заинтересованные взоры купцов Борисфена, свидетельством чего, как известно, является наибольшее количество находок импортных греческих изделий в материалах памятников варваров только что очерченной территории Северного Понта (см., например: Вахтина. 1984. С. 11).

Следует подчеркнуть, впрочем, что в последние годы появились новые исключительно важные материалы, проясняющие характер торговых контактов раннего периода. Они значительно расширяют номенклатуру эллинских товаров, поступавших в лесостепную зону Северного Причерноморья еще в период становления самых первых эллинских поселений региона. Более того, создается впечатление, что в действительности ранний греческий импорт во внутренние районы мог включать в себя не только и не столько относительно дорогостоящие и высокохудожественные произведения мастеров метрополии, предназначенные, как это считалось ранее, почти исключительно для сбыта местной знати (см. например: Книпович. 1934. С. 107–108; Доманский. 1970. С. 80), сколько прежде всего вполне дюжинную продукцию ремесленников самого Борисфена и, быть может, отчасти Ольвии, ориентированную на удовлетворение насущных потребностей рядовых общинников в изделиях из стекла и металла.

Ассортимент такого рода предметов частично восстанавливается как по данным самого Борисфена (Копейкина. 1981. С. 170–171), так и по материалам остатков скорее всего сезонных производственных мастерских греческих ремесленников того же Борисфена — металлургов и стеклоделов, — расположенных на территории Кинбурнского полуострова на так называемом Ягорлыцком поселении.

Как показало изучение этих остатков, здесь, на берегу Ягорлыцкого залива, частично на основе местных сырьевых ресурсов уже в первой половине VI в. до н. э. было налажено широкое изготовление самых разнообразных изделий скифского типа из железа, бронзы, свинца и, по всей видимости, стекла, в том числе: акинаков, наконечников копий и стрел, ножей, гвоздевидных булавок, браслетов с шаровидными утолщениями на концах, подвесок, гривен, разного рода бус и т. п. (Островерхов. 1978а. С. 14–16; 1978б. С. 33. Рис. 4; Ольговский. 1982. С. 14). Не подлежит сомнению, что значительная часть этих предметов предназначалась для продажи в районах хинтерланда (Ильинская. 1975. С. 153, 169–170; Островерхов. 1978а. С. 14–17; Вахтина. 1984. С. 13–14).

Нетрудно заметить, таким образом, что интенсивность начальной фазы торгового обмена между греками и варварами и, следовательно, быстрота адаптации к запросам местного рынка первых эллинских поселенцев на поверку оказывается на порядок выше, нежели это предполагалось исследователями до самого последнего периода. С этой точки зрения в настоящее время все более реальным, чем когда бы то ни было ранее, кажется и существование уже с конца VII — начала VI в. до н. э. в лесостепной зоне Северного Причерноморья, конкретно — на территории некоторых наиболее крупных поселений земледельцев Днепровского Правобережья, например, Немировского городища, своего рода факторий жителей Борисфена, через посредст-

во которых, как полагают, греческими купцами был налажен на более или менее постоянной основе здесь, в глубинке, непосредственный торговый обмен с аборигенным населением Среднего Побужья и Поднепровья (Доманский. 1970. С. 52; Островерхов. 1978а. С. 21; Виноградов Ю. Г. 1983. С. 382–383; 1989. С. 55).

Одним из важнейших следствий установления тесных экономических контактов борисфенитов с аборигенами стал приток последних в Нижнее Побужье. Судя по археологическим материалам самой колонии, варвары появились здесь на удивление быстро — буквально сразу же после основания поселения. Во всяком случае, временной разрыв между этими двумя событиями практически не улавливается (Марченко К. К. 1976. С. 164). Как показывает анализ вещественных находок из культурного слоя и закрытых комплексов ранней апойкии, это были выходцы из различных районов Северо-Западного Причерноморья — Поднепровья, Среднего Побужья и Карпато-Дунайского бассейна. Основным аргументом в пользу присутствия на территории Борисфена разноэтничных аборигенов при этом являются материалы лепной керамики, представленной здесь практически тем же набором типов, что и обнаруженная на безусловно местных памятниках раннего железного века перечисленных выше районов хинтерланда (Марченко К. К. 1988а. С. 107–121). Не менее показательным в этой же связи оказывается и неожиданно высокий процент такой посуды в керамическом комплексе Борисфена — не менее 10–12% (без учета обломков амфорной тары), — явно указывающий на значительный удельный вес туземцев в составе жителей древнейшей греческой колонии Нижнего Побужья (Марченко К. К. 1988а. С. 52. Таб.3; ср. Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 36).

В какой же, однако, мере подтверждают присутствие туземцев в составе постоянных жителей Борисфена другие «независимые» категории археологических реалий поселения?

Разумеется, это, прежде всего, находки в архаическом слое костяных псалиев, выполненных в так называемом скифском зверином стиле (Доманский, Марченко. 1999). Значительно менее информативными в этом смысле в силу своей почти полной неразработанности оказываются пока, к сожалению, обширные данные некрополя Борисфена. На сегодняшний день в составе материалов этого памятника вполне надежно выделены только два конкретных захоронения варваров позднеархаического времени. При этом, однако, обращает на себя внимание то в высшей степени примечательное для нас обстоятельство, что даже столь непредставительная выборка демонстрирует нам кардинальные отличия обрядов погребения местных туземцев, поскольку одно из захоронений такого рода, вполне идентичное, кстати сказать, практиковавшимся в лесостепной зоне Северного Причерноморья раннескифского периода, — ингумация воина со скифским оружи-

ем и золотыми украшениями, совершенно в полусожженном склепе, сооруженном из тесаных деревянных брусьев (Капошина. 1956б. С. 230; Мурзин. 1984. С. 45), а второе, находящее себе прямые аналогии в материалах местных могильников фракийского гальштата Карпато-Дунайского бассейна, — «погребение сожженного праха в специальной яме, стенки которой были специально обмазаны глиной и обожжены» (Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 58–59). Тем самым, несмотря на крайнюю ограниченность достоверных наблюдений, у нас, как кажется, и в данном случае все-таки есть некоторые основания предполагать разнотнический состав туземной части этой колонии. Чрезвычайно симптоматичным оказывается и другое, а именно: и первое, и второе погребения туземцев могут быть связаны с археологическими культурами как раз тех глубинных районов северо-западной части Понта, представители населения которых на территории Борисфена наиболее четко засвидетельствованы материалами лепной керамики этого памятника.

Несколько более результативным под интересующим нас на этот момент углом зрения оказываются материалы строительных комплексов Борисфена первого этапа его существования.

Сам факт наличия среди жителей этого поселения значительного числа варваров заставляет предполагать в составе функционировавших здесь тогда же землянок и полуземлянок и довольно заметное число жилищ, принадлежавших именно этой категории населения. Иными словами, есть все основания думать, что в простых грунтовых сооружениях Борисфена в течение всего раннего периода жили как сами эллины, так и вчерашние выходцы из числа аборигенного населения хинтерланда. Равным образом нет сомнений также и в том, что такое совместное проживание должно было способствовать довольно быстрой, пусть даже для начала чисто внешней, эллинизации варваров.

Указанное обстоятельство серьезно затрудняет, но отнюдь не сводит к нулю, как полагает ныне значительная часть исследователей, возможность более или менее оправданного этнокультурного определения обитателей отдельных построек Борисфена, да и других поселений Нижнего Побужья архаического времени. Некоторые надежды в этом отношении дает, кстати, недавно установленная С. Л. Соловьевым статистически достоверная корреляция различных типов жилищ раннего Борисфена с вполне определенными формами лепной посуды, сопутствующей этим типам строительных комплексов (Соловьев. 1989. С. 14–15; 1999. Р. 44. Fig. 19). Следует учитывать и то, что выбор конкретного типа (формы) дома, который строили себе оказавшиеся на новом месте туземцы, хотя бы на первых порах должен был диктоваться достаточно определенными требованиями их собственной традиции.

Как бы то ни было, но мы уже в самом начале нашего анализа можем вполне уверенно констатировать наличие в составе строительных комплексов конца VII — третьей четверти VI в. до н. э. по меньшей мере двух генетически, по-видимому, совершенно несвязанных между собой типов жилищ Борисфена, а именно: круглых или овальных в плане, находящихся себе прямые аналогии прежде всего среди варварских памятников Карпато-Дунайского бассейн пред- и раннеколониационного периодов, Добруджи, в частности (см., например: Irimia. 1974. P. 78. Fig. 2b; P. 82. Fig. 4a), и четырехугольных, явно подражавших грунтовым сооружениям лесостепной зоны Поднепровья. Поэтому у нас, как кажется, есть серьезные основания считать, что «независимые» материалы строительных комплексов древнейшей колонии Нижнего Побужья — Борисфена — также подтверждают вывод о разнотничности пришедших варваров, сделанный нами ранее на основании данных лепной керамики этого памятника.

Вместе с тем, отмечая это, следует предполагать все же, что к числу жилых комплексов варваров Борисфена должны были принадлежать по преимуществу наиболее примитивные по своему исполнению грунтовые постройки архаического времени. При этом мы, разумеется, весьма далеки от мысли при любых условиях настаивать на обязательности именно такого подхода к решению вопроса об этнокультурной атрибуции конкретных строительных комплексов этой колонии. Уже само наличие среди варварских жилищ раннего железного века лесостепной зоны Северного Причерноморья вполне добротных и явно рассчитанных на круглогодичное функционирование построек неоспоримо указывает на принципиальную возможность создания туземцами здесь, на территории Борисфена, подобных же сооружений. Дело, однако, состоит в том, что, несмотря на упомянутое обстоятельство, наиболее монументальные и обустроенные, т. е. обладавшие особо надежными средствами защиты от зимних холодов, грунтовые жилища апойки все-таки логичнее всего связывать с жизнедеятельностью и более теплолюбивых, нежели аборигены, сынов солнечной Эгеиды.

Следуя вполне резонному замечанию С. Д. Крыжицкого, допускающего возможность использования в качестве этнопризнаков «отдельных конструктивных особенностей» землянок (Крыжицкий. 1982. С. 148), к числу такого рода сооружений предпочтительнее всего относить те комплексы, в интерьере которых, наряду с печами и очагами, обнаружены детали устройств, совершенно неизвестных за пределами самой зоны расселения эллинов. Заметим сразу, что одним из наиболее ярких и, на наш взгляд, достаточно оригинальных элементов внутреннего убранства нижебугских грунтовых построек является, пожалуй, так называемый столик — площадка в виде небольшого (не более $1,0 \times 1,0 \times 0,3$ м) четырехугольного в плане останца из материкового суглинка или сооружения из глины и камня, рас-

положенного, как правило, у южного борта котлована землянок (см., например: Мазарати, Отрешко. 1987. С. 8, 13–14; Соловьев. 1989. С. 8; Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 35). Не менее показательным в этом же смысле, по всей видимости, должно являться и спорадическое употребление борисфенитами камня при возведении внешних стен строений, поскольку, как известно, последний не нашел сколь-либо заметного применения в строительном деле варваров Северного Понта раннего железного века.

Впрочем, отмечая это, приходится признать, что и все вышеизложенное отнюдь не может гарантировать нас от ошибок при определении этнокультурной принадлежности обитателей отдельных сооружений. Более того, этому вряд ли способно помочь даже наличие в материалах каких-то особенно примечательных с точки зрения культурной принадлежности бытовых остатков жизнедеятельности их обитателей, например, той же лепной керамики, поскольку последняя в конечном счете могла принадлежать туземцам, по тем или иным причинам оказавшимся в составе постоянных домохозяев греческого колониста. Речь в данном случае идет о другом — об одном из возможных направлений поиска путей реальной оценки удельного веса жилищ Борисфена раннего этапа его существования, которые могли бы быть связаны с постоянно живущими здесь эллинами.

Рассматривая теперь под указанным углом зрения имеющуюся в распоряжении современных исследователей выборку грунтовых построек Борисфена конца VII — третьей четверти VI в. до н. э., нельзя не прийти к заключению, что подавляющая часть землянок и полуземлянок этого времени вряд ли может рассматриваться в качестве места, пригодного для круглогодичного обитания выходцев из Ионии. На такую роль претендуют лишь немногие комплексы — не более одной четверти или даже одной пятой массива. При этом в числе последних в первую очередь следует назвать необычно большую (около 27 м²) и весьма основательную по своему исполнению четырехугольную в плане постройку с печами и очагами — XI, — борта глубокого (около 1,0 м) котлована которой были обложены по периметру мощными каменными стенами (Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 36).

Возвращаясь снова к вопросу о причинах застойного характера строительного дела древнейшей колонии Нижнего Побужья, мы, как представляется ныне, можем допустить теперь, наряду с прочим, что констатированный нами ранее стихийный или, лучше сказать, нерегламентированный облик застройки поселения конца VII — третьей четверти VI в. до н. э. во многом определялся и присутствующими здесь разноэтничными туземцами. В заключение заметим, что какая-то, возможно даже весьма значительная, часть этой застройки и, прежде всего, разумеется, дома, напроць ли-

шенные постоянных «приборов» отопления, могли использоваться населением колонии, как эллинами, так и варварами, либо в хозяйственных целях, либо даже временно, т. е. в основном летом, на период торгового сезона.

Среди наиболее вероятных причин, побуждавших отдельных варваров или даже целые группы фракийцев и жителей лесостепной зоны Поднепровья и Побужья к переселению на территорию Борисфена, исходя из всего вышесказанного, следует, по-видимому, отметить в первую очередь стремление туземцев к установлению непосредственных экономических контактов с греческими торговцами. Следует допускать также, что на начальной фазе освоения экономического потенциала района колонисты, испытывая острый недостаток дешевых рабочих рук, могли содействовать этому процессу. Немаловажным фактором, способствовавшим вовлечению аборигенов в культурную орбиту греков, должно было стать, наконец, и стремление молодых переселенцев обзавестись женами из числа местных женщин.

Впрочем, социально-правовой статус варварской знати населения апойки фактически почти не определим. Крайне небольшое число с трудом поддающихся интерпретации археологических свидетельств, таких, например, как присутствие в раннем некрополе Борисфена практически безынвентарных скорченных захоронений людей, по большей части не имеющих сколько-либо надежных аналогий в синхронных материалах собственно эллинских могильниках метрополии и в силу этого обычно трактуемые как варварские (см., например: Копейкина. 1981. С. 169–170), наличие там же богатого скифского погребения с золотыми украшениями в полусожженном деревянном склепе, непрерывное изготовление обитателями поселения относительно грубой лепной керамики туземного облика в условиях наличия более или менее доступной и, несомненно, более качественной кружалной и т. д., позволяет лишь предполагать какой-то спектр имущественных и общественных состояний борисфенитов местного происхождения — от лично свободных и даже вполне состоятельных до каких-то форм зависимости. И это все.

Сходное впечатление возникает, впрочем, и при анализе текста ряда наиболее ранних эпиграфических памятников Борисфена и Ольвии, свидетельствующих, как полагает Ю. Г. Виноградов, в пользу чрезвычайно развитой социальной структуры населения Нижнего Побужья уже середины VI — начала V вв. до н. э. (Виноградов Ю. Г. 1983. С. 392–393; 1989. С. 66, 75–76; см. также: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 93–94).

Что же касается хозяйственной стороны дела, то, как представляется, первые туземцы Борисфена не были использованы греками для возделывания земли в окрестностях этой апойки в сколько-нибудь значительных масштабах, что может быть объяснено их нехваткой или опять-таки торгово-сырьевой по преимуществу направленностью экономики раннего поселения.

2.2. Характер и пути формирования сельского населения в окрестностях греческих колоний Северо-Западного Причерноморья

Середина — вторая половина VI в. до н. э. стала поворотным моментом в истории Северо-Западного Причерноморья. Именно в это время здесь возникает целый ряд новых поселений ионийцев — Томы в Добрудже, Никоний и Тира в Нижнем Поднестровье, Керкинитида на побережье Северо-Западного Крыма. Как полагают исследователи, столь резкое нарастание колонизационной деятельности греков в значительной мере было обусловлено появлением в Причерноморье новых контингентов эмигрантов. Напомним также, что основная причина этого появления вполне резонно связывается ныне с событиями внутривосточной жизни самой метрополии — главным образом с военным захватом эллинских центров Малой Азии персидской державой Ахеменидов (см., например: Рубан. 1990. С. 86; Русяева. 1990. С. 6).

Одним из наиболее значительных результатов резкого увеличения числа эпикон в северо-западной части Понта стало прежде всего ускоренное развитие старых ионийских колоний этого района, свидетельством чего являются хорошо известные факты археологии Нижнего Побужья.

Как показывают результаты археологических исследований, уже в конце третьей четверти VI в. до н. э. на территории Борисфена намечается заметный подъем строительства, причем, по-видимому, не только жилого, но и общественного назначения (Копейкина. 1975; 1981б). Более того, есть все основания считать, что здесь, по крайней мере на отдельных участках, работа велась, как и в Ольвии, по заранее разработанному плану (Копейкина. 1975. С. 188–189; Виноградов Ю. Г. 1983. С. 387; Соловьев. 1989. С. 9–10; 1999. Р. 64 ff.). Особенно примечательным в этой связи является изменение самого характера сооружений: отныне намечается довольно быстрый и решительный переход к наземным постройкам эллинских типов.

Параллельно с этим строительством идет бурное развитие и самой Ольвии. Во второй половине VI в. до н. э. эта колония предстает перед нами уже в виде вполне сложившегося городского центра, занимающего большую часть площади, которую он охватывал позднее, в период своего наивысшего расцвета, имеющего выделенный теменос, агору с общественными зданиями (Карасев. 1964; Копейкина. 1975; 1976) и обширные жилые кварталы, состоявшие первоначально, правда, почти исключительно из небольших землянок и полуземлянок различной формы, но, как правило, вполне аналогичных борисфенитским (Крижицкий, Русяева. 1978; Крыжицкий. 1982. С. 11–15). Именно эти землянки и полуземлянки на поверку оказываются наиболее ярким и чуть ли не единственным признаком воздействия местной

северопричерноморской традиции на культуру ольвиополитов. Судя по минимальному (не более 1–4%) удельному весу туземной лепной посуды в керамическом комплексе раннего города (Марченко К. К. 1972. С. 62–63. Табл. 1) количество жителей варварского происхождения в составе жителей, вероятнее всего, было самым низким среди поселений архаического времени Нижнего Побужья. Нельзя, впрочем, полностью сбрасывать со счетов и того обстоятельства, что в данном случае используемый нами критерий для оценки удельного веса аборигенов является менее показательным, чем обычно. Следует предполагать, что центр полиса с момента своего зарождения обладал не только наиболее мощным культурным потенциалом, что само по себе должно было вести к более быстрой, чем на других поселениях, адаптации варваров, но, вполне вероятно, и довольно развитым керамическим производством и что, следовательно, нужда в изготовлении местными жителями своей собственной, относительно примитивной посуды в таких условиях могла оказаться незначительной.

Вернемся, однако, к событиям середины — второй половины VI в. до н. э. Главные перемены этого времени происходили, по всей видимости, все же за пределами территории греческих апойкий северо-западной части Понта, в их окрестностях, где также с начала третьей четверти VI в. до н. э. начинается ускоренное развитие сельского населения. Выше уже отмечалось, что начало этому процессу было положено еще в первой половине столетия, когда по соседству с древнейшим торговым центром Северной Добруджи — Истрией, а затем и в Нижнем Побужье, рядом с Борисфеном, появляются первые признаки зарождения стационарной жизни. Однако столь же очевидно и то, что лишь в середине и особенно второй половине VI в. до н. э. этот процесс получает новый мощный импульс для своего последующего развития.

Несмотря на все еще весьма значительные пробелы в наших знаниях, есть все основания полагать, что к рубежу VI–V вв. до н. э. в основных зонах прямой греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья уже функционировало несколько десятков относительно небольших сельских поселений. Следует напомнить также, что если к настоящему моменту в окрестностях Истрии археологическим путем зафиксировано не более чем 10–15 объектов такого рода, а в Нижнем Поднестровье лишь 11 (Охотников. 1983; 1987. С. 10; ср. 1990. С. 6), то в Нижнем Побужье, где сохранность археологических памятников пока несколько лучше, их насчитывается ныне уже более 100 (Крыжицкий, Буйских, Отрешко. 1990. С. 10 сл.) — рис. 3. Нет никакого сомнения также и в том, что в действительности количество таких поселений было еще значительнее, поскольку какая-то часть наиболее ранних комплексов должна была погибнуть в процессе современной береговой абразии или, как в Добрудже, оказалась затопленной водами лагун. Как бы то ни было, можно предполагать, что речь идет о весьма заметном хозяйст-

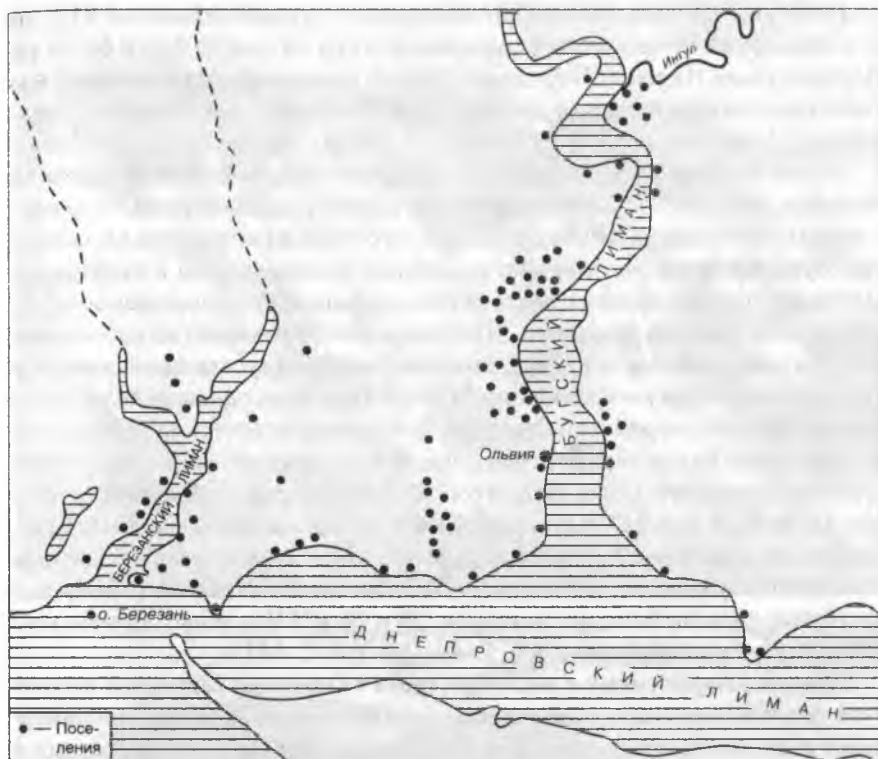


Рис. 3. Поселения Нижнего Побужья VI — первой трети V в. до н. э.

венном, культурном и, разумеется, демографическом явлении в античной истории названного района «пограничья».

Что касается облика подавляющей части памятников этого типа, то, очевидно, наиболее серьезные исследования в этом направлении проведены в последние годы только для районов Нижнего Поднестровья (Охотников. 1990) и Нижнего Побужья (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 3–95; Отрешко. 1990а).

Как установлено, абсолютное большинство позднеархаических поселений было расположено либо на берегах лиманов и заливов, либо вдоль больших балок и ныне высохших рек. Судя по данным разведок и раскопок, в их составе можно выделить по крайней мере два принципиально различных вида — постоянные селища с выраженным культурным слоем, жилыми и хозяйственными комплексами и поселения без четко выраженного слоя, трактуемые как сезонные стоянки пастухов (Бураков, Отрешко, Буйских, Назарчук. 1975. С. 263).

Размеры отдельных поселений середины — второй половины VI в. до н. э. варьируют от нескольких сотен квадратных метров до 2–3 и более га. На территории Нижнего Побужья, впрочем, известны и значительно большие памятники с площадью, достигающей 50–60 га (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 25).

Сопоставление материалов наиболее изученных памятников Нижнего Побужья, Нижнего Поднестровья и отчасти Северной Добруджи позволяет говорить ныне о значительном сходстве, но отнюдь не тождестве их культуры, обусловленном, несомненно, теснейшей экономической и культурной зависимостью от греческих центров Северо-Западного Причерноморья.

Так, например, установлено, что основным видом жилищ на поселениях этой группы являлись округлые, овальные и четырехугольные однокамерные землянки и полуземлянки (рис. 4.1–2). При этом, однако, следует подчеркнуть, что на территории Северной Добруджи и в греческих городах и на их периферии до сих пор известны лишь круглые и овальные в плане структуры (см., например: Condurachi si col. 1953. P. 130. Fig. 18; Rădulescu, Scorpan. 1975. P. 28. Fig. 11). Их площадь, как правило, не превышала 10–14 м², глубина колебалась от 0,3 до 1,5 м. Только в двух случаях — на поселениях Нижнего Побужья Куцуруб I и Старая Богдановка 2 — выявлены грунтовые постройки гораздо больших размеров: 25 и 64 м² (Марченко, Доманский. 1981. С. 65. Рис. 6.2. С. 63; 1986. С. 49. Рис. 6.2. С. 56).

Помимо заглубленных в землю построек на позднеархаических поселениях функционировали и различного рода и облика наземные однокамерные и даже многокамерные дома с турлучными или сырцовыми стенами и цоколями, выложенными из камня.

Судя по культурным остаткам, обитатели этих поселений занимались в основном земледелием и скотоводством. Большое количество импортных греческих изделий, прежде всего разнообразной керамики, находки на наиболее ранних пунктах так называемых монет-стрел, а со второй половины VI в. до н. э. в Нижнем Побужье и Поднестровье — монет-дельфинчиков говорят о развитии начальной фазы товарно-денежных отношений. Широкое распространение получило рыболовство, носившее, быть может, даже товарный характер. Очень небольшое значение имела охота на диких животных. Ремесла в условиях налаженного товарообмена с греческими центрами на подавляющем большинстве поселений развития не получили.

Динамика развития экономической базы новых поселенцев при относительной изолированности от неблагоприятных внешних воздействий со стороны причерноморских варваров в настоящее время, пожалуй, лучше всего может быть проиллюстрирована материалами одного из поселений Нижнего Побужья — Старая Богдановка 2 (см.: Марченко, Доманский. 1981; 1982; 1983а). Исследования целого ряда лет позволили открыть здесь группу стро-

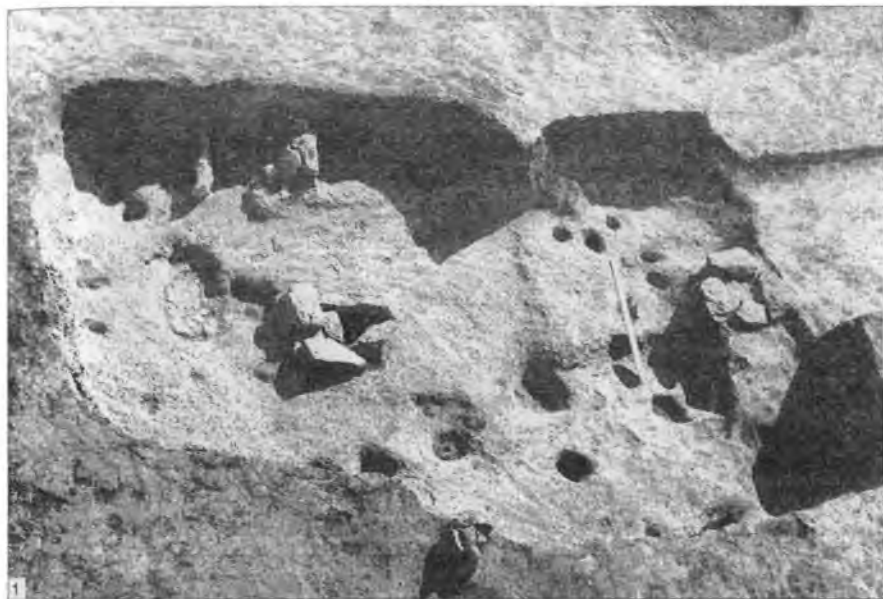


Рис. 4. Остатки землянок и полуземлянок на сельских поселениях Нижнего Побужья VI — первой трети V в. до н. э.
(1 — поселение Старая Богдановка 2; 2 — поселение Куцуруб 1)

ений из 23 землянок и наземных сооружений, представляющих, по всей видимости, единый комплекс, функционировавший с начала последней трети VI в. до н. э. по первую четверть следующего столетия. В соответствии с полученными наблюдениями в развитии этого комплекса можно выделить по крайней мере три последовательных периода, примерно характеризующих существенное расширение строительных и хозяйственных возможностей обитателей поселения в течение жизни одного-двух поколений.

В первый период на незастроенном участке поселения выкапываются две круглые и, по-видимому, две четырехугольные землянки. По прошествии весьма непродолжительного отрезка времени все эти постройки засыпаются, а на их месте или в непосредственной близости строятся частично одновременно, частично последовательно восемь четырехугольных, одна подтреугольная, две овальные землянки и, возможно, одно круглое (в виде юрты) сооружение. Одновременно на поселении выкапывается целый ряд хозяйственных ям различного назначения.

Наиболее серьезные, кардинальные перемены происходят, однако, в самом конце VI — начале V в. до н. э., когда вся ранее освоенная площадь комплекса нивелируется, частично перекрывается добротной каменной вымосткой и на месте ранее существовавших землянок возводятся два слегка заглубленных в землю прямоугольных однокамерных дома с каменными цоколями и сырцовыми стенами.

Помимо уже упомянутых сооружений на поселении в это же время появляются и типично наземные постройки, в том числе три небольших четырехугольных одно-двухкамерных дома площадью около 8–9 м² с каменными цоколями и сырцовыми стенами.

Наиболее показательными в этой серии являются, однако, остатки пока уникального для Нижнего Побужья да и всего Северо-Западного Причерноморья позднеархаического времени большого наземного здания около 790 м², возведенного обитателями поселения в некотором удалении от жилых домов, на месте предшествовавшей ему самой крупной из до сих пор известных в этом районе четырехугольной землянки площадью около 64 м² (рис. 5.1). Существенно отметить также, что рядом с этим большим и, по-видимому, общественным по своему назначению зданием, на обрывистом берегу лимана одновременно было создано монументальное каменное сооружение явно культового назначения (Марченко, Головачева. 1985) — рис. 5.2.

Вместе с тем, отмечая предельно динамичное развитие во времени Старой Богдановки 2 и ряда других сельских поселений в окрестностях греческих апоек Северо-Западного Причерноморья, на территории которых наблюдается довольно быстрый, хотя, по-видимому, далеко не во всех случаях последовательный переход от сооружения относительно простых грунтовых

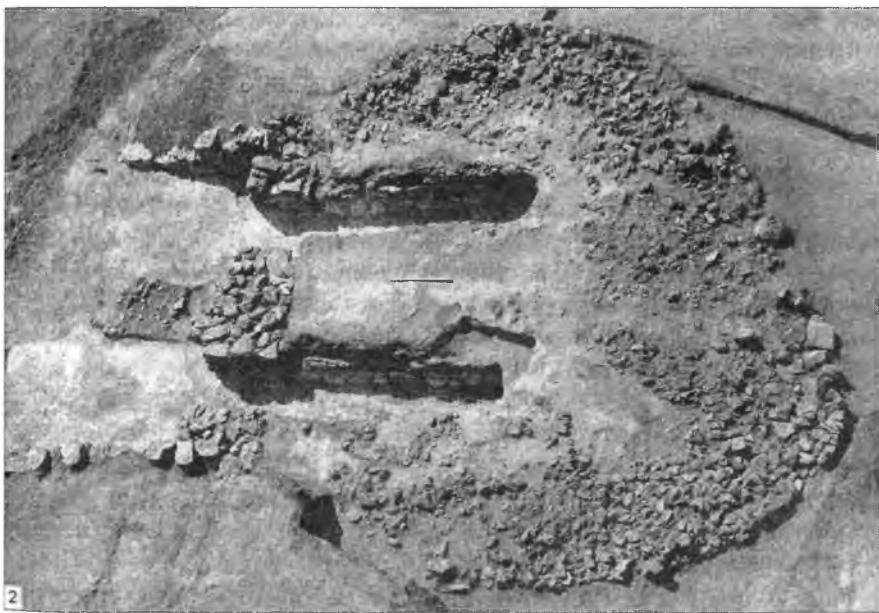


Рис. 5. Остатки наземных сырцово-каменных построек начала V в. до н. э. на поселении Старая Богдановка 2

жилищ к более совершенным, но, несомненно, и более трудоемким сырцово-каменным наземным домам, нельзя не заметить, что такая картина развития является все же скорее исключением, чем неперенным правилом. В целом же строительное дело значительного большинства рядовых памятников этого времени демонстрирует нам крайний примитивизм, консервативность, однообразие и экстенсивный характер использования пространства под застройку. Один из наиболее наглядных примеров такого рода традиции дает нам, пожалуй, опять-таки нижнебугское поселение Куцуруб I, где в течение всего позднеархаического периода функционировал лишь единственный тип жилых и хозяйственных построек — круглые землянки и полуземлянки (Марченко, Доманский. 1986).

Каким же, однако, путем шло формирование сельского населения в основных зонах греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья? Кто населял аграрные поселки, расположенные на периферии греческих апойкий этого района? И наконец, какими могли быть отношения этих поселений с местными эллинскими центрами?

На все эти и аналогичные этим вопросы в современной историографии Северо-Западного Причерноморья античной эпохи даются весьма различные ответы. Впрочем, все они в несколько упрощенном виде могут быть сведены к двум основным точкам зрения. Приверженцы первой и, как кажется, наиболее распространенной из них убеждены в том, что жителями всех этих многочисленных аграрных поселков являлись прежде всего, или почти исключительно, сами греческие колонисты, и что в силу этого культурная, экономическая и политическая роли варварского компонента, ежели таковой здесь и имелся, были ничтожными. Сторонники второй точки зрения, вполне признавая примат греческого воздействия на демографическую и, конечно же, экономическую ситуацию в районах, охваченных колонизационным процессом, одновременно полагают все же и значительное по своим размерам участие туземцев в формировании культурного облика и этнического состава сельского населения Нижнего Побужья, Поднестровья и Северной Добруджи.

Вполне естественно также, что в соответствии с этими различными представлениями об этническом составе сельского населения совершенно различно решаются и остальные вопросы истории, например, о взаимоотношениях жителей аграрных селищ Северо-Западного Понта с греческими городскими центрами этого региона. В первом случае эти отношения со всей очевидностью предстают перед нами как чисто внутренние, т. е. протекавшие в рамках самой эллинской общины переселенцев; во втором же — центр тяжести заметно смещается вовне — в основном к отношениям греческих колонистов с местными варварами. Таким образом, мы, по всей видимости, вполне можем констатировать в настоящее время наличие весьма сущест-

венного, если не сказать более, принципиального расхождения по интересующей нас проблеме.

Перейдем теперь к рассмотрению первой и, как кажется, наиболее обоснованной точке зрения.

Основным отправным пунктом признания безусловно эллинской принадлежности сельского населения приморских территорий северо-западной части Понта стал в недавнем прошлом тезис о сугубо аграрной форме греческой колонизации Северного Причерноморья в целом. Совершенно очевидно также, что важнейшие положения именно такого понимания мотивов переселения эллинов в столь отдаленный край античной ойкумены были впервые последовательно сформулированы В. В. Лапиным (1966). По мнению этого исследователя, заселение берегов Северного Понта было процессом более или менее одновременным (Лапин. 1966. С. 175, 183) и носило преимущественно массовый характер, будучи по своей сути продолжением более древней стихийной миграции догосударственного периода (Лапин. 1966. С. 33). Как полагал В. В. Лапин: «Города уже на этом (т. е. раннем. — К. М.) этапе колонизации не были единственными и изолированными поселениями греков. Одновременно с их возникновением основывались и поселения хоры. Именно эти-то сельские поселения и являлись основным продуктом и главным содержанием имманентного колонизационного процесса» (Лапин. 1966. С. 183). А коль скоро это так, то вполне логично думать, что создателями и жителями аграрных поселков архаического времени Северного Причерноморья в целом были сами греческие переселенцы.

Этот принципиально важный для нас вывод, казалось, совершенно естественно вытекал не только из беспристрастного анализа движущих сил и социально-экономических основ колонизационной практики эллинов, он вроде бы хорошо подтверждался и всем ходом внутренней критики конкретно-исторических документов Северного и особенно Северо-Западного Причерноморья, проведенной В. В. Лапиным.

С тех пор в обосновании рассматриваемой нами точки зрения на характер и пути сложения сельского населения в районах греческой колонизации не произошло существенных изменений. Все усилия сторонников эллинской принадлежности жителей аграрных поселков были направлены главным образом по пути накопления и подбора дополнительных конкретных аргументов и фактов, детализирующих и подкрепляющих вышеизложенную позицию В. В. Лапина.

Лишь в последнее время была предпринята серьезная попытка существенно модифицировать устоявшуюся картину формирования сельского населения. Весьма примечательно, что радикальные изменения в ее облик попытались внести сами приверженцы эллинской принадлежности рядовых поселений, расположенных в окрестностях греческих центров (см.:

Крижицкий, Буйських. 1988; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 22–95). Основанием для столь неожиданного поступка стали результаты непосредственного изучения планировки наиболее крупных памятников Нижнего Побужья — так называемых агломераций. При этом было обращено особое внимание на отсутствие в их пространственной структуре сколь-либо отчетливых признаков регулярности, выраженной сети улиц и остатков комплексов общественно-административного, культового и торгового назначения (Крижицкий, Буйських. 1988. С. 6). Более того, было замечено, что буквально все сельские поселения окрестностей Борисфена и Ольвии имели довольно-таки примитивный тип застройки в виде отдельных более или менее стандартных и к тому же весьма скромных по своему облику хозяйств или усадеб, состоявших, как правило, из 5–6 однокамерных жилых землянок и полуземлянок и целого ряда зерновых ям и хозяйственных сооружений (Крижицкий, Буйських. 1988. С. 3–5; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 26–31). Совершенно естественно, что все это вместе взятое никак не вязалось с существующими представлениями об античной строительной традиции (Крижицкий, Буйських. 1988. С. 2). Требовалось срочное объяснение этого явно странного обстоятельства. И оно было найдено, причем найдено в рамках все тех же воззрений В. В. Лапина.

Как предположили исследователи, констатируемое ими своеобразие архитектурно-планировочного решения наиболее крупных рядовых поселений Нижнего Побужья является прямым следствием или, лучше сказать, отражением относительной имущественной бедности, а также правовой и социально-экономической однородности их жителей, прибывших сюда, т. е. на берега Северо-Западного Понта, из сельских районов Малой Азии и в силу этого, по-видимому, плохо знакомых с требованиями (правилами) городского строительства (Крижицкий, Буйських. 1988. С. 8; ср. Лапин. 1975).

Но этого мало! То же самое своеобразие аморфной кустовой застройки «агломерации», да, очевидно, и всех остальных аграрных селищ Нижнего Побужья, послужило для этих исследователей источником еще одного знаменательного вывода. Оно было истолковано как прямое указание на стихийность перемещения греческих крестьян в Северное Причерноморье. При этом, учитывая весьма значительные размеры самих агломераций, занимавших территорию до 50–80 г., такое перемещение, по их мнению, должно было иметь массовый характер (Крижицкий, Буйських. 1988. С. 5–6). Таким образом, резюмируют специалисты, в потоке греческой колонизации Северного Причерноморья VI в. до н. э. выделяется не одна, как это считалось до сих пор, а две основные линии: «Первая — организованная, целенаправленная колонизация полисного характера, в результате которой возникают такие апойки, как Березань и Пантикапей; другая — стихийная, сугубо аграрного свойства, в ходе которой и возникали большие нерегламентирован-

ванные специальной организацией поселенческие структуры типа исследованных в Нижнем Побужье агломераций. В массовости колонизации второй линии были заложены предпосылки для возникновения Ольвии» (Крыжицкий, Буйских. 1988. С. 6; ср. Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 12).

Вот, пожалуй, вкратце и все, что необходимо специально отметить в связи с рассмотрением наиболее распространенной точки зрения на характер и пути формирования сельского населения в районах колонизации как Северного Причерноморья в целом, так и его северо-западной части в особенности.

Перейдем теперь к определению степени достоверности данной позиции. Начать анализ следует с главного — с подтверждения надежности ее исходного пункта, декларирующего преимущественно аграрный характер греческой колонизации интересующей нас территории. Как представляется ныне, такое понимание процесса переселения эллинов на берега Северного Причерноморья не может вызвать сколь-либо серьезных возражений в принципе. Помимо общих соображений о социально-экономической и политической значимости в архаической Греции относительной стенохории, перманентно вызывавшей разного рода стасисы и отток лишних людей в колонии, на сей счет имеются и вполне конкретные данные, определенно указывающие на особую хронологическую и, весьма вероятно, причинно-следственную сопряженность отдельных импульсов переселения греков в Причерноморье с периодическим разорением сельской местности эллинских городов Малой Азии, вызванным опустошительными войнами ионийцев с Лидийским царством и Мидией. «Все это, — отмечают, в частности, Г. А. Кошеленко и В. Д. Кузнецов, — породило своего рода кризис в Ионии. Он выражался в нехватке средств существования, прежде всего земли» (Кошеленко, Кузнецов. 1990. С. 38).

Итак, повторяем, сам по себе аграрный характер греческой колонизации Северного Причерноморья в целом не вызывает сомнений. Вместе с тем признание данного обстоятельства отнюдь не снимает с повестки дня вопрос об особой роли торговли в колонизационном движении на его раннем этапе. В этой связи достаточно лишь напомнить о существовании довольно-таки многочисленных, разнообразных и, как кажется, весьма красноречивых археологических, нумизматических и даже эпиграфических памятников позднеархаического времени, прямо свидетельствующих в пользу значительного удельного веса, который занимали купцы и ремесленники в экономической деятельности древнейшей апойкии региона — поселения на острове Березань. Впрочем, даже с учетом возможного внесения определенных коррективов в мотивацию переселения наиболее ранней волны ионийцев ее аграрная доминанта в районе северо-западной части Понта, по крайней мере с середины VI в. до н. э., представляется более чем вероятной. Заметим сразу, что с этих позиций по меньшей мере искусственным кажется

и прямое противопоставление двух линий колонизации, которые якобы имели место в северопонтийском регионе VI в. до н. э. В таком противопоставлении нет решительно никакого резона, поскольку совершенно очевидно, что и в первом, и во втором случаях, т. е. безотносительно к месту жительства — будь то город или маленькая деревенька, — основным родом экономических занятий подавляющего числа переселенцев практически должно было стать сельское хозяйство. Другое дело, конечно, как это происходило в действительности.

Однако прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к рассмотрению так называемой стихийной линии переселений ионийцев в VI в. до н. э. Нельзя не заметить, что выяснение жизнеспособности этой модели имеет для нашей темы первостепенное значение: ведь речь идет как раз о вполне конкретном и, как полагают ее сторонники, едва ли не единственно возможном пути формирования сельского населения в зонах колонизации Северного Причерноморья (Крижицкий, Буйских. 1988. С. 7) или, по крайней мере, Нижнего Побужья (Крижицкий, Буйских, Бураков, Отreshко. 1989. С. 41).

Начать анализ следует с самого термина «стихийность». Несмотря на чрезвычайную лапидарность сопровождающего это определение пояснительного текста, создается вполне отчетливое впечатление, что он по своей сути мыслится как полное отрицание какого-либо организованного или, говоря словами С. Д. Крижицкого и С. Б. Буйских, «регламентированного специальной организацией» начала в массовом переселении греческих земледельцев. Все остальные важные свойства этой стихийности устанавливаются далее только в ее сопоставлении с другой линией колонизационного движения — так называемой полисной. Правда, выше мы уже отмечали определенную близость этих двух «линий» переселения, во всяком случае в той мере, в какой дело касается их социально-экономической основы. Однако же нельзя не заметить и другого — что во всем остальном они явно различны.

Таким образом, перед нами смоделирована совершенно особая форма колонизации позднеархаического времени. Следует сразу же подчеркнуть, что в данном виде она являет собой нечто несравненно большее, чем просто развитие ранней идеи В. В. Лапина о генетической связи процесса заселения эллинами берегов Северного Понта в VI в. до н. э. с более древней стихийной миграцией греков догосударственного периода. По существу это и есть сама миграция, причем миграция, представленная нам в чистом, мы бы даже сказали, вполне современном облике, когда за море в поисках лучшей доли отправляются не отдельные организационно так или иначе сплоченные коллективы единомышленников, а изначально совершенно изолированные друг от друга обездоленные крестьянские семьи, неизбежно вступающие в политические контакты и объединения только по прибытии на места

своего нового расселения (ср. Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 40).

Нет нужды специально распространяться по поводу весьма больших сомнений которые уже в первом приближении вызывает такая картина миграции хотя бы и части ионийцев. Мало того что ее существование, по сути дела, никак не фиксируется письменными источниками. Она в принципе противоречит и всей совокупности жестко регламентированных социально-политических, общественных и экономических связей и структур эллинского мира архаической эпохи. Но дело, естественно, не только или, точнее, не столько в этом. В конце концов, дошедшие до наших дней на сей счет отдельные справки античной традиции вряд ли способны полностью отражать реально действовавший механизм организации греческих апойкий в различных частях древней ойкумены. Гораздо важнее то, что наибольшие сомнения в возможности существования сугубо стихийного варианта переселения земледельцев Ионии в Северное Причерноморье возникают как раз в сфере его конкретно-исторического обоснования.

Нетрудно заметить, что в основе этой идеи лежит попытка выявления социально-политической специфики архитектурно-планировочного облика одного из типов археологических памятников Нижнего Побужья второй половины VI — начала V в. до н. э. — так называемых агломераций. Следует сразу же сказать, что сама по себе постановка такой работы вполне закономерна и методически оправдана. Априорно, однако, очевидно и другое — исключительная сложность ее однозначного и глубокого разрешения, связанная прежде всего с принципиальным различием сопоставляемых при этом исторических источников — архитектурно-планировочных структур древних поселений, представленных разрозненными фактами археологии, с одной стороны, и социально-политической сферой греческой культуры архаического времени, приближенно реконструируемой на основе эпиграфических и литературных материалов, главным образом позднейшего периода, с другой.

Заметим также, что в данном конкретном случае положение дел усугубляется еще и тем, что накопленная к настоящему времени информация об облике выбранного для такого сопоставления типа памятников крайне обрывочна и, как представляется, все еще не позволяет делать далеко идущие выводы о характере и структуре их застройки. Именно это, последнее, обстоятельство серьезно затрудняет проверку некоторых конкретных замечаний и выводов специалистов.

Не подлежит сомнению, впрочем, что даже в таких сложных условиях С. Д. Крыжицкому и С. Б. Буйских удалось сделать ряд интересных и, по всей видимости, правильных наблюдений о культурно-историческом облике «агломераций». В их числе назовем следующие: неслучайность или, точ-

нее, закономерность появления таких поселений в Нижнем Побужье, отсутствие видимой регулярности в их планировке, невозможность функционального дифференцирования строительных комплексов этих памятников, имущественная и, вероятно, во многом социальная однородность их населения (Крижицкий, Буйских. 1988. С. 6–7).

Вместе с тем, оценивая эту попытку в целом, следует признать ее все же крайне дискуссионной. В данной связи прежде всего следует отметить ошибочность мнения авторов о тождественности планировочных структур, которую будто бы выказывают нам буквально все сельские поселения Нижнего Побужья. Накопленная на сей счет информация находится в явном противоречии с таким суждением. Как установлено ныне, среди рядовых памятников этого же района позднеархаического времени имелись поселения с принципиально отличной от просто кустовой организацией застройки. В их числе можно назвать, к примеру, поселение Старая Богдановка 2, где, помимо явных элементов регламентации пространства, требующей от обитателей «куста» неуклонно возобновлять строительство новых жилых и хозяйственных домов в пределах одной и той же, по-видимому, жестко ограниченной территории, хорошо прослеживается и деление площади поселения на районы, застроенные отдельно жилыми и отдельно общественными сооружениями (Марченко, Доманский. 1981; 1999. С. 28 сл.; Марченко К. К. 1985а).

Наибольшие возражения, однако, вызывает теоретическая сторона исследования. Полностью отвлекаясь сейчас от весьма спорного, с нашей точки зрения, мнения о безусловной принадлежности всех рядовых памятников греческому населению, хотя и с примесью какого-то варварского компонента (Крижицкий, Буйских. 1988. С. 7), и становясь в данном случае на позицию его авторов, мы все же никак не можем согласиться с четко улавливаемой тенденцией ставить знак равенства между существенно различными структурообразующими явлениями античной культуры — древнегреческим государством и городом. Нетрудно заметить также, что прямое совмещение этих явлений дает в распоряжение исследователей столь же прямой, но по сути своей явно несбалансированный подход к решению стоящей перед ними задачи.

Анализируя под таким углом зрения архитектурно-планировочную составляющую нижебугских «агломераций», отчасти и других сельских поселений этого района, и не обнаруживая в ней всего того, что, по их мнению, должно быть присуще античному городу, т. е. регулярную планировку, застройку кварталами, систему улиц, агору, священный участок и т. д., авторы естественным образом приходят к выводу и об отсутствии здесь какой-либо государственной организации. Более того, государственной организации, в рамках которой могли бы возникнуть все эти поселения и «агломерации», не обнаруживается и за их пределами, т. е. на всей остальной терри-

тории Нижнего Побужья. При этом, заметим, в рассматриваемом исследовании не приводится каких-либо специальных объяснений столь странного суждения. И совершенно напрасно.

Оставляя теперь за рамками общей оценки «стихийной линии» колонизации вопрос о наличии или отсутствии каких-то политических организаций внутри населения самих «агломераций», — здесь мы, пожалуй, вполне готовы согласиться с выводом С. Д. Крыжицкого и С. Б. Буйских и признать, что у нас нет, да скорее всего никогда и не будет сколь-либо весомых оснований видеть в такого рода аграрных селищах отдельные полисы, — должны напомнить все же, что в античной Греции и, прежде всего, в Греции архаического времени были достаточно широко распространены политические образования, не имевшие собственных городских центров, но воспринимавшиеся их гражданами и остальными эллинами как государства (Thuc., I, 5, 4; 10, 2; Paus., X, 4). Таким образом, следует полагать, что даже сам по себе факт отсутствия крупного или во всех архитектурно-планировочных отношениях очевидного городского центра в Нижнем Побужье в момент появления здесь «агломераций» или любых иных аграрных выселков еще не дает права напрочь отрицать существование в древнейшем районе греческой колонизации Северного Причерноморья какой-то формы государственной организации, под контролем и при самом непосредственном участии которой могло протекать основание и развитие этих поселений.

Впрочем, если продолжать рассматривать и далее этот район в целом, то среди его наиболее ранних памятников архаического времени можно отыскать и вполне достойных претендентов на роль политического центра. При этом, однако, мы хотели бы обратить внимание на то, что С. Д. Крыжицкий и С. Б. Буйских в своем стремлении доказать жизнеспособность сугубо стихийной модели колонизации невольно предъявляют к облику такого рода центров слишком уж завышенные требования: тут и регулярность застройки, и наличие агоры и теменоса и т. д., и т. п. Конечно же, никто не будет возражать, что для более или менее надежного определения поселения городского типа желательна фиксация хотя бы и части из вышеобозначенных элементов застройки памятника. Однако на практике археологам, к сожалению, зачастую приходится довольствоваться значительно меньшим — одним или двумя признаками. И дело здесь, естественно, не только в том, что речь идет о наиболее ранних и, следовательно, наименее сохранившихся и, как правило, недостаточно исследованных остатках жизнедеятельности апойкий, но и в том, что даже основные выселки греков архаического времени далеко не во всех случаях могли обладать полным набором градообразующих характеристик, тем более надежно закрепленных в их архитектуре.

Исходя из указанных соображений, к числу основных политических центров Нижнего Побужья раннего этапа колонизации следует прежде всего от-

нести апойкию на острове Березань. Как представляется ныне, для такого решения имеется более чем достаточно оснований. Среди них в первую очередь упомянем свидетельство Евсевия в передаче Иеронима, поместившего дату основания Борисфена (или города Борисфена, как в сирийской версии) на второй год 33-й олимпиады (Euseb., Chron., cap. P. 95b., Helm.), т. е. задолго до появления здесь самых ранних «агломераций». Не менее показательными в этом же плане оказываются и материалы археологии памятника заставляющие, к примеру, предполагать весьма значительную степень имущественной и профессиональной неоднородности его уже самых ранних обитателей, что находится в явном контрасте с соответствующими характеристиками, данными С. Д. Крыжицким и С. Б. Буйских населению сугубо аграрных селищ (см.: Крыжицкий, Буйских. 1988. С. 6). Весьма примечательным для определения политической значимости Березани является недавнее открытие здесь священного участка — теменоса (Назаров. 1998. С. 37–38; 1998б. С. 114), и, наконец, факт бурного расцвета строительной деятельности на территории апойкии, приведшей к появлению вполне регулярной городской застройки на рубеже третьей и четвертой четвертей VI в. до н. э., т. е. тогда, когда в Нижнем Побужье как раз и стали возникать наиболее крупные сельские «агломерации».

Впрочем, как представляется в настоящее время, никто из исследователей и не сомневается в возможности причислять березанскую колонию к категории полисов. Сказанное в равной мере касается также и авторов «стихийной линии» колонизации, по мнению которых данная апойкия возникла в результате совершенно иной, нежели обычные сельские поселения, — полисной модели колонизации (Крыжицкий, Буйских, 1988, с. 6). Однако именно в силу этого, последнего обстоятельства кажется особенно странным и ничем не объяснимым столь внезапный отказ ученых от еще совсем недавно настойчиво проводимой ими же в жизнь вполне плодотворной идеи принадлежности части наиболее ранних аграрных селищ округи Березани данному государству (Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан. 1980. С. 7). И уж совсем загадочной представляется позиция этих исследователей, которую они заняли относительно другой древнейшей колонии Северо-Западного Причерноморья — Ольвии, причисленной ими, судя по всему, к роду обычных сельских деревенок, с коей никак нельзя связывать существование какой бы то ни было политической организации ионийцев вплоть до последней трети VI в. до н. э. во всяком случае (Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 6–7; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 39–40).

Такое мнение явно противоречит имеющейся в нашем распоряжении информации. При этом оно оказывается под ударом как со стороны данных литературной традиции, относящей основание Ольвии ко времени мидийского владычества в Азии (Ps.-Scymn., 809 Muller) и тем самым как бы косвен-

но указывающей на вполне организованный характер вывод этой колонии, так и со стороны самой археологии, прямо свидетельствующей в пользу существования на территории этого памятника так называемого второго темноса, возникшего буквально в момент основания самой апойкии, т. е. где-то во второй четверти VI в. до н. э. (Русяева. 1986. С. 42), когда в Нижнем Побужье еще не функционировало ни одной мало-мальски заметной «агломерации». Впрочем, если даже эти соображения неверны (см.: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 40–41), то уж сам факт существования Ольвийского полиса в конце третьей четверти VI в. до н. э., в чем, как уже отмечалось ранее, не сомневаются и вышеназванные исследователи, вполне достаточен для того, чтобы поставить под серьезное сомнение совершенно независимый и стихийный характер формирования сельского населения во второй половине этого столетия в ближайших окрестностях города.

Вот, пожалуй, и все, что хотелось специально отметить в ходе только что проведенной ревизии гипотезы С. Д. Крыжицкого и С. Б. Буйских. Подводя итог сказанному, мы, по всей видимости, можем констатировать отсутствие надежных историко-археологических оснований для признания права на безболезненное существование идеи «стихийной линии» развития аграрной греческой колонизации северо-западной части Понта.

Итак, в поле нашего зрения остается лишь сформулированная еще В. В. Лапиным классическая, если так можно выразиться, точка зрения на путь формирования сельского населения — в результате последовательного и планомерного освоения греческими центрами экономического потенциала близрасположенных районов. Сразу следует признать, что ее общетеоретическая база и большая часть конкретно-исторической аргументации представляется на первый взгляд почти безупречной или, по меньшей мере, гораздо более солидной, нежели в случае с обоснованием стихийного варианта заселения. Во всей концепции изначально настораживает разве что чрезмерная прямолинейность, можно сказать, некоторая упрощенность трактовки исходных данных.

Возьмем, к примеру, теоретическое обеспечение одного из важнейших положений работы В. В. Лапина — о почти полном отсутствии участия варваров в сложении культуры населения районов колонизации Северного Причерноморья на раннем этапе. Почерпнутое в идее Д. П. Каллистова об относительной независимости социально-политической и культурной системы эллинского и варварского миров (Лапин. 1966. С. 184–185), оно было использовано далее только для утверждения неизбежности роста их противоположности во времени. Вместе с тем сами по себе культурные различия двух соседствовавших на берегах Северного Понта миров отнюдь не исключали, а скорее предполагали развитие между ними разного рода контактов. В этой связи достаточно вспомнить хотя бы кочевников степной зоны регио-

на, постоянно нуждавшихся для нормального воспроизводства своего образа жизни в тесных взаимодействиях с оседлыми земледельцами, к числу которых, несомненно, принадлежали и греческие колонисты. Разумеется, следует думать, что такие контакты в большинстве случаев вряд ли могли вести сразу к сколько-нибудь глубокому взаимопроникновению, а тем более к полной интеграции отдельных подразделений их культур. Такая ситуация более характерна для стадияльно близких, одноформационных образований. И все же отвергать с порога саму возможность значительных влияний между системами, находившимися на различных ступенях общественного развития, теоретически недопустимо. Столь же недопустимо, впрочем, не учитывать в этой ситуации и преимущественную односторонность культурного воздействия, направленного главным образом от высшего к низшему. Нельзя, наконец, не принимать в расчет и того обстоятельства, что сила культурной радиации в древних обществах, как правило, обратно пропорциональна расстоянию от своего основного источника.

Таким образом, следует предполагать априорно, что сам по себе факт отсутствия следов значительного воздействия варварской культуры на культуру сельского населения интересующего нас района Причерноморья, будь он даже вполне доказан, не может однозначно свидетельствовать в пользу неперенного отсутствия там значительного количества самих туземцев. Более того, проявление такого воздействия в непосредственной близости от греческих апойкий в связи со всем вышеизложенным оказывается до известной степени даже противоестественным, требующим специальных объяснений.

Перейдем, однако, к краткому анализу конкретно-исторического обоснования рассматриваемой точки зрения. Как уже отмечалось ранее, в первом приближении это обоснование до сих пор выглядит во многом убедительным и в ряде случаев базируется на хорошо проверенных материалах и фактах. Впрочем, и на конкретно-историческом уровне не обошлось без существенных изъянов. Далеко не все аргументы выдержали испытание временем. В цепи рассуждений этого исследователя выявились отдельные просчеты и даже ошибки принципиального характера. В их числе назовем только наиболее важные для нас в данном случае. Это, во-первых, в корне неверная этнокультурная атрибуция лепной керамики Северного Причерноморья (см.: Марченко К. К. 1988а) и, во-вторых, явно несбалансированная оценка культурной принадлежности основного типа жилищ архайического времени районов колонизации — землянок и полуземлянок (Крыжицкий. 1982. С. 148). При этом совершенно необходимо отдавать себе отчет в том, что в обоих случаях ошибочная интерпретация источников затрагивает как раз наиболее глубинный уровень традиционно-бытового пласта культуры, где зачастую и проявляются наиболее четко ее этноинтегрирующие

и этнодифференцирующие функции. Указанное положение дел, даже безотносительно ко всем остальным доводам В. В. Лапина и его сторонников, вызывает естественное сомнение в окончательной правильности их оценки удельного веса и роли варварского компонента в составе сельского населения приморских районов Северо-Западного Причерноморья архаического времени и заставляет нас провести на сей счет дополнительный анализ фактов. Начать следует с материалов лепной керамики (рис. 6.1 и 6.2).

Итак, накопленные ныне наблюдения свидетельствуют, что:

- 1) изготовление лепной керамики жителями аграрных поселений контактных зон Северо-Западного Причерноморья началось едва ли не с момента появления здесь первых греческих колонистов;
- 2) ее использование в быту сразу же приняло необычно широкие масштабы, составляя от 10 до 35–40% (без учета амфорной тары) керамических комплексов селищ (см., например: Preda. 1972; Марченко К. К. 1987а. С. 106; Охотников. 1990 С. 19), что, кстати сказать, на порядок выше, нежели на территории местных греческих апойкий;

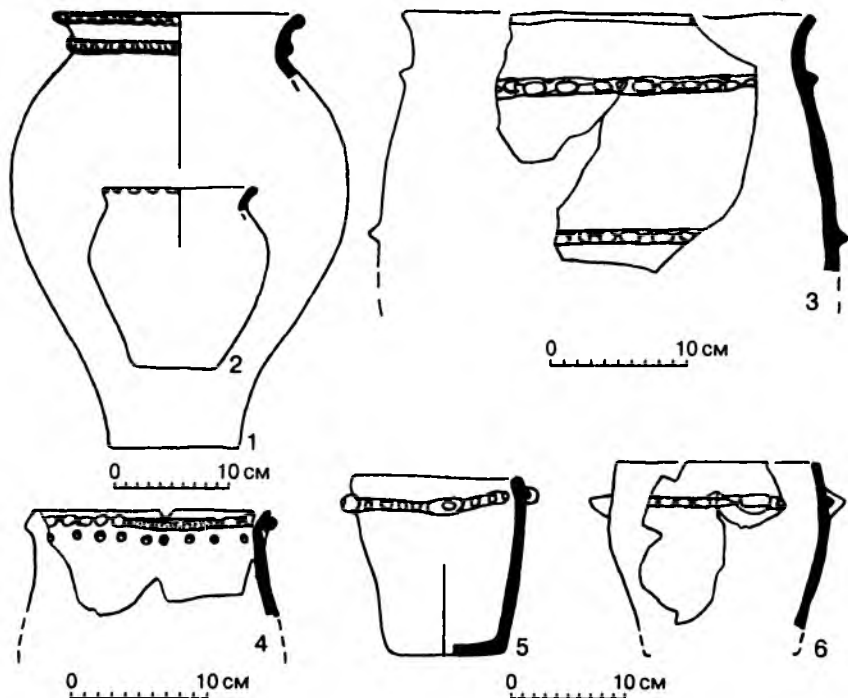


Рис. 6.1. Лепная керамика Нижнего Побужья VI — первой трети V в. до н. э. Кухонная посуда

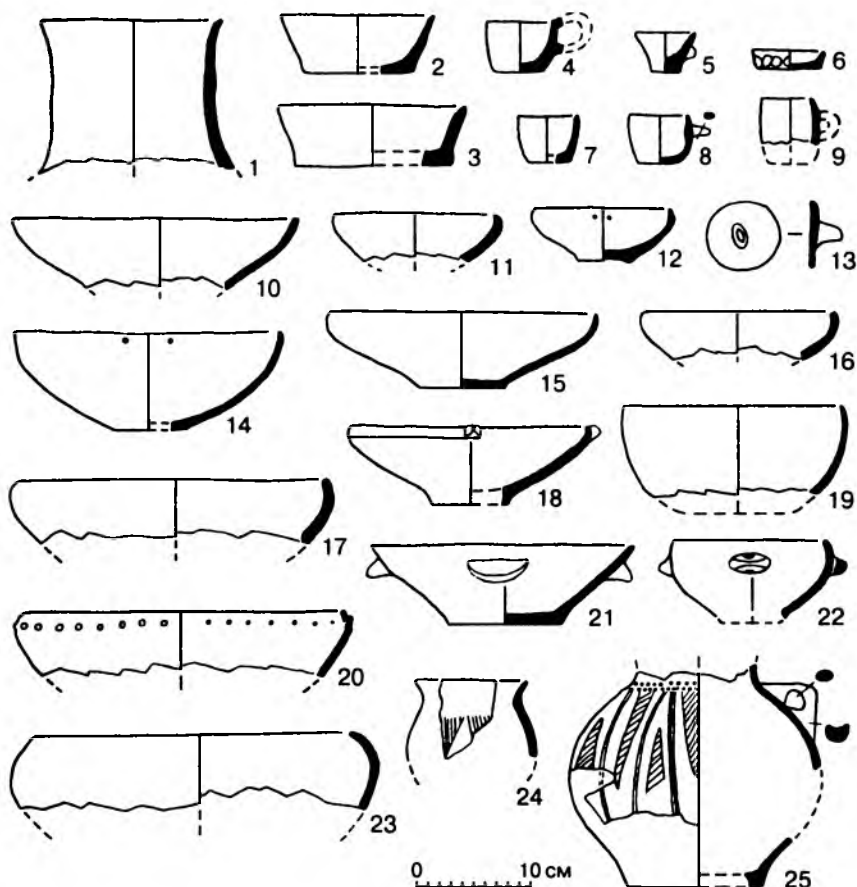


Рис. 6.2. Лепная керамика Нижнего Побужья VI — первой трети V в. до н. э.
Столовая посуда

- 3) практически все, за небольшим исключением, так или иначе выделенные типы такой посуды тождественны бытовавшим в это же время на бесспорно варварских поселениях различных районов северо-западной части Понта (см., например: Preda. 1972. P. 81; Марченко К. К. 1987а. С. 105; Марченко, Соловьев. 1988а; 1995а; Охотников. 1990. С. 27–29);
- 4) трансформация этих типов во времени вполне аналогична наблюдаемой в соответствующих археологических культурах аборигенов;
- 5) функциональный набор типов лишь в одной части — в группе так называемой столовой посуды — заметно уступает номенклатуре керамики чисто туземных комплексов региона;

- 6) отдельные наиболее изученные поселения контактных зон обладали статистически достоверными различиями как удельных весов используемой в быту лепной посуды, так, и это особенно примечательно, ее типологического состава (см., например: Марченко К. К. 1985а. С. 51; Марченко, Виноградов. 1986. С. 67);
- 7) и, пожалуй, последнее — различия в наборе типов лепной керамики хорошо фиксируются ныне не только для конкретных памятников в пределах отдельных районов колонизации Северного Понта, но и между самими районами, что в свою очередь в ряде случаев коррелирует с отличиями керамических комплексов вполне определенных историко-культурных областей Понта, например, Карпато-Дунайского бассейна и района лесостепей Днепровского Правобережья.

Какие же могут быть сделаны выводы из указанных фактов и наблюдений? Оставляя за ненадобностью некоторые детали, сразу же перейдем к их изложению.

Изучение материалов лепной керамики сельских поселений, расположенных в районах непосредственных контактов эллинской и варварской культур Северо-Западного Причерноморья архаического времени, со всей определенностью свидетельствует в пользу присутствия в составе их жителей туземного компонента. Размеры этого компонента следует расценивать как весьма значительные и уж во всяком случае превышающие величину удельного веса лепной посуды в комплексах этих памятников. Указанный вывод закономерно вытекает из самого характера воздействия эллинской культуры на быт сельского населения. Как очевидно, в условиях «пограничья» это воздействие закономерно приобретало особую интенсивность и уже в силу этого вело не только к сравнительно быстрому уменьшению количества лепной керамики варваров, но и к заметному обеднению ее состава за счет вымывания из обихода прежде всего более трудоемких и узкоспециализированных типов столовой посуды, постепенно заменяемой более высококачественной и престижной греческой.

Судя по наличию достоверных несовпадений в наборах морфологических типов лепной посуды на поселениях, закономерна постановка вопроса и о культурных отличиях туземцев, населявших окрестности отдельных греческих апоек. Не приходится сомневаться также в том, что в основе таких различий в принципе могла лежать и этническая специфика. Последняя, однако, в самом общем плане определяется лишь с помощью письменной традиции, уверенно связывающей, к примеру, район Карпато-Дунайского бассейна с территорией расселения преимущественно гето-фракийской культурной общности, а Днепро-Днестровское междуречье — со скифами.

Тот факт, что изменение основных типов лепной керамики в сельских районах греческой колонизации северо-западной части Понта происходило

в явном соответствии с трансформацией посуды у варваров хинтерланда, может служить указанием не столько одноразового, как полагают ныне исследователи (Яйленко. 1983. С. 154; Охотников. 1990. С. 58), сколько постоянного притока сюда из глубинных зон Причерноморья свежей крови, либо, наконец, свидетельствовать о присутствии здесь, в составе аборигенов, не только отдельных этнофоров, явно не способных в таких условиях к сколь-либо длительному воспроизводству собственной культурной традиции, но и каких-то относительно более крупных подразделений этносов.

Что же, собственно говоря, ко всему только что сказанному может добавить анализ материалов второго из выделенных нами компонентов археологической культуры сельского населения — так называемых землянок и полуземлянок? К сожалению, сравнительно немного. В данном случае среди прочего в первую очередь необходимо обратить внимание на следующие факты и наблюдения, а именно:

- 1) сооружение грунтовых жилищ в сельских районах колонизации Северо-Западного Причерноморья началось значительно позднее появления здесь первых греческих колонистов и, таким образом, в принципе в равной мере может быть связано с деятельностью как самих эллинов, так и выходцев из варварского хинтерланда, по тем или иным причинам заинтересованных в установлении самого непосредственного контакта с пришельцами;
- 2) использование этого вида построек сразу же приняло самые широкие масштабы и составило подавляющую часть одновременно функционировавших строительных комплексов архаического периода;
- 3) время бытования землянок и полуземлянок в наиболее изученной на данный момент зоне Северо-Западного Причерноморья — в Нижнем Побужье — весьма значительно и практически без перерыва охватывает отрезок в три столетия (Марченко, Соловьев. 1988б), что, по всей видимости, уже само по себе не может быть прямо связано только с относительной узостью строительной базы первых колонистов;
- 4) в пределах ареалов Нижнего Побужья и Поднестровья, в отличие от Северной Добруджи, где до сих пор известны землянки лишь округлой формы, одновременно функционировало по меньшей мере сразу три разновидности жилищ — круглые, овальные и четырехугольные в плане сооружения;
- 5) в составе сельских поселений Нижнего Побужья могут быть выделены как памятники, для которых характерно наличие структур буквально всех вышеперечисленных форм (см., например: Марченко, Доманский. 1981), так и селища, на территории которых в течение всего архаического периода их существования бытовала лишь одна форма — круглая (Марченко, Доманский. 1986); какого бы то ни было жесткого районирования различных в этом смысле памятников, однако, пока не отмечено;

- 6) практически все так или иначе выделенные разновидности землянок и полуземлянок, как, впрочем, и сам характер планировочной структуры большинства сельских поселений, застроенных сооружениями такого рода, не имеют сколь-либо надежных аналогов в строительной практике метрополии эллинов, но зато находят себе достаточно близкие параллели в синхронных материалах варварских памятников хинтерланда Северного Причерноморья;
- 7) следует иметь в виду все же, что номенклатура строительных комплексов в Нижнем Побужье и Поднестровье заметно беднее набора типов построек, известных ныне на поселениях лесостепной зоны Причерноморья;
- 8) ко всему сказанному остается лишь добавить, что в интерьере относительно небольшой части землянок Нижнего Побужья зафиксировано своеобразное устройство в виде так называемого столика (см.: Марченко, Доманский. 1981).

Какие же в данном случае опять-таки могут быть сделаны выводы из перечисленных выше фактов? Прежде всего, по-видимому, нам следует обратить внимание не на собственно греческое, а, несомненно, конкретно причерноморское происхождение основного типа построек, функционировавших в сельских районах Северо-Западного Причерноморья в течение всего архаического времени. Значит ли это, однако, что речь и в этом случае также должна идти не только о культурном, но и этническом проникновении варварского элемента в структуру населения этих районов? В первом приближении, разумеется, нет. На возможность прямого заимствования идеи простого заглубленного в землю жилища туземцев греческими колонистами в современной историографии указывалось уже не раз (см. выше). При этом, как известно, в пользу именно такого хода событий можно привести внешне достаточно убедительные факты, а именно: наличие ограниченного набора разновидностей построек в окрестностях греческих центров, сходных с варварскими жилищами хинтерланда, массовое строительство таких же построек на территории самих эллинских апойкий в архаическое время, относительно невысокий уровень развития экономических возможностей ионийцев на начальной фазе заселения сельской территории и, наконец, отмеченное выше своеобразие внутреннего убранства части землянок в виде «столиков». И это, пожалуй, все, если, конечно, не считать того факта, что обычно на поселениях контактных зон в грунтовых сооружениях находят огромное количество разного рода изделий греческих керамистов.

Безусловно, сбрасывать полностью такого рода наблюдения со счетов просто невозможно. Тем более, что нам достоверно известно о длительном использовании типично туземных построек греческими торговцами в системе собственно варварских поселений глубинных районов Северного Причерноморья даже в более позднее время — в IV в. до н. э. — на Елизаветов-

ском городище (Брашинский, Марченко. 1978. С. 207–214; Житников, Марченко. 1984. С. 167–168; Марченко, Житников, Копылов. 2000. С. 92 сл.). Однако и в данном случае следует обратить внимание опять-таки на необходимость сбалансированного подхода к конкретным материалам бытовой сферы культуры с учетом теоретического аспекта вопроса.

В этом смысле приходится признать, что сам по себе факт присутствия в культурных слоях и комплексах сельских поселений приморских районов Северо-Западного Причерноморья большого количества относительно высококачественной продукции греческого производства, причем продукции, рассчитанной по большей части на рынок, сам по себе также не может быть расценен как признак непрямого физического присутствия самих эллинов, поскольку даже априорно необходимо допускать наличие в этой зоне мощной хозяйственной и культурной радиации со стороны греческих колоний. Не менее важными для понимания существа дела оказываются и отмеченные выше особенности и различия земляночных структур на отдельных памятниках окрестностей этих колоний, ибо они в принципе не могут приемлемо быть объяснены только сквозь призму гомогенной культуры эллинов, даже если при этом вводить поправку на возможные несовпадения функций конкретных комплексов. Особенно примечательным в данном случае, однако, оказывается возможность более или менее жесткой корреляции сразу двух различных элементов традиционной культуры. На проверку оказывается, что на отдельных поселениях с одинаковой разновидностью построек в архаическое время бытовал и вполне ограниченный набор морфологических типов варварской лепной керамики, генетически связанной с одной из локальных историко-культурных областей Северо-Западного Причерноморья (Марченко К. К. 1985а. С. 51). Заметим также, что от констатации этого обстоятельства до признания значительной культурной, а быть может, и этнической однородности хотя бы и части насельников таких памятников остается сделать один шаг. Соответственно, один шаг остается сделать и до признания существования в сельских районах какого-либо вида этносоциальной организации туземной части жителей этих же поселений, поскольку в противном случае нам было бы весьма затруднительно объяснять крайнюю устойчивость во времени анализируемого элемента чисто варварской культуры в условиях массированного воздействия на него со стороны несомненно более развитой и мобильной традиции эллинов.

Эти и подобные им соображения закономерно приводят нас к выводу о возможности использования землянок в контактных зонах Северо-Западного Причерноморья как греческими колонистами, так и самими аборигенами. Учитывая же высокий удельный вес туземного компонента в составе жителей сельских районов колонизации, с одной стороны, и довольно-таки растянутый во времени да и, кстати сказать, далеко не повсеместный пере-

ход к строительству наземных сырцово-каменных построек типично эллинского облика, с другой, можно предположить далее, что именно варвары прежде всего и являлись основными, хотя, еще раз подчеркиваем, далеко не единственными строителями и обитателями такого рода построек в «пограничье». Фиксируемые в таком случае отличия в наборе типов и внутреннем устройстве отдельных строительных комплексов контактных зон в сравнении с жилыми и хозяйственными сооружениями варварского хинтерланда должны быть объяснены как относительной бедностью спектра этнических компонентов, участвовавших в создании материальной культуры сельских районов греческой колонизации северо-западной части Понта, так, вполне вероятно, и определенной трансформацией традиции местных жителей под воздействием более сильной культуры ионийцев.

В заключение заметим также, что одним из наиболее показательных, на наш взгляд, примеров эффективности такого воздействия демонстрирует нам погребальный обряд аграрного населения Нижнего Побужья и приморской полосы Северной Добруджи позднеархаического времени (Ebert. 1913. S. 5 ff.; Bucovala, Irimia. 1971; Липавский, Снытко. 1990; Липавский. 1990. С. 20–23), в системе которого отдельные черты различных традиций оказались настолько причудливо перемешанными друг с другом, что современные комментаторы с почти одинаковым успехом относят его создание то на счет собственно греческой культуры с некоторой, но вполне очевидной примесью туземного влияния (Липин. 1966. С. 171–172), то к типично варварской с заметными эллинскими дополнениями (см., например: Тереножкин, Ильинская. 1983. С. 198–199; Мурзин. 1984. С. 43–44), то, наконец, — и это в свете всего вышесказанного, пожалуй, наиболее вероятно, — гетерогенному населению (Irimia. 1976; 1983).

Перейдем, наконец, к завершающему этапу нашего анализа. Теперь, когда в только что рассмотренной концепции В. В. Лапина и его сторонников выделены и критически осмыслены наиболее важные для нашей темы положения, когда так или иначе удалось доказать факт присутствия значительного числа разноэтничных туземцев в составе сельского населения основных районов колонизации Северо-Западного Причерноморья, нам остается сделать последнее, а именно: дать свою версию характера и путей формирования этого населения. Прежде, однако, необходимо со всей определенностью отметить, что за скобками дальнейшего рассмотрения вполне сознательно будет оставлен политический аспект отношений обитателей аграрных селищ с колониями. Совершенно очевидно, что сам факт присутствия изделий греческих ремесленников в культурных слоях и комплексах конкретного памятника такого рода, несмотря на качественное разнообразие, может служить лишь дополнительным, но отнюдь не решающим аргументом при выяснении наличия или отсутствия какой-то формы политической

зависимости данного поселения от греческого полиса, а тем более — размеров территориальных владений гражданского коллектива последнего (ΧΩΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ). Только почти невероятная сама по себе находка разъясняющего эпиграфического документа способна дать однозначный ответ на эти вопросы.

Итак, в настоящее время наша версия в общих чертах рисуется в следующем виде. Анализ всей совокупности имеющейся на сей счет информации свидетельствует, что формирование сельского населения в приморских районах северо-западной части Понта являлось процессом, охватившим отрезок времени более чем в одно столетие — от момента выведения сюда Истрии и Борисфена в середине VII в. до н. э. до возникновения основной массы рядовых поселений в последней трети следующего столетия. Существенно подчеркнуть далее, что в самом развитии этого процесса можно выделить по крайней мере два качественно различных хронологических этапа.

Первый и наиболее ранний из них, продолжавшийся вплоть до середины VI в. до н. э., характеризуется крайне медленным развитием оседлой жизнедеятельности за пределами территории греческих апойкий района. Есть веские основания полагать даже, что самые древние ионийские поселения — Истрия и Борисфен — в течение жизни двух первых поколений были практически единственными стационарными пунктами Северо-Западного Причерноморья. Лишь со второй четверти VI в. до н. э. сначала в Северной Добрудже, а затем и в районе Нижнего Побужья появляются реальные признаки зарождения населения в зонах «пограничья».

Оставляя теперь за рамками рассмотрения причины столь странного «равнодушия» эллинов к непосредственному освоению природных ресурсов периферии (об этом было достаточно сказано выше), напомним, что в его основе лежала прежде всего торгово-сырьевая по преимуществу ориентация экономики первых греческих апойкий. Нелишне напомнить также и то, что среди наиболее ранних сельских поселений Северной Добруджи и Нижнего Побужья в настоящее время с наибольшей достоверностью выделяются как раз те (пп. Тариверде и Ягорлыцкое), которые имели, по всей видимости, торговую или торгово-ремесленную направленность своего хозяйства (Preda. 1972; 1985; Островерхов. 1978a).

Описанное положение дел в Северо-Западном Причерноморье стало меняться только с наступлением следующего, второго, этапа развития колонизационного движения в этом районе. Появление в середине — второй половине VI в. до н. э. новых переселенцев из Ионии радикальным образом изменило ориентацию экономики местной эллинской общины в целом. Отныне здесь начинается самый решительный поворот к прямой эксплуатации ресурсов района. Целенаправленная политическая, экономическая и культурная деятельность греческих апойкий, кровно заинтересованных в эф-

фактивном освоении близрасположенных территорий для получения необходимой для собственного развития продукции земледелия, создала важнейшие предпосылки для ускоренного формирования стационарного сельского населения.

Вместе с тем нельзя не заметить, что резкое увеличение численности аграрных поселений в Нижнем Побужье и Северной Добрудже и появление их в Поднестровье являлось по своей сути составной частью наивысшего расцвета оседлой жизнедеятельности в глубинных областях Северного Причерноморья позднеархаического времени. Нельзя не видеть, что именно в середине VI в. до н. э. на большей части приморских территорий Северо-Западного Понта складываются наиболее благоприятные условия для греческой колонизации. Как представляется ныне, новому витку освоения пространства в немалой степени способствовало сочетание сразу нескольких факторов местной среды обитания, в том числе: отсутствие в степном коридоре региона сколь-либо заметного туземного оседлого и кочевого населения, относительное замирание скотоводческо-земледельческих племен лесостепной зоны, полукочевая верхушка которых к этому времени уже во многом утратила свою былую агрессивность, и, наконец, явно положительное для обеих сторон — и греков, и варваров — сальдо более чем полувекового опыта знакомства, подготовившего почву для стабильного развития взаимовыгодных экономических контактов в дальнейшем.

Нет никаких сомнений также и в том, что сам процесс формирования относительно стабильного сельского населения в прибрежных зонах Северо-Западного Причерноморья протекал в рамках теснейшего взаимодействия сразу двух различных социально-экономических систем — греческих полисов района, с одной стороны, и потестарных общественных образований варваров хинтерланда, с другой. Политическим, хозяйственным и культурным преимуществом в этих отношениях обладали колонисты, что в конечном счете наложило неизгладимый отпечаток на внешний облик материальной и духовной сфер культуры аграрных территорий, придав им ни с чем не сравнимое своеобразие. Они же в первую очередь были заинтересованы и в привлечении в свои безлюдные окрестности замледельцев из числа жителей лесостепной полосы Северного Понта.

Впрочем, формы вовлечения аборигенов в хозяйственную орбиту колоний по большей части фактически остаются неизвестными. В принципе можно допустить довольно широкий спектр действий — от какого-то рода договоренности с варварами, включающей в себя обещание и предоставление конкретных экономических выгод отдельным общинам, до покупки военнопленных у туземной знати и даже внеэкономического захвата людей с последующим превращением их в полусвободных или рабов. Логично предполагать далее, что до известной степени «стихийный» подбор кандидатов

на переселение имел сразу несколько взаимосвязанных следствий. Как представляется, он вел к образованию в окрестностях апойкий довольно пестрого, гетерогенного по своему этнокультурному составу населения; он же являлся непреодолимым препятствием на пути возникновения здесь сколь-либо крупных общественно-политических организаций варваров, способных противостоять влиянию греческих полисов; и он же закономерно создавал наиболее благоприятные предпосылки для быстрой эллинизации переселенцев. В этих условиях, наконец, должна была идти и частичная метисация аборигенов.

Вместе с тем, продолжая разговор о гетерогенности состава сельского населения в отдельных районах греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья, нельзя не отметить и наличие в его туземной части весьма существенных различий, естественным образом проистекавших из различий этнокультурного спектра ближайшего варварского окружения отдельных колоний. Есть все основания полагать в данной связи, что основным компонентом этой категории обитателей хоры Истрии и Том являлись гетофракийцы с некоторой, но явно сравнительно небольшой по численности примесью северо-восточного, условно назовем, скифского элемента. Несколько иначе в этом же смысле выглядела номенклатура варваров округи Никония и Тиры, где, судя по всему, наибольший удельный вес принадлежал выходцам из Среднего Поднепровья и отчасти Побужья, но, однако ж, с вполне вероятным дополнением фракийцев из более южных районов Карпато-Дунайского бассейна (ср. Охотников. 1990. С. 59). И уж совсем иная картина зафиксирована ныне для Нижнего Побужья, доминировавшей частью туземных жителей которого в позднеархаическое время, по-видимому, оказались так называемые скифы-пахари, т. е. представители населения лесостепной зоны Днепровского Правобережья (Марченко К. К. 1988а. С. 115–118).

Между тем все вышесказанное отнюдь не утверждает абсолютный примат греческих полисов в деле формирования своего аграрного окружения. Напротив, у нас есть некоторые свидетельства в пользу отсутствия в позднеархаическое время всеохватывающего контроля со стороны эллинских государств над действиями своих партнеров. Последние явно обладали значительной степенью самостоятельности в своих поступках. Во всяком случае в передвижении туземцев и в выборе ими конкретных мест под заселение проглядываются признаки спонтанности. Впрочем, наиболее очевидным из них оказывается все же факт непрерывности связи варварской части населения районов колонизации Северо-Западного Причерноморья с обитателями лесостепной зоны этого региона, четко фиксируемый на традиционно-бытовом уровне материальной культуры — параллельности развития и изменения форм и орнаментации лепной керамики. Равным образом, сле-

дует предполагать, что сами по себе элементы спонтанности в действиях аборигенов также способствовали диверсификации этнокультурного облика жителей сельских районов Истрии, Борисфена, Ольвии и Никония. В этой связи достаточно вспомнить, к примеру, практически полное отсутствие следов пребывания гето-фракийцев на левобережных поселениях Днепро-Бугского лимана, явно входивших в зону прямых экономических и политических интересов греческой общины Нижнего Побужья, и наличие этих же следов на большей части памятников позднеархаического времени правого берега (Марченко К. К. 1988а. С. 114; Виноградов, Марченко, Рогов. 1989. С. 17). Таким образом, следует думать, что присутствие в этом районе крупного водного рубежа стало непреодолимым препятствием на пути расселения на восток выходцев из Карпато-Дунайского бассейна.

Не менее примечательным с этой же точки зрения оказывается и недавнее открытие довольно большого (около 2,5 га) поселения Куцуруб I с преимущественно фракийским обликом бытовой и отчасти религиозной сфер культуры, демонстрирующей прямо-таки удивительную способность к стагнации в условиях непосредственного и, несомненно, мощного воздействия на нее со стороны значительно более развитой и динамичной культуры ионийцев (Марченко, Доманский. 1983б; 1991; Марченко К. К. 1985а).

В пользу некоторой самостоятельности, независимости от греческой этнокультурной и экономической экспансии в Нижнем Побужье процесса внедрения сюда гето-фракийцев может, наконец, свидетельствовать и то обстоятельство, что вместе с полным исчезновением фракийского элемента в материальной культуре этого района, происшедшим где-то в первой четверти V в. до н. э. (Марченко К. К. 1974), отнюдь не прекращаются, а скорее даже усиливаются торговые, культурные и политические контакты и взаимодействия Ольвийского полиса с эллинскими городами Левого Понта и особенно Истрией, теснейшим образом связанной с жителями Карпато-Дунайского бассейна.

Последнее, на чем необходимо остановить внимание в связи с излагаемой версией формирования сельского населения в приморских районах северо-западной части Понта — на его количественной оценке в период максимального расцвета оседлой жизнедеятельности. Сразу же заметим, что в современной историографии до недавнего времени на сей счет господствовало определение В. В. Лапина, совершенного убежденного в том, что речь должна идти о «массовом» заселении берегов Черного моря (Лапин. 1975. С. 102; см. также: Крижицкий, Буйских. 1988. С. 6).

Пытаясь раскрыть содержание этого термина применительно к одному из районов «массовой миграции» крестьян из Ионии, сторонники преимущественно эллинской принадлежности аграрных селищ позднеархаического времени пришли к заключению, согласно которому «суммарный потен-

циал античного населения, переместившегося в Нижнее Побужье периода греческой колонизации, составляет от 10 000–12 000 до 12 000–16 000 человек» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 36).

Основой столь впечатляющих цифр, судя по всему, стали подсчеты числа обитателей все тех же «агломераций» Нижнего Побужья. Как полагают исследователи, на территории таких больших поселений одновременно могло проживать по 1000–1800 и даже более человек (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 36). При этом ход рассуждения специалистов на первый взгляд просто безупречен: поскольку на 1 га площади «агломерции» приходится примерно по 2,2 домохозяйства с 4–6 полуземлянками в каждом (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 32–33), а одна полуземлянка в среднем могла вмещать 2–3 жителя, то в результате довольно-таки нехитрых арифметических действий возникает вполне определенное выражение массовости стихийной линии колонизации.

Нужно заметить, однако, что при всей кажущейся логичности и достоверности данного построения с таким прямым решением весьма деликатной задачи на демографическую тему согласиться все-таки невозможно. Оно явно не принимает в расчет целый ряд весьма вероятных искажений в исходных данных. Назовем лишь наиболее очевидные из них. Это, во-первых, отсутствие надежных гарантий единообразия застройки жилых кустов «агломераций», проистекающие из самого факта недостаточной степени изученности этого типа поселений, и, во-вторых, невозможность отнесения решительно всех строительных комплексов отдельных домохозяйств к категории жилищ.¹ Большие сомнения, наконец, вызывает и четко улавливаемая тенденция исследователей рассматривать все сооружения усадеб да и сами усадьбы как практически одновременные памятники. Нетрудно заметить, таким образом, что все эти и подобные этим соображения (см. также: Отрешко. 1990б) ведут к необходимости пересмотра предложенной ими оценки количества сельского населения в районе в сторону его решительного уменьшения и заставляют понимать под массовостью заселения окрестностей Ольвии и Борисфена нечто гораздо более скромное — несколько сотен или в лучшем случае 1–2 тысячи переселенцев, весьма заметную часть которых к тому же составляли выходцы из глубинных районов Северного Причерноморья. Равным образом, совершенно очевидно и то, что масштабы «массового» заселения сельских территорий Северной Добруджи и Нижнего Поднепровья позднеархаического времени были, по всей видимости, еще менее значительны.

¹ При всей трудности определения функций конкретных полуземлянок следует априорно предполагать все же, что такого рода постройки на аграрных селищах составляли абсолютное меньшинство.

2.3. Каллипиды — эллино-скифы

Важнейшим составным элементом этнокультурной интерпретации сельского населения окрестностей греческих апойкий северо-западной части Понта является критическое осмысление под углом зрения данных археологии известного сообщения Геродота о каллипидеях — эллино-скифах (Herod. IV, 17). При этом, как известно, в современной историографии существует сразу две концепции каллипидов, одна из которых связывает с их жизнедеятельностью аграрные селища Нижнего Побужья и даже Нижнего Поднестровья (см., например: Охотников. 1990. С. 59), а другая трактует их как полукочевое племя скифов, обитавшее за пределами зоны постоянных сельских поселений позднеархаического времени (Русяева, Скржинская. 1979; Отрешко. 1981; Мелюкова. 1988. С. 18). Детальная ревизия имеющихся на сегодняшний день в науке комментариев этого сообщения (см.: Марченко К. К. 1983а) позволяет сделать вывод, согласно которому в настоящее время наиболее непротиворечиво и в видимом соответствии с материалами археологии этот «этнос» Геродота объясняет гипотеза, представляющая каллипидов в виде особого населения Нижнего Побужья, возникшего в результате смешения эллинов со скифами или, как вариант, просто от смешения представителей различных варварских племен Причерноморья, втянутых по тем или иным причинам в культурную и экономическую орбиты местной греческой общины.

Весьма существенным обстоятельством, на которое следует обратить внимание, является необходимость признания наличия рода социальной зависимости такой группы туземных жителей от эллинов, так как трудно, да и невозможно себе представить для столь раннего времени иной формы отношений автократичной сословной общины ионийцев и искусственно возникшей гетерогенной прослойки варваров, призванной, по всей видимости, в конечном счете содействовать снабжению этой общины необходимыми для ее нормального воспроизводства продуктами земледелия и скотоводства.

3.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья второй четверти V — первой трети III в. до н. э. Характер греко-варварских взаимодействий в V в. до н. э.

Как уже упоминалось выше (см. главу II), естественный ход развития эллинских государств и аграрного населения Северо-Западного Причерноморья в целом продолжался весьма недолго. Археологические изыскания последних десятилетий рисуют нам вполне отчетливую картину запустения

сельских территорий Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья с рубежа первой и второй четверти V в. до н. э. Как установлено ныне, в это время прекращается жизнь на подавляющем большинстве рядовых селищ позднеархаического периода названных районов греческой колонизации. Равным образом есть некоторые основания полагать, что весьма близкая, если даже не тождественная, ситуация складывается тогда же и в окрестностях Истрии, где, судя по всему, также прерывают свое существование сельские поселения Северной Добруджи, например, Тариверде (Condurachi si col. 1953; Vulpe. 1955. P. 543–549; Avram. 1990. S. 23), Саринасуф (Alexandrescu. 1976. P. 122, 126). Истрия Под (Zimmerman, Avram. 1987. S. 10–11, 27) и происходит заметная редукция или даже хронологический разрыв жизнедеятельности на территории так называемого «цивильного поселка» этой колонии (Dmitriu. 1966; ср. Zimmerman, Avram. 1987. S. 27).

Следует подчеркнуть сразу, что причины, повлекшие за собой указанное явление, все еще дискутируются. Одни исследователи объясняют уход жителей с незащищенных поселений резким обострением военно-политической ситуации в Северном Причерноморье, вызванным усилением кочевых скифов (см., например: Марченко К. К. 1980. С. 143; Виноградов Ю. Г. 1980б. С. 107; Карышковский, Клейман. 1985. С. 44; Охотников. 1990. С. 69–70; Alexandrescu. 1990. S. 68). Другие, не отрицая полностью возникновения угрозы со стороны скифов, указывают на возможность существования, что касается Нижнего Побужья во всяком случае, еще по меньшей мере двух, в их построениях едва ли не главных причин этих событий, а именно: большой потребности самой Ольвии в притоке рабочей силы для сооружения оборонительных стен вокруг города и развертывания интенсивного строительства сырцово-каменных общественных и жилых сооружений (Русяева. 1979. С. 107; Русяева, Скржинская. 1979. С. 27–28) или же переходом от стихийно сложившейся сельской территории к менее обширной, но зато и более упорядоченной хоре полиса (Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 15; Отрешко. 1990а. С. 15). Третьи исследователи связывают фиксируемый отлив сельского населения то с синойкизмом отдельных общин ионийцев Нижнего Побужья, приведшим, по их мнению, к образованию Ольвии как города (Рубан. 1977. С. 43–44), то с реэмиграцией ионийцев «на свою обезлюдившую родину после обретения ею независимости вследствие поражения персидской армии при Эвримедонте и особенно после Каллиева мира» (Рубан. 1988. С. 18).

Каковы же истинные причины, вызвавшие относительное запустение сельских территорий Северо-Западного Причерноморья? Какую из ныне существующих на сей счет точек зрения предпочесть?

Сразу же заметим, что по поводу одной из них — о синойкизме аграрных поселений — в печати уже высказана отрицательная оценка, указывающая на явную уязвимость ее конкретно-исторического обоснования (Марчен-

ко К. К. 1980. С. 142; Виноградов Ю. Г. 1980б. С. 107). Не менее сомнительным, впрочем, представляется и другое решение вопроса, связывающее запустение окрестностей колоний с массовой реэмиграцией, поскольку оно исходит из исключительно ионийского характера аграрного населения. Практически столь же малоприемлемым, наконец, кажется и суждение о сокращении (коллапсе) сельской территории в связи с организацией Ольвийским полисом своей хоры. Как мы видели выше, находящийся на его основе тезис о стихийной линии колонизации вызывает серьезные возражения.

Значительно более убедительными на первый взгляд представляются две оставшиеся, частично связанные между собой точки зрения — о потребности Ольвии в рабочей силе по причине возросшего объема строительства и о военной угрозе со стороны кочевников. Рассмотрим их.

Итак, нет сомнений в том, что переход ольвиополитов от землянок и полуземлянок к массовому строительству наземных сырцово-каменных построек произошел где-то в конце VI — начале V в. до н. э. Во временном отношении этот решительный переворот в строительном деле одновременен или чуть опережает начало отлива с периферии в город. Примерно в это же время Ольвия, возможно, опоясывается каменными оборонительными стенами (см.: Карасев. 1948). Таким образом, хронологическая и причинная связь появления в Ольвии большого числа рабочей силы и переход к широкому строительству наземных сооружений эллинских типов кажутся вполне естественными (Крижицкий, Русяева. 1978. С. 24). Совсем иное дело, однако, когда само стремление строить в городе более совершенные, требовавшие больших затрат труда здания жилого и общественного назначения трактуется как один из важнейших стимулов, побудивших жителей Нижнего Побужья позднеархаического периода покидать сельскохозяйственные угодья — основной, если не единственный, источник благосостояния большинства вчерашних колонистов. С такой постановкой вопроса согласиться трудно даже в первом приближении.

При рассмотрении причин новых веяний в строительном деле ольвиополитов совершенно необходимо, во-первых, расчленить два почти полностью различных по своей направленности и значению события — переход к широкому строительству сырцово-каменных сооружений в городе и начало возведения мощных городских укреплений, и, во-вторых, принять во внимание, что сам-то переход к наземным типам построек в Нижнем Побужье начался значительно раньше запустения берегов лиманов и был, несомненно, подготовлен всем ходом колонизации этого района — сравнительно быстрым расширением и укреплением экономической и культурной базы эллинской общины в середине — второй половине VI в. в целом.

Сделанные замечания, разумеется, не означают, что нужно полностью отрицать влияние возможных излишков рабочей силы на увеличение мас-

штабов городского строительства в первой половине V в. Вовсе нет. Этим хочется только поставить указанный фактор на подобающее ему второстепенное место. И если одной из действительных причин перехода к массовому строительству сырцово-каменных домов в какой-то мере и мог оказаться наплыв большого числа новых жителей в город, то быстрое возведение фортификационных линий Ольвии — предприятие, потребовавшее, конечно же, поистине огромных усилий и полного напряжения хозяйственных и физических возможностей полиса, должно было быть вызвано к жизни, разумеется, куда более масштабной и одновременно прозаической силой — опасностью военного нападения. Осуществилось ли хоть раз такое нападение в это время или нет — в данном случае совершенно неважно. Суть в другом — в ее очевидной реальности (Карасев. 1948. С. 28–29).

Именно эта опасность, по всей видимости, и привела в запустение большую часть обжитых, но совершенно не укрепленных поселений Нижнего Побужья, Поднестровья и, скорее всего, Северной Добруджи. Налицо явная вынужденность отказа греков от прямой эксплуатации сельскохозяйственного потенциала Северо-Западного Понта. Ко всему вышесказанному остается лишь добавить, что единственной реальной силой, способной практически одновременно обострить военно-политическую обстановку на столь обширной территории, могли быть только новые волны появившихся с востока кочевников.

Помимо вполне резонной в данном случае теоретической посылки о коренном отличии хозяйственно-культурного типа кочевников от оседлого земледельческого населения окрестностей колоний, естественным образом создававшего состояние перманентного конфликта между ними, сторонники последней точки зрения исходят из достаточно надежных справок античной литературной традиции (Herod., IV, 76, 78–80) и, как будто, эпиграфики (см.: Vinogradov. 1981. S. 14, 17; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 87–89), свидетельствующих о реальности враждебных отношений степняков к грекам по крайней мере в конце VI — первой половине V в.

В подкрепление указанного тезиса обычно привлекаются и некоторые характерные факты археологии интересующего нас времени. При этом заметим, однако, что при окончательной оценке этих фактов необходимо считаться с тем более или менее очевидным обстоятельством, что военные столкновения далеко не всегда находят адекватное отражение в археологических материалах. Как бы то ни было, перечислим их. Это, во-первых, перерыв с первой трети V в. до конца этого же столетия в функционировании сельских некрополей Нижнего Побужья и хронологически связанная с этим перерывом трансформация погребальных сооружений — переход от четырехугольных ям с деревянными конструкциями к ямам с подбоем и катком (см.: Ebert. 1913); во-вторых, появление во второй четверти V в.

на территории Нижнего Побужья целой серии погребений кочевых скифов (Ковпаненко, Бунятян. 1978; Гребенников, Фридман. 1985); в-третьих, наличие в Ольвийском и особенно Березанском некрополях конца VI — первой половины V в. заметного количества погребений, содержащих людей, убитых скифским оружием, — явление, бесспорно, необычное для комплексов более раннего периода (см.: Скуднова. 1960. С. 68; Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 59–60); в-четвертых, открытие на нижнебугском поселении Большая Черноморка 2 в одном из комплексов первой четверти V в. скелета насильственно умерщвленного жителя (Ганжа, Мошкова, Отрешко. 1978); в-пятых, создание в самом конце VI или начале V в. на другом открытом селище ольвийской округи Старая Богдановка 2 — большого наземного сооружения с необычно мощными внешними стенами, выполнявшего функцию убежища для местного населения (Марченко, Доманский. 1982); в-шестых, исчезновение из состава лепной керамики Нижнего Побужья с начала V в. фракийского и лесостепного компонентов, что наиболее резонно объяснять перекрытием номадами традиционных путей пополнения сельского населения этого района (Марченко К. К. 1988а. С. 121–123), и, наконец, в-седьмых, так называемое первое разрушение Истрии в начале этого же столетия (Alexandrescu. 1990. S. 67–68).

Последнее, на что, быть может, следует обратить внимание в связи с рассматриваемой точкой зрения, — заметное пополнение антропонимического фонда Ольвии негреческими и полугреческими именами, происшедшее вследствие концентрации на ее территории окрестного населения (Виноградов Ю. Г. 1981б. С. 134–135), а также значительная редукция площади Борисфена (Копейкина. 1975. С. 193 сл.; Solovjov. 1999. P. 99 ff.).

Подводя, таким образом, итог нашему краткому обзору существующих представлений на события начала V в., мы, как кажется, имеем достаточно веские основания присоединиться к мнению исследователей, связывающих относительное запустение прибрежных районов северо-западной части Понта с действиями кочевников. Впрочем, в настоящем разделе нет нужды специально останавливаться на рассмотрении причин резкого усиления агрессивности северопонтийских номадов в указанное время: об этом было достаточно сказано выше (см. главу II). Существенно отметить, пожалуй, иное. Как представляется ныне, появление новых волн скифов с востока, дестабилизировав ситуацию в целом и вызвав коллапс сельскохозяйственной территории в окрестностях апойкий Северо-Западного Причерноморья, против ожидания не повлекло за собой сколь-либо глубокого ухудшения экономического положения местных греков. Напротив, есть некоторые основания полагать, что по крайней мере Истрия, Никоний и особенно Ольвия ничуть не замедлили своего дальнейшего развития. Они отнюдь не производят впечатления постоянно осаждаемых варварами городов, собиравших послед-

ние силы для отражения агрессии и терпевших нужду в предметах первой необходимости. Более того, в V в. до н. э. на их территории наблюдается явный расцвет строительной и хозяйственной деятельности (см., например: Леви. 1984. С. 36; Крыжицкий. 1985. С. 63; Секерская. 1989. С. 49; Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко. 1989. С. 94). Не отвергая в целом попытку объяснить столь удивительное на первый взгляд развитие событий решительной переориентацией экономики той же Ольвии на коммерческие рельсы (см., например: Лейпунская. 1979. С. 129; Русяева, Скржинская. 1979. С. 28; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 107–108), нельзя не предположить одновременно, что одна только торговля могла, по всей видимости, лишь отчасти компенсировать эллинам их утрату сельскохозяйственной продукции с заброшенных территорий. Нельзя забывать также, что в период общей дестабилизации обстановки в Северном Причерноморье объем торговых операций греческих купцов с земледельцами лесостепной зоны вряд ли мог быть особенно большим. Не случайно поэтому исследователи фиксируют заметный спад интенсивности экономических контактов ионийцев с хинтерландом этого региона в середине — второй половине V в. до н. э. (Онайко. 1960. С. 37; 1966. С. 11, 41–42, 52, 82–83).

Практически столь же сомнительным представляется ныне возможность решения этой загадки и за счет признания факта относительности запустения сельских территорий греческих колоний. Впрочем, археологические изыскания последних лет обнаружили немало разрозненных следов существования какой-то жизни на ряде бывших поселений окрестностей Ольвии позднеархаического времени и в середине — второй половине V в. Более того, в настоящее время нельзя исключать также и того, что отдельные аграрные селища северо-западной части Понта продолжали функционировать без сколь-либо значительных археологически улавливаемых перерывов даже в наиболее экстремальных условиях (см., например: Avgam. 1990. S. 22; Русяева, Мазарати. 1986. С. 52; Отрешко. 1975. С. 130). Таким образом, следует предполагать априорно, что сельскохозяйственная продукция могла поступать в эллинские города извне и по завершении процесса редукции оседлой жизнедеятельности в Северо-Западном Причерноморье. Все дело, однако, состоит в том, что даже при самых оптимистических расчетах действительный объем этой продукции явно не мог идти ни в какое сравнение с произведенным на сельских поселениях более раннего периода, т. е. во время их наивысшего расцвета. Так, допустимо думать, что и указанное выше обстоятельство не было в состоянии обеспечить грекам не только дальнейшее повышение их стандарта жизни, но даже поддержать его на прежнем, более чем скромном уровне. Как представляется, таким образом, единственным реальным выходом из крайне затруднительного положения, возникшего в результате запустения приморских территорий Северо-Западного

Понта, могло стать только создание собственной базы производства необходимых продуктов земледелия под защитой крепостных стен колоний.

Итак, мы вновь возвращаемся к уже ранее отмеченной и, казалось бы, напрочь отброшенной нами идеи появления в ближайших окрестностях греческих центров V в. относительно небольшой, но хорошо организованной хоры. Нетрудно заметить, однако, что на сей раз данная идея основывается на совершенно иных посылах. Она исходит из примата не внутри-, а внешнеполитических факторов, приведших к так называемому коллапсу аграрных поселений, и к тому же явно не нуждается в опоре на платформу «стихийности» характера колонизации этого района (ср. Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 15). И это, разумеется, принципиально важно.

Какие же, однако, имеются конкретные доказательства наличия в V в. сколь-либо обширных обрабатываемых угодий у ионийских городов Северо-Западного Причерноморья?

К сожалению, их крайне немного, и заметим, в отсутствии надежных хронологических привязок так или иначе выявленных древних следов размежевки окрестностей Истрии, Никония, Ольвии, все они косвенные. Исключение, пожалуй, до некоторой степени составляет ольвийский декрет третьей четверти V в., изданный в честь двух синопцев — тирана Тимесилая и его брата Теопрота, дарующий им в числе привилегий и право на приобретение земли, что, по мнению издателей этой псефизмы, «в условиях крайней редукции ольвийской хоры обеспечивало политическим изгнанникам из Синопии гарантию занятости в той же, что и прежде, сфере хозяйственной деятельности» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 109–111). Как бы то ни было, но исследователи в этой связи обычно обращают внимание на два факта археологии Нижнего Побужья интересующего нас времени, а именно: появление на территории Ольвии в V в. большого количества зерновых ям, что, по их мнению, «свидетельствует о том, что население самого города, помимо ремесел, было вынуждено достаточно активно заниматься сельским хозяйством, очевидно, в связи с ликвидацией широкой хоры» (Крыжицкий. 1979. С. 14; см. также: Лейпунская. 1986. С. 44), и возникновение ольвийского предградия, население которого будто бы было призвано играть значительную роль в обработке ближайших к городу земель (Русяева, Скржинская. 1979. С. 28).

Вместе с тем следует признать, что даже этот более чем скромный перечень доводов в пользу существования интенсивно используемых сельскохозяйственных угодий в окрестностях Ольвии должен быть изначально, по всей видимости, сокращен. Нельзя не заметить, что сам по себе факт наличия значительного количества зерновых ям на территории названной колонии еще не дает права для утверждения особой активности ее гражданского населения в непосредственном производстве хлеба и других видов продук-

тов питания для собственных нужд и на экспорт, поскольку товарный хлеб в принципе мог поступать в места хранения и в результате удачных коммерческих сделок ольвийских купцов, заключенных с варварами хинтерланда. Другое дело — энергичное участие в сельскохозяйственных работах жителей предградия. Имеющаяся на сей счет детальная ревизия материалов этого памятника (см.: Марченко К. К. 1982) позволяет ныне высказать следующие более или менее вероятные суждения, всячески подчеркивая их гипотетичность.

1. Внешнее сходство предградья с обликом позднеархаических сельскохозяйственных поселений Нижнего Побужья, с одной стороны, и совпадение во времени начала заустения «широкой» хоры Ольвии с развитием жизни на западном склоне Заячьей балки, т. е. на территории интересующего нас в данный момент памятника, с другой, дает некоторые основания полагать, что какая-то часть покинувших берега лимана жителей не осела в черте города, а поселилась у его стен.
2. Наличие в пределах естественных границ Ольвии V в. весьма значительных свободных, годных под жилую застройку площадей делает выбор места этого поселения вполне сознательным.
3. Относительные неудобства стационарной жизни на территории предградья, связанные с отсутствием легкодоступных источников питьевой воды, относительной удаленности от центра общественной, хозяйственной и религиозной жизни, но главное, с отсутствием искусственных и естественных рубежей обороны в условиях существования потенциальной опасности военного нападения кочевников, ставило его жителей в несколько более сложное, худшее по сравнению с самими ольвиополистами положение. Такое же впечатление неравных условий и возможностей возникает и при сопоставлении относительно более скромного, архаичного, правильнее сказать, примитивного быта обитателей предградья с жизнью в самом городе.
4. Отсутствие видимых серьезных причин продолжительной жизни неправых граждан на территории предградья в сфере его экономики, отсутствие заметных попыток Ольвийского полиса на протяжении всего V и начала IV в. до н. э. хоть как-то изменить, улучшить условия существования жителей этого поселения приводит к мысли, что в основе констатируемого бытового неравенства могло лежать неравенство социальное, в том числе связанное и с этническим происхождением. Иными словами, создается впечатление, что район к западу от Ольвии в V в. до н. э. мог быть заселен группой (категорией) лиц, находившихся на сравнительно низкой ступени социальной лестницы античного общества Нижнего Побужья позднеархаического-раннеклассического периодов.

5. Поскольку, однако, эта социальная группа (категория) людей пришла сюда, под стены Ольвии, скорее всего из сельскохозяйственных селищ Нижнего Побужья, где достаточно четко нами были прослежены следы присутствия гетерогенного варварского элемента, будет логично предположить в ее составе прежде всего наличие ближайших потомков представителей различных аборигенных племен Северного и особенно Северо-Западного Причерноморья, по тем или иным причинам попавших в орбиту действия экономики и культуры греческой общины и в силу этого подвергшихся эллинизации (см. также: Audring. 1989. S. 23–24; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 101).
6. Довольно большие размеры и интенсивный характер жизни предградья на протяжении середины V — начала IV в. позволяют примерно оценить удельный вес предполагаемой социальной группы (категории) как весьма значительный.
7. Компактное проживание эллинизированных туземцев за городскими стенами заставляет думать, что речь в данном случае может идти о какой-то форме коллективной зависимости. При этом главным, если не единственным, родом занятий обитателей предградья должна была являться работа по обеспечению продуктами сельского хозяйства полноправного греческого населения Ольвии. Тем самым, как кажется, у нас появляется основание предполагать в ближайших окрестностях города V в. наличие достаточно обширных и энергично обрабатываемых земельных участков, принадлежавших гражданскому коллективу этого полиса.
8. Практическая синхронность прекращения жизни на территории предградья с развитием нового этапа внутренней колонизации Ольвией Нижнего Побужья, падающим на начало IV в. до н. э., равно как и большой размах этой колонизации, создает впечатление, что Ольвийскому полису, несмотря на значительную временную протяженность неблагоприятного периода, все же удалось сохранить часть своих сельскохозяйственных рабочих и использовать их в процессе создания новых аграрных поселений.
9. Следует учитывать, что любая этнокультурная интерпретация предградья, по-видимому, не позволяет видеть в нем место, где многочисленная свита (войско) скифского царя Скила пребывала продолжительное время в ожидании своего повелителя. Такое определение памятника представляется крайне дискуссионным, поскольку, во-первых, нет никаких оснований пересматривать достаточно корректный комментарий В. В. Латышева, трактовавшего слово *ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ* как «просто открытую местность перед городом» (Латышев. 1987. С. 41–42. Примеч. 8; ср. Audring. 1981), и, во-вторых, вызывает сомнение само стремление, да и возможность длительного пребывания войск скифов в относительно жест-

ких непривычных условиях стационарного поселения, к быту и занятиям жителей которого они явно должны были испытывать род презрения.

Итак, итоги рассмотрения материалов предградья дают нам, как кажется, право предполагать, что даже при вполне вероятной диверсификации экономики Ольвии в первой половине V в., обусловленной необходимостью поиска новых источников продуктов, ее основой являлось скорее всего все-таки сельское хозяйство, базировавшееся на вновь созданной (или реорганизованной?) собственной хоре, расположенной в ближайших окрестностях этого города. Таким образом, одним из основных результатов нашего анализа событий этого времени становится окончательное признание факта дальнейшего ускоренного развития Ольвии, да, почти несомненно, и всех остальных эллинских центров Северо-Западного Причерноморья в период резкого обострения военно-политической и демографической обстановки в регионе. Совершенно очевидно, однако, что столь явное проявление поистине удивительной жизнеспособности колоний ионийцев в данной ситуации требует специального объяснения.

Первое, на что следует обратить внимание в этой связи, — опять-таки на отсутствие следов военных разрушений открытых селищ Нижнего Побужья, Поднестровья и, вполне вероятно, Северной Добруджи. Можно предположить, таким образом, что их обитатели по большей части имели возможность беспрепятственно, т. е. в более или менее спокойной обстановке, покидать обжитые места, унося при этом с собой весь мало-мальски ценный скарб. Заметим также, что отсутствие бесспорных следов мощного одноразового удара кочевой орды может быть, по-видимому, отмечено и во всех остальных областях Северного Причерноморья, в том числе и в районах проживания скотоводческо-земледельческих племен Среднего Поднепровья. Речь, скорее, должна идти о несколько растянутом и все нарастающем во времени давлении степняков. Более того, есть достаточно веские основания полагать, что многочисленное и, судя по погребальному обряду, весьма воинственное население лесостепной зоны Днепровского Левобережья вполне успешно и без серьезных потерь для своей культуры отразило натиск кочевников (Шрамко. 1987. С. 19; Моруженко. 1989. С. 33). Аналогичная ситуация, наконец, должна быть отмечена и по отношению к объединившимся перед лицом скифской угрозы городам Боспора (Виноградов Ю. Г. 1983. С. 348 сл.; Толстиков. 1984). Словом, нельзя не думать, что появившиеся в степном коридоре Северного Причерноморья с востока в самом начале V в. номады изначально, видимо, не обладали достаточной пробивной силой для нанесения сокрушительного удара по прежним хозяевам региона.

Более того, отмечая это, с нашей точки зрения, весьма вероятное обстоятельство, резонно предположить, что даже относительная слабость новоявленных обитателей степи сама по себе решительно ничего не может прояс-

нить в случае, когда дело касается стабильности небольших, географически изолированных друг от друга греческих опорных пунктов Северо-Западного Причерноморья, а тем более существования в их окрестностях какого-то фонда постоянно обрабатываемых земельных угодий и пусть одиночных, но фактически совершенно беспомощных аграрных поселений. Вряд ли их безбедное функционирование могло быть обеспечено силами лишь одного гражданского коллектива колоний, даже если они и попытались в той или иной степени объединить свои усилия (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 91). Суть дела, по-видимому, в ином — в опоре греков на военную мощь и авторитет той части самих варваров, которые были в наибольшей степени заинтересованы в поддержании и дальнейшем развитии с ними самых тесных взаимовыгодных экономических и иного рода контактов. Как полагает Ю. Г. Виноградов, именно в это время Ольвия и, по всей видимости, все остальные эллинские апойки северо-западной части Понта впервые отдают себя под протекторат правителей Скифского царства (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 90–109).

Нет нужды останавливаться на рассмотрении конкретно-исторического содержания весьма плодотворной в своей основе идеи варварского протектората в представлениях названного автора. Гораздо важнее другое — вновь обратить внимание на факт отсутствия в степной зоне Северного Причерноморья конца VI — первой половины V в. до н. э. сколь-либо явственных следов (в археологическом выражении, разумеется), подтверждающих существование здесь единого и политически стабильного во временном отношении общественного образования номадов — так называемого Скифского царства, обладавшего к тому же якобы «мощным экономическим и военным потенциалом» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 84; ср. Хазанов. 1975. С. 229). Как было показано выше (см. главу II), археологические реалии этого периода отражают, скорее, состояние крайней неустойчивости, раздробленности и баранты в регионе. Таким образом, речь, по всей видимости, может идти в лучшем случае о правителях какого-то более или менее крупного подразделения номадов, которые за определенную плату (форос) взяли в этих условиях под свою защиту греческие центры интересующей нас территории, например, тех же царских скифов Геродота, с большим или меньшим правом считавших остальных обитателей Северного Понта своими рабами (Herod., IV, 20).

Но этого мало. Есть некоторые резоны полагать, что в своей основе проблематична сама вероятность отношений протектората именно со стороны кочевников этого времени, во всяком случае в том развитом облике стабильной внеэкономической эксплуатации греческих полисов, который в этих отношениях вполне справедливо усматривает Ю. Г. Виноградов. Нельзя забывать, что в первой половине V в. до н. э. новые группы пришельцев с востока находились еще на стадии завоевания новой родины. Они только что появи-

лись в степном коридоре Северного Причерноморья и в силу этого обстоятельства просто не могли обладать достаточно длительным опытом культурных контактов с местными колониями, способным пробудить действительный интерес туземной элиты к столь упорядоченному контролю над хозяйством ионийцев. Впрочем, судя по тому, что нам известно о материальной культуре вновь появившихся обитателей степной зоны первой половины V в. до н. э., номады этого времени, по всей видимости, даже не имели достаточно четко выраженной социальной стратификации своего общества. И то и другое пришло к ним позже — начиная с последней трети V в. до н. э. Зато такой стратификацией и таким опытом контактов с эллинами в полной мере обладали прежние хозяева региона — полуседлое население лесостепной зоны Северного Причерноморья и северной части Добруджи.

Итак, не перечеркивая полностью стремление ряда исследователей видеть в защитниках греков V в. от нападений мелких групп варваров, по тем или иным причинам не объединенных «под эгидой царственных наследников победителей Дария», вождей более крупных объединений номадов тех же царских скифов (Виноградов, Доманский, Марченко. 1990; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 91), мы тем не менее оказываемся перед необходимостью выяснить возможность выбора на эту специфическую роль новых кандидатов из числа автохтонных жителей Причерноморья. При этом, очевидно, из этого ряда претендентов изначально следует исключить, по-видимому, обитателей Днепровского лесостепного Правобережья, поскольку в первой половине V в. они, судя по всему, довольно быстро утратили свое бывшее значение и, попав в зависимость от номадов, наверное, сами нуждались в активной поддержке.

Несколько более сложным представляется на первый взгляд решение вопроса о воинственных племенах Днепровского Левобережья. Как отмечалось выше, это население в общем и целом довольно успешно отразило натиск кочевников с юга. Однако надо признать, что в данном случае у нас просто нет никаких реальных материалов, которые можно было бы истолковать в качестве свидетельства прямого или хотя бы косвенного участия местных жителей в событиях первой половины V в., протекавших в степной зоне северо-западной части Понта.

Таким образом, в нашем распоряжении остается лишь одно — обратиться к рассмотрению соответствующих фактов археологии раннего железного века Северной Добруджи.

Первое, на что, пожалуй, необходимо обратить самое пристальное внимание в данной связи, — на более чем вероятное вхождение этого района в зону расселения кочевников скифской архаики. Во всяком случае, именно этим обстоятельством логичнее всего объяснять прекращение существования в первой половине — середине VII в. до н. э. поселений так называемой

культуры Бабадаг III, приписываемой гетам (см. также: Alexandrescu. 1990. S. 49, 63; ср. Avram. 1990. S. 18). Равным образом допустимо предположить, что здесь, как, по-видимому, и во всех остальных случаях (см. главу II), номады в результате насильственного захвата новой родины образовали верхний пласт, своего рода элиту, в социальной структуре местных скотоводческо-земледельческих образований. Вполне естественно также думать, что с этого времени в Истро-Понтийской зоне на полную мощность был включен механизм культурной интеграции относительно небольшого числа завоевателей в иноэтничную среду туземного населения. Именно это последнее обстоятельство крайне затрудняет, а подчас делает просто невозможным сколь-либо четкое выделение северопричерноморского культурного элемента в Северной Добрудже интересующего нас времени. Особые сложности при этом, однако, возникают в связи с тем, что степень изученности памятников варварской части населения этого района до сих пор оставляет желать много лучшего.

Наиболее показательными в их числе, несомненно, являются материалы курганного некрополя Валя-Чиликулуй (Чилик-Доре) конца VII — VI вв. до н. э., демонстрирующие нам многочисленные параллели и аналогии туземным памятникам скифской архаики Северного Причерноморья (Simion. 1992. P. 26 *si urm.*). В этом же ряду данных укажем на наличие в составе вещественных материалов ранних поселений округа Истрии лепной посуды, аналогичной скифской керамике лесостепной зоны Северного Причерноморья (см., например: Pippidi, Berciu. 1965. P. 91. Fig. 16; Moscalu. 1983. P. 54, 170–171). Напомним также, что обломки типично северопричерноморской посуды VI–V вв. до н. э. составляют заметную долю керамического комплекса так называемого «цивильного поселения» этой колонии (Dimitriu. 1966. P. 55–56, 498. Pl. 66, № 874, 878, 885, 887. P. 499. Pl. 67, № 897–899, 900, 902, 906). Равным образом известно, что кроме лепной посуды на территории «цивильного поселения» Истрии и поселения Тариверде обнаружены детали конской сбруи скифского облика VI в. до н. э. (Berciu. 1963; Мелюкова. 1976. С. 108. Рис. 1.1, 2; Alexandrescu. 1990. S. 65), а также наконечники скифских боевых стрел этого же времени (см., например: Berciu, Preda. 1961. Fig. 5.1; Мелюкова. 1979. С. 106; ср. Никулице. 1987. С. 39–40). Крайне любопытно отметить, наконец, в связи со всем вышеизложенным, что до сих пор единственная небольшая серия подкурганных захоронений туземной знати середины VI — начала V в. до н. э., открытая рядом с «цивильным поселком» Истрии, по совершенно справедливому замечанию автора раскопок П. Александреску, вполне определенно содержала целый ряд черт обряда и предметов из состава погребального инвентаря, прежде всего свойственных для северопонтийского племенного мира варваров (Alexandrescu. 1990. S. 65–66).

Таким образом у нас, как кажется, есть некоторые основания предполагать пребывание скифов в Добрудже еще задолго до начала V в. (ср. Мелюкова. 1979. С. 239). При этом нет никаких сомнений в том, что по крайней мере внешний облик культуры этой группы бывших завоевателей уже во многом отличается от принесенного ими с собой, и, по всей видимости, более всего он напоминал гетский. Однако столь же очевидно и то, что сам факт наличия отдельных, но бесспорно скифских признаков в ее структуре позволяет говорить о том, что еще далеко не все элементы традиции были утрачены к моменту появления в степном коридоре Северного Причерноморья новой волны номадов. Не случайно поэтому, быть может, придунайские геты даже в V в. до н. э. все еще более всего напоминали грекам кочевников скифов (Thuc., II, 96,2; 98,4; см. также: Weiss. 1912. Sp. 1932).

В заключение данного пассажа нам остается лишь напомнить, что наиболее ярким показателем глубины и продолжительности греко-варварских контактов является использование ионийцами северо-западной части Понта, жителями Истрии прежде всего, в торговле с местными туземцами весьма своеобразной формы протоденег, выполненных в виде двулопастной стрелы скифов VI в. до н. э. (ср. Avram. 1990. S. 24).

Вернемся, однако, к исходному пункту нашего поиска наиболее вероятных претендентов на роль протекторов ионийцев в первой половине V в. Как представляется ныне, одним из важнейших результатов только что проведенного рассмотрения археологических материалов архаического времени Северной Добруджи становится возможность включения в их число какого-то объединения туземцев Истро-Понтийской зоны. Совершенно очевидно, впрочем, что само по себе такое включение, проведенное нами лишь на уровне интерпретации крайне скудных и к тому же далеко не однозначно трактуемых исследователями фактов археологии раннего железного века, по существу является не чем иным, как просто осторожным предположением. Тем не менее оно все-таки допустимо, и главное, в его пользу могут быть найдены дополнительные и независимые от археологических материалов аргументы, способные, как кажется, придать занятой нами позиции вид более или менее обоснованной гипотезы.

Солидным подкреплением высказанной точки зрения на сей раз оказываются, прежде всего, данные античной литературной традиции, содержащиеся в IV книге «Истории» Геродота. Первое, на что необходимо обратить внимание в этой связи, — на само название северной части Добруджи: старая, или древняя Скифия (Herod., IV, 99, 2), свидетельствующее, быть может, также в пользу относительно раннего проживания скифов на этой территории (ср. Куклина. 1985. С. 558–559), Равным образом нельзя не обратить внимания и на то, что буквально все сообщения отца истории о наиболее вероятных, с точки зрения Ю. Г. Виноградова, протекторах ионийцев

первой половины V в. — скифских «царях» Ариапифе, Скиле и Октамасадe (Herod., IV, 78–80), географически ограничены лишь одной областью Причерноморья — его западной, а отнюдь не восточной частью, где, по всей видимости, располагались кочевья так называемых царских скифов Геродота (IV, 20); этой же областью, как известно, ограничиваются и все находки монет V в., приписываемых «царям» скифов и их наместникам (Карышковский. 1984; 1987; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 93–94, 106–107). Но и это еще не все. Как показывает даже беглый анализ все тех же глав текста «Скифского логоса», большинство событий, так или иначе связанных с жизнедеятельностью названных выше туземных династов, происходило на еще более узком участке степей — в районе Подунавья. Напомним, наконец, что здесь же, в окрестностях Истрии, где находилось единственное из до сих пор известных нам родовых кладбищ правителей местного населения, был обнаружен и вполне материальный свидетель этих событий — золотой перстень Скила и, возможно, одного из его венценосных предшественников — Аргота (Виноградов. 1980б). Можно думать, что именно Северная Добруджа с примыкавшими к ней с севера степями являлась основной территорией пребывания скифов, возглавляемых Ариапифом—Скилом—Октамасадом.

В заключение данного сюжета нам остается лишь дать небольшую коррекцию версии скифского протектората первой половины V в. до н. э., разработанной Ю. Г. Виноградовым. Сразу же заметим, что предлагаемая трактовка событий ни в коей мере не затрагивает саму идею и основное содержание зависимости ионийских полисов этого времени Северо-Западного Причерноморья от варваров. Речь идет о другом — о внесении ряда более или менее оправданных изменений в наши представления о конкретном носителе властных функций и, отчасти, самом ходе развития процесса подчинения.

Начать следует, по-видимому, с вполне допустимого предположения, что вскоре после основания греками своего древнейшего поселения в дельте Дуная здесь, рядом с Истрией, довольно быстро, не позднее самого начала VI в. до н. э., во всяком случае, начинает формироваться более или менее крупное потестарное объединение туземцев, возглавляемое скифской аристократией, вступившей в длительные и самые непосредственные контакты с колонистами. Основой этих контактов являлось, скорее всего, некое соглашение, так или иначе регулирующее отдельные стороны жизнедеятельности выходцев из Эгеиды (см. также: Avram. 1990. S. 24–25). Нельзя не учитывать, во всяком случае, что только вполне доброжелательное отношение к переселенцам со стороны варваров могло создать достаточно надежные условия для перехода греков уже во второй четверти VI в. к непосредственному освоению экономического потенциала близрасположенных территорий путем создания здесь небольших и, по-видимому, неукрепленных

селищ. Более того, именно покровительственное отношение туземной элиты, так или иначе контролировавшей прилегавшие к Добрудже с севера степные пространства, позволило Истрии во второй половине названного столетия распространить свое экономическое влияние далеко на восток, вплоть до территории Нижнего Поднестровья, где как раз ею, быть может, и был создан один из основных опорных пунктов ионийцев — Никоний (Avgam. 1990. S. 24). Таким образом, как кажется, не будет слишком уж большой смелостью предположить, что сам институт протекционизма скифов по отношению к грекам, основанный на какой-то, но, несомненно, обоюдодоприемлемой для обеих сторон договорной основе, мог зародиться гораздо раньше, нежели это было отмечено Ю. Г. Виноградовым, — еще в первой половине VI в. до н. э. (см. также: Preda. 1985. S. 265–266). Другое дело, что в начале V в. он претерпел, по всей видимости, кардинальные изменения и ему невольно был придан, прежде всего, характер оборонительного союза.

Первым, вполне вероятным толчком, способным повлечь за собой радикальную трансформацию в устоявшихся отношениях греков с варварами в районе Подунавья, в принципе мог уже стать так называемый скифский поход Дария I Гистаспа, обычно датируемый исследователями 519 г. (см., например: Виноградов Ю. Г. 1989. С. 81; Alexandrescu. 1990. S. 66, 86. Anm. 146 bis; ср. Черненко. 1984. С. 11). Впрочем, следует допускать, что кратковременность этого предприятия должна была лишь ненадолго динамизировать военно-политическую обстановку в Истро-Понтийской зоне. Как явствует из дошедших до наших дней справок античной литературной традиции, основной удар персов пришелся, скорее всего, все-таки в пустоту и в целом не затронул местных жителей (см.: Herod., IV, 120–142; Strab., VII, 3, 14).

Значительно более масштабные последствия в этом смысле имели события начала следующего века, когда туземное население Северной Добруджи, по всей видимости, вынуждено было развернуть упорную и не во всех случаях удачную борьбу с только что возникшим и ставшим стремительно расширять свои владения на север, в сторону Истра, молодым царством одрисов Тереса и его сына Ситалка.¹ Напомним также, что примерно в это же время с другой стороны, на востоке, в зоне жизненных интересов обита-

¹ Вполне допустимо предполагать вслед за Ю. Г. Виноградовым, кстати, что хронологический отсчет этой конфронтации следует вести от момента военного набега скифов на Фракию (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 85–86), предпринятого ими, как полагает большинство специалистов, в 496–495 гг. (см., например: Доватур, Каллистов, Шишова. 1982. С. 389–390. Ком. 317, 319). Равным образом, нельзя исключать, что так называемое первое разрушение Истрии, датируемое также первым десятилетием V в. (Alexandrescu. 1990. S. 67), может быть опять-таки связано с началом кровопролитной борьбы скифов с фракийцами.

телей Истро-Понтийского района начали появляться первые группы новой волны воинственных номадов, а на северо-западных рубежах у скифов, судя по замечанию Геродота (IV, 78, 2), возникли серьезные трения с агафирсами Спаргапифа. Словом, создается полное впечатление, что жители Подунавья первой половины V в. в конечном счете оказались в жестком кольце окружения враждебных и по большей части весьма сильных в военном отношении соседей. Нетрудно заметить, таким образом, что в результате этого окружения здесь, в северо-западной части Понта образовалось нечто, довольно близко напоминающее по своему историко-географическому, этнокультурному и военно-политическому состоянию так называемую Малую Скифию Страбона (VII, 4, 5). Именно в этой критической ситуации и должно было произойти всемерное упрочение связей постоянных обитателей «Малой Скифии» — скифов Ариапифа—Скила—Октамасада и греческих общин района, и именно в это время их отношения закономерно должны были принять облик военного союза, главенствующей и, надо полагать, далеко не бескорыстной силой которого, безусловно, являлись варвары.

В заключение нам остается заметить, что как раз в это время здесь, на территории «Малой Скифии», в процессе создания отношений протектората был достигнут наивысший уровень культурных взаимодействий ионийцев и скифов, выразившийся, в частности, в появлении в среде местной аристократии первых вполне эллинизированных представителей туземной элиты, выпуске отдельными греческими полисами серий монет, удостоверяющих сюзеренитет скифских династов, и, главное, в формировании целостной системы вполне упорядоченного контроля варваров над экономической сферой жизнедеятельности колоний (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 93–109). Впрочем, как представляется ныне, почти весь накопленный опыт взаимодействий греков и варваров в этом районе был вскоре утерян. Не позднее начала второй половины V в. старая скифская аристократия Истро-Понтийской зоны, по всей видимости, полностью утратила свое бывшее значение и либо распалась под ударами своих грозных противников, либо была подчинена одрисами Ситалка и окончательно растворилась в иноэтничной среде гетов. С этого момента и вплоть до начала экспансии сарматских племен на запад единственными хозяевами северо-западной части Понта, за исключением Добруджи, становятся кочевые орды скифов, пришедшие в степной коридор Приднепровья еще во второй четверти V в. Тем самым была окончательно закрыта первая (архаическая) и открыта новая (классическая) страница в истории развития греко-варварских отношений в этом районе. Наиболее ярким и одновременно наиболее существенным следствием кардинального изменения военно-политической и демографической обстановки в Причерноморье явилась реколонизация сельских территорий Нижнего Побужья и Поднестровья.

3.2. Реколонизация сельских территорий Северо-Западного Причерноморья

Начало нового, второго по счету подъема жизни на сельских территориях Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья в настоящее время определяется несколько по-разному: от 400 г. до н. э. до начала и даже первой половины IV в. до н. э. (Рубан. 1988. С. 18; Доманский. 1981. С. 162–163; Отрешко. 1982. С. 37–39; Охотников. 1983. С. 119; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 138). Сразу же заметим, что имеющиеся в нашем распоряжении археологические данные (см., например: Марченко К. К. 1983б, 1985б, 1987б; Виноградов, Марченко. 1986. С. 66–67; Марченко, Доманский. 1986. С. 48, 55) позволяют внести существенные коррективы в уже высказанные на сей счет в печати соображения и догадки. Они заставляют думать, что первые признаки нового оживления сельскохозяйственной деятельности в округе Ольвии, да, по-видимому, и остальных греческих центров северо-западной части Понта, следует относить к значительно более раннему времени — последней трети V в. до н. э. (см. также: Виноградов, Марченко. 1985; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 99). Впрочем, столь же очевидно, пожалуй, и другое — постепенность нарастания процесса заселения берегов древних лиманов этого района, принявшего действительно большие размеры лишь в первой трети следующего века.

Что касается самих масштабов реколонизации, охватившей в целом весьма продолжительный период — от последней трети V до первой трети III в. до н. э., — то судя по опубликованным материалам (см., например: Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан. 1980. Карта; Охотников. 1983. С. 103; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. Рис. 35. С. 98; Крыжицкий, Буйских, Отрешко. 1990. С. 44 сл.), они явно и намного превосходили соответствующие параметры освоения аграрных территорий позднеархаического периода. Достаточно сказать, что только в Нижнем Побужье ныне зафиксированы следы функционирования более чем 150 населенных пунктов этого времени (рис. 7); несколько меньшее, но все-таки тоже весьма впечатляющее количество сельских поселений — около 85 единиц — было, по-видимому, основано тогда же и в Нижнем Поднестровье. Следует заметить, правда, что значительная часть памятников такого рода скорее всего представляла собой лишь временные или сезонные стоянки рыбаков, скотоводов или земледельцев (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 101–102).

Тем не менее можно считать, что и в данном случае речь опять-таки идет о достаточно крупном хозяйственном, культурном и, безусловно, демографическом явлении в истории античного населения Северо-Западного Причерноморья.

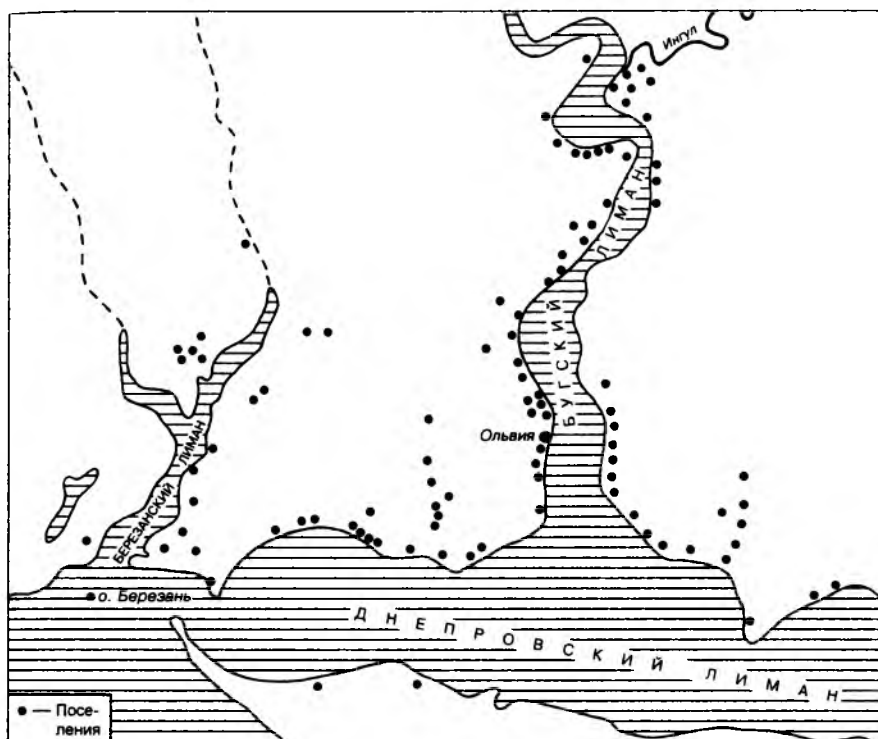


Рис. 7. Поселения Нижнего Побужья последней трети V — первой трети III в. до н. э.

В числе главных причин, вызвавших указанное явление к жизни, исследователи обычно называют несколько, а именно: реорганизацию земельной территории Ольвии (Рубан. 1978. С. 41; 1988. С. 18), появление эпойков из метрополии (Отрешко. 1982. С. 37–38; Рубан. 1988б. С. 18), интенсивное оседание туземцев на землю (Доманский. 1981. С. 162–163), уничтожение скифского протектората над Ольвией и другими греческими городами Северо-Западного Причерноморья и связанное с этим уничтожением свержение местной тирании, повлекшее за собой «стремление обновленного Ольвийского государства восстановить одну из главных отраслей своей экономики, нормальное функционирование которой было нарушено диктатом варваров» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 138), и, наконец, просто экономическую активность этого полиса в конце V — III в. до н. э. (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 100).

Переходя теперь к оценке существующих точек зрения и изначально признавая за ними в той или иной мере право на существование — особенно,

что касается мнения о заинтересованности греческих колоний в оптимизации своих сельскохозяйственных владений, — заметим все же, что ни одна из них не может считаться полностью удовлетворительной.

Наименее вероятным, хотя, разумеется, и не невозможным выглядит предположение о появлении в районе Ольвии новой волны эпойков из метрополии. Будучи основано почти исключительно на логическом допущении, оно к тому же, по всей видимости, исходит из абсолютизации явно дискуссионного тезиса о преимущественно эллинском составе обитателей аграрных селищ. При этом, кажется, совершенно не учитываются по меньшей мере еще два немаловажных обстоятельства — одновременный подъем оседлой жизнедеятельности во всех остальных районах греческой колонизации Северного Причерноморья, но главное — значительную хронологическую растянутость нарастания темпов заселения сельских территорий Нижнего Побужья, максимум которого приходится уже на раннеэллинистический период (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 100).

Значительно более приемлемым, но все-таки тоже односторонним решением задачи представляется и другой подход, ставящий во главу процесса реколонизации оседание кочевников на землю. В данном случае, как очевидно, вне поля зрения анализа существа дела во многом оказывается довольно многочисленная группа разнообразных археологических фактов, прямо свидетельствующих в пользу не только опосредованного (культурного и экономического), но и прямого (физического) участия эллинов в освоении целого ряда новых аграрных поселений в окрестностях собственных колоний. Отметим также, что, судя по всей совокупности материалов степной зоны Причерноморья, указанное явление, т. е. оседание туземцев, приняло интенсивный характер гораздо позднее начала второго этапа заселения сельских районов Северо-Западного Понта — в середине — второй половине IV в. до н. э.

В значительной степени мимо цели бьет, наконец, и идея о стремлении Ольвийского полиса восстановить запустевшую хору только после преобразования своей политической системы — перехода к демократии, происшедшего, по-видимому, лишь в начале IV в. (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 135 сл.; ср. Рубан. 1988б. С. 18). Как уже отмечалось выше, имеющиеся на сей счет данные однозначно указывают, что первые признаки нового оживления сельскохозяйственной деятельности на территории Нижнего Побужья следует относить к более раннему времени — последней трети V в. Тем самым ставится под сомнение вероятность прямой связи начала этого явления только с внутривнутриполитическими событиями в полисе, поскольку последние, по всей видимости, могли в лучшем случае лишь способствовать ускорению уже начавшегося ранее процесса, т. е. придать ему большую, чем прежде, энергию и организованность.

Вернемся, однако, к исходному пункту поиска наиболее вероятных причин реколонизации и, с учетом положительных сторон только что рассмотренных нами точек зрения на проблему, попытаемся найти наиболее приемлемое решение этой задачи. Начать, по-видимому, следует еще раз с подтверждения факта прямой заинтересованности греческих полисов северо-западной части Понта в максимальном расширении своих сельскохозяйственных владений. Равным образом, столь же очевидным представляется и то, что размеры этих владений во многом определялись количеством трудоспособного населения колоний и наличием или отсутствием свободного фонда земельных участков в их окрестностях; не менее важным условием достижения оптимальных размеров хоры должна была являться, наконец, и соответствующая, т. е. достаточно благоприятная, военно-политическая обстановка в регионе, позволяющая грекам в полной мере использовать наличествующие в данный момент ресурсы.

Оценивая под указанным углом зрения ситуацию в Нижнем Побужье и Поднестровье в канун нового подъема оседлой жизнедеятельности, свидетельствующую в пользу заметного роста народонаселения эллинских центров и крайне малой заселенности аграрных территорий, можно уверенно предположить, что основным камнем преткновения на пути максимального освоения экономического потенциала названных районов являлась все еще существующая угроза военных акций со стороны кочевников. Именно это последнее обстоятельство, на наш взгляд, и определило в дальнейшем замедленный темп и специфический облик развития начального этапа реколонизации.

Переходя теперь к непосредственному рассмотрению содержания этого этапа, напомним, что в начале второй половины V в. в степной зоне Северо-Западного Причерноморья произошла, по-видимому, смена хозяев. С уходом с исторической арены старой скифской элиты Истро-Понтийской зоны единственной силой, способной в той или иной мере диктовать условия существования местных греческих полисов, становятся скифы Поднепровья. Как представляется далее, столь радикальное изменение в расстановке главных действующих лиц уже само по себе должно было способствовать зарождению очередного периода относительной стабилизации обстановки в этом районе Понта. Возникали реальные предпосылки для перехода практически всего комплекса греко-варварских контактов на более упорядоченную (договорную) основу.

Нет сомнений, впрочем, что как ранее, так и теперь главным стимулом упрочения этих контактов служила кровная заинтересованность элиты варваров в получении возможно большего количества высококачественной продукции греческих ремесленников и виноделов. Получив в свои руки контроль над «излишками» продуктов земледелия приведенной в зависимое со-

стояние части оседлого населения лесостепных районов Северного Причерноморья (см. главу II), новые хозяева региона одновременно получили и прекрасные возможности для налаживания широкомасштабных торговых операций с эллинскими центрами. Весьма существенную роль в организации стабильной поставки элите вожделенных изделий была призвана сыграть, надо думать, и внеэкономическая эксплуатация самих греков, вынужденных для обеспечения собственной безопасности выплачивать в это время номадам какой-то трибут.¹

Вместе с тем не приходится сомневаться также и в том, что на начальной фазе раскручивания очередного витка отношений с кочевой знатью новый механизм контактов иногда мог давать сбои в работе. Социальная психология вчерашних завоевателей, способных при благоприятных условиях нанести неожиданный удар в спину, еще длительное время, вплоть до перехода к массовой седентаризации туземцев, должна была постоянно подпитывать чувство некоторой неуверенности у греков в своем завтрашнем дне. Не случайно поэтому, быть может, эпиграфические памятники именно первой половины IV в. демонстрируют нам неустанную заботу ольвиополитов о всемерном укреплении обороноспособности города (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 138–139).

Наиболее убедительные доказательства отсутствия достаточно благоприятной военно-политической обстановки для прямого перехода к крупномасштабной реколонизации свободных земель обнаруживаются, однако, как всегда, за пределами городских стен, на хоре. В их числе в первую очередь следует обратить внимание на чрезвычайно растянутое, так и хочется сказать робкое, развитие хода второго этапа освоения территорий. Достаточно заметить, что к начальной фазе этого процесса даже в относительно хорошо изученном районе Нижнего Побужья на сегодняшний день с большей или меньшей долей вероятности могут быть отнесены остатки всего лишь двух-трех строительных комплексов последней трети V в. — наземной усадьбы № 27 и большой землянки № 24, прежде всего, зафиксированных на площади ранее покинутых позднеархаических поселений Чертоватое 7 и Старая Богдановка 2 (Марченко. 1985б; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 122–123). Все остальные свидетельства нового подъема оседлой жизнедеятельности в Нижнем Побужье, да, по-видимому, и в Нижнем Поднестровье, до сих пор приходится связывать с присутствием в культурных слоях отдельных селищ сравнительно небольших серий керамических материалов и единичных хозяйственных ям этого времени.

¹ Надежным свидетельством установления скифами конца V в. податей для греков Северо-Западного Причерноморья является информация, содержащаяся в частном письме из Керкинитиды (см.: Соломоник. 1987; ср. Виноградов Ю. Г. 1989. С. 91).

Другим, с нашей точки зрения, вполне вероятным показателем ожидания враждебных поползновений со стороны скифов может служить и факт отсутствия на территории новых и в структуре возобновленных сельских населенных пунктов северо-западной части Понта даже первой половины IV в. сколь-либо значительного числа долговременных, т. е. относительно дорогих и требующих больших затрат труда, наземных сырцово-каменных построек греков. Анализ старых и только что появившихся археологических материалов ни в коем случае не позволяет ныне соглашаться с до сих пор все еще широко бытующим среди специалистов мнением, согласно которому здесь уже «в течение первой четверти IV в. возникает целый ряд урбанизованных поселков с развитым домостроением» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 99, 150; ср. 106–123, 149).

Напротив, есть все основания полагать, что подавляющее большинство жилых и хозяйственных сооружений, функционировавших на территории этих памятников в первой половине указанного столетия, принадлежало к категории весьма примитивных и, как правило, довольно простеньких в своем изготовлении землянок и полуземлянок (см., например: Мелюкова. 1975. С. 9–19; Марченко, Доманский. 1986. С. 55–57; Головачева. 1987. С. 79; Марченко. 1988б; Марченко, Соловьев. 1988б. С. 49; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 104–106; Буйских. 1989; Головачева, Марченко, Рогов, Соловьев. 1991).

Наконец, третьим, и, конечно же, самым отчетливым свидетельством реальной возможности военных столкновений является наличие по крайней мере у некоторой части поселений последней трети V — первой половины IV в. искусственно созданных линий защиты. Уже одна из самых первых постоянных построек этого времени — упоминавшаяся выше усадьба № 27, расположенная в непосредственной близости от Ольвии, имела «относительно мощные обводные стены всего здания» и внутреннее квадратное помещение, «по-видимому, башенного типа», что, по мнению исследователей, может быть расценено в качестве элементов обороны (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 122–124). Значительно более солидной системой укреплений, вполне вероятно, обладал другой памятник Нижнего Побужья этапа реколонизации — Софиевка 2, на территории которого, согласно наблюдениям С. Б. Буйских, были обнаружены остатки «каменной крепостной стены и выкопанного с ее напольной стороны рва» (Буйских. 1989). Однако, безусловно, наиболее достоверное доказательство существования фортификационных сооружений у ранее считавшихся совершенно открытыми аграрных поселков района было недавно получено при тотальном обследовании площади еще одного рядового селища этого времени — Козырка 12, где удалось полностью открыть следы сразу двух последовательно сменявших друг друга рубежей обороны, каждый из которых вклю-

чал в свою структуру мощную ограду из глубоко вкопанных в материк деревянных столбов и небольшой конусовидный ров у ее внешней щеки.¹ В этом же смысле, наконец, может быть расценено и предполагаемое выведение ольвиополитами на рубеже V–IV вв., или, что наименее вероятно, в начале IV в. в район Северо-Западного Крыма нескольких своих форпостов — небольших, но хорошо укрепленных поселений-фрурионов типа Панское I, Караджинское и «Чайка» (Щеглов. 1986. С. 166, 168. Прим. 35; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 313–314).

Какие же силы приняли участие в процессе реколонизации сельских территорий Северо-Западного Причерноморья? Кто основал и заселил новые поселения в окрестностях греческих центров этого района? Нельзя не видеть, что и в данном случае мы вновь стоим перед проблемой, которую в свое время пытались разрешить по отношению к аграрным селищам позднеархаического периода.

Исходным пунктом поиска ответа на поставленные вопросы, как и ранее, будет признание факта исторической обусловленности очередного подъема и дальнейшего развития оседлой жизни в Нижнем Побужье и Нижнем Поднестровье экономической деятельностью местных ионийских государственных образований. Именно это обстоятельство, надо думать, во многом и предопределило хозяйственный и культурный облик самих поселений. Значит ли это, однако, что речь в дальнейшем безусловно должна идти только об эллинах как о единственных и самых непосредственных участниках реколонизации? Отнюдь.

Обращаясь теперь к рассмотрению наиболее показательных с этнической точки зрения элементов материальной культуры новых поселений, мы наряду с вполне естественным в таком случае весьма значительным греческим компонентом обнаруживаем в их числе и несомненные свидетельства физического присутствия выходцев из туземной части населения Северного Понта. При этом заметим сразу, что накопленная на сегодняшний день информация в принципе позволяет выделить отдельные комплексы с относительно большим, иногда даже подавляющим, и относительно небольшим, едва уловимым, содержанием этих черт.

Среди последних прежде всего следует назвать лепную керамику (рис. 8). Как установлено ныне, обломки посуды, сработанной от руки без применения гончарного круга, имеются в составе керамических материалов буквально всех до сих пор так или иначе изученных памятников интересующих нас районов. Равным образом, достойно внимания также и то, что удельный вес такого рода изделий, используемых в быту обитателей сель-

¹ Раскопки Нижнебугской античной экспедиции ЛОИА АН СССР 1989–1990 гг. под руководством Е. Я. Рогова. Материалы работ не опубликованы.

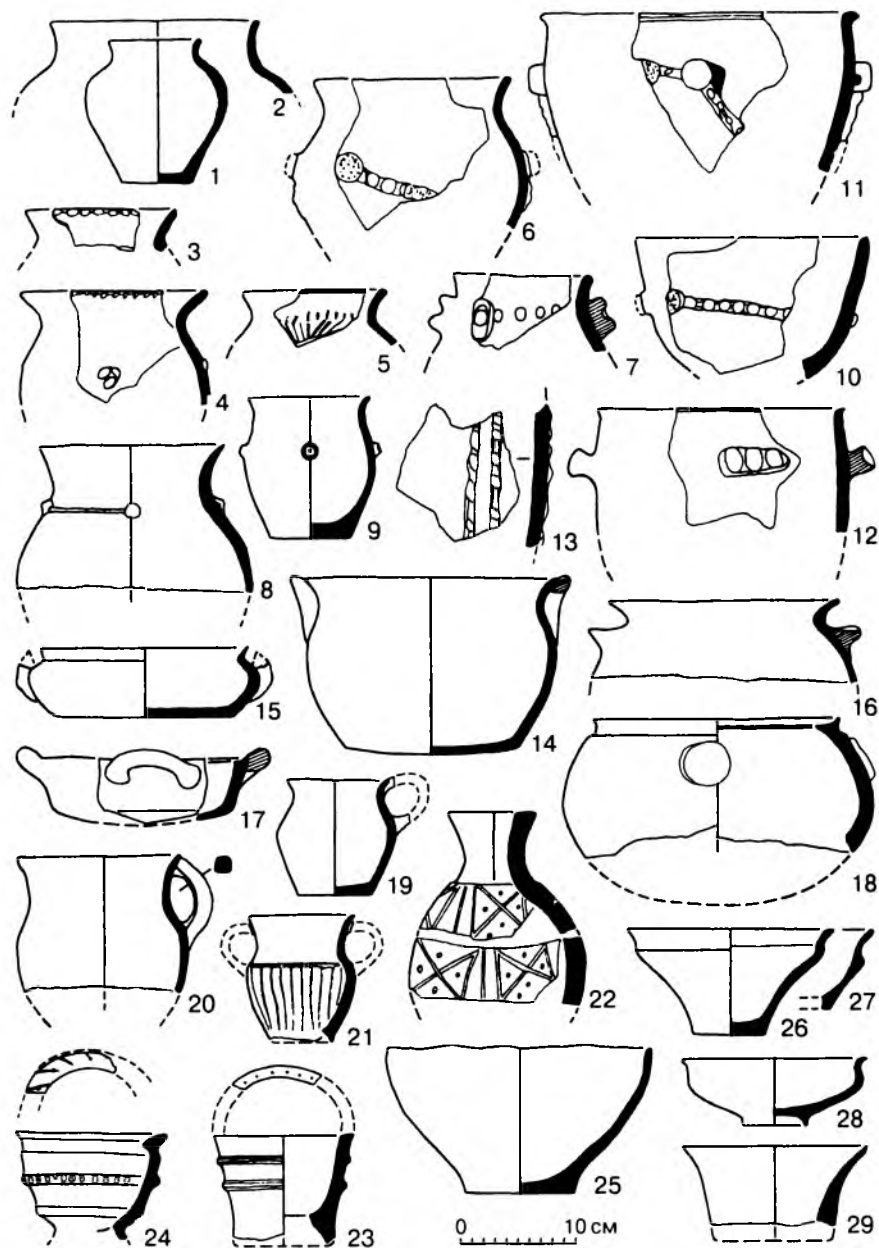


Рис. 8. Лепная керамика Нижнего Побужья классического и раннеэллинистического времени

ских территорий, значительно превышал количество аналогичной посуды, изготавливаемой жителями городских центров, и имел к тому же статистически достоверные и весьма существенные колебания в конкретных комплексах — от 12–36, а иногда и более процентов (без учета амфорной тары) на большинстве поселений Нижнего Побужья (см. также: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 127–128; Буйских. 1989. С. 23) до 30–80% на побережье Одесского залива и в Нижнем Поднестровье (см., например: Дзис-Райко. 1961. С. 38; Мелюкова. 1975. С. 23; Диамант. 1976. С. 211). Можно предположить, что число туземцев на отдельных поселениях этого времени было весьма различно. Впрочем, нельзя не согласиться и с мнением, высказанным целым рядом исследователей, согласно которому отмеченные выше несоответствия удельных весов могут в какой-то степени отражать и уровень зажиточности обитателей тех или иных населенных пунктов (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 128). Логично думать, что гораздо более качественная продукция греческих гончаров-профессионалов должна была быть одновременно и менее доступной для приобретения, нежели сработанная в домашних условиях. При этом, однако, в первую очередь следует исходить из того в высшей степени оправданного допущения, что именно в силу этого, последнего обстоятельства подавляющая часть необходимой в повседневной жизни бытовой и кухонной керамики как раз и должна была изготавливаться самими варварами, вряд ли в массе обладавшими такими же возможностями, как и граждане полиса, для удовлетворения своих потребностей в явно более престижных, но вместе с тем и более дорогих товарах ремесленного производства. Не случайно поэтому, быть может, в составе материалов лепной посуды этапа реколонизации впервые вполне отчетливо фиксируется довольно представительная группа изделий (не более 10% объема комплексов), имитирующая наиболее расхожие формы греческой кружальной кухонной, бытовой и столовой керамики (см., например: Русяева. 1968. С. 212; Мелюкова. 1975. С. 56; Доманский, Марченко. 1980. С. 31, 32. Рис. 10.5–7. С. 35; Марченко К. К. 1988а. С. 125–126; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 134). Будучи по сути своей прежде всего показателем более чем скромного имущественного состояния сельских жителей, это явление, с другой стороны, по-видимому, может быть истолковано в качестве прямого свидетельства глубокого воздействия античной культуры на быт хотя бы и части местного населения окрестностей эллинских центров (Доманский, Марченко. 1980. С. 33).

Вместе с тем не приходится сомневаться и в том, что даже в условиях значительно более развитого, нежели в предыдущие времена, внутреннего и внешнего рынков Ольвийского, да, пожалуй, и всех остальных греческих полисов Северо-Западного Причерноморья и теснейших культурных контактов с ними подавляющее количество туземного населения сельских рай-

онов продолжало изготавливать и использовать в своем обиходе разнообразную посуду чисто варварского облика. Судя по морфологическому набору типов, основой комплекса этого времени являлась лепная керамика, находящая себе самые непосредственные аналогии прежде всего в материалах скифских памятников степного коридора Северного Понта, что, на наш взгляд, однако, не обязательно указывает на кочевников как на единственный источник пополнения туземной части оседлого населения Нижнего Побужья и Поднестровья. Нельзя забывать, что, по сути дела, тождественная посуда тогда же была распространена и в ряде районов лесостепной зоны этого региона, например, у жителей Днепровского Правобережья. Заметим также, что в пользу некоторой диверсификации этнокультурного состава варваров прямо свидетельствует и наличие типично гетской посуды в слоях IV в. аграрных поселений Нижнего Поднестровья (см., например: Мелюкова. 1975. С. 51–53). Впрочем, нельзя не признать и того, что соответствующие материалы первой половины названного столетия другого района рекolonизации — Нижнего Побужья, в этом же смысле выглядят более однородными. Только со второй половины IV и особенно в начале следующего века здесь после длительного хронологического периода вновь появляются более или менее отчетливые следы пребывания выходцев из западных областей варварского хинтерланда (Марченко К. К. 1974. С. 157–159; 1988а. С. 83–85, 126–127; Доманский, Марченко. 1980. С. 31. Рис. 10.1–3).

Вторым элементом материальной культуры новых памятников, способных, на наш взгляд, также вполне надежно удостоверить присутствие туземного по своему происхождению компонента в составе оседлого населения приморской полосы северо-западной части Понта, оказываются опять-таки археологические реалии аграрных селищ — землянки и полуземлянки (рис. 9.1–2). Напомним сразу, что именно этот вид жилых и хозяйственных сооружений практически полностью доминировал в застройке если не всех, то уж во всяком случае подавляющего большинства поселений, расположенных на территории земледельческой округи эллинских центров Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья вплоть до середины — начала второй половины IV в. Только с этого времени здесь начинается переход к массовому строительству многокомнатных наземных сырцово-каменных домов греческих типов. При этом, однако, строительство землянок и полуземлянок полностью не прекратилось и далее. Более того, в настоящее время есть все основания утверждать, что по крайней мере в некоторых случаях такого рода постройки все еще продолжали образовывать ядро отдельных частей аграрных селищ вплоть до начала следующего столетия (Марченко, Соловьев. 1988б).

Что касается внешнего облика земляных сооружений второго этапа заселения сельских районов Северо-Западного Причерноморья, то в данном отношении необходимо обратить внимание на существенное обеднение чис-

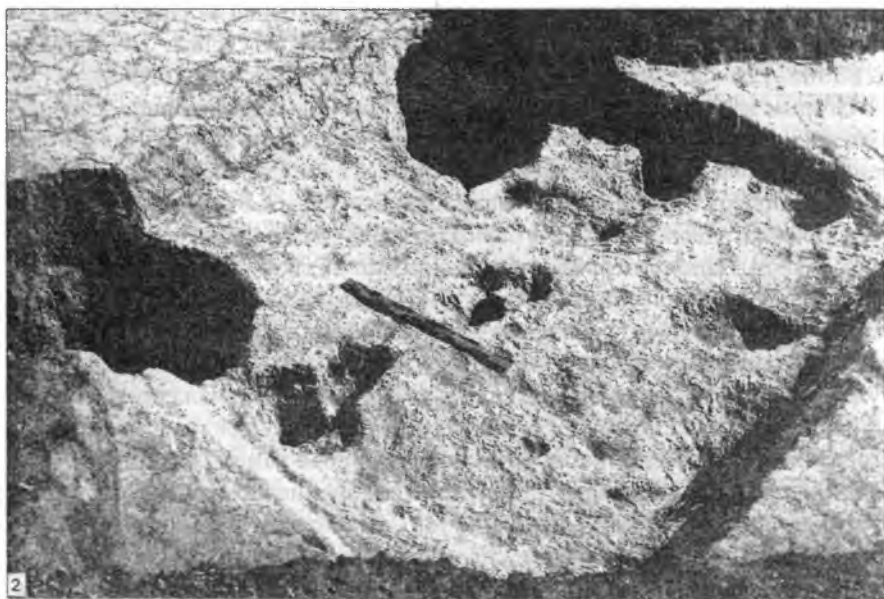
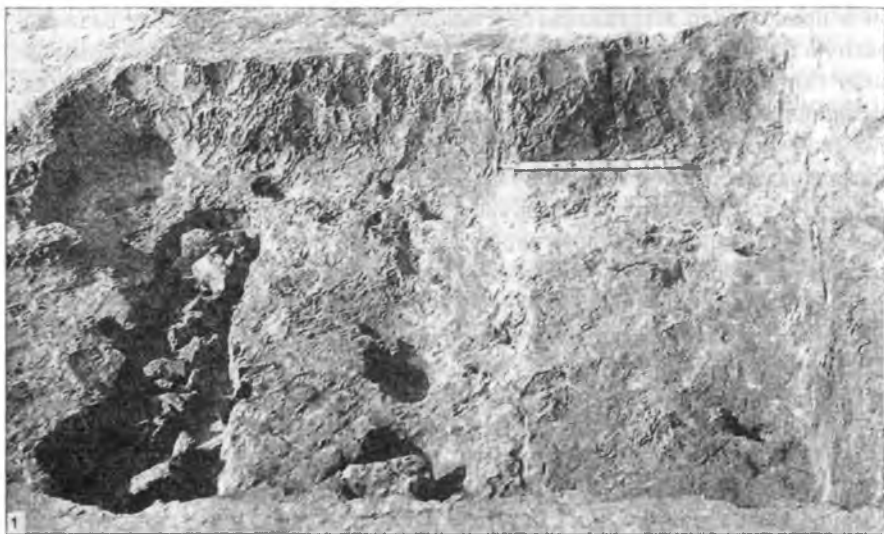


Рис. 9. Остатки землянок и полуземлянок на сельских поселениях
Нижнего Побужья IV — первой трети III в. до н. э.
(1 — поселение Куцуруб 1; 2 — поселение Козырка 12)

ла морфологически различных типов этих построек. Анализ имеющегося материала однозначно показывает, что в отличие от позднеархаического периода излюбленной формой жилищ новых поселенцев становятся почти исключительно прямоугольные в плане структуры. Обычные размеры землянок — от 3–4 до 10–12 м². Впрочем, на территории отдельных поселений известны и гораздо более крупные постройки — до 45–60 и даже 170 м² (Мелюкова. 1975. С. 9; Марченко. 1985б; Марченко, Соловьев. 1988б. С. 52–53).

Подавляющая часть комплексов — однокамерные структуры. Крайне редко и, как правило, в эллинистическое время землянки имели внутреннее членение на отдельные помещения (Марченко, Соловьев. 1988б. С. 52–53). Судя по дошедшим до наших дней остаткам, основными видами строительных материалов при возведении внешних стен и внутренних перегородок являлись глина, дерево и турлук. Ко всему сказанному остается лишь добавить, что безусловное большинство землянок IV в. в своем интерьере не имело постоянных очагов и печей и, по всей видимости, должно было отапливаться в холодное время года переносными жаровнями.

Вместе с тем нельзя не отметить, что практически все эти в общем-то весьма примитивные сооружения до сих пор обычно рассматриваются в литературе в качестве временного или, точнее, переходного типа построек. Ничего не меняет в этой оценке и факт сосуществования на некоторых памятниках углубленных в землю жилищ с наземными домами: ведь всегда имеется возможность отнести первые к категории хозяйственных или подсобных помещений. Как полагает ныне значительная часть исследователей, «использование переселенцами на начальных этапах земляночного строительства является исторической закономерностью», поскольку-де «в ходе вторичного освоения Нижнего Побужья земляночный тип должен был снова войти в употребление как наиболее экономный и доступный новым поселенцам» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 104; ср.: Рубан. 1985. С. 33). При этом, очевидно, под самими переселенцами подразумеваются почти исключительно одни лишь эллины.

Нет нужды в полном объеме останавливаться на оценке достоверности указанной точки зрения. Положенная в ее основу аргументация в целом явно сродни той, которая была во многом отвергнута нами при рассмотрении материалов «реликтовых» форм жилищ более раннего времени (см. выше). В данной связи можно заметить, пожалуй, лишь то, что, как и в первом случае, господствующая на сегодняшний день культурная интерпретация «примитивных» структур этапа реколонизации не может быть признана удовлетворительной сразу же по нескольким причинам. Она прежде всего фактически не учитывает наличие прямой генетической связи таких жилищ и деталей их внутреннего устройства с соответствующей строительной традицией обитателей бесспорно варварских селищ Северного Причерно-

морья. Единственная оговорка на сей счет делается пока лишь только в отношении уже упоминавшейся выше большой землянки № 24, обнаруженной в Нижнем Побужье, в структуре поселения Старая Богдановка 2 (см.: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 147). Совершенно необъяснимым в этих же рамках остается и другое — факт чрезвычайно длительного использования сельскими жителями почти исключительно земляночных сооружений. На поверку как бы оказывается, что греческие поселенцы (эпойки или же граждане полиса — неважно!) вынуждены были вместе со своими домохозяевами в течение жизни трех поколений вновь довольствоваться крайне примитивными условиями быта. И это, заметим, в период радикальной демократизации общественно-политического строя колоний и небывалого расцвета строительной и культурной деятельности на территории собственно ионийских центров Северо-Западного Причерноморья. К сказанному остается лишь добавить, что весьма вероятное создание выходцами из Ольвии уже в начале IV в. в северо-западной части Крыма серии фрурионов, выполненных в типично эллинской культурной традиции, в принципе вообще ставит под большое сомнение презумпцию об исторической обусловленности сколь-либо широкого использования греческими переселенцами столь примитивных сооружений, каковыми несомненно являлись земляночные структуры.

Впрочем, основной недостаток рассматриваемой позиции находится в иной плоскости. Анализ всей совокупности археологических материалов свидетельствует в пользу вполне самостоятельной, т. е. во многом не зависимой от строительной традиции греков, линии типологического развития этих «архаичных» построек в культуре рядовых памятников интересующего нас времени. Есть веские основания полагать, что господствующие на начальной фазе реколонизации обычные однокамерные землянки и полуземлянки при изменении военно-политической ситуации в регионе к лучшему не были просто автоматически и полностью заменены в середине — второй половине IV в. на значительно более комфортабельные наземные сырцово-каменные дома ионийцев, а, продолжая существовать и далее, постепенно начали трансформироваться в рамках одного и того же типа в более сложные по своему конструктивно-планировочному решению сооружения.

Необходимо подчеркнуть также, что только в раннеэллинистическое время, т. е. по прошествии не менее трех четвертей столетия, при создании такого рода построек впервые в заметных размерах начинают применяться и новые наиболее прогрессивные строительные материалы, в том числе камень и сырец, что логичнее всего связывать с воздействием на туземцев более развитой культуры греков. В этот же период, наконец, несомненно усиливается и дифференциация землянок по их функциям, ведущая в свою очередь к увеличению вариабельности типа в целом.

В заключение заметим, что наиболее наглядные иллюстрации только что сделанным замечаниям и суждениям дает одно из недавно изученных рядовых поселений сельской округи Ольвии — Куцуруб I, в пределах основного ядра которого были обнаружены остатки, по сути дела, практически всех до сих пор известных вариантов «архаичных» структур Северо-Западного Причерноморья второй половины IV — начала III в. до н. э. (см.: Марченко, Соловьев. 1988б. С. 52–53).

Третьим и последним компонентом культуры оседлого населения эпохи реколонизации, способным в принципе подтвердить факт самого прямого участия туземцев в создании стационарных поселений в окрестностях греческих апойкий Северо-Западного Причерноморья, являются данные местных некрополей (см.: Ebert. 1913. S. 23 ff.; Мелюкова. 1975. С. 108–151; Снытко. 1986; 1990; Буйських, Нікітін. 1988; Былкова. 1989; Диамант. 1989). Несмотря на крайнюю скудость и по большей части неразработанность материалов могильников, равно как и чрезвычайную сложность надежной этнической атрибуции подобных памятников в условиях «пограничья», есть веские основания полагать все же достаточно высокую степень обусловленности формирования облика погребальной обрядности сельских жителей этого района не только от воздействия на религиозные воззрения поселенцев со стороны собственно эллинской культуры, но и культуры варваров хинтерланда — прежде всего кочевников степной зоны. Нельзя не видеть, к примеру, что лишь с появлением новой волны кочевников в регионе в начале V в. и постепенным усилением военно-политического контроля последних над своими южными соседями в некрополе Ольвии и на периферии города, в частности, ко второй половине названного столетия практически полностью выходят из употребления четырехугольные ямы с деревянными конструкциями лесостепного облика и начинают получать распространение совершенно иные, ранее почти неизвестные в Северном Причерноморье, но зато, по-видимому, связанные с пришельцами типы могильных сооружений в виде ям с подбоем и катакомбы (ср. Мурзин. 1990. С. 31–33). Наличие же в целом ряде подбойных и катакомбных погребений следов положения с умершим заупокойной (жертвенной) пищи животного происхождения, ножей, оружия скифского типа, а иногда и лепной керамики уже сейчас, т. е. до проведения дополнительных исследований, дает принципиальную возможность рассматривать это воздействие, хотя бы и отчасти, в неразрывной связи с постоянным присутствием в пределах зон расселения оседлых жителей Нижнего Побужья и Поднестровья IV — первой трети III в. до н. э. самих варваров.

Какими же, однако, путями шло формирование туземной части сельского населения периферийных районов Северо-Западного Понта интересующего нас времени? Совершенно очевидно, что при полном отсутствии кон-

кретных сообщений письменных и эпиграфических памятников одни только археологические материалы не в состоянии дать однозначного ответа на этот важнейший вопрос проблемы греко-варварских взаимоотношений. Именно поэтому нам, как и ранее (см. выше), остается лишь высказать на сей счет несколько более или менее оправданных предположений.

Первое, на что, быть может, необходимо обратить самое серьезное внимание в данной связи, — на синхронность исчезновения Ольвийского предградья с началом второго этапа заселения берегов Днепро-Бугского лимана. Напомним также, что это селище за пределами городских стен было в свое время основано скорее всего какой-то группой зависимого от эллинов, главным образом варварского по своему происхождению населения, призванного снабжать гражданский коллектив ольвиополитов продуктами земледелия. Нельзя ли предположить, таким образом, что греки при первых же благоприятных возможностях использовали жителей предградья в процессе реколонизации аграрных территорий Нижнего Побужья (ср. Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 149)?

Впрочем, гораздо более очевидным представляется другое — отсутствие достаточно большого количества зависимых туземцев, имевшихся в распоряжении эллинских общин Северо-Западного Понта перед очередной «реорганизацией» своей хоры, для проведения такого мероприятия в жизнь в сколь-либо значительных масштабах. В силу данного обстоятельств должны были существовать и иные пути привлечения необходимой рабочей силы, например: покупка военнопленных у кочевников или же переселение какой-то части земледельцев и скотоводов на договорной основе из числа оседлых жителей лесостепной зоны региона. Не случайно поэтому, быть может, отдельные комплексы Нижнего Побужья — поселение Козырка 12, в частности, в своей структуре содержат элементы бытовой сферы культуры, явно указывающие на их генетическую связь с местной традицией жителей именно лесостепных районов Северного Причерноморья (Головачева, Марченко, Рогов, Соловьев. 1991. С. 71). Однако важнейшим и, надо полагать, далеко не во всех случаях напрямую связанным только с одной заинтересованностью греков источником формирования варварской части населения «пограничья» должна была стать, скорее всего, все убыстряющаяся во времени седентаризация кочевников, наиболее яркое свидетельство которой в виде остатков целой серии стационарных селищ IV — первой трети III в. до н. э. исследователи фиксируют ныне как раз в районе Нижнего Поднепровья (см., например: Гаврилюк. 1989. С. 199; Былкова. 1990; 1999).

Последнее, на чем необходимо остановить самое пристальное внимание в связи с рассматриваемым вопросом, — выяснение социально-правового статуса туземцев Нижнего Побужья и Поднепровья. К сожалению, имеющихся в нашем распоряжении археологических материалов явно недоста-

точно для сколь-либо удовлетворительного разрешения этой задачи. Они в лучшем случае лишь позволяют предполагать какую-то степень зависимости от греков определенной части гетерогенного местного населения многочисленных аграрных селищ, возникших в процессе реколонизации окрестностей эллинских центров Северо-Западного Причерноморья. Единственным реальным выходом на столь желаемую в данный момент историческую конкретику может, по-видимому, стать только прямое сообщение на сей счет античной литературной традиции или эпиграфики. И такое сообщение, как кажется, есть. Коротко рассмотрим его.

3.3. Ойкеты декрета в честь Протогена

Одним из наименее разработанных аспектов социально-экономической истории греческих полисов Северо-Западного Причерноморья IV — первой трети III в. до н. э. является вопрос об их зависимом сельскохозяйственном населении. Заметим сразу, что обычно именно к этой категории жителей сельских территорий интересующей нас части Понта относят только так называемых миксэллинов знаменитого декрета ольвиополитов в честь Протогена (IPE, I², 32в, 20).¹ При этом, как известно, миксэллины рассматриваются современными исследователями в духе идей Н. В. Шафранской (1956), а именно: либо в качестве неполноправной группы эмигрантов (метеков) из Средиземноморья, «которую ольвиополиты использовали в своих военных отрядах» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 148–149), либо, что представляется более сбалансированным, как «зависимое военное-земледельческое население типа клерухов, катеков или периэков, посаженное некогда для обработки ольвийской хоры и охраны границ полиса» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 183. Примеч. 18; ср. Карышковский, Клейман. 1985. С. 74; Снытко. 1994. С. 177).

К сказанному необходимо добавить, что ни тот, ни другой варианты данной трактовки полностью не исключают, по-видимому, и какого-то участия аборигенов в процессе формирования именно этой категории жителей сельских районов Нижнего Побужья. Более того, на поверку может стать, что такое участие в действительности было даже более значительным, нежели это предполагается ныне. Во всяком случае, так называемые коллективные усадьбы раннеэллинистического времени, появление которых специалисты чаще всего приписывают деятельности миксэллинов, содержат в своем ке-

¹ Еще одно упоминание о миксэллинах содержится, видимо, в тексте декрета ольвиополитов в честь Антестерия, датированного Ю. Г. Виноградовым третьей четвертью III в. до н. э. (Виноградов Ю. Г. 1984; 1989. С. 178; ср. Яйленко. 1990б. С. 273–274. Примеч. 69).

рамическом комплексе существенно больший процент лепной посуды, чем другие типы аграрных поселений в окрестностях Ольвии (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 151). Со своей стороны отметим также наличие в составе лепной посуды именно этой группы памятников особенно заметного числа кратерообразных сосудов — «ваз» на высокой ножке (см.: Рубан. 1980. С. 287–288; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 134), имитирующих обычные походные котлы скифов-кочевников, что, быть может, наряду с прочим является не только свидетельством участия варваров в сложении бытовой сферы культуры строителей коллективных усадеб, но и косвенно указывает на вполне специфичный — военизированный в своей основе, образ жизни их обитателей.

Вместе с тем, говоря о зависимых варварах, неизмеримо более пристального внимания, нежели миксэллины, заслуживает, на наш взгляд, еще один, ныне почти забытый персонаж названного декрета — вся ойкетия Ольвии (ΙΡΕ, Ι², 32в, 20), подкупленная, совращенная или, как полагал В. В. Латышев (1887. С. 97. Примеч. 6), просто находившаяся в изменническом состоянии ума в канун военного нападения на город галатов и их союзников скиров.

К настоящему времени, как ни странно, имеются лишь две серьезные разработки этого сюжета, созданные к тому же еще в 50-х гг. нашего столетия (см.: Блаватский. 1953. С. 194–195; 1954а. С. 39–40; Pippidi. 1958; 1959). С тех пор, как кажется, ни один из исследователей больше не обращался специально к выяснению реального исторического наполнения термина ΤΗΝ ΟΙΚΕΤΕΙΑΝ ΑΠΑΣΑΝ знаменитого декрета. В литературе фиксируются лишь отдельные замечания касательно возможной формы выступления ойкетии, не имеющие самостоятельного значения (см., например: Гайдукевич. 1955. С. 54; Парович-Пешикан. 1974. С. 156).

В чем же суть упомянутых разработок? По мнению В. Д. Блаватского, речь в 20-й строке псефизмы идет об одном из первых крупных движений рабов в Северном Причерноморье (1954а. С. 39). Поскольку-де рабы фигурируют в тексте как Η ΟΙΚΕΤΕΙΑ в них, якобы следует видеть по-преимуществу категорию домашних городских рабов-слуг. Такая трактовка, как полагал исследователь, находит свое подтверждение и в отсутствии у Ольвии III в. до н. э. сколь-нибудь значительной собственной сельскохозяйственной территории (Блаватский. 1953. С. 51–53, 194–195). В силу этого, а также в силу относительно небольших размеров самой Ольвии, количество рабов, участвовавших во враждебном ольвиополитам выступлении, не могло быть большим (Блаватский. 1953. С. 194–195). Таким образом, заключает автор разработки, характер этого первого движения был сравнительно пассивным: совращенные галатами и скирами, ольвийские ойкеты, подобно рабам из Лаврионских рудников Аттики времен Пелопоннесской войны, массами бежали от своих господ к их врагам (Блаватский. 1954а. С. 40).

Совершенно с иных позиций к объяснению этого же термина подошел Д. М. Пиппиди, упорно отрицавший саму возможность сколь-либо широкого развития рабовладения в сельском хозяйстве припонтийских греческих городов (см. также: Pippidi. 1961. S. 99–100). Уже одна только неосуществимость фактического контроля над сельскими покупными рабами в условиях Причерноморья заставляет, с его точки зрения, предполагать в ойкетии декрета род зависимого, автохтонного по своему происхождению населения Ольвии, жившего и работавшего на хоре этого полиса.

Какую же из двух ныне существующих концепций предпочесть? Начнем с анализа положений наиболее развернутой из них и, как кажется, наиболее распространенной, — концепции В. Д. Блаватского.

Первое, что сразу же обращает на себя внимание, — ошибочность мнения, будто Ольвия в течение всего III в. не обладала сколь-либо основательной собственной аграрной базой. Разумеется, как ранее, так и сейчас, исследователи истории этого города в силу отсутствия соответствующих письменных источников не имеют возможности достаточно точно определить границы его хоры, и в данном вопросе все еще существует значительный разнобой в оценках (см., например: Зуц. 1969; Отрешко. 1979; Денисова-Пругло. 1979). Однако, как кажется, это в нашем случае и не суть важно. Существенно иное — накопленные ныне историко-археологические материалы однозначно свидетельствуют в пользу самой энергичной и, совсем не исключено, непосредственной эксплуатации Ольвийским полисом в первой трети указанного столетия сельскохозяйственных ресурсов весьма обширной даже по современным меркам территории, включавшей в себя прибрежные районы Николаевской, Херсонской областей от г. Николаева на севере до с. Станислав и Березанско-Сосицкого лимана на юго-востоке и юго-западе.¹ Не менее существенным оказывается и то, что количество открытых в очерченном регионе аграрных поселений раннеэллинистического времени, исторически, экономически и, весьма вероятно, политически связанных с Ольвией, не может не быть оценено при любых сравнениях как весьма значительное (см. выше). Таким образом, весьма значительным, надо думать, мог быть и удельный вес самодельной части населения Ольвийского государства, так или иначе занятого в сфере сельскохозяйственного производства.

Весьма спорным представляется и другое положение концепции, определенно относящей ойкетию декрета к категории домашних городских рабов-слуг. Такое толкование ольвийского *Η ΟΙΚΕΤΕΙΑ* неоправданно одно-

¹ Заметим также, что, в последнее время стало формироваться мнение, согласно которому эта территория была значительно больше и на юго-западе, к примеру, доходила до района современной Одессы (см., например: Дямант. 1978. С. 144; Рубан. 1978; 1988б. С. 18).

сторонне. Как показывают результаты целой серии исследований, реальное смысловое наполнение близкого ей по смыслу ΟΙΚΕΤΗΣ существенно шире и не ограничивалось значением, на которое ссылался В. Д. Блаватский (см., например: Струве. 1933. С. 369 сл.; Ленцман. 1951. С. 54–55; Амусин. 1952. С. 62–66; Фролов. 1956. С. 76–77; Казакевич. 1958; Willets. 1959. Р. 496–497; Колобова. 1963; Gschnitzer. 1963; Блаватская, Голубцова, Павловская. 1969). Нет нужды сейчас специально останавливаться на чрезвычайно подвижной семантике этого термина, отметим лишь принципиальную возможность его трактовки в смысле сельскохозяйственные рабы или социально зависимое от эллинов население, проживающее на сельскохозяйственной территории греческого государства, в данном случае — Ольвийского полиса. Существенно подчеркнуть также, что хотя такое понимание термина и ставит на повестку дня вопрос о форме эксплуатации ойкетов в сельском хозяйстве ольвиополитов, тесно связанный с более общим вопросом — о характере землепользования в Ольвийском государстве раннеэллинистического времени, оно отнюдь не приближает нас к его разрешению, поскольку даже прямая связь ойкетов с ойкосом не обязательно свидетельствует в пользу частной собственности на эту рабочую силу. Имеется немало примеров, когда ойкетами называли лиц, живших в своих домах и обрабатывавших земельные участки, на которых сидели их отцы и даже деды (см.: Голубцова. 1969. С. 146). Само собой разумеется, что и в этих случаях речь идет о хозяйствах, расположенных на территории античных государств.

Наконец, последнее — явная некорректность той единственной аналогии, с помощью которой делается попытка раскрыть ход одного из первых «выступлений» рабов в Северном Причерноморье. Указанная аналогия не может не вызвать ряд недоуменных вопросов типа: как и к кому, собственно говоря, могла бежать массаами городская прислуга Ольвии? Следует помнить, что галаты и скиры лишь только еще собирались зимой напасть на город. Они отнюдь не находились во время конструируемого бегства ойкетов в пределах владений своих противников, как это было в случае с пелопоннесцами. Более того, есть основания полагать, что территория обитания галатов, как, впрочем, и их союзников скиров, находилась на весьма значительном удалении от ольвийской хоры, вероятнее всего за Дунаем, и на пути ее достижения существовало множество труднопреодолимых препятствий, в том числе в виде врагов галатов — савдаратов, фисаматов и скифов (Мачинский. 1973. С. 53–54).

Но дело не только в этом. Серьезные сомнения вызывает сама возможность какого-либо восстания, возмущения или просто пассивного выступления именно городских рабов против своих господ, хотя бы и пребывавших в состоянии крайней растерянности перед лицом смертельной опасности. Конечно, *argumentum ex silentio non est argumetum*, но все же нельзя не об-

ратить внимания на обескураживающее отсутствие в литературной традиции, освещающей события античной истории раннеэллинистического времени, положительных данных, свидетельствующих в пользу возможности такого рода движений. Едва ли не все и, надо заметить, довольно многочисленные случаи выступления ойкетов в качестве реальной общественной силы четко связываются с сельскохозяйственными рабами или какими-то конкретными группами автохтонного зависимого населения, обычно работающими за пределами оборонительных стен города на хоре. Не является исключением из этого правила и привлеченная аналогия.

Прежде чем оценить степень предпочтительности точки зрения Д. М. Пипиди на ольвийскую ойкетию, необходимо попытаться установить, с каким конкретно периодом истории Ольвии должно быть сопоставлено интересующее нас событие. Желательность такой синхронизации очевидна. Вместе с тем следует признать, что возможности жесткой хронологической увязки ограничены и дискуссионны. И все-таки они существуют. Это, во-первых, дата создания самого декрета. На сей счет, как известно, имеется несколько различных точек зрения (см.: Латышев. 1887. С. 66–86; Книпович. 1966; Карышковский. 1968; Рубан. 1985. С. 43–44; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 181–182. Примеч. 16). Какую же из ныне существующих датировок предпочесть? По-видимому, ту, которая наиболее непротиворечиво учитывает данные палеографического и исторического анализов текста псефизмы. С этих позиций самой приемлемой сейчас кажется вторая половина или даже третья четверть III в. до н. э., т. е. время, позднее которого теряются реальные следы деятельности коллегии Семи — одного из главных инициаторов издания декрета (Карышковский. 1976).

Итак, третья четверть III в. Это, разумеется, только исходная дата. Она дает нам *terminus ante quem* многочисленных и, несомненно, охватывающих значительный промежуток времени событий, изложенных в декрете. *Terminus post quem* для них нам дают уже независимые материалы археологии, нумизматики и эпиграфики, однозначно свидетельствующие в пользу полного отсутствия в первой трети указанного столетия каких-либо следов серьезных негативных явлений в экономической, социальной и военно-политической жизни Ольвийского полиса.

Но это еще не все. Имеются дополнительные соображения, позволяющие заметно конкретизировать искомый отрезок времени. В их числе в первую очередь назовем вероятность отождествления галатов декрета с галлами-кельтами-галатами нарративных источников, создавшими в 279 г. на Геме так называемое государство в Тиле, длительное время тревожившее своими набегами греческие города Левого Понта и варварские племена Фракии. Заметим также, кстати, что именно с этого времени, согласно новейшим датировкам археологических материалов Латена B2a и B2b, в полной

мере совпадает и период массового распространения кельтских импортов в Скифии к востоку от Карпат (Еременко, Зуев. 1989; Шукин. 1989). Существенным в данном случае является и то, что период экспансионистской политики галатов обрывается где-то в середине III в., хотя их общественно-политическое образование, как известно, гибнет под ударами гетов только около 213–212 гг.

Наиболее важным, однако, принципиальным решением вопроса о синхронизации оказывается редчайшая возможность едва ли не прямого сопоставления информации, содержащейся в декрете в честь Протогена, с фактами археологии. Все дело в том, что упоминание миксэллинов числом не менее 1500 безотносительно к их интерпретации заставляет думать, что речь идет о времени, когда в Нижнем Побужье или где-то поблизости от него, на границе ольвийской хоры, функционировало одно очень крупное либо несколько относительно небольших стационарных поселений — тех же коллективных усадеб, к примеру (см.: Виноградов Ю. Г. 1989. С. 183. Примеч. 18), в пределах которых только и могли проживать вышеозначенные миксэллины.

Вместе с тем, как установлено ныне археологическими исследованиями, практически все известные нам сельскохозяйственные и торгово-ремесленные поселения степной зоны Северного Причерноморья от Дона до Днестра прекращают свое существование не позднее начала второй трети III в. (см., например: Доманский, Марченко. 1980. С. 38; Щеглов. 1985. С. 191–192; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 361–362; ср.: Рубан. 1985. С. 43; 1988б. С. 19–20; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 100; Яйленко. 1990б. С. 272; Снытко. 1994. С. 177; Билкова. 1999. С. 12). Тем самым появляется возможность сравнительно жесткой хронологической увязки интересующего нас факта с финальной стадией существования у Ольвии раннеэллинистического времени собственной обширной сельскохозяйственной территории. Нельзя не видеть, таким образом, что данное заключение заметно смещает *terminus ante quem* события, предельно сужая время, в течение которого только и могло возникнуть «изменническое» настроение умов у ольвийской ойкетии.

Следующий основной этап нашей работы — определение конкретного содержания самого термина *Ν ΟΙΚΕΤΕΙΑ* но, разумеется, не вообще — такая работа, как уже отмечалось выше, в значительной мере проделана, а применительно к данному случаю.

В силу отсутствия свидетельств о сколько-нибудь существенных выступлениях городских рабов-слуг в социальной истории античного мира раннеэллинистического времени и наличия таких данных для различных групп зависимого населения, в том числе и ойкетов, живших и работавших на своих господ за пределами городских стен, нам остается, как кажется, лишь вы-

явить следы пребывания таких зависимых в составе жителей аграрных поселений округа Ольвии первой трети III в. до н. э.

Возвращаясь теперь к точке зрения Д. М. Пиппиди, напомним, что в теоретическом плане на сложный в социально-правовом отношении состав жителей хоры Ольвии, включавший в себя помимо полноценных граждан полиса и неполноценных греков еще и некоторое количество местного зависимого населения, в том числе и рабов, указывалось уже не раз (см., например: Зуц. 1975. С. 45–46; Рубан. 1988б. С. 19; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 146–150). Дело теперь за соответствующими археологическими реалиями. И они, как было установлено выше, в результате анализа материалов лепной керамики, строительных комплексов и отчасти данных погребального обряда могильников, есть и вполне определенно указывают на присутствие значительного числа разноэтничных варваров в составе жителей аграрных поселений, расположенных в окрестностях греческих центров Северо-Западного Причерноморья раннеэллинистического времени.

Кем же были эти представители аборигенного мира? Какое место они занимали в иерархичной социально-экономической структуре Ольвийского государства? Вправе ли мы, наконец, включать их хотя бы отчасти в ойкетию Ольвии? Прямых ответов на эти принципиальные вопросы одни только археологические источники дать, естественно, не могут. В силу этого нам придется удовлетвориться пока вероятностным решением, основанным на следующих допущениях и констатациях.

1. Поскольку прямая культурная, экономическая и историческая связь аграрных поселений Нижнего Побужья раннеэллинистического времени с Ольвией сомнений не вызывает, поскольку также основным видом деятельности жителей этих многочисленных поселений являлось производство сельскохозяйственной продукции, можно думать, что именно в этой сфере экономики Ольвийского полиса была занята и основная масса осевших там варваров.
2. Поскольку материальная культура поселений Нижнего Побужья раннеэллинистического времени, но особенно данные эпиграфики, нумизматики и просопографии однозначно свидетельствуют в пользу относительной этнической и даже культурной целостности и относительной замкнутости эллинской общины этого района, следует думать, что исторически вполне оправданной формой отношений между автаркичным Ольвийским полисом, с одной стороны, и аборигенной частью жителей его хоры, с другой, являлось отношение социальной зависимости.
3. Поскольку греческий термин HOIKETEIA по своей природе есть прежде всего не что иное, как просто определение зависимости весьма широкого диапазона, поскольку, наконец, ойкетия декрета четко связывается в самом тексте с хорой (страной), нет никаких видимых препятствий тому,

чтобы зависимых разноэтничных варваров сельских поселений Нижнего Побужья отнести именно к этой категории населения Ольвийского государства III в. до н. э.

Вот, пожалуй, и все, что касается возможности решения поставленных выше вопросов. В заключение следует высказать одно-два соображения общего порядка относительно самого характера «выступления» ольвийской ойкетии. Главное, на что совершенно обязательно следует обратить внимание в данной связи, — на отсутствие видимого действия. Составитель декрета лишь констатирует состояние враждебности зависимого населения хоры по отношению к ольвиополитам, а отнюдь не его реализацию. Проявилась ли эта враждебность в конкретных действиях при нападении галатов и скиров, как это, например, произошло в 278 г. в сходных условиях на хоре Приены (Голубцова. 1972. С. 56), остается совершенно неизвестным. Совершенно неизвестным для нас, впрочем, остается и другое — осуществилось ли это нападение вообще.¹

Следующее, что сразу же бросается в глаза, — тривиальность сообщенного в декрете факта. Изменническое состояние умов ольвийской ойкетии по существу ничем не отличалось от настроений, широко распространенных в это и более раннее время в среде наиболее жестко эксплуатируемых групп зависимого населения античного общества. Такое состояние отнюдь не обязательно являлось следствием специального совращения или тем более подкупа со стороны врагов, оно вполне естественным образом вырабатывалось в процессе повседневной социально-экономической практики того времени.

Гораздо интересней во всем этом, быть может, другое, а именно: сама возможность проявления со стороны зависимой группы населения Нижнего Побужья явной враждебности по отношению к Ольвии в тот самый момент, когда непосредственная опасность существованию города еще отсутствовала и у ольвиополитов, как кажется, имелось достаточно времени для обуздания непокорных. Весьма существенно, быть может, и другое — откровенно изменническим настроением в этой ситуации оказалась охвачена вся ольвийская ойкетия, именно вся. Что это — особое словоупотребление, стиль составителя декрета, случайность? Вряд ли. Такого пренебрежения своим долгом перед хозяевами не могли себе позволить разобщенные домашние рабы-слуги. Отсюда вопрос — не является ли только что указанное обстоятельство косвенным свидетельством наличия у зависимого автохтонного населения хоры Ольвии рода организации?

¹ Гибель аграрных поселений Нижнего Побужья в начале второй трети III в. следует рассматривать скорее как результат коренного изменения военно-политической обстановки во всем Северном Причерноморье, а не как следствие одноразового нападения галатов и скиров (ср., например: Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан. 1980. С. 11–12; Рубан. 1988б. С. 19).

Греки и варвары в Западном Крыму

1. Ареал и природные условия

Географическое понятие Западный Крым, в отличие от устоявшегося и общеупотребительного Восточный Крым, в археологической литературе употребляется редко. Как правило, выделяются и изолированно рассматриваются два района Западного Крыма — Северо-Западный Крым и Юго-Западный

В основе такого деления, скорее всего, лежит отсутствие отчетливо выраженных остатков поселений античного, как, впрочем, и более раннего времени на всем протяжении побережья от Северной косы города Севастополя до Сакско-Евпаторийского района (Раевский. 1968. С. 128; Щеглов. 1978. С. 18) (см. рис. 10.1)

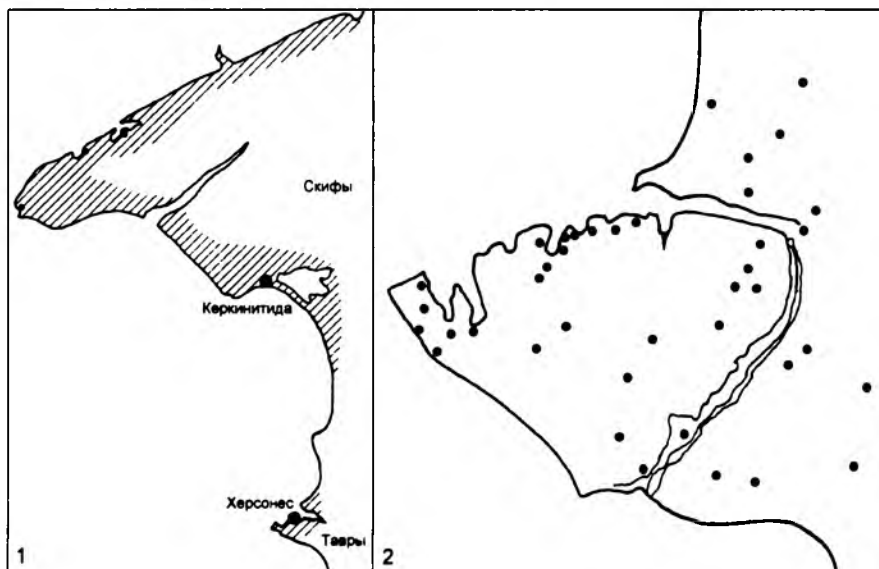


Рис. 10. 1 — Карта-схема территории Херсонесского государства конца IV — начала III в. до н. э. (по А. Н. Щеглову); 2 — варварские поселения и могильники в Юго-Западном Крыму первой половины I тыс. до н. э. (по Л. Соловьеву, С. Ф. Стржелецкому, О. Я. Савеле)

Правда, в последние годы обследование побережья позволило выявить новые памятники античного времени к югу от Евпатории, самое южное из которых — поселение Ново-Федоровка. Немногочисленные находки, относящиеся также к упомянутой эпохе и происходящие из междуречья Альмы и Качи (Зубарь, Колтухов, Мыц. 1991), служат основанием для утверждения о том, что все это правобережье в IV—III вв. до н. э. было частью Херсонесского государства (Ланцов. 1991). Однако отсутствие четкой системы поселений, такой, с которой мы встречаемся в Северо-Западном Крыму, заставляет относиться к этому предположению с известной долей скепсиса. Во всяком случае, совершенно очевидно, что даже если Херсонес как-то и контролировал эти территории, то значение их в хозяйстве государства, в его политической структуре было совершенно иным, нежели Северо-Западный Крым или Гераклеяский полуостров¹.

Немалую роль для такого резкого разграничения Северо-Западного и Юго-Западного Крыма играют, конечно, природно-географические условия. Северо-Западный Крым, включающий в себя Тарханкутское плато и северную часть Евпаторийской пологоволнистой равнины, составляет западную часть равнинного степного Крыма, который, в свою очередь, является непосредственным продолжением Северо-Причерноморской низменной равнины (Дзенс-Литовская. 1938; 1951; Подгородецкий. 1979).

Юго-Западный Крым — это район гор и предгорий; таким образом, различия между двумя районами Западного Крыма с точки зрения природной, ландшафтной совершенно очевидны. Между тем если рассматривать

¹ Со времени, прошедшего после написания данного раздела, появились новые материалы, позволяющие более полно осветить отдельные вопросы, рассмотренные в исследовании Е. Я. Рогова. К таким вопросам относится проблема реконструкции границ Херсонесского государства рубежа IV—III вв. до н. э. (Ланцов С. Б. О границах территории Херсонесского государства на рубеже IV—III вв. до н. э. // Херсонесский сборник. 2004. Вып. XIII. С. 121–153). Некоторые выводы, предлагаемые вниманию читателя, были в свое время откорректированы или пересмотрены самим Е. Я. Роговым. Например, интерпретация захоронений в подстенном склепе 1012 (Столетие открытия подстенного склепа 1012 в Херсонесе // *Stratum plus*. 2000. № 3. С. 88–97; Подстенный склеп 1012 в Херсонесе Таврическом // Боспорский феномен. 2002. Ч. 1. С. 26–42), заключения относительно присутствия выходцев из Ольвии в Северо-Западном Крыму в V — первой половине IV в. до н. э. (Ольвиопролиты в Северо-западном Крыму // *ΣΥΣΤΙΤΑ*. Сборник памяти Ю. В. Андреева. СПб., 2000. С. 269–274). По нашему мнению, эти изменения несколько не уменьшают научного значения исследования Е. Я. Рогова, касающегося наиболее дискуссионных моментов истории Херсонеса Таврического. Выводы исследователя, позволяющие по-новому взглянуть на многие вопросы истории Западного Крыма, не потеряли актуальности до настоящего времени. Поэтому мы сочли возможным издать эту часть работы в авторском варианте, предложенном в 90-е гг. XX в.

и сравнивать места расположения греческих апойкий в обоих названных районах, то резких различий в природных условиях и ландшафтах мы не обнаружим.

Понижения между увалами Тарханкутского плато, склоны балок и устьевые части, приморские долины и вся прибрежная зона в интересующую нас эпоху были покрыты густой древесно-кустарниковой растительностью, что делало Тарханкутский полуостров своеобразным лесостепным островом в причерноморских степях, подобно приднепровской Гилее (Щеглов. 1978. С. 25; Подгородецкий. 1979. С. 34).

Географически прибрежная часть Юго-Западного Крыма относится к предгорной провинции горного Крыма. Предгорья — это своеобразное звено, связывающее Крымские горы с равнинами. Полосой от 10 до 40 километров они протянулись от мыса Фиолент до Керченского полуострова. Ландшафтно — это холмистая степь, постепенно переходящая во внешнюю грядку Крымских гор. Но западе степь обрывается к морю высоким береговым клифом, сложенным глинистыми сланцами, в нескольких местах клиф прерывается обширными долинами, по которым выходят к морю реки Бельбек, Альма и Кача. На юге предгорья оканчиваются Гераклейским полуостровом. Со склонов Сапун-горы, Карагачской возвышенности и Каранских высот местность постепенно понижается к морю на запад и северо-запад, образуя обширное каменистое слабохолмистое плато, изрезанное балками. Все балки, за исключением Мраморной, впадают в бухты на северном пониженном побережье Гераклейского полуострова (Бабенчиков. 1941. Л. 2–3).

Растительность предгорий более всего сходна с лесостепной, открытые места имеют хорошо выраженную степную растительность. В древности, в частности, в античное время, значительные массивы предгорий были покрыты древесно-кустарниковой растительностью, реликтовые остатки которой сохранились до наших дней (Ена. 1983. С. 78). По-видимому, скорее следует говорить о природно-ландшафтных различиях не столько тех конкретных мест, где селились эллины, сколько о резких различиях районов, окружающих эти зоны расселения.

2. Демографическая ситуация

К моменту появления первых греческих апойкий на побережье Западного Крыма во второй половине VI в. до н. э. — Керкинитиды и поселения на берегу Карантинной бухты — Крымский полуостров не был безлюдным. Сообщения древних авторов о жителях полуострова для этого раннего времени немногочисленны. По существу, к сообщениям, как-то касающимся Западного Крыма, можно отнести лишь краткое упоминание города Каркинитиды Гекатеем Милетским в передаче Стефана Византийского (Hec. fr. 153.

Steph. Byz. s.v. ΚΑΡΚΙΝΙΤΙΣ), имея в виду, что речь идет все же о Крымской Каркинитиде, а не о Дунайской (Куклина. 1985. С. 85, 100; ср.: Дашевская. 1981. С. 228), и, пожалуй, сведения, содержащиеся в скифском логосе Геродота (Нер., IV, 20, 99–101, 103). Сообщения обоих авторов неоднократно и весьма разносторонне анализировались в научной литературе (См., например: Доватур, Каллистов, Шишова. 1982. Ком. 221, 222, 577, 600; Столба. 1993. С. 56–61).

Сообщение Гекатея настолько кратко, что могло служить основой для догадок самого разного рода, в частности, и об основании города скифами еще до конца VI в. до н. э. (Романченко. 1896. С. 230–231; Орешников. 1892. С. 7). Ближе к истине, надо думать, те исследователи, которые связывают обозначение города как скифского не с обстоятельствами его возникновения, а с расположением его в Скифии (Дашевская. 1970. С. 122). С уверенностью можно говорить лишь о том, что ко времени составления «Землеописания» Гекатеем ок. 500 г. до н. э. город уже существовал.

Более обстоятельны сведения, сохранившиеся в скифском рассказе Геродота. Они служат основой для реконструкции границ расселения тавров, которые живут в гористой, выступающей в Понт стране южнее линии Керкинитида-Феодосия (Щеглов. 1988. С. 56–57; Столба. 1993. С. 53). «От Таврики выше тавров в области обращенной к восточному морю живут уже скифы» (Нер. IV, 100), т. е. севернее тавров остальную часть полуострова занимают скифы.

Судя по сведениям письменных источников, в VI–IV вв. до н. э. на территории Крымского полуострова жили только три народа: эллины, тавры и скифы. Правда, некоторые исследователи, опираясь на легенду, изложенную Геродотом о потомках слепых рабов, произошедших от браков скифянок с рабами, допускают существование еще одного народа, произошедшего в результате смешения доскифского и скифского населения (Ольховский. 1982. С. 77; Ольховский, Храпунов. 1990. С. 27; Щеглов. 1988. С. 57). Явный мифологический характер Геродотового сюжета заставляет рассматривать это допущение как весьма шаткое.

Информация о таврах и их хозяйственном укладе, имеющаяся в письменных источниках, очень скудна. Начиная с Геродота, за таврами закрепились репутация диких воинственных горцев, которые «живут (награбленной) добычей и войной» (Нер. IV, 103). По Псевдо-Скимну, тавры ведут кочевую жизнь в горах (Ps. Scymn. Peripl. 831–832). Эти краткие сведения служат основанием для общих суждений о хозяйстве тавров, которое рассматривается как застойное, находящееся на низком уровне развития (Щеглов. 1981. С. 209; Крис. 1981. С. 54). Основу хозяйства составляет яйлажное скотоводство и примитивное земледелие, а также, как один из видов хозяйственной деятельности, набеги и пиратство (Щеглов. 1988. С. 60). Послед-

нему виду хозяйственной деятельности тавров придается, по-видимому, неоправданно большое значение. Прямо тавры названы пиратами только у Диодора, и то в числе кавказских народов — гениохов и ахейцев (Diod., XX, 25). Все остальные авторы акцентируют свое внимание на том, что тавры приносят в жертву сбившихся с пути или спасающихся в бухте Символов (Strabo. VII, 4, 2) пришельцев (Mela, II, 11) или просто чужеземцев (Schol. Callim. III, 174). Считается, что разбой у тавров еще не был связан с торговлей, а захват пленных не преследовал целей работорговли (Зельин, Трофимова. 1969. С. 209). Наряду с этим, отсутствие сколько-нибудь ясно выраженных материальных следов пиратской деятельности в виде остатков награбленной добычи (посуда, металл и пр.) заставляет усомниться в наличии такой отрасли хозяйства у племен горного и предгорного Крыма (Лесков. 1965. С. 167). Обломки античной керамики VI–V вв. до н. э. на памятниках этого района чрезвычайно редки.

Замкнутый и малодинамичный образ жизни, существование застойных форм хозяйства обусловили, по мнению некоторых исследователей, главную черту этнопсихологии тавров — акоммуникативность, переходящую во враждебность к чужакам (Щеглов. 1988. С. 61). Между тем находки на поселениях и в могильниках предгорного и горного Крыма, прежде всего — металлических изделий, свидетельствуют о том, что связи населения, проживавшего в горном Крыму, со степным Северным Причерноморьем не только существовали, но были весьма активными. Типы мечей, кинжалов, наконечников стрел, деталей конской сбруи, украшений находят полные аналогии в степных комплексах Северного Причерноморья, начиная с VII в. до н. э., а быть может и раньше (Крис. 1981. С. 44–49; Колотухин. 1987. С. 9–17; 1996. С. 35–66). Будем помнить также и то, что, судя по сообщению Геродота (Нег., IV, 119), тавры хотя и не вошли в антидариевскую коалицию, однако сохраняли со скифами не враждебные отношения. Надо полагать, что на север, в сторону причерноморских степей это «застойное» общество все же закрытым не было. Насколько оно было закрытым по отношению к крымским эллинам, сказать трудно, но пантикапейское погребение тавра Тихона говорит как будто о том, что закрытость и акоммуникативность тавров проявлялась не везде и не во всем.

Попытки совмещения картины, составленной на основе анализа письменных источников с археологическими реалиями, всякий раз приводят к несовпадениям, различиям и чаще всего к противоречиям буквально во всех вопросах, начиная с расселения племен и вплоть до уже упоминавшейся акоммуникативности тавров. Археологические материалы, полученные за десятилетия исследования памятников степного, горного и предгорного Крыма, оказались богаче и разнообразнее представлений, сложившихся на основе античной литературной традиции.

Анализ археологических источников показывает, прежде всего, отсутствие в Крыму культурного единообразия. Скифские (степные кочевнические) памятники появляются в равнинном Крыму не ранее третьей четверти VII в. до н. э. В ранний период, по крайней мере до начала V в. до н. э., количество их невелико, но, судя по тому, что некоторые из них найдены в предгорьях, следует думать, что полуостров в течение VI в. до н. э. был освоен кочевниками полностью (Ольховский. 1982. С. 76).

Увеличение числа скифских степных погребений в равнинной части полуострова происходит в V в. до н. э. и особенно — в IV в. до н. э. Лишь с этого времени можно говорить о локальном крымском варианте скифской культуры (Ольховский. 1978. С. 18). Т. Н. Троицкая еще в 50-х гг. выделила три варианта в культуре крымских скифов: восточнокрымский, центральный и северо-западный (Троицкая. 1951; 1954). Спустя два десятилетия этот вывод был подтвержден В. С. Ольховским, который располагал выборкой памятников, во много раз превосходящей выборку Т. Н. Троицкой. По Ольховскому, крымский локальный вариант скифской культуры делится на четыре зоны: восточнокрымскую, предгорную, северо-западную и северокрымскую (Ольховский. 1978. С. 17). Памятники каждой из этих зон обладают некоторым набором отличительных признаков.

Детальный анализ погребальных сооружений и погребального обряда памятников Крымского полуострова позволил помимо локального варианта скифской степной культуры выделить здесь еще три группы вполне своеобразных памятников: мегалитическую горного Крыма, кизил-кобинскую предгорий и группу памятников равнинного и предгорного Крыма, содержащую лощеную керамику с резным и гребенчатым орнаментом (Ольховский. 1982. С. 78).

Сопоставление погребального обряда выделенных групп памятников привело к выводу о том, что степные скифские памятники и памятники мегалитические вполне самостоятельны и оригинальны; сходства между ними почти нет. Кизил-кобинские памятники предгорий синкретичны, включают в себя элементы группы II и группы IV. Сходен с кизил-кобинским погребальный обряд четвертой группы, но он содержит в себе и элементы группы I (Ольховский. 1982. С. 73–77).

Попытка этнической идентификации выделенных групп, как это чаще всего и бывает, оказалась безуспешной. Если степные крымские памятники, идентичные памятникам степного Северного Причерноморья, можно считать скифскими в широком и достаточно условном понимании этого этнонима, то какая из трех оставшихся групп соответствовала историческим таврам — неясно.

Как известно, кизил-кобинская археологическая культура была выделена в 20-х гг. Г. А. Бонч-Осмаловским (Бонч-Осмаловский. 1926. С. 91–94).

К этой культуре он отнес поселения с лепной лощеной и рельефной керамикой и каменные ящики, т. н. мегалиты, где также была найдена такая керамика. По мнению Г. А. Бонч-Осмаловского, эта культура могла принадлежать ранним таврам. Поскольку никакого иного народа античная литературная традиция в Крымских горах не знала, принадлежность этой культуры ранним таврам казалась естественной и была принята большинством исследователей (Репников. 1927; Дашевская. 1958; Шульц. 1959; Лесков. 1965; Граков. 1971).

Между тем уже на первом этапе изучения кизил-кобинской культуры было замечено несоответствие характеристики тавров письменных источников археологическому контексту, из которого следовало, что племена, оставившие памятники этой культуры, имели развитое хозяйство (Дьяков. 1940. С. 84; Крис. 1971. С. 160–163; Щепинский. 1969. С. 249; 1971. С. 232). Появлялась возможность поиска иного, отличного от тавров, этноса.

По мере накопления материала становилось очевидно, что признаки, характерные для кизил-кобинской культуры, прежде всего чернолощенная керамика с резным и гребенчатым орнаментом, не ограничиваются только горным и предгорным Крымом, но встречаются и в равнинном Крыму и даже за пределами полуострова (Троицкая. 1957; Щепинский. 1987).

Две археологические культуры и соответственно два этноса — тавров и кизил-кобинцев — выделил в предгорном Крыму А. А. Щепинский (Щепинский. 1987. С. 57–77). И кизил-кобинцы, и тавры жили на одной территории и одновременно, иногда даже памятники их располагались рядом. Таврская культура характеризуется каменными ящиками гор и предгорий, а также поселениями с керамикой, украшенной валиками и налечами. Кизил-кобинская культура представлена поселениями с керамикой, украшенной резным и гребенчатым орнаментом: по А. А. Щепинскому, памятников этой культуры известно около 200. Они подразделяются на городища с естественной или искусственной защитой, крупные земледельческие поселки, деревни, хутора, стоянки, загоны для скота и святилища; погребения этой культуры — подкурганые, совершались в ямах или подбойных могилах с западной ориентацией вытянутых костяков (Щепинский. 1987. С. 63–83). Ареал кизил-кобинской культуры частично совпадает с ареалом таврской, но занимает территорию всего Крыма и выходит за его пределы (Щепинский. 1987. С. 84–94. Рис. 24).

Две археологические культуры и соответственно две этнически различные группы населения — тавров и кизил-кобинцев — в стране горного Крыма выделяет Х. И. Крис. Она пришла к заключению, что мегалитические памятники южного берега и Главной гряды Крымских гор принадлежат таврам, область расселения кизил-кобинцев — крымские предгорья, где они оставили поселения и каменные ящики (Крис. 1981. С. 55–56).

Обе концепции очень близки и одинаково порождают целый ряд новых вопросов, не разъясняя старых. Новые материалы, добытые в последние годы, полностью опровергают предположения обоих авторов, не оставляя сомнений в том, что выделение двух культур и соответственно двух этносов в предгорном и горном Крыму не обосновано (Колотухин. 1987. С. 6–27).

Нельзя не согласиться с А. Н. Щегловым, который не видит достаточных оснований для выделения в Крыму «третьей» и «четвертой» культур варварского населения. На территории Крымского полуострова фиксируется только северопричерноморская степная культура кочевников и культура памятников кизил-кобинского типа с локальными ее вариантами или хронологическими этапами, этническое содержание этой последней культуры не имеет пока удовлетворительного объяснения (Щеглов. 1988. С. 70). Если принять гипотезу А. Н. Щеглова о соответствии кизил-кобинской культуры двум хозяйственно-культурным типам — горному земледельческо-скотоводческому и степному «скифоидному» кочевому или полукочевому, то это в какой-то мере объясняет присутствие отдельных элементов кизил-кобинской культуры в степных крымских памятниках. К этому только следует добавить, что процесс смешения степной скифской культуры и степного варианта кизил-кобинской культуры начался гораздо раньше, чем предполагалось до сих пор и, разумеется, ранее того, когда этот процесс оказался зафиксирован античной литературной традицией

Крымский полуостров вообще, а главным образом — его степная часть, представляет собой одну большую контактную зону, где, начиная с VII в. до н. э. интенсивно проходили процессы обмена культурными традициями. Именно поэтому крымские памятники с таким трудом поддаются группировке.

Археологические памятники Северо-Западного Крыма позволяют с большой долей уверенности утверждать, что в VI–V вв. до н. э. оседлого населения здесь не было. Памятники кочевников представлены исключительно погребениями в курганах, и хотя количество исследованных памятников пока невелико, специфические особенности этой группы памятников проступают достаточно отчетливо (Дашевская. 1971. С. 151–155; 1981. С. 218–225; Ольховский. 1982. С. 61–69).

В данный момент менее важно, как и сколько хозяйственно-культурных типов следует выделять на материалах памятников крымских степей, гор и предгорий. Как видно из всего изложенного выше, эти вопросы далеки от своего разрешения. Гораздо важнее иное, а именно — сам факт существования различных в культурном и хозяйственном отношении групп туземного населения в областях расселения эллинов в пределах Западного Крыма: в юго-западной Таврике греческие поселенцы столкнулись с горными полусоседскими и оседлыми племенами, в то время как в северо-западной — с кочевниками. Несомненно, что специфические особенности туземного

населения Таврики не могли не отразиться на процессе колонизации и на взаимоотношениях колонистов с аборигенами.

3. Греки и варвары в Юго-Западном Крыму

3.1. Особенности греческой колонизации Юго-Западного Крыма

Существующие ныне представления о процессе и характере заселения эллинами Юго-Западного Крыма полностью находятся в рамках т. н. дорийской модели колонизации (Щеглов. 1986; 1994; Виноградов, Щеглов. 1990). Суть модели сводится к насильственному внедрению дорийских колонистов на какую-либо территорию, захвату земель, занятых местными жителями, и обязательному подчинению последних с установлением одной из форм зависимости от гражданской общины.¹

Спору нет, многочисленные примеры внедрения дорийских гражданских коллективов в среду местных жителей и их взаимоотношения демонстрируют за редким исключением именно такой путь освоения новых территорий (см., например: Виноградов, Щеглов. 1990). Однако при этом следует иметь в виду, что сама схема или модель дорийской колонизации могла возникнуть и возникла исключительно из анализа письменных источников, но на археологическом материале еще ни разу не была продемонстрирована. Не опираясь на конкретный археологический материал, модель, естественно, не учитывает особенностей становления и развития дорийских общин на новых территориях.

С другой стороны, существует опасность и другого рода: модель изначально может задавать направление в осмыслении и интерпретации археологических материалов, которые «подгоняются» под готовую историческую конструкцию, лишь ее иллюстрируя. При этом неизбежно факты оказываются упрощенными, противоречия между ними сглаживаются или не учитываются вовсе.

Добавим к этому также и то, что целый ряд пассажей, содержащихся в письменных источниках и положенных в основу модели, не может быть интерпретирован однозначно, и это естественным образом приводит исследователей к различным выводам (ср.: Фролов. 1981; Свенцицкая. 1967; Сап-рыкин. 1986. С. 30–35). Важно при этом подчеркнуть, что все эти сведения

¹ О дорийской модели см.: дискуссия на симпозиуме «Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации» // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981. С. 273–291; Щеглов А. Н. 1986. С. 174–176; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 369 сл.; Фролов. 1981. С. 29. Библ.

не относятся к деятельности дорийцев в Юго-Западном Крыму и могут привлекаться в качестве аналогий лишь с известными оговорками.

Попытаемся взглянуть на ход колонизационной деятельности эллинов в этом районе Крымского полуострова, не ограничиваясь рамками моделей.

3.2. Проблема основания Херсонеса

Среди современных исследователей до недавнего времени меньше всего сомнений вызывал вопрос о времени основания Херсонеса. Согласно гипотезе А. И. Тюменева, развившейся из замечания немецкого ученого Г. Шнайдервирта, событие это скорей всего могло случиться в 422/421 г. до н. э. (Schneiderwirth. 1887. S. 5; Тюменев. 1938). Предложенная дата получила признание в отечественной и зарубежной историографии, хотя никогда и не подвергалась критике. Между тем, несмотря на всеобщее признание, основание города Херсонеса в последней четверти V в. до н. э. остается все же гипотезой (Щеглов. 1976. С. 13).

Дискуссионным оставался вопрос о существовании на месте дорийского Херсонеса более раннего поселения. Наличие в культурных слоях города материалов более ранних, чем последняя четверть V в. до н. э., заставляло предполагать существование на берегу Карантинной бухты раннего ионийского поселения — фактории или морской станции (Ростовцев. 1918. С. 89; Гриневич. 1927. С. 21), торговой фактории (Блаватский. 1949. С. 145; Желобев. 1953. С. 77, 80) или временной якорной стоянки (Стржелецкий. 1959. С. 68; Зедгенидзе. 1979. С. 30).

Исследования в восточной части Херсонесского городища, проводившиеся в последние десятилетия (Золотарев. 1986; 1986а; 1988), а также ревизия и анализ ранних материалов некрополя Херсонеса (Монахов, Абрисимов. 1993) ставят существование раннего поселения на месте дорийского Херсонеса на твердую почву неоспоримых фактов. Археологические материалы более древние, нежели последняя четверть V в. до н. э. инициировали попытку пересмотра и источников исторических, результатом которой явилась гипотеза об основании Херсонеса гераклеотами, делосцами и ионийцами не в последней четверти V в. до н. э., а столетием ранее, точнее в 528/527 гг. до н. э. (Виноградов, Золотарев. 1998. С. 36–46; 1999. С. 91–129). В основе гипотезы лежит интерпретация серии остраконов из Херсонеса, датированных авторами временем от конца VI до конца V в. до н. э. (Виноградов, Золотарев. 1990. С. 48–74; Vinogradov, Zolotarev. 1990. С. 85). Поскольку в таврической апойкии на протяжении всего V в. до н. э. «в политической жизни безо всякого перерыва регулярно применялась одна из самых радикальных мер греческой демократии — остракизм», следует считать установленным не только наличие полиса и соответствующих полисных институтов, но и на протяжении всего этого времени демократической фор-

мы правления. Дело за малым — остается только найти этот полис на территории Херсонесского городища.

Из поля зрения авторов, сосредоточивших основное внимание на разборе эпиграфических, нарративных и литературных источников, как-то само собой выпали источники археологические. Откровенно говоря, весьма поверхностная проработка этого важнейшего и даже, пожалуй, решающего источника в очередной раз свелась к превращению его в иллюстрацию построений, полученных при работе с источником историческим. А напрасно.

Если брать за точку отсчета начало херсонесского полиса 528/527 гг. до н. э., то неизбежно придется искать объяснения целому ряду противоречий. Нет никаких следов строительных остатков существовавшего более столетия полиса, и только в конце V в. до н. э. жители таврической апойкии начинают строить загадочные полуземляночные жилища, коих к настоящему времени открыто тоже не очень много — чуть более десятка (Золотарев. 1998. С. 29–32).

Две-три сотни черепков, относящихся к концу VI — первой половине V в. до н. э. (часть из них может быть датирована и более поздним временем), несопоставимы с десятками тысяч керамических обломков из синхронных слоев даже таких сравнительно небольших центров, как Керкениотида или Мирмекий, уже не говоря об Ольвии, Пантикапее или Фанагории. Эти несколько сотен обломков, накопившихся за более чем столетний период существования города (с последней четверти VI в. до н. э. по конец V в. до н. э.) на берегу Карантинной бухты, фиксируют мизерное и скорее всего эпизодическое поступление импортных товаров.

Если отвлечься от цепочки допущений и основанных на них предположений, неизбежных при интерпретации источников исторических, оставаясь при этом на твердой почве археологических реалий, то необходимость сопоставления материалов из Херсонеса с синхронными материалами других памятников в Северном Причерноморье станет очевидной. Самые первые поверхностные прикидки в этом направлении заставляют признать керамический комплекс архаического времени из Херсонеса совершенно необычным. Прежде всего это касается соотношения групп керамики в керамическом комплексе — находки ионийской полосатой керамики «представлены обломками нескольких сотен» фрагментов, а находки амфор — «многими десятками» (Виноградов, Золотарев. 1998. С. 36). На любом синхронном архаическом памятнике соотношение окажется обратным — как известно, доля амфор обычно составляет от 70 до 90%.

Невозможно объяснить полное отсутствие монетных находок этого времени — невероятно, чтобы за все годы исследования Херсонесского городища не было найдено ни одного экземпляра хотя бы иногородних монет (Гилевич. 1968). Правда, справедливости ради следует указать на находки

двух ольвийских ассов, которые, впрочем, датируются второй половиной V в. до н. э. и не заполняют имеющуюся лакуну.

Поскольку на протяжении всего пятого столетия безо всякого перерыва регулярно применялся ostracism, непонятно, что произошло с демократией на рубеже V–IV вв. до н. э. Судя по всему, позднее в полисе уже не возникает никаких политических коллизий, разрешение которых требовало бы процедуры ostracism, столь любимой при жизни почти четырех поколений. Более того, даже память об этой традиции совершенно стерлась у жителей города.

Без ответа остается множество вопросов, среди которых на первое место мы должны поставить вопрос о том, почему же новый полис не получил развития в противоположность другим северопрichernоморским апойкиям, а так и оставался в зачаточном состоянии на протяжении более столетия. Он не испытывал постоянного и мощного давления со стороны степных варваров, подобно Ольвии или Керкениде.

Как бы там ни было, но действительные перемены как в самом Херсонесе, так и во всем Юго-Западном Крыму наступают только в IV в. до н. э.

3.3. Ближняя округа Херсонеса

О первых десятилетиях существования города данных почти нет. Возможно, что уже в первой четверти IV в. до н. э. Херсонес каким-то образом участвует на стороне Гераклеи в войне за Феодосию (Золотарев. 1984. С. 82–92) или, по меньшей мере, служит опорным пунктом гераклеотов на крымском побережье (Сапрыкин. 1986. С. 74, 83). Судя по всему, Херсонес в это время занимал ту же территорию, что и более раннее дохерсонесское поселение — в северо-восточной части возвышенности, вытянутой с северо-запада на северо-восток. С юга возвышенность ограничивалась глубокой балкой или существовавшим в древности заливом Карантинной бухты (Бертье-Делагард. 1907. С. 124. Табл. II), а с северо-запада и запада — обширной западиной, занятой некрополем, который в конце IV в. до н. э. был застроен жилыми кварталами. Таким образом, даже с прибытием новых поселенцев в последней четверти V в. до н. э. территория поселения не увеличилась.

К середине IV в. до н. э. город все еще занимал небольшую площадь: разные исследователи оценивают ее по-разному — от 10–11 га (Беляев. 1984. С. 49) до 15 (Стржелецкий. 1959. С. 69) и даже 20 га (Щеглов. 1976. С. 14). Несмотря на разницу в оценках, отметим, что границы города этого времени надежно фиксируются расположением погребений некрополя и местами керамических свалок (Беляев. 1984. Табл. VII; Зедгенидзе. 1979. С. 30–31).

О ранней сельскохозяйственной территории города, а таковая, по-видимому, должна была существовать, сведений нет. Можно лишь предположить, что она находилась скорее всего где-то вблизи города. Попытки рас-

смаatrивать так называемый поселок виноделов и остатки могильника, обследованные С. Ф. Стржелецким в верховьях Карантинной бухты (Стржелецкий. 1948а. С. 51) в качестве памятников ранней хоры города (Щеглов. 1986. С. 156; 1981. С. 212), явно неудачны и должны быть оставлены, поскольку весь комплекс материалов, за исключением единственного и, очевидно, случайно попавшего обломка краснофигурного сосуда, датируется эллинистическим временем.

Первые неоспоримые и наиболее ранние следы деятельности по устройству сельскохозяйственной территории фиксируются на Маячном полуострове в 9 км к юго-западу от Херсонесского городища. Это глубоко вдающийся в море трапезиевидной формы полуостров, соединяющийся с материком (Гераклейским полуостровом) узким перешейком. Площадь Маячного полуострова в современном виде без учета прошедшей за тысячелетия абразии берега составляет около 380 га. Надо полагать, что в древности его площадь была несколько больше. По данным А. Н. Щеглова, она составляла не менее 470–480 га, которые были поделены на 110 наделов по 4,41 га каждый (Щеглов. 1993. С. 33). На площади полуострова в начале нашего столетия Н. М. Печенкиным было зафиксировано около сотни мест, которые он считал развалинами усадеб (Печенкин. 1911; ср.: Стржелецкий. 1961. С. 30–32). Именно Маячный полуостров, размежеванный на наделы, и рассматривается обычно в качестве ранней сельской территории Херсонеса (Стржелецкий. 1961. С. 157; Яйленко, 1982. С. 127 и сл.; Сапрыкин. 1986. С. 61; Щеглов. 1986. С. 158–159).

От обрывистого морского побережья до верховий Казачьей бухты полуостров перегораживают две крепостные стены, расположенные почти параллельно друг другу. Наружная стена, обращенная в сторону Гераклейского полуострова, толщиной 2,75 м была укреплен 10-ю оборонительными башнями; внутренняя, более тонкая, толщиной 1,75 м, имела 12 башен, обращенных в сторону Маячного полуострова (Стржелецкий. 1959. С. 72). По заключению такого знатока херсонесской фортификации, каким был Л. Бертье-Делагард, кладка стен выполнена из не крупного штучного камня без раствора, «подобная древняя кладка нигде в Херсонесе не зафиксирована» (Бертье-Делагард. 1907. С. 195).

Оборонительные стены отстоят друг от друга на расстоянии 200–210 м, пространство, заключенное между ними (площадью около 18 га), было занято жилой застройкой, которая, однако, судя по шурфовке Н. М. Печенкина, отсутствовала в более возвышенной западной части (Печенкин. 1911. Л. 9). Въезд на поселение был фланкирован оборонительными башнями. У одной из башен — первой со стороны моря — во время работ в 1890 г. К. К. Косцюшко-Валюжиничем был открыт небольшой храмик, посвященный Дионису (Стржелецкий. 1948б. С. 97–106).

Как размежевка площади Маячного полуострова, так и закладка крепостных стен были осуществлены одновременно, поскольку дороги, разделяющие наделы, непосредственно связаны с воротами внутренней крепостной стены (Стржелецкий. 1961. С. 30). Таким образом, и наделы, и укрепление на перешейке составляли единую пространственную и строительную структуру (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 317; Щеглов. 1993. С. 11).

Уже неоднократно отмечалось, что среди материалов Гераклеяского полуострова наиболее ранняя группа связана с Маячным полуостровом (Стржелецкий. 1961; Щеглов. 1986. С. 160; 1981. С. 213). Анализ всей совокупности датирующих находок с территории Гераклеяского полуострова, включая и материалы Маячного, предпринятый недавно Е. Я. Туровским, однозначно подтверждает эти наблюдения (Туровский. 1995). Этим автором отмечается, что многочисленные фрагменты чернолаковых сосудов (отдельные экземпляры датируются еще первой четвертью IV в. до н. э.) составляют специфику памятников Маячного полуострова. Обломки чернолаковых сосудов второй и третьей четвертей IV в. до н. э. составляют уже массовый керамический материал. На остальной территории Гераклеяского полуострова лишь единичные фрагменты чернолаковых сосудов могут быть датированы временем не ранее середины IV в. до н. э.; основной массив обломков сосудов этой категории датируется не раньше последней четверти IV в. до н. э. — первой трети III в. до н. э.

Абсолютно адекватно эта картина отражена и в других категориях датирующих находок. Так, гераклеяские клейма 2 и 3 групп, синопские клейма 1 и 2 групп, фасосские 1 группы встречены только на усадьбах Маячного полуострова, в то время как на остальной территории Гераклеяского полуострова ни одного амфорного синопского клейма на ручках 1 и 2 групп не известно, фасосские клейма встречаются только 3 и 4 групп. И это при том, что усадьбы Гераклеяского полуострова изучены намного лучше. Целый ряд типов ранних амфор — хиосские колпачковые, гераклеяские, синопские, фасосские биконические, херсонесские типа 1-А-1 не встречаются на усадьбах остальной территории Гераклеяского полуострова, а известны только с территории Маячного.

Все это надежно обосновывает дату проведения работ по строительству укрепления на перешейке и размежевке наделов на Маячном полуострове — вторая четверть IV в. до н. э., возможно даже говорить о начале второй четверти IV в. до н. э. (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 317). Сравнительный анализ материала приводит к выводу, что усадьбы на Маячном полуострове возникают на 40–50 лет раньше, чем усадьбы на остальной территории Гераклеяского полуострова (Туровский. 1995. С. 80).

Место укрепления на перешейке Маячного полуострова довольно точно указано Страбоном (Strabo., VII,4,2), который называет его Старым Хер-

сонесом, т. е. это не рядовое поселение, а именно город — старый, древний город. Название, сохранившееся в пассаже географа, прочно вошло в археологическую литературу — Старый, или Страбонов Херсонес. Если географические сведения относительно укрепления на перешейке Маячного полуострова довольно точны и ясно его название, то все, что касается назначения поселения, его статуса, оставляет простор для самых разных предположений.

Исходя из того, что двойная линия крепостных стен защищала наделы, расположенные на Маячном полуострове, укрепление рассматривается как убежище для владельцев клеров на случай опасности (Сапрыкин. 1986. С. 63; Жеребцов. 1985). Одной из безымянных малых крепостей Херсонеса, упомянутых в херсонесской присяге (TEIXN), считал Страбонов Херсонес Э. Р. Штерн (Штерн. 1908. С. 40), против чего резонно и аргументированно возражал А. Л. Бертье-Делагард (Бертье-Делагард. 1907. С. 190). После работ 1910–1911 гг. Н. М. Печенкин пришел к заключению, что Страбонов Херсонес — это военно-сельскохозяйственное поселение херсонесцев (Печенкин. 1911. Л. 15). Эту точку зрения в последнее время развивает А. Н. Щеглов (Щеглов. 1986. С. 158; 1984. С. 54–55). Страбонов Херсонес предлагается трактовать как первое военно-хозяйственное поселение херсонесцев, форпост, выдвинутый на западную оконечность Гераклеяского полуострова с целью приобретения стратегической позиции для захвата всего Гераклеяского полуострова, что, по мнению авторов, и произошло около середины IV в. до н. э. (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 318, 320 и сл.). Что касается даты захвата полуострова, то, как мы видели выше, она не находит опоры в массовом керамическом материале. Напомним еще раз, что укрепление на перешейке Маячного полуострова не просто безымянная крепостца, а совершенно определенно город, называемый Страбоном Херсонесом, хоть и лежащий в развалинах, а потому нет необходимости ставить его в один ряд с безымянными укреплениями. Ни с одним из них, хорошо известных в Северо-Западном Крыму и отождествляемых с TEIXN херсонесской присяги, у этого укрепления нет признаков типологического сходства. Это единственное, уникальное укрепление, выпадающее из ряда стандартизованных укрепленных поселений херсонесской хоры.

Теперь о стратегической позиции. Как на планах, так и на местности хорошо видно, что основное назначение укрепления на перешейке — это не только защита Маячного полуострова, но, главным образом, того пространства, которое заключено между оборонительными стенами (Гайдукевич. 1949а. С. 142 и сл.). Трудно назвать стратегически выгодной для контроля за всем Гераклеяским полуостровом позицию, если он располагается в самом западном, наиболее удаленном углу Гераклеяского полуострова, откуда невозможно ни контролировать потенциального неприятеля, ни воспре-

пятствовать его передвижениям по изрезанному глубокими балками плоскогорью. Совсем не случайно, видимо, при сплошной размежевке Гераклейского полуострова в последней четверти IV в. до н. э. был избран совершенно иной способ защиты территории — строительство укрепленных усадеб, а не выдвижение форпостов.

Нельзя не присоединиться к замечанию А. Н. Щеглова и Ю. Г. Виноградова по поводу существующих точек зрения на характер и назначение укрепления на Маячном полуострове: ни одна из них «не в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно объяснить ни необходимости организации специально защищенной хоры Херсонеса на значительном удалении от города, ни смысла строительства мощного укрепления в глубине (! — Е. Р.) Гераклейского полуострова (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 317).

Действительно, устройство хоры города на таком от него удалении — случай в античной практике беспрецедентный. Если даже исходить из соображения о стремлении надежно защитить укреплением поля граждан от враждебных варваров (Щеглов. 1986. С. 158), то наиболее уязвимым и беззащитным остается основной путь доставки продовольствия в город — девятикилометровая, ничем не защищенная дорога из Страбонова Херсонеса в Херсонес. Несомненно, что для того, чтобы пойти на выделение горожанам участков земли на таком удалении от города, нужны были совершенно необычные, веские и серьезные причины. Между тем даже такая важная причина, как боязнь соседних варваров, и та, как мы видели, критики не выдерживает.

Имеется и целый ряд других обстоятельств и противоречий. Прежде всего отметим достаточно продолжительный, а в рамках насыщенного событиями IV в. до н. э. и просто большой хронологический разрыв между возникновением наделов, укрепления на Маячном полуострове и началом размежевки и строительством усадеб на Гераклейском полуострове. Эти события отделены друг от друга почти половиной столетия. Уже само по себе это не позволяет их ставить в зависимость одно от другого, тем более рассматривать как последовательные элементы некоего грандиозного плана по захвату Гераклейского полуострова (ср.: Виноградов, Щеглов. 1990. С. 320).

Заслуживает внимательного рассмотрения и сама возможность строительства херсонеситами укрепления на Маячном полуострове. Выше уже приводилось заключение А. Л. Бертье-Делагарда о древности кладок Маячного укрепления, не имеющих аналогов в самом Херсонесе. И хотя подобные кладки в городе как будто имеются (Щеглов. 1970. С. 173 и сл.), вопрос о наличии в Херсонесе оборонительных стен однозначно не решается. Отдельные фрагменты кладок, интерпретированные как остатки древнейшей оборонительной стены города, не только не указывают на единую оборонительную систему, но и не имеют твердых хронологических привязок. Таким

образом, вопрос о наличии в начале IV в. до н. э. монументальных оборонительных сооружений в Херсонесе остается открытым.

Если и далее продолжить этот ряд сопоставлений, то следует обратить внимание на площади, занимаемые Херсонесом и Маячным укреплением. Площадь Страбонова Херсонеса, т. е. то, что было заключено между двумя оборонительными стенами, составляла не менее 18 га (Щеглов. 1984. С. 54). Даже учитывая, что не все пространство было занято жилой застройкой, то и в этом случае площадь укрепления на Маячном полуострове вполне сопоставима с размерами самого Херсонеса первой половины IV в. до н. э.

Непросто понять, каким образом крошечный даже по меркам того времени полис, с явно ограниченными людскими ресурсами, мало заботясь о безопасности и благополучии собственного поселения, решился на возведение монументального укрепленного поселения городского типа на значительном от города расстоянии.

Уже обращалось внимание (Щеглов. 1975. С. 135; 1986. С. 157), что месторасположение Страбонова Херсонеса с редкой последовательностью сочетает в себе все необходимые требования к географической ситуации при выборе места для основания новой колонии: полуостровное положение, узкий перешеек, который удобно перегородить стеной, гавань и наличие плодородных земель. Что касается последнего условия, то заметим: именно Маячный полуостров отличается наиболее плодородными землями по сравнению со всем Гераклеϊским плато (Бабенчиков. 1941).

Вряд ли можно что-либо существенное возразить против того, что все признаки поселения городского типа у Страбонова Херсонеса выражены достаточно отчетливо. Надо полагать, что именно это обстоятельство и заставляло исследователей, начиная с К. К. Косцюшко-Валюжинича, считать развалины на перешейке Маячного полуострова остатками города (Косцюшко-Валюжинич. 1891. С. 61; Бертъе-Делагард. 1907. С. 177–201; Стржецкий. 1959. С. 71; Щеглов. 1975. С. 137). Любопытно, но только такая трактовка этого поселения наилучшим образом объясняет многочисленные противоречия. Быть может, настало время вернуться к идее А. Л. Бертъе-Делагарда об основании Херсонеса первоначально на перешейке Маячного полуострова (Бертъе-Делагард. 1886. С. 269–270; 1907. С. 180 сл.) и переносе его через несколько десятилетий на хорошо обжитое, как это теперь известно, место на берегу Карантинной бухты (Бертъе-Делагард. 1907. С. 200).¹

¹ А. А. Бертъе-Делагард относил это событие к 115–110 гг. до н. э. (Бертъе-Делагард. 1907. С. 200). Однако если такое событие и имело место, то скорее всего его следует относить ко времени вскоре после середины IV в. до н. э. Многочисленные примеры переноса вновь основанных колоний были приведены недавно Вонсович (Вонсович. 1994. С. 28–30).

Все еще актуальным остается и наблюдение, что в полном смысле Херсонесом, т. е. полуостровом, является именно Маячный полуостров, в то время как город на берегу Карантинной бухты располагается отнюдь не на полуострове (Бертье-Делагард. 1907. С. 190).

3.4. Греко-варварские отношения в Юго-Западном Крыму в V–IV вв. до н. э.

Между тем, как бы мы ни рассматривали возникновение Херсонеса в Юго-Западной Таврике — сразу у Карантинной бухты или сначала на перешейке Маячного полуострова — ясно, что не это определяет специфику колониационного процесса района. Согласно дорийской модели колонизации, особенность ее лежит в области отношений с местными жителями: как и каким путем проходило внедрение и утверждение новых поселенцев. Существуют ли какие-либо данные на этот счет?

Еще до начала обустройства хоры города на Гераклеяском полуострове, по гребню Сапун-горы, а также в Инкерманской и Балаклавской долинах возникает целая сеть варварских поселений, как бы окаймлявших Гераклеяский полуостров со стороны гор (Савеля. 1974. С. 238; 1975. С. 100–102). Судя по импортной керамике, этот процесс начинается не ранее второй четверти IV в. до н. э. (Савеля. 1979. С. 172–179). Вполне естественным было связать этот процесс появления варварских поселений по кромке Гераклеяского полуострова с какими-то мероприятиями херсонеситов по вытеснению варварского населения с самого Гераклеяского полуострова (Савеля. 1975. С. 101; Щеглов. 1981. С. 215; 1986. С. 162).

Действительно, на Гераклеяском полуострове зафиксировано более десятка поселений кизил-кобинской культуры (Стржелецкий. 1959. С. 66; Савеля. 1979. С. 171; Щеглов. 1981. С. 213), два из них существовали непосредственно на Маячном полуострове (рис. 10.2). Однако до сих пор неясно время прекращения жизни этих поселений, поскольку надежно датированных греческой керамикой комплексов на них не встречено (Савеля. 1979. С. 171). Остается в силе дилемма, намеченная в свое время О. Я. Савелей, — либо поселения исчезают в результате прямого давления общины херсонеситов, либо варварское население Гераклеяского полуострова резко сократилось незадолго до основания дорийского Херсонеса (Савеля. 1979. С. 171–172). В последнем случае это совпадает с прекращением существования в V в. до н. э. большинства поселений горного и предгорного Крыма и угасанием традиции хоронить умерших в каменных «мегалитах» (Крис. 1981. С. 56; 1989. С. 29 и сл.). И хотя веских аргументов в пользу той или иной альтернативы не высказано, обратить внимание на два косвенных замечания все же следует.

Сравнение лепной керамики кизил-кобинских поселений и керамики варварских поселений, возникших в IV в. до н. э. по гребню Сапун-горы, склонам Байдарской и Инкерманской долин, демонстрирует известную степень различия, а именно: в составе керамического комплекса поселений периферии Гераклейского полуострова, в Байдарской и Инкерманской долинах заметную долю наряду с керамикой, близкой к кизил-кобинской, составляет керамика степных типов, т. е. скифская. Это означает, что население поселков было смешанным, гетерогенным (Савеля. 1979. С. 173), в отличие от того, которое проживало на Гераклейском полуострове в более раннее время. Появление поселений со смешанной скифо-кизил-кобинской керамикой фиксируется в IV в. до н. э. не только по кромке Гераклейского полуострова, они открыты и на северной стороне Севастопольской бухты, а также вплоть до низовьев реки Бельбек (Савеля. 1975. С. 101). Подобные поселения появляются в это время и по склонам внешней гряды Крымских гор (Храпунов, Власов. 1994. С. 251 и сл.), в Восточном Крыму в районе Феодосии (Кругликова. 1975. С. 72–73). Таким образом, появление варварских поселений можно рассматривать и со стороны процессов, протекавших в среде туземных племен горного и предгорного Крыма, вне связи с деятельностью конкретного греческого полиса.

Между тем факт нахождения туземных поселений на границах Гераклейского полуострова все чаще становится археологической иллюстрацией агрессивной политики дорийских колонистов в Юго-Западном Крыму (Щеглов. 1986; Виноградов, Щеглов. 1990; Сапрыкин. 1986). Более того, население этих поселков считается эллинизированным зависимым или полузависимым, составлявшим часть структуры аграрной территории Херсонеса (Савеля. 1975. С. 102; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 319–320; Сапрыкин. 1986. С. 106). Как же обосновывается столь важное заключение?

Первооткрыватель и исследователь этих поселений О. Я. Савеля, первым сформулировавший тезис о зависимом характере поселений, аргументировал его так: «...размещение поселений свидетельствует об элементе принудительности в выборе мест для них, хотя некоторые экологические принципы расположения указанных поселений и соответствуют принципам выбора местоположения для кизил-кобинских и позднескифских поселений в Юго-Западном Крыму» (Савеля. 1975. С. 101; 1979. С. 172). Между тем совсем не очевидно, что при отсутствии какой-либо зависимости местоположение этих поселений было бы иным. Сомнения в доказательности аргумента явно не напрасны.

Подкрепление высказанного предположения находят в факте существования в Балаклавской долине типичных для хоры Херсонеса укрепленных сооружений. Однако господствующее над долиной положение этих укреплений может быть истолковано и как охрана этими укреплениями границ

хоры города от возможных варварских вторжений. Наконец, еще один аргумент, который приводится для обоснования зависимости варваров, проживавших по кромке Гераклейского полуострова (Щеглов. 1986. С. 163). Речь идет о заслугах Диофанта перед Херсонесом (IOSPE. I.352), в числе которых, согласно переводу В. В. Латышева, было подчинение окрестных тавров. Д. Пиппиди предложил исправление, меняющее смысл текста, — Диофантом были возвращены Херсонесу тавры-паройки (Pippidi. 1959. Р. 91, 93). Это небольшое исправление оказывается весьма важным, поскольку в случае его принятия оно прямо указывает на наличие у херсонеситов зависимого населения. Не вдаваясь в тонкости перевода, заметим, что все варварские поселения, о которых шла речь выше и с которыми связываются зависимые тавры-паройки, гибнут еще в конце первой трети III в. до н. э. одновременно с запустением Гераклейского полуострова и более уже не восстанавливаются. Даже если считать, что в декрете в честь Диофанта и упоминаются тавры-паройки, то надо полагать, совсем не те, что жили на поселениях по кромке Гераклейского полуострова столетием раньше, поскольку ко времени Диофанта их давно не существовало.

Таким образом, вряд ли можно сомневаться в декларативном характере утверждения о зависимости окрестных варваров от херсонесской общины; по крайней мере, очевидно, что аргументы, в основу которых положены археологические материалы, не свидетельствуют однозначно о существовании такой зависимости.

Наряду с этим не следует, по-видимому, отвергать саму принципиальную возможность развития отношений херсонеситов с окружающими варварами в этом направлении, но для ее обоснования нужно искать другие, более серьезные аргументы, имея в виду также и то, что складывание подобных отношений в Херсонесе могло иметь место только в весьма ограниченный временной промежуток — вторая половина IV — первая треть III в. до н. э. и что завершения этот процесс не мог получить, поскольку был прерван известными событиями в конце первой трети III в. до н. э.

Если имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют проследить отношения дорийских колонистов с местным населением, возможно ли в этом случае говорить об особой дорийской модели греческой колонизации Юго-Западного Крыма? Думается, что да, и материалов, на которые, утверждая это, можно опереться, все-таки достаточно. Сопоставление систем организации сельских территорий городов Боспора, Ольвии и Херсонеса не оставляет сомнений в резком своеобразии последнего. Своеобразие обустройства ближней хоры Херсонеса выражается в строгой сетке примерно равных по своей площади наделов, отделенных друг от друг магистральными дорогами, проложенными под прямым углом через всю площадь размежевки, в единстве строительных приемов и методов, а также в высокой

степени стандартизации. Все эти признаки прослеживаются не только на ближней хоре на Гераклеюском полуострове, но и в самом городе, распланированном в соответствии с принципами Гипподамовой системы.

Все основные компоненты системы организации ближней хоры города были применены с поправкой на своеобразие района и в процессе обустройства сельской территории в Северо-Западном Крыму. Именно в обустройстве, в строго регламентированной организации собственного местообитания, собственного жизненного пространства и проявляются своеобразные отличительные черты дорийской модели колонизации, именно это отличает единственный в Северном Причерноморье дорийский полис Херсонес от всех остальных греческих апоекий этого региона.

Что же касается способов внедрения дорийцев на новые территории и тем более отношений зависимости местных племен от греческих общин, в данном случае от общины херсонеситов, то средствами археологии эти вопросы, относящиеся к сфере социальных отношений, решить чрезвычайно трудно и едва ли вообще возможно.

3.5. Варвары и Херсонес: оценка степени взаимовлияний

Проблему взаимодействия херсонеситов с варварами Юго-Западного Крыма, а с образованием Херсонесского государства и всего Крымского полуострова, нельзя назвать новой. Давно и устойчиво она привлекает внимание исследователей Херсонеса. Эпиграфические документы, найденные в процессе раскопок города, подкрепляемые сведениями античной литературной традиции, рисуют сложную картину отношений Херсонеса и местных варваров уже после образования Малой Скифии в Крыму — эти сведения относятся к III—I вв. до н. э. Что же касается более раннего времени, то здесь единственными реальными показателями отношений и связей жителей города и его варварского окружения, в отсутствие эпиграфических и литературных источников, остаются только данные археологии.

Речь прежде всего должна идти о находках импортных вещей на варварских поселениях Юго-Западного Крыма, которые, скорее всего, в силу географической близости, могли попасть туда через Херсонес, и наоборот, анализ варварских вещей, найденных на территории Херсонесского городища, а также традиций, которые не могут быть объяснены и интерпретированы в рамках греческого культурного поля.

Мнимая простота задачи осложняется полным или почти полным отсутствием импортных античных вещей, по крайней мере, до начала IV в. до н. э. в горном Крыму, что уже отмечалось ранее. Обломки импортных сосудов VI–V вв. до н. э. в Юго-Западном Крыму единичны (Щеглов. 1981. С. 211), можно предположить, что они отражают какие-то эпизодические вялые кон-

контакты жителей раннего поселения на месте будущего Херсонеса с туземными племенами. Примечательно, что и на поселениях и в могильниках горного и предгорного Крыма ранний античный импорт полностью отсутствует. Картина постепенно меняется только в IV в. до н. э.¹

Судя по клеймам и обломкам амфор, уже в первой половине столетия в горный Крым начинает поступать в небольших количествах вино. Объем его поставок не идет ни в какое сравнение с теми объемами, какие направлялись в Скифию, однако центры-экспортеры представлены здесь все те же: Гераклея, Хиос, Фасос, Менде, Синопа, а после середины IV в. до н. э. и Херсонес. Иные категории импорта античной посуды встречаются значительно реже и только после середины IV в. до н. э. Этим, пожалуй, и ограничивается весь скудный репертуар импортных изделий, встречающихся на ближней к Херсонесу территории, заселенной варварами. Складывается впечатление, что последние медленно и с большим трудом втягивались в орбиту греко-варварских взаимоотношений.

Однако, как уже указывалось, у этой проблемы есть и вторая сторона — находки варварского облика на площади самого Херсонесского городища. К сожалению, с давних пор, точнее, начиная с 30-х гг., анализ материальных находок такого рода постоянно подменялся бесплодными попытками этнической атрибуции этих находок.

3.6. Варварские влияния в культуре античного Херсонеса

Находки лепной керамики и каменных орудий в большом количестве, как отмечал Г. Д. Белов, встречаются «в самой нижней части культурного слоя, лежавшего непосредственно на материковой скале» при раскопках 1935–1936 гг. на севере Херсонесского городища (Белов. 1948. С. 32). Это обстоятельство, а также интерпретация скорченных захоронений северного участка некрополя как принадлежавших таврам легли в основу утверждения о том, что Херсонес был основан на месте существовавшего до него таврского поселения, точнее, что «основание Херсонеса греками было по существу присоединением их к уже существовавшему туземному поселению» (Белов. 1948. С. 33). Этим утверждением Херсонес вводился в круг северопричерноморских полисов, основанных на местах туземных поселений в строгом соответствии с эмпориальной теорией, сформулированной В. Д. Блаватским (Блаватский. 1954. С. 7 и сл.).

¹ *Сенаторов С. Н.* Каталог таврских памятников IV–III вв. до н. э. и греческого керамического импорта VI–II вв. до н. э. в горном и предгорном Крыму. (Рукопись хранится у автора). С. Н. Сенаторов любезно ознакомил меня со своей работой, за что выражаю ему искреннюю признательность.

Последующая ревизия лепной керамики из раскопок Херсонеса показала, что, во-первых, количество ее, вопреки утверждениям, весьма невелико и, во-вторых, что она датируется временем не ранее основания Херсонеса (Савеля. 1970). Заметим, что в этих работах речь шла о лошенной керамике с гребенчатым орнаментом второго позднего типа, выделенного О. Д. Дашевской (Дашевская. 1963. С. 205 и сл.), которая безусловно связывается с культурой племен горного Крыма. Более ранней кизил-кобинской керамики с резным орнаментом в Херсонесе известно не было.

Лишь сравнительно недавно в процессе исследования северо-восточной части Херсонесского городища при разборке культурного слоя конца VI — первой половины V в. до н. э. были найдены обломки лепных чернолощенных кубков, украшенных орнаментом первого типа (Сенаторов. 1988. С. 100), который известен на лепной посуде VI в. до н. э. из других греческих городов (Кастанаян. 1981. С. 12–19; Марченко. 1988а. С. 87–88). Довольно высокий процент лепной керамики — около 11,7% от общего числа находок позволил поставить вопрос о наличии местных этнических элементов в составе населения древнейшего греческого поселения на берегу Карантинной бухты (Виноградов, Золотарев. 1990. С. 56). Как бы там ни было, но несомненно, что в это раннее время община эллинов на берегу Карантинной бухты так же, как и большая часть других северопричерноморских эллинских общин, не была закрытой по отношению к местному варварскому населению.

Известно, что памятники степных скифов проникают в междуречье Альмы и Качи еще в конце VI — V в. до н. э. (Ольховский. 1982. С. 76). Однако обломки посуды степных типов появляются в Херсонесе только в первой половине IV в. до н. э. Редко, но все же встречаются обломки подобной посуды и в более позднее время при раскопках самого Херсонесского городища, а также в редких случаях они входили в состав погребального инвентаря.¹ Однако в целом количество обломков как сосудов чернолощенных с гребенчатым орнаментом, так и посуды степного скифского облика чрезвычайно мало по отношению ко всем остальным категориям керамических сосудов. Подчеркнем особо, что в IV в. до н. э. лепная посуда представлена не только чернолощеными сосудами, но и образцами посуды скифского облика, точно так же, как и на варварских поселениях вблизи Херсонеса.

Теоретически можно допустить, что варварский компонент был выше на Гераклеиском полуострове, где варвары могли быть заняты обработкой наделов граждан и где в керамическом комплексе это должно было найти более четкое отражение. Однако и здесь керамический комплекс оказывается адекватным городскому. Судя по данным раскопок, особенно широко прово-

¹ Нам известны только 2 могилы, в состав погребального инвентаря которых входили лепные сосуды — 2348 и 7/1936, оба сосуда скифского степного типа.

дившихся в последние годы, лепная керамика составляет вместе с кухонной всего около 4%,¹ а в действительности, учитывая, что она считалась вместе с кухонной, процент ее еще ниже. Для сопоставления приведем данные по керамическому комплексу зданий У7 на хоре Херсонеса в Северо-Западном Крыму этого же времени. Здесь лепная керамика в керамическом комплексе составляет от 40 до 52%, на сельских поселениях хоры Ольвии — от 20 до 40% без учета амфор.²

Если же сравнивать долю лепной керамики в керамическом комплексе Херсонеса, Ольвии и Березани (в двух последних она составляет от 4 до 14% без учета амфор), то становится совершенно ясно, что как в Херсонесе, так и на его ближайшей округе доля лепной керамики была столь невелика, что вряд ли может рассматриваться как серьезное свидетельство наличия в составе населения города сколько-нибудь существенного варварского компонента.

3.7. Варварские компоненты в некрополе Херсонеса

Наше заключение резко контрастирует с все еще бытующими представлениями о присутствии в среде городского населения достаточно представительной прослойки варварского населения. В значительной степени эти представления опираются на материалы северного участка Херсонесского некрополя. Как отмечалось выше, Г. Д. Белов — автор раскопок этого участка — относил скорченные захоронения, открытые здесь, к погребениям тавров, а вытянутые — к погребениям греков и считал, что «местное население... пользовалось в начальную пору существования города равноправным положением», поскольку оба вида погребений находились на одном кладбище (Белов. 1938. С. 192; 1981. С. 178). На первый взгляд, вывод абсолютно логичен и единственно возможен, если исходить из указанных посылок, поскольку никаких данных для иной интерпретации различного положения костяков (скажем, об имущественном или социальном неравенстве) материалы некрополя не дают.

Варварскими, но, в отличие от Г. Д. Белова, не таврскими, а скифскими предлагала считать скорченные костяки С. И. Капошина (Капошина. 1941. С. 172). Однако с нею не согласился автор раскопок некрополя (Белов. 1948. С. 32. Примеч. 1), а вместе с ним и большинство исследователей (Тюменев. 1949; Пятышева. 1949; Шульц. 1959), которые вслед за Г. Д. Беловым считали скорченные погребения северного участка Херсонесского некр-

¹ Данные взяты из отчетов Гераклеийской экспедиции Херсонесского заповедника, хранящихся в архиве ИИМК РАН.

² Данные взяты из отчетов Тарханкутской и Нижнебугской экспедиций ИИМК РАН, хранящихся в архиве ИИМК РАН.

рополя таврскими. С. Ф. Стржелецкий, проводивший работы на некрополе в 1945 г., пришел к заключению, что весь этот участок является таврским (Стржелецкий. 1948. С. 95).

В противоположность этой точке зрения получила распространение и иная, впервые высказанная В. В. Лапиным (Лапин. 1966. С. 212 и сл.) и поддержанная В. И. Кадеевым (Кадеев. 1973. С. 108 и сл.), который выступил с критикой таврской принадлежности скорченных погребений. Они попытались интерпретировать эту группу захоронений как захоронения греков, что нашло поддержку со стороны некоторых ученых (Козуб. 1974. С. 21; Сапрыкин. 1986. С. 65).

Попытку перенести решение проблемы в социальную плоскость предпринял В. Д. Блаватский, который считал скорченные захоронения погребениями рабов, правда, тавров (Блаватский. 1953. С. 163). Близкую позицию в последние годы занимает В. М. Зубарь. Судя по всему, придя к выводу о невозможности однозначной атрибуции захоронений северного участка некрополя, этот исследователь считает, что скорченность после смерти является показателем зависимости человека при жизни, и склоняется к мысли, что погребенные в таком положении были домашними рабами и хоронились вместе со своими хозяевами (Зубарь. 1988. С. 52–54).

Не останавливаясь подробно на критическом разборе всех изложенных выше позиций, трудно все же удержаться от одного замечания по поводу последней. Если принять эту трактовку, то окажется, что во всем Северном Причерноморье домашние рабы были исключительно в Херсонесе. А поскольку, по заключению автора, скорченные захоронения рабов сопровождают вытянутые захоронения хозяев, то, надо полагать, наличие в доме домашних рабов автоматически должно было определять место захоронения их хозяев, и именно на северном городском кладбище.

Подводя итог краткой истории исследования вопроса о скорченных захоронениях северного участка Херсонесского некрополя, необходимо констатировать следующее: решение его с самого начала получило совершенно неоправданный крен в сторону выяснения этноса погребенных. Споры об этносе погребенных как в вытянутом, так и в скорченном положении все больше приобретают схоластический характер, напоминая спор Остапа Бендера с ксендзами в известном романе И. Ильфа и Е. Петрова, что со всей очевидностью свидетельствует, что в такой постановке вопроса и в рамках тех знаний, которыми мы располагаем, проблема решения не имеет.

Наше заключение основывается также и на том, что все высказанные по этой проблеме точки зрения опираются на одну и ту же сумму фактов, причем без детальной и глубокой их проработки. Чтобы приблизиться к пониманию характера северного участка некрополя Херсонеса в создавшейся ситуации, необходимо прежде всего вернуться к анализу самого исходного

материала — погребений и сопровождающего их инвентаря, сопоставить его со всеми участками городского некрополя этого времени, устраняя при этом наметившуюся тенденцию, отмеченную А. А. Зедгенидзе и О. Я. Савелей, о формировании представлений о всем городском некрополе на материалах лишь одного из участков (Зедгенидзе, Савеля. 1981. С. 191).

Как известно, массовые захоронения на северном берегу Херсонесского городища были обнаружены Г. Д. Беловым в 1935–1936 гг. в процессе исследования эллинистических и средневековых кварталов города. Отдельные находки, связанные с некрополем, а также и сами погребения попадались в этом районе и ранее (IOSPE, I², 463; Белов. 1972).

Работы Г. Д. Белова и С. Ф. Стржелецкого в основном выявили границы участка с захоронениями: погребения располагались к западу от VIII поперечной улицы, наиболее высокая концентрация их отмечалась между VIII и X поперечными улицами. Наряду с этим отмечается, что далеко к ЮЗ погребения не распространяются (Белов, Стржелецкий. 1953. С. 33). В последней своей работе по северному участку Г. Д. Белов оперировал массивом из 160 погребений, найденных в этом районе (Белов. 1981. С. 164), однако в публикациях и отчетах содержатся сведения лишь о 140 погребениях, которые обычно и привлекаются для характеристики участка, вероятно, какая-то часть могил, которые учитывались Г. Д. Беловым, остается недоступной.

В отличие от других участков Херсонесского некрополя, на северном берегу зафиксированы только простые грунтовые ямы для совершения погребений, очень редко борта ям облицовывались камнем. Ямы, как правило, впускались в насыпной культурный слой и иногда доводились до скалы, реже дно ям было заглублено в скалу. Поскольку большинство ям было впущено в культурный слой, размеры их проследить не удавалось, но, судя по нижним частям ям, заглубленных в скалу, они были обычных размеров. Важнее было бы проследить глубины ям, точнее, уровни, с которых они были впущены, что дало бы возможность стратифицировать погребения, но из-за сильной нарушенности свиты культурных напластований это было невозможно.

Умерших помещали в могилы без гробов, нередко на подсыпку из золы, угля или морской гальки. В двух могилах найдены гвозди, что привело к утверждению о наличии в могилах гробов (Белов. 1981. С. 166; Зедгенидзе, Савеля. 1981. С. 203); между тем это не единственно возможная интерпретация находок гвоздей в могилах, гвозди, скорее всего, были не от гробов, а от деревянных перекрытий. Наличие перекрытий над могилами подтверждается целым рядом наблюдений.¹

¹ В могилах 36/1936, 30/1937, 73/1936, 3/1945 и др. погребения были совершены на спине с коленями, поднятыми вверх. При захоронении в такой позе ноги после разложения связок падают либо в одну, либо в другую сторону, иногда — одна нога

Необычным, что, собственно, и привело к многочисленным дискуссиям, является на этом участке положение костяков в могилах. Наряду с вытянутыми захоронениями в могилах довольно часто встречаются захоронения в скорченном положении, последние составляют по подсчетам исследователей около 40% (Белов. 1938. С. 199; Зедгенидзе, Савеля. 1981. С. 195).

Анализ отчетов и проверка описаний погребений по генеральному плану раскопок 1936 г., хранящемуся в ИИМК РАН, приводят к заключению, что в свое время Г. Д. Беловым, а вслед за ним и другими авторами в подсчеты необоснованно введена значительная группа погребений, положение костяков в которой не может быть истолковано однозначно. Это касается как скорченных, так и вытянутых погребений. Попытку определить некоторые погребения как предположительно скорченные или как «погребения с элементами скорченности» нельзя признать приемлемой. Совершенно не ясны и полностью субъективны основания для отнесения того или иного плохо сохранившегося погребения в определенный разряд, поскольку совершенно непонятно, чем же погребения с «элементами скорченности» отличаются от погребений с «элементами вытянутости». Для устранения путаницы все плохо сохранившиеся погребения должны быть отнесены к группе погребений с недостаточными данными и выведены из подсчетов. Результаты подсчетов показывают, что в процентном отношении скорченные погребения составляют только 23%, т. е. почти вдвое меньше, чем считалось ранее.

Г. Д. Беловым показано устойчивое преобладание ориентировки погребений восточного румба для всего северного участка. Этот вывод подтверждается полностью. Подтверждается и другой его вывод о близости ориентировки скорченных и вытянутых захоронений: доля погребений ориентированных в восточном направлении среди первых составляет 72,5%, а среди вторых 84,2%. Полученная картина не должна заслонять небольшие, но все же имеющиеся различия. Так, количество костяков, ориентированных **не** в восточном направлении, среди скорченных почти вдвое выше (27,1%), чем среди вытянутых захоронений (15,2%). Если не учитывать при этом детские амфорные захоронения, то соотношение получается еще более показательным — 27,1 : 9,9%, т. е. доля скорченных с не-восточной ориентировкой превышает долю соответствующих вытянутых почти втрое. Это различие выражено вполне определенно и свидетельствует, думается, о меньшей устойчивости ориентировки именно скорченных захоронений.

Уже неоднократно отмечалось, что городской некрополь Херсонеса в целом и северный его участок в частности заметно отличается от одновременных некрополей других городов Северного Причерноморья бедным, мало-

в одну сторону могилы, другая в другую. Однако возможно это только в том случае, если могила не засыпана землей, а имеет перекрытие.

численным и редко встречающимся инвентарем (Белов. 1981. С. 171). Наблюдения показывают, что погребальный инвентарь на северном участке некрополя имели только 22,2% захоронений; чаще сопровождался инвентарем детские погребения (36,6%). Если не учитывать детские амфорные могилы, то только 24,6% вытянутых и 16,6% скорченных захоронений сопровождался каким-либо погребальным инвентарем. Это означает, что вещи при погребениях встречаются редко как в одном, так и в другом случае, но все же вытянутые захоронения сопровождался инвентарем несколько чаще.

Состав погребального инвентаря и его размещение в могилах подробно характеризовались в различных работах (Белов. 1938; 1948; 1981; Зедгендзе, Савеля. 1981), поэтому нет необходимости останавливаться на этом специально, ограничимся лишь несколькими замечаниями. Анализ погребального инвентаря показывает отсутствие серьезных различий как по количеству предметов, так и по их составу между погребениями, совершенными вытянуто, и погребениями скорченными. Всюду инвентарь одинаково беден. В отличие от других участков некрополя, на северном берегу в могилах совершенно отсутствуют лекифы и, хотя на других делянках городского кладбища эти сосуды для масла встречаются тоже не столь уж часто, полное их отсутствие здесь вызывает удивление. Для сравнения напомним, что в некрополе, например, Пантикапея этого же времени было найдено более трех сотен лекифов. Отметим и еще одну деталь погребального инвентаря: в могилы на северном участке, как, впрочем, и во всем некрополе города, никогда не ставили амфор в качестве сопровождающего умерших инвентаря.

В первой публикации материалов некрополя Г. Д. Белов датировал северный участок концом V — первой половиной IV в. до н. э. (Белов. 1938. С. 194). Позднее, очевидно, под влиянием датировки С. Ф. Стржелецкого, предложившего для участка дату середина IV — начало III в. до н. э. (Стржелецкий. 1948. С. 93), он отодвинул верхнюю границу к концу IV в. до н. э. (Белов. 1981. С. 177). Корректив, внесенный Г. Д. Беловым, как видим, не коснулся нижней границы, хотя основания для пересмотра датировки имелись и в то время. В принципе, датировка Г. Д. Белова является общепризнанной, хотя и никогда не подвергалась проверке.

Анализ погребального инвентаря позволяет утверждать, что северный участок содержит два пласта погребений — ранний и поздний, причем погребения раннего пласта датируются еще первой половиной — серединой V в. до н. э., т. е. временем, предшествующим принятой дате основания дорийского Херсонеса. Не может быть никаких сомнений о связи ранних погребений с поселением, существовавшим на берегу Карантинной бухты до 422/421 г. до н. э. (Монахов, Абросимов. 1993. С. 140 и сл.). Однако для нас сейчас гораздо важнее второй, поздний, пласт погребений, принадлежащий

городу гераклеотов. Заметим сразу, что весь комплекс материалов из могил этого периода не выходит за пределы IV в. до н. э. При этом верхняя хронологическая граница надежно фиксируется жилой застройкой последней четверти — конца IV в. до н. э.: именно в это время на площади бывшего некрополя начинают возводиться жилые кварталы.

До сих пор не уделялось должного внимания стратиграфии этого участка. Как известно, северный некрополь располагался в обширной низине, заполненной мусорными напластованиями. Г. Д. Белов не оставил подробного описания стратиграфии участка, но все же отмечал, что мусорный слой лежит на слое желтой надскальной материковой глины (Белов. 1938. С. 24, 164). С. Ф. Стржелецкий выделил здесь три слоя. 1. Желто-коричневая надскальная материковая глина; 2. Слой угля и пепла, смешанный с землей; 3. Собственно насыль некрополя, состоящая из земли со значительным количеством черепков и камней (Стржелецкий. 1948. С. 95 и сл.). Задача состоит в том, чтобы установить, с какого времени этот мусорный слой начал накапливаться. По своей структуре слой амфорный, содержит многочисленные перекопы и хронологически неоднородный материал от начала V в. до н. э. и до эпохи позднего Средневековья. Таким образом, стратификации слой не поддается. И все же, зная, что погребения на этом участке совершались еще в первой половине V в. до н. э., можно попытаться установить ту группу погребений, которая была впущена в грунт еще до того, как здесь стала образовываться мусорная свалка. Засыпь таких погребений не должна содержать мусорного слоя, т. е. они должны быть перекрыты слоем чистой глины.

Такие погребения были открыты в процессе раскопок и в 1936 и в 1937 гг. Г. Д. Белов в отчетах специально отметил, что ряд погребений был перекрыт чистой глиной со щебенкой без мусора (Белов. 1938. С. 165). Всего таких погребений зафиксировано 11, в шести могилах вещей не содержалось, три могилы относятся к V в. до н. э.¹ и, наконец, еще в двух могилах найдены вещи, датирующие эти могилы второй четвертью — серединой IV в. до н. э.² Из этого можно сделать вывод, что мусорная свалка стала накапливаться здесь не ранее второй четверти IV в. до н. э. Даже в том случае, если свалка представляет собой результат единоразового сброса или нескольких крупных сбросов мусора, то и в этом случае полученная нами дата близка к действительности.

Наш вывод весьма важен потому, что все без исключения скорченные захоронения были впущены в мусорный слой и ни одно подобное захоронение не относится к раннему пласту погребений. Это означает, что мы не только

¹ Могилы 1/1937; 12/1937; 15/1937.

² Могилы 1/1936; 17/1937.

можем ограничить такие погребения узкими хронологическими рамками, но и утверждать, что сама традиция помещения в могилу умершего в скорченном положении появляется отнюдь не с самого начала существования города, т. е. с последней четверти V в. до н. э., много позднее — не ранее второй четверти IV в. до н. э., а быть может, и середины столетия.

Следовательно, эта традиция существует в городе не более 40–50 лет или приблизительно на протяжении жизни двух поколений. Нет никаких сомнений в том, что, по-видимому, не позже рубежа IV–III вв. до н. э. эта традиция пресекается. Исчезновение традиции можно объяснить либо естественной убылью группы населения, которой она была принесена, либо тем, что эта группа населения во втором-третьем поколении ассимилируется, утрачивая при этом свои прежние погребальные традиции.

Судя по тому, что на протяжении по крайней мере двух поколений продолжает сохраняться традиция скорченных захоронений, можно думать, что появившаяся во второй четверти IV в. до н. э. новая группа населения некоторым образом обособляла себя от остальной массы жителей города, что выразилось прежде всего в своеобразии позы умерших. Можно даже допустить, что в какой-то мере она была замкнутой, быть может, даже корпоративной, но вместе с тем и не изолированной полностью, поскольку хоронила своих умерших вместе с остальными горожанами на одном из древнейших участков городского некрополя. Думается, что нет никаких препятствий вслед за Г. Д. Беловым рассматривать как скорченные, так и вытянутые захоронения на этом участке как захоронения равноправных свободных граждан города.

Наряду с захоронениями на северном берегу продолжали функционировать и другие одновременные участки городского некрополя, расположенные по периметру границ города. Сопоставив материалы северного участка с материалами других участков городского кладбища, мы тем самым ответим на второй вопрос о своеобразии некрополя на северном берегу и своеобразии некрополя города в целом, а также на вопрос о том — в какой мере здесь представлены варварские материалы.

Наиболее близок к северному участку некрополь у монастырской оранжереи. Здесь в 1913 г. был заложен Р. Х. Лепером небольшой треугольной формы раскоп между монастырским двором и оранжереей на монастырской усадьбе (ОАК. 1913–1915. С. 60). Судя по суммарному описанию, было открыто несколько погребений, в том числе и 3 амфорных, которые находились за «стенами из прекрасно тесанных плит». Автором раскопок погребения отнесены к IV в. до н. э., вещи из раскопок оказались депаспортизованы, описания погребений отсутствуют. Может быть, именно отсюда происходит ряд вещей IV в. до н. э. — солонки, ойнохоя, терракоты. К сожалению, отсутствие подробной информации об этом интереснейшем участке не по-

зволяет в должной мере выявить его особенности, между тем сам факт открытия могил в этом месте представляется чрезвычайно важным.

Далее к югу в районе городского театра, построенного в III в. до н. э., при исследовании северо-западной стороны его энфилеммы в слое, отнесенном ко времени, предшествующему строительству театра, была выявлена серия погребений, синхронных погребениям на северном берегу (Зедгенидзе. 1976. С. 28). Погребения располагались в древней балке, по склону которой со стороны города открыта оборонительная стена (Домбровский. 1957). Здесь же в балке была открыта мусорная свалка, состоящая в основном из керамического боя. Таким образом, как свалка, так и некрополь находились за пределами городской оборонительной стены.

Всего открыто восемь погребений (ср. Махнева, Пуздровский. 1998. С. 74), все они совершены в простых грунтовых ямах с бутовой обкладкой стен, некоторые могилы перекрыты выкладками из камня, что естественным образом предполагает наличие под выкладками деревянного перекрытия. Погребения одиночные, за исключением одного скорченного, вытянутые на спине. Превалирует ориентировка восточного румба. Инвентарь в могилах, как и на северном участке, очень скромный: гуттусы, бусы, монеты, обломок светильника. Судя по инвентарю, участок датируется третьей четвертью IV в. до н. э. Надо заметить, что этот и северный участки весьма близки, они имеют больше черт сходства, чем различия.

Отсюда, из района будущего театра, некрополь продолжался скорее всего в юго-восточном и южном направлениях. Несмотря на то что, по выражению К. К. Косцюшко-Валюжинича, город захватил и уничтожил некрополь этого времени, остатки его все же фиксируются в районе 15 куртины главной оборонительной стены города. Прежде всего, имеется в виду семейная усыпальница 1517–1522, открытая в 1903 г., функционировавшая с конца V или с начала IV в. до н. э., а также несколько погребений третьей четверти — второй половины IV в. до н. э. Среди них есть как грунтовые могилы, обложенные камнем, так и черепичные могилы. Из шести могил, относящихся к интересующему нас времени, в двух захоронения совершены по обряду кремации. Сопровождающий инвентарь небогат, в могилы клали монеты, иногда по чернолаковому сосуду. К числу семейных гробниц этого участка принадлежит и склеп 1012, встроенный в главную оборонительную стену, захоронения в склепе совершались со второй половины IV в. до н. э. до начала III в. до н. э., все погребения совершены по обряду кремации, как и в семейной могиле 1517–1522. Вполне вероятно, что этот район городского кладбища, расположенный вблизи главных городских ворот, был участком, где погребались лица высокого социального ранга — городская элита.

Погребения IV в. до н. э. имеются и на восточном участке некрополя, вытянутом вдоль Карантинной бухты от башни Зенона. Для захоронений эта

местность стала использоваться с самого начала IV в. до н. э., если не с конца предыдущего столетия, но столь ранние погребения здесь редки. По тем или иным основаниям к IV в. до н. э. на восточном участке можно отнести около 70 погребений, чуть больше 20 из них синхронны второму пласту погребений северного некрополя, поскольку могут быть датированы серединой — третьей четвертью IV в. до н. э.

Поддавляющее число захоронений совершено в простых грунтовых ямах, вытянуто на спине. Данные об ориентировке сохранились всего для восьми погребений, поэтому судить по столь незначительной выборке об этой детали погребального обряда крайне сложно, отметим лишь, что единообразия в ориентировке у этих погребений нет. Нормой обряда было помещать в могилу одного умершего, однако иногда в могилы подхоранивали детей¹ или умерших позже взрослых членов семьи,² но такие случаи, надо признаться, редки.

Что касается погребального инвентаря, то и на этом участке он чрезвычайно малочислен и весьма скромнен. Обычно он ограничивается одним, двумя или тремя очень простыми и, надо полагать, очень дешевыми предметами, из которых наиболее часто встречаются простые или чернолаковые тарелки, килики или канфары, лекифы, из украшений — бусы, серьги, перстни, очень редко — лепные сосуды.

На первый взгляд может показаться, что различия между участками Херсонесского некрополя проявляются главным образом в погребальном инвентаре. Действительно, большая часть могил северного участка, как мы помним, погребального инвентаря не содержала, в то время как могилы на других участках, с которыми мы сравниваем северный, все же хоть и очень скромный погребальный инвентарь, но содержат. Из этого вполне резонно может последовать вывод о более низком имущественном и, вероятно, социальном уровне погребенных на северном берегу. На самом деле все обстоит значительно сложнее. Как на южном участке, так и на восточном у Карантинной бухты в выборку включались только те могилы, которые содержали хоть какие-то вещи, по которым можно было бы установить дату погребения. Таким образом и получилась выборка из могил, в которой безынвентарных погребений нет. Однако на обоих участках таких погребений открыто очень много, но, поскольку захоронения на них совершались и во все последующие эпохи жизни города, отнести эти безынвентарные погребения к какому-то определенному времени возможности нет. Весьма вероятно, что часть этих могил, и можно предполагать, немалая, относится и к рассматриваемому времени. Сказанное можно подтвердить одним, но убедительным примером — так, могила 1045 у Карантинной бухты с монетой третьей четверти IV в. до н. э. перекрывала более раннее безынвентарное погребение 1046.

¹ Могила № 1357.

² Могила № 1046, 1943.

В связи с восточным участком некрополя у Карантинной бухты хотелось бы обратить внимание на одну компактную группу захоронений. Речь идет об 11 безынвентарных скорченных захоронениях, открытых в 1908 и 1909 гг. вблизи башни Зенона. В. М. Зубарь, исходя из небольшой глубины могил, отнес их к римскому времени и связал их появление в некрополе города с сарматским влиянием (Зубарь. 1982. С. 41). Нелишне напомнить, что в Херсонесе глубина могил ненадежный хронологический показатель, поскольку как правило она зависит от близости скалы и мощности насыпного слоя. Глубина могил со скорченными костяками различна, но не превышает 1,1–1,2 м, между тем единственное точно датированное скорченное погребение, относящееся к римскому времени,¹ открытое, кстати, к западу от башни Зенона отдельно от всей компактной группы, было впущено глубже всех. В позднеантичное и римское время скорченная поза костяков встречается исключительно редко и не может рассматриваться как характерная для этого времени, в противоположность времени раннего эллинизма. Сознавая, что вполне определенных однозначных указаний на принадлежность этой серии погребений к тому или иному времени нет, приведем косвенные аргументы в пользу раннеэллинистического времени.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что почти все погребения за исключением одного, открытого в 1909 г., найдены в раскопную кампанию предыдущего года, это означает, что все они находились на одном небольшом участке вблизи 20-й куртины и башни Зенона. Далее вдоль Карантинной бухты за все годы раскопок таких погребений больше не встречалось.

Любопытно, что на раскопках 1908 и 1909 гг. как раз и были найдены наиболее ранние на всем восточном участке некрополя захоронения. Характерную картину дает расположение могил с монетами середины — третьей четверти IV в. до н. э., а также детских захоронений в амфорах — наибольшее их количество открыто на раскопе 1908 г. и на непосредственно примыкающем к нему раскопе 1905 г. Таким образом, складывается впечатление, что именно территория вблизи 20-й куртины и башни Зенона является наиболее ранней на всем восточном некрополе. Не исключено, что появление здесь скорченных погребений следует связывать с прекращением функционирования северного участка Херсонесского некрополя в последней четверти IV в. до н. э. К сожалению, изложенные нами соображения не обладают необходимой доказательной силой, и настаивать на предложенной интерпретации веских оснований нет.

Как видим, резких различий между участками Херсонесского некрополя не выявляется. Разумеется, каждый из районов городского кладбища обладает определенным набором своеобразных черт, однако при этом черты сходства создают настолько яркое своеобразие некрополя в целом, что на

¹ Могила № 2816.

этом стоит остановиться специально. К их числу без всяких натяжек относится грунтовый характер городского кладбища. За все годы раскопок здесь не было открыто ни одной курганный насыпи, и это, надо полагать, не случайное явление. Отсутствие в Херсонесе традиции хоронить умерших под курганный насыпью не может быть объяснено ни отсутствием для этой цели благоприятных природных условий, ни тем, что эта традиция на всем протяжении истории города оставалась херсонеситам неизвестной. По крайней мере один пример того, что сооружение курганов здесь было возможно, у нас есть. В 1872 г. в 3 верстах от Херсонеса у Стрелецкой бухты на земле полковника Шверина был раскопан курган высотой 4 сажени. Насыпь кургана состояла из камня, в основании насыпь окружала крепида, состоящая из тесаных известняковых блоков, уложенных в два ряда, верхний ряд сложен из рустованных блоков. В 1908 г. курган был доследован Н. М. Печенкиным. Под насыпью кургана обнаружена бронзовая урна с пеплом, обследовавший содержимое урны А. В. Орешников не сомневался в погребальном характере сосуда, поскольку на дне его им были обнаружены кальцинированные кости человека.¹ По своему характеру, архитектуре, облику погребения, содержавшегося в кургане, весь этот комплекс целиком находился в русле погребальных традиций причерноморских греков. Если мог быть сооружен Шверинский курган, следовательно, херсонеситы были близко знакомы с этой традицией и, следовательно, местные природные условия не были главным препятствием для их сооружения. Заметим попутно, что Шверинский курган был возведен не вблизи города на городском кладбище, а в некотором от него удалении.

Нет сомнений в том, что невосприимчивость жителей города к влиянию не только варварского окружения, но и погребальной практики соседних эллинских городов, где традиция захоронения в курганах получила устойчивое и повсеместное распространение, коренится в строгости погребальных норм, их консервативности, опиравшихся, скорее всего, на какие-то внутриполисные представления, быть может, даже оформленные законодательно.

На протяжении всего рассматриваемого времени, да, пожалуй, и позднее, представления жителей города в отношении сопровождающего умерших инвентаря почти не изменялись. Многие погребения были безынвентарными, там, где сопровождающий инвентарь имелся, он представлен немногочисленными простыми и дешевыми вещами. В числе предметов погребального инвентаря отсутствуют вещи, связанные с варварским окружением города. Исключение составляют две могилы, в которых было найдено по одному лепному сосуду «скифского» облика. В одной из могил (7/1936) кро-

¹ Письмо В. А. Орешникова Н. М. Печенкину от 8.XII.1908. Архив ИИМК РАН. Ф. 27. № 1. Л. 4.

ме лепного сосуда другого инвентаря не было, зато в могиле 2348 кроме лепного сосуда были поставлены чернолаковое блюдо и гуттус. К числу исключений можно, пожалуй, отнести небольшую бронзовую бляшку с изображением крылатой богини с растительными побегами вместо ног, найденную в каменном разграбленном гробу.¹ Сюжет находит многочисленные параллели среди скифских степных памятников. К числу подобных изображений относится и золотой медальон с изображением скифа и грифона, найденный в некрополе в 1907 г. (Пятышева. 1956. С. 14. № 13). Однако особого внимания заслуживают вещи подстенного склепа 1012. Судя по всему, это погребальное сооружение принадлежало семье, занимавшей в городе особое социальное положение, поскольку оно единственное было сооружено в городской стене рядом с главным въездом в город. Выдающимся на фоне большинства херсонесских могил оно оказывается и по богатству содержащихся в нем вещей. Как это ни странно, но именно здесь, в этом богатом подстенном склепе мы встречаемся с вещами, аналогии которым легко найти среди вещей из скифских царских захоронений и захоронений боспорской знати. К их числу прежде всего относятся пара золотых витых серег, оканчивающихся львиной мордой, очень близких сергам из Куль-Обы, бараньи головки, аналогичные головкам из Гаймановой могилы, золотые нашивные бляшки с изображением цветка лотоса, мужской бородатой головы, крылатой змееногой богини. Бляшки с изображением змееногой богини чрезвычайно близки аналогичным из Куль-Обы, возможно, они даже изготовлены с одной матрицы (Manzewitsch. 1932. Taf. I, II).

Между тем сам склеп, все погребения в нем, совершенные по обряду кремации, а также сосуды для хранения праха, один из которых получен в качестве приза на празднике Анакий, не содержат ничего, что бы можно было связать с влиянием со стороны варваров. Учитывая уникальный для всего Херсонесского некрополя характер комплекса, появление вещей, близких тем, которые встречаются в степных царских курганах и курганах боспорской знати, видимо, следует объяснять какими-то необычными, экстраординарными событиями. Скорее всего, они отражают какие-то семейные связи, быть может, обусловленные политической необходимостью. Однако, судя по датировке вещей комплекса, связи эти были весьма непродолжительными.

Возвращаясь к погребальному инвентарю могил Херсонесского некрополя, необходимо подчеркнуть, что они по своему составу, богатству, «качеству» резко отличаются от инвентаря захоронений в других городах Северного Причерноморья: как уже отмечалось, он необычно малочислен, скромен и даже беден. Вряд ли эту его особенность следует объяснять скромным достатком жителей города или их скупостью; ответ, скорее всего, надо искать

¹ Могила № 326.

в специфике погребальных традиций и погребальных норм, неукоснительно соблюдаемых гражданами полиса.

Как видим, ни лепная керамика, ни погребальные сооружения, ни погребальный обряд не позволяют сделать вывода о присутствии сколько-нибудь значительных групп варварского населения в городе, равно как и о наличии долговременных и устойчивых связей Херсонеса с варварским окружением.

3.8. Просопография Херсонеса

Присутствие в Херсонесе значительных групп варваров обосновывалось также и наличием негреческих имен в просопографическом фонде города. «Имена херсонеситов негреческого происхождения... свидетельствуют о том, что некоторые варвары могли входить в число правящей верхушки города» (Даниленко. 1966. С. 168). Наличие в клеймах таких имен, как ΣΚΥΞ-ΑΣ и ΝΑΝΩΝ свидетельствует о том, что выходцы из туземной среды наряду с греками занимались в городе гончарным ремеслом и что некоторые из них могли занимать должности астиномов (Борисова. 1949. С. 92). Сомнения в обоснованности подобных выводов возникали и ранее (Кадеев. 1974), но для доказательства их несостоятельности необходимо было проанализировать весь просопографический фонд Херсонеса. К счастью, в последние годы такая работа была проделана В. Ф. Столбой (Столба. 1991). Было проанализировано около 1000 антропономастических единиц, сохранившихся на монетах, керамических клеймах, в лапидарных надписях, граффити и др. В результате проделанного анализа выясняется, что число негреческих имен в городе в IV–III вв. до н. э. чрезвычайно мало. По языковой принадлежности они делятся на группы: 1) Группа малоазийских личных имен и предположительно малоазийских; 2) Группа личных имен фракийского происхождения. Иранских имен, происхождение которых можно было бы связать со скифским языком, в Херсонесе IV–II вв. до н. э. не отмечено (Столба. 1990. С. 5). Последний вывод весьма для нас важен.

Если считать, что лепная керамика, в принципе, отражает проникновение в греческие города низших слоев негреческого населения, а просопография — проникновение представителей эллинизированной негреческой верхушки (Виноградов Ю. Г. 1981б. С. 137), то в отношении Херсонеса IV — первой трети III в. до н. э. ответ получается одинаково отрицательный.

3.9. Основные выводы

Рассматривая процесс и характер взаимодействия окружающих варварских племен и греческих гражданских коллективов в Северном Причерноморье, невозможно миновать заключения о том, что процесс проникновения варварских культурных элементов носит не дискретный, а перманентный характер. С самого начала жизни греческих апойкий — будь то Березанское

поселение, Ольвия или города Боспора — везде наблюдается постоянная диффузия варварских компонентов в эллинские общины; происходит постоянная подпитка культуры, остающейся в своей основе греческой, варварскими традициями. Малейшее изменение в способах орнаментации лепной керамики в степной части Северного Причерноморья сразу же или в течение очень короткого времени находит адекватное отражение в лепной посуде, происходящей из греческих городов. Изменение конструкции или появление новых типов погребальных сооружений на территории ближайшего варварского окружения влечет за собой немедленные изменения и в городских некрополях. Приведенные примеры не единичны, этот ряд можно продолжать весьма долго, однако и этих примеров, по-видимому, достаточно, чтобы констатировать: в Херсонесе эти тенденции проявляются очень слабо.

Все эти обстоятельства, которые мы рассмотрели выше, заставляют скептически относиться к возможности присутствия в среде жителей города значительных групп варварского населения. Необходимо признать также, что при отсутствии в материальной культуре города достаточно ясных, хорошо различимых проявлений культуры варварского окружения и влияний со стороны последних на весь круг эллинских культурных традиций херсонеситов сама постановка такой проблемы — присутствие варварского населения в Херсонесе — лишается всякой опоры.

Очевидно, и вряд ли с этим возможно спорить, что какие-то отдельные выходцы из варварской среды в составе населения города могли присутствовать и присутствовали. Однако либо в силу своей малочисленности, либо под влиянием каких-то иных причин такой культурной «критической массы», которая могла бы восприниматься гражданским коллективом и заимствоваться хотя бы на уровне отдельных традиций, в Херсонесе не образовалось. По-видимому, в городе не существовало субкультуры варваров, способной наложить отпечаток на культуру коренного населения города.

Наряду с этим существует достаточно данных о том, что гражданский коллектив Херсонеса не был изолирован от контактов с ближними и дальними варварскими племенами. Хорошо известно место Херсонеса в экономике Северного Причерноморья — достаточно вспомнить, что поставки вина в Скифию из Херсонеса на рубеже IV–III вв. до н. э. достигали весьма солидных размеров. Надо полагать, что и город в обмен за вино получал интересные его товары. Так что контакты, и весьма тесные, конечно же, существовали, однако при этом они не вели к проникновению в город инородных культурных традиций и, по всей видимости, носителей таких традиций. Речь идет о специфическом, пожалуй, уникальном во всем Северном Причерноморье способе взаимодействия с варварским окружением, при котором влияние со стороны варваров на культуру горожан если и не исключалось полностью, то сводилось до минимума. Быть может, и в этом проявляется особенность дорийской гражданской общины.

Нельзя не вспомнить слова Плиния о Херсонесе, который, по его мнению, «был самым блестящим пунктом на всем этом пространстве благодаря сохранению греческих обычаев» (Plin. N. H., II, 85).

4. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму

4.1. Колонизация Северо-Западного Крыма

Первая греческая колония на побережье Северо-Западного Крыма — Керкинитида. Время ее основания — вторая половина VI в. до н. э. Немногочисленные материалы середины — третьей четверти VI в. до н. э., встречающиеся при раскопках городища Керкинитиды, как будто позволяют связать появление поселения на берегу Каламитского залива с миграционной волной из Ионии после разгрома ее персами в 545 г. до н. э. (Кутайсов. 1990. С. 143). Обнадешивает, что эти ранние материалы происходят из стратиграфического горизонта конца VI — начала V в. до н. э., который перекрывает первые землянки, но предшествует наземному домостроительству (Кутайсов. 1990. С. 39). Учитывая, что наиболее древние напластования города подтоплены грунтовыми водами и пока недоступны для исследований, следует признать вероятность датировки основания города третьей четвертью VI в. до н. э. реальной. Во всяком случае раскопки Керкинитиды, проводившиеся в 80-е гг., не оставляют сомнений в том, что ко времени составления Гекатеем Милетским «Землеописания», где упоминается Керкинитида, город действительно уже существовал. Можно считать окончательно закрытой дискуссию о времени возникновения этого поселения.

Важным обстоятельством является признание Керкинитиды ионийской апойкией, это следует из анализа граффити, выполненных на ионийском диалекте, и подтверждается некоторыми другими данными: характером денежного обращения, приемами застройки, культами (Кутайсов. 1992. С. 47).

О раннем периоде жизни поселения на Карантинном мысу известно немного, — нижние, наиболее древние слои поселения, как уже указывалось, подтоплены грунтовыми водами и по этой причине недоступны для изучения. Установлено, что с момента основания и до конца первой трети V в. до н. э. Керкинитида, так же как и ранняя Ольвия, была застроена грунтовыми жилами и хозяйственными сооружениями — землянками и полуземлянками. Причем в обоих центрах исследователи отмечают в пределах городской территории определенную регламентацию в размещении такого рода сооружений (Крыжицкий. 1982. С. 11–12; Кутайсов. 1992. С. 48).

Радикальные изменения фиксируются в Керкинитиде в 70–60-е гг. V в. до н. э.: в это время возводятся первые крепостные стены города, пространство внутри них разбивается на кварталы по строго регулярной планировоч-

ной схеме, близкой к Гипподамовой. В этом отношении Керкинитида наряду с Березанским поселением демонстрирует один из ранних и очень показательных примеров регулярной застройки площади города (Крыжицкий. 1993. С. 56). В указанное время завершается переход от грунтовых жилищ и хозяйственных структур к возведению сырцово-каменных наземных многокамерных зданий.

Судя по всему, Керкинитида до конца V в. до н. э. оставалась единственным эллинским пунктом на всем северо-западном побережье Крымского полуострова — одновременных ей памятников в этом районе пока не известно. Предположение В. А. Кутайсова о существовании в это время еще двух апоек — Дандаки и Тамираки пока не подкреплено археологическими данными.

Ранний период освоения эллинами Северо-Западного Крыма изучен явно недостаточно. Можно строить лишь догадки о размерах и степени освоения ближайшей к городу округи, о том, как далеко простирались экономические интересы гражданской общины керкинитов; однако, несомненным остается тот факт, что в условиях Северо-Западного Крыма для Керкинитиды существовали неограниченные возможности расширения границ полиса. Между тем вплоть до конца V в. до н. э. мы не располагаем никакими сведениями об освоении ближайшей к городу территории, не говоря уже о расширении полисных границ. Разумеется, необходимо учитывать скромные возможности самого гражданского коллектива города, но не исключено, что росту территории полиса препятствовали внешние факторы, в частности, его варварское окружение, контролировавшее основную территорию полуострова.

Керкинитида, так же как и Ольвия, располагалась на крайней южной границе Скифии. Оба эти полиса в силу своего географического положения были непосредственно связаны с миром кочевников и не могли оставаться в стороне от событий и процессов, происходящих в степной зоне Северного Причерноморья. В этом отношении весьма показательна история Ольвийского полиса в V в. до н. э., где после бурного расцвета сельской округи в конце VI — начале V вв. до н. э. в конце 70-х гг. V в. до н. э. происходит резкая редукция хоры и запустение подавляющего числа сельских поселений (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 94).

Восстановление сельской территории Ольвийского государства начинается только в последней четверти V в. до н. э. Указанные события вполне обоснованно увязываются с изменениями, происходящими в степной Скифии (Доманский. 1981. С. 157–162). Иными словами, именно «варварский фактор» сдерживал на протяжении 50–70 лет V в. до н. э. развитие Ольвийского полиса.

Надо полагать, что в подобной или очень близкой ситуации могла быть и Керкинитида. В отличие от Ольвии, где нет прямых свидетельств зависимости города от варваров, в Керкинитиде такое свидетельство имеется. Речь

идет о недавно найденном эпиграфическом документе — письме Апатурия Невмению, где содержится упоминание об уплате дани скифам (Соломоник. 1987; Кутайсов. 1992). Текст процарапан на черепке фасосской амфоры третьей четверти V в. до н. э. Условия находки и палеография указывают на последнюю четверть V в. — рубеж V–IV вв. до н. э. как на наиболее вероятное время нанесения надписи. Ввиду несомненной важности приведем текст документа полностью в переводе Э. И. Соломоник с дополнениями Ю. Г. Виноградова: «Апатурий Невмению. Соленую рыбу свежи домой и равное количество связок для нее; и пусть никто не занимается твоими делами; и конечно, тщательно следи за волами; и узнай, кто будет платить дань скифам» (рис. 11.1).

Для нас в числе повседневных хозяйственных распоряжений чрезвычайно важными являются сведения о выплате дани скифам. Правда, неизвестно, как часто и в какой форме производились выплаты, но то, что они имели место, заставляет допускать наличие определенного рода соглашений, договоренностей на этот счет. Следовательно, предположение о существовании некой зависимости греческих городов от местных варваров в виде протектората или в какой-то иной форме, как видно на примере Керкинитиды, отнюдь не беспочвенно (см., например: Виноградов Ю. Г. 1989. С. 90–109).

Какое-то количество выходцев из варварской среды проживало непосредственно и в самом городе, о чем свидетельствуют находки в культурных

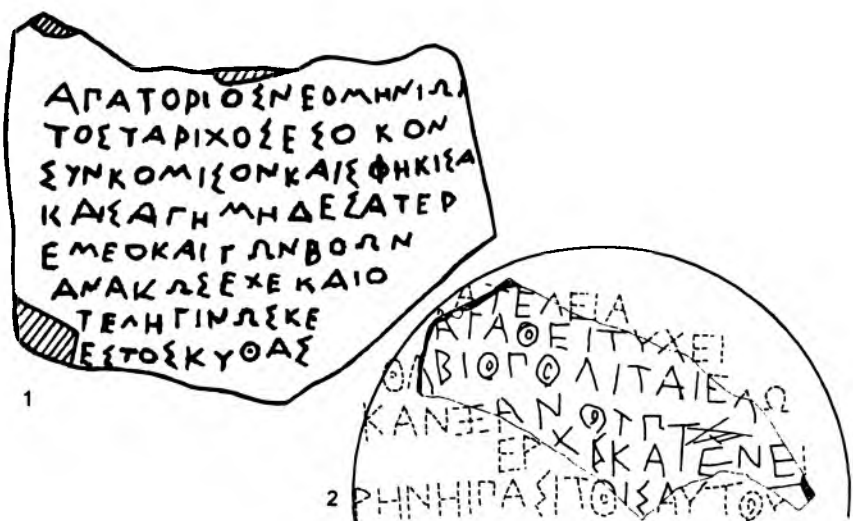


Рис. 11. Греческие граффити (1 — граффито на горле фасосской амфоры из Керкинитиды; 2 — граффито на обломке чернолаковой чашки из поселения Панское 1)

слоях поселения лепной керамики. Напомню, что именно обнаружение обломков лепных чернолощенных сосудов с резным и гребенчатым орнаментом в процессе исследования жилого дома начала V в. до н. э. в центральной части Евпаторийского городища и привело к заключению о существовании на месте Керкинитиды предшествовавшего ей варварского поселения (Наливкина. 1957. С. 267; 1959. С. 184; 1963. С. 55). Впоследствии было показано, что обломки лепных чернолощенных сосудов с резным и гребенчатым орнаментом связаны исключительно со строительными комплексами античной Керкинитиды (Голенцов. 1981. С. 230–231; Кутайсов. 1987. С. 24–40) и что, следовательно, предположение о догреческом варварском поселении на месте города не соответствует реальной археологической ситуации.

Специальное исследование этой группы керамики показывает, что вопреки распространенным представлениям количество обломков посуды такого рода не так уж и велико — всего за годы раскопок учтено 219 обломков от 63–65 условно целых сосудов, они составляют «ничтожное количество в сравнении с общим объемом античного материала из раскопок Керкинитиды» (Кутайсов. 1987. С. 35).

Весьма важны и два других наблюдения. Из достаточно обширной номенклатуры категорий сосудов кизил-кобинской керамики, распространенной на памятниках горного и предгорного Крыма, в керамическом комплексе Керкинитиды представлены все категории: горшки, сосуды реповидной формы, чашки, черпаки, кубки, кувшины (Кутайсов. 1987. С. 29). Это позволяет характеризовать связи города с областью расселения таврских племен как непосредственные.

Второе наблюдение хронологического порядка — подобная керамика встречается преимущественно в ранних слоях города: с начала V в. до н. э. и до третьей четверти IV в. до н. э., в более позднее время обломки ее единичны (Кутайсов. 1987. С. 35). Логично связать сокращение присутствия лепной лощенной керамики кизил-кобинских типов в слоях Керкинитиды с начавшейся в это время экспансией Херсонеса в Северо-Западный Крым, повлекшей за собой изменения в традиционных связях города.

Повышенный интерес к кизил-кобинской керамике привел к тому, что из поля зрения исследователей как бы выпала лепная керамика скифского облика, которая, кстати сказать, встречается в тех же слоях и комплексах, что и чернолощенная керамика. Более того, с исчезновением с конца IV в. до н. э. таврских образцов в лепной керамике доминирует скифская степная (Кутайсов. 1991. С. 75). Таким образом, в керамическом комплексе Керкинитиды фиксируется два вида лепной керамики — керамика степных форм, традиционно связываемая с кочевыми скифами, и чернолощенная керамика с резным и гребенчатым орнаментом, распространенная в горном и предгорном Крыму, где обитали тавры письменных источников.

4.2. Северо-Западный Крым до херсонесской экспансии

Следующий период освоения эллинами побережья Северо-Западного Крыма начинается в конце V или на рубеже V–IV вв. до н. э.; он продолжается до времени включения этих территорий в состав Херсонесского государства, произошедшего не ранее конца третьей четверти IV в. до н. э. (рис. 12/1)

Несмотря на то что для сколько-нибудь полной характеристики этого периода материалов пока тоже недостаточно, тем не менее его основные черты обозначить можно уже сегодня. Прежде всего необходимо отметить изменения, происходящие вокруг Керкинитиды и в самом городе. Если верны датировки авторов раскопок, то можно говорить о появлении в ближайшей округе Керкинитиды целой серии поселений, возникающих в конце V — первой половине IV в. до н. э. Самый южный из этих памятников — поселение Ново-Федоровка, где отмечены материалы конца V — первой половины IV в. до н. э. (Ланцов. 1994. С. 92). К указанному времени относят возникновение таких поселений, как Кара-тобе, Маяк 2 (Колесников. 1985; Колесников, Яценко. 1989. С. 58). К числу ранних нужно причислить сельскую усадьбу с круглой башней, открытую П. И. Филонычевым и исследованную М. А. Наливкиной, где найдены материалы конца V — начала IV в. до н. э. (Наливкина. 1953. С. 133). Усадьба гибнет не позже третьей четверти IV в. до н. э. (Колесников. 1985).

Второй четвертью IV в. до н. э. датируется возведение «фактории» на поселении Чайка. Однако строительные остатки, открытые в районе 4-й башни, со всей очевидностью показывают, что здание фактории возведено на развалинах более ранних строительных комплексов, относящихся, скорее всего, еще к V в. до н. э. (Карасев. 1967. С. 215; Карасев. 1966. Л. 40, 50), а быть может, и к еще более раннему времени, если учитывать находку ро-

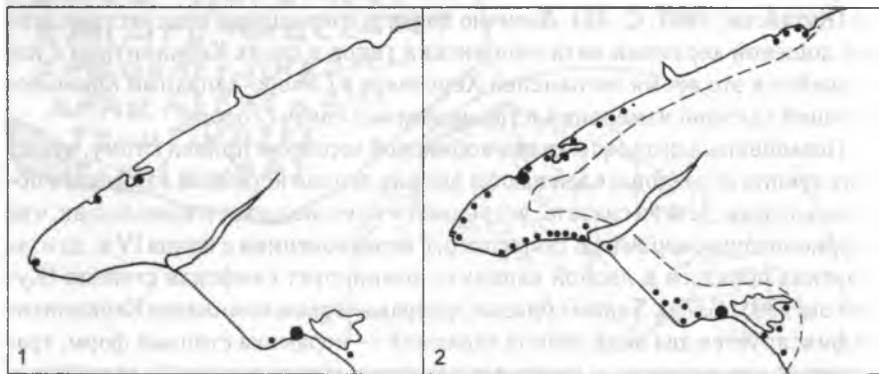


Рис. 12. Карта-схема Северо-Западного Крыма (1 — второй этап греческой колонизации; 2 — третий этап греческой колонизации)

досской тарелки середины — третьей четверти VI в. до н. э. на дне моря напротив памятника (Карасев. 1965. Л.30).

В настоящее время нет никаких серьезных оснований связывать появление всех этих памятников с деятельностью каких-то иных полисов (ср.: Колесников, Яценко. 1989; Щеглов. 1986), за исключением Керкинитиды. Думается, что их появление отражает начальный этап сложения керкинитидской сельскохозяйственной области. Этот вывод следует не только из того, что эти памятники расположены вблизи полисного центра, но и в несомненной общности некоторых строительных приемов.¹

Надо полагать, перестройка крепостных стен, расширение территории, интенсивное строительство в городе и одновременное (или вскоре вслед за этим) появление поселений на ближайшей к городу земледельческой округе связаны с процессами изменений как во внутренней жизни самого полиса, так и в его взаимоотношениях с варварским окружением. Об изменении общей ситуации говорит и начавшееся на рубеже V–IV — в первой половине IV в. до н. э. заселение северного побережья Тарханкутского полуострова. Среди памятников этого региона назовем прежде всего Калос Лимен, точнее? то небольшое поселение, которое существовало на его месте. Предположение о более ранней начальной дате Калос Лимена уже высказывалось в литературе, правда, без опоры на конкретный археологический материал (Щеглов. 1986. С. 166. Примеч. 35; 1990 С. 39). Давно известны находки из некрополя Калос Лимена, правда, большей частью случайные, но они старше общепринятой даты основания города как минимум на 30–40 лет. Исследования этого памятника Западнокрымской экспедицией ИА НАН Украины, проведенные в последние годы, открывают возможность обоснованного пересмотра хронологии Калос Лимена (Кутайсов, Уженцев. 1997. С. 43–47). Исследователи отмечают помимо всего близость строительной техники и толщины восточной куртины Калос Лимена с оборонительной стеной середины IV в. до н. э. на западной окраине Керкинитиды (Кутайсов, Уженцев. 1994. С. 51).

Скорее всего, в круг ранних памятников нужно включать и Караджинское городище, из некрополя которого происходили ранние вещи (Щеглов. 1986. Примеч. 35). Разумеется, что это только догадка, поскольку сами вещи утрачены, но судя по облику погребальных сооружений некрополя этого городища, по подкурганам склепам из камня, которые хорошо сохрани-

¹ Стена № 4 претого строительного периода на поселении Ново-Федоровка покоится на слоевом основании; ближайшие аналогии этому строительному приему для этого времени можно найти только в Керкинитиде (Кутайсов. 1990). Отметим, что возведение стен на слоевых основаниях не получило развития в херсонесской строительной практике ни в самом городе, ни на памятниках хоры.

лись до настоящего времени, они принадлежат действительно ко времени **не** позже середины — третьей четверти IV в. до н. э., позднее подобных сооружений в Северо-Западном Крыму уже неизвестно. Вместе с тем, если подтвердится локализация на месте этого городища Дандаки, восстанавливаемой в последней строке списка Понтийского податного округа (Кутайсов, 1990. С. 149), то возможно, что поселение нужно будет относить к еще более раннему времени.

На рубеже V–IV вв. до н. э. на берегу Ярылгачской бухты в Северо-Западном Крыму основывается поселение Панское I (рис. 13). Как установлено, поселение и могильник, расположенный рядом, существуют на протя-

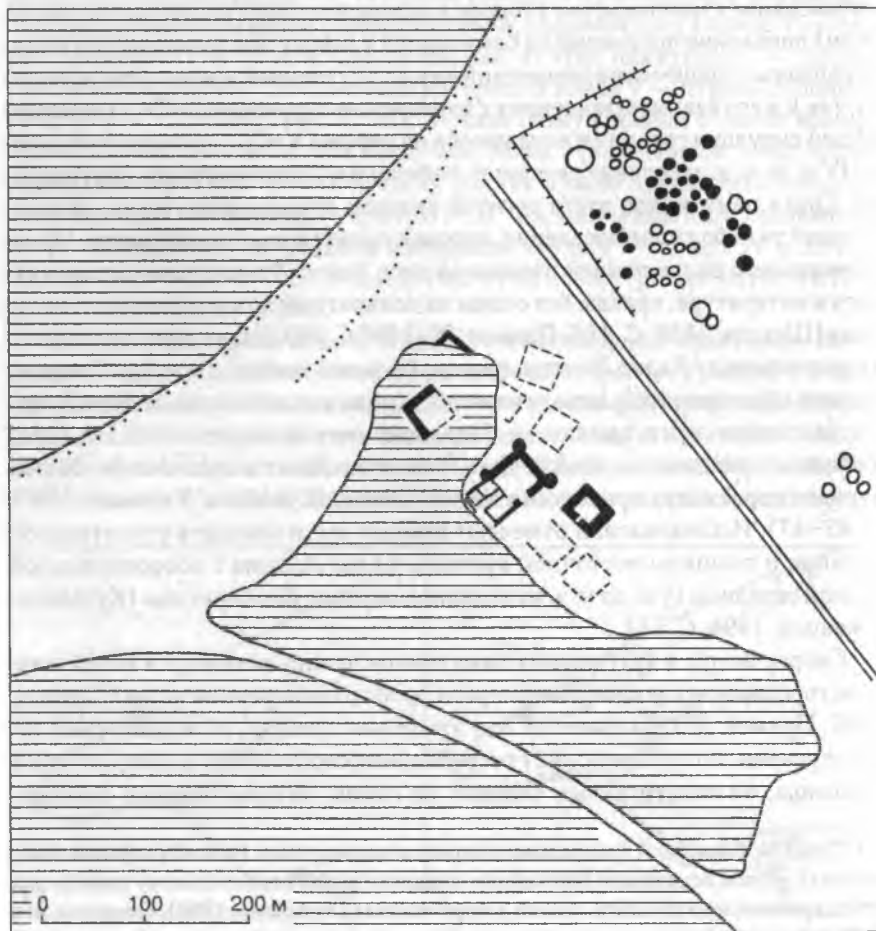


Рис. 13. Поселение и могильник Панское I

жении всего IV в. до н. э. и первую треть III в. до н. э., в конце указанного периода поселение гибнет и жизнь на нем уже более не возобновляется.

Естественно, что наиболее важным представляется начальный период жизни поселения, к сожалению, остающийся почти не изученным. Тем не менее следует отметить наличие небольшого, но отчетливо выраженного временного разрыва между наиболее ранними комплексами некрополя и материалом из древнейшего слоя поселения: серия наиболее ранних могил некрополя датируется в пределах рубежа V–IV в. до н. э. — первой четверти IV в. до н. э., что по меньшей мере на четверть века старше вещей из древнейшего слоя поселения. Отмеченный разрыв в датировке представляет собой необычное, пожалуй, даже исключительное явление, поскольку целая серия памятников в Северном Причерноморье демонстрирует обратную картину — материал из наиболее ранних погребальных комплексов всегда несколько позднее материалов из древнейших слоев поселений. Имеющиеся хронологические несовпадения между ранними комплексами поселения Панское I и его могильника, скорее всего, говорят о том, что наиболее ранние строительные комплексы поселения пока еще не открыты.

Возведение четырехбашенного форта на поселении относится, по-видимому, к концу первой четверти IV в. до н. э. Первая существенная перепланировка здания, возможно связанная с устранением последствий пожара, может быть, датируется материалами колодца, функционировавшего на протяжении всего первого строительного периода в одном из помещений, засыпанного и перекрытого стеной во время перепланировки. В керамическом комплексе из колодца к числу наиболее поздних принадлежат обломки скифосов (типа АА, 352), а также несколько обломков сетчатых лекифов с орнаментом, характерным для сосудов не ранее середины — конца второй четверти IV в. до н. э. Именно эти наиболее поздние вещи и заставляют датировать первую перестройку четырехбашенного укрепления У7 временем не ранее конца второй четверти IV в. до н. э. (ср.: Щеглов. 1985. С. 85; 1986. С. 166). Такая датировка событий хорошо коррелирует с изменениями, фиксирующимися в погребальном обряде некрополя, которые происходят также во второй четверти столетия (Рогов. 1989. С. 102).

Материалы некрополя позволяют ответить и еще на один чрезвычайно важный вопрос о происхождении первопоселенцев Панского I. К самому раннему пласту погребений некрополя принадлежит серия подбойных могил, которые по своему устройству, размерам, характеру размещения погребального инвентаря, типам закладов подбоев имеют прямые аналогии в городском некрополе Ольвии. Надо заметить, что в могильниках сельской округи Ольвии этот тип погребальных сооружений становится известен сравнительно поздно — не ранее второй четверти IV в. до н. э., хотя некоторые исследователи относят появление подбоев на хоре Ольвии даже ко вто-

рой половине IV в. до н. э. (ср.: Снытко. 1988. С. 103). Отмеченное обстоятельство, а также ряд других наблюдений (Щеглов, Рогов. 1985) позволяють связать появление поселения Панское I непосредственно с деятельностью в этом районе Крыма выходцев из самого города Ольвии.

Постепенное накопление материалов конца V — первой половины IV в. до н. э., свидетельствующих об освоении побережья Северо-Западного Крыма в это время, подводит к постановке и попыткам решения вопроса о том, какими полисами проводилось заселение побережья. Прямых свидетельств, за исключением упомянутых нами выше в отношении поселения Панское I, не существует, однако догадки и предположения, основанные на соображениях общего порядка, высказывались.

Что касается памятников, открытых вблизи Керкинитиды, то, как уже упоминалось, есть серьезные основания связывать их с деятельностью именно этого полиса. Вместе с тем некоторые исследователи связывают появление поселений Маяк-2, Чайка, Кара-тобе с экспансией Херсонеса в этот район. Правда, в этом случае приходится допускать, что освоение Северо-Западного Крыма Херсонесом началось со второй четверти IV в. до н. э. и с земель этого района (Колесников, Яценко. 1989. С. 58). К этому же времени относит начало проникновения Херсонеса в Северо-Западный Крым и А. Н. Щеглов (Щеглов. 1986; Виноградов, Щеглов. 1990). К этому вопросу мы вернемся ниже, а пока сжато изложим точку зрения, предложенную сравнительно недавно и отражающую заинтересованность Гераклеи в хлебных равнинах Северо-Западного Крыма.

Согласно этой точке зрения, херсонесскому этапу освоения Северо-Западного Крыма предшествовал гераклеийский, с ним связано возведение гераклеийского эмпория в конце V — начале IV в. до н. э. на месте поселения Чайка с целью распространения гераклеийского влияния на племена Западной Таврики (Сапрыкин. 1986. С. 93). Заинтересованность Гераклеи в землях Северо-Западного Крыма могла появиться вследствие неудач Феодосии в войне с Боспором и утратой влияния Гераклеи в Восточном Крыму (Сапрыкин. 1986. С. 96). Интерес Гераклеи к событиям, происходящим в Таврике, равно как и во всем Северном Причерноморье, судя по многочисленному импорту из этого полиса, не мог не иметь места, поэтому логично допустить, что после утраты Гераклеей возможности получать хлеб из Восточного Крыма через Феодосию она была вынуждена искать иные источники удовлетворения своих нужд. В этой ситуации земли Западного Крыма могли и, пожалуй, должны были рассматриваться гераклеотами в качестве потенциального поставщика хлеба.

Эти вопросы заслуживают самого серьезного внимания и углубленной проработки, однако сегодня для более или менее удовлетворительного ответа на них данных недостаточно. Вернемся все же к проблеме освоения Севе-

ро-Западного Крыма ольвиополитами. Можно, пожалуй, согласиться с предостережениями о чрезмерно расширительной трактовке участия Ольвии в освоении Северо-Западного Крыма (Ланцов. 1994. С. 93). Ввиду отсутствия на всех остальных ранних памятниках Северо-Западного Крыма бесспорных свидетельств присутствия ольвиополитов выделение «ольвийского» этапа в освоении земель северо-западной Таврики по меньшей мере преждевременно. К этому можно добавить и другие соображения.

Общеизвестно, что так называемая реколонизация хоры Ольвии, т. е. возрождение жизни на большинстве сельских поселений ольвийской округи, приходится на первое десятилетие IV в. до н. э. (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 99), хотя первые признаки возрождения относятся к более раннему времени — V в. до н. э. Имеются серьезные основания отодвинуть начало процесса даже в третью четверть V в. до н. э. Наиболее ранние вещественные находки и строительные комплексы на поселениях Старая Богдановка 2, Козырка 12-южная, Чертоватое 7 показывают, что робкие ростки возрождения ольвийской сельской округи начинаются именно в третьей четверти V в. до н. э. Этот постепенно набиравший силу процесс достигает наибольшего размаха на рубеже V–IV вв. до н. э. — в начале IV в. до н. э. На фоне активного освоения как ближайшей к Ольвии территории, так и земель, удаленных от города на 30–40 км к северу и югу, учитывая отсутствие каких-либо ограничений расширения земельного фонда города, возможность, а главное, необходимость приобретения дополнительного земельного фонда в Северо-Западном Крыму, куда менее плодородном, нежели Нижнее Побужье, выглядит крайне сомнительно.

Нельзя пройти мимо и другого чрезвычайно важного обстоятельства: четырехбашенный форт на берегу Ярылгачской бухты ни по планировке, ни по своим строительным приемам не имеет параллелей на памятниках ольвийской хоры. Более того, он демонстрирует полную противоположность всему тому, что мы знаем о сельских памятниках Ольвии этого времени.

Разведки и стационарные раскопки ольвийских сельских поселений показывают, что с самого начала возрождения жизни на них — в V в. до н. э. и на протяжении всей первой половины IV в. до н. э. — они застраивались в основном грунтовыми жилами и хозяйственными сооружениями — землянками и полуземлянками. Только около середины IV в. до н. э. намечается переход к наземному сырцово-каменному строительству (Головачева, Марченко, Рогов, Соловьев. 1991. С. 71). Однако ни в первой, ни даже во второй половине IV в. до н. э. ничего подобного четырехбашенному укреплению Панского на хоре Ольвии нет. Именно поэтому приходится признать исключительный, особый характер этой четырехбашенной постройки, никак не связанной с процессами формирования земледельческой базы Ольвии. Скорее всего, возникновение форта на Панском следует рассматривать в кон-

тексте бурных политических событий, происходивших в Ольвии в конце V — начале IV в. до н. э.

Итак, как мы видим, существуют различные предположения о том, кто и как осваивал Северо-Западный Крым в первой половине IV в. до н. э. Однако какую бы точку зрения мы не приняли, в любом случае придется признать — колонизация побережья не была сплошной, поселения, появившиеся в Северо-Западном Крыму в это время, были небольшими и были удалены друг от друга на значительное расстояние. Вопрос же о том, каким из полисов проводились мероприятия по освоению побережья, в настоящее время не может быть решен однозначно: для этого пока слишком мало достоверных данных. Безусловно, его решение осложняется еще и тем, что исследователи вольно или невольно рассматривают этот регион как единое целое, в то время как таковым он становится только в конце IV в. до н. э. в составе Херсонесского государства. Проецирование на первую половину IV в. до н. э. ситуации конца столетия не может не заслонять действительное положение вещей. Не исключено, что Северо-Западный Крым был областью интересов сразу нескольких полисов, и все они в какой-то мере причастны к освоению его земель.

4.3. Северо-Западный Крым в составе Херсонесского государства

Следующий, третий и последний период освоения эллинами Северо-Западного Крыма несомненно связан с интенсивной колонизационной деятельностью Херсонесского полиса (рис. 12.2). Еще совсем недавно начало проникновения Херсонеса в этот район датировалось большинством исследователей последней четвертью и даже концом IV в. до н. э. и ставилось в связь с событиями в степной Скифии (Щеглов. 1976. С. 82). Считалось, что благоприятные условия для колонизации Северо-Западного Крыма Херсонесом сложились после гибели скифского царя Атея и последовавшим за этим ослаблением Скифской державы (Щеглов. 1978. С. 119). Правда, как тогда, так и теперь нет полной уверенности в том, что владения Атея охватывали всю степную зону Северного Причерноморья и в том числе Северо-Западный Крым (см.: Шелов. 1971. Здесь изложены две точки зрения на величину державы Атея и соответствующая библиография).

В последнее время все чаще звучит утверждение о том, что экспансия Херсонеса в этот район началась значительно раньше — еще во второй четверти IV в. до н. э. (Колесников, Яценко 1989. С. 58; Щеглов. 1986) и что, по всей видимости, Херсонес столкнулся в Северо-Западном Крыму не со Скифией, а с Ольвией, вооруженный конфликт с которой, закончившийся победой Херсонеса, произошел около середины IV в. до н. э. (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 323–324).

Остановимся на этой проблеме более подробно. Начнем с последнего из предложений — конфликта между Херсонесом и Ольвией. Выше уже было показано, что присутствие ольвиополитов в Северо-Западном Крыму достоверно установлено лишь для одного памятника, поэтому если допускать вероятность конфликта, то его заранее следует ограничить рамками только этого поселения.

В процессе исследования четырехбашенного здания форта на Панском было выделено два стратиграфических горизонта, каждый из которых включает по два строительных периода. Только во втором, позднем, стратиграфическом горизонте фиксируются типично херсонесские особенности (Щеглов. 1985. С. 84). Следовательно, вопрос смены раннего стратиграфического горизонта поздним весьма важен. Оба строительных периода раннего стратиграфического горизонта, а также и сами стратиграфические горизонты отделены друг от друга слоями пожаров, правда, в обоих случаях из-за небольшой величины исследованных площадей невозможно сказать определенно, были ли пожары общими для поселения или локальными. Как было показано выше, первый пожар и смена строительных периодов должны быть отнесены не к рубежу первой и второй четвертей IV в. до н. э., а к концу второй четверти этого столетия. Учитывая продолжительность второго строительного периода, время второго пожара и соответственно смена стратиграфических горизонтов в таком случае приходится на середину или даже конец третьей четверти IV в. до н. э. Таким образом, третья четверть, а скорее — ее конец, является тем рубежом, после которого херсонесское присутствие начинает явно ощущаться в материале. Этот вывод находит прямое подтверждение и в материалах некрополя, где херсонесские погребальные традиции проявляются только в последней четверти IV в. до н. э. (Рогов. 1988. С. 89; 1989. С. 102; 1998).

О том, что поселение Панское I находилось под юрисдикцией Ольвии, а не Херсонеса, свидетельствует выписка из ольвийского декрета в честь двух афинян (НО 5), сделанная на обломке чернолаковой чаши (рис. 11.2), найденной при раскопках зольного холма на западной окраине У7 (Виноградов. 1990. С. 57–64). Сам документ, из которого сделана выписка, датируется издательницей временем не ранее середины IV в. до н. э. (Леви. 1958. С. 234. Табл. I.1; НО 5). Близкая датировка — 40–30-е гг. — разносторонне обоснована Ю. Г. Виноградовым (Виноградов. 1990. С. 58). Издатель граффито справедливо отметил, что сама чаша по форме и тусклому лаку с большой натяжкой может быть отнесена к третьей четверти IV в. до н. э.: такие сосуды более характерны для конца этого столетия и для начала следующего, и что выписка имела *raison d'être* только в том случае, если на эту территорию распространялась юрисдикция Ольвии (Виноградов. 1990. С. 56, 59).

Перечисленные выше доводы заставляют склоняться к мысли, что если конфликт между Ольвией и Херсонесом и имел место, то во всяком случае не ранее конца третьей четверти IV в. до н. э., и вряд ли в него был вовлечен весь Северо-Западный Крым. Все свидетельства, приводимые для обоснования экспансии Херсонеса в Северо-Западный Крым еще во второй четверти IV в. до н. э., при ближайшем рассмотрении оказываются несостоятельными. Наиболее значимые из них — херсонесская фактория на Чайке, раннее размежевание земель в районе Евпаторийского маяка и новый период строительства в Керкинитиде с характерными херсонесскими признаками (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 322).

В действительности, здание фактории, открытое А. Н. Карасевым на Чайке, никогда и никем не было убедительно атрибутировано как херсонесское. Анализ отчетов, хранящихся в архиве ИИМК РАН, показывает, что стратиграфия здания не проста и не однозначна — это неоднократно подчеркивалось А. Н. Карасевым, и что первоначально здание фактории (термин, употребляемый автором раскопок условно) жилым не было, имело общественный характер. Ясно, что херсонесским оно именовалось первооткрывателем тоже условно.

Серьезным доводом херсонесского присутствия в Северо-Западном Крыму уже в конце второй четверти — середине IV в. до н. э., казалось бы, является открытие в 1983–1985 гг. размежевки в районе Евпаторийского маяка. Между тем авторы раскопок отмечают значительный разброс в датах и невозможность стратиграфически установить синхронность раннего материала устройству виноградника, поскольку керамические обломки происходят из подсыпок, грунт для которых брался из зольника поселения, существовавшего где-то поблизости (Колесников, Яценко. 1989. С. 58). Однако главное препятствие для атрибуции этого виноградника как херсонесского состоит в том, что «по способу устройства и функциям он не имеет ничего общего с виноградниками Гераклеяского и Тарханкутского полуостровов» (Колесников, Яценко. 1989. С. 58). В подробной публикации материалов раскопок хоть и отмечается, что по планировке маякский виноградник имеет много аналогий на Гераклеяском и Тарханкутском полуостровах и интерпретируется как херсонесский (Колесников. 1998. С. 128), однако анализ выявляет его резкое отличие от плантажей, распространенных на Гераклеяском полуострове. Более того, если принимать дату его возникновения — вторая четверть IV в. до н. э., то он синхронен размежевке Маячного полуострова, а учитывая, высокую степень стандартизации, свойственную херсонеситам при обустройстве своего земельного фонда, имеющиеся различия становятся просто необъяснимыми. Равным образом серьезные различия выявляются и в сортах произраставшего здесь винограда, семена которого «по величине главных параметров существенно отличаются от се-

мян, обнаруженных на усадьбах Гераклеяского полуострова» (Колесников. 1998. С. 136).

Противоречие не устраняется предположением о том, что освоение Северо-Западного Крыма производилось «силами переселенцев из Малой Азии и других областей греческого мира», который и принесли иные, чем в Херсонесе, сорта винограда, а помимо этого и «многие элементы материальной и духовной культуры (в сельском хозяйстве, производстве, погребальной обрядности, культах и пр.)» неизвестные в самом Херсонесе. В действительности никаких данных ни о самих переселенцах, ни о принесенных ими элементах «новой» культуры не существует

В противоположность этому, виноградные плантации в окрестностях Калос Лимена и у мыса Ойрат демонстрируют удивительное единство как агротехнических приемов, так и семян именно с наделами Гераклеяского полуострова (Щеглов. 1978. С. 111–112; Янушевич и др. 1982. С. 307 и сл.).

И наконец, остановимся на тезисе о новом периоде строительства в Керкинитиде с характерными херсонесскими признаками. В датировке начала этого периода не следует все же пренебрегать данными, полученными В. А. Кутайсовым в последние годы раскопок памятника. Специальное исследование этого вопроса показывает, что нарастание херсонесских черт в материальной культуре Керкинитиды происходит со времени не ранее конца третьей четверти IV в. до н. э. (Кутайсов. 1990. С. 157).

Попутно отметим, что постоянно упоминаемые в литературе херсонесские черты, херсонесские признаки в приложении к первой половине — середине IV в. до н. э. весьма призрачны. О таковых по существу можно говорить не ранее последней трети — последней четверти IV в. до н. э. Памятники Северо-Западного Крыма более раннего времени в Херсонесе просто не с чем сравнивать. Напомним, что в наиболее хорошо изученном северо-восточном районе Херсонеса в конце V и всю первую четверть IV в. до н. э. существуют заглубленные в скалу жилые и хозяйственные сооружения, подобные земляночным структурам (Золотарев. 1990. С. 68–76). Строительные остатки наземных сооружений второй четверти IV в. до н. э. дошли в столь плачевном состоянии, что ни о каких сопоставлениях со зданиями, подобными фактории на Чайке в Северо-Западном Крыму, не может быть и речи (ср.: Золотарев. 1988. С. 50–52; 1998. С. 26–35). И только с последней четверти IV в. до н. э., когда окончательно формируется облик города, ведется массовое строительство усадеб на Гераклеяском полуострове, становится возможным выявление специфически херсонесских признаков. То же самое мы наблюдаем при анализе погребального обряда некрополей Северо-Западного Крыма, где вплоть до последней четверти IV в. до н. э. никаких погребальных традиций, присущих некрополю Херсонеса, не выделяется (Рогов. 1988; Кутайсов, Ланцов. 1989. С. 33–34).

К сказанному выше добавим, что большую часть IV в. до н. э. Херсонес оставался весьма небольшим как по площади, так и по числу проживающих в нем жителей полисом и вряд ли был способен на сколько-нибудь активные и серьезные самостоятельные мероприятия в достаточно удаленном Северо-Западном Крыму.

Для подтверждения раннего присутствия Херсонеса в Северо-Западном Крыму и его военного конфликта с Ольвией приводятся свидетельства нумизматики как Херсонеса, так и Керкинитиды (Щеглов. 1986. С. 170; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 326; Столба. 1990). Это и является побудительной причиной для краткого анализа и этой группы материала.

Обращение к столь большой, сложной и давно изучаемой теме, как монеты Херсонеса и Керкинитиды, требует определенных ограничений: мы не станем останавливаться на монетных выпусках Керкинитиды V в. до н. э., ограничимся лишь констатацией того, что на протяжении всего этого столетия монетное дело этого полиса развивалось и эволюционировало в том же направлении, что и в других городах Северо-Западного Причерноморья, прежде всего Ольвии (Кутайсов. 1992. С. 138). Выпуск собственной монеты в Керкинитиде прекращается, очевидно, в последней четверти V в. до н. э., хотя литые монеты, выпущенные ранее, продолжают находиться в обращении еще и в начале IV в. до н. э. (Кутайсов. 1992. С. 140; Анохин. 1989. С. 82).

С начала IV в. до н. э. денежный рынок Керкинитиды заполняют иногородние монеты, ведущее место среди которых принадлежит монетам соседнего Херсонеса. Прекращение выпуска собственных денег не может трактоваться иначе, как утрата полисом самостоятельности. При каких обстоятельствах и по каким причинам это происходило, не ясно.

Прекращение выпуска полисных монет и нарастающее поступление денег из Херсонеса пытаются рассматривать как политическое подчинение Керкинитиды Херсонесу (Анохин. 1989. С. 84). Однако такое объяснение нельзя считать удовлетворительным, во-первых, потому, что литые монеты в Керкинитиде заканчиваются еще до того, как Херсонес начинает бить собственную монету. Кроме того, хотя в структуре денежной массы Керкинитиды представлены монеты многих выпусков Херсонеса, тем не менее анализ показывает, что поступление их началось не ранее второй четверти столетия. И во-вторых, не следует забывать, что Херсонес всю первую половину IV в. до н. э. по причине своей слабости и неразвитости вряд ли был в состоянии подчинить Керкинитиду.

Как известно, в конце V в. до н. э. город платил дань скифам, логичнее всего связать утрату политической независимости Керкинитиды в конце V в. до н. э. с ужесточением зависимости от какой-то местной скифской орды. Нельзя ли рассматривать предпринятую в это время реконструкцию оборо-

нительных сооружений города как неудавшуюся попытку противостоять утрате независимости?

Возобновление выпуска монет относят ко времени не ранее середины IV в. до н. э. Чеканных серий монет Керкинитиды известно в настоящее время всего пять, последовательность их такова: Крылатая Ника с пальмовой ветвью, надпись KARK/Лев, терзающий быка, под сценой терзания палица Геракла и надпись HERAKL; голова богини (Тихе?)/всадник на лошади, в руке копье, за спиной лук и колчан, внизу надпись KARKINI и одно из имен магистратов HERAK, HRONU, ROLUC; голова Геракла в львиной шкуре/орел на молнии, внизу надпись KAPKINI, над орлом одно из имен магистратов NEPAK, HRONI; бородатый скиф, сидящий на скале, надпись KERKI/конь, под которым одно из имен чиновников; голова Артемиды, надпись KER/олень с поднятой ногой и в сокращении имя чиновника.

В результате анализа серии чеканных монет города в одну нумизматическую серию из двух номиналов были объединены монеты двух последних выпусков (Карышковский. 1953), впоследствии в такую же серию объединены монеты Тихе/всадник и голова Геракла/орел (Анохин. 1989. С. 83; Столба. 1989. С. 49–50; подробнее см.: Кутайсов. 1990. С. 154155). Таким образом, ныне выделяется всего три монетные эмиссии, причем большинство исследователей согласно с тем, что стилистически и технологически монетный чекан Керкинитиды неоднороден и состоит из двух эволюционно не связанных между собой групп — двух ранних эмиссий и одной поздней; между этими группами был хронологический разрыв (Кутайсов. 1990; 1992; Столба. 1990; ср.: Анохин. 1989. С. 82–85).

Отмеченная выше особенность монетного дела Керкинитиды не является единственной. Помимо дискретного характера чеканки монет, необходимо отметить и еще один давно известный факт, а именно отражение в сюжетах монет варварской тематики (Зограф. 1951. С. 160). Наряду с этим замечена зависимость монетного дела Керкинитиды от нумизматики Херсонеса (Бурачков. 1884. С. 90; Орешников. 1892. С. 6 и сл.; Зограф. 1951. С. 160). Допускается даже возможность чеканки керкинитидских монет на монетном дворе Херсонеса или в Керкинитиде, но под контролем херсонесских чиновников (Медведева. 1984. С. 47–49). Впрочем, типологические параллели в монетных чеканках обоих городов очевидно сильно преувеличиваются. По существу, они ограничиваются одним-единственным монетным типом (Анохин. 1989. С. 85), в то же время влияние монетной чеканки Геракла на монеты обоих городов остается оцененным недостаточно.

Как в датировке двух ранних выпусков монет Керкинитиды, так и в трактовке их сюжетов содержится немало противоречий. Отметим только некоторые из них. Первый, наиболее ранний выпуск керкинитидских монет с богиней победы Никой и львом, терзающим быка, очевидно, был немногочис-

ленным. А. Н. Зограф обратил внимание на тождество фактуры этих монет с херсонесскими монетами серии из двух номиналов: квадрига/воин, двуликая голова/лев, терзающий быка (Зограф. 1951. С. 161). Отталкиваясь от этого наблюдения, А. М. Гилевич предположила, что упомянутые монеты обоих городов выпущены по случаю победы над скифами в ходе подчинения Северо-Западного Крыма Херсонесом после поражения и смерти Атея в 339 г. до н. э. (Гилевич. 1970. С. 6 сл.). Однако, придя к заключению, что притязания на Северо-Западный Крым встретили противодействие не скифов, а Ольвии, А. Н. Щеглов рассматривает одновременный выпуск монет с победными сюжетами в обоих городах как результат победы Херсонеса над Ольвией, на стороне первого выступила и Керкинитида (Щеглов. 1986. С. 170–171; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 326).

Между тем очевидно, что начало чеканки Керкинитидой собственной монеты не означает ничего иного, как обретение полисом политической самостоятельности. В таком случае получается, что именно Ольвия, победа над которой с помощью Херсонеса принесла независимость Керкинитиде, и была виновницей утраты самостоятельности полиса. Вывод логичный, но совершенно не соответствующий исторической ситуации, тем более что ни в сюжетах монет, ни в остальном археологическом материале нет даже намека на подобное развитие событий.

Пожалуй, стоит подробнее рассмотреть упоминавшиеся выше серии монет Керкинитиды и Херсонеса. В херсонесской серии монеты старшего номинала несут на лицевой стороне изображение квадриги с возницей, держащей в руке бич, а на оборотной стороне помещен коленопреклоненный воин со щитом. Изображения на обеих сторонах монеты не оригинальны, а заимствованы: как установлено еще А. В. Орешниковым, изображение лицевой стороны имеет параллели в сицилийских монетах, а сюжет оборотной имеет близкие соответствия в монетах Оронта и Кизика (Зограф. 1927. С. 380 сл.). А. Н. Зограф считал связь лицевой и оборотной сторон очевидной, поскольку для них выбраны наиболее яркие типы агонистического характера, выпуск монет был осуществлен в связи с какими-то играми, проводившимися в городе по поводу неких торжеств (Зограф. 1927. С. 391).

В смысловом отношении младший номинал не связан со старшим. Истолкование изображения двуликой головы, по словам А. Н. Зографа, вообще представляет значительные трудности, он допускал возможность видеть в нем изображение какого-то местного двуликого божества. Типу оборотной стороны — сцене терзания львом быка — давались самые разнообразные толкования: эпизод боя животных на состязаниях, аллегорическое изображение; однако наиболее вероятно видеть здесь, по мнению А. Н. Зографа, реальный, может быть, легендарный мотив (Зограф. 1927. С. 396). Сопоставление сцены терзания на младшем номинале херсонесской серии с мо-

нетами Аканфа, Велии, династов юга Малой Азии и Кипра «убеждает в том, что при всей близости мотивов эти типы не дают полных аналогий херсонесским монетам... Гораздо более решительные аналогии дают золотые четырехугольные бляшки из Чертомлыка» (Зограф. 1927. С. 396). Думается, что это наблюдение нумизмата чрезвычайно важно.

Заметим, что вся серия монет совсем не обычна для херсонесской нумизматики: на обоих номиналах монет отсутствуют традиционно херсонесские монетные символы, зато имеющиеся изображения неизвестны в более раннее время и не повторяются в более позднее. Более того, одновременное или почти одновременное появление сюжета «благого» терзания на монетах сразу двух соседних городов — Керкинитиды и Херсонеса — притом, что этот сюжет в монетах городов Северного Причерноморья более не повторяется, представляет собой явление в высшей степени исключительное. Указание А. Н. Зографа на теснейшую стилистическую и композиционную связь изображений на керкинитидских и херсонесских монетах с бляшками из Чертомлыка открывает направление поиска смысловых аналогий.

Если сюжет терзания в греческом искусстве и нумизматике — явление эпизодическое, связанное главным образом с восточными влияниями, то в искусстве скифов, скифском зверином стиле, издревле это один из самых популярных и основных сюжетов, встречающихся на множестве вещей самого разного рода (Кузьмина. 1976; 1976а. С. 57, 61).

Думается, что обращение монетариев к кругу наиболее излюбленных скифских сюжетов, сочетание сцены «благого» терзания на оборотной стороне с изображением богини победы Ники на лицевой стороне монет первого выпуска Керкинитиды, возвещающего об обретении городом независимости, ясно и однозначно указывает, над кем одержана победа и от чьей зависимости город освободился. Повторение этого сюжета на монетах младшего номинала херсонесской серии, учитывая, что это единственный случай обращения херсонесских монетариев к варварской тематике, заставляет рассматривать Херсонес в качестве основного союзника и, быть может, участника освобождения Керкинитиды.

Возможно, что имеющееся под сценой терзания на монетах Керкинитиды изображение палицы Геракла — символа, постоянно присутствующего на монетах Гераклеи и Херсонеса, а также прямые заимствования изображений с монет Гераклеи времени тирана Сатира для второй серии керкинитидских монет (подробнее см.: Кутайсов. 1992. С. 149) указывают на заинтересованность, поддержку и, быть может, участие в освобождении Керкинитиды от варварской зависимости не только Херсонеса, но и Гераклеи.

При определении даты монет первой серии в Керкинитиде, а следовательно, и возвращении городу независимости, связь их с монетной серией Херсонеса имеет первостепенное значение. Херсонесские монеты с квадри-

гой и связанные с ними монеты младшего номинала всеми без исключения исследователями относятся ко второй половине IV в. до н. э., однако в пределах этого временного отрезка более точная хронологическая привязка определяется по-разному.

Первоначально монеты с квадригой А. Н. Зограф относил к началу последней четверти или к предпоследнему десятилетию IV в. до н. э. (Зограф. 1927. С. 387). Впоследствии он отодвинул начало их выпуска на одно-два десятилетия назад, т. е. ближе к началу второй половины IV в. до н. э. (Зограф. 1951. С. 150). Этим же временем — 40-ми гг. IV в. до н. э. — датировала упоминаемые монеты А. М. Гилевич (Гилевич. 1970). В последние годы все большее признание находит датировка их серединой IV в. до н. э. (Анохин. 1977. С. 22–25; Щеглов. 1986. С. 170–171; Столба. 1990; Кутайсов. 1992), хотя некоторые нумизматы продолжают настаивать на более поздней датировке (Грандмезон. 1982. С. 35). Как видим, бесспорной хронологической привязки в пределах второй половины IV в. до н. э. для этих монет нет.

Говоря о выпуске монет с квадригой в Херсонесе в честь спортивных игр, проводившихся по поводу каких-то праздничных торжеств, А. Н. Зограф считал их выпуск недолговременным, но обильным (Зограф. 1951. С. 148), и это удачно подкрепляло его предположение об их праздничном характере. Дальнейшее изучение этой группы монет показало, что их чеканка осуществлялась на протяжении не менее двух десятков лет (Анохин. 1977. С. 24). Отсюда возникают вполне справедливые сомнения в том, что их победный характер связан с победой над Ольвией и подчинением Северо-Западного Крыма. Вряд ли даже самая блестящая победа сохраняла свою актуальность на протяжении почти четверти века. Скорее можно предполагать, что торжества и связанные с ними состязания проводились по какому-то иному поводу, сохранявшему свою значимость на протяжении длительного времени. Таким поводом могло быть заключение союза между Херсонесом и Керкинитидой, в котором какое-то участие могла принимать и Гераклея.¹

На наличие союзных отношений (симмахии) между Херсонесом и Керкинитидой обращается в последнее время самое пристальное внимание (Столба. 1990; Виноградов, Щеглов. 1990). Действительно, только в этом контексте становятся понятными строки 18–20 присяги херсонеситов, в которых говорится о злоумышляющих или предающих или склоняющих к от-

¹ Херсонес и Керкинитида не единственные полисы в Северном Причерноморье, где в монетной чеканке отмечается влияние Гераклеи. Появление на монетах атрибутов или сюжетов, заимствованных с гераклевских монет, отмечается для монет Синдики, Фанагории, Феодосии, Тиры. Тесные параллели в монетной чеканке, по мнению исследователей, допускают наличие союзных отношений между Гераклеей и этими городами (см.: Максимова. 1956. С. 164; Minns. 1913. S. 559).

падению Херсонеса, Керкинитида, Калос Лимен и пр. Упоминание в этом перечне Херсонеса, отпадение которого, наряду с прочими пунктами, допускается как потенциально возможное, делает предположение о наличии некоего союза весьма вероятным (Столба. 1990. С. 152–153).

Вернемся все же к монетным выпускам Керкинитиды и Херсонеса. Как установлено, монеты с квадригой выпускались на протяжении длительного времени. Первоначально были выпущены монеты без буквенных обозначений, затем осуществлено три выпуска с сокращенными именами магистратов — НР; АΥ; ΣΑ, последовавшие за этим выпуски несут на себе буквенные обозначения от Α до Σ (Анохин. 1977. С. 44). Младший номинал серии выпускался очень короткое время, на этих монетах известны сокращенные имена тех же чиновников, что и на монетах старшего номинала (Зограф. 1927; Анохин. 1977. С. 22). Это означает, что совместный выпуск монет старшего и младшего номиналов осуществлялся только при этих чиновниках и очень короткое время и, что весьма важно, не с самого начала чеканки монет с квадригой. Если верна последовательность выпуска монет старшего номинала и верны наши рассуждения, то оказывается, что начало чеканки монет старшего и младшего номиналов не только не совпадают по времени, но и отчеканены, вполне вероятно, по поводу разных событий.

С херсонесскими монетами младшего номинала в типологической и смысловой взаимосвязи находятся монеты Керкинитиды первого выпуска с Никой и сценой терзания. По существу, они и только они являются победными монетами, поскольку в их сюжетах содержится недвусмысленное указание на то, по какому поводу они выпущены и над кем одержана победа, херсонесские же монеты лишь дублируют сюжет. Если монеты с квадригой отмечают заключение союза, то монеты с Никой в Керкинитиде и монеты с двуликой головой и сценой терзания в Херсонесе отражают первые реальные плоды деятельности этого союза.

В нумизматической литературе неоднократно подчеркивалась стилистическая близость монет Керкинитиды и Херсонеса, между тем она вполне понятна и объяснима. Приступая к возобновлению монетных выпусков, Керкинитида, естественно, не имела ни собственных мастеров, ни собственных резчиков штампов для монет. Весьма вероятно, что штампы для монет первых серий были заказаны уже известному и опытному резчику, не исключено, что тому же, кто резал штампы и для монет Херсонеса.

Таким образом, и монеты двух причерноморских городов не являются ясным и однозначным доказательством раннего проникновения Херсонеса в Северо-Западный Крым. Напротив, анализ монетных эмиссий показывает, что в середине — третьей четверти IV в. до н. э. Керкинитида и Херсонес выступали как союзники, очевидно, равные как по своему потенциалу, так и по своему значению.

В заключение экскурса в нумизматику Керкинитиды и Херсонеса приведем еще одно противоречие, которое не находит удовлетворительного объяснения в рамках существующих ныне концепций. Уже упоминалось, что в первой половине IV в. до н. э. денежный рынок Керкинитиды при отсутствии собственной полисной монеты начинает заполняться херсонесскими монетами. Динамику поступления херсонесской меди хорошо демонстрирует график, построенный на данных В. А. Анохина, — этот автор составил достаточно представительную выборку монет из раскопок 1981–1982 гг. (Анохин. 1988. С. 133–148). Подсчеты показывают, что несмотря на присутствие в слоях Керкинитиды наиболее ранних выпусков монет Херсонеса, реальное или более менее постоянное поступление денег из Херсонеса начинается не ранее второй четверти IV в. до н. э., по-видимому, в это время еще не вышли из обращения монеты первых выпусков. Из общего количества монет, выпавших в слои Керкинитиды, на вторую четверть IV в. до н. э. приходится чуть меньше 30% монет. Примечательно иное: почти две трети монет приходится на середину и первые десятилетия второй половины IV в. до н. э., т. е. на то самое время, когда в Херсонесе чеканилась серия монет с квадригой и воином. Таким образом, наряду с собственной чеканкой денежный рынок Керкинитиды наиболее активно заполняется и монетами, поступавшими именно из Херсонеса. Однако более всего удивляет резкий спад (почти в 10 раз) поступления херсонесской меди уже в следующей, последней четверти столетия, причем начало этого спада отчетливо прослеживается по монетам, чеканенным сразу же за монетами с квадригой. Из монетной чеканки Херсонеса начала III в. до н. э. в выборке представлена только одна-единственная монета (Анохин. 1988. Прил. 144). Последняя четверть IV — начало III в. до н. э., между тем, это то время, когда и Керкинитида и весь Северо-Западный Крым по всем данным уже прочно входят в состав Херсонесского государства.¹

Среди возможных путей решения этой проблемы можно наметить три:

- 1) допустить, что неверно установлена последовательность и динамика чеканки монет в самом Херсонесе;
- 2) неверна хронология монетных выпусков Керкинитиды;
- 3) содержится существенный изъян в наших представлениях о структуре и характере самого Херсонесского государства второй половины IV — начала III в. до н. э., с одной стороны, и во взаимоотношениях Херсонеса с его провинциями в Северо-Западном Крыму — с другой.

¹ Термин «территориальное Херсонесское государство», предложенный А. Н. Щегловым (Виноградов, Щеглов. 1990), явно неудачен, поскольку не отражает специфики и существа этого государственного образования. Кроме того, трудно представить себе государство без территории.

Первое направление решения этой проблемы маловероятно: при всех недостатках существующей хронологической схемы монетной чеканки Херсонеса она все же прошла проверку временем и в основных своих чертах увязывается с археологическими комплексами. Что касается монет Керкинитиды, то В. А. Анохин попытался снять противоречие, предложив передвинуть начало чеканки монет в Керкинитиде на 30-е гг. IV в. до н. э. и рассматривать всю чеканку полиса как непрерывный ряд выпусков (Анохин. 1988; 1989). Однако эти поправки не были приняты, встретив аргументированную критику (Кутайсов. 1990; 1992; Столба. 1990; Виноградов, Щеглов. 1990).

Остается третий путь. Полнота наших знаний о структуре, характере и даже размерах Херсонесского государства времени его наивысшего расцвета в конце IV — начале III в. до н. э., видимо, недостаточна. Решающее значение может иметь не столько близость материальной культуры Херсонеса и сельских поселений Северо-Западного Крыма — эта близость очевидна и выявляется по многим элементам, — сколько отличительные особенности в архитектуре, строительном деле, материальной культуре и погребальном обряде, которые могут быть выявлены. Надо думать, что картина взаимоотношений двух частей единого по сегодняшним представлениям Херсонесского государства в конце IV — начале III в. до н. э. была много сложнее той, какую мы знаем сегодня.

Как бы там ни было, но последняя четверть IV в. до н. э. — важное время в истории Северо-Западного Крыма. Именно в это время все побережье от озера Кизил-Яр на юге и практически до Перекопского перешейка на севере покрывается сетью приморских поселений (Щеглов. 1978. Рис. 8). Типологически они отличаются друг от друга, но топографически зависимость их от качества пригодной для обработки земли и от морского побережья бесспорна (Щеглов. 1978. С. 32). По-видимому, одновременно размежевываются значительные площади плодородных земель как в приморской части, так и в глубине Тарханкутского полуострова, которые по суммарным оценкам составляют около 200–300 км², втрое превышая площадь, поделенную на участки вблизи самого Херсонеса (Щеглов. 1986. С. 173). При всей близости, отмечаемой для размежевки Гераклеяского и Тарханкутского полуостровов, система расселения в Северо-Западном Крыму была все же принципиально иной.

С последней четверти IV в. до н. э. в материальной культуре поселений Северо-Западного Крыма прослеживаются многочисленные черты и культурные влияния, которые бесспорно связываются с Херсонесом. Не ранее последней четверти этого столетия проявляются херсонесские погребальные традиции и в некрополях Северо-Западного Крыма (Рогов. 1989. С. 102–103). Причем херсонесское влияние заметно нарастает к концу столетия и особенно в начале III в. до н. э.

Если опираться на массовый археологический материал, на твердо установленные факты, то безусловно придется признать, что экспансия Херсонеса в Северо-Западный Крым начинается не ранее последней четверти IV в. до н. э., причем под термином «экспансия» в данном случае следует понимать активное и широкомасштабное освоение земель Северо-Западного Крыма. Этот последний этап освоения эллинами Тарханкутского полуострова, который, без сомнения, может именоваться херсонесским, закончился в конце первой трети III в. до н. э. гибелью и разорением большинства сельских поселений.

5. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму: оценка степени взаимовлияний

В отличие от Херсонеса, где в жизни эллинской общины варварские черты на общем культурном фоне проявляются незначительно, в Северо-Западном Крыму влияние варварских культурных традиций наложило на культуру эллинов значительно более глубокий отпечаток, что уже само по себе предполагает и более тесные связи с варварским миром.

5.1. Лепная посуда

Лепная керамика (рис. 14) в ранних слоях городища Керкинитиды свидетельствует о наличии контактов между жителями полиса и варварским окружением уже в раннее время — по меньшей мере с начала V в. до н. э. Определенно не известно, как попадали варвары в город: приводила ли их сюда экономическая необходимость или, как предполагают, молодые эллины выбирали себе жен в среде местного населения, несомненно одно — обломки лепной керамики служат индикатором присутствия в среде городских жителей выходцев из варварского окружения.

В Керкинитиде, как и во всем Северо-Западном Крыму, судя по находкам лепной керамики, в числе жителей были как представители скифского степного мира, так и выходцы из предгорного и горного Крыма. По словам Геродота, Керкинитиде располагалась как раз на границе владений тавров и скифов, поэтому присутствие в городе носителей обеих культурных традиций вполне понятно. Тесная связь Керкинитиды с варварскими племенами, прежде всего со скифами, выражается в трибутивной зависимости города от них (возможно даже, зависимость была еще более жесткой), в сюжетах керкинитидских монет, в некоторых деталях погребального обряда (см.: Кутайсов, Ланцов. 1989), а не только в наличии варварской керамики в составе керамического комплекса города.

Лепная керамика других поселений Северо-Западного Крыма специально исследованию не подвергалась, известно лишь, что в лепной посуде

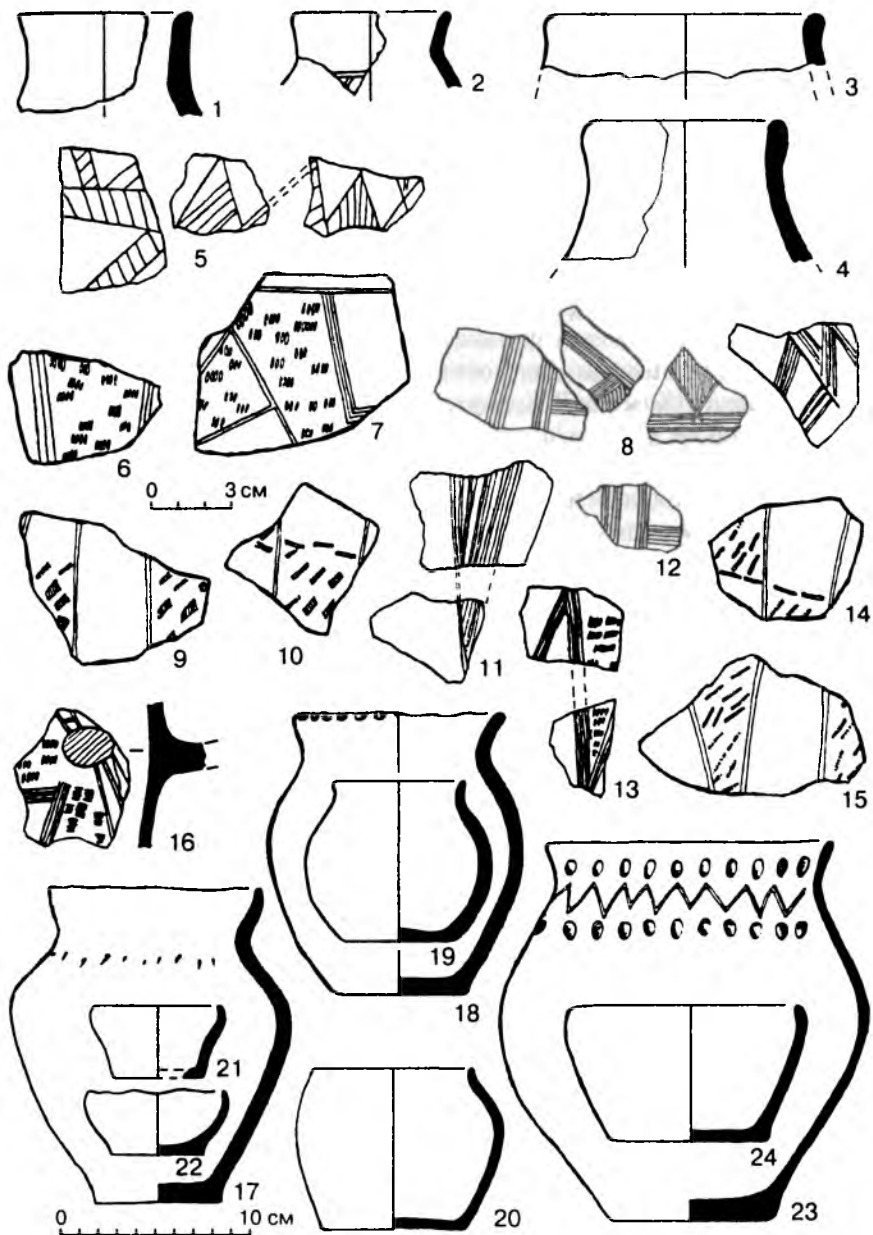


Рис. 14. Лепная керамика из поселений Северо-Западного Крыма

большинства из них, так же, как и в керамическом комплексе Керкинитиды, помимо форм, характерных для скифской лепной посуды, имеются обломки сосудов с резным и гребенчатым орнаментом.

Исключение составляет комплекс лепной посуды Панского I, подробно исследованный В. Ф. Столбой в его кандидатской диссертации «Херсонес и скифы в V–II вв. до н. э. Проблемы взаимоотношений» (Столба. 1991). На выводах этого исследователя необходимо остановиться подробно. В составе керамического комплекса поселения Панское I лепная керамика занимает значительное место, ее удельный вес, по подсчетам автора исследования, составляет от 48 до 52%, что, как показано им, намного выше, чем на большинстве сельских поселений ольвийской хоры; правда, он сопоставлял свои расчеты с керамикой позднеархаических поселений. Сопоставление удельных весов лепной посуды Панского и синхронных поселений ольвийской сельской округи (Козырка II, Козырка XII, Козырка XII — южная) оставляет в силе вывод В. Ф. Столбы, поскольку удельный вес лепной посуды на этих поселениях вдвое ниже, чем на Панском.

В ходе изучения форм и орнаментации сосудов В. Ф. Столбой установлено, что массив делится на три разновеликие группы лепных изделий. Первая, наиболее многочисленная группа состоит из сосудов, повторяющих хорошо известные в степной зоне Северного Причерноморья образцы скифской лепной керамики. Хронологически группа охватывает весь период существования памятника.

Лощеные и нелощеные сосуды, большинство из которых украшено резным или гребенчатым орнаментом, составляют вторую группу лепных изделий. Количественно эта группа во много раз меньше первой. Формы сосудов и типы орнаментации позволили связать посуду второй группы с керамикой позднего этапа кизил-кобинской культуры. Появление сосудов этой группы на поселении В. Ф. Столба датирует серединой IV в. до н. э. и связывает с проникновением в Северо-Западный Крым херсонеситов и перемещением ими в этот район зависимого таврского или тавро-скифского населения. Последний вывод принять невозможно хотя бы потому, что в середине IV в. до н. э. зависимость окрестных варваров от Херсонеса представляется весьма проблематичной и не подтверждается никакими источниками.

Вместе с тем пример керамического комплекса Керкинитиды, где кизил-кобинская керамика появляется задолго до основания Херсонеса, позволяет осознать поспешность подобных выводов. Вероятность того, что и на Панском I сосуды второй группы могли появиться ранее середины IV в. до н. э., очень высока. Следует учитывать степень исследованности напластований и величину раскрытых площадей памятника: так, исследованные площади раннего поселения составляют десятки квадратных метров, в то время как позднего поселения — тысячи.

Третья группа сосудов поселения Панское I — подражания греческой кружалной керамике.

Установлено, что наибольшее разнообразие форм и типов сосудов характерно отнюдь не для позднего этапа существования памятника, а для времени середины — третьей четверти IV в. до н. э. В дальнейшем лепная керамика, по словам автора исследования, образует на поселении вместе с гончарной единый комплекс посуды с четкой регламентацией функций. Лепная предназначалась исключительно для приготовления пищи и потому представлена почти исключительно горшками и кастрюлями. К концу IV — началу III в. до н. э. основная масса типов лепной посуды выходит из употребления.

Напомним, что и в Керкинитиде наблюдается аналогичное явление. Так, лепная чернолощенная керамика кизил-кобинского типа встречается преимущественно в слоях от начала V в. до н. э. до середины — третьей четверти IV в. до н. э., в более позднее время находки ее единичны (Кутайсов. 1987. С. 35). А в конце IV в. до н. э. круг форм ограничивается преимущественно горшками степного скифского облика. Таким образом, картина получается прямо противоположная той, какую предполагает В. Ф. Столба.

С последней четверти IV в. до н. э., когда Северо-Западный Крым включается в состав Херсонесского государства, не только не появляется никакого разнообразия в формах лепной посуды, но как раз наоборот — выходят из употребления ранее существовавшие типы, а остается один единственный специализированный тип — горшок для варки пищи. В этом случае, если данное явление рассматривать как свидетельство эллинизации варваров, живших на поселении, то это одновременно является и свидетельством утраты ими прочных связей со своими единоплеменниками.

5.2. Погребальный обряд

Для выявления иноэтничных элементов в среде эллинских жителей, помимо лепной керамики, постоянно привлекаются данные погребального обряда. Для Северо-Западного Крыма мы располагаем достаточным количеством материалов по погребальному обряду, правда, не всегда равноценных.

Курганные некрополи выявлены у нескольких поселений и несомненно принадлежали их жителям. Помимо Керкинитиды курганные некрополи известны у поселения Чайка, Панское I, Караджа, Калос Лимен, Кульчук. Систематически раскапывались лишь могильники у двух первых поселений, небольшие работы проводились на Кульчукском некрополе. В последние годы ведутся раскопки некрополя Калос Лимена, но результаты этих работ в научный оборот пока не введены и, таким образом, доступными для анализа остаются материалы трех памятников — Керкинитиды, Панского и Чайки.

Захоронения на всех трех некрополях совершались как в обычных грунтовых могилах, так и под курганами. К сожалению, степень ограбленности

и разрушения могил в Керкинитиде и на Чайке такова, что не всегда возможно проследить и сопоставить все детали погребального обряда. Несмотря на это, ряд общих черт в этих некрополях очевиден: схожесть некоторых типов гробниц, надгробий, наличие детских захоронений в амфорах, скорченные захоронения и др. Вне всякого сомнения, основная масса захоронений совершена с соблюдением норм погребальной практики эллинов. К числу таковых обычно относят восточную ориентировку погребенных, вытянутое на спине положение костяков, детские захоронения в амфорах, кремированные погребения, некоторые типы погребальных сооружений, не имеющие аналогов в варварской среде (например, сырцовые склепы), определенные категории погребального инвентаря, не свойственные варварским захоронениям в степной зоне Северного Причерноморья (лекифы, стригили и т. п.).

Наряду с этим имеется ряд деталей, которым нет надежного объяснения в рамках греческого погребального обряда. К числу таковых в некрополях Северо-Западного Крыма следует относить сам факт захоронения под курганными насыпями, подбойные могилы, наличие в могилах оружия, заупокойной пищи, скорченное положение костяков. Но прежде чем остановиться подробнее на каждой из этих черт, сделаем ряд предварительных замечаний.

Первое из них касается самого греческого погребального обряда, которого, как известно, в строго регламентированном для всего греческого мира виде не существовало. Существовали, очевидно, определенные религиозно-магические представления, в соответствии с которыми совершалось захоронение. Но обряды, принятые в погребальной практике различных греческих полисов, не были тождественными (Plut. Sol., V). Различия в обряде могут фиксироваться не только в могильниках разных полисов, но и в пределах одного городского некрополя — между погребениями, относящимися к разным социальным группам. По этим причинам поиск аналогий нашим захоронениям в некрополях греческих городов не всегда бывает удачным и, тем более оправданным с методической точки зрения. Мы знаем немало примеров, когда отдельным особенностям какого-либо некрополя аналогии подбираются в различных частях античного мира; так, Ю. И. Козуб находит аналогии могилам с деревянными конструкциями в Аттике, подбойным могилам — на Кипре и в Малой Азии, а такой детали погребального обряда, как присутствие оружия в могилах, — в некрополях Самоса, Родоса, Испании и Южной Франции (Козуб. 1974). Нельзя серьезно считать, что ольвиополиты перенимали способы устройства могил и помещения в могилы умерших от жителей всех перечисленных районов античного мира.

Второе наше замечание связано именно с тем, что те или иные отклонения от условно принятой нормы греческой погребальной практики находят убедительное объяснение, если привлекать не далекие и, кстати, весьма разнородные аналогии из практики жителей материковой и островной Гре-

ции, а рассматривать их в комплексе с теми материалами, которые предлагает варварское окружение.

В такой постановке вопроса многих смущает открывающаяся возможность прямой этнической атрибуции погребений. Действительно, если, скажем, мы признаем, что в некрополе греческого полиса та или иная черта погребального обряда имеет варварское происхождение, не означает ли это, что все могилы, где эта черта выражена явно, следует считать негреческими? Нет, не означает. Процесс заимствования не столь прямолинеен. Мы никогда или почти никогда по контексту погребения не сможем однозначно и с полной достоверностью ответить на вопрос об этносе погребенного. Поскольку этническая принадлежность выражается не только и даже не столько в культуре, сколько в самосознании. Культурные взаимовлияния между народами приводят к тому, что отличительных этнических особенностей становится все меньше; они при необходимости, при существующей потребности быстро становятся достоянием других народов (Корпусова. 1983. С. 91). Это особенно актуально для тех зон, где контакты между народами имеют устойчивый и длительный характер. И, наконец, третье — материалы, которыми мы располагаем по Северо-Западному Крыму, относятся к той поре, когда варварское население в Северном Причерноморье находилось в соприкосновении с греческим миром уже более двух столетий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что нам при анализе варварских элементов в некрополях Северо-Западного Крыма приходится выходить за те территориальные и хронологические рамки, которые обозначены в названии нашей темы.

5.3. Подбойные могилы

Как уже говорилось, в некрополе Панское I подбойные могилы принадлежат к раннему его периоду и составляют характерную его особенность. В V–IV вв. до н. э. обычай захоронения умерших в подбойных могилах ограничивается исключительно районом Северо-Западного Причерноморья — Ольвией и близлежащей территорией. В других греческих центрах Северного Причерноморья этот тип могил неизвестен — на Боспоре они появляются не ранее конца III в. до н. э. В Херсонесе наиболее ранние подбойные могилы датируются II в. н. э. и по конструкции отличаются от подбоев классического и эллинистического времени. Локальность их, таким образом, очевидна. Проникновение их в Северо-Западный Крым следует связывать с перемещением каких-то групп населения с территории Ольвийского полиса (Щеглов, Рогов. 1985)

Между тем появление подбойных могил в самом ольвийском некрополе оценивается неоднозначно. Существуют два различных представления о происхождении этого типа могил. Одни исследователи склонны видеть

в них проявление норм греческой погребальной обрядности. Так, Ю. И. Козуб вслед за Б. В. Фармаковским связывает ольвийские подбойные могилы с подземными погребальными сооружениями Малой Азии и Кипра и считает этот тип могил ионийским (Козуб. 1974. С. 119). Однако связь между указанными группами могил не столь однозначна, они демонстрируют совершенно разные конструктивные особенности; общим является, пожалуй, только сам принцип захоронения в подземной камере, но устройство могил разительно отличается.

Против того, что этот тип могил ионийский и завезен в Ольвию первопоселенцами, свидетельствует их отсутствие в наиболее раннем пласте погребений. Отсутствуют они и в некрополе Березанского поселения, равно как и в некрополях всех других поселений, основанных ионийцами на северном берегу Понта. Приходится, таким образом, признать, что ольвийские подбойные могилы не имеют аналогов не только в Северном Причерноморье, но и в иных частях греческого мира и не имеют связи с погребальными традициями ионийцев метрополии.

Другая версия происхождения подбойных могил в Ольвии опирается на высокую степень концентрации этого типа могил в Побужье и Поднепровье, ближайших к ольвийскому полису степных скифских районов. Именно это обстоятельство привело некоторых ученых к заключению о заимствовании конструкции подбойных могил в Скифии и связи этих могил со скифскими элементами в населении города (Гайдукевич, Капошина. 1951; Капошина. 1959).

Между тем есть все основания отвести и эту версию. В раннескифское время на всей территории степного Причерноморья известно всего три подбойных могилы, датируются они второй половиной VI в. до н. э. За все следующее столетие захоронений в таких могилах совершено только пять.

На фоне единичных могил в степной части Северного Причерноморья ольвийский некрополь демонстрирует устойчивую традицию захоронения в подбойных могилах. Так в последней четверти VI — начале V в. до н. э. их известно 12, в первой половине V в. до н. э. в общей массе погребальных сооружений они составляют третью часть, а во второй половине столетия уже половину. Укажем также, что в могилах этого типа, датированных архаическим временем, не встречено вещей, которые традиционно связывают со скифской культурой. Подобные вещи изредка встречались при раскопках некрополя, но в иных типах погребальных сооружений.

Есть все основания считать, что сам тип погребального сооружения в виде впускной ямы с подбоем в одной (или обеих) длинных стенках является изобретением самих ольвиополитов и сложился непосредственно в Ольвии. О том, что это открытие было весьма удачным, говорит факт неизменности конструкции могилы на протяжении довольно длительного времени. Лишь

к концу IV в. до н. э. появляются модификации типа, впрочем, весьма редкие. Более того, в IV в. до н. э. Ольвия становится своеобразным центром распространения этого типа могил — с начала столетия подбойные могилы появляются на отдаленных территориях (Панское, Кошары), а со второй четверти столетия и в некрополях ближайшей сельской округи.

Не следует исключать и того, что широкое распространение подбойных могил в степной части Северо-Западного Причерноморья в IV в. до н. э. происходило под непосредственным воздействием погребальных традиций ольвиополитов, которые наряду или вслед за возрастающим импортом проникали в среду причерноморских варваров.

5.4. Захоронения с оружием

В некрополе Панское они немногочисленны, да и сами предметы вооружения не отличаются разнообразием. Наконечники стрел найдены в 10 могилах, в трех из них лежало по одному экземпляру, в остальных могилах встречены наборы от 2 до 13 штук. Наконечники копий открыты лишь в одной могиле; также единична находка в могиле железного боевого топора-молотка. Наконечники стрел и копий найдены и в могильнике поселения Чайка, но здесь их значительно меньше, что объясняется, очевидно, ограбленностью могил и большим разрушением.

Для большинства могильников греческих городов в Северном Причерноморье находки оружия в могилах — явление обычное, причем количество могил с оружием подчас весьма значительно (Цветаева. 1951; Кастанаян. 1959а; Силантьева. 1959; Сорокина. 1957; Козуб. 1974; Белов. 1948; Скуднова. 1962). Так что в этом отношении некрополи Северо-Западного Крыма не являются исключением. Некоторые исследователи считают, что оружие в могильниках прямо указывает на негреческий этнос погребенного (Капошина. 19506). Более осторожные с различными оговорками считают, что наличие оружия в могилах связано с определенным влиянием местной традиции (Гайдукевич. 1959. С. 186; Сорокина. 1957. С. 20–21). Отправной точкой рассуждений сторонников этой интерпретации служит отсутствие погребений с оружием в Греции и Ионии; этот обычай, распространенный в Греции в раннее время, практически исчезает к VI в. до н. э. (Kurts, Boardman. 1971. P. 207). Находки оружия в могилах в более позднее время исключительно редки (Boehlau. 1898. Pl. XV; 4; Poulsen. 1905. S. 27). Сам по себе факт отсутствия оружия в могилах некрополей Греции еще не может служить основанием для констатации негреческого происхождения погребенных с оружием в Северном Причерноморье. Завораживающее действие оказывает, очевидно, не столько факт присутствия оружия в могилах, сколько его вид, совершенно тождественный образцам, распространенным по всей территории степной Скифии. Оружие греческих форм встречается исклю-

чительно редко. Другая группа исследователей, опираясь на те же самые аналогии в некрополях Греции и Ионии, утверждает обратное — могилы с оружием в Северном Причерноморье принадлежат грекам (Скуднова. 1960. С. 72; Козуб. 1974. С. 120; Лапин. 1966. С. 208).

Позиция этих исследователей представляется наиболее оправданной, хотя приводимые ими аргументы и не являются бесспорными. Объяснение, очевидно, следует искать в конкретной ситуации. Колонисты в Северном Причерноморье столкнулись с сильными и воинственными местными племенами, контакты с которыми, судя по археологическому контексту, далеко не всегда были мирными. Трудно себе представить, что в этих условиях колонисты не обладали совершенно никаким оружием. К этому следует добавить, что конкретной ситуацией продиктована полная смена характерного греческого вооружения (образцов типично греческого оружия в городах Северного Причерноморья известны считанные единицы) на типично скифское. Имеющиеся материалы характеризуют вооружение античных колоний уже на самом раннем этапе их истории как скифское. Более того, есть все основания утверждать, что греческие города наладили выпуск оружия скифского образца не только для собственного вооружения, но и обеспечивали им окружающих варваров. Именно этой конкретной ситуацией, и ничем иным, следует объяснять присутствие оружия в могилах. Разумеется, изменения в системе вооружения греческих колонистов происходили под прямым и непосредственным влиянием военного дела варваров, что лишний раз подчеркивает открытость греческой общины, поставленной в специфические условия.

Связать наличие оружия с каким-то определенным типом гробниц не удастся. Предметы вооружения встречаются в самых разных типах могил, как с сопровождающим погребенного инвентарем, так как и в безынвентарных и даже в детских и женских захоронениях (Масленников. 1981. С. 34). Следовательно, вряд ли стоит принимать наличие в могилах оружия за непосредственное указание на определенный этнос.

5.5. Заупокойная пища, подстилки в могилах

Подстилки в виде слоя морской травы зостеры на дне могил в некрополе Панское фиксировались неоднократно. Они встречены в разных по конструкции погребальных сооружениях. В некрополе Чайка такие подстилки неизвестны, но зафиксированы подсыпки из суглинка, что представляется в функциональном отношении абсолютно тождественным. Подстилки из различных материалов, а также подсыпки из песка, ракушек или мелких камней выражали, в сущности, заботу об умершем, создание элементарных «удобств» в загробной жизни, вне зависимости от этнической принадлежности (Лапин. 1966. С. 205). Обычай этот был характерным как для окру-

жающих варварских племен, так и для жителей греческих городов в Причерноморье; думается, что ошибочно было бы придавать ему какую-либо этническую окраску. И этот обычай характерен для разных типов гробниц; он не связывается с каким-то одним определенным типом или типами и не зависит от наличия в могилах сопровождающего инвентаря.

С этих же позиций следует оценивать и наличие в могилах жертвенной пищи. К сожалению, трудно оценить действительную распространенность этой детали обряда, так как огромный массив костного материала из могил (особенно из раскопок прошлого века и начала нынешнего) остался неопределенным. В некрополе Панское I мясная заупокойная пища в виде остатков костей мелкого рогатого скота зафиксирована в единичных могилах. К этой же категории мы относим те могилы — их значительно больше, — где были обнаружены раковины съедобных моллюсков. Обычай снабжать покойного напутственной пищей был распространен в среде варварских племен весьма широко, не только у скифов, но и у меотов и сарматов (Граков. 1971. С. 46; Смирнов. 1964. С. 100). Остатки погребальной жертвы неоднократно фиксировались и в некрополях собственно Греции в архаическое время (Young. 1951). Позднее этот обычай затухает (Poulsen. 1905. S. 22; Kubler. 1976). Думается, что ясно, насколько этот обычай был широко распространенным у разных народов. По этой причине, очевидно, было бы неверным безоговорочно относить те могилы, где встречена эта деталь обряда, к группе негреческих.

В некрополе Панское раковины съедобных моллюсков обнаружены не только в могилах с обычным набором погребального инвентаря, но и в тех могилах, где инвентаря не было. Можно, очевидно, говорить о том, что люди даже с весьма скромным достатком старались снабдить умершего заупокойной пищей. Этот акт, а также выстилание дна могил, естественно, являются не просто утилитарными действиями, но и глубоко сакрализированными в своей основе. Вместе с тем, будучи широко распространенными у многих народов, вряд ли они могут служить серьезным указанием на этнос погребенного.

5.6. Погребения в скорченном положении

В некрополе Панское лишь 7% погребенных были положены в скорченном положении, в некрополе Чайка количество скорченных захоронений тоже невелико. Небольшой процент скорченных захоронений неоднократно отмечался исследователями практически во всех греческих северопричерноморских центрах: на Березани (Капошина. 1956б. С. 222), в Ольвии (Козуб. 1974. С. 20–22), в Пантикапее (Кастанаян. 1959а. С. 283; Цветаева. 1951. С. 67), в Фанагории (Кобылина. 1951. С. 239), в Нимфее (Грач. 1981. С. 260), в Херсонесе (Белов. 1938. С. 165–195); известны они и в Западном Причерноморье (Аполлония. С. 270).

Вопросы этнической интерпретации погребенных в скорченном положении затрагивались во многих работах, но, несмотря на это, проблема остается открытой и остро дискуссионной. Если суммировать взгляды исследователей, то обозначатся две противоположные точки зрения. Согласно первой из них, захоронения в скорченном положении рассматриваются как захоронения представителей варварской части населения городов. Так, скорченные захоронения в некрополях азиатского Боспора связываются с представителями синдо-меотского населения (Масленников. 1981. С. 29), в Херсонесе — таврского (Белов. 1948. С. 31–32; Стржелецкий. 1948. С. 95), в Ольвии — скифского (Капошина. 1941. С. 116), в Аполлонии — фракийского (Аполлония. С. 13). Сторонники этой точки зрения, пользуясь формально-типологическим методом, отмечают отсутствие таких захоронений в синхронных некрополях Греции.

Этот обряд был распространен как в Греции, так и в Малой Азии в более раннее время, но уже в эпоху архаики он исчезает и встречается лишь как исключение (Kubler. 1959. S. 68; Young. 1951. P. 87–102; Poulsen. 1905. S. 27). Имеющиеся захоронения в скорченном положении на варварских территориях, по их мнению, неопровержимо свидетельствуют в пользу варварской принадлежности захоронений в скорченном положении и в некрополях северопричерноморских центров. Заметим от себя, что оба приведенных тезиса, будучи, по сути дела, лишь чистой декларацией, отнюдь не являются доказательствами.

Сторонники противоположной точки зрения считают захороненных в скорченном положении греками (Козуб. 1974. С. 23; Лапин. 1966. С. 217–220; Кадеев. 1973. С. 108). Они обращают внимание на то, что и для варварских территорий этот обряд не был характерным (Лапин. 1966. С. 218) (разумеется, исключая Горный Крым), а также на то, что скорченные захоронения расположены в некрополях рядом с вытянутыми (иногда даже оба типа погребения встречаются в одной могиле), что большинство из них ориентировано на восток и некоторые снабжены погребальным инвентарем. Известны также и детские скорченные захоронения в амфорах. Хотя доводы сторонников этой точки зрения и более серьезны, но и они не оставляют впечатления однозначности.

Наша краткая сводка отнюдь не исчерпывает всех аргументов «за» и «против» сторонников обеих концепций. Мы не ставили своей целью подробный разбор их аргументов. Это является задачей специальной работы. По нашему мнению, ни одна из сторон, опираясь на одну и ту же сумму фактов, не в состоянии привести убедительных и однозначных доказательств своей правоты. Как было показано в разделе о варварских чертах в Херсонесе, детальный анализ материалов некрополя не позволяет даже в культурном плане вычленить подобные погребения из общего массива захоронений и связать

их с безусловно варварскими влияниями. Следует уже наконец признать, что попытки этнической интерпретации скорченных захоронений в античных некрополях бесперспективны.

5.7. Курганные насыпи

Взору путешественника прошлого века, подъезжающего к Ольвии или Пантикапею, открывалась величественная картина целых полей курганных насыпей, от которых в разные стороны разбегались вдоль древних дорог цепочки курганов; эти два города в Северном Причерноморье не были исключением. Сочетание грунтовых и подкурганных погребений — специфическая особенность большинства причерноморских городов, кроме, пожалуй, Херсонеса. Любопытно, что некрополи ранних поселений, по крайней мере до V в. до н. э., были грунтовыми, курганные насыпи рядом с ними появляются не ранее этого столетия, а большинство курганов в составе античных некрополей датируется IV в. до н. э.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что сама идея, принцип сооружения земляного холма над могилой был известен грекам — сведения о подобном устройстве погребальных сооружений сохранились в письменных источниках (Ном. II, XXIII; Thuc. Hist., II), однако в самой Греции, как островной, так и материковой, некрополи все же большей частью были грунтовыми. Напротив, у варварских племен Северного Причерноморья способ захоронения умерших в грунтовых бескурганных могилах совсем не получил развития — их могильники исключительно курганные, именно это обстоятельство и заставляет считать традицию сооружения курганных насыпей в греческих городах Северного Причерноморья заимствованной у окружающих варваров.

Захоронения в каменных ящиках под курганами, окруженными кольцевой обкладкой из камня, известны в степях к северу от Евпатории в VI–V вв. до н. э. (Ольховский. 1978; 1982). К этой же группе принадлежит и курган Кара-Меркит (Дашевская. 1981).

Устойчивая для всего региона традиция — применение камня. Характерно, что камень применялся для сооружения различных типов гробниц, а также и при возведении курганных насыпей. На близость некоторых типов каменных гробниц степной части Восточного Крыма могилам в боспорских некрополях обратила внимание Э. В. Яковенко (Яковенко. 1970. С. 132). С подобной ситуацией мы сталкиваемся и в Северо-Западном Крыму. Особенно отчетливо это стало проявляться в последние десятилетия в связи с исследованием степных курганов Тарханкутского полуострова и Центрального Крыма.

В IV в. до н. э. количество курганов с каменными конструкциями и погребальными сооружениями из камня в степной части Западного Крыма замет-

но увеличивается (Ольховский, Храпунов. 1990. С. 52), именно в это время появляется такой тип каменных гробниц, как склеп с дромосом. Каменные склепы открыты в могильниках у с. Наташино, Крыловка (бывш. Ойбур); они почти в точности повторяют планировку и размеры каменных склепов некрополя Чайка и склепов Беляуса. К ним типологически близки гробницы из курганов Восточного Крыма (Яковенко. 1970). Таким образом, выделяется целая группа погребальных сооружений чрезвычайно близких, если не сказать идентичных, по своему устройству и планировке — они известны как в степи, так и в античных сельских некрополях Северо-Западного Крыма.

В большом количестве в степной части Крымского полуострова присутствует и такой тип гробниц, как каменные ящики и плитовые гробницы. Раскопки у с. Наташино, Солдатское, Шалаши, Крыловка (Ойбур), Суворово, Снежное (Сакский р-н), Крыловка (Первомайский р-н), Вишневое, Григорьевка позволяют утверждать, что на всем протяжении V и IV вв. до н. э. эти типы погребальных сооружений бытуют непрерывно. В. С. Ольховский, рассматривая материалы Колосковского могильника, связал их с группой скифо-кизил-кобинского населения и отнес начало формирования этого населения к VII–VI вв. до н. э. (Ольховский. 1982. С. 77).

Однако одно дело проследить истоки традиций, выявить типологическое сходство погребальных сооружений античных некрополей и степных могильников и другое — выяснить, кто был похоронен в конкретном погребальном сооружении античного некрополя.

Установлено, что в некрополях Северо-Западного Крыма захоронения совершались в могилах как перекрытых курганными насыпями, так и в грунтовых бескурганных; из этого между тем еще не следует, что под курганами похоронены варвары, а в бескурганных могилах — греки. В типах и способах устройства гробниц, в составе погребального инвентаря и в его размещении в могилах, в положении и ориентировке умерших подкурганные захоронения отличий от бескурганных не имеют. Анализ погребального обряда приводит к твердому убеждению: погребения, совершенные как в грунтовых гробницах, так и в подкурганных, однозначной этнической интерпретации не поддаются. Этот вывод справедлив не только для некрополей Северо-Западного Крыма, но и для большинства некрополей городов Северного Причерноморья.

В некрополях Северо-Западного Крыма не выявляется каких-либо локальных изолированных групп погребений с четко выраженными варварскими чертами погребального обряда. Напротив, традиции, уходящие корнями в варварский мир, варварское происхождение которых несомненно, в IV в. до н. э. оказываются уже растворенными в нормах и правилах эллинской погребальной обрядности. Перед нами не просто набор разрозненных по своему происхождению элементов обряда, норм, традиций, а единая сло-

жившаяся (или складывающаяся) система. Культурное поле даже небольших по численности эллинских общин принимало и довольно быстро усваивало местные культурные традиции, в результате чего происходило сложение иного, отличного от первоначального погребального обряда, остающегося все же по существу эллинским, в том смысле, в каком можно назвать эллинами жителей прибрежных поселений Северо-Западного Крыма.

Смешение варварских и эллинских традиций как в повседневной жизни, так и в нормах погребального обряда закономерно приводит к заключению о культурной, соответственно, и этнической неоднородности населения. Однако вывода о том, что на поселениях Северо-Западного Крыма проживало гетерогенное население, явно недостаточно. Судя по тому, что в материальной культуре поселений и в погребальном обряде жителей не удастся выделить никаких изолированных, локальных явлений, а традиции, истоки которых достаточно надежно прослеживаются в варварском мире, оказываются органично включенными в канву эллинской культуры, речь, по-видимому, должна идти не столько о гетерогенности (разнородности) населения, сколько о том, что это население было в значительной степени метизированным.

5.8. Основные выводы

Подведем итоги. Западный Крым среди районов колонизационной деятельности эллинов в Северном Причерноморье представляет собой особое, уникальное явление. Действительно, природные различия между южной и северной частями Западного Крыма способствовали сложению здесь ко времени появления первых греческих колонистов своеобразной демографической ситуации. В Северо-Западном Крыму постоянного оседлого населения не было, эта территория была зоной более или менее регулярных сезонных кочевков степных варваров. Предгорный и горный Юго-Западный Крым был заселен оседлыми или полuosедлыми племенами горцев. Иными словами, греческие колонисты встретились в Западном Крыму с двумя культурно, хозяйственно и этнически различными варварскими образованиями. На примере этих двух районов удастся проследить существенные различия в колонизационной практике эллинов и в их отношениях с местными варварами.

Керкинитида, основанная в степном Северо-Западном Крыму, оказалась в условиях, близких к тем, в которых существовали поселения греков в Северо-Западном Причерноморье. Судя по всему, первые полтора-два столетия своего существования город развивался в том же направлении, что и другие города левого Понта, а взаимоотношения Керкинитиды с местными варварами складывались так же, как и в Ольвии.

Для сколько-нибудь полной характеристики отношений греков и варваров на протяжении V в. до н. э. в Юго-Западном Крыму, к сожалению, дан-

ных явно недостаточно. Однако совершенно очевидно, что с самого начала появления эллинского поселения на месте будущего Херсонеса его отношения с туземцами отличались от тех, которые складывались между греками и варварами на Боспоре или в Северо-Западном Причерноморье. Отличия отчетливо выражаются в отсутствии у варваров Крымских гор и предгорий импортов и, пожалуй, в том, что это раннее поселение на берегу Карантинной бухты за целое столетие своего существования так и не приобрело ясно выраженных признаков города.

Таким образом, еще до появления в Западном Крыму дорийских греков и еще до начала освоения ими этого района по «модели дорийского образца» греко-варварские взаимоотношения здесь имели определенный оттенок своеобразия. Еще более резкие различия проявляются в следующем столетии, особенно во второй его половине и в начале III в. до н. э., когда община херсонеситов приступила к активному и широкомасштабному освоению земель в Западном Крыму и расширению границ полиса.

Археологические материалы со всей очевидностью свидетельствуют об отсутствии в Херсонесе сколько-нибудь существенных групп варварского населения, об отсутствии культурных влияний со стороны варварского окружения и, что весьма существенно, о полной невосприимчивости каких-либо инородных культурных традиций самой общиной херсонеситов.

Совершенно иная картина предстает перед нами на поселениях Северо-Западного Крыма. Здесь в культуре отчетливо прослеживается влияние варварских традиций, идет процесс активного усвоения инокультурных элементов, включение их в культурное пространство эллинских общин. Это позволяет с достаточной степенью вероятности предполагать, что население этой части Западного Крыма было смешанным, метизированным, хотя общий культурный фон и оставался совершенно эллинским.

Боспор Киммерийский

Как хорошо известно, Боспор получил название по древнему наименованию Керченского пролива — Боспор Киммерийский (рис. 15). В соответствии с традиционным представлением о границе между Европой и Азией, которую в античный период обычно проводили по р. Танаису (Дон), Меотиде (Азовскому морю) и Боспору Киммерийскому (см.: Herod. IV, 45; Strabo. VII, 4, 5; XI, 2, 1), западный берег пролива именовался европейским, а восточный — азиатским.¹ С созданием единого государства при ранних Спартокидах (см. ниже), когда под власть боспорских владык перешел весь Восточный Крым, Таманский полуостров, земли, простиравшиеся до современного Новороссийска, и районы нижнего и среднего течения Кубани, можно говорить о двух частях государства — европейском и азиатском Боспоре. Политические границы этого образования, особенно на востоке, были достаточно подвижны, какие-то земли присоединялись к Боспору, к примеру, район донской дельты, а какие-то отпадали от него. Центром государства, так сказать, его сердцевиной всегда оставалась область, прилегающая к проливу, и в этом смысле название Боспор имеет глубокий смысл.²

1. Боспор Киммерийский во время греческой колонизации

1.1. Демографическая ситуация на Боспоре в VI в. до н. э.

Освоение греками берегов Боспора Киммерийского является составной частью общегреческого колонизационного процесса, который определялся как положением в метрополии, так и ситуацией в районе колонизации. Последняя, как уже говорилось выше, может быть сведена к комплексу геогра-

¹ Впрочем, мнение о Танаисе как о границе между Европой и Азией не бесспорно (см.: Куклина. 1985. С. 143–161).

² Совсем не исключено, что первоначально Боспором именовался Пантикапей или, быть может, принадлежащая ему территория. Эта идея, высказанная еще в XIX в. (см.: Орешников. 1884. С. 14; Brandis. 1897. Col. 757, 766–767), сейчас развивается А. Н. Васильевым (1985а. С. 289 сл.; 1992. С. 121–124).



Рис. 15. Боспор Киммерийский. Карта-схема (подчеркнуты названия полисов)

фических, экологических и демографических особенностей. Несомненно, плодородие земель Керченского и Таманского полуостровов, рыбные богатства пролива, наличие удобных гаваней и т. д. имели огромное значение для греческих поселенцев (см.: Шелов-Коведяев. 1985. С. 54 сл.). Тем не менее имеются веские основания полагать, что экологические особенности района не объясняют всех особенностей колонизационного процесса на Боспоре, не определяют всей специфичности освоения греками Восточного Крыма и Таманского полуострова (Вахтина, Виноградов, Горончаровский, Рогов. 1979. С. 76). Особое значение в этом отношении приобретают факторы демографические, т. е. густота и характер заселения района колонизации туземными племенами, общественная организация данного общества, уровень его социально-экономического и культурного развития, политическая организация и т. д. (Брашинский, Щеглов. 1979. С. 36).

Разумеется, интерес к вопросам демографической ситуации на Боспоре в VI в. до н. э. нельзя считать явлением сугубо новым, скорее наоборот. Многие российские и советские ученые (М. И. Ростовцев, С. А. Жебелев, В. Д. Блаватский, В. Ф. Гайдукевич и др.) неоднократно обращались к данной проблематике. Благодаря их усилиям были выделены основные группы источников, свидетельствующих о греко-варварских контактах, намечены главные закономерности в их развитии и на их основе сформулированы научные концепции, многие положения которых, несмотря на все несходство

подходов и различие трактовок, не потеряли своего значения до настоящего времени.

Уже давно было показано, что греки на Боспоре столкнулись как с оседлыми земледельческими племенами — меоты, синды и пр. — на азиатской его стороне (см.: Каменецкий. 1988. С. 82 сл.), так и с кочевыми скифами на европейской (см.: Яковенко. 1974. С. 7 сл.). Именно это обстоятельство — наличие оседлого и кочевого населения — составляет одну из важнейших особенностей района Боспора Киммерийского, в чем-то сближая его с районом Северо-Западного Причерноморья, в целом отличает от прочих центров греческой колонизации понтийского бассейна. Нет сомнений, что многие особенности освоения греками берегов Керченского пролива в немалой степени зависели от данной непростой ситуации.

Сложность изучения вопросов греко-варварских связей в момент греческой колонизации объясняется еще и тем, что археологические исследования последних лет на Боспоре демонстрируют отсутствие здесь какого-либо стабильного туземного населения. Этот факт можно считать практически общепризнанным (см.: Виноградов Ю. Г. 1983. С. 370–371; Шелов-Коведяев. 1985. С. 53; Масленников. 1987. С. 15). Однако само по себе признание данного факта еще не приближает нас к пониманию, так сказать, боспорской специфики, ибо такое же положение фиксируется и в другом районе греческой колонизации Северного Причерноморья — Нижнем Побужье, о чем уже было сказано. Выход из очерченной ситуации вполне очевиден — необходимо конкретизировать эту чересчур обобщенную формулировку и, подобно тому, как это было сделано выше для района Северо-Западного Причерноморья, попытаться выяснить, что же из себя представляло это нестабильное туземное население и в какой степени оно могло повлиять на ход греческой колонизации района.

Представляется почти самоочевидным, что своеобразие Боспора в отношении воздействия на него местной среды следует прежде всего связать с близостью к району Керченского пролива Прикубанской Скифии (см.: Мурзін. 1978. С. 22 сл.). Вожди номадов, подчинившие себе Предкавказье и курганы которых (Келермесские, Ульские, Костромской) насыпались на подвластной им территории, конечно, без особого труда могли установить контроль над проливом. Формы этого контроля не обязательно следует рассматривать как очень жесткие — они вполне могли сводиться к обычной в подобных ситуациях дани или традиционным подаркам для кочевой аристократии со стороны греческих апойкий, однако, еще раз подчеркнем, этот, пусть даже не очень жесткий контроль предкавказских скифов над районом Боспора Киммерийского был, во-первых, легко достижим и, во-вторых, достаточно эффективен.

Второе обстоятельство, на которое следует обратить внимание в связи с поставленной проблемой, отчасти связано с первым. На наш взгляд, оно заключается в том, что в скифскую эпоху район Боспора Киммерийского не был изолирован от крупных исторических событий, происходивших в Северном Причерноморье. В этом отношении Керченский полуостров никак нельзя считать лишь своего рода «аппендиксом» причерноморских степей, в культурно-историческом плане его роль представляется гораздо более значительной.

По данным античной письменной традиции можно заключить, что кратчайший путь из Приднепровья в Предкавказские степи, который пролегал через Крым и Керченский пролив, активно использовался скифами прежде всего во время военных походов, но имеются основания полагать, что этим делом не ограничивалось, а район Боспора был связан не только с маршрутами военных походов кочевых скифов, но и с путями их сезонных передвижений (см.: Вахтина, Виноградов, Рогов. 1980. С. 155 сл.). У древних авторов сообщений о сезонных перекочевках содержится немного. По понятным причинам повседневная жизнь скифов занимала их меньше, чем события военной истории. Однако такие сообщения все-таки имеются.

Прежде всего, приведем свидетельство схолиста к Аристофану, который писал, что «скифы зимою, вследствие ее невыносимости, складывают свое имущество на повозки и уезжают в другую страну» (Schol. ad Arist., avv., 945; перев. В. В. Латышева). Вряд ли можно сомневаться, что речь здесь идет именно о сезонных перекочевках.

Очень интересные сведения содержатся у Дионисия, автора II в. н. э. (Perieg., 665–710). Его чрезвычайно популярное в период поздней античности землеописание, вероятно, сохранило ряд явно устаревших для своего времени сведений (Ростовцев. 1925. С. 81; ср.: ВДИ. 1948. № 1. С. 237). В стихотворном описании северных земель Дионисий особое место уделяет Кавказу, упоминает меотов и савроматов, затем описывает границу Европы и Азии — реку Танаис. Она, как специально отмечает автор, несет свои воды через скифскую равнину. Последней посвящается следующий пассаж: «Несчастливы те люди, которые обитают в этой стране: всегда у них холодный снег и пронизывающий ветер, а когда настанет от ветра страшная стужа, своими глазами увидишь умирающих коней или мулов или пасущихся под открытым небом овец, даже сами люди, которые остались бы под теми ветрами, не уцелели бы невредимыми; но они, запрягши свои повозки, удаляются в другую страну, а свою землю оставляют на волю холодным ветрам» (перев. В. В. Латышева).

Обратим внимание на то, что, несмотря на фрагментарность сохранившейся информации, античные письменные источники донесли до нас определенное представление о зимних передвижениях кочевников, которые рас-

ценивались как уход в другую страну. Небезынтересно, что внимание при этом акцентировалось даже на такой, казалось бы, маловажной детали, как повозки номадов. Но где находилась эта «другая страна», куда кочевники уходили зимой, из контекста приведенных источников не ясно. По-видимому, на это может указывать свидетельство Геродота о зимних переправах скифов через замерзший Боспор Киммерийский (IV, 28). Отец истории отмечает, что «скифы, живущие по эту сторону рва, толпами переходят по льду и на повозках переезжают в землю синдов» (перев. В. В. Латышева).

Основываясь на комментарии данного места Г. Штайна (Stein. 1877. S. 30. Апт. 7), вслед за В. Ф. Гайдукевичем (Гайдукевич. 1949. С. 33; Gajdukevič. 1971. S. 40) можно предположить, что эти переправы имели место во время сезонных перекочевок скифской орды на зимние пастбища в Прикубанье (Вахтина, Виноградов, Рогов. 1980. С. 157). Правда, В. Ф. Гайдукевич считал, что здесь имеются в виду скифы Восточного Крыма, с чем трудно согласиться. Под скифами, живущими «по эту сторону рва», Геродот, всего скорей, подразумевал скифов северопрichernоморских степей. Во-первых, в данном отрывке явно говорится о рве, вырытом в Крыму потомками «слепых рабов». Во-вторых, в описании границ Скифии у Геродота указывается, что рубежами, ограничивающими земли скифов с востока, служат Танаис, Меотиды и Киммерийский Боспор (IV, 100), то есть Дон, Азовское море и Керченский пролив. В другом месте отмечается, что занимаемая царскими скифами местность простирается к югу до Таврики, к востоку до рва, вырытого потомками слепых, и до торговища Кремны на Меотиде (IV, 20). Поскольку Геродот, описывая Северное Причерноморье и населявшие его народы, «ориентировался, имея исходным пунктом Ольвию, которую он, может быть, посетил лично» (Ростовцев. 1925. С. 18), то скифами, «живущими по эту сторону рва», для него могли быть только скифы причерноморских степей. Их земли ограничивались с востока перечисленными рубежами, а информация об этом древний историк мог получить у ольвиополитов.

В справедливости такого предположения нас может убеждать и то, что небольшое пространство Керченского полуострова в отрыве от более обширных степных массивов не могло быть базой для ведения полноценного кочевнического хозяйства. Во всяком случае, трудно поверить в то, что кочевники Восточного Крыма были столь могущественны, что могли совершать перекочевки на зимние пастбища в чужие земли. Вне всякого сомнения, скифы Северного Причерноморья в рассматриваемое время имели для этого необходимые военные предпосылки. Нельзя исключать того, что именно их подразумевал Ксенофонт, когда писал, что «в Европе скифы господствуют, а меоты им подвластны» (Mem. Sokr., II, I, 10). Приведем и сообщение Плиния Старшего об области, называемой Скифия Синдика (NH, IV, 84). Вполне можно допустить, что в этом случае Плиний опирался на источ-

ник, содержащий информацию о ранней истории скифов (Скржинская. 1977. С. 54).

Предложенная гипотеза о регулярных сезонных миграциях какой-то части кочевых скифов из Поднепровья на зимние пастбища в Предкавказье не противоречит данным, известным о ранней истории скифов. На основании письменных источников можно заключить, что предкавказские степи были той территорией, на которой, собственно, и началась скифская история в Восточной Европе (Мачинский. 1971. С. 32–33; Хазанов. 1975. С. 226).

Археологические материалы позволяют ряду исследователей указывать на существование тесных связей между Прикубаньем и Поднепровьем еще в так называемую «предскифскую эпоху», что выразилось в находках импортных кавказских вещей в поднепровских комплексах и, наоборот, оружия и украшений степных типов в археологических комплексах Кавказа (см., например: Иессен. 1952. С. 127. Рис. 16, 17; Крупнов. 1960. С. 343 сл.; Тереножкин. 1961. С. 152 сл.; 1976. С. 152–155, 170 сл.; Ванчугов. 1987. С. 32–33; Алексеев, Качалова, Тохтасьев. 1993. С. 89. Карта — см. ареал памятников типа Новочеркасского клада). Существовали они и ранее (Нечитайло. 1984. С. 127 сл.; 1987. С. 30–32) и, что особенно важно, сохранились позднее. Как уже говорилось, в этих районах появляются древнейшие в Причерноморье памятники скифской культуры. Вполне возможно, что знаменитые прикубанские курганы — Келермесские, Ульские, Костромской — были оставлены скифами (Ростовцев. 1925. С. 310 сл.; Смирнов А. П. 1956. С. 7; Ильинская. 1968. С. 64–65; Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 56 сл.; Виноградов В. Б. 1972. С. 42; Хазанов. 1975. С. 228; Алексеев. 1992. С. 43 сл.). Очень показательно близкое сходство вещей из таких ранних скифских памятников, как Келермесские курганы (Предкавказье) и Литой курган (Поднепровье).

Тесные связи с районом Предкавказья можно проследить и по материалам лесостепных памятников Поднепровья, прежде всего Посульской курганной группы. Эти связи выступают во многих категориях инвентаря: оружие, конская упряжь, украшения и т. п. (Ильинская. 1968. С. 64–65). Эти курганы, которые являются «наиболее скифскими среди всех остальных групп времени скифской архаики» (Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 330), очень близки прикубанским даже по составу медных сплавов (Барцева. 1983. С. 95). В отношении днепровского Правобережья С. А. Скорый предположил, что сюда передвинулась часть кочевого населения из Прикубанья и Северного Кавказа (Скорый. 1987. С. 42 сл.).

В общем, скифская культура получила распространение в Поднепровье в тех же формах, что и в Предкавказье. Развивая идею М. И. Ростовцева (Rostovtzeff. 1922. P. 42), В. Ю. Мурзин считает, что в рассматриваемое время северокавказские степи были «местом пребывания скифских племен

и своеобразным продолжением северопричерноморской Скифии» (Мурзін. 1978. С. 30; ср. 1984. С. 99 сл.). В связи с изложенным встает вопрос о конкретном осуществлении связей между двумя обозначенными районами, который во многих важнейших аспектах в настоящее время все еще остается неясным. Разумеется, совсем не обязательно памятники Поднепровья и Прикубанья, давшие сходные вещи, были оставлены одним и тем же «народом». Но нельзя ли предположить, что обозначенное сходство в какой-то степени определялось и реальными контактами племен, населявших названные районы. Одним из вероятных механизмов осуществления этих контактов, на наш взгляд, могли служить периодические перекочевки кочевников из Поднепровья в Прикубанье и обратно.

Подчеркнем, что вряд ли допустимо какое-либо преувеличение роли этих перекочевки в скифской истории Северного Причерноморья. Их никак нельзя именовать своего рода ключевым моментом в процессе историко-культурного развития региона, да и вообще вряд ли уместен подобный явно упрощенно-схематический подход. Другое дело, что в истории Боспора рассматриваемого времени передвижения кочевников могли сыграть весьма значительную роль. Логично предположить, что они в немалой степени определяли систему заселения района греками, повлияли на характер и общий облик выводимых апоийки, но подробнее эти вопросы будут освещены ниже.

Сейчас же несколько слов следует сказать о том, что кратко изложенная здесь гипотеза о возможности существования пути скифских перекочевки из Поднепровья в Прикубанье через район Боспора Киммерийского среди отечественных исследователей нашла неоднозначный прием. Некоторые ее положения приняты А. А. Масленниковым (1987. С. 15). Э. В. Яковенко прослеживала «торный путь» из Предкавказья в Северное Причерноморье в киммерийскую и скифскую эпохи (Яковенко. 1985. С. 15, 17). По мнению этой исследовательницы, кроме всего прочего, он хорошо маркируется находками наиболее архаичных скифских изваяний, собранных П. Н. Шульцем (1976. С. 218 сл.).¹ В. Н. Корпусова, в общем поддержав идею о перекочевках, высказала предположение, что скифские зимние пастбища в рассматриваемое время находились не в Прикубанье, а в окрестностях Пантикапея (Корпусова. 1980. С. 104). С этой точкой зрения вряд ли можно согласиться — ни письменные источники, ни данные археологии, ни экологические условия района не могут быть основанием для подобного заключения. Родосско-ионийская ойнохоя, обнаруженная В. Н. Корпусовой в кургане у с. Филатовка (Корпусова. 1980), очень хорошо ложится на путь сезонных

¹ Предкавказские особенности (шлем, положение акинака) прослеживаются на изваянии, обнаруженном недавно в районе Днепровского Правобережья. Оно датируется второй половиной VI — началом V в. до н. э. (Бокий, Ольховский. 1994. С. 160).

миграций скифов из Поднепровья в Прикубанье, как, впрочем, и сосуд из Темир-Горы, вероятно, полученный скифами от жителей античного поселения на острове Березань (Вахтина, Виноградов, Горончаровский, Рогов. 1979. С. 78; Вахтина. 1991. С. 7), и известные находки из Цукур-Лимана (Прушевская. 1917. С. 31 сл.; Вахтина. 1993. С. 56 сл.). Весьма любопытным в этой связи представляется наблюдение А. А. Щепинского и Е. Н. Черепановой о том, что «в скифское время степи Присивашья не были местом постоянного обитания. Здесь проходила, очевидно, только дорога, соединявшая Приднепровье с центральным Крымом и Керченским полуостровом» (Щепинский, Черепанова. 1969. С. 64). От себя добавим — и с Предкавказьем.

Резкой критике эта гипотеза была подвергнута Ю. Г. Виноградовым (Vinogradov. 1980. S. 74–75), а вслед за ним и другими исследователями (Толстиков. 1984. С. 25. Примеч. 8; Шелов-Коведяев. 1985. С. 66). Ю. Г. Виноградову импонировало предположение Б. Н. Гракова, считавшего что в приведенном выше сообщении Геродота о зимних переправах скифов через замерзший Боспор Киммерийский (IV, 28) говорится о военных походах против синдов (Граков. 1954. С. 17; ср. Сокольский. 1957. С. 94; Алексеев. 1992. С. 96, 119). Эти скифские походы Ю. Г. Виноградов относил к периоду сравнительно позднему и весьма специфичному — времени, непосредственно предшествовавшему образованию объединения Археанактидов, о чем подробнее будет сказано ниже. Особое значение для понимания отрывка, по его мнению, имеет интерпретация глагола ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΑΙ, означающего, конечно, «выступать в поход» или «совершать поход». Но не все исследователи Геродота трактуют его столь однозначно. Как известно, Г. Штайн вообще не усматривал здесь свидетельства о каком-либо военном передвижении (Stein. 1877. S. 30. Anm. 7). Аргументируя свою точку зрения, он отмечал, что упоминание повозок в рассказе Геродота не соответствует описанию военного похода, к тому же, по его мнению, слово ΣΤΡΑΤΟΣ означало не только «войско», но и «толпа», «множество» (ср. Herod. I, 126). Ф. Г. Мищенко (1884–1886) и В. В. Латышев, Е. А. Бессмертный (SC, I. С. 19) в своих известных переводах следовали именно такому пониманию. Ю. Г. Виноградову приведенная трактовка показалась необоснованной, и, в общем, его критика Г. Штайна в филологическом отношении представляется весьма убедительной.

Правда, в связи с изложенным возникает принципиальный вопрос — до какой степени точно Геродот в своих терминах отражал реальную жизнь кочевых скифов. Ведь быт кочевников вообще до известной степени носит военизированный характер. Постоянная готовность к защите своих стад и кочевий от нападений противника или, наоборот, набеги на соседние земли — специфические особенности жизнедеятельности кочевых обществ (см., например: Худяков. 1985. С. 107; Khazanov. 1984. P. 222). Любое крупное пе-

редвижение кочевников, надо думать, закономерно приводило к усилению военизированной стороны, тем более, если это, как в данном случае, касалось передвижения в чужую страну. Последние с этой точки зрения вполне можно считать походами. Разумеется, одним из важнейших факторов скифских перекочевок в Прикубанье была эксплуатация подвластного земледельческого населения, что вообще типично для взаимоотношений кочевников с оседлыми обществами. Но признание этого факта еще отнюдь не означает, что цели скифских походов были исключительно грабительскими или карательными. Одновременно, а, вероятно, даже прежде всего они были связаны с потребностями функционирования экономической системы скифского кочевого общества, удобствами пребывания на зимних пастбищах Прикубанья.

Критику Ю. Г. Виноградовым положения Г. Штайна о том, что упоминавшиеся повозки не соответствуют картине военного похода, вообще нельзя признать удовлетворительной. Трудно поверить, что Геродот написал о них лишь для того, чтобы наглядно продемонстрировать прочность льда в проливе (Vinogradov. 1980. S. 75). Упоминание повозок в контексте скифских переправ через Боспор должно акцентировать наше внимание как раз на мирном их характере. Ведь у Геродота специально оговаривается, что жилища скифов были на повозках (IV, 46, 3), в которых, надо полагать, передвигались женщины и дети. У родственных скифам массагетов повозки принадлежали именно женщинам (I, 216). Весьма показательно, что во время войны с Дарием скифы вообще избавились от повозок, отправив их на север (IV, 121). Полностью созвучно с сообщениями Геродота и свидетельство Псевдо-Гиппократ, писавшего, что в скифских кибитках «помещаются женщины, а мужчины ездят верхом на лошадях» (De aere, 25). Не противоречит выказанному и сообщение Страбона о роксоланах (VII, 3, 17).

Количество подобных примеров можно было бы расширить. В противоположность этому, Ю. Г. Виноградов среди всей совокупности сообщений древних авторов нашел всего одно, которое, по его мнению, указывает на то, что скифы все-таки использовали повозки во время военных походов. Это эпизод междоусобной борьбы сыновей боспорского царя Перисада I за престол. Как известно по рассказу Диодора Сицилийского, на стороне наследника престола Сатира, наряду с прочими воинскими подразделениями, выступали скифы (XX, 22, 3), при этом войско располагало большим обозом. Когда развернулись боевые действия, повозками был окружен лагерь Сатира, что, конечно, само по себе очень показательно. Однако при трактовке данного свидетельства, на наш взгляд, необходимо твердо осознать, что здесь описывается войско боспорского царя, отправившегося в далекий поход, а не просто скифские отряды. К тому же состоит оно более чем на 2/3 из пеших воинов: 24 тысячи пехоты против 10 тысяч конницы. По нашему глубочайшему убеждению, рассказ Диодора Сицилийского, при всей его кра-

сочности и обилии деталей, не содержит информации о характерных особенностях военных походов кочевых скифов, и, следовательно, критика Ю. Г. Виноградовым вывода Г. Штайна в этом важном аспекте представляется абсолютно необоснованной.

Кратко резюмируя сказанное выше, подчеркнем, что пока нет особых оснований отказываться от изложенной гипотезы о сезонных миграциях какой-то части кочевых скифов из Поднепровья на зимники в Прикубанье через район Боспора Киммерийского. По нашему мнению, она является вполне вероятной, во всяком случае, одной из возможных интерпретаций имеющихся материалов. Отметим, наконец, и то, что, несмотря на ряд различий в осмыслении фактов, в концепции Ю. Г. Виноградова имеется немало общего с гипотезой, против которой он выступал. В очерке политического развития полисов Северного Причерноморья он, в частности, писал: «Текстологический анализ отрывка Геродота (IV, 28) заставляет прийти к однозначному его пониманию: скифы совершают регулярные зимние переходы через Боспор, имея целью внеэкономическую эксплуатацию синдов, а вместе с тем устройство удобных зимников в кубанских плавнях» (Виноградов Ю. Г. 1983. С. 402). Такая трактовка вполне созвучна с тем, что было сказано нами выше, и не вызывает никаких возражений. Оговоримся, однако, что мы склонны относить ее не ко времени Археанактидов, а к более раннему периоду — периоду архаики (VII–VI вв. до н. э.), на который, собственно, и приходится греческая колонизация Северного Причерноморья (ср. Васильев. 1974. С. 167. Прим. 33).

1.2. Некоторые особенности греческой колонизации Боспора Киммерийского

Рассмотрев в общих чертах демографическую ситуацию на Боспоре во время освоения его греками, попытаемся кратко охарактеризовать ее влияние на колонизационный процесс в данном регионе и, прежде всего, на Керченском полуострове как наиболее изученном в археологическом отношении. Априорно можно предполагать, что древние греки получили здесь определенные преимущества от регулярных контактов с периодически пересекающими пролив кочевыми скифами. Совсем не исключено, что именно демографический фактор являлся одним из важнейших при выборе места для выведения апойкий. Это суждение, однако, нуждается в подкреплении какими-то конкретными материалами, в противном случае столь же возможным будет и прямо противоположное заключение.

В настоящее время есть веские основания полагать, что древние греки появились в районе Керченского пролива не на рубеже VII–VI вв. до н. э., как это казалось еще совсем недавно, а значительно ранее, хотя по каким-то причинам на берегах пролива они сразу не закрепились. Первое греческое

поселение в этой части Северного Причерноморья было основано в Приазовье, в районе г. Таганрога, может быть, еще в третьей четверти VII в. до н. э. (см.: Копылов, Ларенок. 1994 С. 5; Копылов. 1999. С. 174–175). Это раннее поселение полностью разрушено Азовским морем, но материалы греческой привозной посуды, которые периодически выносятся морскими волнами, о времени его существования позволяют предполагать вполне определенно. Почему же греки на этом этапе миновали Боспор Киммерийский? Почему не вывели ни единого раннего поселения в этом столь удобном месте? Логично ожидать, что в это время они считали район пролива слишком опасным, а значит, желали закрепиться в местах более спокойных и, так сказать, присмотреться к местной обстановке. Наиболее реальной причиной такого любопытнейшего положения, вероятно, можно признать периодические миграции кочевых скифов, которые для греческих переселенцев были абсолютно непривычными и по этой причине грозившими самыми нежелательными последствиями.

Лишь приблизительно через 40 лет, накопив определенный опыт существования в Северном Приазовье, наладив столь необходимые для жизни в новом районе связи с местными племенами, древние греки начали активное освоение Боспора Киммерийского. Безусловно верным представляется мнение Д. П. Каллистова о том, что нельзя выделять колонизацию Боспора в какое-то особое явление, отличное от всей греческой колонизации (Каллистов. 1949. С. 77). Однако неверным было бы утверждение, что при освоении этих областей не проявилось никаких специфических закономерностей и особенностей. Одна из таких особенностей легко бросается в глаза — это обилие греческих поселений, в том числе и весьма крупных, рассеянных по берегам Керченского пролива на небольшом расстоянии друг от друга, часто даже в пределах видимости. Античная письменная традиция сохранила названия приблизительно тридцати боспорских населенных пунктов, некоторые из которых именуются городами (см.: Латышев. 1909. С. 61 сл.; Гайдукевич. 1949. С. 154 сл.; Gajdukevič. 1971. 32, 170). В других районах греческой колонизации Северного Причерноморья подобного феномена не зафиксировано.

Вместе с тем хорошо известно, что письменные источники сообщают об основании лишь пяти греческих апоекий в Восточном Крыму и на Таманском полуострове. Это милетская колония Пантикапей (Strabo, VII, 4, 4; Plin. NH, IV, 26), милетские же Феодосия (Arr. P. Pont., 30; Anonym. P. Pont., 77) и Кепы (Ps.-Scymn., 896; Plin. NH, VI, 18), колония ионийского города Теоса Фанагория (Arr. Byth., fr. 55; Ps.-Scymn., 886 sq.) и Гермонасса, основанная либо ионийцами (Dionys. Per., 52), либо эолиями — выходцами из Митилены на Лесбосе (Arr. Byth., fr. 55). Но кроме этих пяти городов античная традиция сохранила названия приблизительно тридцати боспор-

ских населенных пунктов (см.: Латышев. 1909. С. 61 сл.; Гайдукевич. 1949. С. 27 сл.; 154 сл.; Gajdukevič. 1971. S. 32 ff.). Правда, большинство из них именуется деревнями, но называются и города: Китей, Нимфей, Тиритакка, Мирмекий и др. В принципе, допустимо предположение, что среди них имеются апойкии, информация об основании которых была утрачена. К подобной трактовке склонялся Д. П. Каллистов, усматривавший в небольших боспорских поселениях своего рода деградировавшие, некогда независимые полисы (Каллистов. 1949. С. 78).

Автор данного раздела в специальном исследовании попытался показать, что далеко не все боспорские города были автономными полисами. Основанием для этого послужила вся совокупность имеющихся источников: письменная традиция (сведения об основании колонии, упоминания города в контексте исторических событий), эпиграфика (упоминания в надписях этниконов типа «пантикапеец», «нимфеец» и пр.), материалы монетной чеканки и, наконец, данные археологии о боспорских городах как о центрах ремесленного производства, культовой жизни и т. д. При таком подходе полисами в Восточном Крыму и на Тамани можно считать лишь шесть центров (рис. 15): Пантикапей, Феодосию, Нимфей, Фанагорию, Гермонассу и Кепы (Виноградов Ю. А. 1993а. С. 79 сл., 86; 1995. С. 152–154).

Возможно, что к ним следует добавить седьмой. Это Горгиппия, где сравнительно недавно были открыты строительные комплексы второй половины VI в. до н. э. (Алексеева. 1991. С. 9 сл.). Если верно широко распространенное отождествление Горгиппии с Синдской Гаванью, то о последней известно, что она была «населена элинами, пришедшими из соседних мест» (Ps.-Scymn., 889), а это, в общем, можно рассматривать как свидетельство об основании поселения. Порой к горгиппийскому чекану относят так называемые синдские монеты (см., например: Болтунова. 1964. С. 146; Грач. 1972. С. 133 сл.; Шелов. 1981. С. 241 сл.), но это, в общем, сомнительно (см.: Тохтасьев. 1984. С. 141; Шелов-Коведяев. 1985. С. 125 сл.). Зато не вызывает сомнений чеканка городом монеты в позднеэллинистическое время, а она к тому же имеет этникон «горгиппийцев» (Шелов. 1956а. С. 176. Табл. IX. 115; Анохин. 1986. С. 72 сл. № 209–211). Из Горгиппии происходят также такие важные и редкие на Боспоре эпиграфические документы, как списки личных имен, относящиеся, правда, к эллинистическому и римскому времени (КБН, 1137–1191). Если допустимо в этих поздних свидетельствах усматривать намек на особое положение поселения и в более раннее время, то можно согласиться с Е. М. Алексеевой и признать Горгиппию (Синдскую Гавань или Синд) еще одним полисом (Алексеева. 1991. С. 19 сл.).

Остальные пункты, в том числе и те, которые древние авторы называют городами, считать автономными центрами особых оснований нет, скорее всего они входили в состав того или иного города — государства. Для запад-

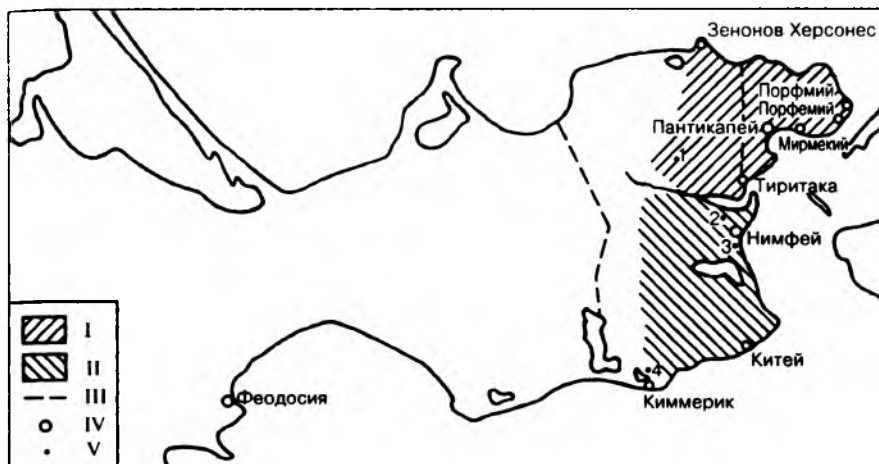


Рис. 16. Греческие поселения в Восточном Крыму. Карта-схема (1 — примерные границы полиса Пантикапей; 2 — примерные границы полиса Нимфей; 3 — древние валы; 4 — греческие города; 5 — сельские поселения)

ного берега Керченского пролива можно предположить, что сюда были выведены всего две древнегреческие колонии — Пантикапей и Нимфей, при этом поселения северо-восточной части полуострова (Тиритака, Мирмекий, Парфений, Порфмий и др.) входили в состав пантикапейского полиса. Юго-восточная часть, отделенная Чурубашским озером и грядой холмов, принадлежала Нимфею (рис. 16; ср. Кругликова. 1975. С. 30).

Сравнивая колонизационный процесс двух античных центров Северного Причерноморья, Боспора и Ольвии, следует указать на одно бросающееся в глаза различие. Сельскохозяйственная округа Ольвии в архаическое время, как было сказано в соответствующем разделе, состояла из большого числа сравнительно некрупных поселений (деревень). На Боспоре же, особенно европейском, все обстоит по-иному. В монографии И. Т. Кругликовой, посвященной изучению сельского хозяйства Боспора, имеются данные лишь о трех (точнее, четырех) архаических сельских поселениях на Керченском полуострове и восьми на Тамани (Кругликова. 1975. С. 27–28). Благодаря разведкам Я. М. Паромова число известных архаических поселений на азиатской стороне значительно увеличилось (Паромов. 1986. С. 72; 1990. С. 63), но, к сожалению, ни одно из них по-настоящему не раскопано и соответственно сведения об их облике, культуре и т. п. пока отсутствуют. К тому же этот район, обладающий значительной спецификой в палеогеографическом отношении, должен был отличаться от Восточного Крыма и по характеру освоения греками сельскохозяйственных территорий. Но в отноше-

нии последнего новейшие археологические исследования заметного количественного роста сельских поселений архаического времени не дают. По-прежнему число поселений IV в. до н. э. и даже позднеэллинистического и римского времени в сравнении с более ранними представляется здесь просто огромным. Остается предположить, что в Восточном Крыму возобладала другая система заселения сельскохозяйственной территории — не кустами деревень, а в виде сравнительно крупных поселений, расположенных по берегу пролива на небольшом расстоянии друг от друга в местах, удобных для обороны. Эти поселения, впоследствии превратившиеся в «аграрные городки» типа Мирмекия или Тиритаки, скорее всего и составили сельскую округу Пантикапея, а возможно, и некоторых других боспорских полисов (подробнее см.: Виноградов Ю. А. 1993а. С. 88 сл.).

Что же тогда заставило греков в VI в. до н. э. тесниться в довольно крупных поселениях вдоль Керченского пролива? Почему в это время им не удалось освоить степные пространства полуострова?

По всей видимости, этому препятствовали периодические передвижения кочевников через район Боспора Киммерийского, о которых речь шла выше. Признание вероятности таких передвижений, конечно, отнюдь не ставит под сомнение устоявшуюся точку зрения о мирном характере колонизации берегов Керченского пролива (см.: Виноградов Ю. Г. 1983. С. 273; Толстиков. 1984. С. 27; Шелов-Коведяев. 1985. С. 62), хотя и вносит в ее понимание определенный нюанс. Представляется отнюдь не случайным, что греки в это время не сумели освоить территории, сравнительно далеко отстоящие от берега моря. По понятным причинам небольшие деревни, расположенные на пути движения кочевой орды, не были гарантированы от всякого рода случайностей. Безопасней было селиться относительно крупными коллективами на берегу пролива в местах, удобных для обороны, с небольшими интервалами между поселениями (Яйленко. 1983. С. 135, но ср. 140). Но и подобная система расселения, разумеется, не давала стопроцентных гарантий безопасности.

В настоящее время уже нельзя однозначно согласиться с заключением Ф. В. Шелова-Коведяева о том, что греко-варварские взаимоотношения на Боспоре первоначально были мирными, поскольку на поселениях VI в. до н. э. отсутствуют как оборонительные сооружения, так и следы разрушений или обширных пожаров (Шелов-Коведяев. 1985. С. 62). Новейшие археологические исследования показывают, что на некоторых памятниках такие следы выявлены, имеются основания и предполагать наличие оборонительных сооружений. Так, на городище Патрей обнаружен слой пожара, относящегося к весьма раннему времени, по заключению Б. Г. Петерса — до 512 г. до н. э. (Петерс. 1989. С. 96–97). Следы пожара в Кехах датируются третьей четвертью VI в. до н. э. (Кузнецов. 1992. С. 32, 42).

Явные признаки сильного пожара засвидетельствованы в последние годы в Мирмекии — поселение горело приблизительно в середине VI в. до н. э. Материалы из серии ранних ям, обнаруженных у подножья мирмекийского акрополя, относятся в основном ко второй четверти столетия. Всего скорей, они представляют сброс мусора, образовавшегося в результате пожара, — обожжена значительная часть расписной керамики, сильно оплавлены некоторые амфорные находки. С этим событием следует также связывать прослойку сажки, фиксирующуюся над материком в некоторых местах участка. Пока еще трудно судить, связан ли этот пожар с нападением неприятеля или же объясняется иными причинами, — наконечников стрел, обломков оружия и т. п. в ямах не обнаружено. Однако в связи с изложенным особое значение приобретает еще одно открытие на городище Мирмекий — некоторые ямы середины VI в. до н. э., а также упоминавшаяся прослойка гари перекрываются мощной кладкой необычного архаического облика (ширина — 1 м), препятствующей доступу на акрополь по некрутому подъему между двумя обрывистыми выступами скалы. Более того, эта кладка неплохо увязывается с остатками других стен, образующих в совокупности систему (выявленная длина более 20 м), которая состоит из двух уступов или бастонов. Оборонительное значение конструкции при таком понимании открытых строительных остатков вполне очевидно.

Рискнем высказать предположение, что в Мирмекии удалось обнаружить оборонительную систему архаического времени, которая является самой ранней не только на Боспоре, но и во всем Северном Причерноморье (Виноградов Ю. А. 1994а. С. 19 сл.; 1995а. С. 157; 1995б. С. 33 сл.). Отметим, наконец, что при раскопках Порфмия были обнаружены следы пожара и остатки оборонительной стены, по конструкции очень близкие к мирмекийским, которые датируются второй половиной VI в. до н. э. (Вахтина. 1995. С. 32–33). Разумеется, приведенные археологические факты нуждаются в дополнительной проверке, поскольку они закономерно могут привести к значительным коррективам существующей картины греческой колонизации района Боспора Киммерийского. Решающую роль в этом отношении должны сыграть будущие полевые исследования. Тем не менее господствующая схема мирной колонизации берегов Керченского пролива, оставаясь в целом верной, уже сейчас нуждается в оговорках.¹

¹ В отношении изложенного следует обратить внимание на факт прекращения функционирования одного из самых ранних поселений региона — так называемого Таганрогского поселения на северном берегу Азовского моря. Считается, что это произошло в первой четверти V в. до н. э., совпадая с временем дестабилизации в степях Северного Причерноморья (см.: Тохтасьев. 1984. С. 135; Житников. 1987. С. 12; Копылов. 1991. С. 45). Большой интерес, однако, привлекает отсутствие среди сделанных здесь находок наиболее показательных позднеархаических материалов —

Как представляется, сталкиваясь с греками на Боспоре, номады сами не использовали эту зону в экономическом отношении, а лишь проходили через нее во время сезонных миграций. Подобная ситуация зафиксирована для различных исторических периодов во многих регионах, в том числе и в степях Евразии (Khazanov. 1984. Р. 33). В принципе, она может создать немалые трудности для обеих сторон — как для кочевников, так и еще в большей степени для земледельцев. Такое положение, с одной стороны, таило в себе возможность возникновения взаимной вражды, конфликтов и т. п., а с другой, во избежание их, — вело к заключению всякого рода договоров, соглашений и т. д. Сообщение Стефана Византийского об основании Пантикапея при согласии скифов — одно из возможных свидетельств в пользу такого положения (St. Byz. s.v. ΠΑΝΤΙΚΑΠΑΙΟΝ).

Любопытно, что Нимфей в VI в. до н. э. имел возможность вывести немногочисленные деревни, к примеру, Героевку и Южно-Чурубашское (рис. 17, см.: Виноградов Ю. А. 1993а. С. 89 сл.). Это, по-видимому, может опять же объясняться тем, что скифы на Керченском полуострове в это время пребывали лишь проходом. Они стремились к самому удобному месту для переправ, т. е. к наиболее узкому месту пролива, греческому Порфмию, название которого определенно связывается со словом «переправа» — ΠΟΡΘΜΕΙΑ (Гайдукевич. 1949. С. 33; Кастанаян. 1972. С. 77; Gajdukevič. 1971. S. 37). На этом пути они не могли миновать Пантикапей; Нимфей же, расположенный в более южной части района, прикрытой грядой холмов и Чурубашским озером, как можно предполагать, интересовал их в меньшей степени, и, соответственно, обстановка здесь была сравнительно спокойной.

Такая же обстановка, по всей видимости, имела место в рассматриваемое время на азовском побережье полуострова. Здесь работами экспедиции А. А. Масленникова обнаружены довольно ранние памятники, среди них погребение, которое исследователь относит к VI в. до н. э. (Масленников. 1980. С. 90). Вполне допустимо, что в названном районе, всегда весьма далеко от наиболее развитых областей Боспора (Блаватский. 1954б. С. 23, 25), число ранних памятников будет постепенно возрастать, во всяком случае, археологические исследования в этом направлении кажутся вполне перспективными.

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что влияние скифских передвижений на характер греческой колонизации Восточного Крыма нельзя

фрагментов аттической чернофигурной посуды и даже хиосских пухлогорлых амфор. Последние вообще являются наиболее типичными и многочисленными находками на всех античных памятниках региона конца VI — первой половины V в. до н. э. Вероятнее всего, поселение прекратило функционирование в третьей четверти VI в. до н. э. (Копылов, Ларенок. 1994. С. 5).

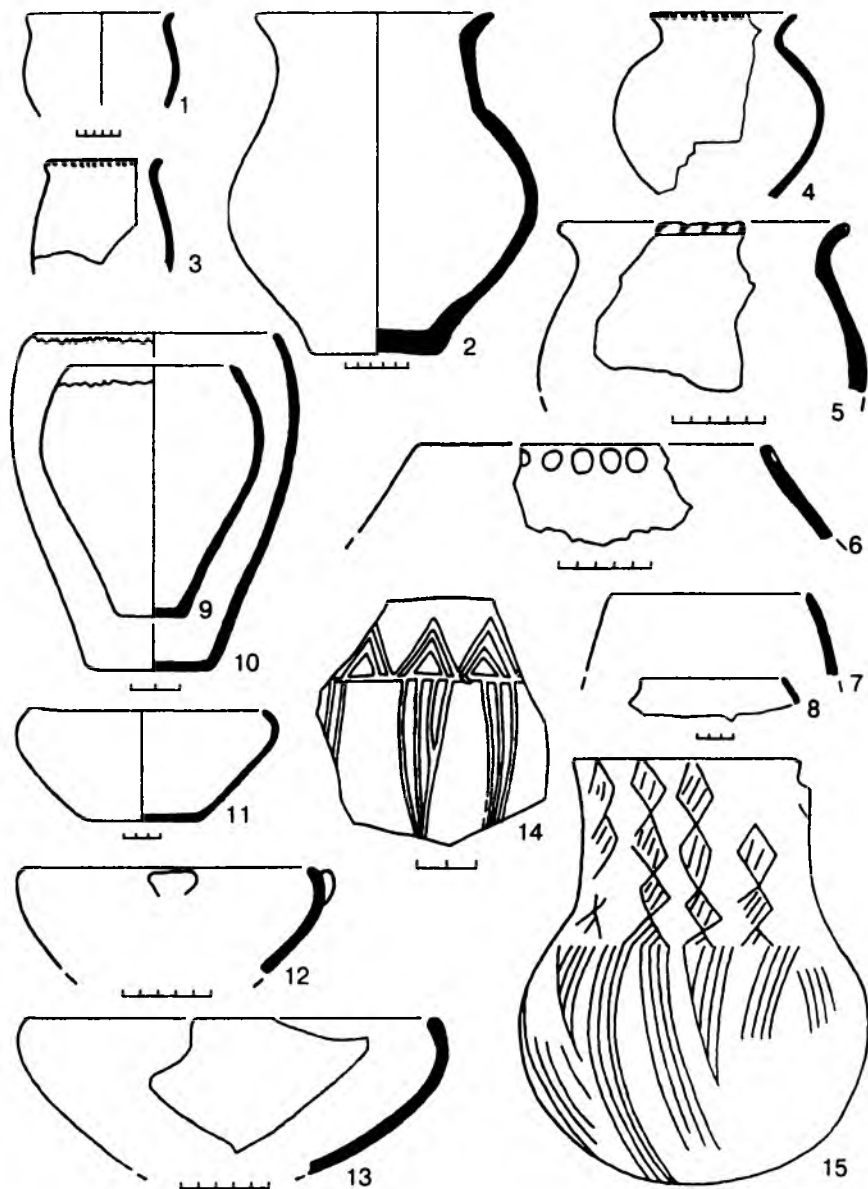


Рис. 17. Лепная керамика архаического времени из греческих поселений Боспора (1, 2, 9, 10, 11 — Торик; 3, 4, 14 — Нимфей; 5–8, 12, 13 — Мирмекий; 15 — Пантикапей)

считать одноплановым явлением. С одной стороны, они, вероятно, притягивали греков возможностью торговых контактов, а с другой — создавали определенные затруднения, прежде всего в освоении сельскохозяйственной территории, препятствовали продвижению в глубинные районы Керченского полуострова. Выход из затруднительного положения, по всей видимости, был найден в организации вокруг Пантикапея серии довольно крупных поселений, впоследствии превратившихся в «аграрные городки» (Тиритака, Мирмекий, Порфмий и пр.). В освоении Боспора таким, необычным для других районов Северного Причерноморья, способом, очевидно, следует усматривать специфическое, скорей, даже негативное воздействие демографической ситуации на характер греческой колонизации. В этом отношении, конечно, нет никакой возможности говорить о сложении «добровольной трудовой кооперации» или чего-нибудь подобного, что В. П. Яйленко считает «одним из наиболее продуктивных, если не основных, вариантов экономического взаимодействия между греческим колониальным и туземными мирами...» (Яйленко. 1983. С. 152).

Небольшие «аграрные городки», на наш взгляд, никогда не были автономными центрами. В этом плане принципиально верным представляется уже сравнительно давно высказанное предположение об их возникновении в результате вторичной (внутренней) колонизации (Жебелев. 1953. С. 63, 160; Гайдукевич. 1949. С. 29; Блаватский. 19546. С. 20; Васильев. 1985а. С. 17; 19856. С. 294–296). Немалое значение для понимания обозначенного процесса имеет фиксируемое археологически время основания поселений. Несмотря на близость этих событий в пределах нескольких десятилетий, все-таки традиционно считается, что наиболее ранней апойкией на Боспоре является Пантикапей, возникновение которого относят к рубежу VII–VI вв. до н. э. или 590–570 гг. до н. э. (см.: Сидорова. 1962. С. 107 сл.; Блаватский. 1964. С. 15 сл.; Виноградов Ю. Г. 1983. С. 368; Шелов-Коведяв. 1985. С. 51; Кошеленко, Кузнецов. 1990. С. 35; Кузнецов. 1991. С. 33). Другие поселения (Феодосия, Нимфей, Мирмекий, Тиритака и пр.), по мнению ряда исследователей, возникают во второй четверти VI в. до н. э. (Кошеленко, Кузнецов. 1990. С. 35–36; Кузнецов. 1991. С. 33–34), что отнюдь не исключено. Второй половиной столетия датируется основание Порфмия (Gajdukevič. 1971. S. 185). Китей возник уже в последней четверти V в. до н. э. (Молев. 1985. С. 59). Выявляющаяся постепенность процесса колонизации Восточного Крыма, на наш взгляд, весьма показательна. Есть основания полагать, что если не сейчас, то в будущем, археологические материалы позволят создать наглядную модель внутренней колонизации Боспора. В настоящее время можно указать лишь на то, что Тиритака, Мирмекий, Порфмий и пр. поселения северо-восточной части полуострова возникли, скорей всего, по инициативе Пантикапея, направлявшего в эти пункты прибывающих пере-

селенцев, и происходило это вскоре после основания главного центра, а не на столетие позднее, как представлялось С. А. Жебелеву (Жебелев. 1953. С. 122, 159). Думается, что именно в этом должен заключаться основной смысл внутренней колонизации Боспора, в частности европейской его стороны.

Надо сказать, что в последние годы накопился весьма интересный археологический материал о ранних этапах развития городов Боспора Киммерийского. Прежде всего, на многих поселениях были открыты архаические полуземлянки, связь которых со строительными традициями местного населения представляется достаточно очевидной. Подобные строительные комплексы открыты в Пантикапее, Мирмекии, Тирамбе, Фанагории, поселении на месте Анапы (Толстиков. 1992. С. 59 сл.; Виноградов Ю. А. 1991а. С. 204 сл.; 1992. С. 101 сл.; Коровина. 1968. С. 55, 63; Басовская, Долгоруков, Кузнецов, Шавырина, Яйленко. 1981. С. 105; Алексеева. 1990. С. 19 сл.; 1991. С. 9 сл.). Наконец, уже сравнительно давно они были зафиксированы в Нимфее, но, по-видимому, ошибочно отнесены к скифскому поселению, существовавшему здесь до основания греческой апойкии (Скуднава. 1954. С. 306 сл.; Худяк. 1962. С. 13 сл.).

О феномене земляночного домостроительства на античных поселениях Северо-Западного Причерноморья подробно говорилось выше. Сейчас же необходимо поставить вопрос о закономерности этой стадии практически во всех районах Северного Причерноморья, вовлеченных в сферу распространения колонизационного процесса. Переход к наземному домостроительству происходит немалое время спустя после появления в этих районах греков. Есть основания предполагать, что на Боспоре он имел место приблизительно через 70–80 лет после возникновения здесь ранних поселений. В Мирмекии это происходит на рубеже VI–V вв. или, скорее, в начале V в. до н. э. (Виноградов Ю. А. 1992. С. 105), в Пантикапее, вероятно, несколько раньше — с последней или даже с третьей четверти VI в. до н. э. (Толстиков. 1989. С. 41; но ср.: 1992. С. 62 сл.). Сейчас есть все основания вслед за С. Д. Крыжицким полагать, что «генезис и общее направление эволюции жилых домов Боспора аналогичны в целом ольвийской зоне, хотя и имели некоторые отличия» (Крыжицкий. 1982. С. 66; ср. 1993. С. 41 сл.). Любопытно, что переход к наземному домостроительству в Пантикапее практически синхронен с аналогичным явлением на Березани (см.: Соловьев. 1994. С. 93). Строительство сырцово-каменных наземных зданий в Ольвии, по мнению С. Д. Крыжицкого, относится ко времени не ранее начала V в. до н. э. (Крыжицкий. 1982. С. 30; 1993. С. 42–43), то есть практически одновременно с процессами, фиксируемыми на Боспоре, в частности в Мирмекии. Имеющиеся исключения из общего правила, прежде всего наземные постройки Торики, возведенные не позднее середины VI в. до н. э. (Онайко.

1980. С. 94), демонстрируют определенную специфику, но вряд ли позволяют сомневаться в обоснованности приведенной концепции. Иными словами, можно признать, что в обоих районах, в ольвийской зоне и на Боспоре, влияние местной традиции на характер домостроительства античных поселений, столь заметное на самом раннем этапе функционирования греческих апоекий, уменьшается приблизительно через 70–80 лет с момента их возникновения. Ощутимый рубеж этого процесса приходится на конец VI — начало V в. до н. э.

Отнюдь не исключено, что сходную картину можно получить на основании анализа лепной керамики ранних греческих поселений района. Следует отметить, что в изучении боспорской лепной керамики достигнуты немалые успехи. Важной вехой в этом отношении является монография Е. Г. Кастанаян (Кастанаян. 1981).

Признавая заслуги авторитетнейшей исследовательницы, необходимо подчеркнуть, что ее работа отнюдь не исчерпала информативных возможностей этой своеобразной категории археологического материала. Прежде всего, в исследовании Е. Г. Кастанаян очень слабо очерчены составляющие комплекса лепной керамики боспорских поселений, которые могут быть связаны с теми или иными массивами местного населения. О динамике развития этих составляющих в количественном и формально-типологическом отношении на более-менее узких хронологических срезах также почти ничего не говорится. По названным причинам приходится констатировать, что, несмотря на немалые достижения, изучение лепной керамики апоекий Боспора Киммерийского явно отстает от уровня разработок этой категории источников для района Ольвии.

Если следовать логике исследования комплекса лепной керамики ольвийского района, о чем речь шла выше, то и для Боспора, пусть пока в значительной степени априорно, следует признать его неоднородность. Как говорилось, в комплексе лепной посуды Березанского поселения и Ольвии К. К. Марченко выделяет компоненты, сопоставимые с синхронными материалами, происходящими с памятников степной и лесостепной зон Причерноморья, а также Карпато-Дунайского бассейна (Марченко К. К. 1988. С. 109 сл.).

Для боспорских поселений рассматриваемого времени следует обратить внимание на отсутствие показательных керамических форм, сопоставимых с фракийскими образцами, что, в принципе, в силу значительного расстояния, разделяющего две области, не представляется удивительным. Но на Боспоре отсутствует и лепная керамика, которую безусловно можно отнести к типам, характерным для лесостепных территорий Северного Причерноморья, к примеру — горшков с проколами под краем. Этот факт заслуживает самого пристального внимания, ибо разницу расстояний между лесо-

степью и Ольвией и, соответственно, лесостепью и Боспором нельзя признать особенно существенной, чтобы помешать распространению данного культурного элемента только во втором случае. Причина такого положения, на наш взгляд, кроется в чем-то ином. В высшей степени любопытно, что горшки с выделенным горлом и отогнутым наружу краем, но без проколов (тип 1, по К. К. Марченко), характерные прежде всего для степных районов Северного Причерноморья, хорошо представлены во всех боспорских городах (рис. 17, 1–5). Объяснение этому факту, вероятнее всего, следует искать в тесных связях боспорских греков с кочевыми скифами, ориентации их политики, в первую очередь, на номадов, а не на земледельцев лесостепей Северного Причерноморья. Очень может быть, что глубинная причина такого положения опять же кроется в своеобразии боспорской демографической ситуации — периодическими передвижениями через район каких-то кочевых орд.

Логично ожидать, что на сложение комплекса лепной керамики боспорских поселений особое влияние оказывали земледельческие племена, населявшие горный Крым и Прикубанье. Для центров азиатской стороны наиболее оправдано усматривать влияние меотских племен Прикубанья (Каме-нецкий. 1988. С. 91). Действительно, раскопки в Торице, на раннем поселении в Анапе и в Тирамбе отчетливо демонстрируют присутствие лепной керамики меотского облика (Онайко. 1980. С. 84–90; Алексеева. 1990. С. 29; 1991. С. 10–11; Коровина. 1968. С. 59. Рис. 4, 10–11). Наиболее показательные среди них грушевидные горшки с непрофилированным краем (рис. 17, 9, 10). Заинтересованность греков-колонистов в контактах с туземным земледельческим населением Прикубанья проявляется на этих материалах вполне отчетливо.

На европейской стороне пролива картина, вероятно, была несколько сложнее. Прежде всего, материалы лепной керамики позволяют судить об определенном кизил-кобинском, т. е. крымском влиянии (рис. 17, 14, 15). Однако Э. В. Яковенко, анализируя комплекс лепной керамики VI–V вв. до н. э. из Нимфея, настаивала на скифском ее происхождении, а связь некоторых типов по форме, декору и технике орнаментации с лепной посудой Северного Кавказа и горного Крыма объясняла промежуточным положением Керченского полуострова. Это промежуточное положение между Кавказом и горным Крымом, по мысли исследовательницы, обусловило для скифского населения Керченского полуострова роль посредника, благодаря чему в культурах обозначенных районов сложились сходные черты (Яковенко. 1978. С. 42). В общем, не оспаривая этой точки зрения, хотелось бы указать, что сейчас она уже не объясняет всей сложности картины, возникающей при сопоставлении синхронных комплексов лепной керамики, происходящих из различных боспорских центров.

Весьма неожиданный, на наш взгляд, результат был получен в ходе исследования строительных комплексов времени архаики в Мирмекии. Одни из наиболее ранних здесь на сегодняшний день комплексов — круглая в плане полуземлянка и яма, датируются приблизительно серединой VI в. до н. э. При их исследовании обнаружен интереснейший набор керамики, от 24 до 37% среди которой (без учета амфорных материалов) составляли фрагменты лепной посуды. Данный комплекс, однако, показателен не только многочисленностью, но и составом. Многие образцы лепной керамики, прежде всего, грушевидные горшки с непрофилированным венцом и серолощенные миски, имеют близкие аналогии на меотских памятниках (рис. 17. 6–8, 12, 13; см.: Виноградов Ю. А. 1991б. С. 13, 15; 1992. С. 102). Эти наблюдения подтвердились при раскопках других ранних строительных и хозяйственных комплексов Мирмекии, в результате чего приходится признать, что по набору лепной посуды данное поселение гораздо ближе центрам азиатского Боспора (Торик, Тирамба и др.), чем европейского, в частности Нимфея.

Несмотря на явную недостаточность материала об архаическом Боспоре вообще и лепной керамике этого времени в частности, можно отважиться еще на одно предположение. Совсем не исключено, что различие наборов лепной посуды отдельных городов, к примеру Нимфея и Мирмекии, не является случайным, а отражает некоторую закономерность. Эта закономерность, как представляется, лежит в плоскости вовлечения местного населения, в первую очередь, разумеется, земледельческого, в орбиту сначала экономического и политического влияния греческих колоний, а затем и включения определенных туземных контингентов в состав апойкий, где они, скорее всего, составили слой зависимого населения. Весьма близкая картина фиксируется сейчас в районе Нижнего Побужья, где археологические материалы демонстрируют показательные признаки этнокультурного различия сельского населения ольвийской округи (см. выше).

Мирмекийские материалы, а Мирмекий в последние годы стал одним из сравнительно хорошо изученных архаических памятников Боспора, позволяют провести еще одно сопоставление с Ольвией. К концу VI в. до н. э. количество лепной посуды здесь сокращается в 2–3 раза, составляя не более 15% в керамических комплексах. Обратим внимание, что аналогичная картина в это время имела место и в Нижнем Побужье, при этом процент лепной керамики в Мирмекии значительно превосходит показатель Ольвии, приблизительно совпадая с показателями сельских поселений района (см. выше). Упрощается и набор лепной посуды, который в Мирмекии сводится практически к одному типу горшка с выделенным горлом и отогнутым наружу краем, прикубанские влияния на этих материалах уже не прослеживаются (Виноградов Ю. А. 1991а. С. 74, 76; 1992. С. 105). Как говорилось выше, очень схожие процессы происходили в это время и в ольвийском районе.

Более того, унификация набора лепной посуды с начала V в. до н. э. охватила всю территорию Северного Причерноморья, включая и районы лесостепей, что, вероятно, было связано с приходом новой волны кочевников, установлением их гегемонии в регионе.

Данное обстоятельство, а именно — уменьшение количества лепной керамики и упрощение ее набора, показательное само по себе, имеет принципиальное значение также и в том, что обозначенный процесс предшествовал или, возможно, сопровождал другую важную перемену. Как было сказано выше, приблизительно в конце VI — начале V в. до н. э. на Боспоре можно констатировать переход к наземному домостроительству. На поселениях, как явствует из раскопок Мирмекия, возводятся многокамерные здания с сырцовыми стенами на каменных цоколях, внутренними мощеными дворами, улицами с тротуарами и пр. Поселения, наконец, приобретают городской облик, хотя в плане социально-экономическом многие из них, еще раз подчеркнем, всего скорее, так и остались большими деревнями или *«аграрными городками»*, населенными земледельцами.

И еще раз несколько слов о торговых связях греков с варварами на Боспоре в VI в. до н. э. Можно с уверенностью сказать, что они либо излишне преувеличиваются, либо вовсе игнорируются. Современный уровень археологической изученности района заставляет предполагать, что греки во время колонизации не встретили здесь стабильного оседлого населения. Еще раз повторим, что демографическая ситуация в районе в основном определялась передвижениями кочевых скифов. Выражая эту ситуацию на языке этнографии, можно сказать, что на Боспоре вошли в непосредственный контакт два хозяйственно-культурных типа: скотоводов-кочевников и пашенных земледельцев. Признание этого факта имеет большое значение по той причине, что кочевники, как показывают многочисленные исторические и этнографические материалы, в отличие от земледельцев никогда не могли жить замкнутым обществом и легко вступали в контакт. В подтверждение этого приведем некоторые наблюдения.

В отношении монголов Б. Я. Владимирцов писал, что из насущных предметов им недоставало «муки, оружия, а затем и всяких “предметов роскоши” прежде всего тканей» (Владимирцов. 1934. С. 43). Т. А. Жданко также считает, что «кочевники не могли существовать без продукции земледелия и ремесла и регулярно обменивали скот, кожу, шерсть на хлеб и ремесленные изделия» (Жданко. 1968. С. 278). И. Я. Златкин даже пришел к выводу, что «на всем протяжении евразийских степей кочевое скотоводство приобретало характер устойчивого и развивающегося производства в тех случаях, когда оно находило там рынок сбыта для излишков и источник снабжения продуктами оседлых земледельцев и ремесленников» (Златкин. 1973. С. 69). Такое положение нашло отражение даже в таджикской народной по-

словице, на которую обратил внимание академик В. В. Бартольд, — «нет турка (кочевника) без таджика (земледельца)» (Бартольд. 1963. С. 460). Количество подобных примеров можно было бы расширять практически безгранично (см.: Хазанов. 1973. С. 9; Якубов. 1977. С. 128 сл.; Khazanov. 1984. P. 82, 202). Все они однозначно убеждают нас в том, что кочевники в силу специфики их хозяйства были заинтересованы в торговле с земледельцами, легко вступали в контакт с ними, подчас отстаивая свое право на торговый обмен силой оружия.

Отсюда можно сделать несколько предварительных выводов в плане торговых связей Боспора рассматриваемого периода.

Во-первых, при рассмотрении контактов с кочевниками нельзя ограничиваться ближайшими окрестностями греческих колоний, что делает, скажем, Т. С. Нунен (Noonap. 1973. P. 81). Это методологически неверно. В силу подвижности кочевников, товары, которые они получали при торговом обмене с греками, могли попадать в самые отдаленные районы причерноморских степей. Мы склоняемся к мысли, что археологические материалы, отражающие ранние греко-варварские связи на Боспоре, следует искать не только в областях, прилегающих к городам, но и «в конечных пунктах перекочевок номадов — в Прикубанье и Поднепровье, где в результате контактов с оседлым земледельческим населением этих районов и в силу относительной стабилизации жизни кочевников этот материал мог попасть в археологические комплексы» (Вахтина, Виноградов, Рогов. 1980. С. 160).

Во-вторых, исходя из общих представлений о характере торговых связей кочевников с земледельцами можно предположить, что для скифов греческие колонии в рассматриваемое время были важны прежде всего как земледельческие центры и, очевидно, как центры ремесла. О последнем, правда, на Боспоре мы имеем слишком мало данных. Но находка литейной формы в Пантикапее для изготовления предметов в зверином стиле все-таки весьма показательна (Марченко И. Д. 1962. С. 51 сл.). Кроме того, вполне вероятно, что в мастерских Пантикапея, Нимфея и других полисов могли производиться и прочие изделия, находившие сбыт среди варваров, в первую очередь, — предметы вооружения (Онайко. 1966а. С. 159 сл.; Марченко И. Д. 1971. С. 146 сл.; Черненко. 1979. С. 185–186). Конечно, в торговлю сразу стали вовлекаться, а со временем все в более и более крупных масштабах, вино и предметы роскоши, различные ювелирные изделия, в которых была заинтересована скифская племенная верхушка (Максимова. 1954. С. 281 сл.; Прушевская. 1955. С. 336; Вахтина. 1984. С. 9–10). Некоторые из последних, впрочем, следует рассматривать не как товары, а как «дипломатические дары», служившие важным элементом регулирования отношений между античными центрами и варварскими объединениями (ср. Wells. 1980. P. 72, 77).

Но в начальный период существования греческих колоний на Боспоре, как нам представляется, грек-земледелец (ремесленник) для скифа-кочевника был более предпочтительным торговым партнером, чем грек — владелец изящных ваз. Хрупкие вазы, добавим, совершенно не приспособлены к кочевому быту. И если такие вазы все-таки вовлеклись в обмен, то сами по себе они могут свидетельствовать о довольно значительном развитии торговли продуктами земледелия, с одной стороны, и продуктами скотоводства, с другой, торговли, которая, по понятным причинам, не находит прямого отражения в археологических источниках.

Данная гипотеза или, скорей, догадка значительно отличается от довольно распространенной точки зрения на греко-варварскую торговлю, в которой предполагается посредническая роль кочевой аристократии в поставках хлеба от туземных земледельческих племен в греческие города (см.: Онайко. 1970. С. 81, 86; Артамонов. 1972. С. 59, 62; 1974. С. 113). Такая ситуация вполне могла иметь место в IV в. до н. э., как это в большинстве случаев и считается, т. е. она представляла собой итог довольно длительного развития торговых контактов. Для начального же периода, для времени их становления мы вправе предполагать совершенно обратное, а с другой стороны наиболее типичное в плане взаимодействия двух различных хозяйственно-культурных типов.

Такой в общих чертах представляется нам греческая колонизация на Боспоре, прежде всего на его европейской стороне, в том аспекте этого процесса, который определялся демографической ситуацией. Основными факторами этой ситуации, как мы старались показать, были близость к данному району Предкавказской Скифии и периодические передвижения какой-то части кочевых скифов из Северного Причерноморья через Крым и Керченский пролив на зимние пастбища в Прикубанье. Таким образом, греческие колонии здесь пришли в непосредственное соприкосновение с местными племенами в лице кочевых скифов с самого момента их выведения, что имело огромное значение для дальнейшего развития этих центров. Одним из результатов контакта можно считать особенность освоения сельскохозяйственной территории некоторыми колониями (на европейской стороне — Пантикапеем) путем выведения достаточно крупных дочерних пунктов, которые впоследствии превратились в своего рода «аграрные городки», а не путем основания обычных поселений типа деревень. Эта специфическая черта, раз сложившись, и в дальнейшем являлась одной из отличительных особенностей района Боспора Киммерийского в сравнении с другими районами греческой колонизации Северного Причерноморья. Как можно предполагать, она наложила свой отпечаток на характер историко-культурного развития Боспора на протяжении всей античной эпохи.

2. Греко-варварские отношения на Боспоре в конце первой — третьей четвертях V в. до н. э.

2.1. Некоторые общие замечания

Кардинальные изменения, происшедшие в степях Северного Причерноморья и приведшие к обострению здесь военно-политической обстановки, как можно ожидать, наложили свой отпечаток на исторические судьбы античных государств региона, в том числе, а, вероятно, уместно сказать прежде всего, на исторические судьбы апойкий Боспора Киммерийского, которые всегда являлись своего рода форпостом античной культуры на пути передвижений номадов с востока. Обозначенный хронологический отрезок в истории боспорских колоний занимает особое место: это время от образования объединения Археанактидов (480/79 г. до н. э.) до утверждения династии Спартокидов (438/37 г. до н. э.). Понятно, что перечисленные важнейшие события не могли быть изолированными от взаимоотношений Боспора с туземным миром. Априорно даже можно предположить, что в это время в их системе происходят существенные перемены. Важнейшими среди них следует признать следующие: во-первых, с исторической арены сходит Предкавказская Скифия и, во-вторых, прекращаются периодические продвижения скифов из Поднепровья в Прикубанье через район Боспора Киммерийского. Иными словами, исчезают главные факторы, определявшие демографическую ситуацию в районе в период колонизации.

Надо сказать, что письменные источники прямого ответа на вопрос о времени прекращения скифских передвижений через Боспор не дают. Однако исходя из косвенных свидетельств, а также из археологических данных можно сделать некоторые предварительные заключения.

Прежде всего, поскольку многократно упоминавшийся пассаж из труда Геродота о переправах скифов через замерзший Керченский пролив (IV, 28) мы относим к весьма широкому хронологическому отрезку, то не представляется возможным его рассматривать как свидетельство каких-то изменений, происходивших в Скифии в V в. до н. э. Из других сообщений Геродота можно заключить, что после войны с Дарием скифы еще контролировали предкавказские степи. Во всяком случае, во время переговоров с царем Спарты Клеоменом о совместном походе против персов (VI, 84), у них не возникло сомнения о возможности прохода в Персию известным маршрутом через Кавказ. Если поход Дария, по всей видимости, относится к 519 г. до н. э., а дата смерти Клеомена приходится на 491 г. до н. э., то можно предполагать, что какое-то время между этими событиями степи Предкавказья еще оставались частью Скифии. Но, очевидно, вскоре после скифского посольства в Спарту (конец VI — начало V в. до н. э.) ситуация изменилась и при этом весьма кардинально.

Материалы археологии позволяют со всей уверенностью говорить, что на рассматриваемом этапе в Предкавказье отсутствуют скифские царские курганы, подобные Келермесским, Костромскому и Ульским, хотя, в принципе, их нет и в Северном Причерноморье. Что касается верхней хронологической границы названных комплексов, то, несмотря на расплывчатость существующих датировок, самые поздние из них (Ульские) можно относить лишь к рубежу VI–V вв. до н. э. (Анфимов. 1987. С. 52) или к началу V в. до н. э. (Артамонов. 1966. С. 25–28; Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 69). Этот факт, безусловно, заслуживает самого пристального внимания.

Картина глобальных изменений, происходящих в регионе в это время, пока еще далеко не ясна, для ответа на ряд важнейших вопросов не хватает конкретных материалов. Осознавая это, укажем на некоторые аспекты, которые, по всей видимости, нельзя считать случайными. К примеру, в V в. до н. э. резко уменьшается доля северокавказского сырья в цветной металлообработке Скифии (Барцева. 1981. С. 90–91). Изменения фиксируются в сфере изобразительного искусства региона, в том числе и Прикубанья. В. В. Переводчикова, посвятившая работу исследованию прикубанского варианта скифского звериного стиля, пришла к ряду интересных выводов. Показательно, что памятники раннескифского времени (VII–VI вв. до н. э.) не дают локальных вариантов, они едины на всей территории распространения. При этом Прикубанье и лесостепь Северного Причерноморья образуют одну провинцию скифского звериного стиля — западную (Переводчикова. 1987. С. 49–50, 54). В V–IV вв. до н. э. происходят значительные перемены. В изобразительной системе фиксируется усиление влияния Средней Азии, Казахстана, Алтая и особенно Ирана. В целом звериный стиль Прикубанья этого времени скорее относится к восточной провинции скифского звериного стиля, нежели к западной (Переводчикова. 1987. С. 50 сл.).

В высшей степени показательно, что по археологическим данным жизнь на некоторых городищах Прикубанья начинается именно в конце VI — начале V вв. до н. э. (Гайдукевич. 1949. С. 226). Среди них, прежде всего, следует отметить Семибратнее городище (Анфимов. 1951. С. 224; 1953. С. 102; 1958. С. 49). Ближе к середине V в. до н. э. насыпаются самые ранние богатые погребения местной племенной знати (Семибратние курганы), о которых речь пойдет ниже.

Сущность происшедших изменений В. Ю. Мурзин видит в том, что с конца VI в. до н. э. восточная граница Скифии стабилизировалась по Дону, а в степях Прикубанья остались кочевники, не связанные политически со скифами Северного Причерноморья (Мурзин. 1978. С. 35). В этом отношении, вероятно прав В. Б. Виноградов, считавший, что приблизительно с этого времени степи Предкавказья оказались включенными в сферу савроматских кочевий (Виноградов В. Б. 1971. С. 179, 182).

Иными словами, есть все основания полагать, что к рассматриваемому периоду один из значительнейших центров варварского политического и экономического влияния на апойкии Боспора, каким ранее, вне всякого сомнения, была Предкавказская Скифия, сходит с исторической арены. Потеря скифами контроля над Прикубаньем, вероятно, ставшая одним из результатов кардинальных военно-политических и демографических перемен в степном коридоре, имела огромное значение в плане дальнейшего историко-культурного развития региона. Вряд ли можно согласиться с В. Ю. Мурзиным, который считает, что скифы отказались от власти над Прикубаньем чуть ли не добровольно, когда они осознали выгоды контроля торговых коммуникаций, связывающих античные центры Северного Причерноморья с лесостепным Поднепровьем (Мурзин. 1986. С. 7 сл.). Выгоды от северопричерноморской торговли при утере прикубанской и — шире — кавказской вряд ли можно признать самоочевидными для такого ответственного заключения, а особую расчетливость скифов при оценке происшедших перемен, скорее всего, вообще следует игнорировать. Более историчной, хотя сейчас и не вполне удовлетворительной, представляется концепция, высказанная известными советскими скифологами В. А. Ильинской и А. И. Тереножкиным. Названные исследователи относили ослабление связей скифского мира с Кавказом к середине V в. до н. э. (датировка, на наш взгляд, излишне завышенная) и объясняли это явление окончательной стабилизацией границы между скифами и савроматами по Дону, укреплением могущества Боспора и консолидацией синдо-меотских племен, вошедших в состав Боспорского царства (Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 72). Как видим, здесь наряду с прочими причинами внимание определенно концентрируется и на боспорских событиях.

2.2. Ситуация на Боспоре

Обозначенный хронологический отрезок, как уже отмечалось, в истории Боспора был ознаменован очень важными событиями. Среди них первостепенное значение имеет проблема объединения Археанактидов. По существу, об Археанактидах и приходе к власти Спартока мы знаем из единственного свидетельства, содержащегося в «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского (XII, 31, 1), которое сводится к тому, что в 438/37 г. до н. э. «в Азии исполнилось 42 года царствования на Киммерийском Боспоре царей, называемых Археанактидами; царскую власть получил Спарток и правил 7 лет» (перев. В. В. Латышева).¹ Понятно, что однозначной его трактовки нет и быть не может. В последнее время в отечественной науке интерес

¹ В переводе В. В. Латышева упущено выражение «в Азии». О возможных причинах такого положения см. в заключении главы.

к проблеме образования Боспорского государства заметно возрос (см.: Виноградов Ю. Г. 1983. С. 394 сл.; Толстиков. 1984. С. 24 сл.; Шелов-Коведяев. 1985. С. 63 сл.; Васильев. 1992. С. 111 сл.). Все исследователи стремятся подходить к решению проблемы, основываясь не только на тексте Диодора, но и на имеющихся эпиграфических, нумизматических, археологических и сравнительно-исторических материалах. Из их совокупности попытаемся акцентировать внимание на археологических источниках, поскольку до сих пор в исторических реконструкциях они, как представляется, используются не в полной мере (см.: Васильев. 1985б. С. 5). Не исключено, что с этой позиции некоторые спорные вопросы покажутся более ясными.

Археологических материалов о городах Боспора V в. до н. э. пока что известно не очень много. Период накопления материалов по данному вопросу еще продолжается, и в этой области следует ожидать самых неожиданных открытий.

Однако общий облик боспорских городов этого времени, монетная чеканка некоторых центров и т. д. не позволяют говорить о каких-то кризисных явлениях в экономике или культуре и тем более об их упадке. Напротив, для одного из полисов — Гермонассы фиксируется период расцвета, который приходится на VI–V вв. до н. э. (Зеест. 1974. С. 92), ранний период процветания городской жизни в Мирмекии относится к первой четверти V в. (Виноградов Ю. А. 1992. С. 106). В связи с приведенными фактами можно указать также, что в Ольвии V в. до н. э., как об этом говорилось выше, несмотря на резкую редукцию хоры, сам город процветал.

Но наряду с этим самого пристального внимания заслуживают факты наличия на некоторых памятниках слоев пожаров и разрушений, датирующихся первой половиной V в. до н. э. В. П. Толстиков, специально собравший данные по этому вопросу, отмечает, что такие слои зафиксированы в следующих боспорских городах: Нимфее, Тиритаке, Зенонове Херсонесе, Фанагории, Кехах (Толстиков. 1984. С. 30 сл.). При этом в слое пожара в Фанагории были обнаружены обломки железных мечей местных типов (Кобылина. 1983. С. 53). В дополнение сводки В. П. Толстикова можно привести Мирмекий, где раскопками последних лет, особенно на участке «Р», был обнаружен мощный слой разрушения приблизительно конца первой четверти V в. до н. э. (Виноградов Ю. А. 1992. С. 107; Виноградов, Тохтасьев. 1994. С. 58). В нем обнаружено немало бронзовых наконечников стрел скифских типов, некоторые из которых имеют погнутые острия, детали конской узда и пр. (рис. 18). Показательно, что в западной части Мирмекии на участке, плотно застроенном в последней трети VI — первой четверти V в. до н. э., фиксируется явное запустение во второй четверти столетия (Виноградов Ю. А. 1991а. С. 76). Следы пожара первой трети V в. до н. э. зафиксированы также в Порфмии (Вахтина. 1995. С. 33).

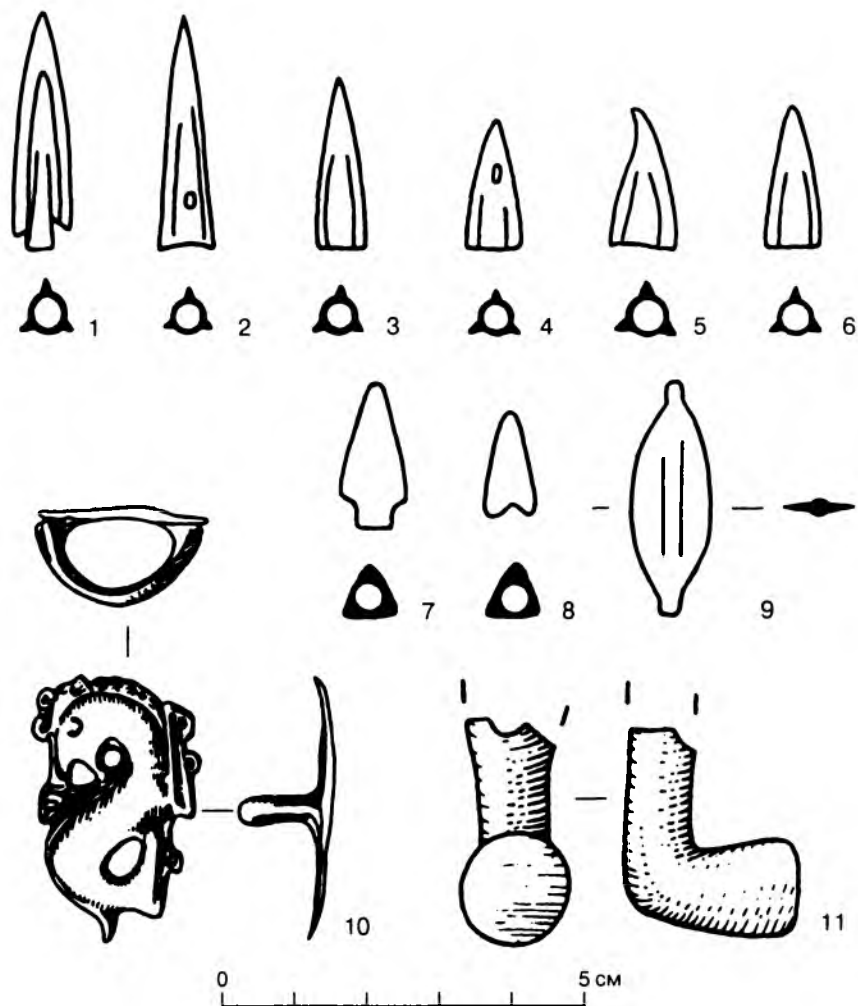


Рис. 18. Находки из слоя разрушений конца первой трети V в. до н. э. в Мирмекии (1–8 — наконечники стрел; 9 — бронзовая монета-стрелка; 10 — бронзовое украшение конской узды; 11 — обломок бронзового псалия)

Несмотря на крайнюю ограниченность наших знаний о ранних поселениях хоры Боспора, приходится признать, что и на них фиксируются следы пожаров (Толстиков. 1984. С. 30). На Андреевке Южной он, вероятно, относится к первой половине V в. до н. э. (Кругликова. 1975. С. 49). Какое-то потрясение переживает поселение у с. Героевки, возможно, оно даже было оставлено жителями и находилось в запустении до конца V в. до н. э. (Кругликова. 1975. С. 31). В пределах третьего-четвертого десятилетий столетия прекратило свое существование Алексеевское поселение около Горгииппии (Салов. 1986. С. 195; Алексеева. 1991. С. 18–19).

Закономерной в этой связи представляется тенденция к активному фортификационному строительству, проявляющаяся в ряде боспорских городов. В первой четверти V в. до н. э. возводится оборонительная стена Тиритаки (Марти. 1941. С. 13 сл.; Гайдукевич. 1952. С. 15 сл.). Ширина стены составляла 1,7–1,8 м, в трассу ее были включены стены некоторых разрушенных домов, что явно свидетельствует о поспешности строительства (Толстиков. 1984. С. 29). Оборонительная стена вокруг Фанагории был возведена в V в. до н. э.; судя по сохранившимся субструкциям, она достигала в ширину 3,5 м (Кобылина. 1969. С. 98). В конце первой трети V в. до н. э. городская стена, имевшая 3 м в ширину, была построена в Мирмекии. Значительный ее участок открыт на западной окраине городища (Виноградов Ю. А. 1992. С. 107; Виноградов, Тохтасев. 1994. С. 54 сл.).

В могильниках азиатского Боспора для раннего времени отмечается большое количество погребений с оружием. Эта специфически местная черта отличает их от синхронных памятников Греции (Braodman, Kurtz. 1971. P. 75). Так, в некрополе Тирамбы оружие во второй половине VI — первой половине V в. до н. э. столь обычно, что А. К. Коровина пришла к выводу о поголовном вооружении мужского населения этого города (Коровина. 1987. С. 8). В Тузлинском некрополе, очевидно принадлежавшем Корокондаме, большое количество предметов вооружения фиксируется с рубежа VI–V вв. до н. э. (Сорокина. 1957. С. 21 сл., 52).

Думается, что приведенные факты достаточно отчетливо свидетельствуют об ухудшении военно-политической ситуации на Боспоре рассматриваемого периода, произошедшем в результате дестабилизации обстановки в северопричерноморском регионе. Скепсис А. Н. Васильева в этом отношении представляется абсолютно необоснованным (Васильев. 1992. С. 116 сл.). Ухудшение ситуации, как следует полагать, было связано с усилением агрессивности скифов, что, как говорилось выше, проявляется не только на Боспоре, но и в Северо-Западном Причерноморье. В связи с изложенным приходится согласиться с уже давно высказанной идеей о том, что объединение греческих колоний Боспора Киммерийского в 480/79 г. до н. э. было вызвано угрозой со стороны варварского окружения (Латышев. 1909. С. 71; Гай-

дукевич. 1949. С. 44–45; Каллистов. 1949. С. 197; Блаватский. 1954. С. 39). В. П. Толстиков, суммируя последние разработки по этой проблеме в отечественной науке, отмечает, что одной из важнейших причин объединения Археанактидов «являлась необходимость в консолидации всех сил для защиты от скифской угрозы, для организации эффективной обороны хоры, являвшейся основой экономики боспорских городов» (Толстиков. 1981. С. 15; ср.: 1984. С. 24 сл.; Виноградов Ю. Г. 1983. С. 349 сл.; Шелов-Коведяев. 1985. С. 63 сл.).

Традиционно считается, что важным мероприятием Археанактидов в деле отражения скифской агрессии было возведение Тиритакского вала или, во всяком случае, его обновление, если признать, что вал имел догреческое происхождение (Шмидт. 1941. С. 268 сл.; Гриневич. 1946. С. 160 сл.; Сокольский. 1957. С. 92 сл.; Гайдукевич. 1949. С. 189). Этот мощный оборонительный рубеж, имеющий 25 км в длину, отсекал от Керченского полуострова его восточную часть. В. П. Толстиков считает, что создание этого рубежа было «главной стратегической оборонительной мерой объединившихся боспорских полисов» (1984. С. 25). По его расчетам, для возведения Тиритакского вала было необходимо привлечение 7–8 тыс. дееспособных и боееспособных мужчин в течение не менее двух лет (Толстиков. 1984. С. 37). Мобилизация столь значительных людских ресурсов в условиях военной опасности только античными центрами была, по всей видимости, невозможна. Отсюда В. П. Толстиков усматривает одно из возможных направлений связей греков с синдами, которые, как и другие племена Прикубанья, были заинтересованы в ликвидации скифского владычества. Борьба против общего противника, безусловно, могла сблизить боспорских греков с синдами, привести к заключению союза между ними. Под защитой Тиритакского рубежа их объединенные силы, по мысли автора, вполне могли создать «непреодолимый заслон для кочевников» (Толстиков. 1984. С. 39). Проблема, однако, представляется сложней.

Несколько слов необходимо сказать о расположении Тиритакского вала. Начинаясь у Азовского моря, он идет к югу, включает в себя Золотой курган и обрывается у Тиритаки. По нашему мнению, вал ограничивал основную территорию Пантикапейского полиса, оставляя за пределами такой важный боспорский центр, как Нимфей (рис. 16). На этом основании делались предположения, что Нимфей не входил в объединение Археанактидов или даже попал под скифский протекторат (Толстиков. 1984. С. 42 сл.; Шелов-Коведяев. 1985. С. 81). Однако особых оснований для этого, как представляется, пока нет.

Само по себе возведение валов и стен — типичнейший способ защиты земледельческих народов от нападения кочевников, в качестве примеров чему можно привести Дербент, Великую Китайскую стену, русские засеки и т. д. (Григорьев. 1875. С. 19). Поскольку важным фактором демографиче-

ской ситуации на Боспоре, как было сказано выше, были периодические передвижения скифов из Поднепровья в Прикубанье, то нетрудно предположить, что в ухудшившейся военно-политической обстановке в регионе они стали очень опасными для греческих колоний. В этой обстановке не было ничего более логичного и с практической точки зрения, безусловно, оправданного, как лишение кочевников возможности доступа к месту переправ, к самому узкому месту пролива (к греческому Порфмию). Тиритакский вал в этом отношении выполнял свои задачи. Для включения Нимфея в систему обороны необходимо было проведение работ, значительно превосходящих масштабы работ по возведению Тиритакской линии (длина Тиритакского вала — 25 км, а более западного Акковского — 36 км). Следующим этапом защитных работ, когда угроза со стороны скифов, по всей видимости, уже не была столь реальной, когда их продвижениям через Боспор Киммерийский был положен конец, являлось возведение или опять же возобновление Акковского вала.

Вряд ли можно сомневаться, что после возведения Тиритакского вала скифские передвижения из Поднепровья в Прикубанье через Керченский пролив были практически прекращены, во всяком случае как систематическое явление. В. П. Толстиков во многом противоречит себе, когда, с одной стороны, подчеркивает непреодолимость Тиритакского рубежа для кочевников (Толстиков. 1984. С. 39), а с другой, вслед за некоторыми исследователями считает, что и после его возведения переправы могли продолжаться несколько южнее прежних, то есть не у Порфмия, а у Нимфея по направлению к Корокондаме (Толстиков. 1984. С. 41; ср.: Доватур, Каллистов, Шишова. 1986. С. 260. Примеч. 254). С этой компромиссной гипотезой согласиться очень трудно, ибо очевидно, что при таком положении вал не гарантировал безопасности ни скифов, ни греческих городов как на азиатской, так и на европейской сторонах Боспора.

Как представляется, система обороны Боспора Киммерийского была уже в то время несколько сложнее, чем это представляется В. П. Толстикову (Виноградов, Тохтасьев. 1994. С. 61–62). В зимнее время она, конечно, не могла базироваться на Тиритакском вале, который подвижные отряды кочевников легко могли обойти по льду, к примеру, около Нимфея. Но могли ли такие рейды нанести большой ущерб боспорянам? Думается, что нет. Урожай на полях был в это время уже убран, а население могло легко укрыться под защитой городских стен, остатки которых, напомним, были открыты в Фанагории, Тиритаке, Мирмекии и Порфмии. Тиритакский вал был дополнительной защитой боспорских городов в летнее время и, что особенно важно, единственной защитой боспорских (прежде всего, пантикапейских) сельскохозяйственных угодий в весенне-летний сезон, когда они действительно могли пострадать от нападения кочевников. Но, еще раз подчеркнем,

вал безусловно отсекал доступ кочевников к самому удобному месту для переправ через пролив. В этом отношении опять же следует признать, что если сооружение Тиритакского оборонительного рубежа не слишком затрудняло проведение зимнего военного похода, то для сезонных передвижений кочевников создавало серьезнейшее препятствие. Многокилометровый переход от Нимфея в направлении Корокондамы почти по кромке льда, осуществляемый сравнительно большой массой людей с повозками и, надо думать, стадами в условиях враждебного окружения, вряд ли реален. Иными словами, мы склоняемся к мысли, что скифские зимние переправы через пролив не начались во время прихода к власти Археанактидов или несколько ранее, как это считают наши оппоненты, а, напротив, завершились, по крайней мере, как регулярное явление.

Для понимания ситуации, сложившейся на Боспоре в V в. до н. э., принципиальное значение имеет изучение памятников Восточного Крыма. Как и в отношении сельских поселений боспорской хоры, необходимо признать, что их открыто весьма незначительное количество. В принципе, такое положение, на наш взгляд, отражает немногочисленность памятников данного времени в районе. В самой общей форме можно сказать, что для этого периода вдоль Азовского побережья Керченского полуострова известны погребения в каменных ящиках, об этнической атрибуции которых идут споры. А. М. Лесков считает их таврскими (1961. С. 263 сл.), другие исследователи скифскими (Яковенко. 1981. С. 248 сл.; 1982. С. 68 сл.) или синдскими (Корпусова, Орлов. 1978. С. 74). А. А. Масленников, находя в них черты, характерные для синдских могил того же времени, попытался видеть здесь «памятники уцелевшего местного, автохтонного населения — легендарных киммерийцев или даже остатков индоарийцев» (Масленников. 1981. С. 27). Наиболее корректной представляется точка зрения Э. В. Яковенко, которая считала эти памятники скифскими, признавая возможность инфильтрации на европейский Боспор как таврских, так и синдских этнических элементов (Яковенко. 1981. С. 255). Погребения в каменных ящиках Азовского побережья Восточного Крыма, как было сказано выше, мы склонны трактовать в плане реакции на передвижения через этот район кочевых скифов. Открытые степи в это время были слишком опасным местом для существования небольших поселений. Побережье Азовского моря, находящееся в стороне от основного маршрута скифов, могло гарантировать определенную безопасность, конечно, безопасность относительную, для обосновавшихся здесь общин. Необходимо отметить, что публикации по данному вопросу чрезвычайно скудны. Не будет большим преувеличением сказать, что самые показательные бесспорные материалы V в. до н. э., происходящие из этого района, были приведены еще первооткрывателем каменных ящиков А. А. Дириним (1896. С. 131. Табл. VI, 17, 18).

В отношении степных памятников Керченского полуострова, очевидно, следует признать их некоторое численное увеличение в сравнении с более ранними. Э. В. Яковенко относил к V в. до н. э. два скифских погребения, а к рубежу V–IV вв. до н. э. еще 12 памятников в степных районах (Яковенко. 1970а. С. 115). К началу столетия принадлежит весьма богатый для своего времени комплекс, обнаруженный в кургане около с. Ильичево (Лесков. 1968. С. 165). Второй половиной V в. датируется погребение скифского воина в катакомбе, открытое в Акташском могильнике (Бессонова, Скорый. 1986. С. 165). Здесь же необходимо отметить могильник у с. Фронтное на Ак-Монайском перешейке, то есть в самой узкой части Керченского полуострова, в котором В. М. Корпусова вполне обоснованно выделяет группу погребений начала V–IV вв. до н. э. (Корпусова. 1972. С. 42). Конечно, можно не согласиться с выводом исследовательницы о принадлежности данного памятника хоре Феодосии или даже сомневаться в непрерывности его функционирования на протяжении V–IV вв., однако не эти сомнения в контексте изложенного представляются принципиально важными. Главное, на наш взгляд, заключается в том, что с начала V в. до н. э. в ранее практически пустовавшем степном коридоре Керченского полуострова, своего рода «проходном дворе», появляется грунтовый могильник, существовавший и позднее, и вообще количество памятников в районе начинает постепенно, пусть очень медленно, возрастать. Совсем не исключено, что и в этом можно видеть одно из проявлений тех перемен, речь о которых шла выше. Особое значение здесь, разумеется, должно было иметь снятие такого сдерживающего фактора, как передвижения кочевых скифов из Северного Причерноморья в Прикубанье и обратно через Крым и Керченский пролив.

Кроме названных памятников для V в. до н. э. мы имеем группу совершенно новых, для более раннего времени почти неизвестных, — это курганы варварской знати, возведенные вблизи от боспорских городов. Как представляется, при их неформальном учете многие особенности развития Боспора в рассматриваемое время могут стать более понятными.

2.3. Курганы варварской знати V в. до н. э. в районе Боспора Киммерийского

Курганные комплексы, о которых речь пойдет в данном разделе, по большей мере давно и хорошо известны в научной литературе. В принципе, число их невелико (рис. 19). Это, прежде всего, Нимфейские курганы. Л. Ф. Силантьева выделила шесть комплексов, для которых характерно наличие ярко выраженных местных черт в погребальном обряде (Силантьева. 1959. С. 51 сл.). Отдельные находки еще, вероятно, из трех подобных комплексов находятся сейчас в Оксфорде (Gardner. 1884. P. 62 sq.; Vickers. 1979; Чер-



Рис. 19. Курганы варварской знати V — начала IV в. до н. э. на Боспоре. Карта-схема (1 — Темир-Гора, 2 — Баксы, 3 — Куль-Оба, 4 — Ак-Бурун, 1862 г., 5 — Нимфейские курганы, 6 — курган около Кеп, 1880 г., 7 — Фанагорийский курган № 2, 1852 г., 8 — курган Тузлинского некрополя, 1852 г., 9 — Семибратние курганы, 10 — курган у пос. Уташ, 1976 г.)

ненко. 1970. С. 190 сл.). Таким образом, в общей сложности под Нимфеем было открыто девять интересующих нас комплексов. Далее следует отметить курган, раскопанный на мысе Ак-Бурун в 1862 г. (Яковенко. 1970б. С. 54 сл.; 1974. С. 104 сл.), раннее погребение в кургане у с. Баксы (ОАК. 1882–1888. С. IV сл.), ранний комплекс из Куль-Обы (ДБК. С. XXVIII сл.) и погребение № 83 на Темир-Горе (Яковенко. 1977. С. 140 сл.).

По мнению Э. В. Яковенко, погребения скифской, а вернее, варварской аристократии были характерны только для некрополей европейского Боспора, что рассматривается как своего рода феномен (Яковенко. 1985. С. 21). Однако внимательное изучение старых публикаций и некоторые новые открытия заставляют усомниться в обоснованности этого вывода. Погребения варварской аристократии вблизи от греческих городов известны и на азиатской стороне Боспора. Курганы V в. до н. э. были раскопаны под Фанагорией (Герц. 1876. С. 61, 65) и Кепами (ОАК. 1880. С. XII). К этому же времени, очевидно, принадлежит конская могила, открытая под Тузлой (Герц. 1876. С. 49). Большой научный интерес представляет монументальная сырцовая гробница, открытая у пос. Уташ (25 км от Анапы в сторону Тамани) в 1976 г. (Алексеева. 1991. С. 30–34).

В этой связи, разумеется, не следует забывать знаменитые Семибратние курганы (Ростовцев. 1925. С. 351 сл.). Вряд ли можно сомневаться, что они представляют собой некрополь синдской знати. Названные комплексы, как известно, находятся довольно далеко от греческих городов, поэтому с формальной стороны не относятся к группе приведенных выше памятников. Однако, во-первых, это расстояние не столь велико, а во-вторых, что более важно, роль синдов в боспорской истории V в. до н. э. столь значительна, что рассмотрение Семибратних курганов в связи с общими закономерностями возникновения традиции возведения курганов варварской знати на Боспоре, по всей видимости, будет оправдано. Во всяком случае, пренебрегать данными памятниками при рассмотрении греко-варварских взаимоотношений V в. до н. э. недопустимо.

Выше уже отмечалось, что почти все перечисленные комплексы известны в науке давно и, значит, казалось бы, уже полностью введены в научный оборот. Однако это не совсем так. До настоящего времени отсутствуют полные публикации ряда важнейших памятников. Исследования отдельных эффектных находок или даже групп материалов, происходящих из тех или иных комплексов, дают многое, но, конечно, далеко не все. К тому же даже вещевые находки, исследованные и опубликованные на самом современном уровне, зачастую используются в научной литературе не в полной мере.

По нашему убеждению, названные памятники V в. до н. э., как и курганные комплексы других эпох, представляют собой не просто эффектные погребальные сооружения со своеобразным смешением греческих и туземных особенностей обряда. Прежде всего, это памятники своей эпохи. Их углубленное изучение при четкой постановке задач, разработке методики использования на уровне интерпретации и т. д., несомненно, может привести к получению достоверной исторической информации по целому ряду вопросов.

Мы отнюдь не претендуем на создание абсолютной, всеохватывающей, целостной схемы. В настоящее время это просто невозможно. Попытаемся лишь наметить некоторые возможные пути использования этих памятников при реконструкции исторической ситуации V в. до н. э. на Боспоре. В своих построениях мы будем исходить из следующих взаимосвязанных и в общем достаточно очевидных посылок.

1. Курганы принадлежат варварской племенной аристократии в самых широких пределах их возможных этнических и социальных атрибуций. Следовательно, эти комплексы отражают контакты полиса, на территории которого они были насыпаны, с туземным миром, так сказать, на весьма высоком, иногда на самом высоком уровне.
2. Топографическое положение курганов около боспорских городов не случайно. Появление их в V в. до н. э. представляет собой результат как общего развития греко-варварских взаимоотношений на Боспоре, так и кон-

кретных взаимоотношений данного античного центра (полиса) с тем или иным туземным «народом». В этом отношении следует подчеркнуть, что если бы курганы были насыпаны не под Нимфеем, а, скажем, под Тиритакой или Мирмекием, наше понимание истории Боспора в это время должно было бы существенным образом трансформироваться.

Любопытно, что именно около Тиритаки было открыто впускное курганное погребение, которое считается либо таврским (Безсонова. 1972. С. 106–107), либо скифским (Яковенко. 1980. С. 51). Но по обряду и по набору инвентаря оно вполне рядовое, отнести его к разряду погребений племенной аристократии никак нельзя. В плане нашей работы этот памятник имеет значение как хороший «негативный» пример, а именно — рядовое туземное население могло проживать в любом греческом городе, о чем свидетельствуют прежде всего материалы лепной керамики, а выходцы из социальной верхушки предпочитали лишь некоторые. Безусловно, права Э. В. Яковенко, когда пишет, что «скифская знать предпочитала жить постоянно или периодически в самых крупных и значительных центрах Боспора» (Яковенко. 1985. С. 21), но принципиально важно знать, в каких именно и на каких хронологических отрезках.

3. Дата возведения кургана по этой причине имеет первостепенное значение при использовании археологических материалов в исторических реконструкциях. Если бы те же самые Нимфейские курганы датировались второй половиной IV в. до н. э., в их интерпретации должно было бы измениться чрезвычайно многое.
4. Греческий центр, в окрестностях которого группировались курганы, по всей видимости, проводил независимую внешнюю политику, хотя бы в той ее немаловажной части, как контакты с варварскими племенами.
5. Этот центр в силу тесных связей с определенным туземным объединением обладал немалой военной силой в лице союзных варваров. Это могла быть реальная дружина, приходившая в город вместе со своим вождем, или же просто потенциальная поддержка данного полиса со стороны определенного племени или объединения племен в случае возможного военного конфликта. Последнее в реальной жизни, думается, имело не меньшее значение.

Количество посылок, очевидно, можно увеличить, но ограничимся пока приведенными пятью. Исходя из них, обратимся в первую очередь к рассмотрению топографии и хронологии перечисленных выше курганных комплексов, выполним в этом отношении классическое требование «единства места и времени» (см.: Виноградов Ю. А. 1989. С. 38 сл.; 19946. С. 72 сл.).

Топография их предельно проста. Четыре памятника находятся в окрестностях Пантикапея, иными словами — на территории Пантикапейского полиса. Это курган на мысе Ак-Бурун (1862 г.), курган у с. Баксы, ранний

комплекс из Куль-Обы и погребение № 83 на Темир-Горе. По одному памятнику открыто под Фанагорией (курган 1852 г.) и, возможно, под Гермонассой (курган у мыса Тузла). Последний к некрополю Гермонассы относил М. И. Ростовцев (1925. С. 351), правда, без особых доказательств. В общем, факт возведения курганов около Пантикапея и Фанагории не вызывает особого удивления, ибо названные центры, как известно, — две боспорские столицы. Любопытно, что один курган, вероятно, был насыпан на территории Гермонассы. Самого же пристального внимания заслуживает тот факт, что наиболее многочисленная и богатая группа памятников находится под Нимфеем. Одно это позволяет предполагать особую роль этого центра в боспорской истории V в. до н. э.

С датировкой перечисленных памятников дело обстоит несколько сложнее. Правда, Л. Ф. Силантьева посвятила фундаментальное исследование изучению Нимфейского некрополя, где вопросы хронологии интересующих нас комплексов разобраны весьма основательно. Исследовательница считала, что наиболее ранней в этой группе является конская могила из кургана № 32, датирующаяся первой половиной V в. до н. э. (Силантьева. 1959. С. 86 сл.), а наиболее поздней — каменная гробница № 16 в сплошной могильной насыпи. В последней был найден чернолаковый сосуд первой четверти IV в. до н. э., хотя все остальные предметы (бронзовая посуда и т. д.) относятся к первой половине V в. до н. э. (Силантьева. 1959. С. 78 сл., 87). По самой поздней находке комплекс датирован первой четвертью IV в. до н. э. В принципе, такая датировка допустима, хотя, вероятно, предпочтительней говорить о начале столетия.

Предметы бронзового уздечного набора, происходящие из конской могилы, открытой на мысе Ак-Бурун в 1862 г., были изучены Э. В. Яковенко. Их стилистические особенности позволили исследовательнице датировать весь комплекс временем не позднее середины V в. до н. э. (Яковенко. 1970б. С. 54; 1974. С. 105). По времени он близок самым ранним комплексам из Нимфейского некрополя.

Погребение № 83 на Темир-Горе определяется этой же исследовательницей как погребение скифской царицы. На основании находки части аттического краснофигурного кратера «мастера Пенелопы» Э. В. Яковенко отнесла памятник к концу V в. до н. э. (1977. С. 143). На наш взгляд, общий облик инвентаря требует некоторого расширения датировки. Более оправданно, очевидно, будет относить его к концу V — началу IV в. до н. э. Иными словами, погребение на Темир-Горе, как и комплексы, о которых речь пойдет ниже, хронологически близки наиболее поздним погребениям такого типа из некрополя Нимфея.

В уступчатом склепе Баксинского кургана, как считается, было совершено два разновременных захоронения (Gajdukevič. 1971. S. 278). К ранне-

му, наряду с другими находками, принадлежит краснофигурная пелика конца V в. до н. э. (Горбунова, Передольская. 1961. С. 108; Передольская. 1971. С. 54). По всей видимости, этот памятник надо относить к концу V — началу IV в. до н. э.

Близкая ситуация, вероятно, имела место в Куль-Обе (ДБК. С. XXVIII). Под полом каменной уступчатой гробницы грабителями, как можно предполагать, было обнаружено погребение с комплексом предметов торевтики, в том числе знаменитой бляхой в виде фигуры лежащего оленя (рис. 20). А. Ю. Алексеев считает это погребение синхронным Солохе, т. е. относит к концу V или шире — 400–370 гг. до н. э. (1992. С. 148, 156. Примеч. 1).

На азиатской стороне Боспора некоторые памятники могут быть датированы V в. до н. э. только на основании описаний: никаких материалов, происходящих отсюда, не сохранилось. Обращает на себя внимание курган № 2, исследованный под Фанагорией в 1852 г. (Герц. 1876. С. 61, 65; Ростовцев. 1925. С. 350 сл.). Как следует из описания, здесь в сырцово-глиняной гробнице, перекрытой деревянными балками, были обнаружены три мужских костяка в чешуйчатых панцирях и с богатым набором вооружения. В особом отделении гробницы находились костяки шести лошадей, еще пять костяков были обнаружены в специальной могиле. Эти детали позволяют предполагать довольно высокое социальное положение погребенных. Правда, инвентарь здесь не отличался особым богатством: три золотые бляшки и несколько керамических сосудов никак не позволяют считать погребение «царским». По всей видимости, здесь были захоронены представители среднего звена варварской племенной аристократии. По обряду и общему облику погребаль-

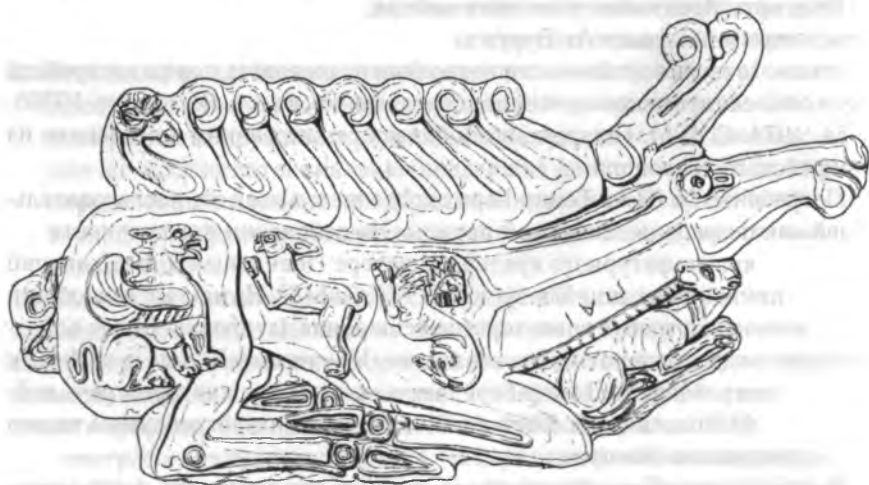


Рис. 20. Золотая бляха из Куль-Обы

ного инвентаря курган № 2 напоминает комплексы Семи братьев, которым он, по всей видимости, синхронен. А. К. Коровина не без основания отнесла этот памятник ко второй половине V в. до н. э. (Коровина. 1964. С. 9).

В окрестностях Кеп подобный памятник был раскопан в 1880 г. (ОАК. 1880. С. XII). Здесь под курганной насыпью находилась ограбленная сырцовая гробница, перекрытая деревянными плахами, в которой тем не менее был обнаружен человеческий костяк, а также остродонная амфора, бронзовое ситечко и множество бронзовых наконечников стрел. Рядом с ней была открыта вторая сырцовая гробница, наполненная лошадиными костями. Сопоставляя все эти факты, можно признать сравнительно высокий социальный статус погребенного здесь воина. А. А. Масленников указывал на сходство этого памятника с комплексом 4-го Семибратнего кургана и, соответственно, на этническую близость части верхнего слоя населения Кеп к обитателям глубинных районов Синдики (Масленников. 1981. С. 36–37). Датировка кургана в пределах середины — второй половины V в. до н. э. представляется очень вероятной.

В кургане, раскопанном на Тузле в 1852 г., была открыта непотревоженная гробница с погребениями двух лошадей, на которых сохранился богатый бронзовый уздечный набор (Герц. 1876. С. 49). Детали набора, оформленные в виде головок баранов, барсов, фигур грифонов и т. д., по описанию напоминают аналогичные уздечные наборы Семибратних курганов. М. И. Ростовцев в отношении этих находок высказал вполне допустимое предположение, что некоторые из них опубликованы в «Древностях Боспора Киммерийского» (Табл. XXIX, 8–13), где они фигурируют как детали узды, обнаруженные при раскопках в окрестностях Керчи в 1852 г. (Ростовцев. 1925. С. 351. Примеч. 1). Неточность топографических привязок в археологических публикациях — вещь не столь редкая даже в наше время, так что основания, чтобы согласиться с М. И. Ростовцевым, в общем, имеются. Если это так, то открытый на Тузле комплекс определенно относится к V в. до н. э., очевидно, ближе к его середине, если нет — описание вещей позволяет об этом предполагать.

Об этнической принадлежности названных погребений туземной знати на современном уровне изученности вряд ли можно делать категорические заключения. Однако, судя по сходству с Семибратними курганами, погребения варварской аристократии около греческих городов азиатского Боспора можно признать синдскими. Априорно выходцам из прикубанской знати можно приписывать и отдельные курганы на европейской стороне (см.: Троицкая. 1957. С. 69 сл.; Масленников. 1981. С. 36 сл.). Стилистическое сходство многих категорий инвентаря, происходящих из курганов обеих частей Боспора, не вызывает сомнения. Не удивительно, что М. И. Ростовцев считал поразительной близость нимфейских погребений к старшей группе

Семибратних курганов (1925. С. 393). Вместе с тем большего, на наш взгляд, внимания заслуживает их трактовка в плане взаимоотношений со Скифией (Гайдукевич. 1949. С. 277 сл.; Силантьева. 1959. С. 89 сл.; Артамонов. 1966. С. 35; Яковенко. 1974. С. 61). Нестабильная обстановка в Северном Причерноморье этого времени, чреватая раздорами и междоусобицами, вполне могла привести к такому положению, что для отдельных скифских племен, родов или их частей греческие города стали в некотором смысле ближе, чем их степные соотечественники. Соответственно, отдельные вожди, вероятно, с дружинами предпочитали проживать, трудно сказать — временно или постоянно, в этих центрах, постепенно сближаясь с греческой знатью и проникаясь ее интересами.

Как отмечалось выше, для датировки двух последних из приведенных комплексов большое, даже первостепенное значение имеют аналогии с Семибратними курганами. Однако хронология самих этих памятников в настоящее время все еще окончательно не разработана и в принципе остается дискуссионной. Напомним, что М. И. Ростовцев относил старшую группу Семибратних курганов (№ 2, 4) к рубежу V–IV вв. до н. э., а младшую (№ 1, 3, 5–7) к IV в. до н. э. (Ростовцев. 1925. С. 358). Эта точка зрения, базирующаяся на отдельных наблюдениях над стилистическими особенностями предметов торевтики, была подвергнута справедливой критике А. К. Коровиной. Исследовательница предложила хронологическую схему, основанную на анализе развития погребального обряда Семибратних курганов и на датировке импортной греческой керамики, из них происходящей. В результате она пришла к следующему выводу: старшая группа курганов (№ 2, 4) относится ко второй половине V в. до н. э., близок к ним по времени курган № 5. Комплексы № 1, 3, 6 и 7 (младшая группа) датируются IV в. до н. э., при этом № 6 и 7 — второй–третьей четвертью столетия (Коровина. 1957. С. 186). В последнем случае основанием для датировки послужила, в частности, находка в кургане аттического арибаллического лекифа. Как оказалось, в датировке этого сосуда А. К. Коровина явно заблуждалась. Специальное его изучение, предпринятое А. А. Передольской, показало, что лекиф относится к 400–390 гг. до н. э. (1973. С. 67). Датировке крупнейшего отечественного специалиста в области краснофигурной вазовой росписи, безусловно, следует доверять, а значит, приходится признать, что датировка 7-го Семибратнего кургана А. К. Коровиной омоложена лет на 25–30. Примеры подобных несоответствий можно увеличить, все они свидетельствуют об одном — схема А. К. Коровиной может и должна быть уточнена. Эти уточнения, в основном, были сделаны Л. Ф. Силантьевой (1967. С. 46 сл.). Опираясь на ее выводы, а также на ряд специальных разработок и публикаций материалов Семибратних курганов, выполненных в последние годы, в основном сотрудниками Государственного Эрмитажа, попытаемся очер-

тить хронологическую схему возведения этих важнейших памятников. Эта чисто археологическая аналитическая работа, как представляется, должна иметь самое непосредственное значение для понимания специфических особенностей боспорской истории V в. до н. э.

Можно считать твердо установленным, что наиболее ранними из Семибратних курганов являются 2-й и 4-й. При этом находки аттической чернолаковой керамики, по определению К. И. Зайцевой, позволяют датировать курган № 4 временем не позднее середины V в. до н. э. (см.: Билимович. 1970. С. 134; ср.: Анфимов. 1987. С. 94), а курган № 2 — третьей четвертью столетия (см.: Билимович. 1970. С. 132. Примеч. 35; ср.: Анфимов. 1987. С. 94). К близкому времени относится курган № 5, что можно заключить на основании значительного сходства обнаруженных здесь предметов конского убора с аналогичными находками их первых двух курганов, в этом А. К. Коровина, безусловно, права (1957. С. 186; ср.: Анфимов. 1987. С. 97).

Столь же оправданно ее заключение о практической одновременности курганов № 6 и 7, но в плане их абсолютной датировки А. К. Коровина, как уже частично говорилось, явно заблуждалась. Еще раз отметим, что лекиф из кургана № 7 датируется не второй-третьей четвертями IV в. до н. э., а 400–390 гг. до н. э. (Передольская. 1973. С. 67). К этому времени, очевидно, следует относить весь комплекс. Серебряный килик из кургана № 6 может быть датирован третьей четвертью V в. до н. э. (Горбунова. 1971а. С. 20), бронзовое зеркало — второй четвертью V в. до н. э. (Билимович. 1976. С. 44, 61. № 30), а бронзовый кувшин и бронзовое этрусское ситечко — второй половиной столетия (Билимович. 1971. С. 218; 1979. С. 30–31). Отсюда же происходят костяные гравированные пластины, вероятно служившие украшением ларцов. Одна из них датирована К. С. Горбуновой 30–20-ми гг. V в. до н. э., другие — последней четвертью V — началом IV в. до н. э. (Горбунова. 1957. С. 47; 1971б. С. 58). Но наиболее близким ко времени сооружения данного памятника следует считать покрывало, которое, по мнению Д. С. Герцигер, было изготовлено в самом начале IV в. до н. э. (Герцигер. 1972. С. 108). Тем самым подтверждается практическая одновременность курганов № 6 и 7, которые, скорей всего, были возведены в начале IV в. до н. э.

Курган № 1 датировать чрезвычайно трудно. Правда, судя по описанию раскопок, здесь были обнаружены обломки расписного краснофигурного сосуда (ОАК. 1876. С. IV), — находки обычно легко датируемые. Но что это за обломки — нам не известно. За исключением предметов вооружения, изученных Е. В. Черненко (1974. С. 65 сл.), до настоящего времени из этого комплекса не опубликовано ни единой находки. Отнесение кургана к началу IV в. до н. э., во всяком случае, очень вероятно (ср. Силантьева. 1967. С. 47).

Уточнить его датировку в плане относительной хронологии, возможно, позволяет погребение кургана № 3, которое, по мнению М. И. Артамонова,

является наиболее поздним в группе (1966. С. 38). По всей видимости, это действительно так — стилизация изображений животных на бронзовых украшениях узды достигает здесь просто кружевной ажурности (Артамонов. 1966. С. 39. Рис. 74. Табл. 135, 136). Безусловно, именно эти изделия как бы завершают собой интереснейший путь развития бронзовых украшений уздечных наборов из Семибратних курганов. Среди хорошо датированных находок из данного комплекса происходит клеймо фасосской амфоры. По классификации Ю. Г. Виноградова оно принадлежит к 1-й группе клейм Фасоса, которую он датировал концом V — первой половиной IV в. до н. э. (1972. С. 17, 45). И. Б. Брашинский предлагал для этой группы более узкую дату — начало IV в. до н. э. (1980. С. 144). Любопытно, что именно к этому времени относил курган № 3 М. И. Артамонов (1966. С. 39), а вслед за ним и другие видные исследователи (Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 218). Возможно, эта датировка не совсем верна, и более оправданно будет определить хронологические рамки комплекса в пределах первой четверти IV в. до н. э. (ср. Силантьева. 1967. С. 47).

По времени возведения последний из Семибратних курганов, очевидно, близок наиболее раннему из Елизаветинских на Кубани, в которых, добавим, нашла некоторое развитие традиция бронзовых ажурных украшений сбруи (Артамонов. 1966. С. 39. Рис. 73; С. 40. Рис. 75, 76. Табл. 138, 139, 142, 143). Самым ранним здесь следует признать курган 1913 г., по находке панафинейской амфоры иногда датируемый концом V в. до н. э. (Артамонов. 1966. С. 41). Однако находки амфорной тары позволяют относить его опять же к первой четверти IV в. до н. э. (Брашинский. 1965а. С. 108).

Таким образом, Семибратние курганы в целом могут быть датированы концом первой половины V — первой четвертью IV в. до н. э. Напомним, что Л. Ф. Силантьева относила Нимфейские комплексы с местными чертами погребального обряда к первой половине V — первой четверти IV в. до н. э. В научной литературе давно обращалось внимание на черты сходства между Нимфейскими и Семибратними курганами. К примеру, М. И. Ростовцев считал, что их инвентарь поразительно напоминает друг друга (Ростовцев. 1925. С. 393; Троицкая. 1957. С. 69–70). В настоящее время в дополнение к этому можно сказать, что данные памятники в значительной степени синхронны: большая их часть была насыпана во второй половине V — начале IV в. до н. э. Представляется, что Нимфейская группа начала формироваться немного раньше, зато Семибратние курганы заходят, возможно, несколько дальше в IV в. до н. э.

Территориально и типологически Семибратним курганам близка сырцовая гробница, открытая в 1976 г. в районе пос. Уташ. В гробнице с деревянным перекрытием, разделенной на два отсека, найдены остатки саркофага, инкрустированного слоновой костью с резным орнаментом. Погребение

было ограблено, но сохранившиеся золотые штампованные бляшки, часть ожерелья и пр. дают основания судить о довольно высоком социальном положении лица, которое было здесь захоронено. Е. М. Алексеева обоснованно считает, что склеп на Уташе и ему подобные принадлежали эллинизированной верхушке синдо-меотской знати. Наиболее вероятная дата погребения — конец V — начало IV в. до н. э. (Алексеева. 1991. С. 33–34).

В связи с изложенным нельзя не остановиться на проблеме синдского государства. Гипотезу о существовании государства у синдов для советской науки можно признать традиционной (см.: Мошинская. 1946. С. 203 сл.; Желобев. 1953. С. 123; Шелов. 1956а. С. 43 сл.; Анфимов. 1967. С. 128; 1987. С. 91; Берзин. 1958. С. 124; Блаватская. 1959. С. 94 сл.; Устинова. 1966. С. 128 сл.; Крушкол. 1971. С. 80 сл.). В последние годы наметилась тенденция к ее пересмотру. Альтернативная точка зрения наилучшим способом аргументирована Д. Б. Шеловым. В докладе, подготовленном для II Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья (Схалтубо-1979), он счел возможным изменить свою прежнюю позицию и пришел к выводу, что письменные и археологические источники ничего не говорят о существовании синдской государственности V в. до н. э. От других племен Прикубанья, как считал Д. Б. Шелов, синды отличались, главным образом, значительной степенью эллинизации, а в отношении экономического и социального развития можно судить лишь «об очень большой близости синдских и меотских племен» (Шелов. 1981. С. 241). С приведенной трактовкой созвучно мнение Н. Л. Грач, которая к тому же считала, что подобный подход «дает возможность снять ряд непонятных вопросов, необъяснимых противоречий и запутанных проблем, которые возникли в толковании многих положений истории азиатской части Боспора и Боспорского государства в целом» (Грач. 1972. С. 140).

Следует подчеркнуть, что возможно и даже наиболее вероятно, синды действительно не достигли в своем развитии зрелых форм государственности. Однако среди племен Прикубанья их выделяет не только высокий уровень эллинизации. Трудно оспаривать тот факт, что Семибратние курганы, если говорить о наиболее ярких и общеизвестных погребальных памятниках варварской аристократии, по пышности обряда и богатству инвентаря намного превосходят все синхронные комплексы Предкавказья и Северного Причерноморья. Само по себе это, безусловно, может указывать на весьма высокий уровень социально-экономической дифференциации в синдском обществе.

Столь же малоубедительными представляются и другие положения Д. Б. Шелова, за что они уже подвергались справедливой критике (Тохташев. 1984. С. 141; Шелов-Коведяев. 1985. С. 125 сл.). В общем, возврат к традиционной точке зрения на проблему Синдского государства можно при-

знать вполне закономерным (Шелов-Коведяев. 1985. С. 133). Может быть, он несколько усложняет наше представление об истории Боспора рассматриваемого времени, что почему-то смущало Н. Л. Грач, но явно лучше согласуется со всеми категориями источников.

Подведем некоторые итоги. Курганы варварской знати появляются в окрестностях городов обеих частей Боспора начиная с первой половины V в. до н. э., скорей всего, ближе к его середине. Таким образом, при Археанактидах «как на скифской (керченской) стороне, так и на синдо-меотской происходили одни и те же процессы активного вовлечения местной знати в культурно-экономическую жизнь Боспора и тесного соприкосновения этих слоев населения с правящей верхушкой античных центров» (Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 218). Весьма показательно, что курганы располагались около Пантикапея, Фанагории, Кеп, возможно, Гермонассы и особенно многочисленны под Нимфеем. Таким образом, мы назвали почти все полисные центры на Боспоре, речь о которых шла в предыдущем разделе, кроме Горгиппии. И это чрезвычайно важно! Приведенные данные позволяют предполагать, что в это время к установлению самых тесных контактов со знатью туземных племен стремились практически все античные государства района. Наличие курганов местной знати — одно из ярких проявлений этого процесса или, другими словами, одно из проявлений независимости внешнеполитического курса данных центров с местными племенами. С этой точки зрения представление об объединении Археанактидов как о централизованном государстве или даже державе кажется явно преувеличенным. В большей мере согласуется с имеющимися источниками представление о нем как о военном союзе, симмахии нескольких независимых полисов для отражения натиска скифов, о чем подробнее будет сказано ниже. В защите рубежей Боспора, надо полагать, принимали участие военные силы полисов, а также и воинские подразделения союзных каждому или некоторым из них варварских племен.

Следуя логике этих рассуждений, можно предполагать, что с образованием единого Боспорского государства при ранних Спартокидах варварские курганы будут насыпаться прежде всего под Пантикапеем и Фанагорией, как двумя столицами Боспора. В общем, это так и происходит, о чем речь пойдет ниже.

Л. Ф. Силантьева справедливо отмечала, что Нимфейские курганы отражают тот период греко-варварских связей, когда Нимфей был, «по-видимому, еще независимым от Боспора» (Силантьева. 1959. С. 96). С присоединением к Боспорскому государству данный центр полностью потерял право ведения самостоятельной внешней политики, прекращаются его политические связи с туземными племенами и, как следствие этого, прерывается традиция захоронения варварской аристократии в нимфейском некрополе.

По вопросу о времени захвата Нимфея среди исследователей единого мнения нет. Ф. В. Шелов-Коведяев относит это событие к 410–405 гг. до н. э. (1985. С. 113), Д. Б. Шелов — ко времени сразу после 405 г. до н. э. (Шелов. 1959. С. 70–71). М. М. Худяк связывал факт потери независимости с разрушением города в первой половине IV в. до н. э., которое, по его мнению, фиксируется археологически (1962. С. 33). Последняя гипотеза не находит подтверждения в письменных источниках, поэтому логичнее ожидать, что Нимфей в результате измены Гилона был захвачен при Сатире в конце V в. до н. э. Напомним в этой связи, что самый поздний комплекс с варварскими чертами из нимфейского некрополя (гробница № 16) относится к первой четверти IV в. до н. э. (Силантьева. 1959. С. 82 сл., 87), или, на наш взгляд, к началу этого столетия. Как видим, различия между существующими представлениями о дате подчинения Нимфея Боспорскому государству и времени прекращения совершения погребений варварской аристократии в нимфейском некрополе не столь значительны, чтобы трактовать их как изолированные явления.

О времени включения Синдики в состав Боспора также нет единой точки зрения. Царем синдов в боспорских надписях впервые именуется Левкон I (КБН. 6, 6а), который правил в 389/8–349/8 гг. до н. э. Логично ожидать, что присоединение Синдики стало возможным после захвата Феодосии не ранее конца 80-х — начала 70-х гг. IV в. до н. э. (см.: Гайдукевич. 1949. С. 59 сл.; Жебелев. 1953. С. 171; Шелов. 1956а. С. 49; Берзин. 1958. С. 124; Блаватская. 1959. С. 93 сл.; Шелов-Коведяев. 1985. С. 126). Ю. С. Крушкол относил это важное событие к 60-м гг. столетия (1971. С. 109), а Н. В. Анфимов — к середине IV в. до н. э. (1987. С. 91, 100). Принципиально важную дополнительную информацию по данной проблеме могли бы дать Семибратние курганы при детальной разработке их хронологии. В настоящее время самый поздний из них (№ 3) можно датировать первой четвертью IV в. до н. э. Приходится опять констатировать очевидную неслучайность этой даты. Курганы в некрополе синдских царей перестали насыпаться тогда, когда Синдика вошла в состав Боспорского государства (очевидно, 70-е гг. IV в. до н. э.) и здесь появились новые владыки — архонты Боспора, они же цари синдов (ср. Силантьева. 1967. С. 47).

Немалый интерес в связи с изложенным представляет вопрос, поставленный выше: если греческий полис, имевший тесные контакты с туземными вождями, обладал немалой военной силой в лице своих варварских союзников, то против кого эта военная сила могла использоваться? Уже говорилось, что, вероятно, именно опора на земледельческие племена Прикубанья способствовала успешному отражению скифского давления на полисы Боспора, т. е. в этой ситуации греки в выгодном для себя направлении сумели использовать противоречия между различными туземными племенами и,

в определенной степени, действовали против варваров руками других варваров. Но это совсем не исключает того, что когда скифское давление начало ослабевать, дружины союзных варваров могли использоваться для защиты границ полисов от посягательств соседей-греков. Вряд ли здесь уместна какая-либо идеализация. Постоянные спутники греческой истории — войны, рознь, кровавые междоусобицы. В этом отношении война греков против греков руками варваров в данном районе вполне вероятна. Вспомним, что в единственном дошедшем до нас описании военных действий на берегах Боспора Киммерийского царь Левкон приказал скифам стрелять в спины своих же греческих воинов (Polyaen. VI, 9, 4).

Завершая рассмотрение курганов туземной племенной знати V в. до н. э. на Боспоре, еще раз обратим внимание, что с образованием единого Боспорского государства варварские курганы насыпаются прежде всего под Пантикапеем и Фанагорией. При этом весьма любопытно, что памятники европейской части, датирующиеся концом V — началом IV в. до н. э., группируются в очень своеобразном и, надо думать, далеко не случайном месте. Топографически они тяготеют к району переправ через пролив. Курганы у с. Баксы, Куль-Оба и погребение № 83 на Темир-Горе располагаются на этом старом скифском пути, там, где был насыпан самый ранний скифский курган с греческим расписным сосудом, на месте, овеянном традициями былых легендарных времен, воспоминания о которых, по всей видимости, еще сохранились.

Конечно, возведение скифских курганов на этом месте имело чисто символическое, возможно, сакральное значение. Никаких политических изменений, связанных с возобновлением скифских передвижений в Прикубанье, за этим фактом усматривать нельзя. Скифы, потерявшие контроль над этими землями, как мы считаем, в первой четверти V в. до н. э., уже не могли его вернуть. Синдика прочно вошла в состав Боспорского государства, цари Боспора проводили активную политику в Прикубанье, получая немалую выгоду от торговли с местными земледельческими племенами. С этой новой исторической реальностью было невозможно не считаться.

2.4. Основные выводы

Дестабилизация начала V в. до н. э. в степях Северного Причерноморья, как говорилось выше, к концу первой четверти столетия становится всеохватывающей и закономерно отражается на положении античных государств региона. В отношении Боспора Киммерийского приходится признать, что скифское давление здесь ощущалось весьма остро, в том числе и по той причине, что в сложившейся обстановке передвижения кочевников через этот район, периодически предпринимаемые какой-то частью скифской кочевой орды на пути из Поднепровья на зимники в Прикубанье и обратно, стали явлением

чрезвычайно опасным. Как реакция на это, по всей видимости, и возникло объединение Археанактидов. Одним из факторов успешного отражения скифской угрозы, а значит и прекращения передвижений номадов через Боспор, следует считать поддержку греков со стороны синдов и, возможно, других племен Прикубанья, стремившихся избавиться от скифского владычества (ср. Блаватская. 1959. С. 97 сл.; Толстиков. 1984. С. 38 сл.). В совместной борьбе против скифов укрепились связи между греческими государствами и синдами, которые под непосредственным их влиянием достигли довольно высокой степени социально-экономического развития. В этом отношении можно считать, что сложение объединения Археанактидов и консолидация синдских племен представляли собой взаимосвязанные процессы.

Как мы старались показать, особым явлением в сфере взаимоотношений греческих центров Боспора с туземными племенами в это время стало возникновение традиции возведения курганов варварской племенной знати в окрестностях некоторых городов. Очень показательно, что курганы появляются на территориях почти всех боспорских полисов — Пантикапея, Нимфея, Фанагории, Кеп и, возможно, Гермонассы, что, на наш взгляд, может свидетельствовать о сохранении этими центрами в рамках объединения Археанактидов известной самостоятельности, прежде всего, права ведения самостоятельной внешней политики в отношении местных племен.

Четкая этническая атрибуция названных памятников, как уже отмечалось, вызывает немалые затруднения. Столь же трудно в настоящее время определенно говорить о реальном положении туземной племенной аристократии в греческих центрах Боспора. Л. Ф. Силантьева считала, что отдельные представители местной знати, имея общие интересы с греческим населением, переселялись в город, так сказать, на постоянное место жительства (Силантьева. 1959. С. 96 сл.). Но вполне можно предположить и другое — появления варварских вождей со своими дружинами были периодическими, и курганы местной знати около боспорских городов в этом отношении представляются как своего рода археологический аналог рассказу Геродота о посещении Скилуrom Ольвии (IV, 78–79).

Выше говорилось, что наличие этих курганов на Боспоре позволяет предполагать известную степень самостоятельности в политике боспорских полисов. Необходимо добавить, что о том же самом свидетельствуют материалы монетной чеканки (Шелов. 1952. С. 151; Дюков. 1971. С. 6; Васильев. 1992. С. 128). Следовательно, имеются веские причины считать, что в рамках объединения Археанактидов боспорские полисы сохранили политическую независимость, а значит, широко бытующее представление об этом объединении как о едином государстве или даже державе необходимо признать сильно преувеличенным. Государство здесь сложилось, надо полагать, при ранних Спартокидах. А. Н. Васильев справедливо указывает, что един-

ственный наш источник по данному вопросу — Диодор Сицилийский — ничего не говорит о существовании государства по обеим сторонам пролива в 480 г. до н. э. (Васильев. 1985б. С. 14; 1992. С. 125).

В этом отношении абсолютно оправданной представляется трактовка объединения Археанактидов как оборонительного союза-симмахии (Каллистов. 1949. С. 183; ср.: Сопова. 1973. С. 144). Гипотеза о союзе боспорских полисов под главенством Археанактидов в недавнее время была развита Ю. Г. Виноградовым и поддержана рядом исследователей (Виноградов Ю. Г. 1983. С. 416 сл.; Толстиков. 1984. С. 25; Шелов-Коведяев. 1985. С. 63 сл.). На наш взгляд, в построениях этих исследователей наряду с признанием симмахии боспорских полисов, направленной на отражение скифской угрозы, акценты, в ущерб федеративного ее начала, сильно смещены на факторы централизации, тиранической природы правления Археанактидов, перерождения симмахии в тираническую державу Археанактидов и т. д., что не имеет абсолютно никакой опоры в источниках. Думается, что немалую роль в этом раздвоении мысли сыграл привычный стереотип видеть в Археанактидах целую династию.

Из сообщения Диодора Сицилийского (XII, 31, 1) явствует, что Спарток получил власть в Азии (ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ) в 438/7 г. до н. э., после того, как Археанактиды властвовали 42 года. Возникает вопрос: как следует понимать выражение «в Азии»? Кажется очевидным, что для Боспора оно может означать только азиатскую сторону, т. е. современный Таманский полуостров. Ю. Г. Виноградов вслед за В. В. Шкорпиллом был склонен видеть здесь оборот ΚΑΤΑ + асс. в значении нового раздела повествования (Шкорпил. 1918. С. 58 сл.; Vinogradov. 1980. S. 67). Следовательно, Диодор здесь как бы хотел сказать, что переходит к повествованию о событиях в Азии. Однако, по правильному замечанию Ф. В. Шелова-Коведяева, при таком понимании пассажа получается синтаксическая и логическая неувязка, ибо оборот «перехожу к Азии» следует после хронологической привязки к спискам афинских архонтов и римских консулов (Шелов-Коведяев. 1985. С. 82. Примеч. 1).

Исследователи, которые стремились следовать буквальному пониманию источника, предполагали, что первоначально симмахия сложилась вокруг Гермонассы, то есть на азиатской стороне, а Пантикапей выделился позднее (Блаватский. 1954б. С. 36; 1985в. С. 210; Зеест. 1974. С. 92; Масленников. 1981. С. 40 сл.; ср.: Жебелев. 1953. С. 22; Brandis. 1897. Col. 757–758). Но все-таки, несмотря на то, что, по мнению И. Б. Зеест, Гермонасса в VI–V вв. до н. э. переживала период расцвета (1974. С. 82 сл.), а, по мнению других авторов, города и хора Таманского полуострова при Археанактидах были наиболее развитыми территориями Боспора (Блаватский. 1954б. С. 37; Масленников. 1981. С. 40 сл.), выгоды экономического и стратегического положения Пантикапея кажутся столь очевидными, что большинство исследо-

вателей столицей объединения по-прежнему признают Пантикапей (Толстиков. 1984. С. 25; Шелов-Коведяев. 1985. С. 77; Vinogradov. 1980. S. 60 ff.).

Как представляется, вторую точку зрения все-таки нельзя признать безусловно верной. При решении вопроса о столице объединения Археанактидов нельзя забывать, что боспорская симмахия была союзом равноправных полисов, а столицей федеративных образований, как известно, не всегда являлись и являются самые крупные центры (Renfrew. 1984. P. 27, 55). К примеру, и в наши дни столица США — не грандиозный Нью-Йорк, а довольно скромный Вашингтон. По понятным соображениям, сравнительно слабые члены союза всегда должны опасаться более сильного сателлита, принимать меры по ограничению возможного роста его политических амбиций. В этой связи можно напомнить пример Афинского (Делосского) морского союза.

Следовательно, вероятность того, что именно Гермонасса стала центром симмахии Археанактидов, нельзя считать абсолютно невозможной. Помимо того, что это хорошо согласуется с буквальным пониманием текста Диодора (XII, 31, 1), имеется и еще одно соображение, на которое в последнее время редко обращают внимание. Как известно, по одной из версий, Гермонасса был основана под руководством эолийца Семандра, уроженца г. Митилены (Arr. Bithyn. 55/60M; Eusth. ad Dion. 549). Но, как предполагается, одним из могущественных родов Митилены являлись как раз Археанактиды (см.: Борухович. 1979. С. 29). Не исключено, что члены этого рода приняли участие в выведении колонии на Боспор, а затем в силу своей бесспорной знатности, широких связей и большого авторитета встали во главе союза боспорских полисов в трудный для них час.

Симмахии, как показывает исторический опыт, очень недолговечны. Они либо распадаются под действием центробежных сил, либо перерождаются в гегемонию одного центра или тиранию одной личности над входящими в союз полисами (см.: Шелов-Коведяев. 1985. С. 72). На Боспоре после отражения скифской угрозы и стабилизации положения, что, по мнению В. П. Толстикова, произошло не позднее середины V в. до н. э. (1984. С. 44), в коалиции полисов также следует ожидать каких-то кризисных явлений, которые в конце концов привели к ее перерождению с 438/37 г. до н. э. в единое государство под властью династии Спартокидов.

В завершение необходимо подчеркнуть, что симмахия Археанактидов выполнила свою историческую роль. Помимо успешного отражения скифской угрозы она сумела продемонстрировать свои бесспорные преимущества, которыми обладало объединение, расположенное на стыке двух частей света (Европы и Азии), двух морей (Черного и Азовского), двух туземных миров (кочевнического и земледельческого). Немалое значение для его жизнеспособности, надо думать, имело то обстоятельство, что боспоряне в силу географического положения их оборонительного союза могли легко улавли-

вать изменения, происходившие в варварском мире на самых широких территориях от Северного Причерноморья до Кавказа. А уловив их, они могли своевременно сменить акценты в своей политике, достичь тем самым максимальной выгоды для себя или, по крайней мере, уменьшить негативные последствия этих изменений.

3. Боспор и варвары в последней четверти V — IV в. до н. э.

3.1. Ситуация на Боспоре. Общие замечания

Стабилизация положения в Скифии, несомненно, привела к изменению военно-политической обстановки во всех прилегающих областях, в том числе и на Боспоре. В. П. Толстиков склонен относить соответствующие изменения ко времени не позднее середины V в. до н. э., что связывается с датировкой строительства храма Аполлона на акрополе Пантикапея (1984. С. 44). На наш взгляд, есть основания полагать, что стабилизация на Боспоре произошла несколько позднее. Во всяком случае, ранняя оборонительная стена Мирмекия в определенной степени потеряла свое значение лишь в третьей четверти V в. до н. э. (Виноградов Ю. А. 1992. С. 107; Виноградов, Тохтасьев. 1994. С. 59–60), приблизительно в это же время начинается возврат населения на городские участки, которые ранее запустели (Виноградов Ю. А. 1991а. С. 76–77).

Активизация жизни на сельскохозяйственной территории европейского Боспора по существующим представлениям происходит еще позднее. На хоре Пантикапея в V в. до н. э. существовали поселение у с. Андреевка Южная, где фиксируется заметное увеличение числа находок (Кругликова. 1975. С. 49 сл.), и группа усадеб у с. Октябрьское, датируемых V–IV вв. до н. э. (Кругликова. 1975. С. 30). Продолжали существовать поселения у с. Героевка, Южно-Чурубашское, на горе Опук (холм А). При этом на поселении у Героевки жизнь после перерыва возродилась в конце V в. до н. э. (Кругликова. 1975. С. 30). Как предполагалось выше, все эти поселения, возможно, относятся к хоре Нимфея. Б. Г. Петерс полагает, что хоре Нимфея принадлежали также клеры у с. Михайловского, размежевание которых, по его мнению, было произведено в V в. до н. э. (1978. С. 118). По подсчетам Я. М. Паромова, на Таманском полуострове в конце VI — начале V в. до н. э. существовало уже не менее 62 сельских поселений (в 3,5 раза больше, чем раньше), в V в. до н. э. их число достигает 102 (Паромов. 1990. С. 63).

Диссонансом в свете изложенного звучит мнение А. А. Масленникова, считающего, что число сельских поселений на Боспоре в VI–V вв. до н. э. постепенно возрастало, но к середине или к концу V в. до н. э. население поки-

нуло деревни и ушло в города (Масленников. 1981. С. 15–16). Факты, на наш взгляд, позволяют говорить как раз об обратном. В противном случае необходимо будет признать, что вскоре население вновь вернулось в деревни, ибо в IV–III вв. до н. э. фиксируется расцвет сельских поселений Боспора (рис. 21).

Несмотря на недостаток материала, логично ожидать, что на Боспоре, как и в округе Ольвии, общее улучшение военно-политической обстановки в регионе сопровождалось попытками выведения сельских поселений во второй половине V в. до н. э., но резкий всплеск и пик этого процесса явно относится к IV в. до н. э. К сожалению, опять приходится констатировать, что хора Ольвии в этом отношении изучена гораздо лучше. Тем не менее, по материалам разведок и раскопок И. Т. Кругликовой, к IV в. до н. э. на Боспоре можно отнести около 250 поселений и местонахождений (Кругликова. 1975. С. 53 сл., 254. Рис. 101), а на Таманском полуострове, по данным Я. М. Паромова, — 186 (1990. С. 64). Показательно, что все они не имеют укреплений.

Об этносе жителей сельских поселений Керченского полуострова единого мнения не существует. Конечно, хора Боспора в это время имела сложную социально-экономическую и этническую структуру. Вполне обоснованной представляется точка зрения Э. В. Яковенко, которая, признавая возможность инфильтрации на территорию полуострова контингентов синдского и таврского этносов, решающую роль в формировании сельских поселений европейского Боспора отдает скифам (1981. С. 255). На азиатской стороне Боспора, вероятнее всего, подобную роль играли синды, но памятники сельского населения этого района изучены в недостаточной степени (Маслен-

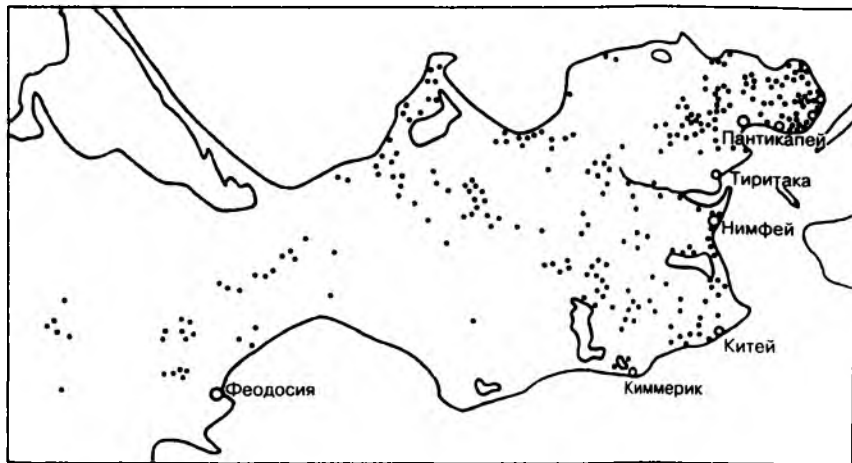


Рис. 21. Поселения IV в. до н. э. в Восточном Крыму. Карта-схема (по И. Т. Кругликовой)

ников. 1981. С. 44 сл.). Можно, однако, предположить, что на хору в небольшом количестве проникали или специально расселялись греками выходцы из прикубанских земледельческих племен.

Все обозначенные выше явления, нашедшие отражение в археологических источниках, происходили уже при Спартокидах, которые, по свидетельству Диодора Сицилийского, пришли к власти в 438/37 г. до н. э. (XII, 31, 1). Конечно, огромное значение при этом могло бы иметь окончательное решение вопроса о происхождении основателя династии Спартока I. Но пока что до этого далеко. В современной литературе развиваются три давно и хорошо известные гипотезы по данной проблеме: фракийская (Виноградов Ю. Г. 1983. С. 418; Шелов-Коведяев. 1985. С. 83 сл.), скифская (Десятчиков. 1985. С. 17; Яйленко. 1990б. С. 286) и греческая (Блаватская. 1959. С. 40; Васильев. 1977. С. 204; Масленников. 1981. С. 62). Гипотеза о синдо-меотском происхождении Спартокидов, в основе которой лежит представление о связи некоторых прикубанских племен (синдов) с фракийцами через киммерийцев, несмотря на авторитет выдвинувшего ее М. И. Ростовцева (1918. С. 29–32; Rostovtzeff. 1922. P. 39), среди современных исследователей не находит приверженцев (Васильев. 1974. С. 145 сл.). Существует попытка объединить все три главные гипотезы на базе греческой: фракийское имя Спарток появилось среди греческого населения Боспора через скифов, поддерживавших тесные связи с фракийцами (Tohtasjev. 1986. S. 120). Аргументы сторонников всех названных концепций звучат весьма логично и основательно, но они, скорее, отражают субъективную убежденность исследователей в своей правоте, нежели совокупность бесспорных посылок, базирующихся на точных привязках к источникам. Источников по данному вопросу у нас катастрофически мало, и, как представляется, без открытия каких-то новых материалов надеяться на окончательное решение проблемы происхождения Спартокидов вряд ли возможно. Тем не менее для любого исследователя, даже при недостатке материалов, общий взгляд на эту кардинальную проблему имеет большое значение, та или иная концепция может представляться более привлекательной. Так, на наш взгляд, наиболее приемлемой является фракийская гипотеза. Совсем не исключено, что окажется верной догадка Д. А. Мачинского, считающего боспорского Спартока фракийским царевичем — братом Ситалка (Мачинский. 1993. С. 17), который, по сообщению Геродота, скрывался у скифов (IV, 80), но от этого вероятность других гипотез пока не стала меньше (Васильев. 1977. С. 194 сл.).

Можно ожидать, что приход к власти Спартока был связан с крупными изменениями в системе взаимоотношений Боспора с варварским миром, выдвинутым на первый план связей со скифами. Однако по-прежнему немаловажное значение для Боспора имели контакты с синдами. Это явствует из рассказа Полиена о меотийке Тиргатао и ее муже — синдском царе Гека-

те (Strateg. VIII, 55). М. И. Ростовцев убедительно показал, что в его основе лежат реальные события из истории боспоро-синдских взаимоотношений (Ростовцев. 1915. С. 64 сл.; 1925. С. 130 сл.). Неудачная попытка династического брака, предпринятая Сатиром I, не увенчалась успехом и привела к конфликту с меотами. Наряду с прочим рассказ Полиена хорошо иллюстрирует сложность задачи подчинения туземных племен для боспорских политиков.

Решить ее удалось Левкону I лишь после того, как предшественник сумел подчинить Нимфей, а он сам — Феодосию. Во всяком случае, в боспорских надписях он первый именуется архонтом Боспора и Феодосии, царем синдов, торетов, дандариев и псессов (КБН. 6; ср.: 6-A, 1038), а затем царем синдов и всех меотов (КБН. 8). Этот титул имел и преемник Левкона Перисад I (КБН. 1039, 1040).

Большое значение в плане понимания взаимоотношений Боспорского государства с синдами в начале IV в. до н. э. имеет обнаруженное в 1985 г. на Семибратнем городище посвящение Левкона I. Впервые этот документ был изучен и опубликован Т. В. Блаватской (1993. С. 34 сл.). Несмотря на ряд непонятных мест в трактовке документа, предложенной исследовательницей, в целом с ее выводом можно согласиться: взаимоотношения Боспора с данным центром (Семибратнее городище — Лабрит посвящения) были одним из приоритетов в системе связей с варварскими племенами Прикубанья (Блаватская. 1993. С. 43–44). После Т. В. Блаватской к изучению документа обратились такие видные эпиграфисты, как Ю. Г. Виноградов и С. Р. Тохтасьев, при этом перевод последнего, на наш взгляд, наиболее адекватен (см.: Виноградов. 2002. С. 3 сл.; Тохтасьев. 1998. С. 286 сл.; 2001. С. 67 сл.). По мнению С. Р. Тохтасьева, Левкон посвятил изваяние Аполлону, владыке города лабритян (Семибратнего городища?), когда военной силой изгнал из земли синдов Октамасада, сына царя синдов Гекатея, который лишил отца власти. Имеющиеся источники позволяют предполагать, что Гекатей свергался дважды: первый раз ему помог Сатир I (Polyaen. VIII, 55), а второй, как явствует из надписи, — Левкон I. Можно предполагать также, что Левкон вернул Гекатею власть совсем ненадолго, поскольку очень скоро в боспорских надписях он стал именоваться «царем синдов» и других прикубанских племен (Тохтасьев. 1998. С. 300).

По всей видимости, присоединение Синдики, а затем и некоторых меотских племен было связано с военными действиями (Гайдукевич. 1949. С. 61; Масленников. 1981. С. 44; Шелов-Коведяев. 1985. С. 134). Вполне допустимо, что в своих завоевательных походах Левкон I опирался на поддержку скифов. Во всяком случае, во время конфликта с Гераклеей скифы выступают как его верные союзники (Polyaen. VI, 9, 4). Думается, что есть все основания предполагать наличие в это время договорных союзных отноше-

ний между Боспором и скифами (Шелов-Коведяев. 1985. С. 136; Яковенко. 1985. С. 28).

К концу V — началу IV в. до н. э., т. е. к периоду правления Сатира I — Левкона I, наиболее оправдано относить сложение Боспорского государства (Васильев. 1985б. С. 15). В это время формируется его своеобразная структура, включившая как бывшие полисы, так и варварские территории. Боспорское государство возникает и существует как греко-варварское, что очень важно для понимания всей его истории. При этом, как показал ход дальнейшего развития, данное соединение разнородных элементов оказалось весьма органичным и жизнестойким.

Греко-варварский характер Боспорского государства, который выразился в неоднородности этнического состава населения, дуализме культуры и т. д., нашел отражение даже в официальной титулатуре его владык (архонты греческих городов и цари варварских племен). Все это позволяет некоторым исследователям сближать Боспор с эллинистическими монархиями (Жебелев. 1953. С. 158; Minns. 1913. P. 565, 577; Rostovtzeff. 1930. P. 561, 568). Не возражая против правомерности такого сопоставления, следует обратить внимание, что в отечественной литературе оно получило расширительную трактовку, выразившуюся в так называемой теории протоэллинизма. Автором ее в 50-х гг. стал В. Д. Блаватский (1985а. С. 109 сл.; 1985б. С. 123 сл.). Ф. В. Шелов-Коведяев, проанализировав аргументацию В. Д. Блаватского, пришел к выводу, что предположение о протоэллинизме как об особом этапе в развитии греческой периферии и о Боспоре при ранних Спартокидах как о вполне эллинистической монархии излишне (Шелов-Коведяев. 1985. С. 182 сл., 186; 1985а. С. 320). Как справедливо писал В. Ф. Гайдукевич, «задача состоит скорее не в том, чтобы подогнать Боспор под рубрику “эллинистических государств”, а в том, чтобы выявить в полной мере специфику Боспора как государства греко-туземного, сформировавшегося в результате особых условий, в каких оказались греческие колонии на Боспоре Киммерийском еще в VI в. до н. э.» (Гайдукевич. 1955. С. 114. Примеч. 1).

Не вызывает сомнения, что с активным освоением сельскохозяйственных территорий Боспора Киммерийского и, как следствие этого, увеличением массы товарного хлеба в руках боспорских владык самым тесным образом был связан расцвет хлебной торговли Боспора. Античные авторы называют очень высокие цифры боспорского хлебного экспорта: Демосфен сообщает, что ежегодно при Левконе I с Боспора в Афины вывозилось 400 тыс. медимнов хлеба (Дем. XX, 32), что при пересчете в метрическую систему мер составляет 16 380 т., Страбон говорит даже о единовременном вывозе 2100 тыс. медимнов (VII, 4, 6), то есть 86 тыс. т. По мнению В. Ф. Гайдукевича, суммарный ежегодный хлебный экспорт Боспора в рассматриваемое время мог составлять 800 тыс. медимнов, иными словами, — около 33 тыс. т.

(1966. С. 48. Примеч. 1). По всей видимости, какая-то часть товарного хлеба поступала на Боспор не только с собственной территории, но и от варварских племен. Подвластные племена, как можно предполагать, облагались определенной данью (Гайдукевич. 1966. С. 53), а независимые — поставляли хлеб в обмен на всевозможные греческие товары. Таким образом, зерно могло концентрироваться здесь с самых отдаленных территорий, населенных земледельцами, а именно из Прикубанья и лесостепных районов Северного Причерноморья. В последнем случае, как уже отмечалось, важная посредническая роль принадлежала, по всей видимости, кочевым скифам. Какова была доля этого хлеба в общем боспорском экспорте, определенно судить очень трудно. Однако допустимо предположить, что она была довольно заметной. В противном случае весьма трудно объяснить феномен массового ввоза античной продукции на отдаленные территории Северного Причерноморья и Прикубанья.

Принято считать, что с конца V в. до н. э. в Северном Причерноморье важную роль начинает играть импорт Боспора (Гайдукевич, Капошина. 1951. С. 169). Несмотря на привлекательность этой точки зрения, необходимо признать, что она имеет явно умозрительный характер. Подкрепить ее какими-либо материалами в настоящее время практически невозможно. Вообще, боспорский импорт в массе античного импорта выделить очень трудно. Это относится не только к товарам, которые следовали через Боспор транзитом, но и к продукции боспорских ремесленников, поскольку о последней мы знаем все еще очень немного.

Важное значение в этой связи имеет вопрос о месте производства предметов так называемой греко-скифской торевтики, в большом количестве открытых в погребениях туземной знати. М. И. Ростовцев считал, что центром их производства мог быть только Боспор, «так близко стоявший к Скифии и так хорошо знавший ее религию и быт» (1918. С. 54). Эта гипотеза нашла большое количество сторонников (см.: Гайдукевич. 1949. С. 120 сл.; Иванова. 1953. С. 80 сл.; Артамонов. 1966. С. 61; Онайко. 1970. С. 51 сл.; 1974. С. 78 сл.; Яковенко. 1985а. С. 345; Gajdukevič. 1971. S. 132 ff.; Strong. 1966. P. 87). Е. О. Прушевская признавала временем наивысшего расцвета художественной обработки металла на Боспоре конец V и IV вв. до н. э., когда, по ее мнению, в Пантикапее работала крупная мастерская (1955. С. 339). М. Ю. Трейстер, публикуя находку матрицы для изготовления украшений из тонкой золотой фольги и привлекая другие материалы, пришел к выводу, что существование мастерской торевтов в Пантикапее можно считать доказанным (1989. С. 97; см. также: Никулин. 1957. С. 89).

Возражения против гипотезы о производстве предметов греко-скифской торевтики на Боспоре высказала лишь А. П. Манцевич (1949. С. 220; 1962. С. 117 сл.; 1975. С. 112 сл.; 1980. С. 166). Она предполагала фракийское про-

исхождение значительной части шедевров торевтики, открытых в памятниках Северного Причерноморья и Прикубанья. Однако эта трактовка не нашла поддержки среди исследователей (см.: Онайко. 1970. С. 51; Мелюкова. 1979. С. 192; Яковенко. 1985а. С. 345 сл.; но ср.: Грач. 1984. С. 107 сл.), поэтому есть основания полагать, что изделия греко-скифской торевтики, в основном все-таки имели боспорское происхождение. Данное положение имеет огромное значение отнюдь не только для изучения боспорского ремесла или взаимопроникновения, взаимовлияния двух культур, что само по себе важно. В принципе, среди этих драгоценных предметов, как уже неоднократно отмечалось, следует искать так называемые политические дары, служившие важным элементом всей системы греко-варварских взаимоотношений, в данном случае — между Боспором и Скифией (Яковенко. 1985. С. 27).

Тесные связи с туземным миром, определившие развитие Боспорского государства как греко-варварского образования, наряду с прочим отчетливо проявились здесь в смешении греческой и местной знати. Довольно красноречиво об этом свидетельствуют письменные источники. Приведем в этой связи сообщение Хрисиппа, известное в изложении Страбона, где он рассуждает о высоких моральных достоинствах, свойственных некоторым варварам (VII, 38). Если оно и не свидетельствует о варварском происхождении династии Спартокидов (Блаватская. 1959. С. 26 сл., 39 сл.), что, в общем, нельзя считать бесспорным (Грацианская. 1988. С. 120 сл.), то, во всяком случае, говорит об активном проникновении выходцев из туземной аристократии в состав боспорской знати. Большое значение в этом отношении, конечно, имели смешанные браки. Об их распространении на Боспоре имеются свидетельства античных авторов. Напомним о неудачной попытке Сатира I выдать замуж свою дочь за синдского царя Гекатея (Polyaen. VIII, 55) и о женитьбе Гилона на богатой скифянке (Aeschin. III, 172).

Немалое значение для понимания этого явления могут иметь и материалы курганов туземной знати, открытых на Боспоре.

3.2. Курганы варварской знати IV в. до н. э. на Боспоре

На европейской стороне Боспора к рассматриваемому времени относятся такие памятники, как основной комплекс Куль-Обы, курганы Патиниоти и на землях мирзы Кекуватского, позднее погребение в кургане у с. Баксы, Второй Змеиный, Трехбратний и, вероятно, Острый (рис. 22). Отнесение других комплексов к этому разряду вряд ли оправдано (Яковенко. 1974. С. 70 сл., 146. Табл. X).

Топография перечисленных памятников весьма показательна. В своем большинстве они сосредоточены в окрестностях Пантикапея. При этом здесь даже можно выделить две небольшие группы. Первая — к западу от Пантикапея (Куль-Оба, Патиниоти, Баксы). Эти курганы топографически тяготе-



Рис. 22. Курганы варварской знати IV в. до н. э. на Боспоре. Карта-схема (1 — Куль-Оба; 2 — курган Патиниоти; 3 — Второй Змеиный; 4 — курган Кекуватского; 5 — Острый; 6 — Трехбратный курган; 7 — Фанагорийский курган № 1, 1852 г.; 8, 9 — Большая и Малая Близницы)

ют к старой скифской дороге к переправам через пролив. Не удивительно, что скифские черты выступают здесь очень ярко, особенно в знаменитой Куль-Обе (рис. 23). Вторую группу составляют курганы, входящие в некрополь боспорской знати Юз-Оба (Второй Змеиный, курган Кекуватского и Острый). Эти комплексы более скромны по инвентарю и обряду, в них более рельефно выступают черты эллинизации. Последние приглушили местные особенности обряда до такой степени, что об этносе погребенных здесь судить почти невозможно, хотя все же можно предполагать, что названные комплексы являются скифскими.

Конечно, возведение курганов племенной знати под столицей Боспорского государства вполне закономерно. Исключением из данного правила являются Трехбратние курганы, расположенные в глубине Керченского полуострова (Кириллин. 1968. С. 178). Территориально они ближе к Нимфею, чем к Пантикапею, однако эта близость весьма относительна. Сходство погребального обряда с обрядом более ранних нимфейских курганов, о чем пишут некоторые исследователи (Кириллин. 1968. С. 178; Яковенко. 1974. С. 70), также весьма проблематично. Тем более нет никаких оснований вслед за А. А. Масленниковым предполагать, что здесь были погребены потомки вождей, чьи курганы насыпались под Нимфеем в V в. до н. э. (1981.



Рис. 23. Золотая чаша из Куль-Обы

С. 56). Трехбратние курганы хотя и сравнительно богатые, но в целом — типичные памятники скифской культуры на Керченском полуострове. Наиболее значительным из них является погребение эллинизированной скифянки второй половины IV в. до н. э., открытое в Старшем (№ 1) кургане (Кириллин. 1968. С. 178 сл.; Бессонова, Кириллин. 1977. С. 128 сл.; ср.: Бессонова. 1973. С. 243 сл.). Надо думать, что погребение этой знатной женщины было совершено на землях, которые принадлежали ей или, скорее, ее фамилии. В принципе, этот комплекс имеет большое значение, но не для изучения политических контактов Боспорского государства с варварскими племенами, а скорее для понимания особенностей его территориальной организации.

Для остальных курганов туземной знати рассматриваемого периода на Керченском полуострове, в основном, характерны погребения мужчин с большим количеством предметов вооружения. На первом месте среди них, конечно, стоит Куль-Оба (ДБК. С. XXXII сл.; Ростовцев. 1925. С. 376 сл.; Артамонов. 1966. С. 62 сл.). Несмотря на свою общеизвестность, этот памятник, увы, полностью не изучен. На основании находки фасосской амфоры с клеймом погребение в Куль-Обе датируется последней четвертью IV в. до н. э. (Брашинский. 1965а. С. 104; 1975. С. 36 сл.; Алексеев. 1992. С. 156. Примеч. 1).

Топографически к Куль-Обе очень близок курган Патиниоти (Де Сансе. 1889. С. 78 сл.; Ростовцев. 1925. С. 386 сл.; Яковенко. 1974. С. 65). Гераклеяская амфора с клеймом, происходящая из этого комплекса, позволила И. Б. Брашинскому датировать курган временем около середины IV в. до н. э. (1965а. С. 105). Высказанная точка зрения о том, что курган Патиниоти относится к III в. до н. э. (Масленников. 1981. С. 82), явно ошибочна.

Позднее погребение в кургане с уступчатым склепом у с. Баксы принадлежит воину с сопровождающими его тремя захоронениями коней. По всей видимости, оно относится ко второй половине IV в. до н. э. (Gajdukevič. 1971. S. 278).

Среди комплексов некрополя Юз-Оба прежде всего отметим курган на землях мирзы Кекуватского (ДБК. С. IV, XIX; Ростовцев. 1925. С. 192 сл.; Артамонов. 1966. С. 66). По находкам расписной пелики и остродонной амфоры он датируется серединой IV в. до н. э. (Яковенко. 1974. С. 65).

Второй Змеиный курган (ОАК. 1882–1888. С. CCXIV; ОАК. 1889. С. 11 сл.) замыкает на западе цепь курганов Юз-Обы. В его насыпи была найдена расписная ваза Ксенофанта, относящаяся к началу IV в. до н. э. (Передольская. 1945. С. 54). На основании этой находки курган обычно датируют IV в. до н. э. (Цветаева. 1957. С. 240; Яковенко. 1974. С. 66).

Еще раз подчеркнем, что все перечисленные памятники давно и, в общем, хорошо известны. Разумеется, число курганов с варварскими чертами обряда было гораздо большим, многие из них просто не сохранились. По

подсчета Г. А. Цветаевой, те или иные черты местного обряда прослеживаются в 1/4 всех курганных комплексов некрополя Пантикапея рассматриваемого времени (Цветаева. 1957. С. 243). Но отдельные черты, разумеется, не могут говорить о варварской принадлежности погребенного, правда, следует оговориться, что нельзя оценивать однозначно все признаки погребения. В их иерархии, безусловно, существуют такие, которые занимают ведущее место и одним фактом своего присутствия довольно рельефно обозначают этнокультурную специфику памятника.

В этом отношении хотелось бы обратить внимание на так называемый Острый курган (ОАК. 1861. С. VI сл.; ОАК. 1862. С. V сл.). Он занимает центральное место в цепи Юз-Оба, а по своим внешним параметрам приближается к знаменитому Царскому кургану (высота — 17 м, диаметр — 80 м). Уже одно это позволяет предполагать особое положение данного памятника в контексте соседних курганов. Но Острый курган прежде всего интересен другим — в отношении открытого здесь погребального сооружения он вообще не имеет аналогов на Боспоре в IV в. до н. э. В кургане была выявлена катакомба, вырубленная в скале, вход в которую закрывался каменной кладкой. Погребение было полностью ограблено. Исследователями кургана отмечалось, что на полу катакомбы находилась масса досок от поломанных саркофагов, несколько опрокинутых плит, куча просеянного праха и мусора, более 20 медных гвоздей и один уцелевший алабастр (ОАК. 1861. С. VI сл.). Тщательность ограбления, по всей видимости, позволяет предполагать богатство погребения (погребений?).

Точная датировка катакомбы в Остром кургане затруднительна. Правда, находка алабастра — типичная деталь погребального инвентаря на Боспоре, в том числе и в курганах Юз-Обы. Очевидно, здесь будут уместны и некоторые соображения в плане его горизонтальной стратиграфии. М. И. Ростовцев считал, что некрополь Юз-Оба сформировался за сравнительно короткий промежуток времени, определяемый им как конец IV — начало III в. до н. э. (АДЖ. С. 101). В римское время, по его мнению, захоронений здесь не совершалось (Ростовцев. 1925. С. 217). К. Э. Гриневич приводит несколько иную датировку. По его наблюдениям, все курганы Юз-Обы были насыпаны между 360–330 гг. до н. э. и в целом они представляют единый комплекс, ярко раскрывающий своеобразие культуры Боспора в IV в. до н. э. (1952. С. 147). Последнее утверждение К. Э. Гриневич представляется нам принципиально верным, а датировка некрополя, конечно, может быть уточнена при специальном изучении материалов, хотя вряд ли можно ожидать, что она далеко выйдет в III в. до н. э. Находки стеклянных сосудов в грунтовых могилах у Павловской батареи и материалы римского времени, полученные на Юз-Обе в результате работ Н. П. Кивокурцева (Цветаева. 1957. С. 244), могут свидетельствовать лишь о том, что в это позднее время на

хребте совершались отдельные грунтовые погребения. Курганов позднелинистического и римского времени, как сейчас представляется, здесь не возводилось. Еще раз отметим, что Юз-Оба — это памятник культуры Боспора IV в. до н. э. Очевидно, и боспорянами он воспринимался приблизительно так же, а именно как символ яркой и самобытной исторической эпохи, как вполне сложившийся ландшафтообразующий элемент, нарушать который, надо думать, было просто запрещено.

Таким образом, по общим соображениям горизонтальной стратиграфии, а также по находке здесь алабастра, Острый курган может быть суммарно датирован временем функционирования некрополя Юз-Оба, т. е. IV в. до н. э., вероятнее — второй его половиной.

Охарактеризованный уникальный комплекс обойден вниманием ученых. Лишь Г. А. Цветаева в своем исследовании курганного некрополя Пантикапея уделила ему несколько строк. Отметив своеобразие Острого кургана, она высказала предположение, что этот памятник с его катакомбой может быть прототипом более поздних боспорских катакомб (Цветаева. 1957. С. 242. Примеч. 80). Искать в IV в. до н. э. прототип катакомб первых веков н. э., может быть, и возможно, но само по себе это предположение еще не объясняет появления на Боспоре в IV в. до н. э. единственного пока кургана с подобной погребальной камерой.

Трактовка данного археологического факта, на наш взгляд, не столь сложна. Катакомба — типичнейшая черта скифского погребального обряда (Ольховский. 1977. С. 108 сл.; Абрамова. 1982. С. 9 сл.), при этом по своим параметрам катакомба Острого кургана мало отличается от аналогичных памятников Скифии. Появление такого комплекса в некрополе боспорской знати еще раз указывает главное направление культурных и политических связей Боспора с местными племенами, которые в IV в. до н. э. явно вели в степи Северного Причерноморья.

На азиатской стороне Боспора курганы с местными чертами обряда немногочисленны (рис. 23). По всей видимости, к IV в. до н. э. относится сырцовая гробница в кургане № 1, исследованном под Фанагорией в 1852 г. Здесь открыты два довольно богатых погребения (мужское и женское), а также гробница с захоронениями четырех коней (Герц. 1876. С. 63 сл.; Ростовцев. 1925. С. 349 сл.). Обряд погребения и устройство гробниц напоминает комплексы Семибратних курганов. Вполне возможно, что этот погребальный комплекс синхронен с наиболее поздними из них.

Другой памятник подобного рода — знаменитая Большая Близница (АДЖ. С. 10 сл.; Ростовцев. 1925. С. 371 сл.; Артамонов. 1966. С. 68 сл.). Курган расположен в глубине Таманского полуострова вдали от греческих городов, чем несколько напоминает Трехбратние курганы на европейской стороне, но причина такого положения, надо думать, кроется здесь в дру-

гом. Уникальность Большой Близницы для Боспора заключается в том, что в данном кургане совершали захоронения жриц. Единой их трактовки пока не существует (Шауб. 1987. С. 27 сл.), но местные особенности культа в деталях погребального инвентаря проявляются довольно неплохо. Кроме захоронений жриц большой интерес представляет гробница № 3, исследованная в 1865 г. (ОАК. 1865. С. IV сл.; ОАК. 1866. С. 5 сл., 67 сл.). Здесь было открыто погребение мужчины с богатым набором вооружения. В его отношении высказано суждение, что погребенный здесь воин принадлежал к одному с жрицами семейству (ОАК. 1866. С. 6). В правомочности такого вывода вряд ли следует сомневаться. Совсем не исключено, что в выборе места для возведения погребального памятника жреческой семьи необходимо было пользоваться определенными правилами. Возможно, что удаленность от городов, выдвинутость вглубь сельскохозяйственной территории играла здесь не последнюю роль.

Относительная хронология комплексов Большой Близницы пока не разработана. По всей видимости, они были совершены в течение довольно узкого промежутка времени. Наиболее поздним среди них как будто является гробница № 4, которую В. И. Пругло датирует концом IV или концом IV — началом III в. до н. э. (1974. С. 77).

Подводя итог сказанному, необходимо обратить внимание, что и для IV в. до н. э. в распространении курганных комплексов с местными чертами обряда намечается некоторая закономерность. Большинство их находится на европейской стороне Боспора в окрестностях столицы государства — Пантикапея. На азиатской стороне в окрестностях античных городов имеется лишь один памятник, который предположительно можно отнести к рассматриваемому времени, — это курган под Фанагорией. В общем, даже несмотря на уникальность комплексов Большой Близницы в плане богатства и разнообразия погребального инвентаря, можно с большой степенью вероятности констатировать, что для IV в. до н. э., если судить по курганным памятникам, ведущая роль во взаимоотношениях с местными племенами принадлежала европейскому Боспору.

3.3. Основные выводы

Закljučая данный раздел, еще раз подчеркнем, что стабилизация в степях Северного Причерноморья, проявляющаяся с третьей четверти V в. до н. э., в конечном итоге привела к расцвету в IV в. до н. э. материальной культуры как местных племен, так и античных центров. Начальный период этой стабилизации на Боспоре был озаглавлен важными политическими переменами, связанными с приходом к власти династии Спартокидов. Думается, что это событие было обусловлено не только внутривоспорскими, но и внешнеполитическими факторами.

Одним из проявлений благоприятной обстановки, сложившейся в это время, можно рассматривать активное освоение широких сельскохозяйственных территорий всеми греческими государствами северного берега Понта. В свою очередь это, а также развитие связей с земледельческими варварскими племенами, привело к увеличению вывоза хлеба в античные центры Средиземноморья. Особенно большого размаха, как известно, достиг боспорский хлебный экспорт, что, как представляется, в немалой степени определялось развитием греко-варварских взаимоотношений.

Характер взаимодействия греческой и местных культур в это время, безусловно, определялся доминированием греческой культуры. Уменьшение на античных памятниках числа находок, характерных для культуры местных племен (лепная керамика, украшения и т. д.), в IV в. до н. э. вполне очевидно. Сам этот факт, конечно, говорит не об ослаблении греко-варварских контактов, а об определенной однонаправленности этого процесса на данном этапе их развития.

В рассматриваемый период в окрестностях боспорских городов продолжают насыпаться курганы местной знати. Наряду с прочими материалами, они позволяют предполагать, что при Спартокидах, особенно с рубежа V–IV вв. до н. э., первостепенное значение приобретают связи со скифами. Относительная многочисленность курганов туземной знати на европейской стороне, а также общий облик их материальной культуры в этом отношении весьма показательны. По всей видимости, ориентация боспорской политики в отношении местных племен, прежде всего на самое мощное объединение Северного Причерноморья — на скифов, — приносила Боспору немалые выгоды.

Есть основания считать, что именно в рассматриваемое время связи Боспора со скифами достигли апогея, ярко обозначив тот феномен в историко-культурном развитии Северного Причерноморья, суть которого определил М. И. Ростовцев, вынеся в заглавие своей известной работы — «Скифия и Боспор». Теснейшие взаимосвязи, взаимовлияния обозначенных образований, как можно полагать, базировались на близости, до известной степени, слиянии основных экономических, политических интересов, культурных устремлений скифской кочевой аристократии и боспорских правителей.

По понятным причинам подобное положение могло устойчиво существовать лишь до тех пор, пока скифы оставались хозяевами степей Северного Причерноморья. Соответственно, кардинальные изменения в военно-политической и демографической обстановке в регионе должны были автоматически вести к крушению этой системы. Изменения такого рода происходят приблизительно в конце IV — начале III в. до н. э., и связаны они, как представляется, с продвижением на запад сарматских племен (Мачинский. 1971. С. 30 сл.).

4. Боспор и варвары в конце IV — III в. до н. э.

4.1. Историческая ситуация на Боспоре в конце IV — начале III в. до н. э.

С возрастанием сарматского давления на районы к западу от Дона, с усилением нестабильности в степном мире боспорская политика в отношении варварских племен должна была претерпеть существенные изменения, приспособиться к новой реальности. Само географическое положение Боспора таково, что сарматы вступили в прямой контакт с классическим миром, в первую очередь именно на его границах (Sulimirski. 1970. S. 92). Ю. М. Десятчиков считал, что сарматы проникли на Таманский полуостров во второй половине IV в. до н. э. (1973. С. 79). Такая точка зрения вполне согласуется с результатами археологических исследований последних лет в Прикубанье (см., например: Ждановский, Марченко. 1988. С. 42–43; Марченко И. И. 1988. С. 7 сл.; Шевченко. 1993. С. 98–99).

Передвижения кочевников на новые территории, как хорошо известно, обычно не носят мирного характера, — недаром время этих передвижений именуется периодом «завоевания родины». В этом отношении обратим внимание на то, что какие-то негативные явления во взаимоотношениях Боспора со скифами возникают уже в конце третьей четверти IV в. до н. э. Около 328 г. до н. э. Демосфен произносит речь против Формиона (Dem. 34.8). В ней он, в частности, говорит о торговой поездке Формиона на Боспор. Поездка была крайне неудачной, так как вследствие войны, которая происходила тогда между боспорским царем Перисадом и скифами, товары, привезенные Формионом, почти не находили сбыта. Сам по себе факт военных столкновений между скифами и Боспором в это время очень интересен, ибо скифы, если судить по данным античных письменных источников, и до, и после этого события выступали как союзники боспорских царей (Polyaen. VI, 9, 4; Diod. XX, 22, 4). Но еще более интересен, на наш взгляд, другой аспект этого сообщения, а именно тот, который свидетельствует о крупных торговых затруднениях Формиона. Боспорское государство во второй половине IV в. до н. э. занимало значительную территорию и граничило с различными варварскими племенами, а значит, локальный конфликт с одним из них, а именно так иногда трактуется сообщение Демосфена (Масленников. 1981. С. 43), вряд ли мог привести к столь бедственным последствиям. Не исключено, что уже в это время в силу каких-то причин вся система взаимоотношений Боспора с варварским миром испытывала некоторые трудности, что, в частности, могло привести к отрицательному воздействию на боспорскую торговлю. К сожалению, в силу своей краткости приведенное свидетельство не может быть основанием для более определенных выводов. Да и сама по

себе неблагоприятная ситуация для торговли на Боспоре в это время может рассматриваться не более чем симптом будущих потрясений. Однако все сказанное, конечно, не может умалять важности сообщения Демосфена для понимания особенностей взаимоотношений Боспора с местными племенами при Перисаде I.

Еще более интересен и, разумеется, несравнимо более информативен рассказ Диодора Сицилийского о борьбе за боспорский престол сыновей Перисада I: Сатира, Евмела и Притана (Diod. XX, 22, 4). В самом кратком изложении его повествование сводится к следующему. В 310/9 г. до н. э. умер Перисад I. По старшинству власть переходит к Сатиру. Недовольный этим Евмел начинает оспаривать власть у брата. В своей борьбе он опирается на поддержку варваров во главе с Арифарном. Сатир, собрав значительные силы (34 тыс. воинов, из которых 30 составляли союзные скифы), выступил против Евмела и разбил 42-тысячное войско Арифарна. Затем он приступил к осаде крепости, в которой укрылись его противники, но при этом погиб. Власть над государством принял Притан, продолживший борьбу против Евмела, но неудачно. Войска Притана терпят поражение, сам он бежит в город Кепы, где и гибнет. Таким образом, полную победу одерживает Евмел. Воцарившись на боспорском престоле, он жестоко расправляется со своими противниками, а затем управляет государством очень умело и дальновидно, в результате чего Боспорское царство укрепляется, расширяются его границы и т. д.

Приведенный рассказ Диодора вызывал и вызывает большое количество споров среди исследователей. В немалой степени это, конечно, объясняется различным подходом к данному свидетельству, но еще в большей степени причину этому следует искать в специфических особенностях самого труда Диодора Сицилийского. Работая над своим сочинением, автор «Исторической библиотеки» чрезвычайно небрежно относился к источникам, использовал их без всякой критики, часто сокращал и комкал сведения, иногда даже весьма существенные (Мандес. 1901. С. 335 сл., 355, 373, 402, 404; Бузескул. 1915. С. 212; Струве. 1968. С. 151). Не удивительно, что и в рассматриваемом отрывке встречается немало «темных», непонятных мест. Во многом по этой причине спорными остаются такие важные аспекты происшедших событий, как время и место военных действий, слои боспорского населения и варварские племена, вовлеченные в конфликт, и т. д.

Наибольшее значение в плане нашей работы представляют вопросы о месте столкновений враждующих группировок и о союзниках Евмела. Для локализации района военных действий обычно привлекаются такие детали из повествования Диодора, как название реки, через которую переправлялось войско Сатира: по разным версиям — ΔΙΑΒΑΣ ΤΟΝ ΘΑΤΗΝ ΠΟΤΑΜΟΝ или ΔΙ ΑΒΑΣ ΤΟΝ ΘΑΨΙΝ ΠΟΤΑΜΟΝ (ВДИ. 1947. № 4. С. 263. Примеч. 2),

большое количество здесь населенных пунктов и укреплений (ΠΟΛΙΣ ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ), а также некоторые другие соображения.

«Отец боспорской археологии» П. Дюбрюкс отождествил с крепостью Арифарна городище Илурат, расположенное в 15 км к юго-западу от Керчи (Дюбрюкс. 1858. С. 62). Локализация места военных действий в ближайших окрестностях боспорской столицы противоречит всему повествованию Диодора, поэтому данная точка зрения почти не нашла поддержки. В какой-то степени ее поддерживает лишь Б. Н. Петерс, который, впрочем, считает, что события, связанные с борьбой сыновей Перисада, развернулись не под Илуратом, а поблизости от него — в районе городища у с. Михайловка, на протяжении ряда лет исследовавшегося экспедицией во главе с автором предположения (Петерс. 1985. С. 24). Правда, известна еще одна попытка локализации места конфликта в Крыму; в соответствии с ней, войска Сатира переправились через Салгир, а крепостью Арифарна было городище Чуфут-Кале (ВДИ. 1947. № 4. С. 263. Примеч. 2; С. 264. Примеч. 5). Но и она не соответствует имеющимся данным. Более правдоподобную точку зрения высказал В. В. Струве. Обратив внимание на ряд непонятных мест в описании Диодора, он предположил, что столкновение между сыновьями Перисада произошло на северном берегу Азовского моря в так называемых Кремнах (Струве. 1968. С. 160). Этот географический пункт известен по сообщениям Геродота (IV, 20; I 10, 2) и Птолемея (III, 5, 4). Локализация Кремн в средней части северного побережья Азовского моря не вызывает особых сомнений (Доватур, Каллистов, Шишова. 1986. С. 242. Примеч. 223; Болтрик, Фиалко. 1987. С. 246).

Но более предпочтительное, даже господствующее положение в современной литературе получила гипотеза о том, что военные действия развернулись в Прикубанье (см.: Ростовцев. 1918. С. 98; Гайдукевич. 1949. С. 73; Каллистов. 1949. С. 221 сл.; Блаватский. 1954б. С. 68; Анфимов. 1958. С. 19 сл.; Десятчиков. 1977. С. 45). Название реки, описание ландшафта, густозаселенность района — ничто не противоречит этой локализации. Как и большинство исследователей, мы разделяем последнюю из приведенных точек зрения.

Самое пристальное внимание ученых до настоящего времени привлекает вопрос о союзниках Евмела. У Диодора, как известно, они именуются фракийцами, что, конечно, является ошибкой, так как наемники-фракийцы выступали на стороне Сатира. Правда, М. И. Артамонов полагал, что наименование союзников Евмела фракийцами, возможно, не является случайной опiskой, так как фракийцами могли считаться синды по их происхождению от киммерийцев (1974. С. 125). Но эта идея весьма сомнительна. Более оправданно видеть здесь одну из ошибок, столь обычных для труда Диодора Сицилийского. Уже сравнительно давно предложены исправления тек-

ста, — две известные конъектуры: вместо «фракийцев» (ΘΡΑΚΩΝ) читать «фатеев» (ΘΑΤΕΩΝ) или «сираков» (ΣΙΡΑΚΩΝ). Обе точки зрения имеют большое число сторонников.

Первая конъектура предложена А. Беком (CIG. II, 103–104). «Весьма остроумной» посчитал ее В. В. Латышев (1909. С. 67), позднее она была принята целым рядом исследователей (см.: Гайдукевич. 1949. С. 73; Каллистов. 1949. С. 221; Блаватский. 1954б. С. 85; Анфимов. 1958. С. 19 сл.; Шелов-Коведяев. 1985. С. 150; Яйленко. 1990б. С. 297). Надо сказать, что о фатях мы знаем чрезвычайно мало. По боспорским надписям известно, что они были подчинены царям Боспора (КБН. 9, 25, 972, 1015), а значит, трудно предполагать, что фатеи были в состоянии выставить 42 тыс. воинов, — больше, чем объединенные силы боспорского царя и скифов. Если даже Диодор преувеличил численность вовлеченных в конфликт сил, то общее их соотношение, надо думать, указано им верно.

С этой стороны предпочтительнее вторая конъектура, предложенная К. Мюллером (см.: Kissling. 1910. S. 759). Сарматское племя сираков вполне могло располагать значительными военными силами (см.: Виноградов В. Б. 1965. С. 108). Страбон свидетельствует, что при Фарнаке они выставляли 20 тыс. всадников (XI, 5, 8). Считается, что и описка из ΣΙΡΑΚΩΝ на ΘΡΑΚΩΝ более вероятна. Не удивительно, что данная гипотеза также имеет большое число сторонников (см.: Жебелев. 1953. С. 177; Струве. 1968. С. 151; Башкиров. 1967. С. 96; Десятчиков. 1977. С. 46; Ждановский, Марченко. 1988. С. 47; Rostovtzeff. 1922. P. 145; 1930. P. 577; Sulimirski. 1970. P. 95).

В пользу этой точки зрения будет нелишним привести еще одно соображение. Из сообщения Диодора можно заключить, что варвары, поддерживавшие Евмела, скорей всего, были независимы от Боспора, а значит, вряд ли это были фатеи. Так, во время сражения Сатир, единолично командующий своими войсками, как отмечается в тексте, «по скифскому обычаю» встал в центре боевых порядков. Подобное построение, когда военачальник встает в центре войска, — характерный прием боевого построения не только скифов, но и других ираноязычных народов. Ксенофонт в этом отношении сообщает: «Все военачальники варваров занимают место в центре войска, полагая, что они таким образом находятся в наибольшей безопасности, если они с обеих сторон имеют свое войско, и что в случае необходимости передачи приказа войско будет оповещено о нем в половину времени (Anab. I, 8, 22; пер. М. И. Максимовой). Весьма показательно, что в центре враждебных Сатиру сил встал Арифарн, а Евмел находился на левом фланге. В. Д. Блаватский усмотрел здесь свидетельство о применении Евмелом тактики «косо-го клина», использованной знаменитым полководцем Эпаминондом в битве под Левктрами (1946. С. 101 сл.; 1954б. С. 88). Но это предположение ничем не обосновано (см.: Черненко. 1971. С. 37; 1984а. С. 72). Вполне оче-

видно, что роль Евмела в командовании войсками была весьма скромной. В эпизоде осады крепости Арифарна он даже не упоминается. Думается, что роль претендента на боспорский престол в подчиненном Боспору племени должна была быть несколько большей. Следовательно, логичнее ожидать, что варвары, поддержавшие Евмела, были независимым объединением, скорей всего, сарматами.

Наконец, отметим, что имя Арифарн — иранское, но не скифское. Корень «фарн» не встречается в именах скифских царей VII в. до н. э. — II в. н. э. (Мачинский. 1971. С. 47). Между тем для сарматов он засвидетельствован (Литвинский. 1968. С. 59; Vasmer. 1923. S. 33; Harmatta. 1952. P. 31), известен даже сарматский бог Уатафарн (Миллер. 1981. С. 129 сл.). Высказано вполне вероятное предположение, что и Сайтафарн, известный на основании декрета в честь Протогена (IOSPE. I², 32), был вождем сарматского племени (Мачинский. 1971. С. 47; Vasmer. 1923. S. 50; Harmatta. 1952. P. 52–53. ср. Zgusta. 1955. S. 263).

Кратко резюмируя сказанное выше, подчеркнем, что за союзниками Евмела при современной разработанности источников наиболее логично видеть сарматское племя сираков. Сарматскому войску противостояли силы Сатира — Притана, в подавляющем большинстве состоящие из скифов. В таком случае столкновение между братьями предстает перед нами уже не как простая междоусобица, не как «небольшая гражданская война», по выражению М. И. Ростовцева (Rostovtzeff. 1930. P. 577), а как столкновение мощных варварских группировок (Башкиров. 1967. С. 96; Виноградов Ю. А. 1980. С. 7).

Что касается непосредственной причины конфликта, то можно признать справедливым предположение И. Б. Брашинского о нарушении порядка престолонаследования после смерти Перисада I (Брашинский. 1965б. С. 122 сл.). Евмел вполне мог посчитать себя обойденным, а это, разумеется, более чем достаточный повод для конфликта. Но в дальнейшем, с вовлечением в борьбу варварских племен, спор за боспорский престол явно перерос рамки простой междоусобицы и превратился в явление отнюдь не чисто боспорской истории. Военно-политическая обстановка в конце IV в. до н. э., как можно предполагать, была такой, что и скифы, и сарматы в этой войне сражались не только за интересы боспорских царевичей, но и за свои собственные. Вторжения сарматов в области к западу от Дона сделали их непримиримыми врагами скифов.

В сложившейся ситуации поведение Евмела представляется вполне логичным. В своих притязаниях на боспорский престол он сделал ставку на поддержку сарматов, объединение в военном отношении, безусловно, очень сильное. Но и скифы, по всей видимости, поддержали Сатира в борьбе с братом не просто из личных симпатий к нему или из понимания правоты его

дела. В это время они были кровно заинтересованы в борьбе с сарматами, поэтому, очевидно, и предоставили в распоряжение Сатира столь значительные силы, игравшие в боевых действиях чрезвычайно важную роль. Не случайным в данной связи представляется и то, что после смерти Сатира Притан принимает власть и твердое решение продолжать борьбу с Евмелом лишь после того, как прибыл к войскам. Стремление войск, состоящих в основном из скифов, к продолжению успешно начатой войны сыграло здесь, по всей видимости, немалую роль.

Как известно, после своей победы Евмел устроил жестокую расправу со сторонниками Сатира и Притана, не пощадив даже членов их семей. Бегством удалось спастись лишь его племяннику, сыну Сатира царевичу Перисаду, который нашел убежище у скифского царя Агара, что опять же очень показательно. Думается, есть все основания рассматривать эту расправу с политическими противниками одновременно и как уничтожение сторонников прежней политической ориентации на союз со скифами. К тому объективно вела логика борьбы за власть.

Совсем не исключено, что Евмел, получивший власть над государством благодаря помощи сарматов, и в дальнейшем в своей внешней политике стремился опираться на союз с ними. Возможно, с их поддержкой следует в какой-то степени связывать его успехи в расширении границ и в укреплении международного престижа Боспора, о чем свидетельствует рассказ Диодора. Следует подчеркнуть, однако, что данное предположение, как будто вытекающее из общего хода событий, прямого подтверждения в труде автора «Исторической библиотеки» не находит.

Очень интересные сведения, на наш взгляд, подтверждающие высказанное предположение, содержатся у Лукиана Самосатского. Известно, какую отрицательную оценку дал этому автору М. И. Ростовцев в отношении достоверности содержащейся в его рассказах исторической информации (Ростовцев. 1915. С. 75 сл.; 1925. С. 108). Однако и сам М. И. Ростовцев, и другие исследователи, критически относившиеся к «полуисторичности» свидетельств Лукиана (Блаватская. 1959. С. 30), в практической работе не могли и не могут обойтись без сведений, содержащихся в его сочинениях. По этой причине вполне обоснованными представляются звучащие в последнее время призывы пересмотреть отношение к Лукиану, информация которого во многих отношениях представляется вполне достоверной (Хазанов. 1975. С. 22; Тереножкин. 1977. С. 9 сл.; Трубачев. 1979. С. 36). При всей специфичности этого источника нельзя оспаривать того, что Лукиан был хорошо знаком с исторической традицией эллинистического времени, и более того — общий характер взаимоотношений Боспора с варварскими племенами, который он обрисовал в своих рассказах, вполне отвечает исторической действительности.

Из диалога Лукиана «Токсарид или дружба» следует, что у скифов постоянно ведутся войны (Тох. 36): либо скифы подвергаются нападению, либо сами нападают на других. В частности, происходит столкновение с савроматами в области реки Танаис (Тох. 37, 39–41). Под савроматами античные авторы римского времени, как известно, чаще понимали сарматов. Что касается взаимоотношений скифов с Боспором, то они далеко не дружественные. Часто в пределы Боспорского царства совершали нападения отдельные группы скифов, которых Лукиан называет разбойниками и за действия которых остальные скифы ответственности не несли (Тох. 49), но известно и крупное военное столкновение (Тох. 55). На стороне боспорского царя Евбиота при этом выступили савроматы. Отмечается к тому же, что сам Евбиот до воцарения находился у савроматов. В общем, из рассказов Лукиана следует, что между Боспором и савроматами (сарматами) существовали самые тесные и дружеские связи.

О Евбиоте мы знаем не только из повествования Лукиана. В 1927 г. были опубликованы отрывки романа II в. н. э. (PSI. 1927. VIII. 2. № 981), сюжет которого построен на фактах из истории боспоро-сарматских взаимоотношений (Блаватская. 1959. С. 143–146). На страницах романа фигурирует некий Евбиот. Одна черта роднит Евбиота, героя романа, с одноименным лукиановским боспорским царем. Оба были дружны с савроматами. Но имя Евбиот, как справедливо считал В. Ф. Гайдукевич, сопоставимо только с именем Евмела, единственного боспорского царя, его носившего (1949. С. 497). Еще раз обратим внимание, что Евмел пришел к власти благодаря помощи сарматов в конфликте с братом, которого поддерживали скифы. А Евбиот был призван на царство от савроматов, они же поддерживали его в конфликте со скифами. Случайны ли эти совпадения? Думается, что нет. Остается предполагать, что античные авторы были неплохо осведомлены о том, что в конце IV — начале III в. до н. э. при Евмеле (Евбиоте) Боспорское государство находилось в самых дружеских отношениях с сарматами, тогда как отношения со скифами были весьма натянутыми.

Как нам представляется, события 310/9 г. до н. э. были до некоторой степени поворотным пунктом в истории Боспора. В это время традиционные союзнические взаимоотношения со Скифией прерываются и, возможно, начинается процесс переориентации боспорской политики по отношению к туземным племенам с акцентом на связи с сарматами. Состояние наших источников таково, что трудно судить, насколько этот процесс был продолжен или развит после смерти Евмела (304/3 г. до н. э.). Однако можно предполагать, что сильнейшее в регионе объединение сарматов продолжало играть важную роль в системе связей Боспора с варварским миром и позднее. Для более определенных суждений письменные источники оснований не дают.

4.2. Археологические данные об исторической ситуации на Боспоре в конце IV — III в. до н. э.

Обращаясь к рассмотрению археологических материалов, попытаемся проследить сложившуюся ситуацию не на Боспоре вообще, а в конкретных его частях (европейская и азиатская стороны, дельта Дона). Вполне очевидно, что выяснение специфики развития отдельных частей государства поможет лучше понять целое. Начнем с европейского Боспора. По всей видимости, о каком-либо упадке городов Восточного Крыма в III в. до н. э. вряд ли возможно говорить (Блаватский. 1960. С. 24 сл.). Многие центры расширяют свои границы и перестраиваются. Погребальный инвентарь также не позволяет судить о заметном обеднении населения. Так, группа погребений у Карантинного шоссе, датирующаяся первой половиной или первой третью III в. до н. э., дала великолепную серию серебряных сосудов (Максимова. 1979. С. 72).

Иная картина наблюдается на поселениях хоры европейского Боспора. Вторая четверть — середина III в. до н. э. — важный рубеж в ее истории, а значит, и всего Боспорского государства (Кругликова. 1975. С. 72; Масленников. 1981а. С. 156). В это время здесь исчезают неукрепленные поселения. На смену им приходят крупные усадьбы типа виллы, построенной около Мирмекия на рубеже IV—III вв. до н. э. или в самом начале III в. до н. э. (Гайдукевич. 1981. С. 57), а также укрепленные поселения, расположенные преимущественно по берегам моря и в местах, удобных для обороны (Кругликова. 1963. С. 74; Масленников. 1981а. С. 156).

Около середины III в. до н. э. фортификационные сооружения на сельских поселениях европейского Боспора были разрушены и, за немногим исключением, больше не восстанавливались (Масленников. 1995. С. 39). Происшедшие перемены носили столь фундаментальный характер, что, по мнению А. А. Масленникова, в Восточном Крыму со второй половины III в. до н. э. невозможно выделить археологические комплексы, которые можно было бы связать с чисто скифским этносом (1981. С. 67; 1981а. С. 153 сл.).

Вполне возможно, что население из неукрепленных поселений уходит не только на укрепленные усадьбы и т. п., но и под защиту городских оборонительных стен. Не исключено, что рост территории городов в это время в немалой степени был связан с притоком населения из степных частей полуострова. При этом если на сельских поселениях Восточного Крыма в III в. до н. э. отмечается явная тенденция к увеличению числа укрепленных пунктов, то и сами города Боспора в это время активно укрепляются. В III в. до н. э. новая оборонительная стена возводится в Мирмекии (Пругло. 1960. С. 269 сл.; Гайдукевич, Михайловский. 1961. С. 128 сл.; Гайдукевич. 1987. С. 149 сл.). В Тиритаке, где в конце IV — первой половине III в. до н. э. произ-

водится обновление всей фортификационной системы, мощь отдельных ее звеньев усиливается еще и во второй половине III в. до н. э. (Марти. 1941. С. 16 сл.; Гайдукевич. 1952. С. 20). Во второй половине III в. до н. э. мощной крепостью становится Порфмий (Кастанаян. 1970. С. 78; 1983. С. 162). Концом IV в. до н. э. или первой половиной III в. до н. э. можно датировать возведение оборонительной стены Китея (Молев. 1985. С. 58; ср. 1986. С. 43). В Зеноновом Херсонесе на мысе Зюк раскопками открыто мощное основание оборонительной стены III в. до н. э. (Масленников. 1992. С. 142, 144, 146). Городские укрепления Пантикапея относятся к III–II вв. до н. э. В это же время возводятся укрепления на вершине г. Опук в Киммерике (Кругликова. 1958. С. 243 сл.). Оценивая все эти факты, следует согласиться с заключением В. П. Толстикова о том, что во второй половине III — начале II в. до н. э. на Боспоре происходит усиление фортификационного строительства (1981. С. 17), но в общем оно характерно и для первой половины III в. до н. э.

Интересное наблюдение о некоторых особенностях оборонительных сооружений этого времени принадлежит Е. Г. Кастанаян. Анализируя характер оборонительного строительства в Тиритаке, она отмечала, что во второй половине III в. до н. э. ухудшается техника кладки городских стен. Башни этого времени менее фундаментальны, чем башни раннеэллинистического периода, а дополнительный панцирь вместо прекрасной рустованной кладки состоит из бута. Объясняется подобное положение, по мнению Е. Г. Кастанаян, общим экономическим упадком государств (1959. С. 216). На наш взгляд, высказанное предположение не вполне убедительно. Возможно, объяснение этому факту надо искать не в экономическом положении государства или, во всяком случае, не только в нем. Допустимо предположить, что городу в это время угрожала реальная опасность, укрепления вследствие этого возводились с большой поспешностью, когда для тщательной отделки рустованных блоков просто не было времени.

Некоторые археологические материалы дают основание полагать, что в рассматриваемое время города европейского Боспора не просто испытывали военную угрозу, но и подвергались нападениям. При раскопках Нимфея был обнаружен проезд в оборонительной стене, заложенный большими камнями, так что оказалась оставленной лишь небольшая калитка. Около оборонительной стены были найдены каменные ядра и бронзовые наконечники стрел. М. М. Худяк относил данную ситуацию к концу IV в. до н. э. и связывал с событиями междоусобной борьбы сыновей Перисада (1962. С. 35). К сожалению, он не привел никаких соображений в пользу столь «узкой» датировки, к тому же в рассказе Диодора о столкновении братьев ничего не говорится о военных действиях на территории Боспора. Поэтому, как представляется, наблюдение М. М. Худяк следует рассматривать не в контексте

событий 310/9 г. до н. э., а в плане общей беспокойной военно-политической ситуации, сложившейся в это время на Керченском полуострове. Очевидно, в той же плоскости можно трактовать и сильные разрушения Порфмия, происшедшие около середины III в. до н. э. (Кастанаян. 1972. С. 81).

Какой враг мог угрожать городам и сельским поселениям европейского Боспора? Думается, что скорей всего это могло быть Скифское царство в Крыму, непосредственно граничащее с западными рубежами Боспорского царства (Гайдукевич. 1959. С. 277; Rostovtzeff. 1930. Р. 574). По всей видимости, положение Боспора в сложившейся ситуации в немалой степени было осложнено тем, что население сельских поселений Керченского полуострова в основном состояло из скифов, от позиции которых, конечно, зависело многое. В настоящее время по данному вопросу трудно делать какие-либо окончательные заключения. Любопытно, что из скифских погребений Восточного Крыма в первой половине III в. до н. э. исчезает оружие (Масленников. 1981а. С. 153). Однако уход скифов из неукрепленных деревень в усадьбы и укрепленные поселения, а также в боспорские города позволяет предполагать, что они в это время больше тяготели к Боспору, чем к своим собратьям, создавшим государство в Крыму (но ср. Масленников. 1993. С. 62 сл.).

На азиатской стороне Боспора археологические материалы интересующего нас времени свидетельствуют опять же не об упадке, а о расцвете городов. В литературе этот факт подчеркивается даже чаще, чем для городов европейского Боспора. Отмечается, что III–II вв. до н. э. — период заметного подъема ремесленного производства в Фанагории, процветания всей жизни города (Кобылина. 1956. С. 24 сл.). На то же время приходится период наивысшего подъема жизни в Кепях (Сокольский. 1963. С. 105), расцвет Патрэйского городища приходится на III–I вв. до н. э. (Крушкол. 1971. С. 121). Несмотря на то что период первого расцвета Гермонассы миновал (Зеест. 1974. С. 92), эллинистические слои ее богато насыщены археологическими материалами (Зеест. 1955. С. 114). На фоне этой ситуации несколько удивляет, что фортификационное строительство на азиатской стороне не достигло такого развития, как на европейской. Во всяком случае, лишь при раскопках Фанагории был обнаружен небольшой участок оборонительной стены III–II вв. до н. э. (Кобылина. 1956. С. 25. Рис. 6). Бурное фортификационное строительство фиксируется здесь в более позднее время (см.: Сокольский. 1976. С. 107, 116).

Погребальные сооружения в азиатской части государства сохраняют свойственную им в IV в. до н. э. пышность. При этом если на европейской стороне количество богатых погребений уменьшается и после середины III в. до н. э. они здесь довольно редки (Гайдукевич. 1949. С. 278), то на Таманском полуострове, и особенно в некрополях Синдики, пышность погребального обряда сохраняется и в III–II вв. до н. э. (Коровина. 1964. С. 14).

К сожалению, пока еще очень немного может быть сказано о судьбе сельских поселений азиатского Боспора в III в. до н. э. В литературе отмечается, что здесь происходили процессы, аналогичные тем, которые ярко проявились в Восточном Крыму (Кругликова. 1975. С. 96; Масленников. 1981. С. 69). В общем, такое предположение вполне логично. Нестабильная ситуация, возникавшая в результате сарматского продвижения в Прикубанье, несла угрозу прежде всего для неукрепленных поселений хоры. Напомним в этом отношении о положении на сельской округе Ольвии, Херсонеса и европейского Боспора. Но для района Таманского полуострова о подобных изменениях в настоящее время мы можем лишь предполагать. Археологическое изучение хоры городов азиатского Боспора еще только начинается, и дискретность в ее развитии выступает здесь отнюдь не с полной очевидностью. О сельской округе Горгиппии, к примеру, сейчас говорится лишь то, что плодородные земли в ее окрестностях использовались регулярно с IV в. до н. э. (Алексеева. 1980. С. 48). Я. М. Паромову также не удалось проследить на Таманском полуострове заметных изменений в системе расселения для эллинистического периода. Напротив, жизнь на сельских поселениях, по его мнению, в это время достигает максимума своего развития (Паромов. 1990. С. 64).

В. Б. Виноградов считал, что в результате сарматского продвижения к границам Боспора были оттеснены савроматы (Виноградов В. Б. 1963. С. 36, 39; 1965. С. 111). Более вероятно, на наш взгляд, точка зрения К. Ф. Смирнова, который полагал, что сюда проникли выходцы из общесарматской среды, а савроматы были лишь одним из компонентов этого объединения (1974. С. 40; ср. Ждановский, Марченко. 1988. С. 43, 45; Шевченко. 1993. С. 98). Этот процесс определил и проникновение сарматских групп в состав населения боспорских городов. Материалы, полученные при раскопках некрополей, позволяют предполагать инфильтрацию сарматских этнических элементов, как считает Ю. М. Десятчиков, со второй половины IV в. до н. э. (1973. С. 79).

Обратим внимание на то, что именно на азиатской стороне Боспора в погребениях конца III в. до н. э. представлены ранние образцы нового стиля в торевтике — так называемого полихромного. Для этого стиля характерны изделия, украшенные инкрустациями из полудрагоценных камней (гранатов, сердоликов и т. д.) или цветных эмалей (Гайдукевич. 1949. С. 132 сл.; Коровина. 1964. С. 14). Хорошо известно, что в процессе исторического развития боспорского искусства большая роль принадлежала местному населению, вкусы и специфические запросы которого учитывались греческими мастерами (Иванова. 1953. С. 93). Считается, что и полихромный стиль сложился в результате усилившегося влияния Востока (Higgins. 1966. P. 156; Hoffman, Davidson. 1966. P. 10). Не исключено, что определенная роль в развитии этого стиля на Боспоре принадлежала новым этническим группиров-

кам, проникшим в соседние с ним районы и принесшим свои вкусы и требования к предметам торевтики.

Подводя итог сказанному о положении в азиатской части Боспорского государства, прежде всего отметим, что, несмотря на близость к районам, подвергшимся вторжениям сарматов, положение здесь в целом было отнюдь не хуже, чем на европейской стороне. По всей видимости, в начальный период продвижения сарматов возможность их вторжения в пределы Боспорского царства была вполне реальной. Так, в конце IV в. до н. э. были разрушены стены Семибратнего городища (Анфимов. 1951. С. 242; 1958. С. 52). Обычно этот факт рассматривается в контексте междоусобной борьбы сыновей Перисада (Коровина. 1957. С. 187; Анфимов. 1958. С. 52). Трактовка, надо сказать, спорная, но и в этом случае, как мы пытались показать в предыдущем разделе, посвященном событиям 310/9 г. до н. э., причастность сарматов к данному разрушению вполне вероятна.

В дальнейшем, с развитием боспоро-сарматских взаимоотношений, угроза сарматских вторжений, по всей видимости, была сведена до минимума. Весьма показательно, что ни один из греческих городов Таманского полуострова не был разрушен, для этого времени даже не отмечается активного фортификационного строительства. Эти факты, на наш взгляд, не вполне соответствуют заключению В. П. Яйленко о том, что «почти все данные о Боспоре первой половины III в. до н. э. могут быть трактованы в плане мобилизации боспорскими царями внутренних сил и внешней помощи по отражению варварской угрозы» (1990. С. 303). Не уменьшая сложности военнополитической ситуации в регионе, хотелось бы подчеркнуть, что в условиях конфликта с варварами боспорские цари могли опираться не только на внутренние силы или на помощь со стороны греческих государств, но и на союз с другими варварами, враждебными противникам Боспора.

Очень важным в связи с этим представляется тот факт, что в конце IV в. до н. э. в Прикубанье на месте меотского поселения возникает Елизаветинское городище. Названный центр, расположенный в самой гуще прикубанских племен, стал форпостом боспорского экономического влияния в этом районе (Анфимов. 1967. С. 130). Есть все основания полагать, что правители Боспора в рассматриваемое время придавали особое значение развитию связей с племенами Прикубанья, в том числе и с сарматами.

Кратко охарактеризуем ситуацию, сложившуюся в конце IV—III в. до н. э. в дельте Дона. Как известно, с V в. до н. э. здесь существовало Елизаветовское городище, центр греко-варварской торговли в данном районе (см.: Брашинский, Марченко. 1980; Марченко, Житников, Яковенко. 1988; Магченко. 1986). На продвижение сарматских племен оно отреагировало возведением мощных оборонительных сооружений (Марченко К. К. 1974а. С. 256). Но в конце концов жизнь на городище прекращается. В этой связи обратим

внимание на одно из важнейших открытий последних лет археологического изучения Елизаветовского городища. Здесь были выявлены остатки так называемой «боспорской колонии», существовавшей приблизительно 25–30 лет с конца 90-х по конец 60-х гг. III в. до н. э. (см. Марченко, Житников, Яковенко. 1988. С. 75 сл.; Марченко К. К. 1990. С. 130–133; 1992. С. 176 сл.; Кац, Федосеев. 1986. С. 105; Maгčenko. 1986. S. 394). Эта попытка упрочения боспорского влияния в дельте Дона не была успешной, и поселение погибло, вероятно, в результате нападения сарматов (Марченко К. К. 1992. С. 184–186; Maгčenko. 1986. S. 398), но для понимания основных направлений греко-варварских контактов начала III в. до н. э. оно чрезвычайно показательно, тем более что полным успехом было ознаменовано выведение другого боспорского центра в дельте Дона — Танаиса.

Как считал Д. Б. Шелов, Танаис был основан в первой четверти III в. до н. э. (1970. С. 23). По сообщению Страбона, его основали боспоряне (XI, 2, 3). Очень скоро этот город, расположенный, по существу, на пути варварских передвижений, стал важным экономическим центром, самым большим торжищем среди варваров после столицы Боспорского государства — Пантикапея (Strabo VII, 4, 5). Очень вероятно, что в рассматриваемое время Танаис был автономным полисом (Шелов. 1989. С. 48 сл.). Однако даже при таком положении вряд ли есть основания сомневаться в том, что он стал важным центром боспорского влияния в районе Нижнего Подонья — Приазовья прежде всего в экономической и стратегической сферах. Опираясь на Танаис, Боспор твердой ногой стоял в пункте, который давал ему несомненные выгоды в плане экономического освоения района, торговли с местными туземными племенами, а также позволял без труда ориентироваться в изменениях военно-политического характера, происходивших в подвижном мире северопрichernоморских варваров (ср. Гайдукевич. 1963. С. 306). Если и ранее Боспорское государство в силу своего географического положения имело реальный и, по всей видимости, легкий доступ в Крым и Поднепровье из европейской части и к Кавказу из азиатской, то теперь в зону его активного влияния вошло и Приазовье.

В принципе, ситуация в дельте Дона, по нашему мнению, сильно напоминает положение на Таманском полуострове. А именно — после периода дестабилизации и угрозы вторжения наступает период, благоприятный для активизации боспорского проникновения. Это нашло выражение в возникновении на Елизаветовском городище греческой колонии, а затем и основании Танаиса; на Кубани возникает Елизаветинское городище, памятник хотя типологически иной, чем два первых, но ставший важным центром боспорского экономического влияния. Любопытно, что и в отношении торговых связей Танаиса с античным миром четко выступает его близость к городам азиатского, а не европейского Боспора (Шелов. 1975а. С. 9).

Не исключено, что в плане затронутых вопросов следует рассматривать такой известный факт боспорской экономической истории, как кризис хлебной торговли со Средиземноморьем в III в. до н. э. До последнего времени почти единодушно признавалось, что кризис боспорской хлебной торговли был вызван конкуренцией более дешевого хлеба птолемеевского Египта (см., например: Жебелев. 1953. С. 84 сл., 147; Гайдукевич. 1949. С. 76–78; Каллистов. 1949. С. 234 сл.; Блаватский. 1964. С. 101; Граков. 1971. С. 53; Шургая. 1973. С. 51 сл.). Тезис о возможности конкурентной борьбы в античном мире был подвергнут серьезной критике М. К. Трофимовой (1961. С. 46 сл.), и основные положения ее следует признать вполне убедительными. В этой связи большого внимания заслуживает следующая интерпретация причин кризиса хлебной торговли Боспора. Сущность ее хорошо выразил Д. Б. Шелов, который отметил, что поскольку Афины, этот основной торговый партнер Боспор в IV в. до н. э., всегда нуждались в привозном хлебе и поставки из Египта отнюдь не удовлетворяли все потребности, то «боспорский вывоз хлеба в Аттику должен был сократиться не столько под давлением египетской торговой конкуренции, сколько вследствие экономических и политических изменений в жизни Северного Причерноморья» (Шелов. 1970. С. 36). Развивая эту точку зрения, И. Б. Брашинский связывал кризис понтийской хлебной торговли, а равно и изменение всей системы черноморской торговли, с изменениями военно-политической и демографической ситуации в Северном Причерноморье, вызванной сарматской экспансией и опустошением Скифии (1985. С. 203). Не лишним в этой связи будет напомнить мнение М. И. Ростовцева, который еще в 1914 г. писал, что основной удар по экспорту хлеба с Боспора был нанесен отнюдь не конкуренцией Египта и Малой Азии. Решающую роль здесь сыграли начавшиеся варварские передвижения, в результате которых «рушилась земледельческая и культурная жизнь скифских государственных образований на Буге, Днестре и на Дону (Ростовцев. 1914. С. 199).

В рассматриваемом аспекте особый интерес представляет положение на сельских поселениях Боспора. В литературе уже отмечалось, что существование большого числа неукрепленных поселений на Керченском и Таманском полуостровах хронологически совпадает с периодом расцвета боспорской хлебной торговли (Кругликова. 1957. С. 227; 1975. С. 53). В этом отношении сокращение числа сельских поселений неизбежно должно было привести к уменьшению объема получаемого товарного хлеба. Возникающие в это время крупные усадьбы имели иной хозяйственный уклон — не хлебопашество, а виноделие (Гайдукевич. 1958. С. 365; 1966. С. 55 сл.). Если ранее, как представляется, часть товарного зерна боспорские купцы получали от местных земледельческих племен (непосредственно или через кочевников), то сарматское передвижение нарушило устоявшуюся систему

взаимоотношений с варварским миром. Обширные области Северного Причерноморья и Прикубанья испытывали в это время сильные потрясения и не могли стать надежным источником получения излишков хлеба.

По всей видимости, с уменьшением «зернового потенциала» Спартокидов самым тесным образом было связано такое явление, как монетный кризис на Боспоре в III в. до н. э. В. А. Анохин датирует его 275–210 гг. до н. э. (1986. С. 48 сл.). Кризис выразился в прекращении чеканки монет из драгоценных металлов, широком выпуске медной монеты с частой сменой типов, использованием перечеканок и надчеканок. Период денежного кризиса на Боспоре изучался в отечественной науке очень интенсивно. Причины нехватки драгоценных металлов в боспорской казне видят во внутренних и внешних факторах. Д. Б. Шелов акцентирует внимание на первых, правда, среди них он называет усобицу сыновей Перисада I, событие, как мы старались показать, для Боспора не чисто внутреннее, и войну Перисада со скифами, факт явно не внутренней, а внешней истории (1956а. С. 144). В. Ф. Гайдукевич видел причины монетного кризиса в затруднениях внешней торговли, совпавших с крупными передвижениями племен в Северном Причерноморье (1949. С. 76–77). Эту точку зрения в основном поддержал В. М. Брабич, поставивший боспорскую монетную чеканку в прямую связь с внешнеполитическими событиями (1956. С. 67). Данная гипотеза представляется нам вполне приемлемой при одной оговорке. Кризис внешней торговли Боспора не просто сопровождался серьезными передвижениями племен в Северном Причерноморье, а был их следствием (ср. Щеглов. 1989. С. 56–58).

Заключая вышесказанное, еще раз обратим внимание, что после сарматского передвижения в различных частях Боспорского государства (Керченский полуостров, Тамань, дельта Дона) сложилась отнюдь не одинаковая обстановка. Более благоприятной в плане развития греко-варварских взаимоотношений следует признать ситуацию на Таманском полуострове и в донской дельте. Попытаемся теперь проследить, в какой степени обозначенная ситуация нашла отражение в материалах погребений варварской племенной аристократии на Боспоре.

4.3. Курганы варварской знати конца IV — III в. до н. э. на Боспоре

Богатых курганов с ярко выраженными туземными чертами для рассматриваемого времени не столь много (рис. 24). На европейской стороне известен единственный памятник — курган, раскопанный на мысе Ак-Бурун в 1875 г. (ОАК. 1875. С. XXXII сл.; ОАК. 1876. С. 5 сл.; Ростовцев. 1925. С. 388). На азиатской стороне их явно больше, Зеленской (ОАК. 1912. С. 48; Шкорпил. 1916. С. 22 сл.; Ростовцев. 1925. С. 290 сл.), комплексы Васюрин-



Рис. 24. Курганы варварской знати конца IV — III в. до н. э. на Боспоре. Карта-схема (1 — Ак-Бурун, 1875 г.; 2 — Зеленской курган; 3 — комплексы Васюринской горы; 4, 5 — Большая и Малая Близницы; 6 — Буерова могила)

ской горы (АДЖ. С. 30 сл.), Буерова могила (ОАК. 1870–1871. С. IX сл., XXI сл.; ОАК. 1882–1888. С. LXXXII; Ростовцев. 1925. С. 550) и, возможно, Малая Близница (ОАК. 1864. С. X сл.; ОАК. 1882–1888. С. XVI, XXXVIII; ОАК. 1907. С. 84 сл.; ОАК. 1913–1915. С. 146 сл.; Ростовцев. 1925. С. 374).

Некоторые из перечисленных памятников датируются, в общем, неплохо. Ак-Бурун по находке панафинейской амфоры, относящейся к 320/19 г. до н. э. (Макимова. 1961. С. 18), и статера Александра Македонского (Зограф. 1945. С. 90 сл.) может быть датирован концом IV — началом III в. до н. э. Очень близок ему по времени сооружения Зеленской курган. Здесь также найдена панафинейская амфора 320/19 г. до н. э. или 317–315 гг. до н. э. и статер Александра Македонского 30–20-х гг. IV в. до н. э. (см.: Максимова. 1961. С. 17; Зограф. 1945. С. 95). Еще более показательны материалы клейменной амфорной тары, позволяющие датировать этот комплекс именно концом IV — началом III в. до н. э. (Брашинский. 1984. С. 140)

Сложнее обстоит дело с датировкой Васюринских курганов, которые, как известно, были сильно ограблены. Курган, исследованный в 1868–1869 гг., был датирован М. И. Ростовцевым по чернолаковой пиксиде и прочим находкам временем не позднее середины III в. до н. э. (АДЖ. С. 40; Rostowzew. 1931. S. 332). Курган 1871/72 гг. он относил к тому же времени на основании стилистических особенностей украшений колесницы (АДЖ. С. 53 сл.).

Это определение принято современными исследователями без всяких поправок (Гайдукевич. 1949. С. 293 сл.; Масленников. 1981. С. 79; Gajdukevič. 1971. S. 301). Однако уже сам М. И. Ростовцев сомневался в его бесспорности и высказывал предположения о разновременности данных комплексов. Так, он обратил внимание, что в конских захоронениях кургана 1871 г. представлены сравнительно поздние вещи (фалары со стеклянными вставками и пр.), близкие находкам из причерноморских степных памятников конца II в. до н. э. (Ростовцев. 1925. С. 373). Позднее была омоложена дата плитовой гробницы, открытой в 1870 г. (Максимова. 1962. С. 130).

Еще сложнее хронологическая атрибуция Буеровой могилы и Малой Близницы. М. И. Ростовцев считал, что в последнем памятнике не обнаружено ни единой находки, которая могла бы быть отнесена ко времени ранее конца III в. до н. э. (1925. С. 375). Совсем не исключено, что в этом заключении выдающийся антиковед заблуждался, и датировку Малой Близницы, сопоставляя ее с комплексами Большой Близницы (см. выше), следует удревнить.

Хронологические рамки Буеровой могилы определены в широких пределах III–II вв. до н. э. (Ростовцев. 1925. С. 550). Более точная ее датировка в настоящее время невозможна, так как инвентарь этого кургана, за исключением отдельных находок, еще не опубликован (Ростовцев. 1918а. Табл. II, 5, 7, 8; III, 4).

Приведенные комплексы интересны своей топографией — большая их часть находится на Таманском полуострове, и это весьма показательно. При этом памятники азиатского Боспора, несмотря на ряд новых черт погребального обряда, неизвестных здесь ранее, в целом все-таки продолжают линию развития погребальных традиций синдо-меотской знати (Масленников. 1981. С. 57, 79). Как говорилось, на европейском Боспоре для данного времени известен всего один комплекс — курган на мысе Ак-Бурун. Безусловно, здесь — это самый поздний памятник в ряду подобных ему курганов V–III вв. до н. э. Понятно, что его этническая принадлежность имеет принципиальное значение для понимания греко-варварских взаимоотношений на Боспоре в данное время ввиду возможного сохранения старых традиций или же, напротив, в плане перемен и новых культурных влияний.

Показательно, что в отношении Ак-Буруна, кроме господствующей точки зрения о скифской принадлежности сделанного здесь погребения (см.: Ростовцев. 1925. С. 388; Артамонов. 1966. С. 66; Яковенко. 1972. С. 267), неоднократно высказывалось суждение о его сарматском характере (Толстой. Кондаков. 1889. С. 47; Цветаева. 1957. С. 242; Масленников. 1981. С. 55). Специальное рассмотрение особенностей обряда и совокупность погребального инвентаря (рис. 25) позволяют относить этот курган к кругу меото-сарматской культуры (Виноградов Ю. А. 1993б. С. 38 сл.). Обряд погребения

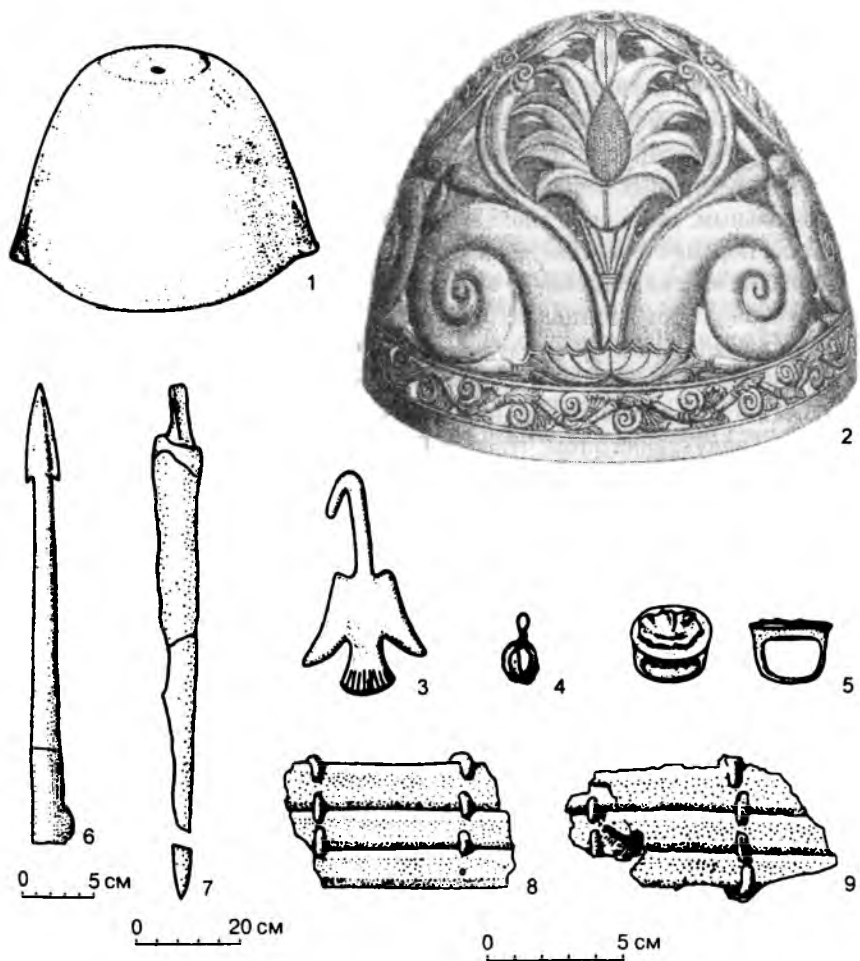


Рис. 25. Комплекс находок из кургана Ак-Бурун (1875 г.)

имеет наибольшее сходство с савроматскими трупосожжениями, а сопровождающий материал находит аналогии в основном в прикубанских памятниках. Полусферические колпачки (рис. 25.1), шаровидная подвеска-амulet (рис. 25.4), золотой перстень с железной вставкой (рис. 25.5), комплекс вооружения (рис. 25.6, 7) связывают Ак-Бурун с культурой населения Прикубанья. Поясной крючок в виде птички (рис. 25.3) попал сюда из среднего Подонья, вероятно, через савромато-сарматский мир. Характер черепичного перекрытия могилы, наличие многих греческих вещей, при этом даже таких весьма специфических для чисто греческих погребений, как золотой венок, свидетельствуют о явной эллинизации погребенного. Такое смешение разнокультурных элементов в одном комплексе представляется очень показательным, связь его с эпохой кардинальных политических и демографических перемен в регионе, на наш взгляд, почти бесспорна.

Хронологически погребение в кургане Ак-Бурун очень близко событиям междоусобной борьбы сыновей Перисада I (310/9 г. до н. э.), о которых речь шла выше. Напомним, что в результате к власти на Боспоре пришел Евмел, опиравшийся в борьбе за власть, как представляется, на сарматское племя сираков. В этом отношении весьма вероятным представляется предположение В. Ф. Гайдукевича о том, что в Ак-Буруне был погребен один из варварских сподвижников Евмела (Gajdukevič. 1971. S. 142).

В дальнейшем на европейской стороне курганы племенной аристократии вообще перестают насыпаться, тогда как на азиатской стороне эта традиция сохраняется. Следовательно, можно предполагать, что с III в. до н. э. ведущая роль в плане греко-варварских взаимоотношений, разумеется, в той их части, которая выступает на материалах курганных комплексов, переходит на азиатскую часть государства. Контакты с меото-сарматским миром, по всей видимости, имели в это время для Боспора первостепенное значение; былой опоре на Скифию явно приходит конец. В этом отношении можно сказать, что за время между возведением Куль-Обы (последняя четверть IV в. до н. э.) и кургана Ак-Бурун (конец IV — начало III в. до н. э.) в боспорской политике по отношению к местным племенам произошли кардинальные перемены.

4.4. Основные выводы

Рассмотрев различные группы источников по вопросу о взаимоотношениях Боспора с варварским миром в конце IV — III в. до н. э., можно прийти к выводу, что в это время в их развитии происходили важные перемены. После сарматского продвижения на восток расстановка сил в регионе стала совсем другой, чем, скажем, в начале IV в. до н. э. Происшедшие изменения требовали определенной корректировки всей системы боспоро-варварских

связей. Ориентация на Скифию уже не могла дать боспорским правителям тех выгод и преимуществ, которыми они обладали ранее.

Крушение Скифии и общая дестабилизация обстановки в причерноморских степях отразилась на Боспоре в ряде кризисных явлений. Среди них выделяются два: упадок хлебной торговли со Средиземноморьем и монетный кризис III в. до н. э. Можно предполагать и какие-то политические трудности. Однако, как представляется, последние в значительной степени исходили не от сарматов, а со стороны Скифского царства в Крыму. Во всяком случае, археологические материалы позволяют говорить, что ситуация в азиатской части Боспора, граничащей с районом Прикубанья, где появились сарматы, выглядит более стабильной, спокойной, чем на Керченском полуострове.

Как представляется, сарматы довольно быстро заняли важное место в системе взаимоотношений Боспора с варварским миром. Одним из элементов в процессе переориентации Боспорского государства на сильное сарматское объединение послужила борьба за власть сыновей Перисада I (310/9 г. до н. э.). При поддержке сарматов власть захватил Евмел, который, надо думать, и в дальнейшем продолжал политику сближения с сарматскими племенами. Как можно предполагать, это сближение в немалой степени способствовало укреплению боспорских позиций в дельте Дона, что выразилось в выведении сюда сначала колонии на Елизветовском городище, а затем Танаиса, вскоре ставшего крупным центром связей греков с местными племенами.

Другим проявлением этого процесса являлось изменение облика погребений варварской знати, совершавшихся на Боспоре в конце IV — III в. до н. э. Исчезновение скифских черт при появлении сарматских и устойчивом сохранении синдо-меотских традиций — их отличительная особенность. Характерно, что курганы рассматриваемого периода возводились в основном на азиатской стороне Боспора. В этом отношении можно согласиться с Ю. М. Десятичковым, который полагал, что сарматизация Боспора на азиатской стороне определила ее ход и в европейской части государства (1974. С. 3).

Важные изменения в рассматриваемое время происходят в боспоро-скифских отношениях. Подчеркнем, что если даже наше предположение верно и скифы с конца IV в. до н. э. действительно потеряли главенствующее место в системе взаимоотношений Боспора с варварским миром, то их роль в ней все-таки оставалась весьма значительной. Скифское царство в Крыму было сильным соседом, и открытая конфронтация с ним, надо думать, не была в интересах Боспора. Можно даже предполагать, что на протяжении III в. до н. э. и, главным образом, позднее могли иметь место периоды сближения Боспорского и Скифского государств. Обстановка в причерноморских степях могла измениться очень быстро, что объективно вело к переменам во

взаимоотношениях этих двух государств. Так, для II в. до н. э. имеются данные о налаживании тесных политических, надо полагать, дружественных связей между Боспором и крымской Скифией, поддерживаемых династическими браками (Виноградов, Молев, Толстиков. 1985. С. 590 сл.; Виноградов Ю. Г. 1987. С. 55 сл.; Щеглов. 1985. С. 196). Не исключено, что такой поворот в боспоро-скифских отношениях был вызван не только существованием давней традиции таких связей, но и новыми изменениями военно-политической и демографической обстановки в степях Северного Причерноморья. Как полагает Д. А. Мачинский, в это время здесь появилось новое, враждебное сарматам образование — роксоланы (1974. С. 127 сл.).

Безусловно, Скифское царство было постоянным и важным фактором в боспорской политике. Но все-таки для всего эллинистического периода нельзя признать верной трактовку В. П. Толстикова, который по этому вопросу пишет: «Наличие общего грозного врага для позднескифского царства и Боспора в лице сарматских племен, надо полагать, способствовало сближению обоих государств» (1981. С. 18). Во всяком случае, для III в. до н. э. можно говорить о совершенно иной ситуации.

В конце IV — III в. до н. э., как мы старались показать, взаимоотношения с сарматами имели для Боспора большее значение, чем взаимоотношения со скифами. По всей видимости, установление тесных связей с самым сильным из варварских объединений являлось важным элементом в системе взаимоотношений с туземными племенами вообще. Опора на одно племя для нейтрализации другого и тем самым для получения собственных выгод — старый и широко бытовавшийся прием, который, надо думать, активно использовался боспорскими правителями.

Разумеется, к обозначенной проблеме нельзя подходить излишне прямолинейно, к тому же для понимания ее во всей полноте у нас просто нет достаточного материала. В каждой конкретной исторической ситуации к тому же имелись свои специфические черты, в немалой степени влиявшие на реализацию потенциальных возможностей. Иногда варварские объединения, появлявшиеся в Северном Причерноморье, занимали открыто враждебную позицию по отношению к Боспору. Но даже и в этом случае взаимоотношения с данным, сильным в военном отношении объединением имели важное значение для дальнейшего существования Боспорского государства, накладывали неповторимый отпечаток на специфику развития прилегающих областей.

Греческое искусство и искусство Европейской Скифии в VII–IV вв. до н. э.

1. Задачи исследования

Зарождение и развитие скифского искусства — яркий и самобытный процесс. С другой стороны (и это не вызывает сомнений), с момента своего зарождения и на протяжении всей скифской эпохи эволюция скифского искусства проходила при сильном воздействии различных инокультурных художественных традиций.

В течение достаточно длительного времени, примерно с середины VII в. по конец IV — начало III в. до н. э. Европейская Скифия воспринимала целый комплекс «греческих» импульсов, в том числе и культурных. Одним из результатов этих культурных взаимодействий можно считать и определенные инновации в области скифского искусства, фиксируемые на протяжении всей эпохи.

Не претендуя на полное освещение этой сложной и интересной проблемы — взаимодействия искусства греческого и искусства варварского, — которая, вне всякого сомнения, будет волновать еще многие поколения ученых, мы все же сочли необходимым уделить ей внимание в последней части книги, построенной, прежде всего, на осмыслении археологических источников, в которых нашли свое отражение сложные процессы взаимодействия греческой культуры и культур туземных «народов», происходившие на территории Северного Причерноморья. Так как результаты этих контактов проявились и в изобразительных памятниках, было бы небезынтересно, хотя бы в общих чертах, попытаться наметить и систематизировать наиболее характерные черты, сформировавшиеся и проявившиеся в скифском искусстве под влиянием искусства греческого. Мы постараемся также, на основе представлений, сложившихся в современной науке, показать взаимосвязь между интенсивностью контактов в этой сфере и этнополитической «окраской» конкретных исторических периодов, на которые подразделяется скифское время. Вместе с тем мы учитываем и возможность того, что развитие тех или иных тенденций в сфере искусства, «переломные моменты» в этом сложном и весьма специфическом процессе не всегда соответствуют тем хро-

нологическим рамкам и «реперам», которые были предложены для скифской эпохи авторами этой книги. Совершенно очевидно, что яркие и значимые события политической истории, определяющие завершение одних исторических периодов и начало новых, не всегда сопряжены с появлением новых тенденций в развитии искусства; в ряде случаев можно отметить «устойчивость» и «живучесть» канонов предшествующего времени и, напротив, выразительные инновации, не связанные непосредственно со сменой исторических эпох.

Исследователи неоднократно отмечали изначальную сложность, заключенную в подходе к анализу художественных изделий, вышедших из рук греческих мастеров и обнаруженных в памятниках, принадлежавших скифской аристократии, либо специально изготовленных для кочевой элиты — как «разделить» греческие и скифские элементы, каким образом, например, выделить «скифское» и «нескифское» в шедеврах греко-скифской торевтики (Jacobson. 1995. Р. 2–10). Приходится признать, что каких-либо критериев не существует, исследователи более склонны полагаться в решении подобных вопросов на чутье и интуицию.

Нередко, обращаясь к сложным вопросам, связанным с выделением «эллинических» и «варварских» черт на примере конкретных элементов или образов, воплощенных в произведениях греко-скифской торевтики, исследователи буквально в каждом из них видят отражение каких-то негреческих художественных традиций, за которыми скрываются идеологические представления варваров. Однако в последнее время широкое распространение получила и тенденция рассматривать многие известные произведения исключительно как результат развития греческого искусства в одной из периферийных областей античного мира. Несомненно, подобный подход представляется логичным и вполне может иметь место при исследовании этого круга древностей.

Совершенно естественно, что греческие мастера, создавшие изделия, обнаруженные в варварских комплексах Северного Причерноморья, работали в русле изобразительных канонов и традиций античного искусства. Однако при таком понимании имеющихся в нашем распоряжении источников происходит своего рода сознательная «нивелировка» «местных» черт и особенностей в произведениях, созданных греками соответственно представлениям аристократической верхушки варварского общества.

Очевидно, для того, чтобы попытаться выявить эти «варварские» северо-причерноморские особенности в декоре имеющихся в нашем распоряжении древностей, следует сопоставить их с синхронными произведениями, известными в греческом мире. По-видимому, логично будет предположить, что те элементы декора, образы и композиции северопричерноморских вещей, которые легко находят аналогии в круге греческих памятников, следует рас-

смаatrивать в «русле развития периферийного античного искусства». Напротив, те элементы, типы и образы, для которых поиск аналогий затруднителен, очевидно, должны привлекать наше особое внимание, так как именно в круге подобных памятников и следует искать изделия, в которых наиболее полно отразились свойственные скифской аристократии «представления о прекрасном», воплощенные руками мастеров — как греческих, так и «местных».

2. Краткая история изучения проблемы греко-варварских взаимодействий в сфере искусства

Проблема взаимодействия на территории Северного Причерноморья искусства греческого и искусства скифского была поставлена в отечественной науке еще во второй половине XIX столетия. Пожалуй, первым ученым, изложившим концепцию развития скифского искусства под определяющим воздействием искусства греческого, был Л. Стефани, показавший результат этого процесса на примере целого ряда произведений греко-скифской торевтики (Стефани. 1865; 1866). Эта концепция позднее получила поддержку в работах И. Е. Забелина (1876. С. 646) и А. С. Лаппо-Данилевского (1887). Последний в монографии «Скифские древности» изложил стройную систему взглядов, согласно которой появление первых греческих колоний на берегах Понта в корне изменило характер культурного развития скифского общества; особое место в греко-скифских культурных контактах этот исследователь отводил Ольвии в устье Южного Буга (1887. С. 501, 512).

Отметим также изданные в 1889 г. в серии «Русские древности в памятниках искусства» под редакцией И. И. Толстого и Н. П. Кондакова «Классические древности Южной России» и «Древности скифо-сарматские». Эти издания, кроме прекрасно выполненных рисунков, содержали подробные и точные описания погребальных памятников — греческих гробниц и скифских курганов — и их инвентаря. При описании конкретных комплексов авторы стремились разделить античные и варварские древности, выявить типичные для местного погребального обряда черты. По их мнению, соприкосновение с античной культурой иногда помогало выявить «варварский характер» тех или иных сугубо местных сюжетов; так, например, специфика такого яркого памятника, как Куль-Оба раскрывается «благодаря именно услугам греческого искусства, умевшего в ясных пластических образах и в условных эмблемах охватить и выразить туманную мысль варвара. При этом соприкосновении возникает у варвара горделивое сознание своих национальных особенностей, которые он и желает затем видеть точно воспроизведенными искусством» (Толстой, Кондаков. 1889. Вып. 2. С. 85).

Концепцию определяющей «прогрессивной» роли греческого искусства в становлении и развитии искусства северопричерноморских скифов в на-

чале прошлого столетия разрабатывал Б. В. Фармаковский. В работе «Архаический период на юге России» этот исследователь писал, что «стилизация звериных образов, которую мы наблюдаем теперь (то есть после появления греческих поселений. — М. В.) в скифском искусстве, настолько характерна, что не оставляет никаких сомнений, что этот скифский звериный стиль должен быть тесно связан с архаическим искусством ионийских колоний юга России» (1914. С. 21). Поставив вопрос о «зверином стиле» ионийских греков и его происхождении, Б. В. Фармаковский полагал, что с появлением греческих колонистов на берегах Черного моря «в Скифии появляется новая обработка мотивов звериного стиля, совершенно такая, какую нам представляют находки в ионийских колониях и вообще в ионийском искусстве. Ионийцы убогие элементы возвели, так сказать, в перл создания и положили в Скифии основание для действительно настоящего оригинального стиля» (1914. С. 22–23).

Совершенно иной подход к пониманию сущности и процесса эволюции скифского искусства, а также его взаимодействия с искусством греческим был разработан знаменитым исследователем южнорусских древностей М. И. Ростовцевым, опубликовавшим в начале XX века ряд блестящих исследований по истории, культуре и искусству античных центров Северного Причерноморья и их варварской периферии (1913; 1914; 1914а; 1918; 1922; 1925). Признавая в целом воздействие греческого искусства на искусство Скифии, этот ученый справедливо считал, что воздействием ионийского искусства нельзя объяснить появление и эволюцию основных мотивов древнейшего этапа скифского звериного стиля. М. И. Ростовцев обратил внимание на резкие отличия «греческого малоазийского стиля», заключавшиеся в технике художественной трактовки образов, однако подчеркнул доминирующую роль греческих элементов в инвентаре богатых скифских погребений (1925. С. 338).

М. И. Ростовцев первым обратил внимание на одновременный расцвет искусства и культуры Боспорского государства и Скифии на протяжении IV в. до н. э. (1925. С. 457–458). Ему принадлежит и разрабатывавшаяся позднее гипотеза об античных художественных мастерских Боспора, производивших изделия из драгоценных металлов, специально предназначавшихся скифским и меотским аристократам.

Говоря о проблеме взаимодействия греческого и скифского искусства, нельзя не остановиться кратко на представлениях Э. Миннза. Этот исследователь (в отличие от Б. В. Фармаковского, преувеличивавшего роль «греческого импульса») писал, что греческое ионийское искусство именно потому так легко было воспринято местным населением Северного Причерноморья, что само несло в себе что-то почти варварское. По Э. Миннзу, самобытное скифское искусство в своем развитии было подвержено влиянию искус-

ства держав Переднего Востока, а также греческого мира (Ионии, а позже Аттики) (Minnz. 1913. Р. 263). В специальной работе, посвященной скифскому искусству на территории Евразии, Э. Миннз пришел к выводу, что на Востоке искусство Скифии подверглось «портящему» воздействию искусства Древнего Китая, а на Западе — воздействию искусства Древней Греции, которое, в конечном счете, сыграло ту же роль (Minnz. 1942. Р. 31–32).

Важнейшим событием в истории изучения искусства скифов был выход в свет известного исследования Г. И. Боровки, изданного в 1928 г. в Лондоне. Эта работа являлась первой книгой, посвященной исключительно скифскому искусству; в своем труде автор изложил первую законченную концепцию происхождения скифского звериного стиля. Говоря о роли греческого искусства в его сложении и развитии, Г. И. Боровка писал, что, хотя греческое искусство по своим художественным достижениям не имело себе равных, оно было чуждым звериному стилю и не соответствовало его изобразительной системе (Borovka. 1928. Р. 67). Лишь на протяжении архаической эпохи ионийское искусство гармонично вносило свой вклад в развитие искусства местных народов (Р. 75). В более же поздние эпохи часто создавались вещи (например, олень из Куль-Обы), в которых греческие орнаментальные мотивы и натуралистические изображения резко контрастируют с самой формой и идеей вещей и разрушают целостность композиции. Г. И. Боровка проследил также влияние античного искусства в трансформации некоторых образов звериного стиля (Р. 49–50).

В один ряд с работами конца прошлого века и двух первых десятилетий нынешнего можно поставить и выдающееся исследование К. Шефолда «Скифский звериный стиль на юге России» (Schefold. 1938). В этой работе, во многом как бы продолжающей книгу Г. И. Боровки, было положено начало системного изучения скифского звериного стиля по отдельным мотивам и сюжетам изображений. Метод, предложенный К. Шефолдом, оказался перспективным и с успехом развивается современными исследователями (см., например: Переводчикова. 1980). Изучая звериный стиль в его формальных изменениях, К. Шефолд пришел к целому ряду интересных результатов: например, выделил отдельные группы скифских погребальных комплексов, разделил их по «центрам притяжения» (по отношению к греческим колониям) и высказал много точных конкретных наблюдений (например, предпринял попытку разделить ранний и поздний комплексы Куль-Обы). Тщательный анализ предметов античной художественной тоаревтики, проделанный автором, представляет интерес и на современном уровне развития научных знаний. В общих чертах его концепция взаимодействия греческого и скифского искусства сводилась к следующему: хотя последнее и обладало самобытными формами, в целом его развитие полностью определялось развитием искусства греческого. Скифские заказчики,

для которых предназначались греческие изделия, определяли выбор формы предметов, содержание и, в значительной степени, форму изображений; создание же шедевров невозможно представить без воздействия античного искусства.

Работы К. Шефолда и Г. И. Боровки завершают, на наш взгляд, первый этап изучения взаимодействия греческого и скифского искусства. Образовавшаяся в 30–40-х гг. лакуна в истории изучения проблем, связанных с искусством Скифии, может объясняться не столько парализующим воздействием теории стадильности, как, например, полагал К. Йеттмар (Jettmar. 1966. S. 39–40), а скорее физическим исчезновением из сферы отечественной науки исследователей, занятых разработкой этой проблематики (отъезд М. И. Ростовцева за границу, гибель Г. И. Боровки). Ярким примером отношения к трудам предшественников и их методам в эту эпоху может служить рецензия Н. Н. Погребовой на упомянутую выше книгу К. Шефолда (Погребова. 1949). Отказ на долгие годы от изучения развития звериного стиля методами, разработанными в предшествующий период, породил справедливые упреки современных скифологов в том, что в искусстве звериного стиля долгое время изучался в основном лишь состав образов и композиций, а не сам стиль (Шер. 1980. С. 339).

Следующий этап в разработке круга проблем, связанных с взаимодействием греческого и скифского искусства, начался в 50-е гг. В это время появляются отдельные статьи, в которых рассматривались различные аспекты греко-варварского искусства. Отметим, в первую очередь, работу Б. Н. Гракова (1950), посвященную развитию с конца V в. до н. э. антропоморфных изображений в скифском искусстве под воздействием искусства эллинов, а также статью Д. Б. Шелова (1950), в которой появление некоторых эмблем на золотых и бронзовых монетах Боспора объясняется влиянием искусства и идеологии местных племен.

В 1953 г. вышло в свет монографическое исследование А. П. Ивановой «Искусство античных городов Северного Причерноморья». В этой книге на основе анализа памятников античных городов Северного Причерноморья (преимущественно скульптурных) автор рассматривал следы влияния искусства местных племен начиная с первой половины V в. до н. э. Наиболее сильно это влияние проявилось в искусстве Боспора в эпоху Спартокидов. Воздействие же греческого искусства на искусство местных племен, по мнению этой исследовательницы, наиболее ярко проявлялось в процессе постепенной деградации традиционных изображений греко-скифской торевтики на протяжении V–IV вв. до н. э. (С. 17; 92–93).

В 1954 и 1956 гг. были изданы блестящие работы М. И. Максимовой, содержащие тщательный художественный анализ форм и декора серебряных зеркала и ритона из знаменитых Келермесских курганов. Несмотря на то

что датировки этих шедевров, предложенные в работах, позже были существенно скорректированы (Кисель. 1993; 1998), работы М. И. Максимовой, отличающиеся прекрасным знанием всего круга источников и широтой подхода к изучению конкретных памятников, не утратили своего значения и по сей день представляют интерес для исследователей, занимающихся начальным периодом развития греко-варварских контактов в сфере искусства.

В 60-х гг. вышли в свет обобщающие статьи В. Д. Блаватского (1964; 1964а), были систематизированы и изданы на современном научном уровне археологические материалы, включавшие изделия греко-скифокой торевтики (Артамонов. 1966) и античные художественные вещи, обнаруженные в памятниках местного населения (Онайко. 1966; 1970).

В 1961 г. была издана статья М. И. Артамонова «Антропоморфные божества в религии скифов», где был рассмотрен и проанализирован весь круг наиболее выразительных антропоморфных памятников греко-скифской торевтики. Эта работа, продемонстрировавшая блестящее знание конкретного материала и письменных источников, глубину и широту научного подхода, наш взгляд, до сих пор остается самым значительным обобщающим исследованием, посвященным проблеме развития антропоморфных образов и их интерпретации в скифском искусстве.

Послевоенное время ознаменовалось и новыми важными археологическими открытиями в степной зоне Северного Причерноморья «царских» скифских захоронений V–IV вв. до н. э., что существенно расширило круг источников по интересующей нас проблеме. Отметим лишь важнейшие из них: в 1954 г. был исследован Мелитопольский курган (Тереножкин, Мозолевский. 1988), в 1959 — Пятибратние курганы (Шилов. 1966), в 1964 — курган у с. Ильичево (Лесков, 1968) и, наконец, в 1971 — курган «Толстая Могила» (Мозолевский. 1980).

В 70-х — начале 80-х гг. в отечественной литературе вновь появились работы, авторы которых пытались проанализировать и осмыслить в целом процесс воздействия греческого искусства на искусство северопричерноморских варваров, показать конкретные способы и пути этого процесса; предпринимаются и попытки создания периодизаций этого процесса. Предложенные в то время периодизации, естественно, отражали современные их созданию развитие представлений и степень изученности археологических источников.

К подобным исследованиям, например, принадлежит известная статья А. М. Хазанова и А. И. Шкурко «Воздействие античной культуры на культуру скифо-сарматского мира» (1974). Ее авторы полагали, что особенно ярко это влияние проявилось в различных категориях памятников прикладного искусства, и на основе анализа последних выделили четыре периода воздействия античной культуры на культуру и искусство варваров:

- 1) конец VII — VI в. до н. э.;
- 2) V в. до н. э.;
- 3) IV–III вв. до н. э.;
- 4) последние века до н. э. — первые века н. э. (с. 38–39).

В целом же авторы пришли к выводу об ограниченности античного воздействия на культуру степной зоны Северного Причерноморья в скифо-сарматскую эпоху. Отметим, что в предложенной ими периодизации сразу же вызывает возражения объединение IV и III вв. до н. э. в рамках одного исторического периода.

Противоположная точка зрения была наиболее четко сформулирована в работах Н. А. Онайко (1966а; 1976; 1976а; 1977). Эта исследовательница пришла к выводу о симбиозе греческого и скифского искусства, первые признаки которого, по ее мнению, видны уже в конце VII — начале VI в. до н. э. (1976. С. 70). Она также предложила выделить четыре этапа в истории взаимодействий греческого и скифского искусства на территории Северного Причерноморья:

- 1) VII — начало VI в. до н. э. — для этого времени характерны совместные находки предметов, украшенных в зверином стиле изделий греческих мастеров;
- 2) первая половина VI в. до н. э. — эпоха, когда, по мнению автора, начинается производство предметов греко-варварского стиля (к ним исследовательница относил ритон и зеркало из Келермеса);
- 3) вторая половина VI — начало V в. до н. э. — в это время в боспорских мастерских началось изготовление золотых обкладок скифских мечей и конской упряжи, однако в их декоре еще преобладало «механическое соединение греческих и варварских элементов»;
- 4) V–IV вв. до н. э. — время органического слияния греческого и варварского в искусстве Северного Причерноморья (1976а. С. 70–71).

В предложенной схеме сразу же бросается в глаза некоторая искусственность в выделении второй половины VI в. до н. э. в отдельный период. Существенные коррективы вносит и произошедшая позже передатировка некоторых «ключевых» комплексов, прежде всего передатировка вещевого комплекса Келермесских курганов, обоснованная позднее (Галанина. 1991. С. 15 сл.). Кроме того, последние разработки в области периодизации античной (Виноградов, Марченко. 1991; см. также гл. II настоящего издания) и скифской (Алексеев. 1992; 2003) истории Северного Причерноморья ставят под сомнение и возможность объединения V и IV вв. до н. э. в рамках единого периода.

Конечно, развитие искусства может не укладываться в схему исторической периодизации, однако предложенному ранее «общему пониманию» греко-варварских взаимодействий в сфере искусства в целом ряде случаев

противоречит и анализ художественных произведений, что мы попытаемся показать в последующих разделах работы.

На протяжении трех последних десятилетий XX в. появился целый ряд работ, посвященных исследованиям в области духовной жизни и идеологии скифского общества, отраженной, в частности, и в памятниках греко-скифской торевтики. Авторы этих работ часто обращались к всестороннему изучению художественных изделий и их археологического контекста. Отметим среди подобных работ статьи и книги Д. С. Раевского (1970; 1977; 1978; 1980; 1985), статьи Д. А. Мачинского (1978; 1978а; 1998; 1998а), статьи и монографию С. С. Бессоновой (1977; 1982а; 1983), работы исследователей-антиковедов, посвященных особенностям религиозной жизни греческих центров Северного Причерноморья (Шауб. 1979; 1987; 1991; 1993; 1998; 1999) и развитию отдельных сюжетов в их искусстве (Савостина. 1995; 1996).

Эти работы содержат также и интересные конкретные наблюдения по интересующей нас проблеме: к некоторым из них мы обратимся ниже.

Характерной чертой трех последних десятилетий стало возвращение к исследованиям классических «царских» скифских погребений, которые были проведены ведущими специалистами — археологами и искусствоведами. Результатом этой работы стали подробные публикации вещевых комплексов таких курганов, как Мастюгинские (Манцевич. 1973), Солоха (Манцевич. 1978), Артюховский (Максимова. 1979), Курджипский (Галанина. 1980), Мелитопольский (Тереножкин, Мозолевский. 1988), Чертомлык (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991), Келермесские (Галанина. 1997), лесостепных курганов Приднепровья (Галанина. 1977). Была переиздана и коллекция скифских древностей, хранящихся в Эрмитаже (Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986). Это дает нам возможность опираться на современные, надежные датировки целого ряда вещей и комплексов, которые не только позволяют «привязать» все рассматриваемые памятники и изображения к надежной хронологической шкале, но также в некоторых случаях имеют принципиальное значение для определения датировок важных этапов в развитии греко-варварских взаимодействий на территории Северного Причерноморья.

Последние десятилетия ознаменовались выходом в свет двух монографий, посвященных скифскому искусству и основанных, прежде всего, на северопричерноморских материалах, в которых затронута, в частности, и проблема взаимодействия «греческого» и «варварского» (Schiltz. 1994; Jacobson. 1995).

Все эти публикации существенно расширили нашу источниковедческую базу, позволили скорректировать датировки, детально проанализировать обстоятельства находок отдельных древностей и т. п. Однако нельзя не обратить внимание на отсутствие крупных обобщающих работ в отечественной литературе, специально посвященных интересующей нас теме.

При обращении к ней остро ощущается также и неудовлетворительное состояние методического уровня — неразработанность системы понятий, позволивших бы попытаться понять и раскрыть механизм взаимодействий. Совершенно справедливо отмечается и чисто эмпирический уровень осознания термина «греко-варварское искусство», которое каждый волен понимать на интуитивном уровне. Нельзя не согласиться и с утверждением, что «...анализ изобразительных археологических источников требует специального подхода, теория и методы которого разработаны пока крайне слабо» (Шер. 1980. С. 238).

Обычно, говоря о «направленности» влияния греческого искусства на искусство Скифии, исследователи прослеживают две основных линии, по которым фиксируются результаты этого воздействия — скифский звериный стиль и «антропоморфное направление» в греко-скифской торевтике (Хазанов, Шкурко. 1974. С. 38).

Предпринимались и попытки понять «механизм» проникновения инородных элементов в искусство Скифии, например, были выдены три основных направления: 1) заимствования отдельных черт и стилистических приемов («стиль цитат»); 2) заимствования целостных образов; 3) заимствование композиций (Кузьмина. 1981. С. 77–78).

Возможно, добиться прогресса в разработке системы понятий и терминов в области изучения греко-варварских взаимодействий в сфере искусства в дальнейшем может помочь наметившийся сравнительно недавно прогресс в сфере методических разработок в области звериного стиля (Переводчикова. 1994; Канторович. 1994; 1997; 2002; Королькова. 1996; 1998). Из недавно вышедших работ, посвященных «антропоморфному» направлению в греко-скифской торевтике, следует упомянуть статью Е. А. Савостиной «Боспорский стиль и сюжеты Геродота в пластике Северного Причерноморья» (Савостина. 2001).

Большой интерес представляют и попытки анализа отдельных изобразительных памятников, найденных на территории Северного Причерноморья, отразившиеся, прежде всего, в публикациях Таманского рельефа со сценой сражения и изучения широкого круга проблем, связанных с этой замечательной находкой (Боспорский рельеф... 2001).

Ко многим из этих работ, а также к некоторым другим, остановиться на которых не представлялось возможности в рамках этого краткого раздела, мы будем обращаться ниже.

3. Хронологические рамки

Все исследователи единодушно признают Северное Причерноморье контактной зоной, где греческое искусство вступило во взаимодействие с ис-

кусством скифского мира. Однако степень интенсивности влияния греческого искусства и его роль в эволюции звериного стиля оценивались различно.

Нетрудно заметить, что в большинстве работ взаимовлияние греческого и скифского искусства рассматривалось как непрерывный процесс воздействия античного искусства на искусство Скифии: после знакомства варваров с художественными произведениями греческих ремесленников в местную систему образов проникли отдельные приемы и сюжеты, свойственные античному искусству, позднее, по мере развития греко-варварских связей, эстетические и религиозные кургана потребности верхушки местного общества стали «обслуживаться» греческими мастерами, которые в своей изобразительной манере украшали парадное оружие, одежду, ритуальные предметы, конскую упряжь (см., например: Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. P. 20–21; 62, 89–93). То есть, несколько упрощая распространенную в литературе точку зрения, можно сказать, что непрерывное (на протяжении почти четырех столетий) воздействие античного искусства на искусство варваров привело к появлению и накоплению в процессе развития последнего целого ряда инноваций, которые с течением времени вызвали глубокие качественные изменения, наиболее ярко проявившиеся в произведениях греко-скифской торевтики IV в. до н. э. Несомненно, имеющиеся в нашем распоряжении археологические источники дают возможность и такого подхода. Однако в последние годы были внесены существенные изменения в наши представления о непрерывном развитии Великой Скифии на протяжении всех четырех веков (Алексеев. 1992. С. 103 сл.; 2003. С. 168 сл.).

С точки зрения современного антиковедения, процесс экономических и политических взаимоотношений между греческими центрами Северного Причерноморья и варварскими племенами также нельзя рассматривать как процесс постепенного углубления и расширения этих связей с течением времени: в этих сложных контактах отчетливо выявляются как периоды интенсивных взаимодействий, так и периоды нестабильности и взаимного напряжения и, вероятно, даже разрушения (полного или частичного) сложившихся ранее систем, переориентировки политики различных греческих поселений по отношению к разным группам туземцев (Marčenko, Vinogradov. 1989). Очевидно, и процесс воздействия античного искусства на искусство Скифии VII–IV вв. до н. э. следует рассматривать как «пульсирующее» движение. Конечно, имеющиеся в нашем распоряжении письменные и археологические источники никогда не позволят реконструировать этот процесс во всем его своеобразии, однако можно попытаться выявить отдельные черты, характерные для каждого из рассматриваемых внутренних периодов.

Исходя из современных представлений об историческом развитии Европейской Скифии и античных центров Северного Причерноморья, говоря о влиянии греческого искусства на искусство туземного мира, нашедшем

свое отражение в обнаруженных здесь памятниках, мы будем рассматривать этот процесс на протяжении двух достаточно продолжительных исторических периодов. Нижняя граница первого, начального периода приходится приблизительно на середину VII в. до н. э.: она определяется датировками находок античных художественных изделий в скифских погребальных памятниках Северного Причерноморья. Концом этого периода можно условно считать рубеж первой — второй четвертей V в. до н. э., когда на основании многочисленных данных фиксируется резкий разрыв в развитии скифской культуры, возможно, вызванный глобальной сменой населения в степном регионе (Алексеев. 1991; 1992. С. 103 сл.; 1993. С. 28 сл.; 2003. С. 168 сл.). Время со второй четверти V в. до конца этого столетия, возможно, следует обозначить как особый, «переходный» этап, так как с ним связана значительная трансформация всей историко-культурной ситуации в регионе (Виноградов, Марченко. 1991. С. 151).

Согласно периодизации, разработанной с учетом динамики развития античных центров Северного Причерноморья, начало нового периода в жизни региона также соотносится с началом второй четверти этого столетия (см. II главу этой книги). Второй «основной» период, соответственно, будет охватывать следующую часть скифской эпохи, вплоть до времени утраты кочевыми скифами политического господства над территорией Северного Причерноморья, которая приблизительно приходится на рубеж IV—III вв. до н. э. (Мачинский. 1971. С. 52 сл.; Алексеев. 1998. С. 125).

IV в. до н. э. является заключительным этапом существования Великой Скифии, эпохой наиболее интенсивного воздействия античной культуры на кочевое общество Восточной Европы, периодом создания шедевров греко-скифской торевтики. Особо интенсивная работа в этом направлении фиксируется в рамках второй половины этого столетия. На протяжении этих трех периодов, выделенных на основании современных представлений о развитии исторического процесса в Северном Причерноморье античной эпохи, мы постараемся рассмотреть некоторые тенденции во взаимодействии греческого и варварского искусства.

Принятый в работе хронологический рубеж между двумя «основными» эпохами, связанными с кардинальными изменениями в искусстве Европейской Скифии, вызванными античными импульсами, приблизительно соответствует рубежу, разделяющему архаическую и классическую эпохи в истории Греции. Вместе с тем, два достаточно крупных периода, вынесенные в заглавие отдельных разделов этой главы, соответствуют двум этапам в длительной истории воздействия эллинского искусства на искусство варварского мира, выделенным еще Э. Миннзом. В течение первого из них ведущую роль играло ионийское искусство, в течение второго — аттическое (Minns. 1913. P. 263).

4. Вторая половина VII — первая четверть V в. до н. э.

Первые контакты между искусством Ионийской Греции и Скифии начались на раннем этапе существования греческих поселений Северного Причерноморья, возможно, практически одновременно с установлением древнейших экономических и политических связей (Вахтина. 1984. С. 16–17). Нижняя дата периода греко-скифских культурных взаимодействий определяется датировками находок античных художественных изделий в скифских погребальных памятниках Северного Причерноморья и Прикубанья. Расписная родосско-ионийская ойнохоя из кургана Темир-Гора относится к 40-м гг. VII в. до н. э. (Копейкина. 1972); античная керамика конца третьей — последней четв. VII в. до н. э. достаточно выразительно представлена в материалах Немировского городища в лесостепном Побужье (Вахтина. 1998). Серебряное зеркало из кургана 4/III Келермеса датируется 650–620 гг. до н. э. (Кисель. 1993); серебряный ритон из кургана 3/III датируется в пределах второй половины VII в. до н. э. Верхняя граница комплексов этой курганный группы в настоящее время определяется рубежом VII–VI вв. до н. э. (Галанина. 1997. С. 172 сл.). Таким образом, начало греко-варварских взаимодействий в сфере искусства приблизительно совпадает с началом второго периода в истории Северного Причерноморья согласно хронологии, принятой в данной книге (см. Главу II).

Как уже отмечалось, интерес верхушки туземного общества к художественным изделиям греческих мастеров проявился достаточно рано и относится ко времени появления первых греческих поселений на северных берегах Черного моря. Археологическая картина, отражающая восприятие скифским обществом достижений античного искусства, является уникальной для регионов ойкумены, вовлеченных в орбиту греческой колонизации, и ярко характеризует конкретно-историческую ситуацию, связанную с утверждением здесь новых орд кочевников и формированием местного варианта звериного стиля. Сопоставление карты греческих импортных вещей, обнаруженных в памятниках степного Побужья-Приднепровья и связанных с этой территорией в рамках единой археологической культуры Крыма и Прикубанья (Вахтина, Виноградов, Рогов. 1980), с картой греческих импортов, составленной для Северной Добруджи (Вахтина. 1993. С. 54), подчеркивает интенсивный интерес скифского населения к художественным вещам и «опережение» в распространении этих вещей на контролируемых скифами территориях. Представляется, что объяснение такому раннему и, по-видимому, достаточно естественному проникновению греческих художественных изделий в местное традиционное общество, несомненно, способствующему дальнейшему развитию контактов между античным и скиф-

ским искусством, можно найти в целом ряде факторов, отличавших демографическую ситуацию, сложившуюся в Северном Причерноморье в VII в. до н. э. Постараемся кратко их перечислить.

1. Общеизвестно, что кочевое общество всегда было обществом более «открытым» для восприятия инокультурных импульсов, чем общество оседлых земледельцев, так как в силу узкой специализации кочевого хозяйства постоянно испытывало необходимость в контактах с другими этносами (см., например: Владимирцов. 1934. С. 43; Артамонов. 1977. С. 7–10; Barth. 1973).
2. Это достаточно общее положение можно дополнить наблюдениями, касающимися своеобразной «открытости», свойственной скифской археологической культуре эпохи архаики. Для этого времени характерно сочетание разнокультурных предметов в рамках единых комплексов, причем эту особенность можно проследить не только для «царских» памятников (таких, как, например, Келермес и Мельгунов), но и для более скромных степных захоронений. Показательным в этом отношении является известное погребение в кургане у Цукурского лимана на Тамани, в составе инвентаря имевшего греческую ойнохою (фрагменты аналогичных сосудов были найдены при раскопках Березанского поселения), бронзовую бляху (ближайшая аналогия происходит из Забайкалья) и бронзовый топор-клевец (ближайшие аналогии известны в материалах Трахтемировского городища и Средней Европы) (Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. С. 53. Рис. 5, 27; Скорый. 1983. С. 13; Вахтина. 1993). Создается впечатление, что древнейшая скифская археологическая культура на территории Северного Причерноморья отличалась высокой степенью восприимчивости и «подпитывалась» самыми разнообразными культурными импульсами.
3. Однако эти соображения представляются явно недостаточными для объяснения начавшегося взаимодействия между искусством Греции и искусством Скифии, так как известно много примеров полного неприятия и даже отталкивания обществами-реципиентами чуждых им высокохудожественных произведений, которое иногда имело место одновременно с установлением взаимовыгодных экономических и политических связей (Шмит. 1925. С. 150). Объяснение феномену, который сложился в искусстве Северного Причерноморья в VII–VI вв. до н. э., следует, очевидно, прежде всего искать в самой природе и особенностях формирования скифского звериного стиля.

Еще М. И. Ростовцев отмечал, что искусство звериного стиля не имело корней в Восточной Европе и было принесено сюда как бы в готовом виде. Согласно с этим утверждением и другие исследователи (Артамонов. 1968; Переводчикова. 1980. С. 12 сл.). Это, конечно, не исключает наличия в ран-

нескифском зверином стиле отдельных элементов, которые могут быть возведены к геометрическим орнаментам, господствовавшим в регионе в предскифское время (Раевский. 1984. С. 217), что, кажется, подтверждается на примере архаических скифских материалов из Предкавказья (Махортых. 1991. С. 69 сл.).

Вопрос о месте и времени сложения скифского звериного стиля до сих пор порождает ожесточенные научные споры между сторонниками центральноазиатской гипотезы его происхождения и защитниками идеи заимствования скифами основных элементов своего искусства из Передней Азии (об истории сложения этих двух основных концепций см.: Ильинская. 1976. С. 9 сл.; Погребова, Раевский. 1992. С. 74 сл.; Шер. 1992; Курочкин. 1989. С. 105 сл.). Однако никто из исследователей не отрицает огромного вклада передневосточного искусства в формировании северопричерноморского варианта звериного стиля (см.: Курочкин. 1984. С. 105 сл. Королькова. 2003).

Общеизвестно, что в VII в. до н. э. греческое искусство переживало период, получивший в науке название ориентализирующего. В это время связи античного искусства с искусством стран Древнего Востока были наиболее сильными; «в их скульптуре и живописи греки нашли такое же условное искусство, как их собственное геометрическое, но гораздо более реалистичное» (Boardman. 1975a. P. 40). Это восточное влияние в разных формах сказывалось в различных направлениях развития монументального и прикладного искусства греков: наиболее яркое отражение оно нашло в вазовой живописи (Schiering. 1957. S. 430). В это время в искусство Древней Греции проникают орнаментальные мотивы, сюжеты и композиции, в том числе и некоторые фантастические персонажи (сфинкс, грифон), заимствованные с Востока. Интересно, что и в скифское искусство фантастические существа (грифон) также, по-видимому, пришли из стран Переднего Востока.

Сюжет борьбы животных был известен в греческом искусстве еще в крито-микенскую эпоху; возможно, он также сложился под ближневосточным влиянием. В VII в. до н. э. сцены «терзания» попали из Ионии в материковую Грецию (Кузьмина. 1987. С. 6–8; здесь же см. литературу). Сцены «терзания» были известны в искусстве Ассирии и стали особенно популярны в Иране в эпоху Ахеменидов (Frankfort. 1955. P. 231. Pl. 179B). Очевидно, в начале I тыс. до н. э. в Бактрии, Иране, Урарту, Малой Азии и Греции был широко распространен сходный репертуар образов и композиций (Кузьмина. 1981. С. 78). Возможно, то обстоятельство, что на определенном этапе своего развития и искусство Греции, и искусство скифского звериного стиля получили сильные импульсы из одного культурного региона, облегчило во многом проблему их первых контактов на территории Восточной Европы. Еще М. И. Ростовцев отмечал, что ионийское искусство вступило в контакт

с искусством Скифии «не по родству духа, а по формальной близости мотивов» (1925. С. 265). И наконец, возможность взаимодействия между искусством звериного стиля и искусством греческим, вероятно, облегчалась тем, что уже в архаическую эпоху четыре основных мотива скифского звериного стиля (олень с поджатыми ногами, олень, стоящий «на цыпочках», свернувшийся кошачий хищник, головка хищной птицы или грифона) не были однородны, а распадались на локальные варианты, постоянно подвергаясь изменениям (Членова. 1993. С. 73. Рис. 11–13, 17). Таким образом, по мере разработки отдельных сюжетов звериного стиля в существующие схемы достаточно органично могли привноситься отдельные изобразительные приемы и образы античного искусства.

Круг источников, на основании которых можно говорить о начавшемся взаимодействии между греческим архаическим искусством и искусством варваров Северного Причерноморья, для этой эпохи достаточно ограничен, что дает возможность рассмотреть их в рамках данного раздела достаточно подробно. Для этой эпохи нам известны художественные изделия, происходящие из аристократических погребений степной и лесостепной зон Северного Причерноморья и Прикубанья. Эти изделия можно разделить на две категории. К первой относятся вещи, не производившиеся специально для сбыта в варварский мир Северного Причерноморья, т. н. группа «чистого импорта» по Д. С. Раевскому. Ко второй — вещи, в декоре которых можно выявить попытки приспособить вещь к определенным туземным представлениям. Рассмотрев обе группы, можно убедиться, что традиционное представление о том, что поток «чистого импорта» должен был опередить проникновение в туземный мир вещей, специально предназначавшихся для сбыта, и как бы «подготовить» как варварское общество, так и греческих ремесленников к более активному взаимодействию на следующем этапе, не находит подтверждения в имеющихся в нашем распоряжении археологических материалах. Как мы попробуем показать, эти два процесса начались практически одновременно.

Среди вещей, не предназначавшихся специально для сбыта в туземную среду Северного Причерноморья, достаточно легко выявить круг художественных изделий, которые должны были легко вписаться в контекст местной культуры. Изображения на целом ряде греческих сосудов и металлических изделий часто имели эквиваленты в системе образов звериного стиля, могли переосмысливаться местным населением Северного Причерноморья на основе их собственных верований и, очевидно, охотно принимались от греческих переселенцев (Вахтина. 1989. С. 42). Это, на наш взгляд, подтверждается и находками таких предметов в погребальных памятниках и культовых комплексах варваров, так как в них мог попадать лишь строго регламентированный круг вещей.

4.1. Находки греческой художественной керамики в степной зоне

В качестве яркого примера такой «взаимовстречаемости» греческих и варварских художественных изделий в рамках единого комплекса может служить центральное погребение в кургане Темир-Гора близ Керчи. Это захоронение, одно из самых ранних в числе надежно датированных скифских погребений Восточной Европы, содержало родосско-ионийскую ойнохою, изготовленную в 640–630 гг. VII в. до н. э. (Копейкина. 1972. С. 156; Cook, Dupont. 1998. P. 36. Fig. 8.5), колчанный набор, в состав которого, вероятно, входили и обнаруженные украшения из кости в зверином стиле (Яковенко. 1972. С. 262 сл.). Отметим, что сюжет росписи греческого сосуда созвучен сюжетам, представленным на резной кости: тулово ойнохой украшено двумя фризами, центральными персонажами верхнего являются бык и пантера; на нижнем представлена сцена преследования зайцев собаками (рис. 26.6). Одно из «варварских» костяных украшений из Темир-Горы представляет собой подтреугольную бляшку в виде свернувшейся пантеры (рис. 26.5) — мотив, широко распространенный в памятниках скифской архаики (Ильинская. 1971). Второе, наиболее интересное, костяное украшение представляет собой головку длинноклювой хищной птицы или грифона, выполненную в круглой скульптуре и украшенную в характерной для скифского искусства манере «зооморфных превращений» (рис. 26.4). Э. В. Яковенко, посвятившая этому памятнику специальное исследование, насчитала 4 дополнительных изображения, среди которых — копытные травоядные животные и заяц (Яковенко. 1976. С. 237–239. Рис. 1–4).

Из кургана II у с. Филатовка Красноперекопского р-на Крымской обл. происходит родосско-ионийская ойнохою, на плечиках которой представлена сцена преследования козла собакой. В. Н. Корпусова датировала этот сосуд 635–625 гг. до н. э. (Корпусова. 1980. С. 100–103), а М. Кершнер — несколько более ранним временем (Kerschner. 1997. S. 217–218).

Из погребальных комплексов степного Подонья происходят два фрагмента фигурных сосудов конца VII в. до н. э., имевших венчики в виде голов быка и барана (Книпович. 1935. С. 90. Рис. 25. С. 97. Рис. 26). Особенно интересен сосуд из кургана на р. Цуцкан, представляющий существо со смешанными признаками копытного животного и кошачьего хищника (Книпович. 1935. Примеч. на с. 96).

4.2. Находки греческой художественной керамики и металлических изделий в лесостепи

На обломках ойнохой конца третьей — последней четв. VII в. до н. э. из Немировского городища в Побужье можно увидеть изображения горных



Рис. 26. Комплекс основного погребения в кургане Темир-Гора
(1–3 — детали колчана (?); 4, 5 — резная кость в зверином стиле;
6 — греческая ойнохоя)

козлов, льва и собак (Онайко. 1966. Табл. III. 1–8, 10–11; Вахтина. 1998. Рис. 2–4).

На коринфском арибале из кургана у г. Лубны изображена пантера; примечательно, что сосуд этот был обнаружен в «культовой части» кургана, рядом с вертикально стоящим пирамидальным камнем (Каталог выставки VIII Археологического съезда. 1897. С. 4–5).

С так называемым культовым комплексом Трахтемировского городища связана находка ионийского килика с изображением утки (bird-bowl) (Онайко. 1966. С. 56. Табл. III, 12). Этот сосуд находился в помещении 1 большой наземной постройки, содержавшем жертвенник жаботинского типа, скопление птичьих костей, обломки лепных сосудов; здесь же был найден уникальный лепной птицеобразный сосуд (Ковпаненко. 1967. Табл. 11). По форме и орнаментации сосуд можно отнести к середине VII в. до н. э. (ср. Cook, Dupont. 1998. P. 27. Fig. 6.1); М. Кершнер датировал его второй четвертью этого столетия. При раскопках городища был также обнаружен фрагмент родосско-ионийского сосуда последней четверти VII в. до н. э. с изображением грифона (Ковпаненко. 1968. С. 109. Рис. 9).

К кругу греческих вещей, украшенных изображениями животных и происходящих из памятников скифской архаики, можно отнести и два серебряных браслета с золотыми львиными головками на концах (один целый, другой в обломках) из кургана Емчиха (Петренко. 1978. Табл. 46,3), аналогии которым известны в материалах греческого некрополя Камир на о. Родос (Higgins. 1980. P. 117–118), и серебряные «серьги» с головками львов на щитках из этого же погребения (Петренко. 1978. Табл. 16, 21) Некоторые исследователи (А. А. Иессен, Н. А. Онайко) считали, что они были изготовлены в Восточной Греции, другие относили их к изделиям ольвийского производства (В. Ф. Гайдукевич, С. И. Капошина, Е. О. Прушевская). Основанием для последней точки зрения послужили находки таких подвесок в погребениях Ольвийского некрополя, изданные Б. В. Фармаковским (1914. С. 24. Табл. IX; Литературу по этой проблеме см.: Петренко. 1978. С. 25.).

4.3. Зеркало и ритон из Келермеса

Как полагали некоторые исследователи, за этапом простого соседства греческих и местных изделий в туземных памятниках следовало налаживание производства греческими ремесленниками вещей на заказ с учетом требований варварского рынка. Однако удревание датировки знаменитых Келермесских курганов в Прикубанье показывает, что и этот процесс начался практически одновременно с началом потока «чистого импорта».

В настоящее время погребения в Келермесских курганах датируются временем от третьей четверти VII по рубеж VII–VI вв. до н. э. (Галанина. 1983. С. 52–53; 1991. С. 15). Древности, обнаруженные в этих комплексах, обыч-

но разделяют по стилистическим особенностям и центрам производства на 3 группы. К первой из них относится круг вещей, отражающих связи с Ближним Востоком (детали парадной мебели, ритуальные сосуды, парадное оружие, атрибуты власти) (Галанина. 1991. С. 15 сл.). Ко второй группе относятся вещи, изготовленные под инокультурным влиянием, включающие, однако, и собственно скифские по сюжетам изображений и технике исполнения элементы (колчанная застежка с изображением копыта, украшения конской упряжи). И наконец, к последней группе вещей, связанной с деятельностью восточнотетраэческих мастерских, обычно относят золотую диадему, украшенную протомой грифона, серебряные зеркало (рис. 27.2) и ритон. Два последних предмета, имеющие огромное значение для понимания целого круга проблем, крайне важны и для оценки ряда принципиально важных моментов, связанных с начальным периодом греко-варварских взаимодействий на территории Северного Причерноморья. Как нам представляется, ритон и зеркало из Келермеса дают достаточно оснований для того, чтобы прийти к выводу, что вещи эти были специально изготовлены для сбыта в аристократическую варварскую среду или даже сделаны на заказ (Максимова. 1954). Остановимся подробнее на некоторых образах и иконографических схемах, включенных в систему декора этих шедевров.

В. А. Кисель сравнительно недавно предложил новую дату изготовления келермесского зеркала — 650–620 гг. до н. э. (1993. С. 125), принятую

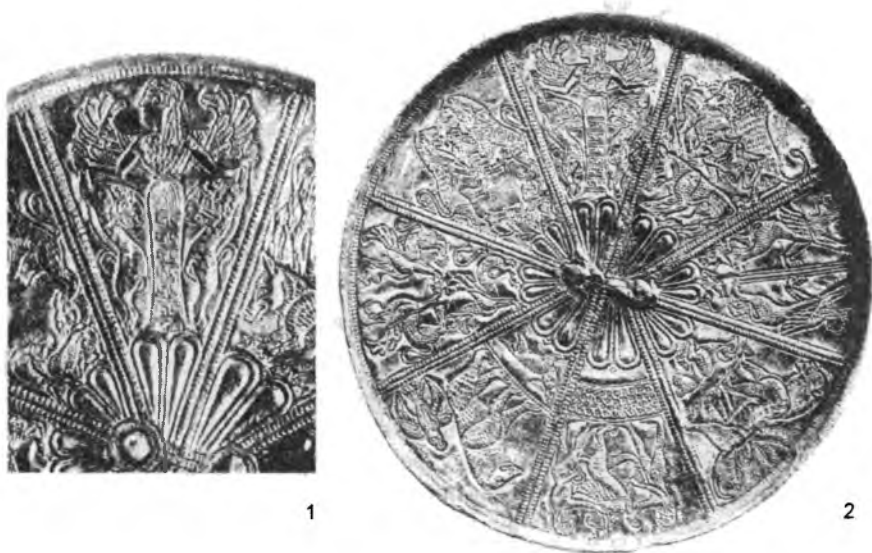


Рис. 27. Серебряное зеркало из Келермеса (1 — сектор 1 с изображением крылатой богини; 2 — изображения на электровой обкладке)

и Л. К. Галаниной (1997. С. 178). Однако несколько позже этот исследователь еще более удревнил возможную дату изготовления зеркала, отнес ее к 670–640 гг. до н. э. (2003. С. 99). Фрагментированный серебряный ритон из Келермеса В. А. Кисель отнес ко второй трети — концу VII в. до н. э. (2003. С. 80). Несмотря на то обстоятельство, что зеркало и ритон, скорее всего, были связаны с разными погребениями Келермеса (Галанина. 1997. С. 190–191), хронологическая и стилистическая близость этих шедевров делает возможным и перспективным их рассмотрение «в комплексе». Исследователи неоднократно отмечали, что вещи эти имеют форму, характерную для раннескифского вещевого комплекса — зеркало в виде диска с бортиком и центральной ручкой (не сохранившейся, но легко реконструируемой) и ритон в виде рога животного. В образную систему декора обоих предметов введены персонажи, символизирующие основные мифологемы степной Скифии и переданные в несколько иной, чем все прочие изображения, манере. Для зеркала — это фигурка свернувшегося кошачьего хищника («пантеры») в секторе 3, для ритона — оленя, показанного явно в жертвенном понимании.

На основе художественного анализа М. И. Максимова выделила в декоре зеркала изображения, свидетельствующие о знакомстве украсившего его мастера со скифским искусством Северного Причерноморья. К ним она причисляла и изображение барана, лежащего с подогнутыми ногами (Максимова. 1954. С. 204 сл.). Однако, хотя подобные изображения действительно характерны для архаического скифского искусства, тип копытного животного в подобной позе известен как в произведениях ближневосточного (Погребова, Раевский. 1992. С. 137 сл., там же см. литературу по проблеме), так и восточногреческого искусства (см., например: Hogarth. 1908. Pl. XX, 5). Так что вполне можно допустить, что эта схема была известна мастеру-декоратору келермесского зеркала по памятникам ближневосточного и греческого круга. Правда, В. А. Кисель относит изображения барана и кабана к изображениям «с отдельными элементами звериного стиля» (Кисель. 2003. С. 97).

Единственным изображением зеркала, без всякого сомнения, близкого памятникам архаического скифского искусства, остается изображение свернувшейся «пантеры», помещенное в нижней части сектора с фигурами сфинксов, привставших на задние лапы. Как убедительно показала М. И. Максимова (Максимова. 1954. С. 295–296), мастер стремился изобразить фигуру свернувшегося кошачьего хищника совсем в иной манере, чем все другие фигуры композиции: тело хищника передано рельефными плоскостями, что, характерно для скифского искусства эпохи архаики. Возможно, это изображение было скопировано греческим мастером непосредственно с изображения хищника, выполненного в традициях звериного стиля (Кисель. Указ. соч. С. 97).

Все же прочие изображения зеркала по своей художественной манере связаны с искусством Восточной Греции и стран Ближнего Востока (Максимова. Указ. соч. С. 287 сл., Кисель. 1993. С. 111).

Олень, представленный на ритоне, показан подвешенным вверх ногами как охотничья добыча к дереву, которое несет на плече кентавр. Как показала М. И. Максимова (1956. С. 229), изображения несущих таким образом добычу кентавров известны в греческой архаической вазовой живописи, однако изображение оленя в подобной сцене — явление уникальное. Д. Г. Савинов заметил, что если это изображение перевернуть, то мы увидим изображение копытного, полностью соответствующее канону раннескифского времени — оленя, стоящего на кончиках копыт (Савинов. 1987. С. 114–115).

Сравнительно недавно было высказано предположение о соотносительности композиции сектора 5 келермесского зеркала, представляющей сцену борьбы двух длинноволосых, покрытых шерстью существ (аримаспов?) с грифоном, и «основного» мифа зеркала — вечной борьбе у сакрального центра мира зооморфных и антропоморфных существ, в свою очередь, самым непосредственным образом соотносенным с архаической Скифией (Мачинский. 1998. С. 60; 1998а. С. 115). Как отметил Д. А. Мачинский, сектор 5 зеркала со сценой грифономахии композиционно связан с сектором 1, представляющим фигуру крылатого женского божества, держащего за передние лапы двух кошачьих хищников; это божество, занимающее доминирующее положение в круге композиций оборотной стороны зеркала, является «хозяйкой всего священного предмета и центром системы изображенных мифов» (Мачинский. 1998а. С. 114). Сходное изображение крылатого женского божества, представленное в схеме «коленипреклоненного бега», занимает господствующее положение и в системе декора келермесского ритона; богиня на ритоне, в отличие от богини на зеркале, сжимает в руках передние лапы грифонов. «Главные» изображения в декоре келермесских шедевров также можно соотносить с идеологическими представлениями северопричерноморских варваров. Рассмотрим их подробнее и попытаемся сравнить с изображениями, известными по памятникам греческого архаического искусства.

Богиня на зеркале

«Главным» персонажем в декоре, украшающем электровую обкладку серебряного зеркала из Келермеса, является изображение крылатого женского божества, полностью занимающего один из секторов (сектор 1) этой обкладки (рис. 27.1). Как отмечала М. И. Максимова, основной задачей мастера, украсившего этот предмет, было «...представить богиню-владычицу зверей среди подчиненных ей реальных и мифических существ» (Максимова. 1954. С. 285). Отмечено и то обстоятельство, что изображение это было

проработано мастером с особой тщательностью (Указ. соч. С. 284). Крылатое божество келермесского зеркала в литературе называли «Владычицей зверей» (Radet. 1909. Р. 21), Кибелой (Максимова. 1954. С. 293 сл.), Артемидой (Schiltz. 1994. Р. 116). Последнее из этих имен мы, признавая его условность, будем употреблять в дальнейшем при описании иконографического типа крылатого женского божества, держащего в руках животных, хотя в персонаже, изображенном на зеркале, очевидно, семантически и иконографически «слиты» представления о женских божествах Греции, Малой Азии и, возможно, Переднего Востока (Мачинский. 1998. С. 59–60), связанных с идеей господства над производительными силами природы и царством зверей. О том, что в самой Греции этот тип соотносился с образом именно Артемиды, явствует из известного отрывка Павсания, содержащего описание знаменитого «ларца Кипсела»: «...Артемида представлена с крыльями на плечах; правой рукой она держит барса, а другой рукой — льва» (Paus. V. XIX, 5).

Артемида келермесского зеркала изображена в фас, голова и ступни ног, стоящие непосредственно на лепестках розетки, украшающей центральную часть предмета, обращены вправо. На богине длинный, спускающийся до пят хитон, украшенный шестью поперечными полосами прерывистого меандра, поверх (?) которого надета «чешуйчатая» верхняя одежда, закрывающая бедра и подпоясанная. Подобную «двухчастную» одежду можно достаточно часто видеть на чернофигурных греческих сосудах эпохи архаики (например: Beazley, 1951. Pl. 11, 21. Pl. 12, 1,2,4). У богини на зеркале большая голова, крупные черты лица, тщательно проработанная прическа, три «косицы» волос спускаются на левое плечо. Лоб пересекает «налобная повязка» (Кисель. 2003. С. 89), в которой мы скорее склонны видеть металлическую ленточную диадему, подобную той, которая украшала архаическую мраморную статую Артемиды из храма Аполлона в Дельфах (Homolle. 1879. Pl. 6; Fuchs, Floren. 1987. Taf. 21,5), прическа которой с тремя «косицами», с двух сторон спадающими на плечи, также напоминает прическу Артемиды келермесского зеркала. В руках, поднятых до уровня груди, Артемида держит по кошачьему хищнику, сжимая их передние лапы, задние их лапы висят в воздухе, чуть-чуть не доставая до того уровня, на котором покоятся ноги богини.

Ближайшей аналогией Артемиде с келермесского зеркала является изображение, украшающее нижний фриз бронзовой пластины из Олимпии, датирующейся в пределах второй половины VII в. до н. э. (Furtwängler. 1980. IV. Taf. 37). Изображение дано в той же иконографической схеме и отличается от келермесского лишь в деталях.

Изображения крылатой Артемиды в фас, держащей в руках кошачьих хищников, можно видеть и на резной кости из архаического храма Артеми-

ды в Эфесе (Hogarth. 1908. P. 116–117. Pl. 21, 6). Существует предположение, что западный фронтон этого храма был украшен ее скульптурным изображением, где богиня была представлена крылатой, со «львами» в руках (Hogarth. 1908. Atlas. Pl. XIII).

Крылатая Артемида со львом, стоящим у ее ног, изображена на фрагменте сосуда ориентализирующего стиля второй половины VII в. до н. э. с о. Тера (Radet. P. 12. Fig. 14). В такой же схеме, со львом у ног, богиня представлена и на костяной спинке фибулы, относящейся ко времени около 600 г. до н. э., из святилища Перахоры (Perahora. II. P. 404–405. Pl. 172-A2). Серию изображений крылатой Артемиды в фас, держащей за передние или задние лапы кошачьих хищников, можно видеть на электровых подвесках, датирующихся в пределах 700–600 гг. до н. э., из некрополя Камир на о. Родос (Higgins. 1961. Pl. 19–20; 1980. Pl. 19: B, D, E; Pl. 20: C, E; *Mere Egee Grece...* п. 92, 93, 96, 97). К этой же группе изображений относится и женская фигура в фас, держащая за уши двух львов, на бронзовом фрагментированном вотивном щите из Идейской пещеры на Крите (Kunze. 1931. п. 2, 5, 7; Demargne. 1947. P. 292–293. Fig. 57), датированном по дате всей группы 750–650 гг. до н.э. (Boardman. 1961. P. 84).

Несколько находок с изображением крылатой Артемиды, держащей за лапы кошачьих хищников, происходят из Великой Греции. К ним относится композиция на ручке бронзовой гидрии начала V в. до н. э., найденной недалеко от Тарента (Charbonneau. 1962. P. 63. Pl. II, 2). В этом случае богиня держит в руках зайцев и львов, другая пара львов восседает по обе стороны от ее головы на венчике сосуда. Из различных областей Великой Греции происходят также антефикс из Капуи, рельеф из Клузиума (Radet. P. 22. Fig. 29. P. 26–27. Fig. 40) и пара серебряных подвесок (некрополь Пренесте), где богиня фланкирована крылатыми львами (Marshall. 1911. п. 1357), относящиеся к началу V в. до н. э.

Упомянем также находку фрагмента бронзового изображения крылатого женского божества в фас, происходящую из самосского Герайона, относящуюся к 600–550 гг. до н. э. (*Mere Egee Greece des Iles...* P. 171, п. 120), и бронзовую крылатую обнаженную полуфигуру из Олимпии (Fuchs, Floren. Taf. 19, 4. S. 234), датирующуюся началом VI в. до н. э. Нижние части этих изображений не сохранились, и потому в этом случае об атрибутах богинь можно судить лишь предположительно.

Изображения крылатого женского божества, держащего в руках кошачьих хищников, обнаруженные за пределами Материковой, Ионийской и Великой Греции, крайне немногочисленны. Подобных крылатых Артемид можно видеть на метопах из Сард, относящихся ко времени около 600 г. до н. э. (Van Loon. 1990. Pl. 45, b), а также на мраморной стеле V в. из фригийского Дорилон (Fuchs, Floren. 1987. Taf. 36, 2; Hiller. Taf. 13A). Заметим,

впрочем, что Сарды находились достаточно близко от Эфеса, где в архаическую эпоху существовало знаменитое святилище Артемиды (и откуда происходит упомянутое выше ее крылатое изображение), пользовавшееся неизменным вниманием и покровительством восточных правителей, сначала лидийских, а позже — персидских (Hogarth. 1908. P. 2–3), и возможно, в этом регионе бытовали сходные сюжеты и иконографические схемы. Фригийский же рельеф, вероятнее всего, был изготовлен мастером-греком (Fuchs, Floren. 1987. S. 406).

Нетрудно убедиться, что тип крылатого женского божества с кошачьими хищниками в руках характерен в эпоху архаики прежде всего для областей Материковой и Восточной Греции.

Итак, для изображения «главного» персонажа в системе декора электроной обкладки келермесского зеркала мастером-декоратором была выбрана иконографическая схема «крылатое женское божество и кошачьи хищники», достаточно широко распространенная в греческом архаическом искусстве. Это заставляет нас склониться к традиционному предположению о том, что зеркало было, скорее всего, украшено греческим мастером (Максимова. 1954. С. 304). В целом, по справедливому замечанию В. Шильтц, серебряное зеркало из Келермеса «говорит на греческом художественном языке» (Schiltz. 1994. P. 116). Изготовивший его мастер был хорошо знаком как с восточно-ионийскими художественными традициями, так и с кругом передне-восточных памятников.

Божество на ритоне

К. Шефольд и М. И. Максимова полагали, что и зеркало, и ритон из Келермеса были изготовлены одним и тем же мастером (Schefold 1938; Максимова. 1956. С. 231), В. А. Кисель же считает, что эти произведения вышли из разных рук, причем в ритоне видит больше греческих черт и без сомнений определяет его как «произведение мастера, тесно связанного с ионийской художественной традицией» (Кисель. 2003. С. 75, 80). Предмет этот был сделан во второй половине VII в. до н. э. (Галанина. 1997. С. 148; Кисель. 2003. 80).

Божество на ритоне (рис. 28.1) изображено в позе «коленипреклоненного бега» влево. На ногах богини — крылатые сандалии, правая нога обнажена, левая — почти полностью скрыта длинным хитомом, украшенным продольными полосами прерывистого меандра и каймой по краю. Каждой рукой богиня держит за переднюю лапу грифона. В верхней части изображения видна пара крыльев, трактованных так же, как и у богини на зеркале. Голова сохранилась очень плохо — на небольшом фрагменте видны часть прически, ухо и левый глаз (?), так что невозможно судить, была ли голова богини дана в фас или в профиль, хотя М. И. Максимова, а вслед за ней и другие уче-



Рис. 28. 1 – божество на пластине серебряного келермесского ритона;
2 — божество на зеркале

ные склонны видеть здесь профильное, как и на зеркале, изображение (Максимова. 1956. С. 230; Бессонова. 1983. С. 86; Галанина. 1997. С. 228).

Обычно, говоря о фигурах женских божеств, украсивших зеркало и ритон из Келермеса, делают акцент на различиях (типологических и семантических) этих двух изображений. Так, С. С. Бессонова видит в богине на зеркале тип «Потнии терон», а в богине на ритоне — персонаж, близкий к античной Медузе или Нике, исходя из ее позы «коленопреклоненного бега» и наличия крылатых сандалий (Бессонова. 1983. С. 82–86). В. А. Кисель также склонен считать богиню на ритоне Медузой (Кисель. 1998а. С. 87).

Однако, как мы попытаемся показать, в греческом архаическом искусстве эти персонажи — крылатая Артемида и Медуза — были иконографически (а вероятно, и семантически) взаимосвязаны.

Действительно, в греческом архаическом искусстве существует целый ряд изображений крылатых Медуз в позе «коленопреклоненного бега». В это время такие изображения можно видеть в сценах, запечатлевших Медузу в момент ее гибели от рук Персея. Полагают, что миф этот был особенно популярен в Греции в первой половине VI в. до н. э. (Langlotz. Hirmer. 1965. Р. 243). Одно из древнейших изображений, относящихся к этому кругу, можно видеть на фрагменте костяной пластины из самосского Герайона (Hampe, Simon. 1981. Р. 230. п. 348). Известны изображения Медуз в крылатых сандалиях, в длинных одеждах, которые почти полностью скрывают

одну ногу, тогда как другая обнажена. В качестве примеров можно привести раскрашенный терракотовый рельеф из Сиракуз, который Дж. Бордман относил к концу VII в. до н. э. (Boardman. 1975a. P. 53. Fig. 49), а Е. Ланглотц — к 560 г. до н. э. (Langlotz, Hirmer. 1965. P. 243. Pl. I), рельеф на фронтоне архаического храма Артемиды в Керкире (Fuchs, Floren. S. 114, 5; Fehr. 1996. P. 116. Fig. 1). Существуют изображения крылатых Медуз в длинных одеждах, с обнаженной ногой и в греческой вазовой живописи ориентализирующего (Walter. 1968. Taf. 130. n. 6260) и раннего чернофигурного стилей (Beazley. 1951. P. 14. Pl. 5). Однако для той же эпохи известны и «статичные» фронтальные изображения крылатых Медуз, например, на бронзовой пластине VI в. до н. э., найденной на Афинском акрополе (Toulouira. 1869. Fig. 4, 6). С другой стороны, существуют и изображения крылатой Артемиды в виде прекрасных дев в крылатых сандалиях, в позе коленопреклоненного бега, с обнаженной ногой, представленные мраморными скульптурами из святилищ в Дельфах и на Делосе (Homolle. 1879. Pl. VI–VII; Fuchs, Floren, Taf. 21, 5).

Таким образом, несмотря на существование типов крылатой Медузы в схеме коленопреклоненного бега и крылатой Артемиды, в Греции эпохи архаики известны и «смешанные» типы, обладающие чертами Артемиды-Горгоны. К этому кругу смешанных изображений «прекрасных дев-Горгон» можно отнести и фрагмент подставки бронзового сосуда в виде фронтального изображения бескрылой стройной женской фигуры в длинных одеждах, с пышной прической и спускающимися на плечи «косицами», но с чертами Горгоны (большие круглые глаза, широкий нос, оскаленные зубы) и львиной (?) лапой на голове, найденную недалеко от о. Родос и датируемую временем около середины VI в. до н. э. (Mer Egée Grèce des Iles. P. 156–157. n. 102).

В пользу соотносительности этих образов в представлениях населения архаической Греции можно привести соображения о нередком «соседстве» этих персонажей. Так, на знаменитой «вазе Франсуа» изображения крылатых Артемид помешены на ручках кратера в рядом с медальонами, в которых изображены горгонейоны. Уже упоминавшаяся композиция с изображением крылатой Медузы украшала фронтон храма в Керкире. Судя по реконструкции (Fehr. 1996. P. 168. Fig. 3), крыша раннего храма Геры в Керкире была украшена ярко раскрашенными терракотовыми антефиксами с чередующимися изображениями горгонейонов, дев и кошачьих хищников.

Нетрудно заметить, что весьма часто крылатые Медузы, как и Артемиды, держат в руках кошачьих хищников или соседствуют с ними. Что же касается изображения грифонов, то в качестве атрибутов как Артемиды, так и Медузы эти фантастические существа встречаются гораздо реже. Точных аналогий иконографической схеме, представленной на келермесском ритоне, в круге синхронных памятников обнаружить не удается.

Мы можем привести лишь одну близкую аналогию, принадлежащую архаической эпохе. — композицию на ручке бронзового кратера второй половины VI в. до н. э. из коллекции Клерка, хранящейся в Лувре (De Ridder. 1915. п. 423) и происходящей из Киликии, на которой крылатая Медуза представлена в схеме коленопреклоненного бега, у ног ее — две протомы ушастых грифонов.

Невелико и количество изображений, которые можно привлечь в качестве иллюстраций, свидетельствующих о связи в эпоху архаики образа грифона с образами как Медузы, так и Артемиды. К их числу относятся изображение на амфоре раннего краснофигурного стиля, принадлежавшей берлинскому мастеру, где на щите Афины помещена эмблема в виде горгонейона, окруженного протомами животных и фантастических существ, в круг которых наряду с тремя львами, Пегасом, крылатым козлом включен и грифон (Beazley. 1961. P. 58–60. Pl. 25, 1), и упоминавшийся выше терракотовый рельеф с о. Эгина с изображением женского божества (предположительно Артемиды) на колеснице, запряженной парой грифонов, относящийся к началу классической эпохи.

Вообще сама схема «женское божество и грифоны» в раннегреческом искусстве достаточно редка. Бескрылое женское божество с грифонами в руках можно видеть на резных печатях микенской эпохи, некоторые из которых упоминались выше (Boardman. 1970. P. 103. п. 113, 145 — с двумя грифонами; ср. Hampe, Simon, 1981. п. 277, 285 — с одним грифоном). Среди находок, принадлежащих к интересующему нас времени, кроме упомянутых выше, нам известны еще два предмета, в декоре которых присутствуют изображения женщин в окружении этих фантастических существ. Это золотая пластина (часть фибулы?), входившая в состав клада VII в. до н. э., найденного на территории Лидии (Траллы), на которой изображена фронтальная обнаженная женская фигура, с двух сторон от нее помещены шестилепестковые розетки, а выше — две протомы грифонов (Dumont. 1879. p. 129–130), и ручка-подставка бронзового зеркала, изготовленного в Спарте или северном Пелопоннесе, хранящегося в музее Метрополитен в Нью-Йорке, в виде обнаженной женской фигуры, стоящей на льве, на плечи которой опираются два грифона, передними лапами поддерживающие диск (Boardman. 1975a. Fig. 104). Дж. Бордман датировал это зеркало 530 г. до н. э. (Ibid. P. 105), а Г. М. Рихтер — второй половиной VI в. до н. э. (Richter. 1938. P. 337–344). Примечательно, что хотя во второй половине VI — начале V в. до н. э. тип ручек-подставок в виде женских фигур, на плечи которых опираются кошачьи хищники или фантастические существа (сфинксы, сирены), «поддерживающие» диск над головой богини, достаточно широко распространен в материковой и Великой Греции (см., например: Charbonneaux. 1962. Pl. XI, 3; Fuchs, Fehr. 1987. Taf. 18,9; Jantzen. 1937. Taf. 18,71,74.

Taf. 19, 75–77. Taf. 28, 116–117; Langlotz, Hirmer. 1965. Pl. 27), экземпляра с парю грифонов является уникальным.

Изображения грифонов крайне редко можно увидеть в качестве элементов декора и на изделиях, входивших в состав женского вещевого комплекса. Пара головок грифонов помещена на золотой подвеске начала VII в., найденной на о. Мелос (Higgins. 1980. P. 115. Pl. 18: E). К серии золотых пластин, принадлежавших к категории женских нагрудных украшений, обнаруженных в архаических погребениях некрополя Камира (о. Родос), относится четырехугольная подвеска, датирующаяся 630–620 гг. до н. э., в нижней части которой помещены две протомы грифонов (Mer Egée Grèce des Iles... P. 149–150. n. 89); среди бляшек из Камира есть и бляшки с изображением грифонов (Higgins. 1980. P. 117. Pl. 20: D).

Из вещей, обнаруженных на территории Скифии, к женским погребальным комплексам принадлежат две находки, имевшие изображение грифонов. Первая представляет собой пару золотых серег, происходящих из кургана № 2 у с. Пастака (Дорт-Оба) в Крыму (Петренко. 1978. С. 107. Табл. 19–10, 10-а). Эти украшения в виде полых «калачиков» с дужкой (рис. 28.1) принадлежали к типу, распространенному в VII–VI вв. до н. э. как в Греции, так и на Переднем Востоке (Скржинская. 1986. С. 112–114, там же см. литературу). В данном случае к серьгам на концах «калачиков» были добавлены уникальные завершения в виде головок грифонов архаического типа (рис. 29.1). Примечательно, что серьги эти использовались довольно долго, подвергались переделке и наконец попали в состав погребального инвентаря кургана более позднего времени.

Другой яркой находкой, обнаруженной на территории Северного Причерноморья интересующего нас времени и принадлежавшей к женскому погребальному инвентарю, является бронзовое с железной ручкой зеркало второй половины VI в. до н. э. из кургана 6 у с. Басовка (лесостепь, Роменский р-н Сумской обл.), представляющее собой диск с боковой ручкой (Фармаковский. 1914. Табл. XIII, 7; Онайко. 1966. Кат. № 72 и 253. Табл. 19,2). Это зеркало являет собой результат эксперимента греческого мастера, стремившегося соединить в декоре одного предмета разнохарактерные изображения: в основании ручки под диском помещена пальметка с волютами, а на конце — симметрично расположенные головки грифонов, обращенных друг к другу клювами (рис. 29.2). Этот пример может служить иллюстрацией как явной и простодушной попытки мастера «подогнать» свое изделие к местным представлениям (очевидно, к идее «женщина и пара грифонов»), так и полного непонимания им канонов и «духа» скифского искусства, в результате чего головки грифонов были превращены в орнаментальный мотив, образовавший скучную симметрию с другим, чисто античным элементом декора — пальметкой. Такое «снижение» ключевых образов скифского искусства

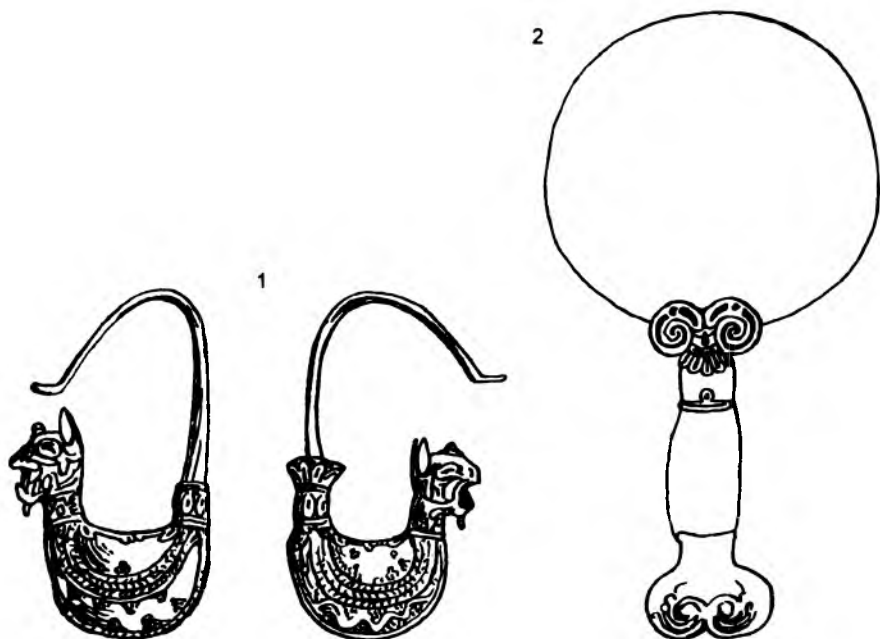


Рис. 29. 1— золотые серьги из кургана у с. Пастака;
2 — бронзовое зеркало из кургана у с. Басовка

ва в работах греческих мастеров можно увидеть и на произведениях греко-скифской торетики более позднего времени. Вероятно, это зеркало было изготовлено в самой Ольвии, откуда происходит фрагмент ручки зеркала того же типа, с очень похожей пальметкой (Фармаковский. 1914. Табл. X, 7).

Итак, как нам представляется, и на зеркале, и на ритоне из Келермеса изображены божества, соотнесенные мастером (мастерами) с греческими образами крылатой Артемиды и Медузы. На зеркале божество представлено неподвижно стоящим, с кошачьими хищниками в руках, величественно «царящим» среди соподчиненных ему персонажей и символов. Иконографическая схема, в которой оно представлено («крылатое женское божество и кошачьи хищники»), достаточно широко встречается на памятниках Восточной и Материковой Греции. Богиня же, изображенная на ритоне, передана в движении, с грифонами в руках, достаточно редко выступающими в качестве ее атрибутов в греческом архаическом искусстве. Точных аналогий схеме «крылатое женское божество и грифоны» обнаружить не удастся. Все немногочисленные вещи, изображения на которых можно рассматривать в качестве сюжетных аналогий, представляют как бы исключения в своей серии. Причем ни на одном из известных нам и рассмотренных в ка-

честве аналогий памятников божество не обращается с этими фантастическими существами так решительно, демонстрируя свою власть над ними, как на келермесском ритоне, где оно увлекает их за собой в стремительном движении. Образы грифонов, вероятно, подчеркивали хтонические функции божества, а также особую его связь с миром Северного Причерноморья.

Поэтому, на наш взгляд, изображения женского божества, украшающие эти изделия, можно рассматривать как древнейшие антропоморфные изображения в искусстве Великой Скифии. Выполненные в инокультурной (восточногреческой) манере, эти изображения, вне всякого сомнения, отражают «запросы» туземного общества и бытовавшие здесь представления о верховных женских божествах.

Обычно, говоря о женских образах на келермесских зеркале и ритоне, подчеркивают разницу в их иконографических типах и полагают, что на этих изделиях представлены разные божества, условно называемые «Владычица животных» и «Медуза» (Бессонова. 1983. С. 44; Кисель. 1998. С. 87, 104). Лишь Д. С. Раевский склоняется к мысли, что и на зеркале, и на ритоне, возможно, изображен один и тот же персонаж — Владычица животных (Раевский. 1985. С. 94). Несомненно, богиня на зеркале ближе всего к греческому архаическому типу «крылатой Артемиды», одной из функций которой была власть над царством зверей. Богиня же на ритоне предположительно ближе к изображениям Медузы в позе «коленипреклоненного бега». Однако, как мы пытались показать выше, в искусстве архаической Греции эти божества были достаточно тесно связаны. Существовал и целый ряд памятников, где переплетаются черты «крылатой Артемиды» и Медузы. Поэтому, как нам кажется, на келермесских зеркале и ритоне было представлено либо одно и то же божество в двух разных ипостасях, либо (что менее вероятно) божества, чрезвычайно близкие как по облику, так и по своим функциям.

Богиня на зеркале представлена в статичной позе, царящей над всем священным предметом и изображенными на нем существами и символами, и в известном смысле соотнесенной с ними, в том числе — и со сценой грифоборства в секторе 5 (Мачинский. 1998. С. 59–60). Кошачьи хищники в ее руках, поза которых демонстрирует полную покорность, подчеркивают ее близость греческой Артемиде, одной из функций которой была власть над миром зверей.

Богиня на ритоне представлена в более динамичной, грозной позе. Грифоны в ее руках тоже достаточно активны, с раскрытыми клювами, их задние лапы (в отличие от лап хищников на зеркале) стоят на том же уровне, что и ноги богини, передние — напряжены, а не висят безвольно. «Воинственные» черты богини, вероятно, подчеркивает фигурка «скифского оленя», висящая в качестве добычи на ветке в руках кентавра и, возможно, мыслив-

шаяся как приношение божеству. Не исключена возможность, что этот облик божества связан с ритуальными функциями ритона, безусловно являвшегося мужским атрибутом на протяжении всей скифской эпохи.

Соотнесенность этих персонажей с изображениями грифонов (достаточно редкий мотив в искусстве архаической Греции) связывает божество (божества), с одной стороны, с «гиперборейским мифом», в свою очередь, самым непосредственным образом связанным с миром Северного Причерноморья (Мачинский. 1998а. С. 113 сл.), с другой — с представлениями о загробном мире (Раевский. 1985. С. 112–113). Персонажи, изображенные на зеркале и ритоне, по представлениям древних, господствовали над необозримыми пространствами Скифии и всеми стихиями, над мирами живых и мертвых.

Если наши заключения логичны, то в качестве предмета, также отражающего начавшийся процесс взаимодействия между искусством греков и варваров на территории Северного Причерноморья, можно рассматривать и одну из золотых диадем, обнаруженных при раскопках Келермесских курганов, имеющей в центральной части уникальное украшение в виде протокрыла грифона (Галанина. 1997. С. 134. Кат. 38. Табл. 30). Сравнительно недавно В. А. Кисель предложил датировать ее первой половиной — серединой VII в. до н. э. (Кисель. 2003. С. 55). Предположение о том, что диадема с протокрылом грифона была специально изготовлена для сбыта в скифский мир Северного Причерноморья (или же на заказ), было в свое время высказано Р. Хиггинсом (Higgins. 1980. P. 125). Учитывая семантическую связь «грифон и женское божество», явственно проступающую в качестве «местной особенности» на древнейших памятниках эллино-скифской торевтики, это предположение представляется весьма обоснованным.

Обратим внимание еще на два изображения келермесского ритона, чисто греческие по исполнению. Первое из них — фигура всадника-варвара в профиль, сохранившаяся фрагментарно. М. И. Максимова считала это изображение частью фигуры амазонки (Максимова. 1956. С. 225. Рис. 7). К сожалению, можно различить лишь изображение конного варвара, поза и посадка которого ставят эту фигуру в один ряд с изображениями всадников-скифов на золотых бляшках из «царских» курганов IV в. до н. э. Такие изображения известны и на ритонах этого времени, например, на ритоне из кургана Карагодеуашх.

На другом сохранившемся фрагменте келермесского ритона можно рассмотреть изображение человека, борющегося со львом, или человека в львиной шкуре, определенное М. И. Максимовой как изображение Геракла (Указ. соч. С. 226. Рис. 9). Особая роль этого героя в греческом искусстве Северного Причерноморья, восприятие его изображений в туземной среде и связь этого образа с представлениями о местном женском божестве (бо-

жествах) признаются многими исследователями (Граков. 1950; Раевский. 1977. С. 60 сл., Бессонова. 1983. С. 44). Впрочем, В. А. Кисель различает на обломках ритона еще не менее двух изображений человека со львом (Кисель, 1998. С. 85).

4.4. Греческие металлические художественные изделия, украшенные антропоморфными изображениями, в туземных памятниках региона

Продолжая тему распространения (и становления) антропоморфных изображений в туземном мире Северного Причерноморья, отметим, что в конце рассматриваемого нами периода фиксируется целый ряд находок художественных металлических изделий, украшенных антропоморфными образами, обнаруженных в варварских аристократических погребениях степной и лесостепной зон Северного Причерноморья. Из зоны степей происходит серия бронзовых зеркал, украшенных изображениями женских фигур и горгонеяона. Все они были найдены в составе погребального инвентаря варварских подкурганных захоронений. Три находки связаны с районом степного Приднепровья и одна — с районом Нижнего Дона.

К числу наиболее интересных находок принадлежало зеркало, от которого сохранились бронзовая ручка-подставка в виде задрапированной женской фигуры в окружении животных и фантастических существ, фрагменты краев диска и части его декора. Зеркало, а также золотая, украшенная двумя рядами треугольников из зерни подвеска-лунница и сероглиняный кружальный кувшин происходят из Рожновского кургана неподалеку от г. Херсон, грабительски раскопанного крестьянами и доследованного В. Гошкевичем в 1896 г. (Деревицкий. 1896. С. 104, 109. Рис. 1–3; Гошкевич. 1903. С. 44. Табл. VIII). В состав комплекса входили не попавшие в руки ученых и утраченные фрагменты по меньшей мере двух лепных (?) сосудов, золотые ожерелье и перстень.

Ручка зеркала представляет собой женскую фигуру в дорийском пеплосе и хитоне, край которого поддерживает ее левая рука, на согнутой в локте правой помещена фигурка сирены (рис. 30). На голове — сложная прическа (тщательно проработанная как спереди, так и сзади, где пышные волосы ниже плеч собраны в пучок) и диадема, имеющая в центральной части точно такое же круглое украшение, что и ожерелье на шее (подробное описание деталей композиции см.: Жебелев, Мальмберг. 1907. С. 1–20). На плечи женской фигуры, привстав на задние лапы, «опираются» два шакала (фигурка третьего, судя по реконструкции, украшала верхнюю часть бронзового диска зеркала), их головы «поддерживают» композицию, располагавшуюся между диском и женской фигурой, на которой изображены два льва, тер-

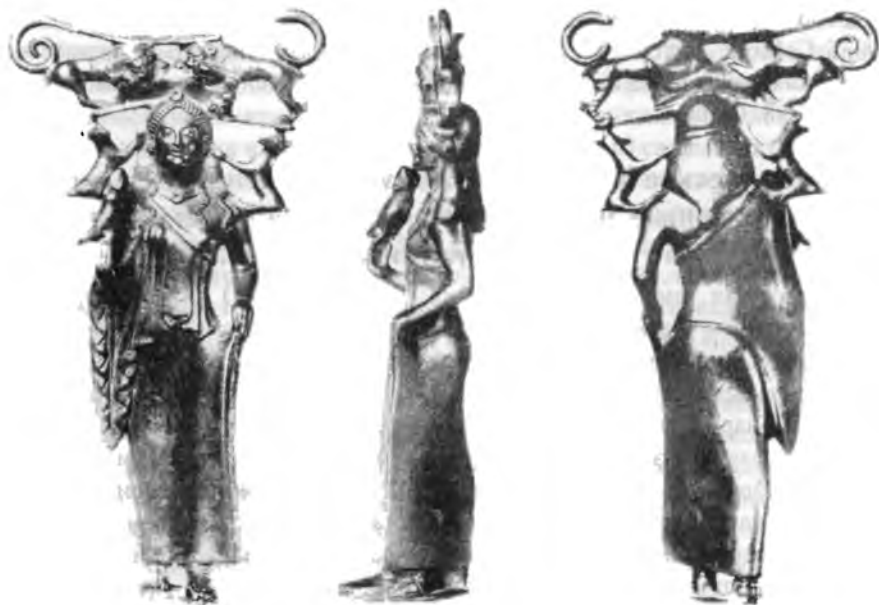


Рис. 30. Ручка-подставка бронзового зеркала из кургана бывш. Херсонской губ.

зающих копытное животное (быка?). Сохранившиеся фрагменты диска самого зеркала имеют довольно высокий (0,5–0,8 мм) бортик, так что, возможно, данный предмет представлял собой патеру. Против этого, однако, может свидетельствовать то обстоятельство, что задняя поверхность фигуры передана в рельефе (а не уплощена), а отдельные детали ее (прическа, ремни на сандалиях) столь же хорошо проработаны. С. Жебелев считал зеркало «произведением ионийского художественного мастерства второй половины VI в. до н. э.» (Жебелев, Мальмберг. 1907. С. 18), З. Билимович же полагала, что зеркало было изготовлено этрусским мастером, и датировала его временем ок. 500 г. до н. э. (Билимович. 1976. С. 35 сл. Кат. № 2).

Бронзовые зеркала (и патуры), имевшие ручки в виде задрапированных и обнаженных человеческих фигур (мужских и женских), производились в различных центрах Греции с первой половины VI по вторую половину V в. до н. э. (Charbonneaux. 1962. P. 88–89). З. А. Билимович, впрочем, предлагает более узкую дату бытования зеркал этого типа — с середины VI по середину V в. до н. э. (Билимович. Указ. соч. С. 33). Тип ручки-подставки в виде задрапированной женской фигуры, левая рука которой поддерживает край хитона, а правая, согнутая в локте, сжимает какой-либо предмет, был достаточно широко распространен. Подобную позу можно увидеть на ручках зеркала из Коринфа (Fuchs, Floren. 1987. S. 202. Taf. 14,6), Эгины, северного Пе-

лопоннеса (Charbonneaux. Pl. XIV, 1; P. 49. Fig. 4), Великой Греции (Jantzen. 1937. Taf. 13, 53–54; Taf. 18; Taf. 20, 82–84; Taf. 28, 119). Большинство изображенных на них «кор» одеты так же, как и женская фигура из Рожновского кургана. На голове бронзовой фигурки, хранящейся в Британском музее, можно увидеть диадему с круглым украшением посередине, а на шее — ожерелье с таким же украшением, подобные тем, которые изображены на ручке из Северного Причерноморья (Ibid. Taf. 28, 118). Похожая диадема (правда, с тремя круглыми украшениями) венчает голову бронзовой женской фигурки из музея Метрополитен, датирующейся в пределах второй половины VI в. до н. э. (Richter. 1912. Pl. 3–4), стоящей в той же позе и имевшей сходное одеяние.

Большинство «второстепенных» персонажей и композиций, украшавших зеркало, также известны на памятниках этого класса. Не находят аналогий лишь фигурки шакалов, хотя в качестве украшений диска известны изображения других мелких хищников — собак, лисиц. Двух сирен со сложенными крыльями, с лицами, обращенными к зрителю, можно видеть «поддерживающими» диск на зеркале с ручкой в виде обнаженной женской фигуры, найденном в Спарте (Fuchs, Floren. 1987. S. 225, Taf. 18,9). Композиция в виде двух львов, терзающих копытное животное, помещена над головой женской фигуры на ручке зеркала из с. Чукарка в Болгарии (р-н Бургаса) (Filov. 1925. P. 16; Василев. 1988. С. 98 сл. Рис. 76). По-видимому, эта ручка является ближайшей аналогией ручке из Северного Причерноморья. На ней мы видим «кору» в той же позе, левой рукой поддерживающую край одежды, на согнутой правой сидит птица. На плечи опираются две фигурки сфинксов, над ними — сцена терзания. Правда, в отличие от нашей вещи, детали здесь плохо проработаны, да и сама сохранность вещи оставляет желать лучшего.

Бронзовые зеркала (местных типов) являются частым элементом погребального обряда раннескифской культуры. Сакральные и магические функции этих предметов являются общепризнанными (см., например: Раевский. С. 97 сл.; Бессонова. 1983. С. 102 сл.; Kubarev. 1996. S. 337–339). О том, что с этим предметом могли сочетаться изображения женского божества, занимая главенствующее положение в системе декора, видно на примере келермесского зеркала. В случае с зеркалом из Рожновского кургана, изготовленным в чисто античной традиции за пределами Северного Причерноморья, можно констатировать, что оно было просто адаптировано местной культурой, а ручка-подставка в виде женской фигуры, бескрылой, но с крылатым фантастическим существом в руке, в окружении хищных зверей, (причем среди элементов декора была представлена сцена терзания кошачьими хищниками копытного), возможно, воспринималась как изображение женского божества, аналогичного или же близкого по своим функциям тому, которое представлено на вешах из Келермеса.

К кругу предметов, чисто греческих по форме и декору, украшенных женскими изображениями и найденных в раннескифских курганах бывшей Херсонской губ., относятся еще два зеркала. Первое зеркало происходит из кургана у с. Анновка (Деревицкий. 1896. С. 108) и относится к тому же классу зеркал с ручками-подставками, что и предыдущее. Примечательно то обстоятельство, что ручка-подставка представляла собой обнаженную женскую фигуру¹. З. А. Билимович определила, что оно было изготовлено на о. Эгина во второй половине VI в. до н. э. (Билимович. 1976. С. 35 сл. Кат. № 2; подробное описание и аналогии см.: Жебелев, Мальмберг. 1907. С. 125 сл.). Эта находка — самый ранний образец из известных нам изображений «обнаженной натуры» в погребальных памятниках степного Причерноморья скифской эпохи. Фигура трактована мягко, имеет юношесственные очертания, ноги длинные. Прическа тщательно проработана, она несколько напоминает прическу, которую можно увидеть на предыдущем изображении, — пышной волной ниспадающие волосы на спине на уровне лопаток перехвачены лентой.

Еще одно зеркало происходит из некрополя у с. Марицино (Прушевская. 1955. С. 328. Рис. 3). Оно относится к классу плоских зеркал, у которых диск и ручка представляли собой единое целое. С начала VI по конец V в. до н. э. зеркала этого типа производились в трех центрах — Коринфе, Аргосе и Спарте (Билимович. 1976. С. 38 сл.). Зеркало из кургана у с. Марицино принадлежит к аргосской группе зеркал и датируется в пределах второй половины VI — начала V вв. до н. э. Оно имеет выгравированное на ручке профильное изображение задрапированной женской фигуры влево, в медальоне на конце ручки помещена двенадцатилепестковая розетка.

Зеркало с маской Медузы на конце боковой ручки было найдено на нижнем Дону в кургане 4 некрополя Елизаветовского городища (Миллер. 1910. Рис. 5, 10). Такие зеркала обычно датируют концом VI — началом V в. до н. э. (Онайко. 1966. Кат. № 223). В погребение оно, исходя из датировки комплексов могильника (Брашинский. 1976. С. 98), а также данного комплекса, очевидно, попало в начале V в. З. А. Билимович относит такие зеркала к зеркалам «смешанной группы» плоских зеркал (Билимович. 1976. С. 40), к которой принадлежит и зеркало, происходящее из Ольвии, хранящееся в Эрмитаже и также украшенное маской Медузы на конце ручки (Указ. соч. Кат. № 7). Примечательно, что в этом случае оно, судя по инвентарю, включавшему, помимо керамики, остатки железных панцирных пластин, входило в состав мужского погребения.

К интересующему нас времени относится и находка фрагментированной бронзовой гидрии в кургане 24 некрополя Нимфея, в основании ручки кото-

¹ Аналогии женским обнаженным фигуркам, украшающим ручки бронзовых архаических греческих зеркал см.: Treister. 2003.

рой помещено изображение крылатого фантастического существа — сирены, имевшего женское лицо (Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. Pl. 109). Из этого же кургана происходит и бронзовое ситечко с аналогичным украшением (Силантьева. 1959. Рис. 35), относящееся к первой половине V в. до н. э. (Билимович. 1979. С. 26–28. Рис. 1). Курганный могильник у боспорского города Нимфей представлял собой некрополь, содержащий захоронения номадов. Интересно, что металлические украшения конской упряжи, входившие в состав погребальных комплексов этих курганов, «тяготеют» к более западным областям (р-ну Приднепровья) как по своим стилистическим особенностям (Указ. соч. С. 71 сл.), так и по химическому составу металла (Барцева. 1980. С. 89).

В коллективной монографии Б. Б. Пиотровского, Л. К. Галаниной и Н. Л. Грач бронзовый античный сосуд из нимфейского кургана определен как этрусский и отнесен к первой четверти V в. до н. э. З. А. Билимович несколько ранее датировала его (как и гидрию из с. Песчаное, речь о которой пойдет ниже), более поздним временем — 460–450 гг. до н. э. (Билимович. 1984. С. 76. Кат. № 4). Эта исследовательница причисляет нимфейский экземпляр к кругу гидрий-кальпид и приводит ей ряд аналогий (Указ. соч. С. 74 сл.).

Производство больших бронзовых сосудов для воды начинается в различных центрах северной Греции примерно в то же время, что и изготовление металлических кратеров. Среди исследователей не существует единого мнения о том, в каких центрах изготавливались бронзовые гидрии с вертикальными ручками, имевшими в основании украшения в виде фигурок. Самый ранний образец вертикальной ручки подобного сосуда, украшенный в основании женскими полуфигурами, относится к первой половине VI в. до н. э. (Charbonneau. P. 61. Pl. 1, 2). В V в. до н. э. женские изображения (в том числе — сирен) на ручках бронзовых гидрий широко распространены. Например, изображение сирены в основании вертикальной ручки можно видеть на гидрии из Лувра (Ibid. P. 63. Fig. 11).

Одной из самых интересных находок, обнаруженных в лесостепной зоне Северного Причерноморья и связанных с интересующей нас темой, является фрагментированный бронзовый кратер, происходящий из кургана у с. Мартоноша в среднем Приднепровье, сравнительно недалеко от современной границы степной и лесостепной зон (бывш. Херсонская губ., современная Кировоградская обл.).

Бронзовый кратер из с. Мартоноша

Ручка и верхняя часть (ныне утраченная) «кратера с волютами» (рис. 31) были найдены крестьянами-кладоискателями, раскопавшими курган у с. Мартоноша. В 1889 г. В. Ястребов доследовал курган по поручению Археологической комиссии. Он выяснил, что курган, входивший в группу из

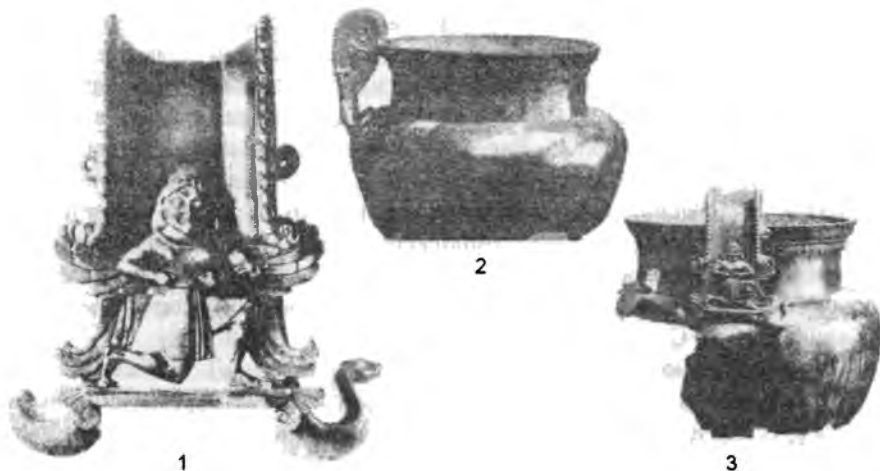


Рис. 31. Фрагменты кратера из кургана у с. Мартоноша

6 более мелких насыпей, был окружен небольшим валом, имевшим три «въезда» — с восточной, западной и юго-западной сторон. На глубине примерно 2 сажени от вершины курганный насыпи исследователь обнаружил площадку, по краям которой были вкопаны в землю 4 греческих амфоры (не сохранились) и стоял бронзовый скифский котел с коровьими (?) костями. Здесь же, по указанию находчиков, находился и греческий кратер (Ястребов. 1892. С. 29–31). Докопав курган, В. Ястребов обнаружил ограбленное в древности основное погребение. Ручка кратера была украшена изображением Медузы с двумя парами крыльев в позе «коленопреклоненного бега» влево. На Медузе длинный хитон без рукавов, левая нога, согнутая в колене, обнажена. У ног ее по обеим сторонам — две змеи. Кратер датируется 530 г. до н. э. (Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. P. 21. Pl. 55).

Металлические кратеры «с волютами» характерны для Греции конца эпохи архаики (Charbonneaux. 1962. P. 59–60). Мастерские по их производству существовали в различных районах — Лаконике, Северном Пелопоннесе, Южной Италии (см.: Василев. 1988. С. 7–15). Письменные источники сообщают о практике посвящения подобных сосудов (часто изготовленных из драгоценных металлов) в панэллинские святилища, преимущественно по заказу восточных владык (Hdt. I. 14, 25, 51), первым из которых называют Гигеса, царя Лидии (Theop. Fr. 219). Широко вывозились они и за пределы Греции. Всего известно 8 подобных сосудов и их фрагментов, причем все они были найдены на периферии античного мира. Как справедливо отметила по этому поводу Д. Стронг, «самые ранние из дорогостоящих металлических изделий архаической Греции... либо делались по заказу восточных вла-

дык для посвящения в храмы, либо для торговли на экспорт» (Strong. 1966. P. 55). П. Уэллс отмечал, что находки бронзовых греческих кратеров характерны для так называемых «контактных зон» и как бы маркировали рубежи, которых достигла греческая цивилизация в конце архаической эпохи (Wells. 1980. P. 53–54). Самым известным, большим и сложно украшенным из сосудов, относящихся к этой группе, является знаменитый кратер из Вика. Кратер же из Мартоноши представляет собой самую северо-восточную из подобных находок.

Фронтальные фигуры Медуз с парой змей в нижней части достаточно часто украшали ручки таких сосудов. Такие украшения имели ручки кратера из Южной Италии, хранящегося в Мюнхене (Maass. 1979. S. 51), из этого же района происходят еще две подобных ручки, одна из которых находится в Лувре (De Ridder, 1915, II, n. 425), а другая — в Британском музее в Лондоне (Walters. 1899. P. 85, n. 583). На наш взгляд, самыми выразительными из этой серии являются ручки кратера из погребения 8 в некрополе у с. Требенище в бывш. Югославии (Василев. 1988. С. 29. Рис. 2), головки змей на которых трактованы почти так же, как у змей на кратере из Мартоноши (Указ. соч. С. 41. Рис. 15). Правда, фигуры Медуз на всех приведенных выше аналогиях переданы погрудно, ноги их не показаны. Самую же близкую целостную аналогию позы нашей Медузы можно увидеть на ручке уже упоминавшегося выше кратера из Киликии, хранящегося в Лувре, где Медуза показана в той же позе «коленипреклоненного бега», что и на кратере из Мартоноши. На эту вещь, как на самое близкое Медузе из Мартоноши по художественным особенностям изображение, указал еще В. Мальмберг (Жебелев, Мальмберг. 1907. С. 50 сл.). Правда, на ручке из Лувра у ног Медузы помещены не змеи, а пара грифонов архаического типа. Позу, близкую позу Медузы из Мартоноши, можно также видеть на двух фигурках, в древности украшавших металлические сосуды, хранящиеся в Веймаре и Бостоне (Jantzen. 1937. taf. 32, nn. 132–133, 134).

Фигуры крылатых Медуз на ручках греческого кратера могли ассоциироваться в глазах представителей степной аристократии Северного Причерноморья с образами женского божества (божеств), характерными для туземного мира. В пользу этого соображения свидетельствует типологическое сходство Медузы на кратере и крылатого божества, в той же позе представленного на келермесском ритоне. Не исключено, что пара извивающихся змей у ног Медузы могла соотноситься в туземной среде с представлениями о «змееном божестве» — персонаже генеологического скифского предания, известного по сообщениям письменных источников (Hdt., IV, 9; Diod., II, 43, 3). Не случайным представляется и включение этого сосуда в какие-то ритуальные действия, связанные с основным погребением скифского кургана.

Все прочие обнаруженные в лесостепи предметы античного импорта архаического времени, украшенные женскими изображениями, относятся к концу VI — началу V в. до н. э. Они немногочисленны и также представлены металлическими изделиями — зеркалами и посудой.

К ним принадлежит бронзовое зеркало из кургана 3 у с. Аксютинцы с рельефным изображением маски Медузы на конце ручки. Курган входил в состав большого курганного могильника в урочище «Стайкин Верх» на высоком берегу р. Сулы (Самоковасов. 1892. С. 32. № 1541; Ильинская. 1968. С. 28–29). Зеркало входило в состав «богатого» впускного парного погребения кургана, оно лежало в ногах женского костяка, рядом с кусками краски и бусами (сердоликовыми, хрустальными, янтарными, пастовыми). На конце ручки помещено круглое изображение маски Медузы с обнаженными зубами и высунутым языком. Зеркало датируется концом VI — началом V в. до н. э. (Онайко. 1966. Кат. № 223. Табл. XIX, 4). З. А. Билимович относит это зеркало к зеркалам «смешанной группы» плоских зеркал (Билимович. 1976. С. 39–40). Очень похожее зеркало было найдено в зоне степей, в кургане 4 Елизаветовского могильника на нижнем Дону (упоминавшееся выше).

К группе зеркал с боковыми ручками, украшенными женскими изображениями, относится зеркало, обнаруженное в кургане у с. Волковцы (Онайко. 1966. Кат. № 224. Табл. XIX, 6). Обнаженная женская фигура в верхней части ручки «поддерживает» диск, в медальоне на конце ручки помещена фигурка сфинкса. Эта вещь относится к началу V в. до н. э.

Зеркало с горгонеёном на конце ручки, очень похожее на зеркало из с. Аксютинцы, было найдено в Ольвии; отсюда же происходит ручка зеркала, аналогичная ручке зеркала из с. Волковцы, что позволило Б. В. Фармаковскому высказать предположение, что подобные зеркала производились именно в этой греческой колонии (Фармаковский. 1914. Табл. X, 3; XV. С. 27–30). Эту точку зрения разделяют и современные исследователи (Билимович. 1976. С. 40).

О начале проникновения в лесостепные районы целых серий греческих металлических изделий в начале V в. свидетельствует клад у с. Песчаное, обнаруженный в торфянике р. Супой Драбовского р-на Черкасской обл. (левый берег Днепра) в 1961 г. (Ганина. 1964. С. 135. Рис. 1–2; 1970. Рис. 1, 42, 22–24). В состав этого клада, предположительно являвшегося грузом затонувшего судна, входило 15 бронзовых сосудов. В их числе — гидрия, основание вертикальной ручки которой было украшено фигуркой сирены, лутерий с изображением сирены под ручкой (рис. 26) и ситула с рельефным изображением головы Афины Паллады (Онайко. 1966. Кат. № 213; Ганина. 1970. Рис. 22, 23, 42, 44).

Бронзовая гидрия, подобная гидрии из Песчаного, с очень похожим изображением сирены в основании ручки, была найдена в другом достаточно

удаленном от греческих центров Северного Причерноморья районе — лесостепном Подонье. Она происходит из погребения начала V в. до н. э. могильника у с. Мастюгино (Либеров. С. 28. Табл. 30, 6).

По сравнению с изображением на гидрии из Нимфейских курганов, изображения сирен на сосудах из Песчаного и Мастюгина несколько лучше проработаны, пальметки в основании фигур переданы менее схематично. Сирена на нимфейской гидрии имеет самый «женственный» облик, черты ее лица смягчены (ср. все три изображения: Ганина. 1970. Рис. 43–45). Возможно, этот сосуд, очень близкий по типу и декору двум предыдущим, все же относится к несколько более позднему времени.

В архаическую эпоху греческие мастерские налаживают выпуск и более дешевых бронзовых изделий, приспособленных для продажи на местном рынке. К таким изделиям, прежде всего, относятся так называемые «ольвийские зеркала». В. М. Скуднова, изучившая зеркала этой группы, пришла к выводу о том, что изготавливаться они могли в целом ряде античных центров (Скуднова. 1962. С. 8 сл.). В конце VI — начале V в. до н. э. эти зеркала в виде диска с боковой ручкой, украшенной фигурками оленя и пантеры либо заканчивавшейся головкой барана, были распространены на территории от Карпато-Дунайского бассейна до Урала (Кузнецова. 1991. С. 71 сл.; 2002. С. 144–212, карты 14–15). Химический анализ металла подтвердил гипотезу о существовании нескольких центров их изготовления; не исключена и возможность их производства ремесленниками лесостепи (Ольговский. 1992. С. 17).

Возможно, о начале производства отдельных изделий, близких стилистически изделиям в зверином стиле, позволяет судить известная находка фрагмента литейной формы конца VI в. до н. э. из раскопок Пантикапея. И. Д. Марченко реконструировала ее как изображение двух кошачьих хищников в геральдической позе (Марченко. 1962. С. 51). По ее мнению, пантикапейская форма представляла собой античную разработку композиции, заимствованной скифским искусством с Востока. Э. В. Яковенко полагала, что подобная схема также могла быть заимствована греками на Востоке и была связана с художественными бронзами Луристана и Каппадокии (Яковенко. 1976. С. 129). Особенности этой формы рассмотрены также в работе М. Ю. Трейстера, посвященной инновациям в производственных процессах эпохи поздней архаики (Treister. 1998. P. 179–199).

Согласно гипотезе Э. В. Яковенко, в боспорских мастерских были изготовлены и бронзовые бляхи из кургана у с. Долинное в степном Крыму, относящиеся ко второй половине VI — рубежу V в. до н. э. (1976. С. 130–132).

Вот вкратце тот круг археологических источников, на основании которого можно судить об отличительных чертах начального периода взаимодействий между греческой культурой и варварским миром Северного Причер-

номорья в сфере искусства. При всей его ограниченности можно говорить о том, что античный художественный импорт к концу этого периода освоил огромную территорию степной зоны от Приднестровья до Урала: на севере, в лесостепном Приднепровье, распространился до границ лесостепной и лесной зон.

При всем, на первый взгляд, достаточно незначительном воздействии античного искусства на искусство Скифии, создается впечатление органического проникновения греческого искусства в материальную (и духовную?) культуру туземных «народов», населявших самые разные области. Весьма символичным и характерным для эпохи в целом представляется чрезвычайно широкое распространение таких своеобразных памятников, как «ольвийские зеркала» — предметов, изготавливавшихся, очевидно, в самых различных центрах и пользовавшихся большим спросом. Эти находки позволили Б. Н. Гракову в свое время сформулировать известную гипотезу о реальном существовании торгового (Граков. 1947. С. 23–38) и сакрального (Кузнецова. 1991. С. 87–88) пути на восток, о котором писал Геродот.

Уже для этой эпохи, очевидно, можно говорить о двух основных «направлениях» в процессе воздействия античного искусства на искусство северопричерноморских варваров: 1) инновации и трансформации в развитии звериного стиля и 2) разработка и утверждение антропоморфных образов. Первое направление в рассматриваемый нами исторический период еще только намечается в виде совместных находок античных и местных зооморфных изображений, второе же представлено, на наш взгляд, более активно.

Отметим, что в архаическую эпоху изображения людей на предметах греческого импорта, проникавших в степную и лесостепную Скифию, представлены исключительно женскими персонажами. На изделиях, происходящих из Прикубанья, женские персонажи занимают доминирующее положение по отношению ко всем прочим (в том числе и антропоморфным) изображениям. Возможно, «восприимчивость» аристократической прослойки варварского общества именно к женским образам объясняется доминирующей ролью женских божеств в скифском пантеоне, о которой мы знаем на основании свидетельств Геродота (IV, 59).

Заметим также, что для этой эпохи не прослеживается никаких следов воздействия античного искусства на монументальную скульптуру Скифии. Скифские каменные изваяния были тогда распространены на чрезвычайно обширной территории — от Северного Кавказа до Добруджи — и являли собой серии строго канонизированных изображений (Белозор. 1986. С. 7–8; Белозор. 1994. С. 161 сл.; Ольговский, Евдокимов. 1994).

С относительно немногочисленными находками греческих архаических художественных изделий в контексте варварских памятников Северного

Причерноморья связан широкий круг проблем, на некоторых из которых мы кратко остановимся.

4.6. Хронологический аспект

Период времени, связанный с начальным этапом проникновения на территорию Скифии античных художественных изделий, рассматриваемых в данном разделе работы, можно разбить на два подпериода.

Первый из них соотносится с созданием и включением в комплексы Келермесских курганов серебряных зеркала и ритона. Это, несомненно, самые высокохудожественные, интересные и информативные находки в пределах всего периода. Они свидетельствуют, с одной стороны, о попытках осмысления греческими мастерами «своеобразия» местного варварского мира. С другой — активно «принимаются» аристократической верхушкой местного общества, входя в состав погребального инвентаря «царских» курганов Прикубанья. В эту эпоху здесь концентрировались самые «богатые» некрополи, содержавшие погребения скифской кочевой аристократии. Датировки келермесских зеркала и ритона совпадают с датой начального этапа организации на северных берегах Черного моря постоянных греческих поселений.

Эти вещи, с которых и началось знакомство варваров с художественными металлическими греческими изделиями, украшенными антропоморфными изображениями, так и останутся «исключительным событием» для всей эпохи.

Между датами этих предметов и распространением в варварском мире Северного Причерноморья основного потока греческих импортных изделий (в том числе и украшенных антропоморфными изображениями) наблюдается хронологический разрыв протяженностью около 100 лет. Изделия, начавшие проникать на территорию Скифии в конце эпохи, можно отнести к группе «чистого импорта». Они появляются практически одновременно, во второй половине — конце VI в. до н. э., в степном и лесостепном Приднепровье. К концу периода греческие импортные изделия, украшенные антропоморфными (женскими) изображениями, встречаются в памятниках степного и лесостепного Подонья.

Для конца рассматриваемого периода фиксируется начало серийного выпуска относительно дешевых изделий, находивших сбыт и в туземном мире Северного Причерноморья.

4.7. Проблема источников распространения культурных импульсов

Соотнесенность целого ряда памятников со степными и лесостепными областями Южного Буга и Днепра, приводит к выводу о том, что большинст-

во изделий из категории «чистого импорта» поступало в варварский мир из греческих центров Нижнего Побужья (Березань, Ольвия). В пользу этого вывода свидетельствуют и находки в Ольвии фрагментов бронзовых зеркал, аналогичных тем, которые были найдены в туземных памятниках.

Для рассматриваемого периода мы почти ничего не можем сказать о роли греческих поселений Северо-Восточного Причерноморья в сфере контактов между греческим искусством и искусством Европейской Скифии, хотя теснейшая связь этих поселений с туземным миром Северного Причерноморья представляется в эту эпоху достаточно очевидной.

Загадочным и дискуссионным остается вопрос о центрах производства (и источниках распространения) самых ярких памятников эпохи — келермесских зеркала и ритона. Удревнение их датировок делает маловероятным предположение М. И. Максимовой о возможном их изготовлении в Боспорских мастерских (Максимова. 1954. С. 304). Мы придерживаемся версии, согласно которой обе эти вещи были, с большой степенью вероятности, изготовлены греческим мастером (или мастерами) в восточной части греческого мира (возможно, в Ионии). Однако нельзя полностью исключать и возможность их изготовления в одном из греческих поселений Нижнего Побужья. Реальная ситуация могла быть и еще сложнее — например, зеркало и ритон могли быть сделаны греческим мастером, работавшим (временно или постоянно) при ставке скифского вождя. Последнее предположение (достаточно фантастическое, но все же вероятное) логичнее всего объясняет сочетание греческих (преобладающих), «восточных» и «скифских» элементов в их декоре.

Итак, как мы пытались показать, время со второй половины VII по первую четверть V в до н. э. в силу ряда особенностей, присущих греческому архаическому искусству и искусству Скифии, а также общей ситуации, сложившейся в Северном Причерноморье, очевидно, было чрезвычайно благоприятным периодом для развития культурных контактов. Следы этих контактов прослеживаются на огромной территории. К концу этого периода были как бы намечены основные направления в сложном процессе взаимодействия между эллинским искусством и развитием искусства северопричерноморских варваров.

5. Вторая четверть — конец V в. до н. э.

В начале V в. до н. э. в материальной культуре степной и лесостепной зон Северного Причерноморья фиксируется целый ряд явлений, свидетельствующих о глобальных переменах в этнокультурной ситуации, сложившейся в регионе в предшествующий период. А. Ю. Алексеев считает последние десятилетия VI — начало V в. до н. э. рубежом, разделявшим две археологи-

ческие культуры Скифии — древнюю и новую (классическую); в это время в скифской археологической культуре Кавказа и Северного Причерноморья складывается новый вещевой комплекс, формирование которого, по-видимому, связано с проникновением на эти территории с востока новой группы кочевников. Время с первой по третью четверти V в. этот исследователь предлагает считать периодом становления нового скифского общества, для которого были характерны междоусобицы и враждебные отношения с греческими центрами (Алексеев. 1992. С. 7, 118 сл.).

Согласно нашей периодизации, время с начала второй четверти до последней трети V в. характеризуется усилением кочевого скифского элемента, не всегда миролюбиво настроенного по отношению к античным центрам.

Скифские памятники, отражающие греко-варварские связи (и контакты в сфере искусства), для этой эпохи в зоне степей крайне малочисленны; самые яркие из них сконцентрированы на восточных рубежах Скифии, в Подонье и Предкавказье.

5.1. Нижнее Подонье

В Нижнем Подонье в начале второй четверти V в. возникают Елизаветовское городище и могильник, самые ранние погребения которого относятся к концу первой — началу второй четверти столетия (Брашинский. 1976. С. 101 сл.). Из кургана 1 этого некрополя происходит древнейшая из найденных в регионе панафинейских амфор, датирующаяся 430–425 гг. до н. э. (Beazly. 1943. P. 453; Брашинский. 1976. Рис. 3). В целом для погребений этого могильника отмечен высокий процент греческой керамики (Брашинский. 1976. С. 99). Расписные сосуды из Елизаветовского могильника украшены изображениями на следующие сюжеты: вакхическая сцена (женщина в развевающихся одеждах и сатир, фигуры даны силуэтом, изображения нечеткие); сидящая женщина с зеркалом в руке, перед ней — служанка; сова; лебедь; растительный и геометрический орнамент (2 экз.).

5.2. Прикубанье

Для района Предкавказья наиболее выразительными памятниками, отражающими греко-варварские взаимодействия, являются знаменитые Семибратние курганы, наиболее ранний из которых, № 4, скорее всего, относится ко второй четверти — середине V в. до н. э. (Горбунова. 1971. С. 20). Своеобразие их погребального инвентаря позволяет ставить вопрос о локальных чертах звериного стиля Прикубанья в V в. до н. э.; возможно, эта область входила в сферу влияния искусства Ахеменидского Ирана (Переводчиков. 1987). Для этого времени в сложении местного варианта звериного стиля прослеживается ряд инокультурных импульсов, в их числе Е. В. Пе-

реводчикова называет и т. н. «греко-персидские» (1992. С. 56). Как показала Н. Л. Грач, комплексы произведений звериного стиля из этих памятников во многом уникальны; на примере конкретных произведений можно проследить причудливые сочетания традиций греческого и восточного искусства (Грач. 1984. С. 105). Так, например, две золотые обивки из 4 Семибратнего кургана (около середины V в. до н. э.) со сценами терзания зайца грифоном и козла львиноголовым грифоном выполнены с явным преобладанием греческих элементов. В треугольной пластине-оковке ритона с рельефным изображением льва, напавшего на оленя, греческое влияние лишь намечено в декоративном решении формы рогов оленя.

Отказ от условной моделировки тела в пользу более реалистической (поверхность тела животного показана в низком рельефе), появление удлинённой формы глаза, растительного орнамента и «ажурности» в трактовке рогов животных, которые можно видеть на вещах из этих комплексов, обычно приписывают влиянию античного искусства (Коровина. 1957. С. 183–185; Переводчикова. 1987. С. 44, 50).

Среди предметов греческого импорта из Семибратних курганов отметим серию серебряных аттических киликов с гравированными изображениями, датирующимися в пределах 80–30-х гг. V в. (Горбунова. 1971. С. 19 сл.). Самый ранний из них происходит из 4 Семибратнего кургана и относится ко времени ок. 470 г. до н. э. На его внутренней поверхности в центральном медальоне изображена фигура крылатой богини (Ники), сидящей на невысоком сиденье с резными ножками. Крылья богини широко распростерты, в руке она держит чашу, собираясь совершить возлияние (рис. 32.3). К. С. Горбунова, посвятившая этим сосудам специальную работу, обратила внимание на необычность позы и атрибутов Ники и полагала, что здесь представлен малораспространённый вариант мифа (Указ. соч. С. 22). Однако, на наш взгляд, фиала в руке божества — атрибут достаточно распространённый и нередко встречающийся в греческой вазовой живописи. Например, изображения летящей Ники с чашей в руке можно видеть на ранних краснофигурных лекифах Берлинского мастера и мастера Тифона (Boardman. 1975. Pl. 159, 213). Иное дело — поза божества. Изображение сидящей в профиль Ники с распростертыми крыльями, очевидно, действительно можно отнести к числу редких. Именно этот тип изображения женского божества — сидящего в профиль на кресле-троне, будет разрабатываться на изделиях греко-скифской торевтики позже, в IV в. до н. э.

В раннеклассическое же время, как нам кажется, изделия с изображениями крылатого женского божества, подобными тем, которые украшали ритон и зеркало из Келермеса, продолжали успешно «вписываться» в контекст культуры варваров, входя в состав погребального инвентаря захоронений местной аристократии.



Рис. 32. 1 — бляшка из кургана Чертомлык; 2 — изображение на шитке «перстня Скила»; 3 — изображение в медальоне дна серебряного килика из Семибратного кургана; 4 — рельеф из Вилла Альбани

К вещам чисто греческих форм относится и бронзовое зеркало из 6 Семибратного кургана, имевшее гравированные изображения пантер и оленя на диске (ОАК за 1875 г. С. 33). З. А. Билимович полагала, что зеркало было украшено скифским мастером (Билимович. 1974. С. 44. Кат. № 30), однако передача пятнистых шкур пантер врезанными точками, не характерная для скифского искусства, допускает и иные толкования. Интересна и трактовка пальметки в основании боковой ручки — уникальный для изделий этой группы растительный побег придает пальметке вид дерева или куста. Такое гипертрофированное «разрастание» растительных мотивов можно увидеть на некоторых произведениях греко-скифской торевтики IV в. до н. э., речь о которых пойдет ниже.

5.3. Северное Причерноморье. Степная зона

К началу периода принадлежит яркая находка, сделанная на территории Добруджи и имеющая непосредственное отношение к теме данного раздела, — знаменитый «перстень Скила» второй четверти V в. до н. э., на щитке которого изображена сидящая в профиль женщина с зеркалом в руке (рис. 32.2) (Виноградов. 1980. С. 93. Рис. 1). Перстень, возможно, принадлежал скифскому царю Скилу и, вероятно, его венценосному предшественнику Арготу (Там же. С. 92 сл.). На щитке этого перстня выгравировано изображение сидящей влево женщины, держащей в правой руке зеркало с боковой ручкой. Сюжет этот (сидящая на «троне» женщина с зеркалом и стоящий перед ней мужчина) будет популярен в IV в. до н. э. и широко представлен на золотых нашивных бляшках из «царских» захоронений. На связь этого изображения с формированием в скифском искусстве иконографического типа сидящей богини недавно обратил внимание Ф. Юнгер (Junger, 1997. S. 58–59).

В случае с «перстнем Скила» мы имеем дело с изделием греческого ремесленника, предназначенного для представителя местной аристократии (возможно, принадлежавшего к правящей династии), для украшения которого выбрано изображение, сюжет которого был, очевидно, связан с идеологическими представлениями варваров. В роли скифа, «предстоящего» перед женским божеством в схеме, известной по бляшкам IV в. до н. э., в данном случае выступал сам обладатель и «носитель» перстня.

В приднепровских степях о греко-варварских связях V в. до н. э. можно судить по инвентарю «богатых» скифских погребений в кургане Бабы, относящихся к концу второй четверти — середине столетия (Алексеев. 1992. С. 145) и Острой Томаковской могилы (впускное погребение). В числе памятников скифских аристократов, содержавших греческие художественные изделия и открытых в непосредственной близости от греческих центров Европейского Боспора, можно назвать Нимфейские курганы (Силантьева. 1959), раннее погребение в кургане Ак-Бурун, относящееся к середине — второй половине V в. Концом V в. до н. э. датируется впускное женское погребение в кургане Темир-Гора (№ 83), содержавшее набор женских украшений греческого производства (Яковенко. 1977. С. 140 сл.).

В литературе отмечалась стилистическая близость вещей из Семибратних и Нимфейских курганов (Ростовцев. 1925. С. 390 сл.; Силантьева. 1959. С. 90). Из Нимфейского кургана 2 и кургана Ак-Бурун происходят бронзовые нагрудные бляхи в виде оленя и свернувшегося хищника. Возможно, они являлись изделиями боспорских мастерских, особенно первая из них. Олень на которой не похож на изображения классического скифского оленя; мастер, ее изготовивший, очевидно, лишь пытался воспроизвести традиционную схему (Яковенко. 1992. С. 85).

Примечательно, что бронзовые украшения уздечных наборов из Нимфейских курганов и Ак-Буруна «тяготеют» к более западным районам Приднепровской лесостепи не только стилистически (Силантьева, 1959. С. 71 сл.), но и по химическому составу металла (Барцева, 1980. С. 89).

На наш взгляд, воздействие греческого искусства на развитие звериного стиля Северного Причерноморья в V в. до н. э. наиболее ярко отражено в двух памятниках торевтики — знаменитой золотой бляхе в виде лежащего оленя из Куль-Обы (рис. 20) и фризе золотой обкладки колчана из кургана у с. Ильичево (рис. 33). Эти вещи возникли в результате освоения и переработки греческим искусством основных схем скифского звериного стиля и свойственных его ранней стадии «зооморфных превращений». В итоге изобразительное поле обеих вещей получилось чрезвычайно насыщенным дополнительными образами. Бросается в глаза и натуралистичность изо-

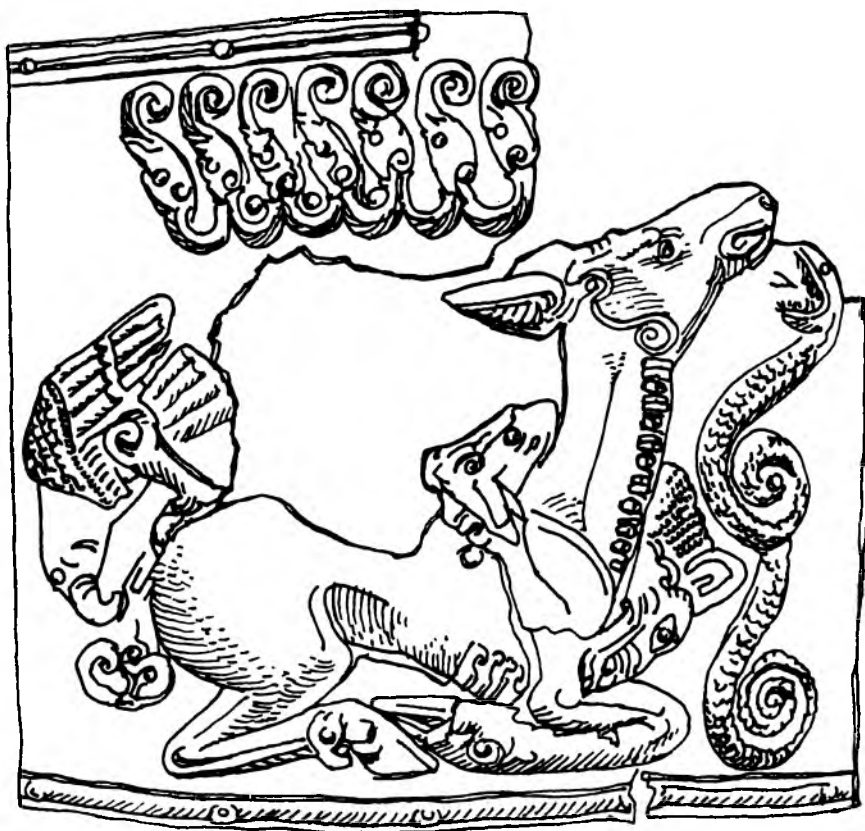


Рис. 33. Золотая бляха из кургана у с. Ильичево

бражений. В отличие от классической схемы скифского «летающего» оленя, изображавшегося строго в профиль, с двумя подогнутыми ногами, олень из Куль-Обы имеет четыре конечности, спина его прогнулась под тяжестью рогов. Вещи получились слишком усложненными, потерявшими пластичность, по сравнению с более лаконичными и выразительными памятниками предшествующего времени.

Кратко остановимся на чрезвычайно выразительном комплексе из крымского погребения № 6 в кургане 1 у с. Ильичево, проанализированного А. М. Лесковым (Лесков. 1968), в котором ярко отразились «инновации» нового периода. Скифское погребение было впускным в насыпь более раннего времени; для этого захоронения курганная насыпь была специально подсыпана (Указ. соч. С. 158). С этим погребением связана находка золотых «ворварки», четырехгранной в сечении гривны и более десятка золотых пластин разного размера. Среди пластин примечательны две. Одна из них, нашивная, несомненно, является результатом яркого эксперимента. В центре ее — схематичное изображение головы копытного, сочетающее черты лося и оленя; ее украшают странным образом стилизованные головки хищных птиц. Ниже — два ряда головок хищных птиц, также весьма «сухих» и схематичных; справа — две восьмилепестковые розетки (Указ. соч. Рис. 5). А. М. Лесков справедливо указал на аналогии этим мотивам и отдельным стилистическим приемам из Журовских курганов в лесостепи (Указ. соч. С. 164–165). Вторая пластина представляет собой фриз, некогда украшавший колчан для стрел (Указ. соч. Рис. 6). На ней изображен олень «в противоборстве» с тремя «терзателями» — львом, орлом и змеей (рис. 33). А. М. Лесков отметил некоторые черты, сближающие эти изображения с комплексом IV Семибратнего кургана, и заметил, что образ змеи, присутствующий в композиции пластины, является необычным для скифского искусства, но находит аналогии в искусстве греческом (Указ. соч. С. 165). В целом в композиции этой пластины заметна не только «перегруженность» в репертуаре «участников», но и сочетание чрезвычайно разнородных элементов, находящих аналогии и в Лесостепи, и в Прикубанье, и в Подонье, и в греческом мире. Погребение у с. Ильичево — наряду с Ак-Мечетским и Золотым курганом (см. также: Артамонов. 1966. Табл. 72) — входит в группу из 3 «царских» скифских погребений V в., известных на территории Крыма. Дата его определяется в пределах первой половины столетия (Указ. соч. С. 163).

Знаменитая золотая пластина с изображением оленя из кургана Куль-Оба в Крыму (рис. 20), выполненная в похожей манере, сравнительно недавно была передатирована и отнесена к кругу древностей V в. до н. э. (Королюкова, Алексеев. 1994). К кругу шедевров греко-скифской торевтики этого периода, перенасыщенных дополнительными натуралистическими изобра-

жениями и чрезмерно «утяжеленных», относится и нащитная бляха в виде рыбы из комплекса Феттерсфельде в Западной Польше (Greifenhagen. 1982; Королькова, Алексеев. 1994. С. 103).

Еще М. И. Артамонов высказал предположение, что куль-обский олень был изготовлен на Боспоре (1968); там же, скорее всего, была изготовлена и золотая обкладка из кургана у с. Ильичево (Лесков. 1968. С. 165). Н. А. Онайко высказала гипотезу, связывающую производство золотых обкладок скифских парадных мечей (Томаковка, Золотой, курган у хут. Шумейко) с мастерскими Боспора (1966а). К парадному оружию относятся и ножны из кургана у с. Александровка (Мурзин. 1984. С. 28–29. Рис. 15). Самые ранние образцы парадного вооружения происходят из Томаковской могилы и погребения у хут. Шумейко и относятся к первой четверти V в. до н. э. (Алексеев. 1991; 1992. С. 114; 2003. С. 201).

5.4. Северное Причерноморье. Лесостепь

«Археологическое запустение», фиксируемое для степной зоны Северного Причерноморья V в. до н. э., не прослеживается для территорий лесостепи. Своеобразие вещевых комплексов лесостепных могильников V в. до н. э. позволило исследователям выделить для этого времени локальные варианты скифской культуры лесостепной зоны (Шкурко. 1975). С начала V в. до н. э. заметны и перемены в составе «бестиария» скифского звериного стиля, например, из него исчезает свернувшийся кошачий хищник, столь характерный для предшествующей эпохи, появляются и получают широкое распространение образы лося и волка (Алексеев. 1992. С. 108). Некоторые исследователи прослеживают и активное влияние степи на искусство лесостепной зоны в V в. до н. э. (Шкурко. 1969. С. 37). С зоной лесостепи связан ряд находок относительно простых и дешевых бронзовых изделий, предназначавшихся для украшения уздечных наборов, возможно, изготовленных греческими мастерами. Спектральный анализ бронз так называемых «орлиноголовых блях», распространенных в Приднепровской лесостепи в первой половине V в. до н. э. (Ильинская. 1968. С. 78), показывает наличие лигирующей примеси сурьмы, употреблявшейся в бронзолитейных мастерских Ольвии и ее окружи; к продукции этих мастерских можно отнести и некоторые другие мелкие бронзовые украшения в зверином стиле из курганов Посулья (Косиков. 1992. С. 71 сл.). Исследования В. А. Косикова показали, что примерно 4% проанализированных им изделий из курганов бывш. Роменского уезда тяготеют к греческим мастерским Нижнего Побужья.

Несомненно, с этими же центрами связано и производство крестовидных блях конца VI — начала V в. до н. э., также предназначавшихся для украшения конской упряжи (Капошина. 1956. С. 173 сл.; Шкурко. 1969. С. 37). Интересно, что это, кажется, единственная категория вещей этого времени,

сохранившая тип свернувшейся скифской «пантеры»; причем на бляхах из кургана у с. Басовка в своеобразном, более реалистично переданном положении передней ноги кошачьего хищника иногда видят следы античного влияния (Шкурко. 1969. С. 36).

Очевидно, под влиянием античных образцов в изделия местных мастеров того времени проникают некоторые чисто греческие орнаментальные мотивы. Так, например, на целом ряде изделий в зверином стиле начиная с первой половины V в. до н. э. можно видеть нечто, напоминающее античную пальметку. Такие изображения помещены на золотых обивках чаш из I Завадской могилы (Мозолевский. 1979. Рис. 47.2–3), на бронзовых бляшках из Поросья (Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. Рис. 28.3–5). Изображение, отдаленно напоминающее пальметку с волютами, можно заметить и на конских нащечниках (Указ. соч. Рис. 28.11). Возможно, влиянием греческого искусства можно объяснить и трактовку глаз хищных птиц в виде розеток (Указ. соч. Рис. 32.7, 9, 14), и различные эксперименты в трактовке рогов оленя. Наиболее выразительной, на наш взгляд, является бляшка из кургана 401 у с. Журовка, на которой рога оленя показаны в виде вертикального стержня с насечками, увешанного с двух сторон предельно стилизованными композициями типа «глаз и клюв», напоминающими восьмерки (Указ. соч. Рис. 32.11).

В целом, однако, отметив кардинальные перемены в облике региона в V в. до н. э., мы не можем зафиксировать какие-либо значительные изменения или переломные моменты в сфере взаимодействия эллинского и скифского искусства. Создается впечатление, что для этого времени можно говорить о некотором общем «ослаблении интереса», по сравнению с эпохой архаики, к антропоморфным образам. Взаимодействия между греческим и варварским искусством прослеживаются, в основном, в области звериного стиля: в это время происходит разработка, развитие отдельных тенденций, намеченных в предшествующую эпоху. Создается впечатление, что в течение V в. до н. э. греческое искусство продолжало осваивать основные схемы и приемы скифского звериного стиля.

С самого начала V в. до н. э. фиксируются следы интенсивной работы боспорских мастерских. Для столь сложной эпохи символичным является начавшееся здесь изготовление ножен для парадных мечей кочевников: это единственная категория изделий греко-скифской торевтики, предназначавшаяся для аристократической прослойки варварского общества, для которой в это время можно отметить начало серийного производства (Онайко. 1966а). Интересно, что все эти находки происходят из степного и лесостепного Приднепровья — района, который, несомненно, контролировался главенствующей кочевой ордой. Начавшееся производство вещей такого рода, возможно, указывает на усиление в самом начале V в. контактов Боспора

(или же дипломатическую активность этого политического образования), направленных на установление дружественных отношений с господствующими в степях кочевниками.

Для V в. до н. э., кроме воздействия античного искусства на скифский звериный стиль, выразившегося в развитии реалистических тенденций и некоторых орнаментальных мотивов («скифское барокко»), отмечают еще воздействие греческого монументального искусства на иконографию степных скифских каменных изваяний (Шульц, Навротский. 1973. С. 203–204; Белозор. 1986. С. 8; Ольховский. 1990. С. 108). Мы, вслед за Д. С. Раевским (1983. С. 12 сл.), считаем, что такие специфические древности, как скифские каменные изваяния, в VI–V вв. до н. э. представляли собой строго канонизированную изолированную группу памятников, требующую специального подхода к ее исследованию. Наличие этих произведений не может изменить общего представления о том, что для эпохи архаики искусству варваров Северного Причерноморья изображения людей были несвойственны и, вероятно, достаточно чужды.

Лишь в самом конце столетия греческие изделия, украшенные антропоморфными изображениями и специально изготовленные для сбыта варварам, начинают встречаться в местных комплексах. К таким изделиям, возможно, принадлежат бляшки из кургана Куль-Оба с изображением скифов, которые отдельные исследователи иногда относили к концу V в. (Копейкина. 1986. С. 38 сл. № 2–5), а также вещи из раннего комплекса Солохи (впрочем, относительно датировки последнего в литературе не существует единого мнения. См.: Манцевич. 1987. С. 121; Алексеев. 1992. С. 146).

Отметив занимающую более чем столетие лакуну в восприятии туземным обществом антропоморфных персонажей, воплощенных в памятниках античного искусства и, соответственно, в развитии подобных изображений в греко-варварском искусстве, можно высказать предположение, что это явное «ослабление интереса» к разработке подобных сюжетов, очевидно, объясняется кардинальными переменами в общей ситуации, разрывом традиций, сложившихся в предшествующее время.

В заключение этого краткого раздела, посвященного довольно длительному «переходному» периоду между двумя основными выделенными нами эпохами, связанными с влиянием греческого искусства на развитие искусства Европейской Скифии, которыми являются VII–VI и IV вв. до н. э., хочется упомянуть чрезвычайно выразительный памятник, имеющий некоторое отношение к нашей теме, на основании которого, в частности, можно судить о трактовке образа «варвара» в античном искусстве этого периода. Это — известный мраморный надгробный рельеф, найденный недалеко от Ольвии, в свое время реконструированный и изданный Б. В. Фармаковским (1915). На одной из его сторон изображен обнаженный юноша с копьем в ру-

ке, на другой — варвар в штанах и куртке, со скифским горитом и стрелой в руке. Памятник датируется 470 г. до н. э. (Кобылина. 1972. С. 6). Вслед за Ю. Г. Виноградовым, предложившим новую реконструкцию сохранившейся на надгробии надписи (Виноградов. 1986. С. 88–89), мы склонны видеть на этом памятнике изображение амазонки. Этот исследователь справедливо оценил фигуры на надгробии как символ новой, сложной и напряженной эпохи и считал, что представленные здесь персонажи — греческий юноша-воин и амазонка — выражают идею противостояния двух миров — эллинского и варварского. То обстоятельство, что в качестве образа, как бы символизирующего варварские «народы» Скифии, на этом памятнике фигурирует женщина-амазонка, представляется чрезвычайно выразительным. Распространению этого образа в греко-варварском искусстве региона в IV в. до н. э. мы уделим внимание в следующем разделе работы.

6. IV в. до н. э. — эпоха расцвета греко-скифской торевтики

IV в. до н. э. был принципиально новым периодом в истории взаимодействия между античным искусством и искусством варваров Северного Причерноморья. Новая эпоха, эпоха одновременного расцвета греческих северо-причерноморских колоний и Европейской Скифии (Ростовцев. 1912. С. 107–110; 1925. С. 303 сл.), очевидно, была благоприятна и для экспериментов в сфере искусства.

В IV в. до н. э. археологическая карта варварских памятников, вещевые комплексы которых дают возможность судить о взаимодействии греческого и варварского искусства, еще раз претерпевает значительные изменения. Ярче всего они проявились в Приднепровье: для IV в. до н. э. в зоне степи известны многочисленные «царские» курганы и рядовые могильники номадов; в лесостепной зоне прекращают существовать многие городища и могильники предшествующей поры (Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 252, 315). По общему объему и качеству античного импорта в IV в. до н. э. степная зона впервые опередила лесостепь.

На Боспоре, как было отмечено выше (см. гл. V), «царские» курганы IV в. до н. э. концентрировались в окрестностях Пантикапея на Европейском Боспоре и Фанагории на Азиатском: их топография соответствовала структуре единого Боспорского государства, сложившегося при Спартокидах.

Если для двух предшествующих эпох мы располагали возможностью более или менее подробно останавливаться на всех категориях древностей, свидетельствующих о взаимодействии греческого и варварского искусства на территории Северного Причерноморья, то для последнего периода в ис-

тории этих взаимодействий характерно такое изобилие источников, что мы вынуждены затронуть лишь, на наш взгляд, важнейшие из них.

В результате даже самого поверхностного обзора художественных металлических изделий, производившихся греческими мастерами для сбыта варварам, создается впечатление, что в IV в. до н. э. греческая торевтика поставляла в туземное общество буквально все важнейшие категории традиционных скифских вещей (или их украшения). Для этого времени фиксируются даже попытки декорирования таких громоздких и малохудожественных по своей идее предметов, как бронзовые котлы. Так, например, бронзовый котел из кургана Раскопана Могила, относящийся ко второй — третьей четвертям столетия (Алексеев. 1992. С. 152), был, возможно, изготовлен мастером-греком. Тулово котла было разделено на три орнаментальных пояса (подобное трехчленное деление вещи, несомненно, было связано с бытовавшими в Скифии представлениями об устройстве вселенной), изобразительное пространство было украшено элементами декора, широко распространенными в греческом искусстве.

К сожалению, в рамках данного раздела нам не удастся остановиться на целом ряде интересных проблем, связанных со взаимодействием греческого и варварского искусства на территории Северного Причерноморья в IV в. до н. э., таких, например, как развитие образа «скифского Геракла», стиля «этнографического реализма», своеобразия монетных эмблем греческих центров этого региона и соотношения монетных типов с изображениями на памятниках искусства (см., например: Шелов. 1956; Карышковский. 1986; Шауб. 1991). Попробуем отметить лишь общие тенденции в сфере взаимодействия греческого и варварского искусства, уделяя основное внимание самым, на наш взгляд, важным памятникам и проблемам.

Принципиально новым моментом для этого времени является массовое производство в греческих центрах и сбыт варварам изделий, украшенных антропоморфными изображениями, не характерными изначально для туземного искусства. Более того, в конце этой эпохи фиксируются попытки создания произведений, украшенных подобным образом, и в варварском мире.

Отсутствие антропоморфных изображений в собственно скифском искусстве предшествующего времени некоторые исследователи объясняли тем, что на начальной стадии развития скифского общества человекоподобные божества не играли большой роли в религии скифов (Артамонов. 1971. С. 27). Однако факт присутствия в архаических памятниках Скифии изделий с антропоморфными изображениями, выполненными греческими мастерами, позволяет высказывать и другие суждения. Так, например, Д. С. Раевский полагал, что представления об антропоморфных божествах издавна бытовали в Скифии, а образы звериного стиля служили символами этих божеств (Раевский. 1978. С. 69–70). Длительное же господство зооморфных

образов в скифском искусстве этот исследователь объяснял более затрудненным заимствованием антропоморфных образов по сравнению с зооморфными. В образах звериного стиля Д. С. Раевский видел лишь символы, «знаки» скифских божеств; такие изображения были менее конкретизированы, не так жестко ограничивались канонами скифского искусства и относительно легко заимствовались из другой культурной среды (Раевский. 1983. С. 12 сл.).

Каковы бы ни были причины, вызвавшие в скифском обществе IV в. до н. э. потребность в подобных изображениях, возникший спрос на них удовлетворялся за счет изделий греческих мастеров, по мере возможности приспособивших свои изделия к представлениям, распространенным в туземной среде Северного Причерноморья. Так как в местном искусстве не существовало иконографических стереотипов, которыми бы смогли руководствоваться античные мастера, греческому искусству пришлось вырабатывать собственные концепции для воплощения божеств местного пантеона. Еще М. И. Артамонов отметил возможность лишь приблизительного соответствия греческих богов и их атрибутов и местных божеств (Артамонов. 1961. С. 59).

Давно и успешно ведется работа, связанная с «прочтением» сцен на шедеврах греко-скифской торевтики, выполненных в стиле «этнографического реализма». В них исследователи видят изображения важнейших мифов и ритуальных действий, связанных с идеологией аристократической верхушки скифского общества. Были предложены интерпретации для сцен и сюжетов, представленных на куль-обском и воронежском сосудах (Раевский. 1970), чертомлыцкой амфоре (Мачинский. 1978; Кузьмина. 1976; Раевский. 1985; Симоненко. 1987; Балонов. 1991), пекторали из Толстой Могилы (Мачинский 1978а; Раевский. 1978), ритона из кургана Карагодеуашх (Виноградов. 1993).

В настоящее время известно, что многие произведения античных мастеров, предназначенные для сбыта варварам, являлись репликами произведений греческого монументального искусства или же копировали более скромные изделия — монеты, резные камни. Так, А. П. Манцевич показала стилистическую близость всадников на золотом гребне и серебряной чаше из кургана Солоха и изображений на фризе Парфенона (Манцевич. 1987. С. 69, 91), Л. В. Копейкина связывала со всадником на фризе Парфенона и бляшку с изображением конного скифа из Куль-Обы (Копейкина. 1986. С. 38). Бляшки с изображением танцующих менад из этого же кургана, по мнению Л. В. Копейкиной, близки греческим рельефам V в. до н. э. и творчеству мастера Каллимаха (1986. С. 41). Известно, что из кургана Куль-Оба происходят знаменитые золотые подвески, которые считают репликой головы статуи Афины Парфенос Фидия и которые, скорее всего, являются изделиями аттических мастеров (Кобылина. 1972. С. 28. Табл. 2,1). По мнению

Н. А. Онайко, фигуры на пластине из с. Прусы стилистически близки произведениям известного скульптора Лисиппа, работавшего во второй половине IV в. до н. э. (Онайко. 1970. С. 63). И. В. Ксенофонтова полагает, что мастера, изготовившего ритон с протомой Пегаса из VI Уляпского кургана, вдохновляли изображения восточного фриза Парфенона со сценой гигантомахии (Ксенофонтова. 1997. С. 60–77), М. Ю. Трейстер же считает, что некоторые фигуры, украшающие ритон, восходят к более ранним прототипам — изображениям на метопах Афинской сокровищницы в Дельфах (Treister. 2000. Р. 99).

Е. А. Савостина высказала предположение, что в каждой греческой мастерской, занимавшейся изготовлением предметов торевтики, обязательно работал профессиональный скульптор, моделировавший пластический декор (2001. С. 286).

В круге антропоморфных изображений эллино-скифской торевтики, известных для территории Северного Причерноморья, особое место занимают женские изображения. От мужских их отличает, как правило, высокая степень сакрализованности — женщины в греко-скифском искусстве не изображались в сценах «этнографического реализма» или среди бытовых реалий.

Попытаемся сопоставить некоторые известные изображения с памятниками античного искусства, начав с достаточно широко распространенных и тиражируемых схем.

К ним относятся изображения, представленные, в основном, на изделиях мелкой пластики — серьгах и нашивных бляшках. Последние в больших количествах встречаются в погребениях скифской аристократии IV в. до н. э. и принадлежат к категории материала, очевидно, достаточно широко распространенного в степном регионе.

Рассмотрим схему «сидящая в профиль женщина с зеркалом в руке и предстоящий скиф» на четырехугольных золотых бляшках, часто встречающуюся в составе инвентаря «царских» скифских погребений (рис. 32.1). К их числу относятся изображения, происходящие из курганов Куль-Оба, Чертомлык, Огуз, I Мордвиновский, Мелитопольский, Носаковский. На этих бляшках в левой части изображено женское божество в покрывале, восседающее на сиденье или троне с высокой спинкой. Перед ним с ритонном в руке предстает варвар-скиф, изображение которого помещено справа (см., например: Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 257). Богиня на бляшках имеет большую голову, массивное тело. Мастер, создававший это изображение, явно хотел представить женщину «матронального» типа. Ее сидящая фигура по высоте соответствует стоящей рядом мужской. Такое нарушение пропорций, не характерное для греческого искусства, явно продиктовано вкусами варварской среды и подчеркивает важную роль богини в сцене (и ритуальном действии), изображенной на этом типе бляшек.



Рис. 34. Аттическое мраморное надгробие

Отдельные серии бляшек выполнены разными штампами; смазанный характер изображений на целом ряде из них показывает, что штампы использовались многократно, а возможно, и подновлялись (Копейкина. 1986. С. 42; там же см. ссылки на литературу, содержащую первые публикации бляшек этого типа). Массовость находок, наличие серии штампов для тиражирования бляшек с этим сюжетом свидетельствует о его большой популярности. Подробный анализ комплексов Чертомлыцкого кургана показал, что подобные бляшки связаны с основными, самыми богатыми погребениями этого памятника (северо- и юго-восточные камеры и камера № 5) (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 113. Кат. № 212). Вероятно, бляшки были нашиты на одежды, развешанные в кладовых (Указ. соч. С. 114).

В этой серии наиболее эллинизированный облик имеют бляшки из Чертомлыка и Куль-Обы; самый же «варваризированный» вид имеют изображения на бляшках из Мелитопольско-

го и Первого Мордвиновского курганов (Тереножкин, Мозолевский. 1988. С. 136. Рис. 150; Онайко. 1976. Рис. 9г; Бессонова. 1983. С. 99. Рис. 23.2). Однако при всей огрубленности и нечеткости изображения здесь появляются новые детали, очевидно дающие возможность судить о развитии изображения, о его «жизни» в процессе тиражирования. У богини на этих бляшках более крупная, по сравнению с остальными изображениями этого типа, голова, головной убор становится выше (он явно акцентирован), укрупняется в размерах и зеркало в руках богини. Значительно увеличивается количество складок на одеянии божества, они переданы грубее и четче и придают одежде богини большую пышность и декоративность. На бляшках из Мелитопольского кургана ее широкая, выросшая в размерах юбка полностью скрывает ноги, смоделированные и «читающиеся» под складками хитона на всех прочих изображениях. Акцентирован и «трон», на котором восседает божество. — пространство между его ножками и спинкой покрыто рядом го-

горизонтальных линий. Комплект нашивных бляшек из Чертомлыка в целом датируется достаточно широко в пределах второй половины IV в. до н. э., однако отдельные серии, в том числе и бляшки рассматриваемого типа, относятся к ранней группе, нижний хронологический рубеж их бытования может достигать середины IV в. (350–320 гг. до н. э.) (Алексеев. 1986. С. 72).

Типу этих изображений, столь широко распространенных в «царских» курганах Великой Скифии, несложно найти аналогии в памятниках античного искусства классической эпохи, где профильные сидящие женские изображения были достаточно широко распространены. Так, например, целый ряд сидящих богинь украшает композицию восточного фриза Парфенона (Elderkin. 1936. P. 93–94. Fig. 1). Сидящих женщин, с головой, покрытой покрывалом, можно видеть среди изображений «Саркофага плакальщиц» в Сидоне (Collignon. P. 206–207. Fig. 131, 132), на фризе сокровищницы сикионцев в Дельфах (Rodenwaldt. Taf. 33, 34a) и на «Троне Людовизи» (Ibid. Taf. 99).

Изображения сидящего в профиль божества и предстоящего человека можно найти на краснофигурной керамике, например, чаше работы Дуриса, в медальоне дна которой изображены сидящая Гера с фиалой в руке и стоящий перед ней Прометей (Boardman. 1975. Pl. 295.1). Сидящее в такой же позе божество (Ника) помещено в медальоне дна серебряного килика из 4 Семибратнего кургана, упоминавшееся выше. Однако, как нам представляется, тип сидящей на троне богини наиболее близок к композициям на греческих надгробиях, где умершие женщины часто изображались сидящими в профиль, с головой, закутанной покрывалом (см., например: Conze. 1900. n. 572. Pl. 114–115; Collignon. 1911. P. 174. Fig. 103). Интересно, что на греческих погребальных памятниках можно увидеть и сюжетную аналогию композиции на скифских бляшках. Среди персонажей, предстоящих сидящим женским изображениям, на аттических надгробиях IV в. до н. э. нередко изображался муж умершей. Так, например, на надгробии Дамасистраты умершая женщина изображена сидящей в профиль, в покрывале, перед нею в кругу домашних стоит муж, которого она держит за руку (Collignon. P. 143. Fig. 77). Похожая сцена представлена и на надгробии Теано (Boardman. 1975. P. 135. Fig. 138).

Примечательно, однако, что наибольшую близость в трактовке изображения богини на скифских бляшках можно отметить среди изображений на греческих надгробиях, относящихся к более раннему времени. Женщины, изображения которых можно увидеть на этих памятниках, как и на бляшках из Северного Причерноморья, имеют большие головы и широкие лица; некоторое сходство можно отметить и в трактовке системы складок одежды. Подобные изображения можно видеть, например, на стелах из Национального музея в Афинах, относящихся к середине V в. до н. э. (рис. 34) (Bie-

santz. 1965. Taf. 1, k 54; Taf. 2, k 10). Здесь, как и на бляшках, представлены матроны, а не молодые, изящные дамы, тенденция к изображению которых наблюдается на надгробиях более позднего времени.

Итак, тип сидящей женщины «матронального типа», с головой, окутанной покрывалом, представленный на скифских бляшках, имеет ближайшие аналогии среди изображений на античных надгробиях V в. до н. э., а схема «сидящая женщина и предстоящий мужчина» имеет сюжетные аналогии в композициях на греческих стелах IV в. до н. э.

Зеркало же в руке сидящей женщины в греческом искусстве чаще можно встретить на памятниках другого круга, хотя их изображения иногда помещались и на надгробиях (Hiller. 1975. Taf. 21, 1). Изображение сидящей на троне Афродиты с зеркалом в руке можно видеть на рельефе V в. до н. э. из Виллы Альбани (Hiller. Taf. 25). Встречаются профильные изображения сидящих женщин с зеркалами в руках и на аттических (Boardman. 1975. Pl. 175) и итальянских (Green. 1986. Pl. 11, 1; 23, 5,6) краснофигурных вазах. Примечательно, что чернофигурный килик с изображением сидящей женщины с зеркалом в руке был найден в одном из курганов скифского Елизаветовского могильника на Нижнем Дону (Брашинский. 1976. С. 99. Рис. 2).

К начальному этапу формирования и распространения изображений этого типа в туземном мире Северного Причерноморья непосредственное отношение имеет находка так называемого золотого «перстня Скила», упоминавшегося выше. Это изображение как по своему типу, так и по связанным с ним представлениям оказывается наиболее близким именно к рассматриваемой серии бляшек, которые фиксируются лишь на территории Приднепровья.

Менее распространенный тип сидящего женского божества представлен на квадратных нашивных бляшках из кургана Чертомлык (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991. Рис. 75, № 101; Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 258). 56 бляшек с этим изображением были найдены в северо-западной камере кургана и, очевидно, относились к украшениям головного убора (Алексеев, 1986. С. 68, № 26). Богиня на бляшке, восседающая лицом к зрителю, имеет большую голову и крупные, грубо смоделированные черты лица (рис. 35). На голове у нее покрывало, вероятно, надетое поверх какого-то головного убора. Складки его спускаются на плечи богини, симметрично окутывая ее фигуру. Не существует единого мнения о том, в какой именно позе представлено божество. Было высказано предположение, что два больших треугольника в нижней части бляшки являются его огромными ступнями (Онайко. 1976. С. 170), однако, скорее всего, здесь изображена лишь верхняя половина тела (Бессонова. 1983. С. 99). Слева от богини можно увидеть фигуру «скифа» (переданную очень грубо и обобщенно). Справа же находится, по мнению большинства исследователей, жертвенник с горящим

огнем. Его изображение, хотя и выполнено чрезвычайно просто и состоит, по существу, из рельефных горизонтальных и вертикальных линий, проработано лучше, чем изображение скифа, предстоящего перед богиней. Жертвенник занимает в композиции почти такое же пространство, что и мужская фигурка, являясь, по всей вероятности, существенной и важной ее частью. Сюжет и композиция сцены, представленной на бляшках из Чертомлыка, достаточно самобытны и оригинальны. Огрубленный тип богини-матроны можно сопоставить, пожалуй, со схематичными изображениями богинь



Рис. 35. Золотая бляшка из кургана Чертомлык

на греческих терракотовых статуэтках-протомах. Целая серия таких протом, в том числе относящихся к классическому и раннеэллинистическому времени, происходит, например, из святилища на Майской Горе на Азиатском Боспоре (Марченко. 1974. Табл. 37–39). Местные типы этих протом (напр., табл. 37, 3, 4; табл. 38, 4; табл. 39, 5, 6) часто имели крупные, грубые, схематично переданные черты лица. А. П. Иванова в свое время обратила внимание на сходство в трактовке деталей между изображениями на погребальных боспорских памятниках местного производства и женских изображений на некоторых изделиях грекоскифской торевтики (Иванова. 1953. С. 33; 1961. С. 78–79). Правда, памятники эти, как правило, относятся к несколько более позднему времени — III–I вв. до н. э. (Иванова. 1961. Табл. 32, 34, 35, 37–40). Так, например, можно заметить некоторое сходство между богиней на бляшках из Чертомлыка и двумя надгробными статуями, найденными в ст. Сенная в 1871 г. (Иванова. 1961. Табл. 25, 26). К сожалению, обстоятельства находки затрудняют их датировку, однако не исключена их принадлежность к IV–III вв. до н. э. Обе эти скульптуры представляют собой строго фронтальные изображения женщин. Головы у обеих большие, лица круглые, одутловатые, черты лица грубые. На головах у обеих — головные уборы типа башлыков. Поверх этого убора у одной из женщин накинута покрывало, а у другой — плащ. Трактовка складок хитонов, плаща и покрывала на обеих скульптурах отличается строгой линейностью и плоскостью.

Грубость, «варваризированность» изображения божества на бляшках, наличие лишь одного (известного нам) штампа для их изготовления, присутствие этих находок лишь в одной камере одного-единственного памятника — все это делает весьма вероятным предположение о том, что композиция на

бляшках этого типа была создана негреческим мастером. Находка их в основном погребении, принадлежность к головному убору, очевидно, свидетельствуют о чрезвычайной значимости этого образа в погребальном ритуале.

Химический анализ золотых бляшек из Чертомлыка показал, что по составу металла их можно разделить на две большие группы: первая была изготовлена из высокопробного золота (958), а вторая — из низкопробного (292) (Алексеев. 1986. С. 72). Рассматриваемые бляшки с сидящей богиней принадлежат ко второй группе. Как нам представляется, это является дополнительным аргументом в пользу мнения о том, что штамп для изготовления этих бляшек вышел из рук местного мастера.

Достаточно широко распространенным, очевидно, являлся тип, представленный на золотых «серьгах» в виде фронтального изображения женского божества со львами по обеим сторонам (рис. 36. 1–3). Этот образ известен по изображениям на золотых подвесках, найденных в трех женских погребениях. Пара «серег» происходит из кургана Толстая Могила (Мозолевский. 1979. С. 134. Рис. 117–118), одна была найдена в кургане № 2 у с. Любимовка Херсонской обл. (степное Приднепровье) (Петренко. 1978. Табл. 20, 1), еще одна пара была обнаружена в кургане № 5 Мاستюгинского могильника в Воронежской обл. (лесостепное Подонье) (Либеров. 1965. Табл. 36, 27; Манцевич. 1973. С. 38. Рис. 11. 2). Серьги однотипны (хотя изображения на них отличаются в деталях); вся серия датируется второй половиной IV в. до н. э. (Бессонова. 1982а. С. 20). Они изготовлены в одинаковой технике — на листовом золоте оттиснуто рельефное изображение, которое затем было вырезано по контуру.

Щитки подвесок выполнены в виде фигуры богини. Лицо у нее круглое, широкое, одутловатое, черты лица переданы схематично. Руки ее подняты вверх, непропорционально большие («бутонообразные», по описанию С. С. Бессоновой. Указ. соч. С. 23), кисти рук сливаются с головным убором типа калафа, напоминающим головной убор богини с «оленьями» на бляхе из Александропольского кургана. Богиня одета в свободное одеяние (хитон) без рукавов. Из-под одежды выступают носки ног. На калафе богини из Любимовки изображены две горизонтальные черты, делящие ее головной убор на зоны, что находит соответствие в круге погребальных головных уборов, обнаруженных в могилах скифских цариц (Мозолевский. 1979. С. 202–203. Рис. 134; Клочко. 1982). К основанию щитка прикреплены подвески двух типов — амфоровидные и каплевидные. На любимовском экземпляре к рукам богини прикреплены на цепочках дисковидные подвески.

Отличительной особенностью этого типа изображений является пара львиных голов и лап, отходящих от одежды богини, головы животных с гривами и прижатыми ушами, переданные в профиль, как бы «вырастают» из ее пояса. Поэтому изображение обычно трактуют как изображение богини, вос-

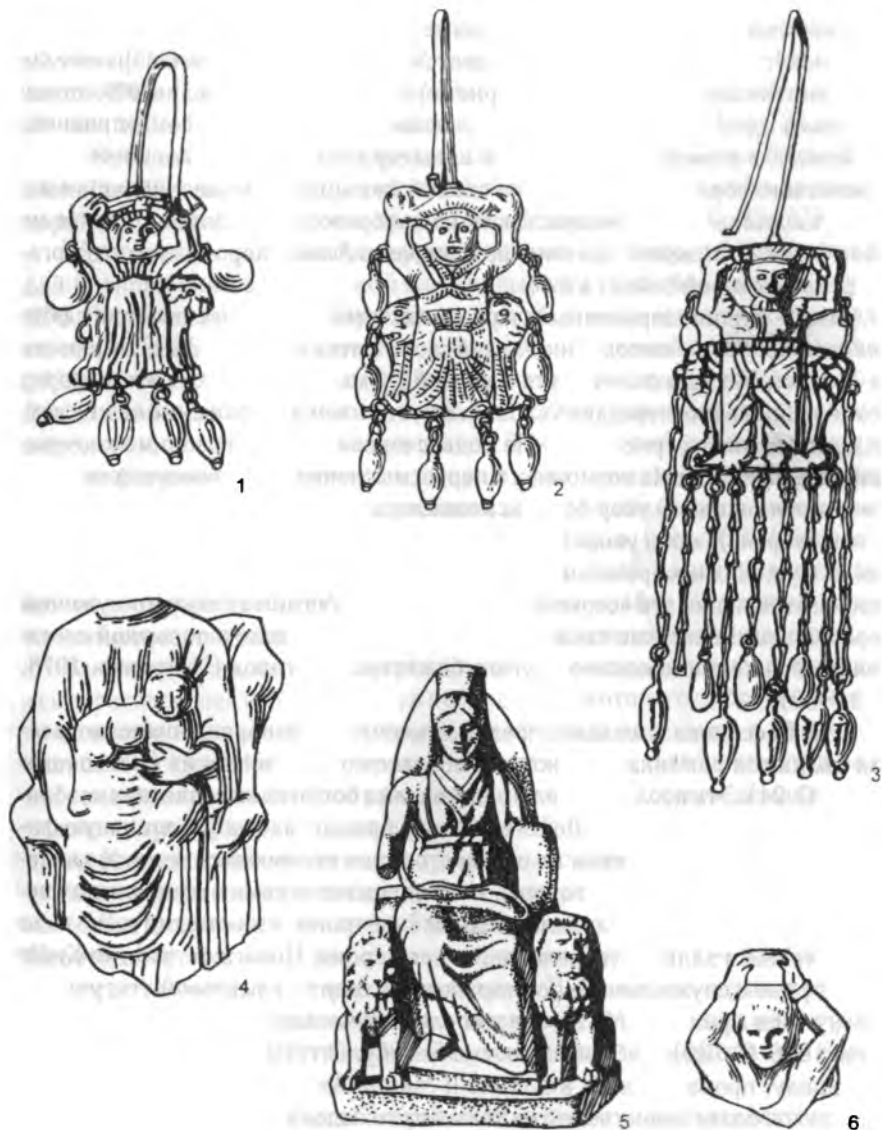


Рис. 36. 1–3 — золотые подвески (1 — Любимовка; 2 — Толстая Могила; 3 — Мاستюгино); 4–5 — мраморные скульптуры Кибелы; 6 — фрагмент терракотовой статуэтки из Мирмекийского зольника

седающей на двух львах (Петренко. 1978. С. 31; Бессонова. 1982а. С. 20). Однако хочется отметить, что такая трактовка образа вызывает определенные сомнения, так как подобная схема не характерна для памятников греческого искусства. Более того, ей не удастся найти аналогий и в изобразительных памятниках Северного Причерноморья, Кавказа и Переднего Востока. Да и сама идея «восседания на двух львах» кажется весьма сомнительной. Возможно, в этом случае мы имеем попытку создания и воплощения некого женского образа, связанного со схемой «женщина и кошачьи хищники». И эти хищники как бы «вырастают» из изображений (в данном случае из юбок богини), подобно «оленьям» на бляшке из Александропольского кургана, речь о которой пойдет ниже.

Самый «эллинизированный» и реалистичный вид богиня имеет на любимовской подвеске, выполненной наиболее тщательно (рис. 36.1). «Серьги» из Толстой Могилы отличаются большей схематизацией и сухостью форм; поза богини на них передана условно. Вместе с тем изображение на них четче и декоративнее (рис. 36.2). На подвесках же из Мастюгино можно увидеть явное развитие (а возможно, и переосмысление) первоначального типа: изменился головной убор богини, появилось нашейное украшение (гривна или пектораль), юбка укоротилась до колен, а ниже видны длинные штаны, как на мужских изображениях (рис. 36.3). По мнению В. Г. Петренко, мастер, изготовивший эти «серьги», соединил образ богини с каким-то мужским персонажем. Возможно также, что мы имеем здесь дело с попыткой создания изображения какого-то другого божества или героя (Петренко. 1978. С. 31–32).

С. С. Бессонова высказала предположение, что изображения на подвесках являются репликами какого-то объемного произведения (Бессонова. 1982а. С. 24). Эта исследовательница видела в богинях на подвесках изображения Владычицы зверей. Действительно, при взгляде на фронтальную фигуру богини с двумя львами по обеим сторонам вспоминается тип архаической Артемиды. С другой стороны, этот тип имеет несомненную связь с изображениями Кибелы со львами, сидящей на троне, известными в IV в. до н. э., а также в эллинистическое и римское время. Полагают, что тип Кибелы на троне с двумя львами по сторонам восходит к культовой статуе, воздвигнутой в афинском Метрооне в последней четверти V в. до н. э. (Саверкина. 1986. С. 130). Небольшие вотивные скульптуры, восходящие к этому оригиналу, производились в Аттике и Малой Азии. Изображение именно пары львов более свойственно малоазийским изделиям; на изготовленных в этом регионе скульптурах и терракотовых статуэтках Кибела чаще изображалась в калафе, а не в толосе (рис. 36.5) (Указ. соч. С. 131). Примером подобного изображения этой богини может служить небольшая мраморная вотивная статуэтка из Эрмитажа (Указ. соч. Кат. № 54). Однако существо-

вал и другой тип изображения сидящей Кибелы — со львом на коленях, также представленный в эрмитажном собрании (рис. 36.4) (Указ. соч. № 56). Этот тип можно встретить и на терракотовых статуэтках, найденных при раскопках Ольвии (Леви. 1970. Табл. 16, 1, 3, 5, 6; Табл. 17; Табл. 18, 1, 2; Русяева. 1979. С. 106. Рис. 51. С. 107. Рис. 52), поселений Европейского (Денисова. 1981. Табл. VI, б, ж) и Азиатского (Кобылина. 1974. Табл. 24, 9) Боспора. Эти статуэтки, в ряде случаев датирующиеся несколько более поздним временем, повторяют устойчивый тип, распространенный в греческой коропластике в классическое время (см.: Денисова. 1981. С. 35–37).

Жест богини, поднимающей руки к головному убору, не характерен ни для изображений архаической Артемиды, ни для изображений Кибелы. С. С. Бессонова называла эту позу «позой оранты или моления» и приводила ей аналогии в круге памятников Кавказа и Передней Азии (Бессонова. 1982а. С. 28 сл.; 1983. С. 92 сл.). Приведем этому жесту еще одну аналогию. В подобной позе в изделиях античной коропластики часто изображались персонажи, несущие что-либо на голове. Такой жест можно видеть, например, на фигурках канефор — дев, несущих на головах корзины с культовыми предметами, найденных при раскопках Мирмекийского зольника и относящихся к концу IV — первой половине III вв. до н. э. (рис. 36.6) (Денисова. 1981. Табл. 6, з, д; Гайдукевич. 1987. С. 83. Рис. 104). Заметим, что изображения корзин на этих статуэтках были переданы крайне схематично и вполне могли трактоваться в варварском мире как сложные головные уборы.

Таким образом, на этой серии подвесок мы видим достаточно сложное, «синкретическое» изображение, в иконографии которого с образом местного божества были соотнесены черты архаической Артемиды, а также типа сидящей на троне Кибелы, характерного для позднеклассического и эллинистического времени. Изображения на трех парах «серег», демонстрируя несомненную близость и принадлежность к одному типу, не повторяют друг друга. Каждое из них имеет свои характерные отличия, заключающиеся как в общем характере изображения, так и в его деталях. По-видимому, здесь мы имеем дело с «живой» линией развития этого типа в варварской среде. Особенно интересны, конечно, экземпляры из Мастюгина — наиболее удаленного от античных центров памятника. И. В. Яценко полагала, что «серьги» эти, так же как и любимовские, вышли из рук туземных, а не греческих мастеров (Яценко. 1971. С. 136). Это мнение представляется нам вполне обоснованным.

Особую группу женских изображений в греко-скифской торевтике представляют изображения «прорастающих» — изображения, в которых более подчеркнуты и разработаны растительные мотивы в нижней части. Эти черты можно увидеть на терракотовой пластинке из слоя Херсонесского городища IV–III вв. до н. э. (Пятышева. 1947. С. 213), известняковой плите из

Херсонесского некрополя (Косцюшко-Валюжинич. 1907. С. 140. Рис. 30), резной костяной пластине из гробницы 4 кургана Гайманова Могила (Бідзіля. 1971. С. 49 сл.; Яковенко, Бидзиля. 1979. С. 457 сл. Рис. а, б). Любопытной параллелью этим крылатым персонажам с гипертрофированной растительностью в нижней части тела может служить терракотовая форма для оттиска статуэток в виде сирены, найденная при раскопках Фанагории, подробно изученная М. М. Кобылиной (Кобылина. 1967; 1974. Табл. 35, 4). Как показала эта исследовательница, подобные изображения, восходящие к антическим надгробиям, были широко распространены в античном мире в эпоху эллинизма. Отметим, однако, что от всех приведенных ею аналогий эту вещь отличает одна существенная, на наш взгляд, деталь — изображение растительных побегов у ног крылатого существа, сближающее его с приведенными выше памятниками.

Замыкает рассматриваемый круг образов изображение на золотой бляшке, происходящей из грабительских раскопок близ ст. Лабинская на Кубани (Веселовский. 1910. С. 214. Рис. 245). У представленного здесь божества нижние края одежды трактованы в виде растительных побегов, выше располагаются головы грифонов на длинных шеях, которые богиня сжимает в руках. Пара крыльев, возвышающихся над ее плечами, также имеющая головки грифонов на концах, трактована как «крылья-грифоны» (рис. 37.2). К сожалению, обстоятельства находки этой вещи, происходящей из грабительских раскопок, не дают возможности судить о ее узкой датировке. Этот экземпляр близок по своему типу и некоторым иконографическим особенностям к еще одному чрезвычайно своеобразному варианту воплощения скифского женского божества, неоднократно привлекавшему внимание исследователей.

К этому типу относятся изображения на знаменитых золотых бляшках из кургана Куль-Оба и серия изображений на бляшках из херсонесского склепа № 1012 (Рогов. 2002). Изображения чрезвычайно своеобразны, а также важны для понимания греко-варварских контактов в сфере изобразительного искусства на территории Северного Причерноморья.

При раскопках кургана Куль-Оба были обнаружены 4 нашивные ажурные бляшки с изображением женского божества (рис. 38), сделанных в технике штампа с дополнительной гравировкой (Артамонов. 1966. Табл. 230; Piotrovsky, Galanina, Grach. Tabl. 203). Богиня одета в пеплос, сколотый на плечах, на голове у нее — калаф. На плечах богини крылья, заканчивающиеся головками рогатых грифонов (крылья-грифоны). Складки одежды в нижней части фигуры божества трактованы в виде пары змей, ниже изображена пара птичьих головок на длинных шеях, еще ниже — пара головок грифонов. Идея «прорастания» также, возможно, присутствует в данном изображении — в нижней части фигуры иногда видят схематичное изображе-



Рис. 37. Золотые бляшки (1 — из Херсонесского склепа 1012;
2 — из ст. Лабинская)



Рис. 38. Бляшка из кургана Куль-Оба

ние пальметки (Копейкина. 1986. С. 53). Впрочем, растительные мотивы не акцентированы, а в лучшем случае лишь слабо намечены. При взгляде на этот шедевр греко-варварской торевтики зритель, конечно, в первую очередь обратит внимание на «экзотические» атрибуты богини — змей, головки грифонов. Среди этих атрибутов самым необычным оказывается изображение мужской бородатой человеческой головы, которую богиня держит в левой руке.

Л. В. Копейкина, подробно проанализировавшая изображения на бляшках из Куль-Обы, пришла к выводу, что иконографический тип представленного на них женского божества «не является изобретением местных мастеров» (Копейкина. 1986. С. 54). Однако все приведенные ею аналогии из репертуара памятников античного искусства (Указ. соч. С. 54–55) не совсем точны, так как каждая из них отражает лишь отдельные черты рассматриваемого божества (растительные мотивы, отдельные изображения грифонов и т. п.). Иконография образа, представленного на бляшках из Куль-Обы, гораздо сложнее. В качестве некоторой сюжетной аналогии этому образу можно привести изображения крылатых «прорастающих» богинь, фланкированных фигурками грифонов на уже упоминавшейся выше золотой диадеме из Британского музея (Marshall. 1911. Pl. XXVII. p. 1610). Но и здесь представленное женское божество, играющее роль орнаментального мотива, «бледнее» и проще, чем грозный, полный внутреннего напряжения (несмотря на свою статичность) образ на рассматриваемых бляшках.

Конечно, мастер, его задумавший, обращался к художественным приемам и образам, характерным для античного искусства, однако, соединяя и комбинируя отдельные элементы, в результате создал достаточно оригинальное и сложное произведение. Самой интересной особенностью богини из Куль-Обы является бородатая мужская голова, которую она держит в левой руке. В литературе ее часто называют «маской Силена» (например, Бессонова. 1983. С. 97; Копейкина. 1986. С. 55). Д. Б. Шелов в свое время обратил внимание на сходство головы в руках у богини с изображениями силенов на монетах Боспора (Шелов. 1950. С. 64). Интересно, однако, что, по мнению этого исследователя, тип Силена на боспорских монетах отличался от чисто греческого изображения этого божества. Он также привел ряд близких изображений на бляшках из курганов Азиатского Боспора (Указ. соч. Рис. 18.1–3).

На наш взгляд, наиболее точно определил предмет, который держит в руках куль-обская богиня, М. И. Артамонов, назвав его «отсеченной головой» (Артамонов. 1961. С. 67). М. И. Артамонов связывал этот атрибут с культом почитавшейся на Боспоре Афродиты Апатур и полагал, что на куль-обских бляшках она могла быть изображена с головою одного из гигантов, с которыми, согласно преданию, она расправилась при помощи Геракла (Diod. II.

43). Рассказ об этом, действительно, содержится в труде Диодора Сицилийского, однако в нем ничего не говорится о том, что головы врагов отрезались и приносились богине.

С. С. Бессонова считала, что это изображение может быть сопоставлено с практикой женских оргиастических культов, распространенных в античное время в Восточном Средиземноморье (Бессонова. 1983. С. 97). Не отрицая возможности соотнесения женского изображения с отрубленной головой в руках с греческой культовой практикой, отметим все же необычность иконографической схемы, представленной на бляшках из Куль-Обы, для памятников античного искусства. Поэтому для понимания этого образа нам представляется более интересным и перспективным подход М. И. Артамонова, попытавшегося наметить его связь с какой-то местной северопричерноморской традицией.

Лишь один источник — Геродот (IV, 103, 1, 2) — сообщает о местном таврском женском божестве, которому приносились подобные жертвы.

Отметим также, что мотив отрубленной человеческой головы можно встретить и на некоторых других произведениях греко-скифской торевтики IV в. до н. э. Примечательно, что все эти предметы происходят с территории одного района — Прикубанья. К ним относятся изображения воинов с отрубленными головами в руках на золотом «колпачке» из Курджипского кургана (Галанина. 1980. С. 93. Рис. 51). Изображения голов («масок») с закрытыми глазами украшают основание золотой треугольной пластины из кургана Карагодеуашх (Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 232). На фрагменте ритона из этого же кургана можно увидеть изображения обезглавленных человеческих тел (Артамонов. 1961. С. 74. Рис. 18).

Тема эта представлена и на некоторых греческих изделиях, также связанных с памятниками этого региона. Обезглавленную фигуру Медузы можно увидеть на фрагменте резной кости из сырцовый гробницы в курганный группе Уташ, расположенной недалеко от Семибратних курганов и, очевидно, датированной тем же или несколько более поздним временем (Алексеева. 1991. С. 30–31. Табл. 51).

Учитывая современные представления о таврской культуре, ее изолированности, ограниченности ее ареала районами горного и предгорного Крыма, следует признать, что таврское общество являлось достаточно отсталым и замкнутым обществом горцев (Щеглов. 1981. С. 205 сл.; 1988. С. 57 сл.). Поэтому круг аналогий в памятниках материальной культуры, связанных с областью Прикубанья, представляется нам более выразительным.

Вполне вероятно, что образ женского божества с мужской головой в руках, воплощавшийся в греко-варварской торевтике, связан с особенностями религиозных представлений населения определенного региона — Азиатского Боспора.

Проблема датировки золотых бляшек из Куль-Обы представляет определенную сложность. Не совсем ясно, с каким конкретным погребением связаны эти находки. В кургане Куль-Оба фиксируется несколько последовательных захоронений. Древнейшее, над которым был возведен каменный склеп, возможно, относится к первой половине IV в. до н. э., более поздние — к 340–320 гг. до н. э. (Алексеев. 1992. С. 156–157). Л. В. Копейкина, специально изучавшая нашивные бляшки из Куль-Обы, отнесла бляшки с изображением богини к первой половине IV в. до н. э. (Копейкина. 1976. С. 55). Она считала, что бляшки из Куль-Обы были сделаны в боспорских мастерских по специальному заказу. Как нам представляется, датировка, предложенная этой исследовательницей на основании стилистического анализа находок, является наиболее обоснованной.

Этот же иконографический тип богини с человеческой головой в левой руке представлен на бляшках, происходящих из склепа 1012 в Херсонесе, открытого в 1899 г. и содержавшего ряд погребальных урн с прахом. В урнах 4 и 6 были обнаружены бляшки из тонкой золотой фольги с изображением богини (Manzevisch. 1932. Pl. I, 4; Пятышева. 1956. Табл. I, 1; 1971. С. 89, 98). На голове у богини стефана, лицо более круглое и широкое по сравнению с лицом божества из Куль-Обы. Богиня имеет пару крыльев, трактованных в виде шей грифонов; пары складок ее хитона ниже пояса трактованы в виде двух пар змеиных шей и голов грифонов. Человеческая голова в руке богини передана более схематично, чем на бляшках из Куль-Обы (рис. 37.1). Однако из урны 6 с прахом происходят бляшки с изображением бородатой мужской головы, очень близкие по типу к тем, которые представлены на находках из Куль-Обы (Manzevitsch. Pl. I, 5). Н. В. Пятышева считала бляшки с изображением богини из Херсонесского склепа продукцией боспорских мастерских и называла их «упрощенно-варваризированной копией бляшек из Куль-Обы» (Пятышева. 1971. С. 98–99).

Временем постройки стены считают 350–300 гг. до н. э.; по мнению Н. В. Пятышевой, пристенный склеп 1012 функционировал в 325–250 гг. до н. э. (Пятышева. 1956. С. 12). Е. Я. Рогов на основе анализа погребального инвентаря предложил новую датировку херсонесского склепа — последнюю четверть IV — первую треть III в. до н. э. (Рогов. 2002. С. 41). Бляшки же с изображением женского божества, представляющие несомненную близость бляшкам Куль-Обы, вероятнее всего, относятся еще к IV в. до н. э.

Бляшка с похожим изображением, представляющим тот же женское божество, держащее в руках отрубленную голову, происходит из Прикубанья (Анфимов. 1987. С. 127).

Примечательно то обстоятельство, что два из трех известных экземпляров бляшек, на которых представлен тип крылатого стоящего женского божества с человеческой головой в руке, были обнаружены в составе погреб-

бального инвентаря захоронений, располагавшихся на территории греческих городов Северного Причерноморья. Очень близкая по ряду иконографических черт (крылья-грифоны, трактовка двух пар складок хитона в виде хтонических существ) изображениям из Куль-Обы (Пантикапея) и Херсонеса бляшка из ст. Лабинской в Прикубанье (рис. 37.2) представляет богиню без своеобразного атрибута — головы — в руках.

Достаточно распространенными среди женских образов в искусстве Северного Причерноморья были изображения, названные «прорастающими» (Савостина. 1996. С. 79–80). У таких изображений нижняя часть фигуры трактована в виде стилизованных прорастающих побегов, иногда увенчанных цветами. Часто в растительные мотивы переходят складки одежды (нижняя часть складок хитона). Иногда сама фигура как бы вырастает из побега аканфа.

Одним из наиболее выразительных изображений в этой серии является изображение обнаженной женской полуфигуры в месте крепления ручки на серебряном блюде из северо-западной погребальной камеры Чертомлыцкого кургана в Приднпровье (Толстой, Кондаков. 1889. С. 111. Рис. 98; Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 188. Кат. № 92. С. 174 сл.). Фигура женщины как бы вырастает из аканфа, ее обнаженные руки, украшенные витыми браслетами, подняты вверх, большие пальцы как бы поддерживают странный, резко расширяющийся в верхней части головной убор, напоминающий калаф (рис. 39). Головной убор передан в более низком рельефе, чем все прочие части изображения, и по отношению к ним кажется менее выпуклым, уплощенным и как бы «отступающим» на задний план.

Помещенная внизу, под акантовым трилистником пальметка имеет расходящиеся листья, концы которых изогнуты вниз, по направлению к центральному листу.

Д. А. Мачинский обратил особое внимание на необычный (трактованный в верхней части как выгнутый полумесяц) головной убор божества и то обстоятельство, что листья пальметки в нижней части изображения «более всего напоминают схематическое изображение пучка корней, уходящих под землю», как на отличительные черты, важные для понимания образа в целом (Мачинский. 1978а. С. 133).

Действительно, в круге греческих памятников классического и эллинистического времени не удастся обнаружить близких аналогий головному убору женского божества на чертомлыцком блюде. Несколько аналогий этому убору (в сочетании с жестом божества, поддерживающего его руками) можно отметить на памятниках гораздо более раннего времени. К их числу принадлежат позднемикенские резные камни, упоминавшиеся в предыдущем разделе работы (Boardman. 1970. п. 113, 145). Некоторую близость форме этого головного убранства являют уборы, венчающие изображения

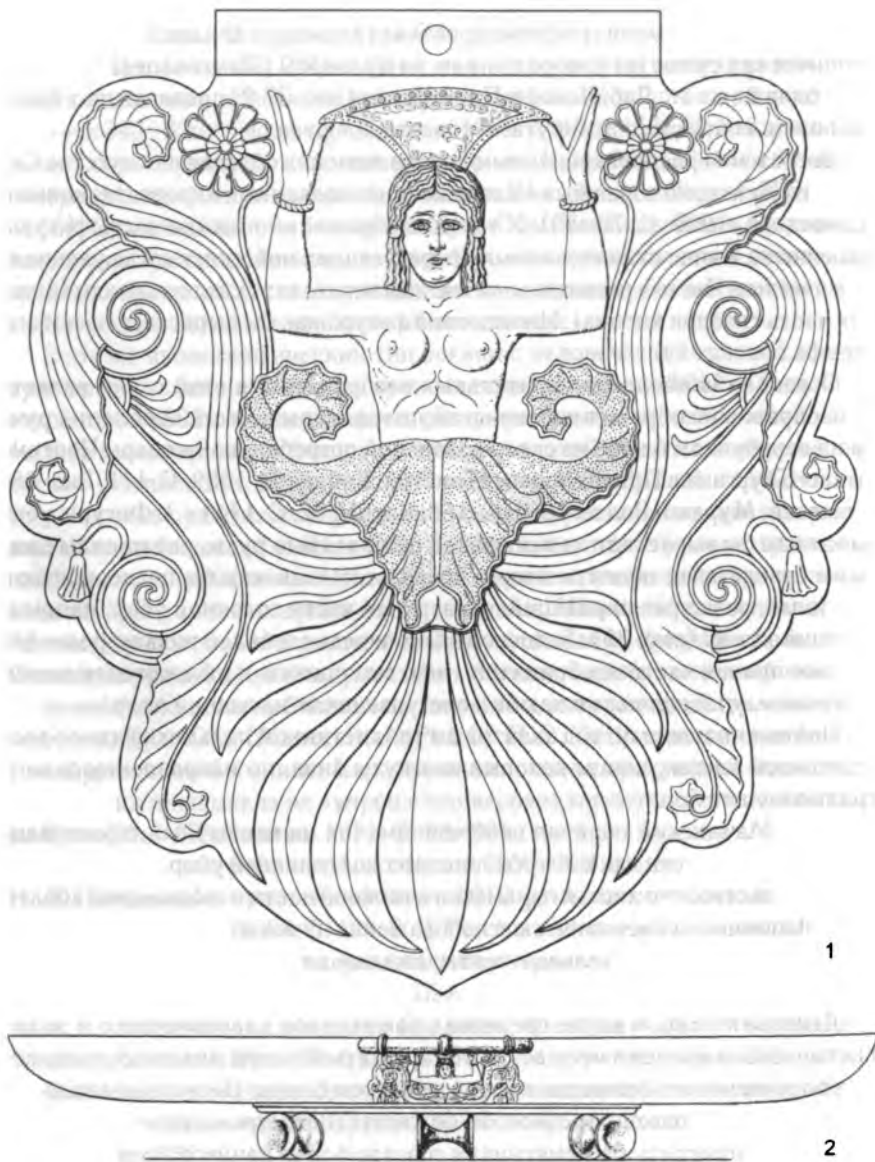


Рис. 39. Таз из кургана Чертомлык

египетской богини Хатхор на ручках-подставках бронзовых зеркал эпохи 18 династии (1550–1335 гг. до н. э.) (*Mistress of the House...* п. 22 a,b). На втором из них (п. 22 b) божество, подобно деве из Чертомлыка, поддерживает руками края убора.

Справедливо и замечание, что божество на блюде из Чертомлыка не только «прорастает», но и является «укорененным». Действительно, нижняя часть изображения (пальметка под акантовым трилистником) более всего напоминает корневую систему. Она лишь частично занимает нижнюю половину боковой плоскости блюда, основная же часть переходит на нижнюю его поверхность. Таким образом, когда блюдо находится в своем «нормальном» положении, нижняя часть изображения, подобно корням, уходящим под землю, остается невидимой для зрителя (см.: Толстой, Кондаков. 1899. С. 110. Рис. 97; Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. Рис. на с. 188).

Погребения в Чертомлыцком кургане относятся к последней трети IV в., «узкая дата» этого памятника, вероятно, лежит в пределах 330–310 гг. до н. э. (Алексеев. 1981; 1986. С. 36; 1992. С. 152). Основной же набор вещей относится к 340–320 гг. до н. э. (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991. С. 136).

Близкой аналогией этой иконографической схеме является изображение на капители конца IV в. до н. э. из Саламиса (Кипр), где между двумя букраниями представлена задрапированная женская фигура с руками, поднятыми к головному убору (Valeva. 1995. P. 343. Fig. 8). Женскую фигуру, похожую на ту, которая украшает капитель с Кипра, можно увидеть и на капители более позднего времени (II в. до н. э.) из Колхиды (Лордкипанидзе. 1978. Рис. на с. 76). В похожей позе представлены и фронтальные изваяния, украшавшие гробницу III в. до н. э. в Свещарах (Болгария) (Чичикова. 1983. С. 24). «Прорастающая» дева изображена на мозаике конца IV в. до н. э. в Вергине (Andronicos. 1984. P. 45). Встречается этот образ и на золотых погребальных диадемах второй половины IV — начала III в. до н. э. (см., например: Marshall. 1911. P. 172. п. 1612, 1614). В качестве античных параллелей указанному типу часто приводят материалы, обнаруженные при раскопках Олинфа, относящиеся к IV в. до н. э., включающие как женские (Robinson. 1933. Pl. 6. 15), так и мужские (см.: Бессонова. 1993. С. 85 сл. Рис. 10.1; Valeva. 1995. Fig. 4) изображения. Несколько позже тип обнаженной женской полуфигуры достаточно широко распространяется в искусстве Боспора. В качестве примера можно привести известный боспорский акротерий I в. до н. э., хранящийся в Гос. Эрмитаже и реконструированный Е. А. Савостиной (Савостина. 1996. С. 76. Рис. 6).

Эта исследовательница обратила внимание на то обстоятельство, что изображения «прорастающих» дев (как и изображения аканфа) часто связаны с погребальными памятниками, и высказала интересную гипотезу об их связи с загробным, хтоническим миром и одновременно с идеей воскрешения-

прорастания, выраженную изобразительными средствами (1996. С. 80 сл.). Добавим к этому, что сакральное значение, связанное с этой идеей, на предметах греко-скифской торевтики IV в. до н. э., вероятно, могли иметь и изображения растительного орнамента. Л. С. Клочко убедительно показала связь таких орнаментальных изображений с украшениями ритуальных женских головных уборов этой эпохи (Клочко. 1982. С. 39 сл. Рис. 3–1, 4, 6). Действительно, часто фризы налобных лент украшались группами орнамента, симметрично расположенными по отношению к центральному изображению, которым часто оказывается акантовая завязь, из которой «вырастают» все прочие элементы орнамента (например: Мозолевский. 1979. С. 128. Рис. 110). Д. А. Мачинский подробно рассмотрел этот прием художественной передачи идеи женского божества, символом которого выступал растительный орнамент, на примере серебряных амфоры и блюда из Чертомлыка: если на блюде, речь о котором шла выше, присутствует изображение самого божества, то на амфоре его заменяет система растительного орнамента, «вырастающего», как и женская полуфигура на блюде, из акантовой завязи (Мачинский. 1978. 1978а. С. 132–133). Как нам представляется, такую же «замену» можно видеть и на пластине, расположенной под ручкой бронзового блюда из центральной гробницы кургана Толстая Могила (Мозолевский. 1979. С. 65. Рис. 48, 49). Имеющаяся на ней композиция очень близка изображению на чертомлыцком блюде. Здесь, несмотря на отсутствие самого антропоморфного изображения, орнамент как бы вырастает из аканфа, он отличается строгой симметрией, составляя ритмическую группу, очень напоминающую чертомлыцкую.

Ю. Валева, приведя целый ряд параллелей «прорастающим» девам, пришла к выводу, что иконография «прорастающих» оформилась, скорее всего, в Аттике и образ этот получил широкое распространение после Пелопоннесской войны, в конце V — IV в. до н. э. (Valeva. 1995. P. 346–347). Однако в ее работе данный образ (в связи с поставленной исследовательницей задачей) понимается чрезвычайно широко и рассматривается достаточно обобщенно. Интересным, в связи с нашей темой, является упоминание о существовании в Этрурии изображений голов и полуфигур, возможно, местного происхождения, «вырастающих» из растительного орнамента, и предположение, что подобные схемы, отражавшие какие-то местные представления, могли иметь здесь самостоятельную линию развития (Ibid. P. 340).

Несомненно, представления варваров, населявших Северное Причерноморье, способствовали развитию этой иконографической схемы в греко-варварском искусстве. Вместе с тем, она могла легко адаптироваться в соответствии со вкусами заказчика, и вещи, украшенные подобными изображениями, естественно «вписывались» в контекст местной культуры, занимая свое место в вещевых комплексах скифских аристократических гробниц.

С одной стороны, изображение «прорастающей» девы на блюде из Чертомлыка в целом можно поместить в круг синхронных памятников, распространяющихся в ареале греческой культуры. С другой стороны, схема, представленная на этом памятнике, имеет «странные» и своеобразные черты, не находящие аналогий, — головной убор и «корневую систему» в нижней части.

Как мы видим, черты эти были органически включены в это, на первый взгляд, вполне эллинизированное изображение женского божества. Очевидно, по ним можно судить о развитии и дополнении широко распространенной в античном мире схеме, помещенной на предмете, предназначенном для сбыта в Скифии.

В целом же ряде случаев потребности северопричерноморского рынка диктовали создание еще более сложных иконографически (и вероятно, семантически) образов. И образы эти еще больше отличаются от изображений, представленных на античных памятниках, происходящих из других регионов, чем «прорастающая» дева из Чертомлыка.

Ярким примером такого более сложного образа может служить женское изображение, помещенное на золотом конском налобнике, происходящем из кургана Цимбалка в Приднепровье, раскопанном в 1868 г. И. Е. Забелиным (Galanina, Grach. 1986. Pl. 144).

Серебряный налобник аналогичной формы (почти полностью разложившийся), с таким же, скорее всего, выполненным при помощи одной матрицы изображением, был найден в конском погребении № 2 кургана Толстая Могила, открытом сравнительно недавно (Мозолевский. 1979. С. 35. Рис. 20; С. 39. Рис. 23). Согласно периодизации скифских «царских» курганов Приднепровья, разработанной А. Ю. Алексеевым, эти курганы относятся к одному хронологическому пласту и были, вероятнее всего, сооружены в 360/350 — 330/320 гг. до н. э. (Алексеев. 1982; 1992. С. 149–150, 163).

На этих налобниках представлено женское божество, также «вырастающее» из завязи (рис. 40). В нижней части налобника (так же, как и на изображении из Чертомлыка) можно увидеть пальметку, как бы растущую вниз, из которой «вырастает» божество. Из этой пальметки «вырастают» две змеи, переплетающиеся головами в нижней части пластины. Нижние складки подпоясанного хитона, в который одета женщина, «переходят» в шепильвиноголовых рогатых грифонов, рога которых она сжимает в опущенных вниз руках. Ниже, на том месте, где, следуя реалистическим традициям античного искусства, мастер должен был бы изобразить ноги женщины, помещена другая пара грифонов, менее «грозных» — они птичеголовые, не имеют рогов и отличаются меньшими размерами по сравнению с верхней парой. Под ними помещены волюты, завитки которых симметричны загнутым внутрь и вверх головам грифонов. Грудь божества также подчеркнута парой завитков, на голове у него — калаф. Представленное здесь женское

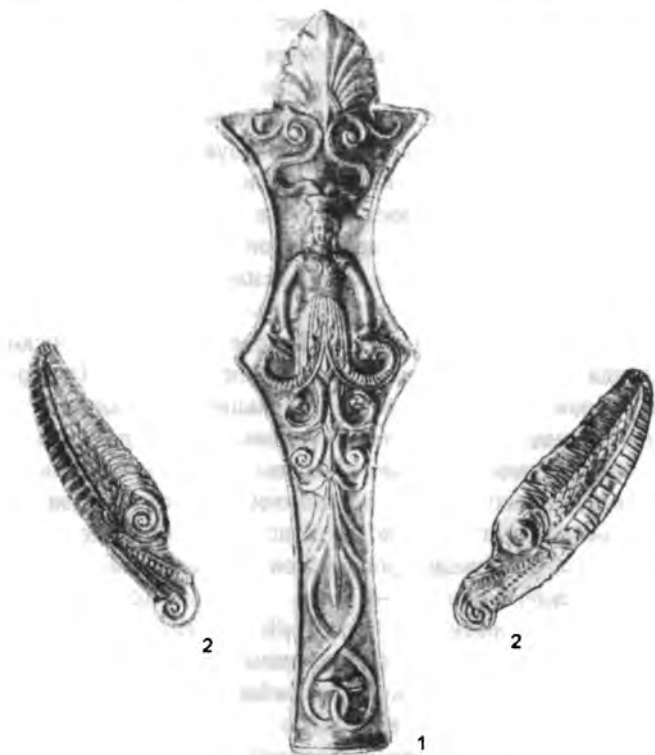


Рис. 40. Украшения конской сбруи из кургана Цимбалка
(1 — налобник; 2 — нашечники)

изображение не только «укоренено» и «вырастает», оно само как бы дает жизнь следующему растительному циклу — из калафа на его голове «растут» два побега, заканчивающиеся пальметкой с волютами.

В женских образах, которые мы видим на налобниках из Цимбалки и Толстой Могилы, при помощи изобразительных приемов, характерных для греческого искусства классического времени, воплощена чрезвычайно сложная идея о каком-то женском божестве Скифии. Изображение это, несомненно являющееся шедевром эллино-скифской торевтики, также является самым «насыщенным» как композиционно, так и семантически в кругу известных нам антропоморфных изображений Северного Причерноморья этой эпохи. Представленный здесь образ «девы-зверя» несет в себе комплекс идей «женщина—растение—древесный ствол—змеи—грифоны». Если мы вспомним, что оно было изготовлено для украшения конского налобника, а по бокам его должны были помещаться нашечники в виде пары голов

дельфинов (Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 144), то круг идей, связанный с этим образом, расширится еще больше. Возможно, в этом случае действительно можно видеть «...самое полное из известных нам в изобразительном искусстве древности воплощение реконструированного лингвистами и филологами древнего индо-арийского образа мирового дерева, тождественного образу великой женской богини, заместителем которой чаще всего выступает конь» (Мачинский. 1978а. С. 135).

Точных аналогий иконографической схеме, представленной на налобниках, в греческом искусстве не существует. Можно наметить лишь отдельные сюжетные и стилистические параллели. Скорее всего, при создании женского образа, украшавшего эти предметы, мастер ориентировался на женский тип, характерный для античной скульптуры классической эпохи. Вполне вероятно, что «основой» для изображения скифской богини послужило какое-то достаточно известное скульптурное произведение. Некоторое сходство с рассматриваемым изображением имеют статуи, украшавшие так называемый «портик Кор» афинского Эрехтейона, строительство которого было закончено в самом конце V в. до н. э. (Брунов. 1938. С. 6. Табл. I, 2; III, 1). Еще большее сходство с богиней на конских налобниках имеет скульптурный тип трехликой Гекаты, известный по римским копиям (см., например: Античная скульптура... С. 45, кат. № 6). Одна из таких скульптур, изображающих Гекату (рис. 41.1), хранится в Государственном Эрмитаже (Кобылина. 1986. Табл. 2.1).

Создание архаического образа Гекаты в виде трех женских фигур, обращенных спинами к столбу (стволу?) и как бы образующих с ним одно целое, восходит к скульптору Алкамену (Paus. II, XXX, 2), работавшему в конце V в. до н. э. в Афинах (Кобылина. 1986. С. 26). Возможно, мастеру, изготовившему налобники с изображением богини, были известны скульптуры афинского Гекатейона.

Некоторые черты в изображении скифского божества имеют параллели в круге женских изображений, известных в греческом искусстве эпохи архаики. Так, женское божество, сжимающее в своих руках грифонов, можно видеть на серебряном ритоне из Келермеса, упоминавшемся в предыдущем разделе работы. Как мы пытались показать, схема «женское божество и грифон» в эпоху архаики отражала представления греков о Северном Причерноморье, населявших его варварах и местном типе Великого женского божества. Пара змей часто дополняла изображения Медуз на ручках бронзовых кратеров второй половины VI в. до н. э. Изображения «прорастающего» головного убора богини также можно встретить на некоторых памятниках архаического времени. Так, два расходящихся побега можно увидеть на головном уборе Латоны или Артемиды на кикладских рельефных амфорах, относящихся к 675 г. до н. э. (Ahlberg-Cornell. 1992. P. 391. Fig. 254; P. 398.

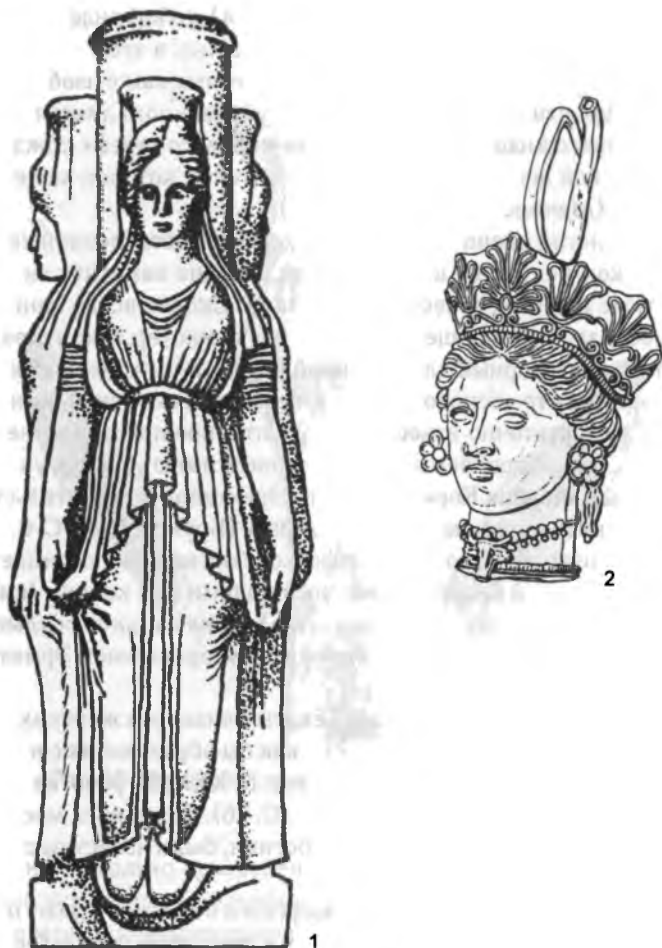


Рис. 41. 1 — мраморная статуя трехликой Гекаты;
2 — подвеска из Пантикапея

Fig. 255). На головах архаических фигурок Артемиды из святилища Артемиды Ортии в Спарте изображены уборы в виде листьев (Alroth. 1989. P. 45. Fig. 19, 20). Позже, в классическое время, головные уборы с растительным орнаментом встречаются на подвесках в виде женских головок (Higgins. 1980. Pl. 25:D); одна такая подвеска происходит из Пантикапея (Толстой. Кондаков. 1889. С. 59. Рис. 79) (рис. 41.2).

Некоторую аналогию побегам, «вырастающим» из головы богини, можно видеть на золотой фиале из кургана Солоха, где изображения горгоней-

нов завершаются устремленными вверх растительными композициями (Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 164, 165), а также на греческом бронзовом нагруднике из Елизаветовского кургана № 5 в Прикубанье, где над головой Медузы «вырастают» идущие кверху побеги (Ibid. Pl. 218). Таким образом, при создании этого сложного женского образа, пожалуй, самого «насыщенного» дополнительными изображениями, мастер, вероятно, ориентировался прежде всего на произведения греческого искусства, выполненные в так называемой архаистической манере. В результате у него получилась неподвижная, строго фронтальная фигура, торжественность позы которой подчеркивает стройный ритм вертикальных складок одеяния. Исходный тип Гекаты было преобразен (у него вместо ног появились «растительные» элементы) и дополнен изображениями двух пар грифонов и змей, очевидно, отражающими «местные» черты божества. Появление этих атрибутов, скорее всего, было продиктовано требованиями скифской идеологии. Очевидно, далеко не случайно был также усилен и акцентирован «прорастающий» и «укорененный» характер этой «женщины-древесного ствола».

Интересная и сложная образная система запечатлена на золотой подтреугольной пластине женского головного убора, найденной в одной из гробниц кургана Карагодеуаш в Прикубанье (Лаппо-Данилевский, Мальмберг. 1894. С. 7–9). Изображения, украшающие этот предмет, как и на многих предметах греко-скифской торевтики, помещены в трех поясах (зонах), очевидно, отражающих представления о трех зонах мироздания, существовавшие в идеологии скифского мира, которые часто воплощались в троичных структурах (Мачинский. 1978. С. 240; Раевский. 1985. С. 190). Изображения усложняются (как по содержанию, так и композиционно) и насыщаются действием и напряжением по мере продвижения вниз, от верхнего фриза к нижнему. Если наверху изображена одиночная статичная фигура, то на нижнем фризе представлены пять персонажей. Композиция нижнего фриза, вероятно, была самой значимой в системе декора данного предмета. Отметим, что нижний фриз «наиболее основательно» отделен от двух предыдущих: если верхний и средний фризы разделяет полоса из овов, то средний отделяется от нижнего небольшим, как бы промежуточным фризом. Его пространство занимает изображение двух симметрично лежащих головами друг к другу грифонов, положивших передние лапы на какой-то предмет, по всей вероятности представляющий собой сосуд. В нем часто видят «сосуд с огнем или фимиатерий» (Бессонова. 1993. С. 108–109).

Отметим присутствие на пластине парного изображения этих фантастических существ, явно соотнесенных с кругом женских изображений. Этот сюжет повторяет мотив эпохи архаики «женское божество и пара грифонов», зафиксированный на келермесском ритоне. Фигуры двух фризов — нижнего и среднего — строго фронтальны. На нижнем же фризе

фронтально изображены все женские персонажи (как главный, так и второстепенные).

Мы, вслед за А. П. Манцевич (1964. С. 131) и Е. А. Савостиной (1995. С. 117), видим в фигуре верхнего фриза изображение женщины. Это — самое эллинизированное из всех имеющихся на пластине изображений. Оно является неумелой репликой статуарного типа, известного в Греции в V–IV вв. до н. э., представляющего женщин в плащах или покрывалах, со складкой (прямой или диагональной), идущей вниз от правого плеча, левой рукой поддерживающих край одежды (см., например: Collignon. 1911. P. 161. Fig. 92; P. 168. Fig. 99; P. 170. Fig. 101).

На среднем фризе изображена колесница, как бы несущаяся прямо на зрителя; выше помещена полуфигура женщины. Мастер, очевидно, плохо справился с поставленной художественной задачей (или же это не представлялось для него существенным), и потому неясно, как соотносено это изображение с колесницей. В литературе не существует единого мнения о том, стоит ли женщина на колеснице или же, как полагала А. П. Манцевич, видевшая в этом изображении изображение Ники, стоит позади нее (1964. С. 131–132).

Фронтальность изображения на среднем фризе пластины (представлявшую в исполнении несомненную сложность для мастера, плохо справившегося с поставленной задачей) диктовалась, как нам кажется, требованиями заказчиков подобных вещей. Женщины, изображенные на верхнем и среднем фризах, имеют черты несомненного сходства — у них круглые лица, одинаково трактована прическа, одежда у них явно греческого облика. Вполне возможно, что на этих фризах представлен один и тот же персонаж.

Женщина, изображенная на нижнем фризе, восседает в центре композиции. Она одета в «скифские» одежды — на голове у нее остроконечный головной убор и покрывало. Венчает этот убор треугольная пластина, аналогичная той, которая была обнаружена в погребении (Лаппо-Данилевский, Мальмберг. 1894. С. 8–9). Вполне вероятно, что на похороненной здесь женщине был наряд, подобный тому, в который облачено женское божество на нижнем фризе. Женщина неподвижно восседает в центре композиции, в кругу персонажей, явно занимающих по отношению к ней подчиненное положение. Среди них главными оказываются явно мужские персонажи справа и слева от нее, связанные с ней какими-то действиями. Эти персонажи, так же, как и все прочие фигуры композиции, одеты в «скифские» одежды, предстоят перед женщиной. Мнение А. П. Манцевич, полагавшей, что мужские персонажи, как и божество, сидят рядом с ней на скамье (1964. Рис. 2), не представляется нам убедительным. Их позы, положение ног противоречат предложенной этой исследовательницей реконструкции. То обстоятельство, что сидящая женщина оказывается такого же роста, как и стоящие рядом мужчины (а с учетом высоты головного убора даже кажется выше всех

прочих изображений) не должно нас смущать. Этот прием сознательного нарушения пропорций в пользу женского персонажа встречается и на других известных нам изображениях женского божества и предстоящих перед ним скифов.

Ритуальный характер сцен, изображенных на пластине, никогда не вызывал сомнения у исследователей (Ростовцев. 1913. С. 14–15; Артамонов. 1961. С. 64; Манцевич. 1964. С. 135–138; Бессонова. 1983. С. 109–110; Савостина 1995).

6.1. Шедевры в стиле «этнографического реализма»

В течение рассматриваемого периода в рамках так называемой греко-скифской торевтики были созданы шедевры, изображения которых по праву украшают страницы учебников, альбомов и книг, посвященных искусству и культуре классического времени. Все эти высокохудожественные изделия, как правило, уникальны и были изготовлены греческими мастерами, скорее всего, по особому заказу. Они украшены сценами, которые М. И. Ростовцев называл «сценами этнографического реализма» и которые долгое время трактовались как «сцены из жизни скифов». Действительно, в декоре этих изделий присутствуют изображения вполне реальных варваров, облаченных в характерную одежду, совершающих военные или охотничьи подвиги либо занятых бытовыми или хозяйственными делами. Композиции на скифские темы украшают обкладки горитов и ножен мечей, гребень и чашу из кургана Солоха, чаши из Воронежского кургана и Гаймановой Могилы, шлем и тиару из Передериевой Могилы, пектораль из Толстой Могилы, амфору из Чертомлыка, нашивные бляшки и другие изделия из золота и серебра, найденные при раскопках знаменитых скифских «царских» курганов.

Сравнительно недавно Е. А. Савостина предложила назвать эти произведения памятниками «скифского» сюжетного круга (2001. С. 284–285). Анализируя произведения «на скифскую тему», исследовательница выделяет два направления в их стилистике: «классическое» и «неклассическое». Согласно ее точке зрения, в русле первого, для которого характерны «реалистичность изображения, объемность фигур, их свободная постановка в пространстве и непринужденная пластика движений, свойственные греческой культуре Высокой и Поздней пластики», изготовлены пектораль из Толстой Могилы, солохский гребень, сосуды из Куль-Обы. Второе, «неклассическое» направление наиболее отчетливо воплотилось в изображении битвы старых и молодых скифов на тиаре из Передериевой Могилы; хотя и в этом произведении «прослеживаются особенности школы греческой классики... битва скифов решена в принципах иного пространственно-пластического видения» (Там же. С. 287–288).



Рис. 42. Амфора из кургана Чертомлык

В настоящее время высокая сакрализованность «бытовых» сцен, представленных на шедеврах греко-скифской торевтики, надежно обоснована. Почти для каждой из них предпринимались попытки «прочтения». Так, Д. С. Раевский предложил «прочтение» сцен, изображенных на воронежском серебряном сосуде и золотом сосуде из Куль-Обы, и предложил видеть в них предание о происхождении скифов, рассказанное Геродотом (1970. С. 90–101).

К числу наиболее интересных памятников этого круга, украшенных максимально сложными системами изображений, можно по праву отнести чертомлыцкую амфору (рис. 42) и пектораль из кургана Толстая Могила (рис. 43). Оба этих изделия имеют «трехчастное» членение. Их композиции и образный строй декора рассмотрены в работах Д. С. Раевского (1985), Д. А. Мачинского (1978), И. В. Кузьминой (1976), А. В. Симоненко (1987), Ф. Р. Балонova (1991. С. 375 сл.) и других исследователей¹. В декоре поверхности сереб-

¹ Обзор мнений о семантике декора амфоры см.: Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 122 сл.



Рис. 43. Пектораль из кургана Толстая Могила

ряной чертомлыцкой амфоры можно выделить три зоны (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 174–175, кат. № 91). В верхней, под горлом сосуда, представлены сцены терзания грифонами оленей. Центральная сцена, на узком фризе в широкой части тулова, трактуется как изображение принесения в жертву лошади (Мачинский. 1978. С. 236–237). Нижнюю часть амфоры занимает изображение «чудесного сада»; на ее «лицевой стороне» находятся три краника-слива. «Главным» изображением этой части сосуда является протема крылатого коня в воротнике из плавников, возможно, представляющее Посейдона-Тагимасада (Мачинский. 1978а. С. 132–135). А. Ю. Алексеев причисляет амфору к группе погребального инвентаря из Чертомлыка, относящейся к 350/340–320 гг. до н. э. (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 130), а погребение, с которым она связана, отнес ко времени ок. 330 г. до н. э. (Алексеев. 2003. С. 230. Табл. 10).

Из центрального погребения кургана Толстая Могила происходит знаменитая золотая пектораль (рис. 43) (Мозолевский. 1979. С. 213 сл. Рис. 68–77). Верхний ее фриз украшают изображения скифов, занятых разнообразными «домашними» делами, главной композиционно и семантически явля-

ется сцена шитья ритуальной одежды из овечьей шкуры. Средний фриз занят изображением «чудесного сада». На нижнем представлены дикие и домашние животные и фантастические существа; центральная композиция этого фриза — сцена терзания лошади двумя грифонами. А. Ю. Алексеев отнес комплекс центрального погребения Толстой Могилы к 340 г. до н. э. (2003. С. 230. Табл. 10).

Оба этих предмета, воплощающих лучшие достижения греческого реалистического искусства, были предназначены для варварской аристократии и являются попыткой выразить на греческом художественном языке представления, бытовавшие в туземной среде, связанные с сакральным назначением человека, смертью, «жизнью после смерти», отношениями человека и божества и тому подобное.

Памятники в стиле «этнографического реализма» служат, в частности, бесценными источниками для реконструкции реалий жизни кочевого общества — одежды, вооружения, убранства боевого коня и проч. Примечательно, что такое количество шедевров торевтики IV в. до н. э., какое нам известно по находкам из Северного Причерноморья, неизвестно для других регионов греческой колонизации.

6.2. Тема женской воинственности

Один из самых примечательных сюжетов, чрезвычайно ярко представленных в художественных изделиях, встречающихся на Боспоре и его варварской периферии в IV в. до н. э., — изображения вооруженных женщин. Самым выразительным из подобных памятников является золотой калаф (рис. 44), найденный в склепе 1 кургана Большая Близница на Таманском полуострове (Прикубанье). Этот курган, датированный второй половиной IV в. до н. э. по находкам краснофигурной керамики (Пругло. 1974), содер-



Рис. 44. Калаф из кургана Большая Близница

жал целый ряд погребений, большинство из которых были ограблены еще в древности. Самые интересные находки происходят из двух неограбленных склепов (№ 1 и 2) (Шауб. 1987).

На калафе изображены сцены битвы, в которой, как обычно полагают исследователи, участвуют вооруженные варвары и грифоны (Piotrovsky, Galapina, Grach. Pl. 226–228). Однако существует, на наш взгляд, достаточно надежно аргументированная точка зрения, согласно которой изображения варваров на калафе являются изображениями амазонок (Мачинский. 1978а. С. 137–138). Сражающиеся амазонки одеты в «восточные» костюмы, похожие на те, в которые одеты персы на золотой обложке меча из Чертомлыка (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. Кат. № 191; Нефедкин. 1998. С. 72 сл.); и сама сцена, на нем представленная, напоминает изображения на калафе из Близицы.

Тот же сюжет — битву между амазонкой и грифоном — можно видеть на одной из блях, служивших украшением бронзового таза, представляющего собой случайную находку близ ст. Темижбекская (Краснодарский край), происходящую из нарушенной во время земляных работ курганный насыпи (Анфимов. 1966. Рис. 3). Композиция сцены, представленной на бляхе (рис. 45), также близка тем, которые украшают калаф из Большой Близицы; на одном из представленных на нем изображений — изображение амазонки, упавшей на колени в противоборстве с грифоном. В отличие от сцен на калафе, изображение на пластине из Темижбекской не оставляет никаких сомнений в том, что здесь представлена амазонка. Она изображена с обнаженной правой грудью, в подпоясанном хитоне и с непокрытой головой, позволяющей видеть длинные развевающиеся волосы.

Сцены амазономахии известны в греческом искусстве классического и эллинистического времени (см.: Трейстер 2001). Изображения битвы греков с амазонками украшали фриз храма Аполлона Эпикурия в Бассах (конец V в. до н. э.) (Никулина. 1994. Табл. 61) и восточный фриз мавзолея в Галикарнассе (середина IV в.) (Колпинский. 1988. Табл. 336–337). Сюжет этот представлен и в произведениях греческих вазописцев. Однако среди памятников материковой Греции сюжет борьбы амазонок с грифонами неизвестен. Эти сцены зафиксированы лишь на периферии античного мира, в некрополе Тарента (Южная Италия), где они представлены на терракотовых погребальных ритонах (Hoffman. 1966. S. 116–117; Шауб. 1993. С. 85) и на итальянской краснофигурной керамике (Beazley. 1963. 1036.5).

По всей вероятности, сюжет на калафе из кургана Большая Близица связан с местной идеологией, а также с семантикой комплекса погребения и функциями захороненных в нем женщин.

По поводу интерпретации погребения в кургане Большая Близица в литературе были высказаны разные мнения. Практически все исследователи



Рис. 45. Украшение бронзового таза из ст. Темижбекская

трактуют их как погребения представительниц знатного боспорского рода, служивших одной религиозной идее, которой являлся культ какого-то синкретического божества. М. И. Ростовцев в свое время высказал предположение, что эта богиня могла отождествляться как с Деметрой, так и с Афродитой (Rostovtzeff. 1922. P. 73). В. Ф. Гайдукевич видел в этом божестве Афродиту Уранию (Гайдукевич. 1949. С. 201–202). А. А. Передольская, рассмотрев терракотовые статуэтки, найденные в этом кургане, пришла к заключению, что в комплексах погребений можно выделить черты обряда, близкие к кругу Элевсинских мистерий в честь Керы и Деметры (Передольская. 1962. С. 46). П. Александреску видел в терракотовых статуэтках Большой Близины черты культа Великой Богини и хтонического культа Диониса (Alexandresku. 1966. P. 75).

Д. А. Мачинский, рассмотрев некоторые образы из неразграбленных комплексов этого памятника (калаф, браслеты, пектораль), пришел к выводу, что, как бы ни именовалась богиня, жрицами которой были погребенные боспорянки, «в культе и мифологическом окружении ее имели место некоторые элементы и образы, которые вряд ли могут быть объяснены исходя из классических эллинских канонов культа Деметры и Афродиты». В амазон-

ках он видит «женское воинство» этой Великой Богини и отмечает, что в греческой традиции они не связаны ни с Деметрой, ни с Афродитой, но зато иногда изображаются как участники охоты Артемиды (1978а. С. 137), которая, очевидно, рассматривалась как их покровительница. Д. А. Мачинский считает изображения на калафе одним из возможных отражений варианта «алтайского мифа о борьбе аримаспов с грифонами», также соотнесенном с представлениями о Великой Богине, которой служила погребенная в кургане жрица (1998а. С. 114).

Одновременно тема эта разрабатывается и в греческой вазописи. В раннеэллинистическое время на Боспоре получают широкое распространение так называемые «боспорские пелики», украшенные сценами сражений — аримаспов или амазонок с грифонами, амазонок с эллинами. Датировка этих ваз и выделение ведущих мастеров-вазописцев, работавших в беглом стиле, принадлежит К. Шефолду (Schefold. 1934; из более поздних работ см.: Кобылина. 1951; Bahae. 1958). М. В. Скржинская писала об особой популярности сцен, представляющих битву амазонок с грифонами, на аттических пеликах IV в. до н. э. и о массовом ввозе их на Боспор (Скржинська. 1997. С. 58, 61–62). Отмечено, что часть таких пелик могла производиться и на самом Боспоре (Буравчук. 1986. С. 86 сл.). Одним из вариантов повторяющегося сюжета является изображение протом амазонки, коня и грифона, как бы конспективно передающими идею битвы (см., например: Кобылина. 1951. Рис. 2, 2; 6, 1). Синхронность начала массового распространения сосудов с подобными сюжетами и изготовления калафа из Большой Близницы также впервые была отмечена Д. А. Мачинским (1978а. С. 137). Сейчас многие исследователи разделяют мнение о соотнесенности изображений на пеликах с религиозными представлениями греко-варварского населения Боспорского государства (см.: Буравчук. 1986. С. 87–89), в частности, с представлениями о загробной жизни (Шауб. 1993. С. 84 сл.). Изображения амазонок на этих сосудах, возможно, связаны не только с хтоническим пониманием этих образов, но и с представлениями о каком-то женском божестве, имевшем местную основу.

Интересно, что в кургане Малая Близница на Тамани, относящемся к этому же периоду (Виноградов. 2004. I. С. 272–275), был найден обломок аттического краснофигурного кратера с изображением головы сражающейся амазонки (Шкорпил. 1910. С. 46. Рис. 28).

Амазономахия представлена и на известняковом античном рельефе, найденном на Тамани и, по-видимому, в древности украшавшем храм или герон (Савостина 2001а. С. 39 сл.).

Судя по имеющимся памятникам, эта тема «женской воинственности» связана с восточными рубежами Великой Скифии (Прикубанье, территория Боспорского государства) и активно разрабатывается на последнем

этапе ее истории. Соотнесенность изображений вооруженных женщин с контекстом материальной культуры восточных областей Скифии, на наш взгляд, прекрасно иллюстрирует топография находок на территории Северного Причерноморья сосудов, относящихся к достаточно редкой группе, — панафинейских амфор.

На своеобразие распространения этих редких сосудов в варварских памятниках первым обратил внимание Ю. А. Виноградов (1993. С. 44). Целый ряд этих сосудов был обнаружен в разное время за пределами греческих поселений Северного Причерноморья, в составе инвентаря курганов варварской знати юга России (Пиотровский 1924). Совершенно очевидно, что последние обладатели этих амфор никак не могли непосредственно участвовать в спортивных состязаниях и приобретали их каким-то иным способом. Вопрос о том, как именно это могло происходить, равно как и вопрос о том, являлись ли все панафинейские амфоры наградными сосудами или же тиражировались, в русле рассматриваемой темы не представляется принципиальным. В данном случае интересно лишь то, как эти амфоры «вписывались» в контекст местной культуры. С учетом сравнительно недавних находок в Адыгее (Лесков. 1985. Табл. 17. Кат. № 370, 371) сейчас известно шесть экземпляров подобных сосудов, найденных в курганах местной аристократии. Лишь одна из этих находок — в кургане Ак-Бурун — происходит с территории Европейского Боспора; все же остальные были обнаружены на Боспоре Азиатском, в Прикубанье и Подонье. Однако, как показал Ю. А. Виноградов (1993), проанализировавший погребение в кургане Ак-Бурун, этот комплекс имеет целый ряд особенностей, сближающих его с памятниками азиатской части Боспора.

Как известно, панафинейские амфоры непременно имели на одной стороне «канонизированное» изображение Афины, стоящей в воинственной позе, со щитом и копьем в руках. Это изображение на протяжении всего периода изготовления амфор этого типа исполнялось в чернофигурной технике, в так называемой архаистической, плоскостной манере, в отличие от композиций, украшавших другую сторону, которые также выполнялись в чернофигурной технике, однако в большей степени отражали изменения, происходившие в греческой вазописи в процессе развития краснофигурного стиля (Beazly. 1951. P. 88; Кобылина. 1986. С. 24). Если говорить об осмыслении изображений на этих сосудах представителями туземного мира, их внимание прежде всего должно было привлекать изображение богини-воительницы. То, что панафинейские амфоры часто находились на «ритуальных площадках» в насыпях курганов, вероятно, свидетельствует в пользу сакрального осмысления украшавших их изображений.

Вероятнее всего, именно особенности религиозных верований местного населения восточных рубежей Скифии (Подонья и Прикубанья), связанные

с особой «воинственностью» местной версии женского божества, и объясняют своеобразное распространение находок панафинейских амфор на юге России.

Полагают, что формирование у греков предания о воинственных амазонках связано с областями Малой Азии (см., например: Barnet. 1956. P. 220). Но существовала и литературная традиция, достаточно отчетливо связывающая это легендарное племя именно с восточными рубежами Скифии. Эти представления нашли свое отражение в сообщениях Геродота (Herod., IV, 110–117), Гелланика (Thes., 26; Comm. Lycophr., 332), Псевдо-Гиппократа (De aeg., 24). И хотя традиционные попытки толковать эти свидетельства как доказательства особой роли женщин в жизни туземного населения этих областей и были пересмотрены в современной науке (Зуев. 1989; 1996. С. 6–7), все же, очевидно, следует согласиться с исследователями, считающими, что письменные источники донесли до нас некие представления греков о каком-то «воинственном женском начале», ассоциировавшиеся с варварским населением степного течения Дона и Прикубаньем (Скржинская. 1991. С. 40 сл.).

6.3. Попытки собственного производства

В рассматриваемую эпоху в кругу антропоморфных изображений, происходящих из варварских захоронений Северного Причерноморья, появляются вещи, отличающиеся грубостью и значительными отступлениями от канонов античного искусства, которые вполне обоснованно считают изделиями негреческих мастеров.

К этому типу относятся два изображения, происходящие из Александропольского кургана на правом берегу Приднепровья. Первое из них, венчающее бронзовое навершие, представляет собой женскую фигуру (рис. 46.1); руки ее покоятся на талии, верхняя часть фигуры обнажена, нижняя — задрапирована, на шее, очевидно, надета гривна (Толстой, Кондаков. 1889. С. 92. Рис. 75; Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. Pl. 286). Лицо у божества круглое, черты его намечены крайне грубо и схематично. От плеч богини отходит пара крыльев-завитков.

Второе изображение женского божества, происходящее из того же кургана, выполнено в еще более грубой, «варваризированной» манере. Оно изготовлено из железа, золота и серебра. Сочетание этих материалов еще более усугубляет «варварское» впечатление, производимое этим образом (рис. 46.2). В отличие от предыдущего изображения, божество представлено здесь в более сложной иконографической схеме: по бокам его изображены рогатые головы, шеи и, очевидно, конечности (по одной паре) каких-то животных, более всего напоминающих копытных (Толстой, Кондаков. 1889. С. 97. Рис. 84; Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. Pl. 260). Вероятно, изгото-



Рис. 46. Богини из Александропольского кургана
(1 — бронзовое навершие; 2 — бляха)

вивший эту бляшку мастер пытался изобразить богиню держащей этих животных: нечто вроде рук отходит от ее шеи, соединяясь с головами «олений». Выше основания этих рук расположена пара крыльев в виде узких продолговатых пластин, идущих параллельно основанию бляшки. Фигура показана задрاپированной, грудь едва обозначена. Лицо богини овальное, «мужеподобное», черты его грубо намечены.

«Варварский» облик этого изображения неоднократно отмечался исследователями (Артамонов, 1961. С. 72; Бессонова. 1983. С. 87–88).

Совершенно справедливо отмечался и архаистический тип иконографической схемы, в которой представлено божество — здесь оно изображено крылатым, в окружении пары животных. Схема эта восходит к древнему греческому и малоазийскому типу «Владычицы животных». И. Толстой и Н. Кондаков (1889. С. 97) и С. С. Бессонова (1983. С. 88) называли богиню из Александрополя Артемидой. М. И. Артамонов (1961. С. 73) и Н. А. Онайко (1976. С. 167) — Кибелой. Действительно, при взгляде на это изображение сразу же вспоминается Артемида, держащая за лапы львов, являющаяся главным персонажем в декоре келермесского зеркала.

Вполне вероятно, что Александропольский курган является самым поздним «сарским» скифским захоронением на правом берегу Днепра (Артамо-

нов. 1966. С. 52, 58; Мачинский. 1971. С. 53; Болтрик. 1987. С. 146–148). По А. Ю. Алексееву, погребения в этом кургане были совершены в период между 320–300 гг. до н. э. (2003. С. 270). Таким образом, возвращение к древней иконографической схеме крылатого женского божества в греко-варварском искусстве соотносится с наиболее поздним этапом существования Великой Скифии.

Появление во второй половине IV в. до н. э. антропоморфных изображений, украшающих изделия, вышедшие из рук варварских мастеров, несомненно, является принципиально новым явлением в процессе развития греко-варварских взаимодействий в сфере искусства. Кроме рассмотренных выше изображений из Александрополя, к таким изделиям относят бляшки из Чертомлыка, представляющие богиню рядом с жертвенником (?), бронзовые наперстки из кургана Слоновская Близница (Онайко. 1977. Рис. 1) и Днепропетровской обл., пластину из кургана у с. Аксютинцы (Онайко. 1976. Рис. 4; 6), золотую бляху из Дуровского кургана (Онайко. 1977. Рис. 2). Н. А. Онайко отмечала, что для изображений этой группы, как для мужских, так и для женских, характерны этнографический реализм, большие головы, крупные черты удлиненного в нижней части лица (Онайко. 1976. С. 172–173).

На наперстках из Днепропетровской области можно увидеть примитивные изображения, отлитые в технике круглой скульптуры. Это — единственные изображения человеческих фигур, выполненные в подобной технике в искусстве Скифии, все прочие изготовлены в технике рельефа.

Наперстки из Слоновской Близницы венчают композиции, представляющие мужскую фигуру верхом на грифоне, поражающую оленя. Высоко оценив художественную выразительность образов этих изделий, Н. А. Онайко, детально изучившая наперстки, отметила несовершенство человеческой фигуры по сравнению с изображениями животных, что вполне объяснимо традициями скифского искусства, долгое время не знавшего антропоморфных изображений; она также показала, что сюжет декора наперстков Слоновской Близницы был навеян популярным в Северном Причерноморье мифом об Аполлоне Гиперборейском, и считала, что центры производства степных скифских наперстков следует искать в районах, близких к Боспору (1977. С. 153 сл.).

По интересному наблюдению Е. В. Переводчиковой, воздействие греческого искусства на искусство Скифии наиболее ярко проявлялось в художественных изделиях из драгоценных металлов. Из этих материалов изготавливались предметы культового назначения, парадное оружие, украшения. Более же «дешевые» бронзовые изделия, особенно тиражированные, в целом гораздо дольше сохраняли самобытность, греческие приемы передачи изображений на таких вещах выглядят отобранными, не нарушающими

ми принципов скифского искусства (Переводчикова. 1992. С. 67). К таким изделиям, наиболее устойчивым к античным влияниям и демонстрирующим самостоятельную линию развития, исследовательница справедливо причисляет бронзовые наперстки, категорию вещей, характерную для аристократических скифских погребений. Тем более поражает появление в IV в. до н. э. и на этой категории скифских вещей антропоморфных изображений.

Попробуем подвести краткие итоги разделу, посвященному массовому распространению антропоморфных образов в искусстве Европейской Скифии, и наметить, хотя бы в основных чертах, некоторые художественные особенности, отличающие эти произведения, в том числе и те, которые придают им особый, местный «колорит».

1. Для известных нам памятников, украшенных антропоморфными изображениями, можно выделить три основных традиции, в русле которых они выполнены.

- К первой, которую можно условно назвать эллинской, относятся изображения, в которых наиболее отчетливо фиксируется разработка греческих канонов. Сюда можно отнести, например, диадему из Куль-Обы, бляшки с крылатым божеством из Большой Близицы, бляшки с изображением сидящей женщины с зеркалом и предстоящим скифом. К ней принадлежат и многие изображения в стиле «этнографического реализма», например фриз на чертомлыцкой амфоре, пектораль из Толстой Могилы, сцены на золотом сосуде из Куль-Обы. Все эти вещи, несомненно, вышли из рук греческих мастеров.
- Ко второй, «полуварварской», традиции принадлежат вещи, также сделанные, несомненно, греческими мастерами. Украшающие их изображения в своих деталях находят аналогии в круге синхронных (или же несколько более ранних) изображений, распространенных в античном мире. Однако в целом такие изображения гораздо более сложны (как иконографически, так и семантически) и отличаются от античных памятников яркими и достаточно выразительными чертами. К этому кругу изделий можно отнести «прорастающую» деву на серебряном блюде из Чертомлыка, изображения на налобниках из Цимбалки и Толстой Могилы, композицию на треугольной бляхе из Карагодеуашха.
- К третьей, «варварской», традиции можно причислить изображения, в которых ярко выражены отступления от канонов греческого искусства. К ним относятся изображения на бляшках с сидящей женской фигурой и жертвенником из Чертомлыка, подвески из Мастюгинского кургана, наперстки с крылатой богиней и «оленьями» из Александрополя, изображения на наперстках из Приднепровья. С большой

степенью вероятности можно полагать, что в этих случаях мы имеем дело с изделиями негреческих ремесленников.

2. Ряд иконографических типов и схем имеет прозрачные параллели (сюжетные и стилистические), которые легко можно обнаружить в круге синхронных греческих памятников. К таким изображениям относятся, например, некоторые «прорастающие», «Кибела-Артемида» на подвесках из Толстой Могилы и Любимовки, бляшки из «царских» курганов Приднепровья с сидящей в профиль женщиной и предстоящим скифом. Другие же, например тип стоящего божества с «грифонами-крыльями» и человеческой головой в руке, не имеют близких аналогий в памятниках античного искусства. Часто тиражировались достаточно простые схемы, однако в ряде случаев создавались и достаточно сложные, оригинальные образы (бляшки из Куль-Обы, склепа 1012 в Херсонесе, божества из Толстой Могилы, Цимбалки).
3. Часто для произведений, выполненных в русле эллинской традиции, как правило, так же, как и для созданных в русле традиции варварской, можно отметить ряд отличительных черт и особенностей. Они явились, скорее всего, результатом определенных необходимых уступок местным представлениям, а также в конкретных случаях, могли отражать и требования заказчиков. К этим особенностям относятся:
 - гипертрофированность отдельных элементов изображения (например, растительных побегов);
 - растительные побеги в ряде случаев устремлены вниз, образуя нечто вроде корневой системы;
 - сознательное искажение пропорций в многофигурных композициях. В ряде случаев непропорционально большие головы мужских и женских фигур, «матрональный» облик женских фигур;
 - усложненность (по сравнению с греческими прототипами) всего изображения в целом (например, дополнительные изображения, связанные с образом богини, на налобниках из Толстой Могилы и Цимбалки). Общая тенденция движения к усложненности и орнаментальности (при частом огрублении прототипа) при тиражировании образов и развитии их в туземной среде (бляшки с профильным изображением сидящей женщины, «серьги» с богиней и львами);
 - вертикальность, симметричность и орнаментальность складок одежды, носящих скорее декоративный характер (в отличие от трактовки складок одежды, подчеркивающих позу или движение человеческой фигуры, более свойственной греческому искусству этого времени);
 - произведения, передающие изображения людей, часто выполнены в духе «этнографического реализма» и являются ценным источником информации о деталях реальной жизни варваров. Эти детали касают-

ся одежды, украшений, оружия, ритуальной утвари (ритоны, округлые сосуды, зеркала), достоверность которых подтверждается находками в вещевых комплексах скифских погребений.

Создавая антропоморфные изображения, предназначенные для сбыта в туземную среду, греческие мастера часто обращались к памятникам несколько более раннего времени (преимущественно V в. до н. э.) или же к произведениям, выполненным в архаистической манере. Возможно, греческие памятники V в. до н. э., выполненные в более строгой манере, в большей мере, чем современные мастерам произведения, передавали настроение торжественности и величественности, которое более импонировало заказчикам. Сравнительно недавно подобное «отставание» от образцов классической Греции было отмечено Е. А. Савостиной и для боспорской скульптуры (Савостина. 2004).

6.4. Хронологический аспект проблемы

Если исходить из имеющихся в нашем распоряжении датировок, то самыми ранними среди антропоморфных изображений классической Скифии оказываются предметы, несущие изображения, выполненные в «эллинской» и «полуварварской» традициях — бляшки из кургана Куль-Оба и налобники из конских захоронений Толстой Могилы и Цимбалки. К этой группе примыкают изображения на подвесках из Толстой Могилы и бляшках из Чертомлыка и Куль-Обы. Отметим, однако, что, как и в архаическую эпоху (ритон и зеркало из Келермеса), самыми ранними оказываются достаточно сложные, оригинальные (и пожалуй, наиболее совершенные в художественном аспекте) изображения. Возможно, все они были сделаны по специальному заказу.

Самыми поздними в круге антропоморфных изображений оказываются образы, представленные на навершиях и бляхе из Александропольского кургана. Грубость, варварский облик этих изделий, возможно, объясняются тем, что они происходят из одного из последних «царских» скифских захоронений в регионе, вступающем в новую эпоху своей истории. Их вполне можно рассматривать в русле общего «упадка» и вырождения материальной культуры старой аристократической прослойки в период, непосредственно предшествующий утрате доминирующего положения в северопричерноморских степях.

6.5. Вопрос о месте изготовления художественных произведений

В IV в. до н. э. лидерство в производстве художественных изделий из металла, сбывавшихся в туземный мир Северного Причерноморья, несомнен-

но, принадлежало Боспору, где ведущая роль признавалась за мастерскими Пантикапея (Ростовцев. 1925. с. 307; Онайко, 1966а; Piotrovsky, Galani-na, Grach. 1986. Р. 89; Sheglov, Katz. 1991. Р. 26). Для этой эпохи типичным явлением становится производство целых серий металлических изделий, предназначенных для сбыта в Скифию. К таким вещам относятся украшения боевого коня (налобники из Толстой Могилы и Цимбалки), обкладки горитов с изображениями «тroyанского цикла» (курганы Чертомлык, Елизаветовский, Мелитопольский, Ильинецкий), гориты с изображениями битвы (Карагодеуаш, Солоха), ножны парадных мечей с изображением битвы греков с варварами (Чертомлык, 8 Пятибратний курган) (рис. 47), нашивные бляшки.

Анализ и картографирование парадного оружия так называемых Чертомлыцкой и Карагодеуашской серий позволили А. Н. Щеглову и В. И. Кацу предложить гипотезу об изготовлении этих изделий для дипломатических даров правителей Боспорского государства вождям различных независимых племен Скифии (Sheglov, Katz. 1991. Р. 115). В этом случае примечательны находки оружия этих серий в 8 Пятибратнем кургане и особенно в кургане Карагодеуаш в Прикубанье, отражающие, возможно, заинтересованность боспорских правителей в политических связях с варварами, контролирующими восточные области Скифии. Этому не противоречит и наблюдение над тем, что эти вещи, часто изготовленные по одной матрице, связаны с территориями, отражающими различные локальные варианты скифской культуры.

М. Ю. Трейстер высказал интересную гипотезу о том, что мастерская, производящая парадное оружие, скорее всего, работала в Пантикапее период между 360–340 гг. до н. э. и была одной из примерно дюжины мастерских, существовавших здесь с начала IV до начала III в. до н. э. Согласно его точке зрения, в этих мастерских работали как выходцы из различных областей Греции, так и скифские мастера; трудности, которые переживала Греция после Пелопоннесской войны, могли способствовать эмиграции на Боспор мастеров из Аттики (Treister. 1999. Р. 79).

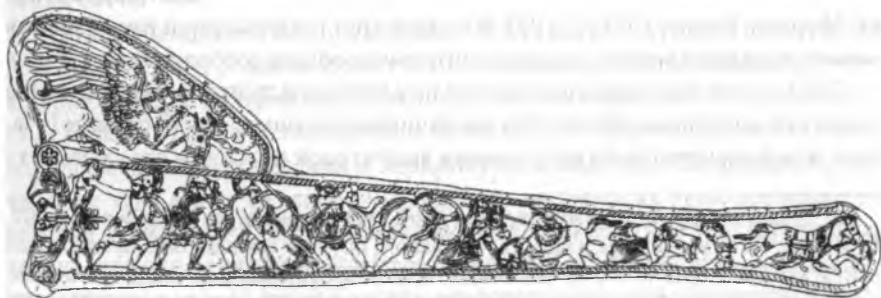


Рис. 47. Ножны парадного меча из кургана Чертомлык

Как было показано Е. В. Переводчиковой, на рукоятях золотых обкладок парадных мечей чаще прослеживаются приемы, свойственные звериному стилю, чем на ножнах (Переводчикова. 1992. С. 66). Изображения же на обкладках колчанов и горитов обычно относят к чисто греческим как по стилю, так и по сюжетам, однако еще В. Д. Блаватский обратил внимание на наличие в декоре горитов чертомлыцкой серии¹ сцены обучения (?) Ахилла стрельбе из лука (Блаватский. 1964а. С. 17); сюжет этот, не распространенный в искусстве Греции, «перекликается» со сценами на куль-обском и воронежском сосудах (Раевский. 1970).

Сосуды-кубки округлой формы, игравшие, по-видимому, важную роль в религиозной практике скифского общества, в IV в. до н. э. также изготавливались в греческих мастерских. Несмотря на сходство сюжетов и композиций на некоторых из них (например, на воронежском и куль-обском сосудах, сосудах с изображением уток из Куль-Обы и Солохи или сцен, представляющих «битву зверей» на двух других кубках из Куль-Обы), не известно двух полностью идентичных сосудов этого типа. Даже если тулово украшалось несложными геометрическими орнаментами, отдельные сосуды все же отличались друг от друга хотя бы в незначительных элементах декора (как, например, кубки из кургана 1 у с. Волковцы и Чмыревой Могилы). Н. Л. Грач, изучившая серию кубков из кургана Куль-Оба, выявила два художественных направления, за которыми, по ее мнению, скрывались две совершенно самостоятельные школы, обладавшие собственными им творческими традициями. Одна из этих школ, по-видимому, находилась в Пантикапее, вторая, продолжившая художественные традиции Семибратних курганов, работала в восточной части Приазовья, возможно, на Северном Кавказе (1984. С. 102–105).

Предметы торевтики, украшенные антропоморфными изображениями, вероятно, также в основной своей массе производились на Боспоре. С мастерскими Пантикапея связывают изготовление бляшек из кургана Куль-Оба (Копейкина. 1986), серебряных вазы и блюда из Чертомлыка (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991. С. 127). В пользу этой традиционной точки зрения можно высказать несколько дополнительных общих соображений.

Достаточно массовое воплощение на эллинском художественном языке скифских антропоморфных образов начинается примерно с середины IV в. до н. э. и фиксируется на протяжении всей второй половины столетия. Это

¹ О последовательности изготовления этой серии горитов см.: Манцевич. 1962. С. 109 сл. Хотя местом производства парадного оружия традиционно продолжают считать Боспор, сравнительно недавнее открытие гробницы в Вергине дает возможность предполагать существование подобных мастерских и на территории Македонии (Andronicos. 1980).

время совпадает с периодом максимального расцвета Боспорского государства. Для этого времени можно говорить о широких экономических и культурных связях Боспора с Афинами (Брашинский. 1963. С. 118 сл.; Гайдукевич. 1949. С. 81 сл.; Шелов-Коведяев. 1985. С. 107; 140–141).

Во главе своеобразного феномена, каким являлось Боспорское царство, находилась династия Спартокидов, негреческое или полугреческое происхождение которой представляется весьма вероятным (Артамонов. 1974. С. 119; Гайдукевич. 1949. С. 55; Шелов-Коведяев, 1985. С. 83–85; Алексеев. 1992. С. 124–125; Мачинский. 1993. С. 17). Подобная ситуация, на наш взгляд, представляется весьма благоприятной для воплощения греческими мастерами скифских божеств в памятниках изобразительного искусства. В этих условиях мастера могли работать на территории самого Боспора (как Европейского, так и Азиатского), находиться (постоянно или же временно) при ставках отдельных племенных вождей, посещать Боспор и работать в Афинах и пр.

В этот период впервые можно говорить о вовлечении греческих центров Северо-Западного Крыма в процесс греко-варварских взаимодействий в сфере искусства. Выше уже упоминалось о находках золотых бляшек в склепе 1012. В то же время, то есть примерно в середине IV в. до н. э., в монетном чекане Херсонеса и Керкинитиды появляются новые, чрезвычайно интересные монетные типы (Зограф. 1951. С. 160–161). Наиболее выразительными, на наш взгляд, являются монеты с изображением на реверсе льва, терзающего быка. Сцены терзания на монетах Херсонеса и Керкинитиды несколько различны: в первом случае бык представлен поверженным (Зограф. 1927. С. 285–395. Табл. 24 М), во втором — как бы только что подвергшимся нападению (Кутайсов. 1992. С. 143 сл.).

По наблюдению А. Н. Зографа, сцена эта по стилистическим особенностям не имеет аналогий в античном искусстве. Наиболее близкое изображение имеет четырехугольная золотая бляшка из Чертомлыка со сценой терзания оленя львом, возможно, оба этих изображения имели общий прототип — композицию в «зверином стиле», вписанную в четырехугольник. По А. Ю. Алексееву, бляшки этого типа из комплекса Чертомлыка относятся к ранней группе аппликаций, нижний рубеж бытования которых достигает середины IV в. до н. э. (Алексеев. 1986. С. 72). То есть они практически одновременны херсонесским и керкинитским монетам. По-видимому, появление этих монет со «сценами терзания» на реверсах отразило какие-то важные эпизоды в жизни этих полисов, имевшие место в ту эпоху. Примечательно, что для Керкинитиды этот тип — самый ранний в истории ее монетного чекана; для этой редкой группы известен лишь один штемпель (Кутайсов. 1992. С. 158).

6.6. Скульптура

В связи со всем изложенным выше представляется вполне закономерным, что именно в районе Прикубанья (и отчасти Крыма) дольше всего продолжается развитие местной каменной скульптуры, проходящее под сильным воздействием античного искусства (Ольховский, Евдокимов. 1994. С. 59, 66 сл.). Здесь продолжает развиваться направление, сложившееся еще в конце V в. до н. э., характерными чертами которого являются скульптурность изображений, моделировка ног, узкая талия, широкие плечи. Полагают, что этот канон выработался под воздействием античного искусства в сочетании с местными традициями (Ольховский. 1990. С. 101–107).

В IV в. до н. э. монументальное искусство в классических районах Скифии — приднепровских степях, очевидно не сумев пережить трансформацию, вызванную античными импульсами, вырождается и практически прекращает свое существование (Білозор. 1994).

В круге памятников, относящихся к «боспорской скульптуре», ¹для конца IV в. до н. э. мы знаем три замечательных и сложных монументальных памятника. Первый из них — фрагмент фриза со сценой сражения (амазономехии?) из с. Юбилейного на Тамани, уже упоминавшийся выше (Савостина. 2001а. Табл. I–XV), второй — рельеф из Трехбратнего кургана (Бессонова, Кирилин. 1977). Сюжет его трактуется как «сцена загробного выезда» (Савостина. 1995); особый интерес представляет изображение женского божества, восседающего в повозке или наиске, к которому движется всадник, между ними изображен подвешенный колчан. Сцена имеет несомненную сюжетную и семантическую связь с композициями, представленными на памятниках, обнаруженных в глубинных районах скифского мира (бляха из Сибирской коллекции Петра, ковер из Пятого Пазырыкского кургана) и некоторых более поздних боспорских погребальных памятниках (склеп Анфестерия) (Мачинский. 1978. С. 143–144).

Третий памятник, на наш взгляд, столь же выразителен. Это скульптурная группа из ст. Предградная (верховья Урупа, правый берег р. Кубань), состоящая из двух мужских и одного женского изваяния (Шульц, Навротский. 1973. С. 196. Рис. 4–5). Всем трем изображениям свойственна фронтальность, очевидно, присущая изначально сложившейся здесь греко-варварской традиции антропоморфных изображений. Особенно интересна женская фигура, одетая в смешанный эллино-скифо-меотский наряд — пеплос и плащ, с гривной на шее и ритонном в руках. Интересно и присутствие в композиции двух мужских персонажей, как на некоторых изделиях греко-скиф-

¹ К сожалению, в данной работе мы не имеем возможности остановиться подробнее на сложных вопросах, связанных с формированием и развитием боспорской скульптуры.

ской торевтики (сахновская пластина, нижний фриз пластины из кургана Карагодеуашх). Появление подобного памятника в столь глубинных районах Азиатского Боспора (восточный рубеж ареала меотской культуры) свидетельствует не только о развитом представлении о женском божестве (божествах) в культуре местного населения, но и о достаточно высоко развитой традиции интерпретации и воплощения этого образа, сложившейся к концу скифской эпохи под воздействием античной культуры.

6.7. Проблема соотнесения отдельных сюжетов и схем с различными регионами туземного мира

Для этого времени существует возможность «привязать» некоторые иконографические схемы и сюжеты, разрабатываемые греко-варварским искусством, к конкретным областям Скифии. Так, например, схема и сюжет «женское божество и грифон» с архаического времени (Келермес) и до конца скифской эпохи (пластина из кургана Карагодеуашх, калаф из кургана Большая Близница) соотносятся с районом Прикубанья. С этой же областью соотнесен, вероятно, и тип «крылатого божества с отрезанной головой в руке» и сюжет «амазонка и грифон». Исключительно с территорией степного течения Днепра и «царскими» курганами этой области связана схема «сидящая женщина с зеркалом в руке и предстоящий скиф». Тема «женской воинственности» (амазономахия, ареал панафинейских амфор с изображением богини-воительницы) тяготеет к восточным рубежам Скифии — Прикубанью и Подонью.

Скульптурные воплощения женщин, имеющих варварский облик, соотносятся с территорией Боспорского государства. Именно здесь в конце эпохи появляются подобные изображения (рельеф из Трехбратного кургана, группа из ст. Предградная).

Подводя некоторые итоги последнему, достаточно сложному и насыщенному источниками периоду в истории взаимодействий греческого и варварского искусства на территории Северного Причерноморья, хочется остановиться на некоторых основных тенденциях и проблемах. Это время, связанное с финальной фазой развития Европейской Скифии, приблизительно соответствует четвертому периоду в хронологической схеме, принятой в книге (см. гл. II). Особенно яркие памятники, на основании которых можно судить о греко-варварских взаимодействиях в сфере искусства, относятся ко второй половине столетия.

Итак, IV в. до н. э. (особенно его вторая половина) представляется эпохой глобальных перемен в сфере взаимодействия греческого и скифского искусства. Античное искусство, его приемы, традиции и сюжеты проникают во все сферы культурной жизни туземного общества (вероятно, его аристократической верхушки). Местное искусство, в том числе и монументаль-

ное, в это время воспринимает не только отдельные образы, но и заимствует и разрабатывает целые композиции, навеянные произведениями греческих мастеров. Главное в этих заимствованиях — восприятие и разработка антропоморфных изображений. Привычные зооморфные образы часто оттесняются как бы на второй план.

Для IV в. до н. э. обращает на себя внимание лидерство греческих художественных мастерских Боспора в производстве изделий для туземных аристократов.

Следы обратного влияния местного искусства, в свою очередь, наиболее ярко проявились в культуре античных центров этого региона. Целый ряд художественных импульсов, очевидно, был получен боспорянами от племен Азиатского Боспора, искусство которых еще в V в. до н. э. выделилось в локальный вариант, наиболее тесно связанный с античными центрами в творческих поисках.

IV в. до н. э. представляется также эпохой, для которой можно зафиксировать «открытость» материальной культуры Скифии для восточных (в самом широком понимании этого слова) импульсов, которые затрагивали и сферу искусства. В качестве примера отметим украшения узды из древнейшей конской могилы Александропольского кургана, выполненные в так называемом греко-иранском стиле (Алексеев. 1993. С. 72–75), поясную застежку в виде крючка, несомненно, тяготеющую к савроматским древностям, золотую пластинку в виде «крылатого единорога», находящую аналогию в среднеазиатских материалах, прежде всего, в вещевом комплексе аму-дарьинского клада (Толстой, Кондаков. 1889. С. 90. Табл. 83). В степных «царских» курганах в это время появляется такой новый и выразительный элемент погребального инвентаря, как повозка, чрезвычайно распространенный и в сарматскую эпоху (Бессонова. 1982. С. 103. Табл. 1), отмеченный также в районе Прикубанья. Согласно реконструкциям, выполненным В. И. Клочко, в IV в. до н. э. в курганах Приднепровья (Бердянском, у о. Корнеевка) появился новый тип верхней женской одежды типа куртки или кафтана, имеющий аналогии в костюме населения Средней Азии (Клочко. 1992. С. 104–105. Рис. 9). Изображения такого костюма не встречаются на памятниках греко-скифской торевтики, однако, по-видимому, не случайно на каменных изваяниях Крыма с рубежа V–IV по начало III в. до н. э. можно увидеть изображения кафтанов (правда, эти памятники представляли мужские фигуры) (Ольховский, Евдокимов. 1994. С. 62). Для Европейского Боспора проникновение новых, восточных элементов показано Ю. А. Виноградовым на примере погребения кургана Ак-Бурун (1875 г.), относящегося к рубежу IV–III вв. до н. э. (1993).

«Открытость» местных памятников второй половины — конца IV в. до н. э. для восточных импульсов, очевидно, можно объяснять как различ-

ными политическими акциями и культурными контактами (см., например: Алексеев. 1984; 1992. С. 140), так и миграцией населения из более восточных областей. Представляется весьма вероятным, что греческие центры Северного Причерноморья (прежде всего Боспора) чутко улавливали эти перемены, начавшиеся в туземном мире региона. Очевидно, именно с появлением восточных (в широком смысле этого слова) импульсов связано появление «боспорских» пелик с амазонками, возможное возникновение на Азиатском Боспоре мастерских, производящих изделия «в духе Семибратних курганов» (Грач. 1984).

В настоящее время в научной литературе все большую популярность приобретает точка зрения, связывающая гибель Великой Скифии не столько с вторжением новой волны кочевников, сколько с глобальным кризисом, социально-политическим, а возможно, и экономическим, охватившим скифское общество на рубеже IV–III вв. до н. э. (Полин. 1992. С. 40 сл. Литературу по данной проблеме см.: Шукин. 1994. С. 85 сл.).

Симбиоз местного и греческого искусства, нарушение традиций и запретов, стойко сохранявшихся на протяжении предшествующих периодов, возможно, были также отражением общего кризиса, предшествующего установлению в Северном Причерноморье новой исторической эпохи.

7. Заключение

Подводя итоги изложенным выше соображениям, можно условно выделить в сложном процессе взаимодействия эллинского искусства и искусства Великой Скифии три основных периода и наметить преобладающие в рамках этих периодов тенденции.

7.1. Вторая половина VII — первая четверть V в. до н. э. — время первых контактов

Эпоха в целом, несомненно, благоприятна для культурных контактов, облегченных «открытостью» культуры кочевников и особенностями развития скифского звериного стиля в эпоху архаики. На протяжении этого времени греческий художественный импорт распространился на обширных территориях Северного Причерноморья; были намечены основные тенденции во взаимодействиях в сфере искусства. Развитие скифской монументальной скульптуры не было затронуто влиянием античного искусства. Имеющиеся в нашем распоряжении археологические материалы и их уточненные датировки, пожалуй, нарушают традиционные представления о греко-варварских взаимодействиях в сфере искусства как о постепенном, «равномерном» процессе, идущем «от простого к сложному». Для начального периода

этих взаимодействий фиксируется создание сложных, высокохудожественных произведений. В рамках этого периода, так же, как и для последующих, можно выделить этапы интенсивных контактов, а также «лакуны» и периоды ослабления интенсивности.

Активная роль в области греко-варварских контактов в эпоху архаики принадлежала античным центрам Нижнего Побужья; о предположительной деятельности боспорских мастерских можно говорить лишь применительно к самому концу периода.

7.2. V в. до н. э. — время новой «волны» номадов

Перемены, зафиксированные в туземном мире Северного Причерноморья в начале этой эпохи, не нашли отражения в археологических материалах, связанных с проблемой греко-варварских связей в области искусства. Можно лишь зафиксировать «ослабление» интереса к разработке тенденций предшествующего времени (становление антропоморфных образов). Можно говорить и о преемственности и развитии тенденций предшествующего времени. Монументальная скульптура основных степных районов Скифии по-прежнему не подвержена воздействию античного искусства.

С самого начала периода можно уверенно говорить о деятельности боспорских мастерских, производящих вещи (и серии вещей) для сбыта варварам. Специфика этого импорта, а также художественные бронзы из скифских курганов Европейского Боспора, «тяготеющие» к районам Приднепровья, очевидно, отражают связи этого образования с господствующей кочевой ордой. К концу периода в особый регион в сфере взаимодействий эллинского и туземного искусства выделяется Прикубанье.

7.3. IV в. до н. э. — время расцвета и «предсмертной свободы»

Этот период можно рассматривать как эпоху глобальных перемен в системе греко-варварских взаимодействий в сфере искусства, приходящихся на вторую половину столетия. По сравнению с предыдущим временем наблюдается резкое увеличение объема археологического материала, свидетельствующего о контактах в этой сфере. В туземное искусство проникают и получают широкое распространение произведения, украшенные антропоморфными сюжетами, изначально чуждыми скифскому искусству; антропоморфные композиции разрабатываются и в искусстве варваров. Следы этих экспериментов можно проследить в глубинных районах туземного мира: приднепровской лесостепи и восточных областях ареала меотской культуры. Для конца периода можно говорить об усилении «веса» региона Азиатского Боспора (Прикубанья). С этим миром соотносится целый ряд

вещей, тем и сюжетов, а также экспериментов в области монументальной скульптуры. Возможно, это является отражением некоторой перемены акцентов в общем русле политике Боспорского государства по отношению к варварам, ориентирующейся в это время на население восточных рубежей Скифии (савромато-сарматский мир).

Влияние античного искусства нанесло сокрушительный удар по самостоятельной линии развития скифской монументальной скульптуры: ее эволюция под сильным воздействием традиций греческой скульптуры продолжается лишь на территориях, граничащих с Киммерийским Боспором — в Крыму и Прикубанье.

Подавляющее большинство художественных вещей (и серий вещей), предназначавшихся для сбыта варварам, очевидно, связано с мастерскими Боспорского государства. Топография памятников, где были найдены эти изделия, по-прежнему ясно указывает на основную направленность политических интересов этого образования в классические регионы Скифии. Однако для этого времени можно уловить и некоторое смещение акцентов его внешней политики в сторону Азиатского Боспора. В памятниках туземного искусства Азиатского Боспора можно выявить значительное воздействие античного искусства; в свою очередь, греческие центры, очевидно, получили отсюда целый ряд культурных импульсов. Возможно также, что территория Азиатского Боспора играла роль своеобразного «проводника» для восточных (в широком понимании этого слова) инноваций, появляющихся в скифской археологической культуре в эту эпоху.

Для середины — второй половины столетия впервые отмечено участие греческих поселений Северо-Западного Крыма (Херсонес, Керкинитида) в процессе греко-варварских взаимодействий в сфере искусства.

Слияние греческого искусства с искусством Скифии, наиболее полно отразившееся в памятниках второй половины IV в. до н. э., привело не только к созданию шедевров греко-скифской торевтики, но, очевидно, в значительной степени и к нарушению традиций и запретов, стойко сохранявшихся в местном искусстве в предшествующую пору. Ломку старых канонов, эксперименты в области традиционного искусства, проходившие под сильным воздействием искусства греческого, фиксируемые для финального периода в истории Европейской Скифии, по-видимому, можно рассматривать как один из многочисленных симптомов конца скифской эпохи в северопричерноморских степях.

Основные теоретические и методологические аспекты проблемы греко-варварских контактов в Северном Причерноморье скифской эпохи

Попробуем кратко суммировать основные итоги проделанного нами исследования. Как следует из всего изложенного выше, механизм межэтнических контактов и взаимодействий на территории Северного Причерноморья скифской эпохи представляет собой единую, динамично меняющуюся во времени культурно-историческую систему. Совершенно очевидно также, что система эта состояла из трех основных частей или подсистем, обладавших только им одним присущими особенностями и закономерностями развития: кочевых формирований степей, эллинских полисов северных берегов Черного моря и оседлых и полuosедлых потестарных образований туземцев лесостепной зоны региона.

Определяющую роль в функционировании трехчастной системы, безусловно, играли две первые составляющие. Это, прежде всего, — кочевые образования скотоводов, способные в силу своей мобильности и ударной мощи в течение длительных периодов определять военную, а следовательно, во многом этнополитическую и экономическую обстановку на обширных территориях, прилегающих к степному коридору, и, во-вторых, античные города, активно влиявшие на варварскую периферию в хозяйственном и культурном отношениях.

Как удалось установить, основополагающим принципом работы интересующего нас механизма взаимодействий являлась его цикличность. Продолжительность развития отдельных циклов зависела от частоты смены хозяев степного коридора региона — кочевых орд скифов и сарматов. При этом в пределах изучаемой эпохи достаточно уверенно выделяются сразу три таких цикла.

Каждое из выделенных подразделений истории греко-варварских отношений охватывало промежуток времени от одного-полутора до двух столетий. В несколько огрубленном виде их хронологические рамки могут быть

определены ныне следующим образом: конец VIII — начало V в. до н. э. — первый или скифский архаический цикл, начало V — рубеж IV–III вв. до н. э. — второй или скифский классический цикл, рубеж IV–III вв. — начало — первая половина II в. до н. э. — третий или скифо-сарматский цикл. Важно заметить также, что при всем достаточно очевидном культурно-историческом своеобразии и различии темпов протекания отдельных фаз этих циклов последние включали в себя все же вполне определенный, мы бы даже сказали, обязательный набор одинаковых элементов своего развития.

Как бы то ни было, не приходится сомневаться, в частности, что начало каждого из указанных нами циклов определялось появлением на восточных рубежах Северного Причерноморья из глубинных районов Евразии новых волн воинственных номадов. Данное обстоятельство рано или поздно, но всегда неизбежно, вызывало здесь всеобщую дестабилизацию военно-политической обстановки. Впрочем, как представляется, первый удар (или серия ударов) пришельцы обычно наносили все-таки не эллинам, а своим прямым предшественникам — «туземцам», часть из которых либо покидала традиционные места своего обитания или пыталась закрепиться в маргинальных районах степной зоны региона, где возникали так называемые Малые Скифии, вступавшие в особенно тесные связи с греческими колониями, либо оказывалась инкорпорированной в общественные структуры своих победителей, либо, наконец, просто погибала в процессе боевых столкновений с противником.

Равным образом следует думать, что разгром прежних хозяев и их последующее исчезновение с политической арены в качестве главенствующей силы всегда объективно приводили к практически полному крушению старой, давно устоявшейся системы отношений между основными группировками населения Северного Причерноморья. Впрочем, гораздо более важным для понимания существа исторического процесса в этом районе античного «пограничья» является другое — физическое истребление и вынужденная эмиграция аборигенов каждый раз неизбежно сопровождались, в конечном счете, утратой значительной части фонда хозяйственных и культурных знаний, накопленных туземцами в результате предшествующего цикла общения с местными эллинскими центрами. По существу очередным победителям, т. е. вторгшимся с востока ордам номадов, после установления своего безраздельного диктата над степью приходилось начинать буквально все с самого начала, последовательно переходя от прямого военного давления на греков к более или менее регулируемому договорными обязательствами взиманию трибута и развитию взаимовыгодных коммерческих контактов с ними. При этом следует принимать в расчет и то немаловажное обстоятельство, что другая сторона интересующей нас древней оппозиции — эллинские гражданские коллективы — вынуждена была проходить нелегкий путь

приспособления к новым условиям чаще всего в сильно ослабленном конфронтацией с варварами состоянии. Указанное положение дел явно не способствовало превращению территории Северного Причерноморья в один из основных очагов античной культуры.

Тем не менее фактически каждый из выделенных нами циклов на завершающей фазе своего развития включал в себя более или менее продолжительный период относительной стабилизации обстановки в регионе, в течение которого здесь начинался несомненный расцвет экономической и культурной жизнедеятельности греческих полисов и туземного населения, сопровождавшийся обычно седентаризацией части местных кочевников.

Предлагаемая концепция, разумеется, не исчерпывает в полной мере всей чрезвычайно сложной проблематики взаимодействий греческого и варварского миров в пределах Северного Причерноморья. Поэтому в заключение нам хотелось бы еще раз окинуть взглядом весь круг этих вопросов, выделив в нем несколько ключевых теоретических и методологических моментов.

С начала освоения западного и северного побережий Черного моря греческая колонизация вступила в свою качественно новую фазу, по некоторым своим признакам принципиально отличающуюся от того, что ей предшествовало в Западном и Восточном Средиземноморье и на подступах к Понту Евксинскому. Открыв для себя морские пути, ведущие к устьям Дуная, Днестра, Днепровско-Бугского лимана, к берегам Крыма и Таманского полуострова и дальше через Азовское море к устью Дона, греческие мореплаватели совершили настоящий прорыв в глубины огромного евразийского континентального массива и оказались в самой гуще населявших его бесчисленных варварских племен. В определенном смысле слова это было возвращение греческого этноса к своим истокам, если, конечно, верны давно уже бытующие в науке догадки о местонахождении прародины греков, как и всех вообще индоевропейцев, в степях Северного Причерноморья или еще дальше на восток в Поволжье и Приуралье (Баюн. 1988). Вместе с тем, продвинувшись так далеко на север, греческая полисная цивилизация вышла за пределы давно уже ставшего родным для греков Средиземноморья и теперь должна была развиваться в совершенно новых и непривычных для них природных условиях. Довольно суровый континентальный климат, большие полноводные реки, обширные степные пространства с характерным для них однообразием ландшафтов — все это было чуждо и на первых порах, наверное, почти невыносимо для переселенцев, покинувших берега благодатной Эгеиды. О том, какое впечатление произвела на них природа этого края при самом первом знакомстве с нею, красноречиво свидетельствует Гомер, который на своей «карте» скитаний Одиссея поместил киммерийцев, древнейших обитателей Северного Причерноморья, у самого входа в Аид (Od. XI,14).

Совершенно новой и непривычной для греков была и та этническая среда, с которой они впервые столкнулись, приступив к освоению северных берегов Понта. Не следует забывать о том, что до тех пор они имели дело преимущественно с оседлыми варварами-земледельцами, многие из которых по уровню своего культурного развития не только им не уступали, но даже и превосходили, как, скажем, жители Египта или Сирии. В Северном Причерноморье их встретили воинственные степняки-номады. Сначала это были, по-видимому, киммерийцы, а затем сменившие их скифы. И те и другие по самому своему образу жизни в кибитках, поставленных на колеса, не говоря уже об их психологии, обычаях и нравах, являли собой диаметрально противоположность грекам, искусным земледельцам, ремесленникам и мореплавателям, привыкшим у себя на родине к оседлой жизни в укрепленных городах, людям уже вполне цивилизованным, хотя их цивилизация и была несколько скороспелой в сравнении с более древними цивилизациями Передней Азии. Сами греки, начиная уже с Гомера и Гесиода, воспринимали кочевников причерноморских степей как прямую антитезу своей культуре, как воплощение поистине первобытной дикости, сравнимое разве что с людоедами-циклопами в одном из эпизодов «Одиссеи».¹ В этом смысле контраст между двумя мирами, вступившими в непосредственное соприкосновение в эпоху Великой колонизации — миром эллинских полисов и племенным миром Евразии, именно здесь в Северном Причерноморье достиг своей предельной остроты и напряженности.²

¹ Наличие на территории Великой степи и граничащей с ней лесостепи разнородного земледельческого населения (т. н. «скифы-пахари», синды, меоты и другие племена) не меняет существа этой картины, поскольку кочевники, начиная по крайней мере с VII в. до н. э., были безраздельно доминирующей силой в пределах региона, подминая под себя слабых и разрозненных земледельцев. К тому же в непосредственной близости от греческих колоний в Нижнем Побужье и на берегах Керченского пролива первоначально, по всей видимости, вообще не было оседлого варварского населения, а обитавшие в окрестностях Херсонеса тавры, в понимании греков, были еще более диким народом, чем скифы или киммерийцы.

² Более или менее сходную ситуацию мы наблюдаем в этот период, пожалуй, лишь в Северной Африке, в районе Киренаики, где греческие колонисты также были вынуждены в течение длительного времени сосуществовать с кочевыми племенами ливийцев. В этом смысле крайний юг колониальной периферии греческого мира смыкается с ее крайним севером. Напомним, что в марксистской историографии предшествующего периода эта контрастность или даже в известном смысле враждебность и несовместимость двух миров была неверно понята как «противоположность двух экономических систем, из которых одна в общеисторическом процессе не имеет своего продолжения и обречена на гибель» (Лапин. 1966. С. 186; см.: также Каллистов. 1949. С. 236).

Разумеется, при таких исходных «посылках» путь к взаимопониманию и установлению взаимоприемлемых деловых и культурных контактов между греческими колонистами и варварскими племенами степной полосы не мог быть ни простым, ни легким. К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении письменные источники не донесли до нас сколько-нибудь надежной и достоверной информации о взаимоотношениях греческих городов-колоний с их варварским окружением на ранних этапах их существования. Скорее всего, эти отношения были далеки от какого бы то ни было стандарта и строились в каждом отдельном случае применительно к той конкретной геополитической ситуации, которая существовала в данный момент в том или ином участке степного пограничья. Так, быстрый и, как можно предполагать, почти беспрепятственный рост крупных аграрных анклавов в окрестностях греческих колоний Нижнего Побужья и Поднестровья может означать, что в период, непосредственно следующий за основанием Борисфена (ионийская колония на о. Березань), Ольвии, Тиры и Никония, варварская угроза в этом регионе была минимальной, что в свою очередь объясняется либо относительной малочисленностью эпизодически появлявшихся здесь кочевых орд, либо тем, что их экспансия была направлена преимущественно на север, в сторону лесостепи. Давление степных варваров на греческие города Боспора в раннюю пору их истории было, по всей видимости, намного более ощутимым, о чем свидетельствует сравнительно незначительная протяженность их сельской округи. Согласно отрывочным и довольно противоречивым сообщениям античных авторов, выходцы из Милета, обосновавшиеся на берегах Керченского пролива, приобретали необходимую им землю, либо вступая в договорные отношения с населявшими эти места скифами, либо силой оттесняя их вглубь полуострова (см. Strabo.: XI.; Athen. XII,26; Jordan. Get. 32; Steph. Byz. s.v. ΠΑΝΤΙΚΑΠΑΙΟΝ). О том, что жизнь их уже с самого начала была довольно-таки беспокойной, можно судить по погребениям с оружием, хорошо представленным в раннем некрополе Пантикапея. Впрочем, погребения этого рода были открыты также в Ольвии и в других северопонтийских городах. Территориальная экспансия Херсонеса Таврического на Гераклейском полуострове, приходившаяся в основном на IV в. до н. э., сопровождалась безжалостным уничтожением существовавших здесь таврских поселений и вытеснением коренного населения в глухие углы горного Крыма.

Разделявший греков и варваров барьер взаимного отчуждения имел своей основой не только огромный разрыв в уровнях их социального и культурного развития и чисто психологическую несовместимость «просвещенных мореплавателей» и граждан античного полиса с полудикими кочевниками. Здесь нельзя не учитывать и еще одно немаловажное обстоятельство. Мы имеем в виду достаточно высокий уровень этнического самосознания грече-

ской народности, вполне определившийся уже к VII–VI вв. до н. э. Это самоопределение греков неизбежно должно было породить в их сознании мысль о внеположности, а стало быть, и прямой противоположности их эллинского мира со всех сторон окружающему его враждебному миру варваров. Периодически возникавшие на этой почве вспышки ксенофобии надежно засвидетельствованы в наших источниках. Нетрудно догадаться, что за выказываемое к ним отвращение варвары, и в том числе скифы, должны были платить надменным, самовлюбленным эллинам той же монетой, причем в их стихийной, несбалансированной психике негативные эмоции этого рода могли разрастаться до гиперболических размеров. В известной истории злополучного царя Скила, в некоторых других эпизодах, сохраненных Геродотом и другими античными авторами, до нас дошли, по-видимому, лишь слабые отголоски этой вековой вражды между двумя этносами и их культурами.

Можно предполагать далее, что сознание своей этнической обособленности и своего превосходства над другими народами и племенами было присуще скифам и в особенности их аристократической верхушке — тем, кого Геродот называет «царскими скифами», в ничуть не меньшей степени, чем гражданам греческих полисов. По словам того же автора (Hdt. IV, 76, 1), скифы «упорно избегают пользоваться чужими обычаями и, не говоря уже о прочих, более всего эллинскими» (ср. Ibid. 77, 2; 80, 5). Этой приверженностью скифов их обычаям объясняется, по мысли великого историка, трагическая судьба Скила, так же как и другого эллинофила — Анахарсиса. О присущем скифам обостренном чувстве своей особливости, резко выделявшем их среди всех прочих причерноморских варваров, может свидетельствовать также и тот немаловажный факт, что их мировосприятие уже успело отлиться в ясную и законченную формулу, воплощенную в искусстве знаменитого звериного стиля, которое и по своим формальным признакам, и по внутренней семантической наполненности может считаться прямой противоположностью греческого искусства архаической и классической эпохи.¹

Существовал и еще один фактор, затруднявший создание хорошо отрегулированной системы контактов между греческими полисами и варварскими племенами Северного Причерноморья. Этим фактором была крайняя политическая нестабильность, царившая в степной полосе региона. Постоян-

¹ Признаки греческого влияния, особенно ощутимые в поздних (второй половине V — IV в. до н.э.) образцах произведений звериного стиля, многие из которых могли быть выполнены в ольвийских и боспорских мастерских греками или эллинизированными варварами, не должны скрывать от нас тот непреложный факт, что в своей основе это была вполне автономная художественная система, развивавшаяся по своим собственным, имманентно в ней заложенным законам (Хазанов. 1975. С. 67 сл.; ср. Переводчикова. 1992).

ные передвижения враждующих между собой кочевых племен, вторжения новых племенных объединений, вышедших из глубин «степного коридора», «неоднократно меняли этническую и политическую ситуацию в Причерноморье, разрушая сложившиеся системы контактов как внутри мира местных племен, так и между ними и греками. Не случайно время относительно-го затишья в Великой степи, приходящееся на конец V — IV в. до н. э. и, скорее всего, прямо связанное с укреплением могущества скифской державы при царе Атее, было вместе с тем и временем наивысшего процветания греческих городов на побережье Черного моря.¹

И все же даже и при наличии целого ряда факторов, подталкивавших как греков, так и варваров ко все большему обострению взаимной вражды и отчужденности, их отношения, за редкими исключениями, одним из которых может считаться ситуация, сложившаяся на Гераклейском полуострове в юго-западном Крыму после основания там Херсонеса Таврического, по-видимому, не переходили за ту опасную черту, где никакие контакты уже были бы невозможны. Скорее, характер этих отношений, вероятно, можно было бы определить как длительное балансирование на грани взаимного недоверия и взаимной же заинтересованности и тяготения друг к другу. Факторы, способствовавшие разъединению этносов, в конечном счете уравнивались и даже перемешивались факторами, способствовавшими их сближению. Не подлежит сомнению, что уже изначально, на самых ранних этапах греческой колонизации греков и варваров должна была вести навстречу друг другу обоюдная заинтересованность в торговом обмене. Как бы не решался сейчас вопрос о так называемой «эмпориальной стадии» в процессе колонизации — о соотношении торгового и аграрного векторов этого процесса, ясно, что уже само по себе сосуществование на одной территории двух или даже большего числа столь непохожих друг на друга социумов не могло не благоприятствовать развитию такого рода контактов. Как с той, так и с другой стороны основу импортно-экспортного оборота составляли товары остро дефицитные, экзотические и потому пользовавшиеся огромным спросом там, куда они доставлялись. Греческие вина и оливковое масло, льняные и шерстяные ткани, столовая посуда, керамическая и металлическая, ювелирные изделия и в меньшей степени оружие обменивались на скифских рабов, скот, кожи и шерсть, рыбу, пшеницу и, может быть, также металлы, обычные и драгоценные. Огромная культурно-историческая дистанция, разделяющая античную городскую цивилизацию и варварское кочевое или оседло-земледельческое общество, резкое различие характерных для них форм ведения хозяйства и бытового уклада стали той почвой, на ко-

¹ Впервые это положение было выдвинуто М. И. Ростовцевым, хотя он распространял его на всю скифскую эпоху (Rostovtzeff. 1922. P. 12).

торой только и могла возникнуть вся эта сложная система коммерческих связей, соединявших скифский Север с греческим Югом.¹ Бросающаяся в глаза парадоксальность этой ситуации заключалась в том, что в сущности один и тот же фактор — разительное несходство двух этносов и их культур действовал в двух разных направлениях как сила, в одно и то же время разъединяющая и сближающая народы.

Параллельно с товарообменом и в тесной связи с ним между Грецией и степями Северного Причерноморья происходил другой не менее важный обмен — обмен идеями и знаниями, обмен всевозможной полезной информацией. При всей своей идиосинкразии ко всему чужому скифы и другие варвары не могли не поддаться обаянию гораздо более высокой и столь непохожей на их собственную греческой культуры. Уже упомянутый геродотовский логос о Скиле остается здесь своего рода парадигмой, демонстрирующей в одно и то же время и тяготение степняков к соблазнам греческой цивилизации, и их отталкивание от нее. Со своей стороны и любознательные греки не могли не испытывать интереса и даже определенного влечения к экзотическим скифским обычаям и нравам при всем том шокирующем воздействии, которое они, безусловно, должны были на них оказывать (ср. Ельницкий. 1983). Со свойственной им приспособляемостью и способностью к подражанию при несомненно критическом усвоении чужого опыта они не останавливались, когда это было им нужно, перед прямыми заимствованиями отдельных элементов варварских культур. Примерами такого рода заимствований могут служить хотя бы земляночные жилища на Березани и в окрестностях Ольвии, некоторые культы определенно местного происхождения в Ольвии, Херсонесе и на Боспоре, образцы звериного стиля, выполненные в боспорских и ольвийских мастерских. Хотя, учитывая весьма значительный разрыв в уровнях культурного развития и большую открытость греческой культуры, все же приходится признать, что именно греки выступали в этих контактах в роли активных культуртрегеров и доноров, дававших варварам, по крайней мере на первых порах, намного больше, чем сами могли у них взять.

Говоря о факторах, способствовавших установлению греко-варварских контактов и взаимному обогащению двух культур, нельзя упускать из вида и еще один достаточно важный момент. Дело в том, что при всех существовавших между ними различиях и греческий полис, и скифская кочевая орда, и, видимо, также общества оседлых варваров-земледельцев представляли

¹ Иначе говоря, ситуация, сложившаяся в Северном Причерноморье в VI–IV вв. до н. э., была прямо противоположной той, которую в свое время (в 40–50-х гг.) пытались умозрительно воссоздать последователи известной концепции «двусторонности колониационного процесса» (см. ее критический разбор в книге В. В. Лапина. 1966. С. 7 сл.).

собой в сущности тупиковые формы социальной организации, несущие в себе потенции застоя и неспособные к самостоятельному переходу на следующий виток спирали исторического прогресса.¹ Как ни парадоксально это звучит, но именно в этом следует видеть, как нам думается, одну из главных предпосылок столь длительного сосуществования (своеобразного симбиоза) всех этих видов социумов в пределах северопричерноморского региона. Очевидно, две или даже большее число социальных систем, в одинаковой степени предрасположенных к стагнации, ни одна из которых по этой причине не может слишком сильно опередить другие, несмотря на радикальные различия их «стартовых ситуаций», рано или поздно должны были прийти к определенной сбалансированности ритмов их внутреннего развития.

Сходство греческого полиса со скифской кочевой ордой заключалось еще и в том, что это были две разновидности по преимуществу паразитических социальных организмов, существовавших за счет экстенсивного расширения своего жизненного пространства и эксплуатации соседних социумов. По временам это могло приводить к возникновению в различных районах северопонтийской зоны своеобразной системы обоюдной или двусторонней эксплуатации варваров греками (главным образом посредством неэквивалентного торгового обмена, работорговли и порабощения свободных общинников, оказавшихся в пределах хоры того или иного полиса) и греков варварской племенной верхушкой (в наиболее привычных для нее формах грабительских набегов или обложения данью отдельных полисов). Такого рода отношения, по-видимому, сложились в районах Нижнего Побужья и Поднестровья в период скифского протектората над Ольвией и соседними с ней греческими городами. Периодически они возникали также и на Боспоре (время, предшествующее основанию Боспорской симмахии во главе с Археанактидами) и в Западном Крыму. Само собой разумеется, что каждая из сторон, участвовавших в контактах этого рода: и греки, и варвары, в свою очередь, старались перестроить эту систему в свою пользу и из двусторонней сделать ее односторонней. Но при этом как те, так и другие были заинтересованы друг в друге как в источнике материальной выгоды и ради сохранения своего контрагента готовы были идти на любые сделки и компромиссы, если этого требовали обстоятельства.

¹ О тупиковом характере скифской и вообще кочевнической экономики см.: Хазанов А. М. (1975. С. 266 сл.), Виноградов Ю. Г., Доманский, Марченко (1988. С. 33). О исторической обреченности греческого полиса см. интересную статью английского историка У. Рансимена (Ranciman. 1990). Ср. явно несостоятельные рассуждения историков-марксистов старшего поколения о будто бы значительно большей исторической перспективности (с точки зрения их близости к феодализму) всех вообще варварских обществ, включая и такие специфические их разновидности, как кочевое общество скифов (Каллистов. 1949. С. 236; Лапин. 1966. С. 186).

Конечным итогом длительного сосуществования и взаимодействия двух этнических массивов на территории Северного Причерноморья принято считать так называемый «греко-варварский синтез», или возникновение смешанных синкретических форм культуры и образа жизни. В основе этого своеобразного культурно-исторического феномена лежит ряд взаимосвязанных, но не вполне тождественных друг другу процессов, среди которых необходимо различать, с одной стороны, ассимиляцию или аккультурацию отдельных варваров и целых их групп (общин, родов, племен и т. д.) в греческой среде и аналогичный процесс ассимиляции греков в варварской среде,¹ с другой стороны, перестройку или перерождение самого культурного комплекса, варварского или греческого, в результате внедрения в него элементов чужой культуры или культур.

Здесь необходимо, однако, сделать одну оговорку. Подлинный культурный синтез едва ли может быть отождествлен с простой аккультурацией, так как под ним обычно подразумевается более или менее гармоничное, сбалансированное или, говоря иначе, равноправное соединение элементов разных культур, а не подавление и растворение одной из них другой более высокой или, наоборот, более низкой. В этой связи неизбежно встает вопрос о соотношении двух основных тенденций культурогенеза: эллинизации варваров и варваризации греков. Какая из них может считаться доминирующей в пределах рассматриваемого здесь региона? Однозначный ответ на этот вопрос едва ли возможен. Очевидно, обе эти тенденции имели место и в определенном смысле шли навстречу друг другу, сливаясь в едином потоке смешения культур. В принципе такова была общая закономерность, наблюдаемая на всем пространстве колониальной периферии античного мира.

Вместе с тем необходимо учитывать, что интенсивность, масштабы, формы и конечные результаты процессов эллинизации и варваризации могли существенно различаться в зависимости от места и времени. В этой связи нельзя не обратить внимание на принципиальное различие ситуаций, сложившихся в V–IV вв. до н. э. в независимых полисах Северо-Западного Причерноморья и Западного Крыма, с одной стороны, и на территории Боспорского царства, с другой. И в Ольвии, и в Херсонесе, и, видимо, также в Тире и Никонии, о которых мы знаем гораздо меньше, греческая гражданская община, несмотря на все пережитые ею кризисы и потрясения, сохранила свою монолитность перед лицом враждебного варварского окружения. В этих полисах греки оставались господствующим меньшинством, резко обособленным от неполноправного и зависимого по преимуществу, несомненно, туземного населения самого полиса и окружающей его хоры. Соот-

¹ Оба эти процесса могли осуществляться как посредством метисации населения, смешанных браков и т. п., так и через простое усвоение чужого языка, обычаев, верований и т. д.

ветственно и их культура, и сам образ жизни в течение длительного времени (по крайней мере, до последних столетий дохристианской эры) сохраняли свой чисто эллинский, хотя и довольно архаичный и провинциальный облик. Отдельные факты, свидетельствующие о присутствии варваров либо в самом полисе, либо где-то в непосредственной близости от него и об их влиянии на культуру греков, как, например, земляночные жилища и лепная керамика на поселениях ольвийской хоры, образцы варварской антропологии в ольвийских надписях, культ Девы в Херсонесе и т. п., едва ли могут сколько-нибудь существенно изменить это общее впечатление.

Немногочисленные представители скифской или фракийской (?) знати, фигурирующие в ольвийской эпиграфике VI–V вв. до н. э., по всей видимости, были в основной своей части оседлыми варварами, постоянно проживавшими в городе. Все они, вероятно, довольно быстро растворились в общей массе греческого населения Ольвии, хотя мы не располагаем никакими данными, свидетельствующими об их проникновении в ряды гражданского коллектива полиса, по крайней мере до последней трети IV в. до н. э. (времени осады города Зопирионом). В течение всей этой эпохи в самой Ольвии и вокруг нее (на территории хоры) существовал гораздо более мощный и в гораздо меньшей степени затронутый процессом эллинизации низовой слой варварского населения, включавший в свой состав разноплеменных выходцев из степной и лесостепной Скифии, также из гето-фракийского ареала (соотношение этих этнических компонентов могло быть различным в разные периоды истории Ольвийского государства). Основным индикатором, позволявшим фиксировать присутствие этой демографической категории на землях Ольвии, все еще остаются открытые во многих местах комплексы лепной керамики. Процентное отношение керамики этого рода к другим видам столовой и кухонной посуды оставалось почти неизменным на протяжении нескольких столетий (со второй половины VI до второй половины III в. до н. э.). Лишь незначительно менялся также и ее внешний облик, и техника ее изготовления (определенное влияние на нее греческой кружалной керамики становится заметным лишь начиная с конца IV в. до н. э.). Все эти факты достаточно ясно свидетельствуют о чрезвычайной устойчивости культурных традиций основной массы негреческого населения Ольвии так же, как и о его сравнительно слабой восприимчивости к воздействию греческой культуры даже в условиях длительного и достаточно тесного соседства двух этнических групп.

Нам трудно поэтому согласиться с идилически окрашенными рассуждениями В. П. Яйленко о будто бы имевшем место на территории Нижнего Побужья, как, впрочем, и во многих других районах колониальной периферии, «добровольной трудовой кооперации» греков и варваров (Яйленко. 1983. С. 152 сл.; ср. Фролов. 1988. С. 148 сл.). Предположение этого автора,

будто разноплеменные варвары стягивались в окрестности Ольвии, привлеченные возможностями такого рода кооперации и вытекающей из нее перспективой повышения своего жизненного уровня, кажется нам достаточно легковесным и не подкрепленным в должной мере фактическим материалом. Если судить по их земляночным жилищам и все той же лепной керамике с незначительной примесью и столовой посуды, уровень жизни этих людей на протяжении веков оставался крайне низким, вероятно, не так уж сильно отличающимся от жизненного уровня индейских племен Северной Америки или чернокожих тропической Африки после того, как они познакомились с такими дарами европейской цивилизации, как «огненная вода», кремневые ружья и хлопчатобумажные ткани. Кроме того — и это самое главное, — у нас отнюдь не может быть твердой уверенности в том, что все варвары, селившиеся в окрестностях Ольвии или какого-нибудь другого греческого города в Северном Причерноморье, делали это вполне добровольно. Их социальный статус нам неизвестен. Однако мы вправе предположить, что основную их массу составляли сельские рабы типа ойкетов в декрете в честь Протогена (IOSPE 1², 32.20) и какие-то иные категории зависимого населения.

Едва ли существенно иной характер носили отношения между греками и подвластным им туземным населением также и на территории Херсонеса Таврического. Судя по имеющимся у нас данным, степень социальной и культурной обособленности двух этнических массивов, их взаимной отчужденности была здесь еще более высокой, чем в Ольвии. Местные варвары (основную их массу составляли, по-видимому, крайне отсталые, полудикие тавры) оказались еще более невосприимчивыми к достижениям греческой цивилизации, чем обитатели Нижнего Побужья. Во всяком случае, в нашем распоряжении все еще очень мало фактов, которые могли бы свидетельствовать об их сколько-нибудь далеко продвинувшейся эллинизации.

С принципиально отличной моделью развития греко-варварских контактов сталкиваемся мы на Боспоре в период правления династии Спартокидов. Цари из этого рода сумели сбалансировать и до известной степени примирить интересы своих разноплеменных подданных в рамках созданного ими полиэтнического государства. Извечный греко-варварский антагонизм был здесь сильно смягчен, хотя полностью устранить его вряд ли кому-нибудь удалось бы, пока и поскольку Боспорское царство продолжало оставаться рабовладельческим государством. В усадьбах и в мастерских, принадлежавших боспорской знати, трудились рабы и другие категории зависимого населения, рекрутируемые из числа туземных варваров. В то же время, как показывают материалы раскопок важнейших боспорских некрополей и в меньшей степени эпиграфические данные, значительную часть самой этой аристократической прослойки составляли эллинизированные вар-

вары. Одним из таких варварских кланов, усвоивших греческий язык и культуру, вероятно, были и сами Спартокиды. Однако эллинизация не привела на Боспоре к полному стиранию культурных традиций местного населения, по преимуществу скифского в европейской части государства, синдо-мелитского в азиатской. И что особенно важно, эти традиции сохранили здесь свою силу и жизненность не только на низовом уровне, в среде простых земледельцев, скотоводов и ремесленников, но и на уровне правящей элиты общества, среди варварской племенной знати, частью осевшей в городах, частью продолжавшей вести свой прежний кочевой или полукочевой образ жизни. Именно это обстоятельство следует признать тем решающим фактором, который предопределил исключительное своеобразие всего облика боспорской культуры, представлявшей собой, как это не раз уже отмечалось и подчеркивалось в литературе, специфический сплав греческих и туземных элементов. Пример Боспора лишний раз убеждает нас в том, что тенденции греко-варварского синтеза лишь тогда оказываются по-настоящему плодотворными, когда их удается реализовать на высшей, элитарной ступени социальной иерархии.

В какой-то мере «флюидами» греческой культуры, распространившимися из городов-колоний на северном побережье Понта, были затронуты и независимые варварские племена, населявшие на всем его протяжении причерноморский степной коридор и граничащую с ним лесостепь, и, по-видимому, в значительной своей части входившие в состав Великой Скифии. Конечно, не следует преувеличивать глубину и силу греческого влияния на обитателей этого в общем еще достаточно дикого края. Находки золотых и серебряных изделий греческой работы, греческой керамики и т. п. предметов в курганах скифских царей и могильниках иного типа сами по себе еще не могут свидетельствовать о далеко зашедшей эллинизации населения степи и соседствующей с ней лесостепи. Все эти диковинки вряд ли что-нибудь принципиально могли изменить в повседневной жизни степных варваров, их психологии и мировосприятии. Едва ли могло оказать на них глубокое цивилизующее воздействие также и знакомство с греческими винами (известно, что скифы употребляли их на свой лад, не считаясь с эллинскими застольными обычаями) или с совершенно неприспособленной к кочевому быту греческой одеждой. Сравнительно редкие находки изделий туземных ремесленников, пытавшихся подражать работам греческих мастеров, наглядно демонстрируют их полную неспособность к постижению основных формообразующих принципов античного искусства, хотя эти робкие попытки изображения антропоморфных фигур богов или героев уже сами по себе могут свидетельствовать об определенных сдвигах не только в эстетическом восприятии окружающего мира, но и в религиозном сознании варваров (Хазанов, Шкурко. 1978. С. 73 сл.; Раевский. 1979. С. 69; Онайко. 1976).

Тем не менее нельзя и недооценивать значимость греческого присутствия для племенного мира Северного Причерноморья. Определенное ускорение темпов общественного развития наблюдается среди той его части, которая более всего была втянута в орбиту греческой торговой экспансии и соответственно испытала на себе наиболее сильное влияние эллинской культуры.¹ Можно предполагать, что общение с греками сыграло роль своеобразного катализатора в процессе социального и имущественного расслоения варварского общества. Его верхушка, извлекавшая максимальные выгоды из участия в работорговле и сбыте зерна в греческие полисы, резко обособилась от массы рядовых общинников. Возможно, именно заинтересованность в торговых контактах с греками подталкивала часть населения степной зоны к отказу от привычного образа жизни и переходу к более или менее прочной оседлости. Пока еще довольно трудно оценить масштабы и интенсивность этого процесса, хотя одним из наиболее важных его проявлений, несомненно, может считаться возникновение ряда крупных поселений городского или скорее все же протогородского типа вдоль южной кромки Великой степи (Хазанов. 1975а. С. 239 сл., 248 сл.). Наиболее известны среди них для V–IV вв. до н. э. Каменское городище на нижнем Днепре, Елизаветовское городище в дельте Дона, а для более позднего времени Неаполь Скифский в степном Крыму. По крайней мере, одно из этих поселений — Елизаветовское включало в себя в качестве своей интегральной части греческий эмпорий или, может быть, выселки (субколонию) одного из причерноморских полисов. Этот пример ясно показывает, что греческие купцы и ремесленники иногда проникали довольно далеко вглубь степной полосы и, подолгу задерживаясь в этих удаленных от моря краях, вступали в особые тесные контакты с местными кочевым и оседлым населением, сближаясь и, возможно, даже смешиваясь с ним. В столице позднескифского царства Неаполе Скифском греки, судя по некоторым признакам, составляли уже довольно значительную и, видимо, весьма влиятельную часть населения. Представители скифской племенной знати, составлявшие непосредственное окружение Скилура, Палака и других правителей этого государства, подверглись здесь весьма ощутимой эллинизации, усвоив некоторые греческие обычаи, язык и, может быть, даже письменность. На всем облике культуры Неаполя Скифского с такими характерными ее чертами, напоминающими города Боспора и Херсонес, как монументальная архитектура и скульптура, фресковая живопись, стелы с надписями, лежит ясно выраженная печать греческого влияния (Шульц. 1971. № 171; Соломоник. 1962; Хазанов, Шкурко. 1978. С. 74 сл.).

¹ Примером такой далеко зашедшей эллинизации могут служить племена синдов, населявшие Таманский полуостров и часть Прикубанья (Kruskol. 1974).

Однако в целом эта конвергенция этносов и их культур, по-видимому, не продвинулась на сколько-нибудь значительное расстояние. Даже те варварские общества, которые подверглись наиболее сильной эллинизации, так и не сделались по-настоящему эллинскими. Обе социальные системы продолжали развиваться параллельно и в значительной мере независимо друг от друга, взаимодействуя лишь в очень ограниченных пределах. Весьма показательно, что для граждан Херсонеса Таврического эллинизированные скифы из царства Скилура и Палака по-прежнему оставались настоящими варварами, вероломными и опасными (см.: Декрет в честь Диофанта — IOSPE. 1², 352).

Учитывая все сказанное, мы должны признать греко-варварский синтез на территории Северного Причерноморья явлением скорее спорадического характера. Только на Боспоре он вылился в более или менее устойчивые и жизнеспособные синкретические формы государственности, социальных отношений, религии и искусства. В Ольвии и Херсонесе, а также за пределами зоны колонизации, в глубине Великой Скифии мы сталкиваемся чаще всего с фактами чисто эклектического, т. е. недостаточно глубокого и органичного усвоения отдельных элементов чуждой культуры как варварами, так и греками. Это усвоение могло идти как по линии простого заимствования культурных инноваций (в сфере технологии, строительства, хозяйства, быта, военного дела), так и по линии имитации, более искусной у греков, более грубой и примитивной у варваров, но почти всегда достаточно поверхностной (в сфере искусства и художественного ремесла). Более сложные и органичные формы греко-варварского синтеза, вероятно, можно было бы наблюдать в сфере культовой практики и религиозного сознания. Но о них нам известно лишь очень немногое.

Поэтому стоит весьма осторожно относиться к витающей в воздухе со времен Э. Миннза и М. И. Ростовцева идее «протоэллинизма» как особого периода в истории Северного Причерноморья (Minns. 1913. P. 565, 577, 613; Ростовцев. 1993. С. 83 сл.; Блаватский. 1985. С. 109 сл.). Из всех государств этого региона только Боспорское царство в какой-то степени приближается к эллинистическим монархиям Востока с характерным для них греко-варварским дуализмом. Однако даже на Боспоре период относительно мирного сосуществования «эллинства» и «иранства» не был особенно продолжительным. Если бросить взгляд за пределы скифской эпохи, мы увидим, что уже в первой половине III в. до н. э. этот, вероятно, не без труда достигнутый паритет двух этнических массивов был серьезно поколеблен в самых своих основаниях. После периода взаимных уступок и компромиссов варвары опять перешли в контрнаступление и начали теснить греков и на границах Боспорского царства, и внутри него. Этот «реванш» варварской стихии стимулировали, с одной стороны, свежие силы новых кочевых орд, пришедших

из глубин Евразии и еще не затронутых разлагающим влиянием эллинской культуры, с другой — ослабление и упадок самой греческой цивилизации, истощение ее творческого потенциала. В культурной жизни Боспора первоначальная достаточно поверхностная эллинизация уступает место гораздо более глубокой и практически тотальной варваризации всего населения. Ту же самую картину мы наблюдаем в этот период *mutatis mutandis* в других государствах Северного Причерноморья, как, впрочем, и повсюду на периферии эллинистического мира. Подспудно ощущавшаяся с самого начала греко-варварских контактов органическая несовместимость двух культур, их враждебность друг другу стала теперь совершенно очевидной.

Список сокращений

- ААИ — *Блаватский В. Д.* Античная археология и история. М., 1985
АГСП — Античные города Северного Причерноморья. М.; Л., 1955
АДЖ — *Ростовцев М. И.* Античная декоративная живопись на юге России. СПб., 1913
АИБ — Археология и история Боспора. Симферополь
АМА — Античный мир и археология. Саратов
АО — Археологические открытия. М.
АП УРСР
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л. (СПб)
ВДИ — Вестник древней истории. М.
ВЕ — Вестник Европы
ВИ — Вопросы истории. М.
Віс.ОКК — Вісник Одеської комісії краєзнавства
ВССА — Вопросы скифо-сарматской археологии. М.; Л., 1952
ВЯ — Вопросы языкознания. М.
ДБК — Древности Боспора Киммерийского. СПб., 1854
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЗАОО — Записки Одесского археологического общества
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей
ЗОРСО — Записки Отделения русской и славянской археологии
ИАК — Известия Императорской археологической комиссии
ИГАИМК — Известия Государственной академии материальной культуры
ИКОГО СССР — Известия Крымского отдела Географического общества СССР. Симферополь
ІЗКДУ — Історичний збірник Київського державного університету
ИРАИМК — Известия Российской академии материальной культуры
ИТОИАЭ — Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии
КБН — Корпус боспорских надписей. М.; Л., 1965
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСОГАМ — Краткие сообщения Одесского Государственного археологического музея

- КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры
- МАР — Материалы по археологии России
- МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья
- МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
- МКИН — Международная конференция исторических наук
- НАА — Народы Азии и Африки
- НЭ — Нумизматика и эпиграфика
- ОАК — Отчет Императорской археологической комиссии
- ПАВ — Петербургский археологический вестник
- ПИДО — Проблемы исследования докапиталистических обществ
- ПИСП — Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. М., 1959
- ПСА — Проблемы скифской археологии // МИА. № 177. М., 1971
- РА — Российская археология
- СА — Советская археология
- САИ — Свод археологических источников
- СГМИИ — Сообщения Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
- СГАИМК — Сообщения Государственной академии истории материальной культуры
- СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа
- СП — *Жебелев С. А. Северное Причерноморье. М.; Л., 1953*
- ТГИМ — Труды Государственного исторического музея
- ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа
- ТОАМ — Труды Отдела античного мира Государственного Эрмитажа
- ХС — Херсонесский сборник
- AJA — American Journal of Archaeology
- CAH — Cambridge Ancient History
- CIG — Corpus Inscriptionum Graecarum
- DAWSA — Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlinschriften der Section für Altertum swissenschaft
- IOSPE — Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae
- JHS — Journal of Hellenic Studies
- MCA — Materiale si cercetari archeologice
- PSI — Pubblicazioni della Societa italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto
- PZ — Prähistorische Zeitschrift
- RE — Pauly-Wissowa-Kroll. Realencyclopädie der classischen Altertumwissenschaft
- SCIV — Studii si cercetari de istorie vechе

Список использованной литературы

- Абикулова М. И., Былкова В. П., Гаврилюк Н. А. 1987. Скифские поселения Нижнего Поднепровья // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. семинара. Ч. 1. Кировоград.
- Абрамова М. П. 1982. Катакомбные и склеповые сооружения юга Восточной Европы (середина I тыс. до н. э. — первые века н. э.) // Археологические исследования на юге Восточной Европы. Ч. 2. Труды ГИМ. Вып. 54.
- Абрамова М. П. 1990. О скифских традициях в культуре населения Центрального Предкавказья в IV—II вв. до н. э. // Проблемы скифо-сарматской археологии. М.
- Агбунов М. В. 1984. Античная география Северного Причерноморья. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Алексеев А. Ю. 1981. К вопросу о дате сооружения Чертомлыцкого кургана (по керамическим материалам) // АСГЭ. Вып. 22.
- Алексеев А. Ю. 1982. Кургan Цимбалка и его датировка // СГЭ. Вып. 47.
- Алексеев А. Ю. 1986. Нашивные бляшки из Чертомлыцкого кургана // Античная то-ревтика. Л.
- Алексеев А. Ю. 1991. Хронология и хронография Причерноморской Скифии в V в. до н. э. // АСГЭ. Вып. 31.
- Алексеев А. Ю. 1992. Скифская хроника (Скифы в VII—IV вв. до н. э.: историко-археологический очерк). СПб.
- Алексеев А. Ю. 1993. Великая Скифия или две Скифии? // Скифия и Боспор. Новочеркасск.
- Алексеев А. Ю. 1993а. Уникальные украшения из Александропольского кургана // ПАВ. Вып. 6.
- Алексеев А. Ю. 2003. Хронография Европейской Скифии VII—IV веков до н. э. СПб.
- Алексеев А. Ю., Качалова Н. К., Тохтасьев С. Р. 1993. Киммерийцы: этнокультурная принадлежность. СПб.
- Алексеев А. Ю., Мурзин В. Ю., Ролле Р. 1991. Чертомлык. Скифский царский курган IV в. до н. э. Киев.
- Алексеева Е. М. 1980. К изучению сельских поселений вокруг Горгиппии // Горгиппия. I. Краснодар.
- Алексеева Е. М. 1990. Раннее поселение на месте Анапы (VI—V вв. до н. э.) // КСИА. Вып. 197.
- Алексеева Е. М. 1991. Греческая колонизация Северо-Западного Кавказа. М.
- Амусин И. Д. 1952. Термины, обозначающие рабов в эллинистическом Египте, по данным Септуагинты // ВДИ. № 3.
- Анохин В. А. 1977. Монетное дело Херсонеса. Киев.
- Анохин В. А. 1986. Монетное дело Боспора. Киев.
- Анохин В. А. 1988. Монетное дело и денежное обращение Керкинитиды (по материалам раскопок 1980—1982) // Античные древности Северного Причерноморья. Киев.

- Анохин В. А. 1989. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. Киев.
- Античная скульптура... 2004. Античная скульптура из собрания Керченского Государственного историко-культурного заповедника. Лапидарная коллекция. Киев. Т. I.
- Анфимов Н. В. 1951. Семибратнее городище // КСИИМК. Вып. 37.
- Анфимов Н. В. 1953. Исследование Семибратнего городища // КСИИМК. Вып. 51.
- Анфимов Н. В. 1958. Из прошлого Кубани. Краснодар.
- Анфимов Н. В. 1966. Комплекс бронзовых предметов из кургана близ ст. Темижбекской // Культура античного мира. М.
- Анфимов Н. В. 1967. Меоты и их взаимодействия с Боспором в эпоху Спартокидов // Античное общество. М.
- Анфимов Н. В. 1987. Древнее золото Кубани. Краснодар.
- Артамонов М. И. 1961. Антропоморфные божества в религии скифов // АСГЭ. Вып. 2.
- Артамонов М. И. 1966. Сокровищ скифских курганов. Прага; Л.
- Артамонов М. И. 1968. Куль-обский олень // Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л.
- Артамонов М. И. 1968а. Происхождение скифского искусства // СА. № 4.
- Артамонов М. И. 1972. Скифское царство // СА. № 3.
- Артамонов М. И. 1974. Киммерийцы и скифы. Л.
- Артамонов М. И. 1977. Возникновение кочевого скотоводства // Проблемы этнографии. Л.
- Артамонова О. А. 1940. Древнейшее поселение на острове Березань // КСИИМК. Вып. 5.
- Балонов Ф. Р. Чертомлыкская серебряная амфора как модель мифопоэтического пространства—времени // Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. Приложение 12.
- Бартольд В. В. 1963. Таджики. Исторический очерк // Бартольд В. В. Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М.
- Барцева Т. Б. 1980. О химическом составе металла наварший скифского времени // СА. № 4.
- Барцева Т. Б. 1981. Цветная металлообработка скифского времени. М.
- Барцева Т. Б. 1983. Результаты спектральноаналитического изучения архаических комплексов Посулья // АСГЭ. Вып. 23.
- Басовская Н. И., Долгоруков В. С., Кузнецов В. Д., Шавырина Т. Г., Яйленко В. П. 1978. Исследования в Фанагории // АО-1977. М.
- Башкиров А. С. 1967. Из истории Патрея III—I вв. до н. э. // ЗОАО. 2(35).
- Баюн Н. С. 1988. Древняя Европа и индоевропейская проблема // Древняя Европа. Т. 1. М.
- Безсонова С. С. 1972. Таврське поховання з некрополя Тірітаки // Археологічні дослідження на Україні. 4.
- Безсонова С. С. 1977. Зображення Афіни за матеріалами Північного Причорномор'я скіфської пори // Археологія. 23.
- Безсонова С. С., Раевський Д. С. 1977. Про золоту пластину з Сахнівки // Археологія. Т. 21.
- Белецкий А. А. 1958. О собственных именах в новонайденных ольвийских надписях // СА. Т. XXVIII.

- Белов Г. Д. 1938. Отчет о раскопках Херсонеса за 1935–36 гг. Гос. изд-во Крымской АССР.
- Белов Г. Д. 1948. Херсонес Таврический. Л.
- Белов Г. Д. 1972. Ионийская керамика из Херсонеса // ТГЭ. XIII.
- Белов Г. Д. 1981. Некрополь Херсонеса классической эпохи // СА. № 3.
- Белов Г. Д., Стржелецкий С. Ф. 1953. Кварталы XV и XVI (Раскопки 1937 г.) // МИА. № 34.
- Белозор В. П. 1986. Скифские каменные изваяния VII–V вв. до н. э. Автореф. канд. дис. Киев.
- Білозор В. П. 1994. Скіфська скульптура // Золото степу. Археологія України. Київ.
- Бідзіля В. І. 1971. Дослідження Гайманової Могили // Археологія. 1.
- Беляев С. А. 1984. Херсонес // Античные государства Северного Причерноморья. Археология СССР. М.
- Берзин Э. О. 1958. Синдика, Боспор и Афины в последней четверти V в. до н. э. // ВДИ. № 1.
- Берзин Я. В., Виноградов В. Б. 1988. Центральное Предкавказье во второй половине I тысячелетия до нашей эры // Проблемы сарматской археологии и истории. Тез. докл. конф. Азов.
- Бертье-Делагард А. Л. 1907. О Херсонесе. Древнейший Херсонес по Страбону и раскопкам // ИАК. Вып. 21.
- Бессонова С. С. 1973. Погребение IV в. до н. э. из Трехбратнего кургана // Скифские древности. Киев.
- Бессонова С. С. 1982. О скифских повозках // Древности степной Скифии. Киев.
- Бессонова С. С. 1982а. Серьги с изображением Владычицы зверей из скифских погребений IV в. до н. э. // Новые памятники древней и средневековой художественной культуры. Киев. 1982.
- Бессонова С. С. 1983. Религиозные представления скифов. Киев.
- Бессонова С. С., Кириллин Д. С. 1977. Надгробный рельеф из Трехбратнего кургана // Скифы и сарматы. Киев.
- Бессонова С. С., Скорый С. А. 1986. Погребение скифского воина из Акташского могильника в Восточном Крыму // СА. № 4.
- Бессонова С. С. 1982. О скифских повозках // Древности степной Скифии. Киев.
- Бессонова С. С. 1982а. Серьги с изображением Владычицы зверей из скифских погребений IV в. до н. э. // Новые памятники древней и современной художественной культуры. Киев.
- Бессонова С. С. 1983. Религиозные представления скифов. Киев.
- Бессонова С. С., Кириллин Д. С. 1977. Надгробный рельеф из Трехбратнего кургана // Скифы и сарматы. Киев.
- Билимович З. А. 1970. Два таза из Семибратних курганов // СА. № 3.
- Билимович З. А. 1971. Бронзовый кувшин из VI Семибратнего кургана // СА. № 1.
- Билимович З. А. 1976. Греческие бронзовые зеркала эрмитажного собрания // ТГЭ. 17.
- Білецький А. О. 1957. Про власні імена з Ольвійських написів // Археологія. Т. XI.
- Билимович З. А. 1979. Этруссские бронзовые ситечки, найденные в Северном Причерноморье // Из истории Северного Причерноморья в античную эпоху. Л.
- Билимович З. А. 1984. Греческие бронзовые гидрии эрмитажного собрания // ТГЭ. 24.

- Билимович З. А. 1962. Зеркало из Артюховского кургана // ТГЭ. 7.
- Блаватская Т. В. 1959. Очерки политической истории Боспора в V–IV вв. до н. э. М.
- Блаватская Т. В. 1993. Посвящение Левкона I // РА. № 2.
- Блаватская Т. В., Голубцова Е. С. Павловская Д. И. 1969. Рабство в эллинистических государствах в III–I вв. до н. э. М.
- Блаватский В. Д. 1946. Битва при Фате и греческая тактика IV в. до н. э. // ВДИ. № 1.
- Блаватский В. Д. 1949. Рец. на кн.: Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1948 // ВДИ. № 3.
- Блаватский В. Д. 1950а. Рец. на кн.: Каллистов Д. П. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л., 1949 // ВДИ. № 3.
- Блаватский В. Д. 1950б. Античная культура в Северном Причерноморье // КСИИМК. Вып. XXXV.
- Блаватский В. Д. 1953. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М.
- Блаватский В. Д. 1954а. Рабство и его источники в античных государствах Северного Причерноморья // СА. Т. XX.
- Блаватский В. Д. 1954б. Архаический Боспор // МИА. № 33.
- Блаватский В. Д. 1954в. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья. М.
- Блаватский В. Д. 1955. О происхождении боспорских склепов с уступчатыми перекрытиями // СА. XXIV.
- Блаватский В. Д. 1959. Процесс исторического развития античных государств в Северном Причерноморье // ПИСП.
- Блаватский В. Д. 1960. Процесс исторического развития и историческая роль античных государств Северного Причерноморья // ВИ. 10.
- Блаватский В. Д. 1964а. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья (в VII–V вв. до н. э.) // СА. № 2.
- Блаватский В. Д. 1964б. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья (IV–III вв. до н. э.) // СА. № 4.
- Блаватский В. Д. 1964в. Пантикапей. М.
- Блаватский В. Д. 1985. Античная археология и история. М.
- Блаватский В. Д. 1985а. Период протоэллинизма на Боспоре // ААИ.
- Блаватский В. Д. 1985б. О периоде протоэллинизма в Северном Причерноморье // ААИ.
- Блаватский В. Д. 1985в. О происхождении боспорских Археанактидов // ААИ.
- Бокий Н. М., Ольховский В. С. 1994. Раннескифский курган на днепровском правобережье // РА. № 2.
- Боковенко Н. А. 1989. К вопросу о восточных импульсах в раннескифской культуре Северного Причерноморья // Скифия и Боспор. Археологические материалы к конф. памяти М. И. Ростовцева. Новочеркасск.
- Болтенко М. Ф. 1930. До питання про час виникнення та назву давньої іонійської оселі над Бористеном // Віс. ОКК. Ч. 4–5.
- Болтенко М. Ф. 1960а. Herodoteana // МАСП. Вып. 3.
- Болтенко М. Ф. 1960б. Исторические судьбы острова Березани // ЗОАО. Т. 1(34).
- Болтенко М. Ф., Головкин И. Д., Гудимович Ф. М. 1959. Рец. на кн.: Ольвия и Нижнее Побужье в античную эпоху. МИА. 1956. № 50 // ПОДУ. Т. 149. Вип. 7.

- Болтрик Ю. В. 1987. К вопросу о наиболее позднем хронологическом пласте курганов скифской знати // Исторические чтения памяти М. П. Грязнова. Тез. докладов. Омск.
- Болтрик Ю. В., Фиалко Е. Е. 1987. К вопросу о локализации гавани Кремны // Скифы Северного Причерноморья. Киев.
- Болтунова А. И. 1964. Проксенический декрет из Анапы и некоторые вопросы истории Боспора // ВДИ. № 3.
- Бондарь Н. Н. 1955. Торговые отношения Ольвии со Скифией в VI–V вв. до н. э. // СА. XXIII.
- Бонч-Осмоловский Г. А. 1926. Доисторические культуры Крыма // Крым. № 2.
- Борисова В. В. 1949. Амфорные ручки с именами астиномов древнего Херсонеса // ВДИ. № 3.
- Борухович В. Г. 1979. Из истории социально-политической борьбы на Лесбосе (конец VII — начало IV в. до н. э.) // Античный полис. Л.
- Боспорский рельеф... 2001. Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономания?). М.
- Брабич В. М. 1956. Особенности кризиса денежного обращения на Боспоре в III в. до н. э. // КСИИМК. Вып. 66.
- Брашинский И. Б. 1963. Афины и Северное Причерноморье в VI–II вв. до н. э. Л.
- Брашинский И. Б. 1965а. Новые материалы к датировке курганов скифской племенной знати Северного Причерноморья // Eirene. IV.
- Брашинский И. Б. 1965б. О некоторых династических особенностях правления боспорских Спартокидов // ВДИ. № 1.
- Брашинский И. Б. 1970. Опыт экономико-географического районирования античного Причерноморья // ВДИ. № 2.
- Брашинский И. Б. 1975. Фасосская амфора из кургана Куль-Оба // СГЭ. 40.
- Брашинский И. Б. 1976. Аттическая расписная и чернолаковая керамика V в. до н. э. из Елизаветовского могильника // ТГЭ. 17.
- Брашинский И. Б. 1980. Греческий кермический импорт на Нижнем Дону V–III вв. до н. э. Л.
- Брашинский И. Б. 1984. Методы исследования античной торговли. Л.
- Брашинский И. Б. 1985. Черноморская торговля в эпоху эллинизма // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси.
- Брашинский И. Б., Марченко К. К. 1978. Строительные комплексы Елизаветовского городища на Дону // СА. № 2.
- Брашинский И. Б., Марченко К. К. 1980. Елизаветовское городище - поселение городского типа // СА. № 1.
- Брашинский И. Б., Щеглов А. Н. 1979. Некоторые проблемы греческой колонизации // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
- Брунов Н. 1938. Эрехтейон. М.
- Брумяк И. В. 1987. Скифская керамика античных поселений Нижнего Поднепровья VI–V вв. до н. э. // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. семинара. Ч. I. Кировоград.
- Брумяк И. В., Карпов И. В. 1987. Палеогеография северо-западной акватории Понта в античную эпоху в свете новых данных по колебанию уровня Черного моря голо-

- ценового периода // Проблемы охраны и исследования подводных историко-археологических памятников Запорожья. Тез. докл. семинара. Запорожье.
- Бузескул В. П. 1915. Введение в историю Греции. Пг.
- Буйских С. Б. 1989. Исследования в ур. Глубокая Пристань // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Тез. докл. областной конф. Запорожье.
- Буйських А. В. 1990. Деякі особливості плануальної структури пізньоархаїчних поселень Нижнього Побужжя // Археологія. № 2.
- Буйських С. Б., Нікітін В. І. 1989. Охоронні розкопки могильника IV–III ст. до н. е. Лагерна Коса // Археологія. № 63.
- Буравчук Н. П. 1986. К вопросу о трансформации мифологических сюжетов на боспорских пеликах // Памятники древнего искусства Северо-Западного Причерноморья. Киев.
- Бураков А. В., Отрешко В. М., Буйских С. Б., Назарчук В. И. 1975. Работы периферийного отряда Ольвийской экспедиции // АО-1974 г. М.
- Бурачков П. С. 1884. Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, существовавшим в древности на северном берегу Черного моря. Одесса.
- Былова В. П. 1989. Белозерское поселение и курганы в его окрестностях // Проблемы історії та археології давнього населення Української РСР. Київ.
- Былова В. П. 1990. Население низового Днепра в IV–II вв. до н. э. // Проблемы археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей). Тез. докл. конф. Ч. 2. Херсон.
- Ванчугов В. П. 1987. О связи Северо-Западного Причерноморья с Кавказом на рубеже эпохи бронзы и железа // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. семинара. Ч. 1. Кировоград.
- Василев В. П. 1988. Бронзови съдове от некропола Требенише // Раскопки и прочувания Българската АН. Кн. 19.
- Васильев А. Н. 1974. К вопросу о синдо-меотском происхождении Спартокидов (анализ гипотезы) // Социально-политическая история СССР. М.; Л.
- Васильев А. Н. 1977. К вопросу о фракийском происхождении династии Спартокидов (анализ гипотезы) // Вопросы политической истории СССР. М.; Л.
- Васильев А. Н. 1985а. Боспорские надписи как исторический источник (О понятии «Боспор» на Боспоре в IV в. до н. э.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 17. Л.
- Васильев А. Н. 1985б. Проблемы политической истории Боспора V–IV вв. до н. э. в отечественной историографии. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.
- Васильев А. Н. 1992. К вопросу о времени образования Боспорского государства // Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья. СПб.
- Вахтина М. Ю. 1984. Греко-варварские контакты VII–VI вв. до н. э. по материалам степной и лесостепной зон Северо-Западного Причерноморья и Крыма. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.
- Вахтина М. Ю. 1989. Греческие поселения Северного Причерноморья и кочевники VII–VI вв. до н. э. (к проблеме первых контактов) // Кочевники евразийских степей и античный мир. Новочеркасск.
- Вахтина М. Ю. 1991. «Скифский путь» в Прикубанье и некоторые древности Крыма в эпоху архаики // Вопросы истории и археологии Боспора. Воронеж; Белгород.

- Вахтина М. Ю. 1993. К вопросу о влиянии демографической ситуации на становление и развитие греко-варварских связей в различных районах Северо-Западного Причерноморья // ПАВ. Вып. 6.
- Вахтина М. Ю. 1993а. Скифское погребение у Цукурского лимана на Тамани // Скифия и Боспор. Новочеркасск.
- Вахтина М. Ю. 1995. О древнейших оборонительных сооружениях античного Порфмия // Фортификация в древности и Средневековье. Материалы методологического семинара ИИМК. СПб.
- Вахтина М. Ю. 1998. Основные категории греческой импортной керамики из раскопок Немировского городища // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики. Симферополь.
- Вахтина М. Ю., Виноградов Ю. А., Горончаровский В. А., Рогов Е. Я. 1979. Некоторые вопросы греческой колонизации Крыма // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
- Вахтина М. Ю., Виноградов Ю. А., Рогов Е. Я. 1980. Об одном из маршрутов военных походов и сезонных миграций кочевых скифов // ВДИ. № 4.
- Веселовский Н. И. 1910. О раскопках в Кубанской губ. // ОАК за 1909–1910 гг.
- Виноградов В. Б. 1963. Сарматы Северо-Восточного Кавказа. Грозный.
- Виноградов В. Б. 1965. Сиракский союз племен на Северном Кавказе // СА. № 1.
- Виноградов В. Б. 1971. Связи Центрального и Северного Кавказа со скифо-сарматским миром // ПСА.
- Виноградов В. Б. 1972. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время. Грозный.
- Виноградов Ю. А. 1980. Историческая ситуация на Боспоре в конце IV — начале III в. до н. э. (опыт реконструкции) // Тез. докл. Всесоюзной конф. Харьков.
- Виноградов Ю. А. 1989. О курганах варварской знати V–III вв. до н. э. в районе Боспора Киммерийского // Скифия и Боспор. Археологические материалы к конференции памяти акад. М. И. Ростовцева. Новочеркасск.
- Виноградов Ю. А. 1991а. Исследования на западной окраине Мирмекия // КСИА. Вып. 204.
- Виноградов Ю. А. 1991б. Ранние комплексы Мирмекия // Вопросы истории и археологии Боспора. Воронеж; Белгород.
- Виноградов Ю. А. 1992. Мирмекий // Очерки археологии и истории Боспора. М.
- Виноградов Ю. А. 1993а. К проблеме полисов в районе Боспора Киммерийского // АМА. Вып. 9.
- Виноградов Ю. А. 1993б. Кургan Ак-Бурун (1875 г.) // Скифия и Боспор. Новочеркасск.
- Виноградов Ю. А. 1993в. О ритонах из кургана Карагодеуашх // ПАВ. № 6.
- Виноградов Ю. А. 1994а. О ранней фортификации Мирмекия // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и Средние века. Тез. докл. VII международной конф. Ростов-на-Дону.
- Виноградов Ю. А. 1994б. Некоторые вопросы интерпретации погребений варварской знати в районе Боспора Киммерийского // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху (Материалы заседаний «Круглого стола»). СПб.
- Виноградов Ю. А. 1995а. Некоторые дискуссионные проблемы греческой колонизации Боспора Киммерийского // ВДИ. № 3.

- Виноградов Ю. А. 19956. Укрепление акрополя Мирмекия (предварительные итоги изучения) // Фортификация в древности и Средневековье. Материалы методологического семинара ИИМК. СПб.
- Виноградов Ю. А., Марченко К. К. 1985. О начале второго этапа развития сельскохозяйственных поселений Нижнего Побужья античного времени // Проблемы исследования Ольвии. Тез. докл. и сообщ. семинара. Парутино.
- Виноградов Ю. А., Марченко К. К. 1986. Античное поселение Лупарево 2 // Ольвия и ее округа. Киев.
- Виноградов Ю. А., Марченко К. К. 19916. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт периодизации истории // СА. № 1.
- Виноградов Ю. А., Марченко К. К., Рогов Е. Я. 1989. К вопросу о культурно-историческом единстве сельского населения Нижнего Побужья античного времени // Древнее Причерноморье (чтения памяти проф. П. О. Карышковского). Тез. докл. конф. Одесса.
- Виноградов Ю. А., Тохтасьев С. Р. 1994. Ранняя оборонительная стена Мирмекия // ВДИ. № 1.
- Виноградов Ю. Г. 1971а. Новые материалы по раннегреческой экономике // ВДИ. № 1.
- Виноградов Ю. Г. 19716. Древнейшее греческое письмо с острова Березань // ВДИ. № 4.
- Виноградов Ю. Г. 1972. Керамические клейма Фасоса // НЭ. 10.
- Виноградов Ю. Г. 19806. Перстень царя Скила. Политическая и династическая история скифов первой половины V в. до н. э. // СА. № 3.
- Виноградов Ю. Г. 19816. Варвары в просопографии Ольвии в VI–V вв. до н. э. // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Виноградов Ю. Г. 1981в. Синопа и Ольвия в V в. до н. э. Проблемы политического устройства. Ч. I // ВДИ. № 2.
- Виноградов Ю. Г. 1981г. Синопа и Ольвия в V в. до н. э. Проблемы политического устройства. Ч. II // ВДИ. № 3.
- Виноградов Ю. Г. 1983. Полис в Северном Причерноморье // Античная Греция. Т. 1. М.
- Виноградов Ю. Г. 1984. Декрет в честь Антестерия и кризис Ольвийского полиса в эпоху эллинизма // ВДИ. № 1.
- Виноградов Ю. Г. 1987. Вотивная надпись дочери царя Скилура из Пантикапея и проблемы истории Скифии и Боспора во II в. до н. э. // ВДИ. № 1.
- Виноградов Ю. Г. 1989. Политическая история Ольвийского полиса VII–I вв. до н. э. Историко-эпиграфическое исследование. М.
- Виноградов Ю. Г. 1990. Ольвиополиты в Северо-Западной Таврике // Древнее Причерноморье. Одесса.
- Виноградов Ю. Г. 2002. Левкон, Гекатей, Октамасад и Горгипп (Процесс интеграции Синдики в Боспорскую державу по новелле Полиэна (VIII, 55) и вотивной эпиграмме из Лабриса) // ВДИ. № 3.
- Виноградов Ю. Г., Доманский Я. В., Марченко К. К. 1988. Развитие взаимоотношений местного населения Северного Причерноморья с греческим миром в VI–

- IV вв. до н. э. // Местные этнополитические объединения Причерноморья в VII–IV вв. до н. э. Тбилиси.
- Виноградов Ю. Г., Доманский Я. В., Марченко К. К. 1990. Сопоставительный анализ письменных и археологических источников по проблеме ранней истории Северо-Западного Причерноморья // Причерноморье в VII–V вв. до н. э. Письменные источники и археология. Тбилиси.
- Виноградов Ю. Г., Золотарев М. И. 1990. Древнейший Херсонес // Причерноморье в VII–V вв. до н. э. Тбилиси.
- Виноградов Ю. Г., Золотарев М. И. Год рождения Херсонеса Таврического // Херсонесский сборник. Вып. IX. Севастополь. 1998. С. 36–46.
- Виноградов Ю. Г., Золотарев М. И. Херсонес изначальный // Древнейшие государства Восточной Европы. 1996–1997. Северное Причерноморье в античности. «Восточная литература». М. 1999. С. 91–129.
- Виноградов Ю. Г., Молев Е. А., Толстиков В. П. 1985. Новые эпиграфические памятники по истории митридатовой эпохи // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси.
- Виноградов Ю. Г., Шеглов А. Н. 1990. Образование территориального Херсонесского государства // Эллинизм: экономика, политика, культура. М.
- Владимирцов Б. Я. 1934. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л.
- Вонсович А. 1994. Перемещение главного населенного пункта в микрорегионах греческой колонизации // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и Средние века. Тез. докл. Ростов-на-Дону.
- Гаврилюк Н. А. 1989. Каменское городище и его округа // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Тез. докл. областной конф. Запорожье.
- Гайдукевич 1959а. Некрополи некоторых Боспорских городов // МИА. № 69.
- Гайдукевич В. Ф. 1949. Боспорское царство. М.; Л.
- Гайдукевич В. Ф. 1949а. Рец. на кн.: Белов. Г. Д. Херсонес Таврический // ВДИ. № 3.
- Гайдукевич В. Ф. 1952. Раскопки Тиритаки в 1935–1940 гг. // МИА. № 25.
- Гайдукевич В. Ф. 1955. История античных городов Северного Причерноморья // АГСП.
- Гайдукевич В. Ф. 1958. Виноделие на Боспоре // МИА. № 85.
- Гайдукевич В. Ф. 1959. Боспор и скифы // ПИСП.
- Гайдукевич В. Ф. 1963. Боспор и Танаис в доримский период // Проблемы социально-экономической истории древнего мира. М.; Л.
- Гайдукевич В. Ф. 1966. Некоторые вопросы экономической истории Боспора // ВДИ. № 1.
- Гайдукевич В. Ф. 1981. Загородная сельская усадьба эллинистической эпохи в районе Мирмекия // Гайдукевич В. Ф. Боспорские города. Л.
- Гайдукевич В. Ф. 1987. Античные города Боспора. Мирмекий. Л.
- Гайдукевич В. Ф., Капошина С. И. 1951. К вопросу о местных элементах в культуре античных городов Северного Причерноморья // СА. Т. XV.
- Гайдукевич В. Ф., Михайловский К. 1961. Мирмекий в свете советско-польских исследований 1956–1958 гг. // Исследования по археологии СССР. Л.

- Галанина Л. К. 1977. Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Н. Е. Бранденбурга) // САИ. В. Д1-33.
- Галанина Л. К. 1980. Курджипский курган. Л.
- Галанина Л. К. 1983. Раннескифские уздечные наборы (по материалам Келермесских курганов) // АСГЭ. Вып. 24.
- Галанина Л. К. 1985. К проблеме взаимоотношений скифов с меотами (по данным новых раскопок Келермесского курганного могильника) // СА. № 3.
- Галанина Л. К. 1991. Контакты скифов с ближневосточным миром (по материалам Келермесских курганов) // АСГЭ. Вып. 31.
- Галанина Л. К. 1997. Келермесские курганы. М.
- Ганжа А. И., Машкова Л. В., Отрешко В. М. 1978. Раскопки архайического поселения на Березанском лимане // АО-1977 г. М.
- Герц К. К. 1876. Исторический обзор археологических исследований на Таманском полуострове с конца XVIII ст. до 1895 г. М.
- Герцигер Д. С. 1972. Покрывало из VI Семибратнего кургана // ТГЭ. 13.
- Гилевич А. М. 1968. Античные иногородние монеты из раскопок Херсонеса. НиС. Вып 3. Киев.
- Гилевич А. М. 1970. Кучук-Мойнакский клад херсонесских монет IV–III вв. до н. э. // НЭ. 8.
- Голенцов А. С. 1981. К вопросу о существовании догреческого поселения на территории Керкинитиды // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Головачева Н. В. 1987. Исследование памятников IV в. до н. э. на периферии Ольвии // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. Тез. докл. М.
- Головачева Н. В., Марченко К. К., Рогов Е. Я., Соловьев С. Л. 1991. Античное поселение Нижнего Побужья Козырка 12 (классический период) // КСИА. Вып. 204.
- Голубцова Е. С. 1969. Рабство и зависимость в эллинистической Малой Азии // Рабство в эллинистических государствах в III–I вв. до н. э. М.
- Голубцова Е. С. 1972. Сельская община Малой Азии в III в. до н. э. — III в. н. э. М.
- Голубцова Е. С., Кошеленко Г. А. 1980. Взаимодействие греческого и местного элементов в Причерноморье // XV МКИИ. М.
- Горбунова К. С. 1957. Костяная пластинка с гравированным рисунком из VI Семибратнего кургана // СГЭ. XI.
- Горбунова К. С. 1971а. Серебряные килики с гравированным изображением из Семибратних курганов // Культура и искусство античного мира. Л.
- Горбунова К. С. 1971б. Костяная пластинка с гравированными изображениями из VI Семибратнего кургана // СГЭ. XXXII.
- Горбунова К. С., Передольская А. А. 1961. Мастера греческих расписных ваз. Л.
- Гошкевич В. И. 1903. Клады и древности Херсонской губернии. Херсон. Т. I.
- Граков Б. Н. 1947а. Термин «ΣΚΥΘΑΙ» и его производные в надписях Северного Причерноморья // КСИИМК. Вып. XVI.
- Граков Б. Н. 1947б. Чи мала Ольвия торговельні зносини з Поволжям і Приураллям в архайічну та класичну епохи? // Археологія. Т. I.
- Граков Б. Н. 1947в. Скифи. Київ.

- Граков Б. Н. 1950. Скифский Геракл // КСИИМК. Вып. 39.
- Граков Б. Н. 1954. Каменское городище на Днепре // МИА. № 36.
- Граков Б. Н. 1959. Греческое граффито из Немировского городища // СА. № 1.
- Граков Б. Н. 1971. Скифы. М.
- Грандмезон Н. Н. 1982. Заметки о монетах Херсонеса Таврического // Нумизматика античного Причерноморья. Киев.
- Грацианская Л. И. 1988. «География» Страбона. Проблемы источниковедения // Древнейшие государства на территории СССР, 1986. М.
- Грач Н. Л. 1972. К находке синдской монеты в Мирмекии // ВДИ. № 3.
- Грач Н. Л. 1974. Терракотовые статуэтки из кургана Большая Близница // Терракотовые статуэтки. Придонье и Таманский полуостров. САИ. Г1-11. М.
- Грач Н. Л. 1981. К характеристике этнического состава населения Нимфея в VI–V вв. до н. э. // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Грач Н. Л. 1984. Круглодонные серебряные сосуды из кургана Куль-Оба // ТГЭ. 24.
- Гребенников Ю. С., Фридман М. И. 1985. К вопросу о населении ольвийской периферии в середине V в. до н. э. // Проблемы исследования Ольвии. Тез. докл. семинара. Парутино.
- Григорьев В. В. 1875. Об отношениях между кочевыми и оседлыми государствами // ЖМНП. 178.
- Гриневич К. Ф. 1927. Древнейшая оборонительная стена в Херсонесе, обнаруженная разведкой 1927 г. // II конференция археологов СССР в Херсонесе 10–13 октября 1927. Севастополь.
- Гриневич К. Э. 1946. Оборона Боспора Киммерийского // ВДИ. № 2.
- Гриневич К. Э. 1952. Юз-Оба (Боспорский могильник IV в. до н. э.) // АИБ. I.
- Даниленко В. П. 1966. Просопография Херсонеса IV–II вв. до н. э. // Античная древность и Средние века. Вып. 4.
- Дашевская О. Д. 1958. Симферопольское раннетаврское поселение // СА. № 3.
- Дашевская О. Д. 1963. О таврской керамике с гребенчатым орнаментом // СА. № 4.
- Дашевская О. Д. 1970. О происхождении названия города Керкинитиды // ВДИ. № 2.
- Дашевская О. Д. 1971. Скифы на северо-западном побережье Крыма в свете новых открытий // ПСА. М.
- Дашевская О. Д. 1981. О скифах Северо-Западного Крыма в период греческой колонизации // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Де Сансе. 1889. Письмо графа де Сансе к А. Н. Оленину // ЗООИД. 15.
- Денисова В. И. 1981. Коропластика Боспора. Л.
- Денисова-Пругло В. И. 1979. К вопросу о хоре Ольвии VI–V вв. до н. э. // Материалы II Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья на тему «Местное население Причерноморья в эпоху Великой греческой колонизации (VIII–V вв. до н. э.)». Тез. докл. и сообщений. Тбилиси.
- Деревицкий А. Н. 1896. Доклад о бронзовой статуэтке, найденной при недавних раскопках в Херсоне // ЗООИД. 19.
- Десятчиков Ю. М. 1973. Сарматы на Таманском полуострове // СА. № 4.

- Десятчиков Ю. М. 1974. Процесс сарматизации Боспора. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Десятчиков Ю. М. 1977. Арифарн, царь сираков // История и культура античного мира. М.
- Десятчиков Ю. М. 1985. К вопросу о происхождении Спартокидов // КСИА. Вып. 182.
- Дзенс-Литовская Н. Н. 1938. Почвы Евпаторийского побережья Черного моря в Крыму // Очерки по физической географии Крыма. Вып. 2. Л.
- Дзенс-Литовская Н. Н. 1951. Природно-географические ландшафты степного Крыма // ВЛУ. № 2.
- Дзис-Райко Г. А. 1961. Раскопки Надлиманского городища в 1960 г. // КСОГАМ.
- Диамант Э. И. 1976. Поселение и могильник V–III вв. до н. э. на месте Приморского бульвара в Одессе // МАСП. Вып. 3.
- Диамант Э. И. 1978. Монетные находки Кошарского поселения (К вопросу о западной границе Ольвийского полиса) // Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья. Киев.
- Диамант Э. И. 1989. Погребальные сооружения Кошарского некрополя // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. Київ.
- Дирин А. А. 1896. Мыс Зюк и сделанные на нем археологические находки // ЗООИД. 19.
- Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. 1982. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М.
- Доманский Я. В. 1955. Нижнее Побужье в VII–V вв. до н. э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.
- Доманский Я. В. 1961. Из истории населения Нижнего Побужья в VII–V вв. до н. э. // АСГЭ. Вып. 2.
- Доманский Я. В. 1965. О начальном периоде существования греческих городов Северного Причерноморья // АСГЭ. Вып. 7.
- Доманский Я. В. 1970. Заметки о характере торговых связей городов с туземным миром Северного Причерноморья // АСГЭ. Вып. 12.
- Доманский Я. В. 1979. О характере греческой колонизации и послеколонизационном периоде в Северном Причерноморье // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
- Доманский Я. В. 1981. Ольвия и варвары в V в. до н. э. // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Доманский Я. В. 1985. Из истории отношений Ольвии со Скифией // Проблемы исследования Ольвии. Тез. докл. и сообщен. семинара. Парутино.
- Доманский Я. В., Виноградов Ю. Г., Соловьев С. Л. 1989а. Основные результаты работ Березанской экспедиции // Итоги археологических экспедиций Государственного Эрмитажа. Л.
- Доманский Я. В., Виноградов Ю. Г., Соловьев С. Л. 1989б. Некоторые итоги работ Березанской экспедиции // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. Київ.
- Доманский Я. В., Марченко К. К. 1975. Некоторые вопросы античной истории Нижнего Побужья // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. Тез. докл. юбил. конф. Киев.

- Доманский Я. В., Марченко К. К. 1980. Поселение Ольвийской хоры Козырка 2 // АСГЭ. Вып. 21.
- Доманский Я. В., Марченко К. К. 2004. Базовая функция раннего Борисфена // *Borysthenika* — 2004. Материалы международной научной конференции. Николаев.
- Домбровский О. И. 1957. Розкопки античного театра в Херсонесі // *Археологія*. 10.
- Дьяков В. Н. 1940. Древняя Таврика до римской оккупации // *ВДИ*. № 3.
- Дьяконов И. М. 1951а. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту // *ВДИ*. № 2.
- Дьяконов И. М. 1951б. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту // *ВДИ*. № 3.
- Дюбрюкс П. 1858. Описание развалин и следов древних городов и укреплений, некогда существовавших на европейском берегу Боспора Киммерийского // *ЗООИД*. 4.
- Дюков Ю. Л. 1971. О монетной чеканке Боспорского царства в V–IV вв. до н. э. // *ТГЭ*. 12.
- Ельницкий Л. А. 1983. Интерес к скифам, скифская тема в искусстве и скифское культурное влияние в Греции // *Кlio*. 65. 1.
- Ена В. Г. 1983. Заповедные ландшафты Крыма. Симферополь.
- Еременко В. Е., Зуев В. Ю. 1989. М. И. Ростовцев и проблема кельто-скифских культурных контактов // *Скифия и Боспор. Археологические материалы к конф. памяти М. И. Ростовцева*. Новочеркасск.
- Жданко Т. А. 1968. Номадизм в Средней Азии и Казахстане (Некоторые исторические и этнографические проблемы) // *История, археология и этнография Средней Азии*. М.
- Ждановский А. М., Марченко И. И. 1988. Сарматы и Прикубанье // *Проблемы сарматской археологии и истории. Тез. докл. конф. Азов*.
- Жебелев С. А. 1933. Счастливые города // *ИГАИМК*. Вып. 100.
- Жебелев С. А. 1953. Северное Причерноморье. М.; Л.
- Жебелев С. А., Мальмберг В. К. 1907. Три архаические бронзы из Херсонской губ. // *МАР*. 32.
- Жеребцов Е. Н. 1985. Материалы к периодизации античных памятников Маячного полуострова // *КСИА*. Вып. 182.
- Житников В. Г. 1987. Политическая и демографическая ситуация конца VI — начала V в. до н. э. на Нижнем Дону и возникновение Елизаветовского поселения // *Античная цивилизация и варварский мир в Подонье-Приазовье. Тез. докл. конф. Новочеркасск*.
- Житников В. Г., Марченко К. К. 1984. Новые данные о строительных комплексах Елизаветовского городища на Дону // *СА*. № 3.
- Забелин И. Е. 1876. История русской жизни. Ч. 1. М.
- Захарук Ю. Н. 1968. Рец. на кн.: *Лалин В. В.* Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев. 1966 // *СА*. № 4.
- Зедгенидзе А. А. 1959. О времени основания Херсонеса Таврического // *КСИА*. Вып. 159.
- Зедгенидзе А. А. 1976. Исследования северо-западного участка античного театра в Херсонесе // *КСИА*. Вып. 145.

- Зедгенидзе А. А. 1993. К вопросу об удревнении даты основания Херсонеса Таврического // РА. № 3.
- Зедгенидзе А. А., Савеля О. Я. 1981. Некрополь Херсонеса V–IV вв. до н. э. как источник изучения этнического и социального состава населения города // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Зеест И. Б. 1955. Раскопки Гермонассы // КСИИМК. Вып. 58.
- Зеест И. Б. 1974. Возникновение и первый расцвет Гермонассы // СА. № 4.
- Зельин К. К., Трофимова М. К. 1969. Формы зависимости в Восточном Средиземноморье в эллинистический период. М.
- Златкин И. Я. 1973. Некоторые проблемы социально-экономической истории кочевых народов // НАА. № 1.
- Зograф А. Н. 1927. Две группы херсонесских монет с заимствованными типами // ИРАИМК. V.
- Зograф А. Н. 1945. Статеры Александры Македонского // ТОАМ. I.
- Зograф А. Н. 1951. Античные монеты. МИА. № 16.
- Золотарев М. И. 1984. Два типа редких монет Феодосии IV в. до н. э. // ВДИ. № 1.
- Золотарев М. И. 1986. Херсонес и Ольвия в конце VI–II вв. до н. э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук.
- Золотарев М. И. 1986а. Новые материалы о взаимоотношениях Ольвии и Западного Крыма в VI–V вв. до н. э. // ВДИ. № 2.
- Золотарев М. И. 1986б. Раскопки в северо-восточном районе Херсонеса // АО-1985 г. М.
- Золотарев М. И. 1988. Северо-восточный район Херсонеса в античное время // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Севастополь.
- Золотарев М. И. 1993. Херсонесская архаика. Севастополь.
- Золотарев М. И. 1998. Ранние этапы градостроительства в Херсонесе Таврическом // Херсонесский сборник. Вып. IX. Севастополь.
- Зубарь В. М. 1988. Еще раз по поводу интерпретации захоронений в скорченном положении на некрополе Херсонеса IV в. до н. э. // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Севастополь.
- Зубарь В. М., Колтухов С. Г., Мыц В. Л. 1991. Разведки в Юго-Западном Крыму // Археологічні дослідження на Україні. Киев.
- Зуев В. Ю. 1989. «Савроматские жрицы» Б. Н. Гракова и археология скифов // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Запорожье.
- Зуев В. Ю. 1994. Образ свернувшегося в кольцо хищника из IV Семибратнего кургана (Иконографические истоки и их исторический контекст) // Взаимодействие древних культур и цивилизаций и ритмы культурогенеза. СПб.
- Зуев В. Ю. 1996. Научный миф о савроматских жрицах. СПб.
- Зуц В. Л. 1965. До питання про утворення Ольвійської держави // Археологія. Т. XIX.
- Зуц В. Л. 1969. Територія Ольвійської держави догетського часу // Археологія. Т. XXII.
- Зуц В. Л. 1975. Громадянська община ольвіополітів догетського часу // Археологія. 16.
- Иванов Т. 1963. Антична керамка от некропола на Аполония // Аполония. Разкопки-те в некропола на Аполония през 1947–1949. София.

- Иванова А. П. 1953. Искусство античных городов Северного Причерноморья. Л.
- Иванова А. П. 1961. Скульптура и живопись Боспора. Киев
- Иванчик А. И. 1989. Киммерийцы в Передней Азии. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Иевлев М. М. 1989. Роль географического фактора в истории Скифии // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Тез. докл. областной конф. Запорожье.
- Иессен А. А. 1947. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Л.
- Иессен А. А. 1952. Некоторые памятники VIII–VII вв. до н. э. на Северном Кавказе // ВССА.
- Ильинская В. А. 1968. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. Киев.
- Ильинская В. А. 1971. Образ кошачьего хищника в раннескифском искусстве // СА. № 2.
- Ильинская В. А. 1975. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин. Киев.
- Ильинская В. А., Тереножкин А. И. 1983. Скифия VII–IV вв. до н. э. Киев.
- Исмагилов Р. Б. 1993. Скифы, саи и Боспор. Научный этюд на тему классической Скифии // ПАВ. Вып. 6. СПб.
- Кадеев В. И. 1973. Об этнической принадлежности скорченных погребений Херсонесского некрополя // ВДИ. № 4.
- Кадеев В. И. 1974. Об этнической принадлежности имени ΣΚΥΘΑΣ в Херсонесе Таврическом // СА. № 3.
- Казакевич Э. Л. 1958. Рабы как форма богатства в Афинах IV в. до н. э. (по данным речей Демосфена) // ВДИ. № 2.
- Каллистов Д. П. 1949. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л.
- Каллистов Д. П. 1952. Северное Причерноморье в античную эпоху. М.
- Каменецкий И. С. 1988. Меоты и греческая колонизация // Местные этнополитические объединения Причерноморья в VII–IV вв. до н. э. Тбилиси.
- Канторович А. Р. 1994. Звериный стиль степной Скифии VII–III вв. до н. э. Авт. канд. дисс. М.
- Канторович А. Р. 1997. К вопросу о скифо-греческом синтезе в рамках звериного стиля // Памятники скифского и предскифского времени на юге Восточной Европы. М.
- Канторович А. Р. 2002. Классификация и типология элементов зооморфных превращений в зверином стиле степной Скифии // Структурно-семиотические исследования в археологии. Донецк. Т. I.
- Капошина С. И. 1933. Оборонительные сооружения Ольвии как исторический источник // ИГАИМК. Вып. 100.
- Капошина С. И. 1937. Проблема состава населения Ольвии по материалам архаического некрополя. Тез. канд. дис. Л.
- Капошина С. И. 1941. Скорченные погребения Ольвии и Херсонеса // СА. Т. VII.
- Капошина С. И. 1945. Пережитки ритуального окрашивания костяков в Ольвийском некрополе и в погребениях приднепровских скифов // КСИИМК. Вып. XII.
- Капошина С. И. 1946. Пленум ЛОИМК, посвященный Северному Причерноморью // ВДИ. № 3.

- Капошина С. И. 1950а. Памятники звериного стиля в Ольвии // КСИИМК. Вып. XXXIV.
- Капошина С. И. 1950б. Погребение скифского типа в Ольвии // СА. Т. XIII.
- Капошина С. И. 1956а. О скифских элементах в культуре Ольвии // МИА. № 50.
- Капошина С. И. 1956б. Из истории греческой колонизации Нижнего Побужья // МИА. № 50.
- Капошина С. И. 1959. Ранние этапы греческой колонизации Нижнего Побужья // ПИСП.
- Карасев А. Н. 1948. Оборонительные сооружения Ольвии // КСИИМК. Вып. XXII.
- Карасев А. Н. 1964. Монументальные памятники ольвийского теменоса // Ольвия. М.; Л.
- Карасев А. Н. 1965. Отчет о раскопках городища Чайка в 1965 г. // Архив ИИМК. Ф. 35/1965. Д. 100.
- Карасев А. Н. 1967. Раскопки городища Чайка в Евпатории // АО-1967. М.
- Каришковский П. Й. 1968. До питания про дату ольвийского декрету на честь Протогена // Археологія. Т. XXI.
- Карсев А. Н. 1966. Отчет о раскопках поселения у санатория «Чайка» в 1966 г. Архив ИИМК. Ф. 35/1966. Д. 100.
- Карышковский П. О. 1953. Еще раз о книге А. Н. Зографа «Античные монеты» // ВДИ. № 1.
- Карышковский П. О. 1976. Монеты ольвийской коллегии Семи // Художественная культура и археология античного мира. М.
- Карышковский П. О. 1987. Монеты скифского царя Скила // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. семинара. Ч. 1. Кировоград.
- Карышковский П. О., Лапин В. В. 1979. Денежно-вещевой клад эпохи греческой колонизации, найденный на Березани в 1975 году // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
- Кастанаян Е. Г. 1959. Период позднего эллинизма в истории городов Боспора // ПИСП.
- Кастанаян Е. Г. 1959а. Грунтовые некрополи Боспорских городов V–IV вв. до н. э. и их местные особенности // МИА. № 69.
- Кастанаян Е. Г. 1972. Раскопки Порфмия в 1968 г. // КСИИМК. Вып. 130.
- Кастанаян Е. Г. 1981. Лепная керамика боспорских городов. Л.
- Кастанаян Е. Г. 1983. Порфмий // *Etudes et Travaux*. 13. Warszawa.
- Каталог выставки VIII археологического съезда. М. 1897
- Кац В. И., Федосеев Н. Ф. 1986. Керамические клейма «боспорского эмпория» на Елизаветовском городище // АМА.
- Кириллин Д. С. 1968. Трехбратние курганы в районе Тобечикского озера // Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л.
- Киселев С. В. 1948. Рец. на кн.: *Иессен А. А.* Греческая колонизация Северного Причерноморья. Л., 1947 // ВДИ. № 3.
- Кисель В. А. 1993. Стилистическая и технологическая атрибуция серебряного зеркала из Келермеса // ВДИ. № 1.
- Кисель В. А. 1998. Памятники ближневосточной торевтики из курганов Предкавказья и Северного Причерноморья VII — начала VI в. до н. э. Авт. канд. дисс. СПб.

- Кисель В. А. 2003. Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских курганов. СПб.
- Клочко Л. С. 1982. Скифские налобные украшения VI–III вв. до н. э. // Новые памятники древней и средневековой художественной культуры. Киев.
- Книпович Т. Н. 1934. К вопросу о торговых сношениях греков с областью реки Танаис в VII–V вв. до н. э. // ИГАИМК. Вып. 104.
- Книпович Т. Н. 1940а. Керамика местного производства из раскопа «И» // Ольвия. Т. 1. Киев.
- Книпович Т. Н. 1940б. Некрополь северо-западной части Ольвийского городища // СА. Т. VI.
- Книпович Т. Н. 1955. Основные линии развития искусства городов Северного Причерноморья в античную эпоху // АГСП.
- Книпович Т. Н. 1956. Население Ольвии в VI–I вв. до н. э. по данным эпиграфических источников // МИА. № 50.
- Книпович Т. Н. 1966. К вопросу о датировке ольвийского декрета в честь Протогена // ВДИ. № 2.
- Кобылина М. М. 1951. Поздние боспорские пелики // МИА. № 19.
- Кобылина М. М. 1951. Раскопки «Восточного» некрополя Фанагории в 1948 г. // МИА. № 19.
- Кобылина М. М. 1956. Фанагория // МИА. № 57.
- Кобылина М. М. 1967. Форма с изображением сирены из Фанагории // СА. № 1.
- Кобылина М. М. 1969. Сооружения V в. до н. э. на южной окраине Фанагории // КСИА. Вып. 116.
- Кобылина М. М. 1972. Античная скульптура Северного Причерноморья. М.
- Кобылина М. М. 1983. Страницы ранней истории Фанагории // СА. № 2.
- Кобылина М. М. 1986. Роль традиции в греческом искусстве // Проблемы античной культуры. М.
- Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А. 1989. Памятники скифской эпохи Днепровского лесостепного правобережья. Киев.
- Ковпаненко Г. Т., Бунятян Е. П. 1978. Скифские курганы у с. Ковалевка Николаевской области // Курганы на Южном Буге. Киев.
- Ковпаненко Г. Т., Янушевич З. В. 1975. Отпечатки злаков на керамике Трахтемировского городища // Скифский мир. Киев.
- Ковпаненко Г. Т. 1968. Раскопки Трахтемировского городища // АИУ. Вып. 2.
- Козловская В. И. 1984. Греческая колонизация Западного Средиземноморья в современной зарубежной историографии. М.
- Козуб Ю. И. 1960. Погребальный обряд ольвийского некрополя V–IV вв. до н. э. // ЗОАО. Т. 1(34).
- Козуб Ю. И. 1962. Поховальні споруди ольвійського некрополя V–IV ст. до н. е. // АП УРСР. Т. XI.
- Козуб Ю. И. Некрополь Ольвії V–IV ст. до н. е. Київ.
- Колесников А. Б. 1985. Греческие сельскохозяйственные усадьбы в районе г. Евпатория. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Колесников А. Б. 1998. К интерпретации источников по античному виноградарству // Древности Боспора. Т. 1. М.

- Колесников А. Б., Яценко И. В. 1989. Античный виноградник на Евпаторийском мысу // Проблемы истории античных городов. Тез. докл. М.
- Колобова К. М. 1963. Термин OIKETE у Фукидида // Проблемы социально-экономической истории Древнего мира. М.; Л.
- Колотухин В. А. 1987. Население предгорного и горного Крыма в VII–V вв. до н. э. // Материалы к этнической истории Крыма. Киев.
- Колотухин В. А. 1996. Горный Крым в эпоху поздней бронзы — начале железного века: этнодемографические процессы. Изд. «Южнорусские ведомости».
- Колпинский Ю. Д. 1988. Великое наследие античной Эллады. М.
- Копейкина Л. В. 1971. Формирование и развитие ориентализирующего стиля в родосско-ионийской керамике (по материалам раскопок Березани). Автореф. дис. ... канд. искусств. наук. Л.
- Копейкина Л. В. 1972. Расписная родосско-ионийская ойнохоя из кургана Темир-Гора // ВДИ. № 1.
- Копейкина Л. В. 1975. Новые данные об облике Березани и Ольвии в архаический период // СА. № 2.
- Копейкина Л. В. 1976. Некоторые итоги исследования архаической Ольвии // Художественная культура и археология античного мира. М.
- Копейкина Л. В. 1979. Особенности развития Березанского поселения в связи с ходом колонизационного процесса // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
- Копейкина Л. В. 1981. Элементы местного характера в культуре Березанского поселения архаического периода // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Копылов В. П. 1991. Первая греческая колония в Приазовье // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1990 году. Вып. 10. Азов.
- Копылов В. П. 1999. Таганрогское поселение в системе раннегреческих колоний Северного Причерноморья // ВДИ. № 4.
- Копылов В. П., Ларенок П. А. 1994. Таганрогское поселение. Ростов-на-Дону.
- Коровина А. К. 1957. К вопросу об изучении Семибратних курганов // СА. № 2.
- Коровина А. К. 1964. Некрополи Синдики VI–II вв. до н. э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Коровина А. К. 1968. Тирамба (городище и некрополь) // СГМИИ. Вып. 4.
- Коровина А. К. 1987. Раскопки некрополя Тирамбы // СГМИИ. Вып. 8.
- Королькова (Чежина) Е. Ф., Алексеев А. Ю. 1994. Олень из кургана Куль-Оба // Проблемы археологии. Вып. 3. СПб.
- Королькова Е. Ф. 1996. Теоретические проблемы искусствоведения и «звериный стиль» скифской эпохи. СПб.
- Королькова Е. Ф. 1998. Иконография хищной птицы в скифском зверином стиле VI–IV вв. до н. э. // Проблемы археологии. Вып. 4. СПб.
- Королькова Е. Ф. 2003. Древневосточные чудовища и скифский звериный стиль // Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского. СПб.
- Корпусова В. М. 1972. Про населення хори античної Феодосії // Археологія. № 6.
- Корпусова В. М., Орлов Р. С. 1978. Могильник VI–IV ст. до н. е. на Керченському півострові // Археологія. № 28.

- Корпусова В. Н. 1980. Расписная родосско-ионийская ойнохоя из кургана у с. Филатовка в Крыму // ВДИ. № 2.
- Корпусова В. Н. 1983. Некрополь Золотое. Киев.
- Косиков В. А. 1992. Техника изготовления художественных бронзовых предметов конского снаряжения скифской эпохи // Донецкий археологический сборник. Ч. 2. Донецк.
- Косцюшко-Валюжинич К. 1907. Отчет о раскопках в Херсонесе в 1905 г. // ИАК. Вып. 25.
- Косцюшко-Валюжинич К. К. 1891. Важные археологические открытия в Крыму // ИТУАК. № 13.
- Кошеленко Г. А., Кузнецов В. Д. 1990. Греческая колонизация Боспора // Причерноморье в VII–V вв. до н. э. Письменные источники и археология. Тбилиси.
- Кошеленко Г. А., Кузнецов В. Д. 1993. Греческая колонизация Боспора (в связи с некоторыми общими проблемами колонизации) // Очерки археологии и истории Боспора. М.
- Крижицкий С. Д., Буйських С. Б. 1988. Структура архаичного поселения Нижнего Побужья // Археология. № 63.
- Крижицкий С. Д., Русяева А. С. 1978. Найдавніші житла Ольвії // Археологія. № 28.
- Крис Х. И. 1971. О таврах и кизил-кобинской культуре // ВДИ. № 4.
- Крис Х. И. 1981. Кизил-кобинская культура и тавры // САИ. Вып. Д 1-7. М.
- Крис Х. И. 1989. Культура тавров // Археология СССР. Степи евразийской части СССР в скифо-сарматское время. М.
- Крис Х. И. 1989а. Кизил-кобинская культура предгорного и горного Крыма // Археология СССР. Степи Евразийской части СССР в скифо-сарматское время. М.
- Кругликова И. Т. 1954. О местной керамике Пантикапея и ее значении для изучения состава населения этого города // МИА. № 33.
- Кругликова И. Т. 1957. Исследования сельских территорий европейского Боспора // СА. № 1.
- Кругликова И. Т. 1958. Киммерик в свете археологических исследований 1947–1951 гг. // МИА. № 85.
- Кругликова И. Т. 1959. Сельская территория Боспора // ПИСП.
- Кругликова И. Т. 1963. Исследования сельских поселений Боспора // ВДИ. № 2.
- Кругликова И. Т. 1975. Сельское хозяйство Боспора. М.
- Крупнов Е. И. 1960. Древняя история Северного Кавказа. М.
- Крушкол Ю. С. 1971. Древняя Синдика. М.
- Крыжицкий С. Д. 1979. Основные итоги работы Ольвийской экспедиции // КСИА. Вып. 159.
- Крыжицкий С. Д. 1982. Жилые дома античных городов Северного Причерноморья. Киев.
- Крыжицкий С. Д. 1985. Ольвия. Киев.
- Крыжицкий С. Д. 1987. Памятники градостроительства и архитектуры. Основные этапы развития // Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. Киев.
- Крыжицкий С. Д. 1993. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. Киев.

- Крыжицкий С. Д., Буйских С. Б., Бураков А. В., Отрешко В. М. 1989. Сельская округа Ольвии. Киев.
- Крыжицкий С. Д., Буйских С. Б., Отрешко В. М. 1990. Античные поселения Нижнего Побужья (Археологическая карта). Киев.
- Крыжицкий С. Д., Бураков А. В., Буйских С. Б., Отрешко В. М., Рубан В. В. 1980. К истории Ольвийской сельской округи // Исследования по античной археологии Северного Причерноморья. Киев.
- Крыжицкий С. Д., Отрешко В. М. 1986. К проблеме формирования Ольвийского полиса // Ольвия и ее округа. Киев.
- Крышковский П. О., Клейман И. Б. 1985. Древний город Тира. Киев.
- Ксенофонтова И. В. 1997. Серебряный ритон с протомай Пегаса из 6 Уляпского кургана // ВДИ. 2.
- Кузнецов В. Д. 1991. Ранние апойки Северного Причерноморья // КСИА. Вып. 204.
- Кузнецов В. Д. 1992. Раскопки в Керах 1984-1989 гг. // Очерки археологии и истории Боспора. М.
- Кузнецова Т. М. 1987. Зеркало (?) из Келермеса // Культура и искусство народов Востока. М.
- Кузнецова Т. М. 1990. Торговые или священные пути греков? // Проблемы скифо-сарматской археологии. М.
- Кузнецова Т. М. 1991. Этюды по скифской истории. М.
- Кузнецова Т. М. 2002. Зеркала Скифии VI–III вв. до н. э. М. Т. I.
- Кузьмина Е. В. 1981. Некоторые переднеазиатские мотивы и композиции в искусстве евразийских степей в архаическую эпоху // Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и Средневековье. М.
- Кузьмина Е. Е. 1976. Скифское искусство как отражение мировоззрения одной из групп индоиранцев // Скифо-сарматский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.
- Кузьмина Е. Е. 1976а. О семантике изображений на чертомлыкской вазе // СА. № 3.
- Кузьмина Е. Н. 1987. Сюжет борьбы хищника и копытного в искусстве «звериного» стиля евразийских степей скифской эпохи // Скифо-сибирский мир. Новосибирск.
- Кузьмина Е. Е. 1976. О семантике изображений на чертомлыкской амфоре // СА. 3.
- Куклина И. В. 1985. Этногеография Скифии. Л.
- Курочкин Г. Н. 1984. Индоиранские элементы в искусстве Древнего Востока и исторические корни скифо-сибирского искусства // Скифо-сибирский мир (искусство и идеология). Кемерово.
- Курочкин Г. Н. 1989. Ранние этапы формирования скифского искусства (новый фактический материал и необходимость построения эффективной теоретической модели) // Кочевники Евразийских степей и античный мир. Новочеркасск.
- Кутайсов В. А. 1987. Античный город Керкинитида VI–II вв. до н. э. (Градостроительство, фортификация, жилищная застройка). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
- Кутайсов В. А. 1987а. Кизил-кобинская керамика из раскопок Керкинитиды // Материалы к этнической истории Крыма. Киев.

- Кутайсов В. А. 1990. Античный город Керкинитида VI–II вв. до н. э. Киев.
- Кутайсов В. А. 1991. Население Керкинитиды // Проблемы истории Крыма. Тез. докл. Вып. 1. Симферополь.
- Кутайсов В. А. 1992. Керкинитида. Симферополь.
- Кутайсов В. А., Ланцов С. Б. 1989. Некрополь античной Керкинитиды. Киев.
- Кутайсов В. А., Уженцев В. Б. 1994. Археологические исследования Калос Лимена // Археологические исследования в Крыму в 1993 г. Симферополь.
- Кутайсов В. А., Уженцев В. Б. 1997. Калос Лимен (раскопки 1988–1995 гг.) // Археология Крыма. № 1. Симферополь.
- Ланцов С. Б. 1991. Западный Крым в составе Херсонесского государства. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
- Ланцов С. Б. 1994. Античное поселение Ново-Федоровка и некоторые вопросы истории Херсонесской хоры // Северо-Западный Крым в античную эпоху. Киев.
- Лапин В. В. 1963. Экономическая характеристика Березанского поселения // Античный город. М.
- Лапин В. В. 1966. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев.
- Лапин В. В. 1975. Проблемы генезиса античной северо-причерноморской цивилизации // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. Тез. докл. юбил. конф. Киев.
- Лапин В. В. 1978. Березань и проблемы генезиса античной северо-причерноморской цивилизации. Киев // Научный архив ИА АН Украины. Ф. 24. № 1. 432 л.
- Лаппо-Данилевский А. С. 1887. Скифские древности // ЗОРСО. Т. IV.
- Латышев В. В. 1887. Исследование об истории и государственном строе города Ольвии. СПб.
- Латышев В. В. 1909. Краткий очерк истории Боспорского государства // Латышев В. В. ПОНТИКА. СПб.
- Леви Е. И. 1958. К истории торговли Ольвии в IV–III вв. до н. э. // СА. XXVIII.
- Леви Е. И. 1970. Терракоты из Ольвии // Терракотовые статуэтки. САИ. Г1-11. М.
- Леви Е. И. 1984. Ольвия // Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья. М.
- Лейпунская Н. А. 1979. О роли торгово-ремесленных отношений в экономике Ольвии второй половины VI в. до н. э. // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
- Лейпунская Н. А. 1986. Жилой район Ольвии к юго-западу от агоры (1972–1977 гг.) // Ольвия и ее округ. Киев.
- Ленцман Я. А. 1951. О древнегреческих терминах, обозначающих рабов // ВДИ. № 2.
- Лесков А. М. 1961. Об остатках таврской культуры на Керченском полуострове // СА. № 1.
- Лесков А. М. 1965. Горный Крым в I тыс. до н. э. Киев.
- Лесков А. М. 1968. Богатое скифское погребение из Восточного Крыма // СА. № 1.
- Лесков А. М. 1985. Сокровища курганов Адыгеи. М.
- Либеров П. Д. 1965. Памятники скифского времени на среднем Дону // САИ. М. Вып. Д1-31.
- Липавский С. А. 1990. О времени появления курганных погребений в Ольвии // Материалы по археологии Ольвии и ее округи. Киев.

- Липавский С. А., Снытко И. А. 1990. Курганы раннеантичного времени в урочище Чертоватое и некоторые проблемы населения Ольвийской хоры // Материалы по археологии Ольвии и ее округи. Киев.
- Литвинский Б. А. 1968. Кангюйско-сарматский фарн (К историко-культурным связям племен южной России с Средней Азией). Душанбе.
- Лордкипанидзе О. Д. 1978. Город-храм Колхиды. М.
- Мазарати С. Н., Отрешко В. М. 1987. Полужемлянки и землянки // Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. Киев.
- Максимова М. И. 1954. Серебряное зеркало из Келермеса // СА. Т. XXI.
- Максимова М. И. 1956. Античные города Юго-Восточного Причерноморья. М.; Л.
- Максимова М. И. 1956. Серебряный ритон из Келермеса // СА. Т. XXIV.
- Максимова М. И. 1961. Панафинейская амфора из Зеленского кургана // КСИА. Вып. 83.
- Максимова М. И. 1962. Львиные псевдоскарабеи // ТГЭ. 7.
- Максимова М. И. 1979. Артюховский курган. Л.
- Мандес М. 1901. Опыт историко-критического комментария к греческой истории Диодора. Одесса.
- Манцевич А. П. 1949. К вопросу о торевтике в скифскую эпоху // СА. № 2.
- Манцевич А. П. 1962. Горит из кургана Солоха // ТГЭ. 7.
- Манцевич А. П. 1964. О пластине из кургана Карагодеуашх (к толкованию сюжета) // АСГЭ. Вып. 6.
- Манцевич А. П. 1969. Парадный меч из кургана Солоха // Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М.
- Манцевич А. П. 1973. Мастюгинские курганы по материалам Гос. Эрмитажа // АСГЭ. Вып. 15.
- Манцевич А. П. 1975. К вопросу об изображениях варваров на предметах торевтики из курганов Северного Причерноморья // Studia Thracica. София.
- Манцевич А. П. 1979. К открытию царской гробницы в Македонии в 1977 г. // СГЭ. Вып. 44.
- Манцевич А. П. 1980. Открытие царской гробницы у деревни Виргина в Северной Греции (античная Македония) // ВДИ. № 3.
- Манцевич А. П. 1987. Кургана Солоха. Л.
- Марр Н. Я. 1925. Ольвия и Альба Лонга // Изв. АН СССР.
- Марр Н. Я. 1926. Лингвистически намечаемые эпохи развития человека и их увязка с историей материальной культуры // СГАИМК. № 1.
- Марр Н. Я. 1933. Избранные работы. Т. 1. М.; Л.
- Марр Н. Я. 1934. Избранные работы. Т. 3. М.; Л.
- Марти Ю. Ю. 1941. Городские крепостные стены Тиритак и прилегающий комплекс рыбозасолочных ванн // МИА. № 4.
- Марченко И. Д. 1962. Литейная форма конца VI в. до н. э. из Пантикапея // КСИА. Вып. 89.
- Марченко И. Д. 1971. Позднеархаическая мастерская оружейника в Пантикапее // СА. № 2.
- Марченко И. Д. 1974. Терракоты из святилища на Майской Горе // Терракотовые статуэтки. Придонье и Таманский полуостров. САИ. Г1-11. М.

- Марченко И. И. 1988. Сарматы степей правобережья Нижней Кубани во второй половине IV в. до н. э. — III в. н. э. (по материалам курганных некрополей). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.
- Марченко К. К. 1972. Концентрация лепной керамики в Ольвии второй половины VI — I в. до н. э. // СА. № 4.
- Марченко К. К. 1974. Фракийцы на территории Нижнего Побужья во второй половине VII — середине I в. до н. э. // ВДИ. № 2.
- Марченко К. К. 1974а. Оборонительные сооружения Елизаветовского городища // СА. № 2.
- Марченко К. К. 1976. Лепная керамика Березани и Ольвии второй половины VII — VI в. до н. э. // Художественная культура и археология античного мира. М.
- Марченко К. К. 1980. Модель греческой колонизации Нижнего Побужья // ВДИ. № 1.
- Марченко К. К. 1983а. Кухонна кераміка Ольвії другої половини VI — I ст. до н. е. // Археологія. № 43.
- Марченко К. К. 1983б. Исследование памятников античного времени в Нижнем Побужье // АО-1981 г. М.
- Марченко К. К. 1985а. Сравнительная характеристика двух поселений Нижнего Побужья позднеархаического периода — Старая Богдановка 2 и Куцуруб 1 // Проблемы исследования Ольвии. Тез. докл. и сообщений семинара. Парутино.
- Марченко К. К. 1985б. Исследования поселения Старая Богдановка 2 // АО-1983 г. М.
- Марченко К. К. 1985в. Ойкеты декрета в честь Протогена (IPE, 12, 32). К вопросу о зависимом населении Ольвии эллинистического времени // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси.
- Марченко К. К. 1987а. Лепная керамика // Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. Киев.
- Марченко К. К. 1987б. Раскопки поселений античного времени в Нижнем Побужье // АО-1985 г. М.
- Марченко К. К. 1988а. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII — первой половине I в. до н. э. Л.
- Марченко К. К. 1988б. Раскопки античного поселения Козырка 12 // АО-1986 г. М.
- Марченко К. К. 1990. Боспорские поселения на территории Елизаветовского городища на Дону // ВДИ. № 1.
- Марченко К. К. 1991. Боспорские колонии на территории Елизаветовского городища на Дону // Вопросы истории и археологии Боспора. Воронеж; Белгород.
- Марченко К. К. 1992. Боспорское поселение на Елизаветовском городище // Очерки археологии и истории Боспора. М.
- Марченко К. К., Виноградов Ю. А., Рогов Е. Я. 1997. Сарматы и гибель Великой Скифии // ВДИ. № 3.
- Марченко К. К., Головачева Н. В. 1985. Новый тип строительных комплексов позднеархаического времени в Нижнем Побужье // КСИА. Вып. 182.
- Марченко К. К., Доманский Я. В. 1981. Античное поселение Старая Богдановка 2 // АСГЭ. Вып. 22.
- Марченко К. К., Доманский Я. В. 1982. Древнейшее общественное сооружение в Нижнем Побужье // КСИА. Вып. 172.

- Марченко К. К., Доманский Я. В. 1983а. Комплекс вещественных находок на античном поселении Старая Богдановка 2 // АСГЭ. Вып. 24.
- Марченко К. К., Доманский Я. В. 1983б. Культовый зольник на поселении Куцуруб I // КСИА. Вып. 174.
- Марченко К. К., Доманский Я. В. 1986. Античное поселение Куцуруб I // АСГЭ. Вып. 27.
- Марченко К. К., Житников В. Г., Копылов В. П. 2000. Елизаветовское городище на Дону. М.
- Марченко К. К., Житников В. Г., Яковенко Э. В. 1988. Елизаветовское городище - греко-варварское торжище в дельте Дона // СА. № 3.
- Марченко К. К., Соловьев С. Л. 1988а. Нова група ліпної кераміки Нижнього Побужжя пізньоархаїчного часу // Археологія. № 63.
- Марченко К. К., Соловьев С. Л. 1988б. К типологии строительных комплексов Нижнего Побужья IV в. до н. э. // КСИА. Вып. 194.
- Масленников А. А. 1980. Варварское погребение VI в. до н. э. на Керченском полуострове // КСИА. Вып. 162.
- Масленников А. А. 1981. Население Боспорского государства в VI–II вв. до н. э. М.
- Масленников А. А. 1981а. К истории населения хоры Боспорского государства в VI–II вв. до н. э. // ВДИ. № 1.
- Масленников А. А. 1987. Основные этапы этнической истории европейского Боспора // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. семинар. Ч. II. Кировоград.
- Масленников А. А. 1992. Зенонов Херсонес — город на Меотиде // Очерки археологии и истории Боспора. М.
- Масленников А. А. 1993. Скифы на Боспоре в III–I вв. до н. э. // Скифия и Боспор. Новочеркасск.
- Масленников А. А. 1995. Сельская фортификация европейского Боспора в эллинистическую эпоху // Фортификация в древности и Средневековье. Материалы методологического семинара ИИМК. СПб.
- Махортых С. В. 1991. Скифы на Северном Кавказе. Киев.
- Мачинский Д. А. 1971. О времени первого активного выступления сарматов в Поднепровье по свидетельствам античных письменных источников // АСГЭ. Вып. 13.
- Мачинский Д. А. 1973. Кельты на землях к востоку от Карпат // АСГЭ. Вып. 15.
- Мачинский Д. А. 1974. Некоторые проблемы этнографии восточноевропейских степей во II в. до н. э. — I в. н. э. // АСГЭ. Вып. 16.
- Мачинский Д. А. 1978. О смысле изображений на чертомлыцкой амфоре // Проблемы археологии. Вып. 2. Л.
- Мачинский Д. А. 1978а. Пектораль из Толстой Могилы и Великие женские божества Скифии // Культура Древнего Востока. Древность и раннее Средневековье. Л.
- Мачинский Д. А. 1993. Скифия и Боспор: от Аристия до Волошина (развернутые тезисы концепции) // Скифия и Боспор. Новочеркасск.
- Мачинский Д. А. 1998а. Страна аримаспов, простор ариев и «скифские» зеркала с бортиком // Проблемы археологии. Вып. 4. СПб.
- Мачинский Д. А. 1998б. О семантике келермесского зеркала // Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского. СПб.

- Медведева Л. И. 1984. Монеты Керкинитиды // НЭ.
- Медведская И. Н. 1989. Периодизация скифской архаики и Древний Восток // Лингвистическая и древнейшая история Востока. Тез. докл. Междунар. конф. Ч. 3. М.
- Мелюкова А. И. 1975. Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка. М.
- Мелюкова А. И. 1976. К вопросу о взаимосвязях скифского и фракийского искусства // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.
- Мелюкова А. И. 1979. Скифия и фракийский мир. М.
- Мелюкова А. И. 1988. Народы Северного Причерноморья накануне и в период греческой колонизации // Местные этнополитические объединения Причерноморья в VII–IV вв. до н. э. Тбилиси.
- Миллер А. А. 1910. Раскопки в районе древнего Танаиса // ИАК. Вып. 35.
- Миллер В. Ф. 1891. О сарматском боге Уатафарне // Древности восточные. Т. 1. Вып. 2. М.
- Мозолевский Б. Н. 1980. Скифские курганы в окрестностях г. Орджоникидзе на Днепропетровщине // Скифия и Кавказ. Киев.
- Мозолевський Б. Н. 1979. Товста Могила. Київ.
- Молев Е. А. 1985. Археологические исследования Китея в 1970–1983 гг. // Археологические памятники юго-восточной Европы. Курск.
- Молев Е. А. 1986. Боспорське місто Кітей IV–III ст. до н. е. (за матеріалами розкопок 1970–1981 рр.) // Археологія. № 54.
- Монахов С. Ю., Абросимов Э. Н. 1993. Новое о старых материалах из Херсонесского некрополя // АМА. Вып. 9.
- Моруженко А. А. 1989. Историко-культурная общность лесостепных племен междуречья Днепра и Дона в скифское время // СА. № 4.
- Мошинская В. И. 1946. О государстве синдов // ВДИ. № 3.
- Мурзін В. Ю. 1978. Скіфи на Північному Кавказі (VII–V ст. до н. е.) // Археологія. № 27.
- Мурзін В. Ю. 1986. Про утворення Північнопричорноморської Скіфії // Археологія. № 55.
- Мурзин В. Ю. 1984. Скифская архаика Северного Причерноморья. Киев.
- Мурзин В. Ю. 1990. Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса. Киев.
- Наливкина М. А. 1957. Раскопки Керкинитиды и Калос Лимена (1948–1952) // История и археология древнего Крыма. Киев.
- Наливкина М. А. 1959. Торговые связи античных городов Северо-Западного Крыма // ПИСП.
- Наливкина М. А. 1963. Керкинитиды и Калос Лимен (некоторые итоги изучения) // Античный город. М.: Л.
- Нефедкин А. К. 1998. Сцена боя на золотой обкладке ножен из Чертомлыцкого кургана и военная реформа Дария III // Боспорское царство как историко-культурный феномен. Тезисы докл. СПб.
- Нечитайло А. Л. 1984. О сосудах майкопского типа в степях Украины // СА. № 4.
- Нечитайло А. Л. 1987. Южные направления в системе связей степей Украины // Киммерицы и скифы. Тез. докл. семинара. Ч. II. Кировоград.

- Никулин В. 1957. К вопросу о наличии на Боспоре центра по штамповке изделий из золота и серебра // МАСП. Вып. I.
- Никулина Н. М. 1994. Искусство Ионии и Ахеменидского Ирана. М.
- Никулище И. Т. 1987. Северные фракийцы в VI–I вв. до н. э. Кишинев.
- Нудельман Д. И. 1946. Древнегреческое поселение в Северном Причерноморье // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. Т. XXXVII. Вып. 3.
- Ольговский С. Я. 1982. Цветная металлообработка в греческих городах Северо-Западного Причерноморья. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Ольговский С. Я. 1992. Похождения дзеркал «ольвийского» типа // Археологія. № 3.
- Ольховский В. С. 1977. Скифские катакомбы в Северном Причерноморье // СА. № 4.
- Ольховский В. С. 1978. Погребальные обряды населения степной Скифии (VII–III вв. до н. э.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Ольховский В. С. 1982. О населении Крыма в скифское время // СА. № 4.
- Ольховский В. С. 1990. Скифские изваяния Крыма // Проблемы скифо-сарматской археологии. М.
- Ольховский В. С., Евдокимов Г. Л. 1994. Скифские изваяния VII–III вв. до н. э. М.
- Ольховский В. С., Храпунов И. Н. 1990. Крымская Скифия. Симферополь.
- Онайко Н. А. 1960. Античный импорт на территории Среднего Поднепровья (VII–V вв. до н. э.) // СА. № 2.
- Онайко Н. А. 1966. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII–V вв. до н. э. // САИ. Вып. ДІ-27.
- Онайко Н. А. 1966а. О центрах производства золотых обкладок ножен и рукояток ранних скифских мечей, найденных в Приднепровье // Культура античного мира. М.
- Онайко Н. А. 1970. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV–II вв. до н. э. // САИ. Вып. ДІ-27.
- Онайко Н. А. 1974. Заметки о технике боспорской торевтики // СА. № 3.
- Онайко Н. А. 1976. Антропоморфные изображения в меото-скифской торевтике // Художественная культура и археология античного мира. М.
- Онайко Н. А. 1976а. О воздействии греческого искусства на меото-скифский звериный стиль // СА. № 3.
- Онайко Н. А. 1977. Аполлон Гиперборейский // История и культура античного мира. М.
- Онайко Н. А. 1980. Архаический Торик. Античный город на северо-востоке Понта. М.
- Орешников А. В. 1884. Босфор Киммерийский в эпоху Спартокидов по надписям и царским монетам. М.
- Орешников А. В. 1892. Материалы по древней нумизматике Черноморского побережья. М.
- Островерхов А. С. 1978а. Экономические связи Ольвии, Березани и Ягорлыцкого поселения со Скифией (VII — середина V в. до н. э.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
- Островерхов А. С. 1978б. Про чорну металургію на Ягорлицькому поселенні // Археологія. № 23.

- Островерхов А. С. 1980. Этапы и характер греко-скифских экономических связей в Поднепровье и Побужье // Исследования по античной археологии Юго-Запада Украинской ССР. Киев.
- Островерхов А. С. 1981. Ольвия и торговые пути Скифии // Древности Северо-Западного Причерноморья. Киев.
- Отращенко В. В., Рассамахин Ю. А. 1986. Раскопки скифского кургана у с. Великая Знаменка // АО-1984 г. М.
- Отрешко В. М. 1975. Архаические и классические слои и поселения у Закисовой балки // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. Тез. докл. юбил. конф. Киев.
- Отрешко В. М. 1979. Посвящение Ахиллу Понтарху как один из критериев определения границ Ольвийского государства // Памятники древних культур Северного Причерноморья. Киев.
- Отрешко В. М. 1981. Каллипиды, алазоны и поселения Нижнего Побужья // СА. № 1.
- Отрешко В. М. 1982. З історії Ольвіїського поліса в IV–I ст. до н. е. // Археологія. № 41.
- Отрешко В. М. 1990а. Ольвийская хора VI–V вв. до н. э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
- Отрешко В. М. 1990б. Демографический потенциал архаических крупных поселений Ольвийской хоры // Проблемы археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей). Тез. докл. юбил. конф. Ч. 2. Херсон.
- Охотников С. Б. 1983. Археологическая карта Нижнего Поднестровья в античную эпоху (VI–III вв. до н. э.) // Материалы по археологии Северного Причерноморья. Киев.
- Охотников С. Б. 1984. О характере греко-варварских взаимоотношений в Нижнем Поднестровье в VI–V вв. до н. э. // Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. Киев.
- Охотников С. Б. 1987. Сельские поселения Нижнего Поднестровья в VI–V вв. до н. э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
- Охотников С. Б. 1990. Нижнее Поднестровье в VI–V вв. до н. э. Киев.
- Парович-Пешикан М. 1974. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Киев.
- Паромов Я. М. 1986. Обследование археологических памятников Таманского полуострова в 1981–1983 гг. // КСИА. Вып. 188.
- Паромов Я. М. 1990. Принципы изучения эволюции системы расселения на Таманском полуострове в античное и средневековое время // Древние памятники Кубани. Краснодар.
- Первобытная история. 1978. Первобытная история классовых обществ до начала Великих географических открытий / Под ред. А. И. Першица и А. М. Хазанова. М.
- Переводчикова Е. В. 1980. Прикубанский вариант скифского звериного стиля. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Переводчикова Е. В. 1980а. Типология и эволюция скифских наверший // СА. 2.
- Переводчикова Е. В. 1987. Локальные черты скифского звериного стиля в Прикубанье // СА. № 4.
- Переводчикова Е. В. 1992. Скифский звериный стиль и греческие мастера // Античная цивилизация и варварский мир. Ч. II. Новочеркасск.

- Переводчикова Е. В. 1994. Язык звериных образов. Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. М.
- Передольская А. А. 1945. Вазы Ксенофанта // ТОАМ. I.
- Передольская А. А. 1962. Терракотовые статуэтки из кургана Большая Близница и гомеровский гимн Деметре // ТГЭ. 7.
- Передольская А. А. 1971. Кто же расписал пелику из Баксы? // Культура и искусство античного мир. Л.
- Передольская А. А. 1973. Аттический лекиф из VII Семибратнего кургана // Памятники античного прикладного искусства. Л.
- Петерс Б. Г. 1978. Михайловское городище античного времени // Проблемы советской археологии. М.
- Петерс Б. Г. 1985. О раскопках Михайловской экспедиции (1963–1983) // КСИА. Вып. 182.
- Петерс Б. Г. 1989. Исследования нижнего слоя Патрея // Проблемы исследования античных городов. Тезисы. М.
- Петренко В. Г. 1978. Украшения Скифии VII–III вв. до н. э. // САИ. Вып. Д4-5. М.
- Петренко В. Г. 1990. К вопросу о хронологии раннескифских курганов Центрального Предкавказья // Проблемы скифо-сарматской археологии. М.
- Печенкин Н. М. 1911. Археологические разведки в местности страбововского Старого Херсонеса // ИАК. Вып. 42.
- Печенкин Н. М. 1911а. Археологические раскопки в местности страбововского Старого Херсонеса. Архив ИИМК. Ф. 27. Д. 14.
- Пиотровский А. И. 1924. Панафинейская амфора Елизаветинского кургана // ИРА-ИМК. Т. III. Л.
- Погребова М. Н. 1948. Грифон в искусстве Северного Причерноморья // КСИИМК. Вып. 33.
- Погребова М. Н., Раевский Д. С. 1992. Ранние скифы и Древний Восток. М.
- Погребова М. Н., Раевский Д. С. 1989. К вопросу об «отложившихся скифах» (Негод., IV, 22) // ВДИ. № 1.
- Подгородецкий П. Д. 1979. Природа Западного Крыма в античную эпоху // Северо-Западный Крым в античную эпоху. Симферополь.
- Полин С. В. Хронология ранньоскифських пам'яток // Археологія. № 59.
- Полин С. В. 1989. Население северопричерноморских степей в III–II вв. до н. э. (этнополитический аспект). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
- Придонье и Таманский полуостров. САИ. Г1-11. М. 1974
- Пругло В. И. 1960. Восточные кварталы Мирмекия // ЗОАО. I(34).
- Пругло В. И. 1974. К вопросу о дате кургана Большая Близница // СА. № 3.
- Прушевская Е. О. 1917. Родосская ваза и бронзовые вещи из могилы на Таманском полуострове // ИАК. Вып. 63.
- Прушевская Е. О. 1955. Художественная обработка металла (торевтика) // АГСП.
- Пятышева Н. В. 1947. Культ греко-тавро-скифского божества в Херсонесе // ВДИ. № 3.
- Пятышева Н. В. 1949. Тавры и Херсонес Таврический // КСИИМК. XXIX.
- Пятышева Н. В. 1956. Ювелирные изделия из Херсонеса // ТГИМ. Вып. XVIII.
- Пятышева Н. В. 1959. Рец. на кн.: Ольвия и Нижнее Побужье в античную эпоху // СА. № 3.

- Пятышева Н. В. 1971. Материал склепа 1012 и его значение для истории Херсонеса эллинистического времени // История и культура Восточной Европы по археологическим данным. М.
- Раевский Д. С. 1968. О местонахождении древнего Евпатория // ВДИ. № 3.
- Раевский Д. С. 1976. «Скифское» и «греческое» в сюжетных изображениях на скифских древностях // Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов советского Востока. М.
- Раевский Д. С. 1977. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М.
- Раевский Д. С. 1979. «Скифское» и «греческое» в сюжетных изображениях на скифских древностях (к проблеме антропоморфизации скифского пантеона) // Искусство Ирана и его связь с искусством народов СССР с древнейших времен. М.
- Раевский Д. С. 1980. Эллинские боги в Скифии? (к семантической характеристике греко-скифского искусства) // ВДИ. № 1.
- Раевский Д. С. 1984. От киммерийского орнамента к скифскому звериному стилю // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М.
- Раевский Д. С. 1985. Модель мира скифской культуры. М.
- Репников Н. И. 1927. О предполагаемых древностях Тавров // ИТОИАЭ. № 1.
- Рогов Е. Я. 1988. Херсонесский некрополь и некрополь Панское I — опыт сопоставления // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Тез. докл. Севастополь.
- Рогов Е. Я. 1989. О хронологии могильника Панское I // Проблемы исследований античных городов. Тез. докл. М.
- Рогов Е. Я. 2002. Подстенный склеп 1012 в Херсонесе Таврическом // Боспорский феномен: погребальные памятники и святилища. СПб. Ч. I.
- Романченко Н. Ф. 1896. Материалы по археологии Евпаторийского уезда // ЗРАО. 1–2. Нов. серия. М.
- Ростовцев М. И. 1912. Боспорское царство и южно-русские курганы // ВЕ. М.
- Ростовцев М. И. 1913. Представление о монархической власти в Скифии и на Боспоре // ИАК. Вып. 49.
- Ростовцев М. И. 1913а. Рец. на кн.: *Ellis H. Minns. Scythians and Greeks*. Cambridge, 1913 // ЖМНП.
- Ростовцев М. И. 1914. Научное значение истории Боспорского царства // Сборник к 40-летию профессиональной деятельности Н. И. Кареева. СПб.
- Ростовцев М. И. 1914а. Воронежский серебряный сосуд. МАР. Вып. 34.
- Ростовцев М. И. 1915. Амага и Тиргатао // ЗООИД. Т. 32.
- Ростовцев М. И. 1918. Эллинизм и иранство на юге России. Пг.
- Ростовцев М. И. 1918а. Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма // МАР. Вып. 37.
- Ростовцев М. И. 1925. Скифия и Боспор. Л.
- Ростовцев М. И. 1993. Боспорское царство // ΣΚΥΘΙΚΑ. Избранные работы академика М. И. Ростовцева. СПб.
- Рубан В. В. 1975. О периодизации античных памятников Северо-Западного Причерноморья доримского периода // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. Тез. докл. юбил. конф. Киев.
- Рубан В. В. 1977. Некоторые аспекты изучения процесса формирования античных городов Северо-Западного Причерноморья // Древние города. Материалы к Все-

- союзной конференции «Культура Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего Средневековья». Л.
- Рубан В. В. 1978. Динамика территориальных границ Ольвийского полиса на протяжении догетского времени // Авторско-читательская конференция журнала «Вестник древней истории» по проблеме «Полис и хора. Вопросы экономики, политики и культуры». Тез. докл. М.
- Рубан В. В. 1980. Раннеэллинистические лепные кратеры из Нижнего Побужья // СА. № 1.
- Рубан В. В. 1985. Проблемы исторического развития Ольвийской хоры в IV–III вв. до н. э. // ВДИ. № 1.
- Рубан В. В. 1988. Основные этапы пространственного развития Ольвийского полиса (догетское время). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
- Рубан В. В. 1990. Хора Истрии в VII–V вв. до н. э. // Проблемы археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей). Тез. докл. юбил. конф. Херсон.
- Русяева А. С. 1967. Разведка в районе Березанского лимана // археологические исследования на Украине в 1965–1966 гг. Вып. 1. Киев.
- Русяева А. С. 1968. Поселения Петухівка I біля Ольвії // Археологія. Т. 21.
- Русяева А. С. 1979. Деякі риси культурно-історического розвитку Північно-Західного Причорномор'я в VII–V ст. до н. е. // Археологія. № 30.
- Русяева А. С. 1979. Земледельческие культы Ольвии догетского времени. Киев.
- Русяева А. С. 1986. Милет—Дидимы—Борисфен—Ольвия. Проблемы колонизации Нижнего Побужья // ВДИ. № 2.
- Русяева А. С. 1990. Духовная культура населения Ольвийского государства. Автореф. дис. ... доктора ист. наук. Киев.
- Русяева А. С., Мазарати С. Н. 1986. Археологические исследования у Широкой балки близ Ольвии // Ольвия и ее округа. Киев.
- Русяева А. С., Скржинская М. В. 1979. Ольвийский полис и каллипиды // ВДИ. № 4.
- Савеля О. Я. 1970. О керамике с врезным орнаментом из Херсонеса // КСИА. № 124.
- Савеля О. Я. 1974. Раскопки и разведки в окрестностях Симферополя // АО-1973 г. М.
- Савеля О. Я. 1975. К проблеме взаимоотношений Херсонеса Таврического с варварами Юго-Западного Крыма в V–III вв. до н. э. // Новейшие открытия советских археологов. Тез. докл. Ч. II. Киев.
- Савеля О. Я. 1979. О греко-варварских взаимодействиях в Юго-Западном Крыму в VI–IV вв. до н. э. // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
- Саверкина И. И. 1986. Греческая скульптура V в. до н. э. в собрании Эрмитажа. Л.
- Савинов, 1987 — Савинов Д. Г. Изображение «висящего» оленя на ритоне из Келермеса // Скифо-сибирский мир. Новосибирск. 1987
- Савостина Е. А. 1989. Сюжет и композиция рельефа из Трехбратнего кургана // Скифия и Боспор. Тез. док. конференции, посвященной памяти академика М. И. Ростовцева. Новочеркасск.
- Савостина Е. А. 1995. Тема надгробной стелы из Трехбратнего кургана в контексте античного мифа // Историко-археологический альманах. Армавир; М. Вып. 1.

- Савостина Е. А. 1996. «Змееногая богиня» — «прорастающая дева» (двусторонний антропоморфный акротерий из Пантикапея // Историко-археологический альманах. Армавир; М. Вып. 2.
- Савостина Е. А. 1999. Таманский рельеф в контексте традиций Боспора и Аттики // Таманский рельеф. Древнегреческая стела с Изображением двух воинов из Северного Причерноморья. М.
- Савостина Е. А. 2001. «Боспорский стиль» и сюжеты Геродота в пластике Северного Причерноморья // Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономахия?). М.; СПб.
- Савостина Е. А. 2001а. История и археология рельефа со сценой сражения // Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономахия?). М.; СПб.
- Савостина Е. А. 2004. Скульптура Боспора. «Архаический след» в хронологии локального стиля // Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки памятников. СПб. Ч. I.
- Салов А. И. 1986. Архаическое поселение на окраине Анапы // Проблемы античной культуры. М.
- Сапрыкин С. Ю. 1986. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. М.
- Свенцицкая И. С. 1967. Положение зависимого населения Малой Азии V–IV вв. до н. э. // ВДИ. № 4.
- Секерская Н. М. 1989. Античный Никоний и его округа в VI–IV вв. до н. э. Киев.
- Сенаторов С. Н. 1988. О керамике с гребенчатым орнаментом из Херсонеса // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Тез. докл. Севастополь.
- Сидорова Н. А. 1962. Архаическая керамика из Пнтикапея // МИА. № 103.
- Силантьева Л. Ф. 1959. Некрополь Нимфея // МИА. № 69.
- Силантьева Л. Ф. 1967. Семибратние курганы и их значение для изучения культуры синдов // Тез. докл. научной сессии Гос. Эрмитажа. Л.
- Симоненко А. В. 1987. О семантике среднего фриза Чертомлыцкой амфоры // Скифы Северного Причерноморья. Киев.
- Скорый С. А. 1987. Про скифський етнокультурний компонент у населення Дніпровського Лісостепоного Правобережжя // Археологія. № 60.
- Скорый С. А. 1983. Вооружение скифского типа в Средней Европе. Автореф. канд. дис. Киев.
- Скорый С. А., Бессонова С. С. 1987. Некоторые вопросы ранней скифской истории и Украинская лесостепь // Исторические чтения памяти М. П. Грязнова. Тез. докл. конф. Ч. I. Омск.
- Скржинская М. В. 1977. Северное Причерноморье в описании Плиния Старшего. Киев.
- Скржинская М. В. 1986. Греческие серьги и ожерелья архаического периода // Оливия и ее округа. Киев.
- Скржинская М. В. 1991. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. Киев.
- Скржинська М. В. 1997. Боспорські міфи в ілюстраціях аттичних вазописців IV ст. до н. е. // Археологія. № 4.
- Скуднова В. М. 1954. Скифские памятники из Нимфея // СА. Т. XXI.

- Скуднова В. М. 1960. Погребения с оружием из архаического некрополя Ольвии // ЗОАО. Т. I(34).
- Скуднова В. М. 1962. Скифские зеркала из архаического некрополя Ольвии // ТГЭ. Т. III.
- Славін Л. М. 1938. Ольвия. Киев.
- Славін Л. М. 1956. Древньогрецьке поселення на острові Березнь // ІЗКДУ. Т. 16. Вип. 6. № 7.
- Славін Л. М. До питань про ольвійсько-скифські відносини // ІЗКДУ. Т. 13. Вип. 10. № 5.
- Славин Л. М. 1959. Периодизация исторического развития Ольвии // ПИСП.
- Смирнов А. П. 1956. Скифы. М.
- Смирнов К. Ф. 1969. Савроматы. Ранняя история и культура савроматов. М.
- Смирнов К. Ф. 1974. Сарматы Нижнего Поволжья и междуречья Дона и Волги в IV в. до н. э. — II в. н. э. // СА. № 3.
- Смирнова Г. И. 1989. Культурно-исторические процессы в Прикарпатье в канун II — первой половине I тысячелетия до н. э. по материалам Западно-Украинской экспедиции // Материалы археологических экспедиций Гос. Эрмитажа. Л.
- Снытко И. А. 1986. Грунтовой некрополь IV—III вв. до н. э. в урочище Дидова Хата // Хозяйство и культура доклассовых и раннеклассовых обществ. Тез. докл. III конф. молодых ученых ИА АН СССР. М.
- Снытко И. А. 1988. Погребальные сооружения античных некрополей Нижнего Побужья и Северо-Западного Крыма IV в. до н. э. — I в. н. э. // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Тез. докл. Севастополь.
- Снытко И. А. 1990. Исследования некрополя античного времени в урочище Сиверсов маяк // Проблемы археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей). Тез. докл. юбил. конф. Ч. 2. Херсон.
- Снытко И. А. 1994. Еще раз о миксэлинах Ольвийского декрета в честь Протогена // Тез. докл. Международной конф. «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья». Запорожье.
- Сокольский Н. И. 1957. Валы в системе обороны Боспора // СА. № 27.
- Сокольский Н. И. 1961а. Взаимоотношения античных государств и племен Северного Причерноморья // DAWSA. № 23.
- Сокольский Н. И. 1961б. Античный город // ВДИ. № 2.
- Сокольский Н. И. 1976. Таманский толос и резиденция Хрисалиска. М.
- Сокольский Н. И., Шелов Д. Б. 1959. Историческая роль античных государств Северного Причерноморья // ПИСП.
- Соловьев С. Л. 1989. Строительные комплексы архаической Березани (анализ архитектурно-строительных традиций). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.
- Соловьев С. Л. 1994. Новые аспекты истории и археологии античной Березани // ПАВ. № 8.
- Соловьев С. Л. 1995а. Новые данные о типологии жилищ Березанского поселения в классическую эпоху // РА. № 1.
- Соловьев С. Л. 1995б. Лепная керамика с резным геометрическим орнаментом Березанского поселения // АСГЭ. Вип. 32.
- Соломоник Э. И. 1962. Эпиграфические памятники Неаполя Скифского // НЭ. III.

- Соломоник Э. И. 1987. Два античных письма из Крыма // ВДИ. № 3.
- Сопова Н. К. 1973. Боспорское объединение как разновидность греческих союзов // Вопросы всеобщей истории. Т. II. Хабаровск.
- Сорокина Н. П. 1957. Тузлинский некрополь. Труды ГИМ «Памятники культуры». Вып. 26.
- Стефани Л. 1866. Объяснение некоторых древностей, найденных в 1865 г. в Южной России // ОАК за 1865 г. СПб.
- Стефани Л. 1885. Описание некоторых вещей, найденных в 1863 г. в Южной России // ОАК за 1864 г. СПб.
- Столба В. Ф. 1989. Еще раз о керкинитидских монетах IV–III вв. до н. э. // Древнее Причерноморье. Тез. докл. Одесса.
- Столба В. Ф. 1990. Монетная чеканка Керкинитиды и некоторые вопросы херсонесокеркинитидских отношений в IV–III вв. до н. э. // Древнее Причерноморье. Одесса.
- Столба В. Ф. 1991. Херсонес и скифы в V–II вв. до н. э. (Проблема взаимоотношений). Архив ИИМК РАН. Ф. 33. 2Д № 474.
- Столба В. Ф. 1993. Демографическая ситуация в Крыму в V–II вв. до н. э. (по данным письменных источников) // ПАВ. № 6.
- Стржелецкий С. Ф. 1948. Раскопки Таврского некрополя в 1945 г. // ХС. Вып. IV.
- Стржелецкий С. Ф. 1948а. Раскопки 1939 года у Карантина вблизи Херсонеса Таврического // ХС. Вып. IV.
- Стржелецкий С. Ф. 1948б. Жертвенник Гераклу // ХС. Вып. IV.
- Стржелецкий С. Ф. 1959. Основные этапы экономического развития и периодизации истории Херсонеса Таврического в античную эпоху // ПИДО.
- Стржелецкий С. Ф. 1959а. Очерки истории Гераклейского полуострова и его округи в эпоху бронзы и раннего железа. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Стржелецкий С. Ф. 1961. Клеры Херсонеса Таврического // ХС. Вып. VI.
- Струве В. В. 1933. Плебеи и илоты // ИГАИМК. Вып. 100.
- Струве В. В. 1968. Древнейший историк СССР // Струве В. В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л.
- Тереножкин А. И. 1961. Предскифский период на Днепровском лесостепном Правобережье. Киев.
- Тереножкин А. И. 1965. Основы хронологии предскифского периода // СА. № 2.
- Тереножкин А. И. 1968. Рец. на кн.: Лалин В. В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев, 1966 // СА. № 4.
- Тереножкин А. И. 1977. Общественный строй скифов // Скифы и сарматы. Киев.
- Тереножкин А. И., Мозолевский Б. Н. 1988. Мелитопольский курган. Киев.
- Толстиков В. П. 1981. Фортификация античного Боспора. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Толстиков В. П. 1984. К проблеме образования Боспорского государства (опыт реконструкции военно-политической ситуации на Боспоре в конце VI — первой половине V в. до н. э.) // ВДИ. № 3.
- Толстиков В. П. 1984а. О системе обороны акрополя Пантикапея // СГМИИ. Вып. 7.
- Толстиков В. П. 1989. Некоторые пути изучения центральной части Пантикапея и проблемы эллино-скифских взаимоотношений в VI–V вв. до н. э. // Скифия и Боспор. Археологические материалы к конф. памяти М. И. Ростовцева. Новочеркасск.

- Толстиков В. П. 1992. Пантикапей — столица Боспора // Очерки археологии и истории Боспора. М.
- Толстой И. И., Кондаков Н. П. 1889. Русские древности в памятниках искусства. Вып. 1. Классические древности Южной России. СПб.
- Толстой И. И., Кондаков Н. П. 1989а. Русские древности в памятниках искусства. Вып. 2. Древности скифо-сарматские. СПб.
- Тохтасьев С. Р. 1984. Scythica в «Трудах II Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья» (Цхалтубо, 1979) // ВДИ. № 3.
- Тохтасьев С. Р. 1998. К чтению и интерпретации посвяtitельной надписи Левкона I с Семибратнего городища // Hyperboreus. Vol. 5, 2. СПб.
- Тохтасьев С. Р. 2000. ВПУСПСПУ // Боспорский феномен: греческая культура на периферии античного мира. Материалы международной конференции. СПб.
- Трейстер М. Ю. 1989. Матрица из Пантикапея (к вопросу о боспорской торевтике IV в. до н. э.) // Кочевники евразийских степей и античный мир. Новочеркасск.
- Трейстер М. Ю. 2001. Тема амазономехии в торевтике поздней классики и раннего эллинизма // Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономехия?). М.; СПб.
- Троицкая Т. Н. 1951. Скифские курганы Крыма // ИКОГО СССР. № 1.
- Троицкая Т. Н. 1954. Скифские погребения в курганах Крыма. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Симферополь.
- Троицкая Т. Н. 1957. К вопросу о локальных особенностях скифской культуры в центральном Крыму и на Керченском полуострове // ИКОГО СССР. № 4.
- Троицкая Т. Н. 1957а. Погребение у села Белоглинки // СА. Т. XXVII.
- Трофимова М. К. 1961. Из истории эллинистической экономики (К вопросу о торговой конкуренции Боспора и Египта) // ВДИ. № 2.
- Трубачев О. Н. 1979. «Старая Скифия» Геродота (IV, 99) и славяне // ВЯ. № 4.
- Тугушева О. В. 2001. Сцены амазономехии на боспорских пеликах // Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономехия?). М.; СПб.
- Туровский Е. Я. 1995. Хронология сельских усадеб на Гераклеяском полуострове в IV–II вв. до н. э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб.
- Тюменев А. И. 1938. Херсонесские этюды. I. К вопросу о времени и обстоятельствах возникновения Херсонеса // ВДИ. № 2(3).
- Тюменев А. И. 1949. Херсонесские этюды. III. Херсонес и местное население: Тавры // ВДИ. № 4.
- Устинова В. А. 1966. К вопросу о присоединении Синдики к Боспорскому государству // ВДИ. № 4.
- Фармаковский Б. В. 1914. Архаический период в России // МАР. Вып. 34.
- Фармаковский Б. В. 1915. Мраморная стела Херсонского музея из Ольвии // ИАК. Вып. 57.
- Фролов Э. Д. 1956. Экономические взгляды Ксенофонта // Уч. зап. ЛГУ. № 192. Вып. 21. Сер. ист. наук.
- Фролов Э. Д. 1981. Гераклеяские мариандины // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Фролов Э. Д. 1988. Рождение греческого полиса. Л.
- Фурманская А. И. 1953. Меднолитейное ремесло в Ольвии. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.

- Фурманська А. І. 1963. Бронзоливарне ремесло в Ольвії // Археологія. Т. XV.
- Хазанов А. М. 1973. О периодизации истории кочевников евразийских степей // Проблемы этногеографии Востока. М.
- Хазанов А. М. 1975. Социальная история скифов. М.
- Хазанов А. М. 1975а. Золото скифов. М.
- Хазанов А. М., Шкурко. 1978. Воздействие античной культуры на культуру и искусство скифо-сарматского мира // Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов советского Востока. М.
- Храпунов И. Н., Власов В. П. 1994. Раскопки кизил-кобинского поселения Шпыль // Археологические исследования в Крыму в 1993 г. Симферополь.
- Худяк М. М. 1962. Из истории Нимфея. Л.
- Худяков Ю. С. 1985. Формирование военного искусства кочевников в условиях степного ландшафта // Проблемы реконструкции в археологии. Новосибирск.
- Цветаева Г. А. 1951. Грунтовой некрополь Пантикапея, его история, этнический и социальный состав // МИА. № 19.
- Цветаева Г. А. 1957. Курганный некрополь Пантикапея // МИА. № 56.
- Чежина, Алексеев. 1990. Куль-обский олень // Проблемы археологии. СПб. Вып. 3.
- Черненко Е. В. 1970. Погребение с оружием из некрополя Нимфея // Древности Восточного Крыма. Киев.
- Черненко Е. В. 1971. О времени и месте появлений тяжелой конницы в степях Евразии // ПСА.
- Черненко Е. В. 1974. Оружие из Семибратних курганов // Скифские древности. Киев.
- Черненко Е. В. 1979. О влиянии военного дела скифов на военное дело античных колоний // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
- Черненко Е. В. 1984. Скифо-персидская война. Киев.
- Черненко Е. В. 1984а. Битва при Фате и скифская тактика // Вооружение скифов и сарматов. Киев.
- Черненко Е. В., Бессонова С. С., Болтрик Ю. В., Скорый С. А., Бокий Н. М., Гребенников Ю. С. 1986. Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья. Киев.
- Чичикова, 1983 — Чичикова М. Гробница от Свещари // Изкуство. 1983. № 4.
- Членова, 1993 — Членова Н. Л. О степени сходства компонентов материальной культуры скифского мира // ПАВ. 1993. № 7
- Шауб И. Ю. 1987. Погребения кургана Большая Близница как источник по истории религиозных представлений жителей Боспорского царства // КСИА. Вып. 191.
- Шауб И. Ю. 1993. Амазонки на Боспоре // Скифия и Боспор. Материалы конференции, посвященной памяти академика М. И. Ростовцева. Новочеркасск. 1993.
- Шауб И. Ю. 1999. Культ Великой богини у местного населения Северного Причерноморья // Скифский квадрат. Stratum plus. 1999. № 3.
- Шауб И. Ю. 1991. Образ Медузы-Горгоны в Северном Причерноморье // Древние культуры и археологические изыскания. СПб.
- Шауб И. Ю. 1992. Загробные представления боспорян (на материалах «боспорских пелик») // Северная Евразия от древности до средневековья. СПб.

- Шафранская Н. В. 1951. К вопросу о кризисе Ольвии в III в. до н. э. // ВДИ. № 3.
- Шафранская Н. В. 1956. О миксэлинах // ВДИ. № 3.
- Шевченко Н. Ф. 1993. Еще раз о сарматах в степях Прикубанья // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар.
- Шелов Д. Б. 1950. К вопросу о взаимодействии греческих и местных культов в Северном Причерноморье // КСИИМК. Вып. 34.
- Шелов Д. Б. 1952. Автономные монеты боспорских городов как исторический источник // АИБ. I.
- Шелов Д. Б. 1956. Античный мир в Северном Причерноморье. М.
- Шелов Д. Б. 1956а. Монетное дело Боспора VI–II вв. до н. э. М.
- Шелов Д. Б. 1967. Западное и Северное Причерноморье в античную эпоху // Античное общество. М.
- Шелов Д. Б. 1970. Танаис и Нижний Дон в III–I вв. до н. э. М.
- Шелов Д. Б. 1971. Скифо-македонский конфликт в истории античного мира // Проблемы скифской археологии. М.
- Шелов Д. Б. 1975. Северное Причерноморье 2000 лет назад. М.
- Шелов Д. Б. 1975а. Керамические клейма из Танаиса III–I вв. до н. э. М.
- Шелов Д. Б. 1981. Синды и Синдика в эпоху греческой колонизации // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Шелов Д. Б. 1984. Проблема греко-варварских контактов в эпоху греческой колонизации Северного Причерноморья // ВДИ. № 2.
- Шелов Д. Б. 1989. Танаис — эллинистический город // ВДИ. № 3.
- Шелов Д. Б., Брашинский И. Б. 1969. Рец. на кн.: *Лапин В. В.* Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев, 1966 // ВДИ. № 3.
- Шелов-Коведяев Ф. В. 1985. История Боспора в VI–IV вв. до н. э. // Древнейшие государства на территории СССР, 1984. М.
- Шелов-Коведяев Ф. В. 1985а. О периоде «протоэллинизма» на греческой периферии (на примере Боспора) // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси.
- Шер Я. А. 1980. Ранний этап скифо-сибирского звериного стиля // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Кемерово.
- Шер Я. А. 1992. Луристан, Зивие и скифо-сакский звериный стиль // Тез. док. конференции ИИМК РАН 21–25 января 1992 г. СПб.
- Шилик К. К. 1975. Изменение уровня Черного моря в позднем голоцене (по материалам геоморфологических и археологических исследований в северо-западной части бассейна). Автореф. дис. ... канд. геолог. наук. Л.
- Шилов В. П. 1966. Ушаковский курган // СА. № 1.
- Шкорпил В. В. 1910. Отчет о раскопках в Керчи и на Тамани в 1907 г. // ИАК. 1910. Вып. 35.
- Шкорпил В. В. 1918. Археанактиды // ИТУАК. № 54.
- Шкурко А. И. 1969. Об изображении свернувшегося в кольцо кошачьего хищника в искусстве лесостепной Скифии // СА. 1969. № 1.
- Шкурко А. И. 1975. Звериный стиль в искусстве и культуре лесостепной Скифии. Авт. канд. дисс. М.
- Шмидт Р. В. 1941. К исследованию боспорских оборонительных валов // СА. № 7.

- Шмит Ф. И. 1925. Искусство. Основные проблемы теории и истории. Л.
- Шрамко Б. А. 1987. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев.
- Штерн Э. Р. 1900. Значение керамических находок на юге России для выяснения культурной истории Черноморской колонизации // ЗООИД. Т. XXII.
- Штерн Э. Р. 1908. О местонахождении древнего Херсонеса. Одесса.
- Штитильман Ф. М. 1954. Городища, поселения и могильники Бугского лимана VII–II вв. до н. э. // КСИА. Вып. 3.
- Штитильман Ф. М. 1956. Поселения античного периода на побережье Бугского лимана // МИА. № 50.
- Шульц П. Н. 1959. О некоторых вопросах истории тавров // ПИСП.
- Шульц П. Н. 1971. Позднескифская культура и ее варианты на Днепре и в Крыму // МИА. № 171.
- Шульц П. Н. 1976. Скифские изваяния // Художественная культура и археология античного мира. М.
- Шульц П. Н., Навротский Н. И. 1973. Прикубанские изваяния скифского времени // СА. № 4.
- Шургая И. Г. 1973. Вопросы боспоро-египетской конкуренции в хлебной торговле Восточного Средиземноморья эллинистической эпохи // КСИА. Вып. 138.
- Щеглов А. Н. 1965. Заметки по древней географии и топографии Сарматии и Тавриды. I остров Березань // ВДИ. № 2.
- Щеглов А. Н. 1970. Рец. на СХМ. Вып. IV // ВДИ. № 3.
- Щеглов А. Н. 1975. «Старый» Херсонес Страбона // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. Тез. докл. Киев.
- Щеглов А. Н. 1976. Полис и хора. Симферополь.
- Щеглов А. Н. 1978. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л.
- Щеглов А. Н. 1981. Тавры и греческие колонии в Таврике // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Щеглов А. Н. 1984. «Старый» Херсонес и его округа // Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья. М.
- Щеглов А. Н. 1985. О греко-варварских взаимодействиях на периферии античного мира // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси.
- Щеглов А. Н. 1985а. Ольвия и Херсонес — новые материалы и аспекты проблемы // Проблемы исследования Ольвии. Тез. докл. Парутино.
- Щеглов А. Н. 1986. Процесс и характер территориальной экспансии Херсонеса в IV в. до н. э. // Античная гражданская община. Л.
- Щеглов А. Н. 1988. Тавры в VII — первой половине IV в. до н. э. и греко-таврские взаимоотношения // Местные этнополитические объединения в Причерноморье в VII–IV вв. до н. э. Тбилиси.
- Щеглов А. Н. 1989. Еще раз о причинах денежного кризиса III в. до н. э. в античных центрах Северного Причерноморья // Древнее Причерноморье. Тез. докл. Одесса.
- Щеглов А. Н. 1990. О времени и обстоятельствах возникновения Калос Лимена // Проблемы археологии Северного Причерноморья. Тез. докл. Ч. II. Херсон.
- Щеглов А. Н. 1993. Основные структурные элементы античной межевой системы на Маячном полуострове (Юго-Западный Крым) // История и археология Юго-Западного Крыма. Симферополь.

- Щеглов А. Н. 1994. К изучению культурных трансляций и взаимодействий в Причерноморском регионе расселения греков // Культурные трансляции и исторический процесс. Тез. докл. СПб.
- Щеглов А. Н., Рогов Е. Я. 1985. Погребения в подбойных могилах в Нижнем Побужье, Нижнем Поднестровье и Северо-Западном Крыму // Проблемы исследования Ольвии. Тез. докл. Парутино.
- Щепинский А. А. 1969. Крымская охранно-археологическая экспедиция // АО-1968 г.
- Щепинский А. А. 1971. Работы Северо-Крымской охранно-археологической экспедиции // АО-1970 г.
- Щепинский А. А. 1987. Красные пещеры. Симферополь.
- Щепинский А. А., Черепанова Е. Н. 1969. Северное Присивашье в V—I тыс. до н. э. Симферополь.
- Шукин М. Б. 1989. О галатах и дате декрета в честь Протогена // Скифия и Боспор. Археологические материалы к конф. памяти М. И. Ростовцева. Новочеркасск.
- Шукин М. Б. 1994. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н. э. — I в. н. э. в Восточной и Центральной Европе. СПб.
- Юргевич В. Н. 1872. О именах иностранных на надписях Ольвии, Боспора и других греческих городов Северного побережья Понта Евксинского // ЗООИД. Т. VIII.
- Яйленко В. П. 1982. Греческая колонизация VII—III вв. до н. э. М.
- Яйленко В. П. 1983. Архаическая Греция // Античная Греция. Т. 1. М.
- Яйленко В. П. 1990а. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.
- Яйленко В. П. 1990б. Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху // Эллинизм: экономика, политика, культура. М.
- Яковенко Е. В. 1974. Скифы Східного Криму в V—III ст. до н. е. Київ.
- Яковенко Е. В. 1978. Липна кераміка VI—V ст. до н. е. з Німфея // Археологія. № 27.
- Яковенко Е. В. 1980. Нові досягання боспорознавства: проблема скіфів Східного Криму // Археологія. № 33.
- Яковенко Э. В. 1970а. Рядовые скифские погребения в курганах Восточного Крыма // Древности Восточного Крыма. Киев.
- Яковенко Э. В. 1970б. Уздечный набор V в. до н. э. из Восточного Крыма // КСИА. Вып. 124.
- Яковенко Э. В. 1972. Курган на Темир-Горе // СА. № 3.
- Яковенко Э. В. 1976. Предметы звериного стиля в раннескифских памятниках Крыма // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.
- Яковенко Э. В. 1977. Погребение богатой скифянки на Темир-Горе // Скифы и сарматы. Киев.
- Яковенко Э. В. 1981. Об этнокультурной принадлежности населения хоры Боспора европейского // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
- Яковенко Э. В. 1982. Раннескифские погребения Восточного Крыма // Древности степной Скифии. Киев.
- Яковенко Э. В. 1985. Скифы на Боспоре. Автореф. дис. ... доктора ист. наук. М.
- Яковенко Э. В. 1985а. К проблеме происхождения предметов торевтики из раннеэллинистических курганов Скифии // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси.

- Яковенко Э. В. 1992. Снаряжение верхового коня из боспорских некрополей // *Античная цивилизация и варварский мир. Новочеркасск.*
- Яковенко Э. В. Бидзиля В. И. 1979. Гравированные костяные пластины из Гаймановой Могины // *Проблемы античной истории и культуры. Т. II. Ереван.*
- Якубов Н. В. 1977. Русско-казахская торговля (1760–1860 гг.) // *НАА. № 6.*
- Ястребов В. 1892. О раскопках в Херсонской губ. // *ОАК. 1889 г. СПб.*
- Яценко И. В. 1971. Искусство скифских племен Северного Причерноморья // *Искусство народов СССР. Т. 1. М.*
- Ahlberg-Cornell G. 1992. Myth and Epos in early Greek art. Representation and Interpretation // *Studies of Miditerranean Archaeology. Vol. 100.*
- Alexandrescu P. 1966. Necropola tumulara // *Histria. II.*
- Alexandrescu P. 1970. Peisajul histrian in Antichitate // *Pontica. 3.*
- Alexandrescu P. 1976. Pour une chronologia des VI–IV siecles // *Thraco-Dacia.*
- Alexandrescu P. 1990. Histria in archaischer Zeit // *Xenia. 25.*
- Alexandrescu P. 1996. Le symbolism funeraire dans une tomb de la peninsula de Taman // *Studie Clasice. Bucuresti. Vol. 8.*
- Alexandrescu P., Eftime V. 1959. Tombes thraces d'epoque archaique dans la néropole tumulaire D'Histria // *Dacia. N. S. III.*
- Alroth B. 1989. Greek Gods and Figurines // *Boreas. 18. Uppsala.*
- Andronikos M. 1980. The Royal Graves in Vergina. Athens.
- Audring G. 1981. Proastion. Zur Funktion der stadtnahen Landzone archaischer Poleis // *Klio. 63. № 1.*
- Audring G. 1989. Zur Struktur des Territoriums griechischer Poleis in archaischer Zeit (nach den schriftlichen Quellen) // *Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike. 29.*
- Avram A. 1990. Die histrianische Territorium in griechisch-romischer Zeit // *Xenia. 25.*
- Aymard A., Auboyer J. 1967. L'Orient et la Grece Antique // *Histoire Generale des civilisations. Paris.*
- Bachae J. M. 1958. Kercske vazy. Praha.
- Barnett R. D. 1956. Ancient Orient Influences on Archaic Greece // *The Aegean and the Near East. New York.*
- Barnett R. D. 1957. A Catalogue of the Nimrud Ivories. London.
- Barth F. A. 1973. General Perspective of Nomad-Sedentary Relation in the Middle East // *The Desert and the Sown: Nomads in the Wide Society. Bercley.*
- Beazley J. D. 1943. «Panathenaica» // *AJA. Vol. 47.*
- Beazley J. D. 1951. The Development of Attic Black-Figure. London.
- Beazley J. D. 1961. An Amphora by the Berlin Painter // *Antike Kunst. № 4. Heft. 2.*
- Berciu D. 1963. Neue skuthische Funde aus Rumänien und Bulgarien // *PZ. Bd. XLI.*
- Berciu D., Preda C. 1961. Sapaturile de la Tariverde // *MCA. Vol. VII.*
- Biesantz H. 1965. Die Thessalischen Grabreliefs. Mainz am Rhein.
- Bilabel F. 1920. Die ionische Kolonisation. Leipzig.
- Boardman J. 1961. The Cretan Collection in Oxford. Oxford.
- Boardman J. 1970. Greek Gems and Finger Rings. London.
- Boardman J. 1975. Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period. London.

- Boardman J. 1975a. Greek Art. New York.
- Boardman J., Kurtz D. C. 1971. Greek burial customs. London; Southampton.
- Boehlau J. 1898. Aus ionischen und italischen Nekropolen. Leipzig.
- Borovka G. 1928. Scythian Art. London.
- Brandis. 1897. Bosphoros // RE. Bd. 3.
- Breccia A. 1912. La nécropoli di Sciatby. Caire.
- Bucovala M., Irimia M. 1971. Cimitirul din sec. VI–V i. e. n. de la Corby, jud. Constanta // Pontica. 4.
- Burchner L. 1985. Die Besiedlung der Küsten des Pontes Euxines durch die Milesier. Kemton. I.
- Charbonneaux J. 1962. Greek Bronzes. New York.
- Collignon M. 1911. Les statues funéraires dans l'art Gréc. Paris.
- Condurachi Em. si col. 1953. Santierul Histria // SCIV. 1–2. Anul. IV.
- Conze A. 1900. Die Attischen Grabreliefs. Berlin. Bd. I–II.
- Cook R. M., Dupont P. 1998. East Greek pottery. London; New York.
- Cunliffe B. 1988. Greeks, Romans and Barbarians, Spheres of Interaction. London.
- De Ridder A. 1915. Collection de Clerq // Les bronzes antique. Musée National du Louvre. II. Paris.
- Demargne P. 1947. La Crète Dédalique. Etudes sur les origines d'une renaissance. Paris.
- Dimitriu S. 1966. Cortielul de locuinte din sona de vest a cetatii in epoca arhaică // Histria. II.
- Drerup H. 1969. Griechische Baukunst in geometrischer Zeit. Cöttingen.
- Dumont A. 1879. Note sur des bijoux trouvés en Lydie // BCH. III–IV.
- Ebert M. 1913. Ausgrabungen auf dem Gute Maritzyn // Pz. Bd. V.
- Ehrhard N. 1983. Milet und seine Kolonien. Frankfurt; Berlin; New York.
- Elderkin G. W. 1936. The Seated Deities of the Parthenon Frieze // AJA. Vol. 40. № 1.
- Fehr B. 1996. The Greek Temple in the Early Archaic Period: Meaning, Use and Context // Hephaistos. № 14.
- Filov B. 1925. L'art antique en Bulgarie. Sofia.
- Frankfort H. 1955. The Art and Architecture of the Ancient Orient. Baltimore.
- Frothingham A. L. 1922. Medusa as Artemis in the Temple at Corfu // AJA. 1.
- Fuchs W., Floren J. 1987. Die Griechische Plastik. Band. 1. Die geometrische und archaische Plastik (von J. Floren). München.
- Furtwängler A. 1890. Die bronzen und die übrigen kleineren funde von Olympia (Olympia IV). Berlin.
- Gajdukevič V. F. 1971. Das Bosphoranische Reich. Berlin.
- Gardner E. A. 1884. Ornaments and armour from Kertch in the New Museum at Oxford // JHS. 5.
- Green J. R. 1986. South Italien Pottery. Part 1 // CVA. USA. Fasc. 22.
- Gripenhagen A. 1982. Centenarium eines Goldfisches Hundert jahre Fund von Vetterfelde // Antice Welt. 3.
- Gschntzer F. 1963. Studien zur griechischen Terminologie der Sklaverei. I. Grundzüge des vorhellenistischen Sprachgebrauchs // Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und Literatur Geistes — und Sozialwissenschaftliche Klasse. № 13. Mainz.

- Hamp R., Simon E. 1981. *The Birth of Greek Art. From the Mycenaean to the Archaic Period*. London.
- Harmatta J. 1952. *Studies in the language of the Iranian tribes in South Russia*. Budapest.
- Higgins R. 1961. *Greek and Roman jewellery*. London.
- Higgins R. A. 1980. *Greek and Roman Jewellery*. London (second edition)
- Hiller H. 1975. *Ionische Grabreliefs der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr.* // *Istanbuler Mitteilungen*. Tübingen. 12
- Hoffman R., Davidson P. F. 1965. *Greek Gold. Jewellery from the age of Alexander*. N.Y.
- Hogarth D. G. 1908. *Excavations at Ephesus*. London.
- Irimia M. 1974. *Cercetările arheologice de la Rosova-Malul Rosu* // *Pontica*. 7.
- Irimia M. 1976. *Observații privind arheologia secolelor VII-I î. e. n. în Dobrogea* // *Pontica*. 8.
- Irimia M. 1983. *Date noi privind necropolele din Dobrogea în două epoci a fierului* // *Pontica*. 16.
- Jacobson E. 1995. *The Art of the Scythians*. Leiden; New York; Köln.
- Jantsen U. 1937. *Bronzewerkstätten in Grossgriechenland und Sizilien*. Berlin.
- Jettmar K. 1966. *Art of the Steppes*. New York.
- Jones H. S. 1895. *The Chest of Kypselos* // *JHS*. 16.
- Joung R. 1951. *Sepulturen im Altertum* // *Hesperia*. V. XX. № 2.
- Jünger F. 1997. *Deutungs-vorschläge zur sog. «Sitzenden Göttin»* // *Eikon*. Münster. Bnd. 4.
- Kerschner M. 1997. *Ein stratifizierter Opferkomplex des 7. Jhs v. Chr. aus dem Artemision von Ephesos* // *Jahr. des Österreichischen Archäologischen Institutes*. Bd. 66.
- Khazanov A. M. 1984. *Nomads and the outside world*. Cambridge University Press.
- Kissling. 1910. *Gargasa* // *RE*. 7.
- Kossak G. 1980. *«Kimmerische» Bronzen. Bemerkungen zur Zeitstellung in Ost- und Mitteleuropa* // *Situla*. 20/21.
- Kossak G. 1986. *Zaumzeug aus Kelermes* // *Hallstatt Kolloquium Veszprem 1984*. Budapest.
- Kossak G. 1987. *Von den Anfängen des skytho-iranischen Tierstils* // *Skythika*. München.
- Kruskol S. 1974. *Die griechischen und autochthonischen Städte der Sindike (Nord-Kaukasien) im Bosphorischen Reich in 4 und 3 Jh. v. u. z.* // *Hellenistische Poleis*. Bd. II. Berlin.
- Kubarev V. 1996. *Spiegel asiatischer Nomaden als religionsarchaologische Quelle* // *Eurasia Antiqua*. Bd. 2.
- Kunze E. 1931. *Kretische Bronzereliefs*. Stuttgart.
- Kübler K. 1959. *Die Nekropole des späten 8. bis frühen 6. Jahrhunderts*. Berlin.
- Kübler K. 1976. *Die Nekropole der Mitte des 6. bis Ende des 5. Jahrhunderts*. Berlin.
- Langlotz E., Hirmer M. 1965. *The Art of Magna Graecia*. London.
- Lapalus E. 1947. *Le fronton sculpté en Grèce*. Paris.
- Lepore E. 1968. *Per una fenomenologia storica del rapporto città-territorio in Magna Grecia* // *La città e il suo Territorio*. Napoli.
- Maass M. 1979. *Antikensammlungen München. Griechische und römische Bronzwerke*. München.

- Manzewitsch A. 1932. Ein Grabfund aus Chersones // Verhandlungen der Akademie für Geschichte der materialien Kultur. II. Leningrad.
- Marcenko K. K. 1986. Die Siedlung von Elisovetovka — ein griechisch-barbarisches Emporion in Dondelta // Klio. 68. № 2.
- Marshall F. H. 1911. Catalogue of Jewellery, Greek, Etruscan and Roman in the Department of Antiquities, British Museum. London.
- Marčenko K. K., Vinogradov Ju. A. 1989. Das nördliche Schwarzmeergebiet in der skythischen Epoche. Periodisierung der Geschichte // Klio. 71. № 2.
- Marčenko K., Vinogradov Yu. 1989a. The Scythian period in the northern Black Sea region (750–250 B. C.) // Antiquity. Vol. 63. № 241.
- Mer Egée Grèce des îles. 1979. Paris.
- Minns E. H. 1913. Scythians and Greeks. Cambridge.
- Minnz E. 1942. The Art of the Northern Nomads. London.
- Mistress of the House. 1996. Mistress of the House, Mistress of Heaven. Women in Ancient Egypt. Cat. of exhibition. New York.
- Moscalu E. 1983. Ceramica traco-getica. Bucuresti.
- Neumann K. 1955. Die Hellenen im Skythenlande. Bd. I. Berlin.
- Noonan T. S. 1973. The origins of the Greek colony at Panticapeum // AJA. 77.
- Piotrovsky B., Galanina L., Grach N. 1986. Scythian Art. Leningrad.
- Pippidi D. M., Berciu D. 1965. Din istoria Dobrogei. Bucurest. Vol. I.
- Pippidi D. M. 1958. In jurul relatiilor agrare din cetatile Pontice in epoca preromana // SCIV. I.
- Pippidi D. M. 1959. Sur un passage obscur du dicret en l'Honneur de Diophante fils D'Asclepodore // Archeologia. Warszawa. IX.
- Pippidi D. M. 1961. Die Agrareverhältnisse in der griechischen Städten der Dobrudscha in vorrömischer Zeit // DAWSA. № 28.
- Pottiere E., Reinach S. 1886. La necropole de Myrina. T. I. Paris.
- Poulsen F. 1905. Die Dipylongräber und Dipylouvasen. Leipzig.
- Preda C. 1972. Tariverde (Asezarea bostinasă sau «factorie histriană»?) // Pontica. 5.
- Preda C. 1985. Über die Beziehungen zwischen Histria und Geten im 6 und 5 Jahr. v. u. z. // Thracia Pontica. III.
- Radet J. 1909. Cybêbe. Paris.
- Rayet O. 1879. Sur une plaque estampée trouvée en Grèce // BCH. VII.
- Rădulescu Al., Scorpan C. 1975. Rezultate preliminare ale săpăturilor arheologice din Tomis (Parul catedralei), 1971–1974 // Pontica. VIII.
- Renfrew C. 1984. Approaches to social archaeology. Harvard Univ. Press.
- Richter G. M. 1912. An Archaic Etruscan Statuette // AJA. 3.
- Richter G. M. 1938. An Archaic Greek Mirror // AJA. 3.
- Rodenwaldt G. 1923. Das Relief bei den Griechen. Berlin.
- Rostovtzeff M. I. 1922. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford.
- Rostovtzeff M. I. 1929. The Animal Style in South Russia and China. Princeton.
- Rostovtzeff M. I. 1930. The Bosphoran Kingdom // CAH. VIII.
- Rostovtzeff M. 1941. The social and economic history of the Hellenistic world. Oxford.
- Rostowzew M. 1931. Skythien und der Bosphorus. Berlin.
- Rostowzew M. 1993. Skythen und der Bosphorus, Band II. Weiterendeckte Kapitel und Verwandtes. Stuttgart.

- Runeiman W. G. 1990. Doomed to extinction: The Polis as an evolutionary deadend // The Greek City from Homer to Alexander. Ed. by O. Murray and S. Price. Oxford.
- Schefold K. 1934. Untersuchungen zu den Kertscher vasen. Berlin; Leipzig.
- Schefold K. 1938. Der scythische tierstil in Sudrussland // ESA. Bd. 2.
- Scheglov A. N., Katz V. I. 1991. A fourth-century B. C. Royal Kurgan in the Crimea // Metropolitan Museum Journal. 26.
- Schiering W. 1957. Werkstätten orientalisierender keramik auf Rhodos. Berlin.
- Schiltz V. 1994. Les Scythes et les nomades des steppes. VIII e siècle avant J.-C. — I er siècle après J.-C. Paris.
- Simion G. 1992. Cetii de la Dunarea de jos si civilizatia // Problema actuale ale istoriei notionale si universale. Chisinau Universitas.
- Stein H. 1877. Herodotus erklet von H. Stein. Berlin.
- Strong D. E. 1966. Greek and Roman gold and silver plate. London.
- Sulimirski T. 1970. The Sarmatians. Thames and Hudson.
- Tochtashev S. R. 1986. Zur Herkunft der Bosporianischen Spartokiden // Pulpudeva. Semains philippopolitainer de l'histoire et la culture Thrace. 5.
- Touloupa E. 1869. Une Gorgonee bronze de l'Acropol // BCH. II.
- Treister M. 1998. Ionia and the North-Pontic area. Archaic metalworking // The Greek colonisation of the Black Sea Area. Stuttgart.
- Treister M. 1999. The workshop of the gorytos and scabbard overlays // Scythian Gold. Treasures from ancient Ukraine. New York.
- Treister M. 2000. Early Classical motifs in the 4th century BC toreutics from the North Pontic Area (the ways of style transfer in the toreutics) // Civilisation greque et cultures antiques in périphériques. Bucarest.
- Trendall A. D. 1967. The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sizilia. Vol. 1–2. Oxford.
- Trendall A. D., Cambitoglu A. 1978. The Red-Figured Vases of Apulia. Vol. 1. Oxford.
- Valeva Ju. 1995. The Sveshari Figurines (an Attempt to Specify Several Hypotheses) // Thracia. 11.
- Van Loon M. N. 1990. Anatolia in the earlier first Millenium B.C. // Iconography of Religions. Sect. 15. Fasc. 13. Leiden.
- Vasiliev V. 1980. Scitii agatirsi pe teritoriul României. Cluj-Napoca.
- Vasmer M. 1923. Die Iranier in Südrussland. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. Leipzig.
- Vickers M. 1979. Scythian treasures in Oxford. Oxford.
- Vinogradov Yu. G. 1979. Griechische Epigraphik und Geschichte des nördlichen Pontosgebites // Actes du VII Congres International d'epigraphie grecque et latine. Bucaresti-Paris.
- Vinogradov Yu. G. 1980. Die historische Entwicklung der Polis des nördlichen Schwarzmeeergebites im 5 Ih. v. Chr. // Chiron. Bd. 10.
- Vinogradov Yu. G. 1981. Olbia. Geschichte einer altgriechischen Stadt am Schwarzen Meer // Xenia.
- Vinogradov Yu., Domanskij J., Marcenko K. 1990. Sources écrites et archéologiques du Pont Nord-Quest. Analyse comparative // Le Pont-Euxin vu par les Grecs. Annales Littéraires de L'Université de Besançon. 427. Paris.

- Vulpe A. 1987. Die Geto-Dakpo Geschichte eines Jhartausendes vor Burebista // *Dacia* NS. XXXI. № 1–2.
- Vulpe R. 1955. Santierul arheologie Histria (1954) // *SCIV*. VI. № 2, 3–4.
- Walter H. 1968. Frühe Samische Gefässe // *Samos* V. Bonn.
- Walters H. B. 1899. Catalogue of Bronzes in the British Museum. London.
- Weiss J. 1912. Gete // *RE*. VII. 13.
- Wells P. S. 1980. Culture contact and culture change. Early Iron Age central Europe and the Mediterranean world. Cambridge Univ. Press.
- Willels R. F. 1959. The servile interregnum at Argos // *Hermes*. Bd. 87.
- Zgusta L. 1955. Die Personenamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Praha.
- Zimmermann K., Avram A. 1987. Archäologische Ausgrabungen in Histria Pod, SR-Rumänien // *Klio*. 69.

Архивные материалы

- Бабенчиков В. П. 1941. Гераклеийский полуостров, его географическая и экономическая среда // *Гераклеийский сборник*. Архив ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 2. Д. 452.
- Кисель В. А. 1998. Памятники ближневосточной торевтики из курганов Предкавказья и Северного Причерноморья VII — начала VI в. до н. э. (к проблеме ближневосточных связей скифов). СПб. Рукопись дис. ... канд. ист. наук.
- Ковпаненко Г. Т. 1967. Отчет о работе Трахтемировского отряда средне-днепровской экспедиции за 1967 год. Научный архив ИА НАНУ. Киев.
- Ястребов В. 1890. О раскопках в с. Мартоноша Херсонской губ. // Научный архив ИИМК РАН. Ф. 1. 1890/38.

Оглавление

Введение (Ю. В. Андреев, К. К. Марченко)	5
Глава I. Основные аспекты и результаты изучения греко-варварских контактов и взаимодействий в Северном Причерноморье скифской эпохи (К. К. Марченко)	12
Глава II. Периодизация истории Северного Причерноморья в скифскую эпоху (Ю. А. Виноградов, К. К. Марченко)	27
Первый период	29
Второй период	32
Третий период	34
Четвертый период	37
Пятый период	40
Глава III. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья скифской эпохи (К. К. Марченко)	42
1. Ареал	42
2.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья второй половины VII — первой четверти V в. до н. э.	48
2.2. Характер и пути формирования сельского населения в окрестностях греческих колоний Северо-Западного Причерноморья	67
2.3. Каллипиды — эллино-скифы	97
3.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья второй четверти V — первой трети III в. до н. э. Характер греко-варварских взаимодействий в V в. до н. э.	97
3.2. Реколонизация сельских территорий Северо-Западного Причерноморья	114
3.3. Ойкеты декрета в честь Протогена	129
Глава IV. Греки и варвары в Западном Крыму (Е. Я. Рогов)	137
1. Ареал и природные условия	137
2. Демографическая ситуация	139
3. Греки и варвары в Юго-Западном Крыму	145
4. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму	174
5. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму: оценка степени взаимовлияний	196
Глава V. Боспор Киммерийский (Ю. А. Виноградов)	211
1. Боспор Киммерийский во время греческой колонизации	211

2. Греко-варварские отношения на Боспоре в конце первой — третьей четвертях V в. до н. э.	238
3. Боспор и варвары в последней четверти V — IV в. до н. э.	262
4. Боспор и варвары в конце IV — III в. до н. э.	276
Глава VI. Греческое искусство и искусство Европейской Скифии в VII—IV вв. до н. э. (М. Ю. Вахтина)	297
1. Задачи исследования	297
2. Краткая история изучения проблемы греко-варварских взаимодействий в сфере искусства	299
3. Хронологические рамки	306
4. Вторая половина VII — первая четверть V в. до н. э.	309
5. Вторая четверть — конец V в. до н. э.	340
6. IV в. до н. э. — эпоха расцвета греко-скифской торевтики	352
7. Заключение	397
Заключение. Основные теоретические и методологические аспекты проблемы греко-варварских контактов в Северном Причерноморье скифской эпохи (Ю. В. Андреев, К. К. Марченко)	400
Список сокращений	416
Список использованной литературы	418

ГРЕКИ И ВАРВАРЫ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
В СКИФСКУЮ ЭПОХУ

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Корректор *Н. М. Баталова*
Оригинал-макет *И. А. Смаришева*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
193019, СПб., пр. Обуховской Обороны, 13.
Тел.: (812) 567-22-39, факс: (812) 567-22-53
E-mail: aletheia@rol.ru
www.orthodoxia.org

Фирменные магазины «Историческая книга»

Москва, Старосадский пер., 9. Тел.: (095) 921-48-95
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 55. Тел.: (812) 327-26-37

Подписано в печать 08.08.2005. Формат 60х88¹/₁₆.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 28,4. Тираж 1000 экз.
Заказ № 4265

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография «Наука»»,
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12

Printed in Russia